

Вячеслав
ОВСЯННИКОВ

РАССКАЗЫ
И
ПОВЕСТИ

Т. 1

ОДНА НОЧЬ

Санкт-Петербург

2008 - 2019

Редактор В. И. Чернышев

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

© В. А. Овсянников. *Одна ночь*. 2008-2019.

© Издательство «SUPER». 2019



ТЕМА И МЕТАФОРЫ

Вячеслав Овсянников окончил знаменитое Макаровское училище, плавал по морям-океанам, теперь офицер милиции. Пока плавал – писал стихи, теперь пишет прозу.

Такое вступление, наверное, настроит читателя на романтический лад и от книги будут ждать невероятных приключений или сражений с преступниками, – героики милицейских будней. Ничего этого здесь нет. Автор – человек неординарный и не вписывается в литературную "милицейскую форму" в традиционном представлении. Он – не бытовой беллетрист, а, скорее, мифолог и писатель склада Андрея Белого. Милиция для него лишь среда, его герои живут более по литературным законам, нежели реальным. Милицейская тема для Вячеслава Овсянникова – не удобное зеркало для "отображения действительности", а благоприятный материал для гротескного осмысления жизни. Хотя в интереснейших реальных деталях его прозы много правды, нельзя принимать весь этот страшный будничныи быт за полностью достоверные копии. Это – сгустки абсурда, гротеска, метафор, которыми оперирует автор.

Вячеслав Овсянников – новый голос в современной петербургской прозе. И этот голос своеобразен и чрезвычайно актуален.

В. Соснора

СТРАДАНИЯ СЕРЖАНТА БЫКОВА

...Проснись, Быков! Да проснись же ты, Алкоголь Горыныч!.. Проснулся, схватил трубку, сердце гремит. В трубке тихий голос Веры: Митя, приезжай скорей!.. Гудки...

Улица длинным темнеющим конусом. Киоск, афиша, фонарь. Быков летит в милицейском газике, крутит баранку. В зеркальце небритый, угрюмый, с гербом на лбу, на плече сержантская лычка. Это я, – догадывается Быков. Бесшумно летит по освещенным безлюдным улицам. Мебель. Фарфор. Фото. Аптека. Салон причесок. Часы "Космос". Фонари редуют. Окраина. Новый район. Машина блуждает в темноте двумя дымными лучами. Ямы, горы, кубы, барабаны, изогнутые железяки из земли. Небоскребы. Окна спят. Только озарен прожектором строящийся дом, кладут кирпичи, стучит что-то металлическое, брызжет звездочками электросварка, шевелится зигзагообразный кран. Этажи, этажи, в стеклах мрачность. Дверь парадной стукнула, кто-то вошел в жемчужном плаще. Быков следом. Раскрылась перламутровая кабина лифта. Сбоку черные кнопки. Быков кричит: Вера!.. Вера стоит, смотрит. Взор Веры – зима, Сибирь, он – уголовник в тайге, тонет в этом суровом взоре, шевелятся дремучие ресницы.

– Вам на какой этаж? – Она.

– Вера, это же я! – Он.

Вера презрительно ежится. Перст с розовым острым ногтем жмет кнопку. Ее профиль – будто из кино. Лебеди, ноктюрны... – думает Быков. Память распевает мелодии ее фраз: Я без тебя скучала. Что ты сегодня принес? Ах, я так люблю ландыши!..

Быков говорит:

– Вера! Что же ты ничего не помнишь? Сама сейчас звонила, звала – приезжай!..

– Что за нелепые фантазии, – отвечает Вера. – Вы пьяны, сержант. Я не имею удовольствия быть с Вами знакомой. Или у Вас в кармане ордер на мой арест?

Быков пялит глаза:

– На каком это мы этаже? На сотом?

Рот у нее в вишневой помаде, говорит:

– Ну, хорошо. Идем.

Квартира. Гвалт, визг, разливается молодецкая русская песня "По Дону гуляет казак молодой".

– Новый год? День рождения? Новоселье?

Вера сердится, морщина между бровей:

– Тебе что, совсем уже уголовники память отшибли?

Быков видит: голова Веры в гипюровых кружевах, из-под жемчужного плаща белое до пят платье. Невеста?..

В квартире музыка, толкотня, ералаш. Стол – горы яств, вина всех сортов, цветы. Из кухни бегут с дымящимся китом на блюде. Грянули: А! Вот и они! Ох, страшно, товарищ сержант. Кривляясь, козыряют ему "честь". Какую гражданочку зацепил. Ай, да сержант. Знай наших... Тянут, сажают во главе стола. Там уже рядом с Верой его друг-приятель, пунцовомордый Чапура, тоже в полной амуниции, с погонами милицейского старшины. Чапура невозмутим. Его широкая грудь так вся и сверкает в чешуе медалей и орденов. На брови надвинута громадная фуражка с глянцевым вороненым козырьком. Быков подсаживается. Вера между ними, представляет их всему застолью:

– Мой муж Миша, мой муж Митя.

– Горько! – ревет стол.

– Миша, Митя, ну, что же вы, мужчины! – улыбается Вера.

– Ну, пора и бай-бай, новобрачные, нежно мурлычет она и ведет обоих мужей за руки в спальню.

Там гигантская кровать, подушки-пуховики, откинута атласное розовое одеяло, простыня – сама белоснежность. На столике серебристая головка шампанского и благоухающие сладким соком, нарезанные кружки ананаса.

На ложе трое: у стены с персидским ковром возлежит Чапура, в мундире, в португее, в сапогах. На брови все так же надвинута громадная фуражка с глянцевым козырьком. Быков примостился на другом краю постели. Между ними – Вера в кружевном пеньюаре.

Вера задирает косматую медвежью лапу, шевелит когтищами с малиновым педикюром:

– Потрясающая у меня ножка, а, мальчики?

– Это уж слишком – ревет Быков. – Вера, ты от меня требуешь невозможного! Я не люблю сообщников! – И он выхватывает сбоку пистолет и стреляет в наглую ухмылку пунцовомордого Чапуры.

Спальня проваливается. Чудовище любви о трех головах исчезает в призрачном дыме...

Тусклый, свисающий с потолка тюльпан источает будничное сияние. Стол, стакан. Быков на кровати, в форме, в сапогах. Так я спал! Тоска!.. Огромный черный квадрат окна. Смотрит на часы у себя на руке: 7.00. Ум Быкова мрачно жует тупую и вязкую, как смола, мысль. Эх, животное! У другой стенки Чапура сотрясает комнату паровозным храпом.

В коридоре грохают двери, стучат каблуки, раздается бодрый утренний гам. Общежитие просыпается.

Окно – ночной экран утра, зажигаются квадратики этажей. Город, октябрь, понедельник.

Комната – замусоренная коробка. Шкаф с полуоторванной дверцей. Стул. На стенах фотографии едва прикрытых девиц. Еще – маска из черного дерева. Изображает африканку с толстыми оттопыренными губами. Смотрит на него, Быкова, усмехается. Это Чапура сцапал штурмана из дальнего плавания, укачавшегося у самых ворот порта с чемоданом. Тот и откупился сувениром. Такая страхолюдина теперь у них в комнате на стене. Хранительница их холостяцкого очага.

– Чапура, змей, вставай! – кричит Быков. – Восьмой час. Взводный нас с потрохами сожрет.

Шинель, ремень, сапоги, и вон в коридор, на лестничную площадку. Лифта нема. Топают по ступеням. Дворничиха – фуфайка, звяк ведром, здрасте. Дома построены лабиринтом. Лужи-моря, ямы-пропасти, бурые горы глины. Тут круглый год роют траншеи, откапывают трубы и опять закапывают. На пустынной площади гигантский куб из стекла и железобетона – кинотеатр "Коммуна". На афише аршинными буквами фильм: "Фараон". Садик, голые сучья. Вороны летят в рассветающем воздухе, рваные бродяги, кричат: ах, мы, вороны, бедные мы, беспаспортные!.. Улица в автобусах, автомобилях. Тут и большое голубоватое "М". Вход в метро. Толпы по ступеням валяются под землю. Под землей вагон, электрояркий, набит людской сельдью, рты-носы дышат, сопят. Рывок, начинается движение. За стеклом с гулом проносится туннель, чрево тьмы, бесконечная полость. Шатнуло. Остановка в туннеле. Тишина. Шепчутся. Звуки нестерпимо громкие. Сошли с графика. В лоб встречный поезд, вдрызг, в месиво, в кровь, в грязь... Меж голов на

Быкова смотрит девушка, безумие в очках, рот разъезжается, как пунцовая рана. Подохнуть в этой закупоренной людской банке под землей, под городом?.. Страшно и думать. Хочется стрелять. Ох, как стрелять хочется. Револьвера нет. Нервы. Рывок. Движение продолжается. Наконец-то и выход. Воздух.

Быков и Чапура топают дальше. Обводный канал. Стоят строем кирпичные корпуса заводов, чадят трубы. Ревут, проносья, грузовозы с шлейфами черного дыма. Вдали, над каналом, клубится мрачная картофелина восходящего солнца. Об асфальт взорвалось яйцо, тухлая граната, забрызгала сапог. Окна-бельма, кто их поймет. – У, попадись мне только – хайлом сапог вычищу! – рычит этажам Чапура.

Проспект звенит трамваем. Шатается с утра-пораньше похмельная личность, шипит невыбитым зубом: менты...

Скучный, обыкновенный дом, этажи. Милиция. Ведомство охраны. Дверь с пружиной.

Коридор длинный, как кишка, таблички кабинетов, часы-табло: 7.30. Лозунги, стенгазеты, плакаты, доски почета с портретами лучших милиционеров, бухгалтерия, отдел кадров, зал заседаний, дежурная комната. В комнате дежурный сержант Жиганов с красной повязкой на рукаве, стол, телефон. Жиганов хмур, выдает заступающим в наряд пистолеты.

– Что как лом проглотил? – говорит ему Чапура.

Конец коридора, курилка. Сержанты и старшины. Клубы табака, щетка машется, зеркалит сапог, крутится ус. "Козлы" с оглушающим грохотом зашибают вечные косточки домино. Орут: рыба!

Чапура уже в центре курильщиков. Багровый, как помидор. Усы венником. Треплет языком, уши лопаются от его громающего баса. Щеголь же он, мундир в блестящей чешуе значков, пестрая планка орденов и медалей, сапоги на высоких каблуках. Женщины мрут от Чапуры, как мухи. Чапуре еще и сорока нет, как говорится, в самом соку, мастер самбо, стрелок высшего класса. Любит порассказать о своих подвигах, такое загнет – веришь и не веришь. Всем дает в долг, без отказа. Деньги у него всегда водятся, кошелек полнехонек. Большой палец у Чапуры оттопырен, тычет желтым прокуренным ногтем:

– Вешай лапшу на уши, сынок, что я, первый год в милиции? Он сам Жиганову в три ночи телефонит: я сейчас убил Цветкова. Этого Лупенко я знаю, как облупленного, мы с ним Волково кладбище

охраняли. Чуть наш Анчар зарычит, этот Лупенко хватает из кобуры "пушку", пуля в дуле, и летит, псих психом, буркалы из орбит. Я – рапорт: с этим Залупенко дежурить – наотрез, мне еще житуха мила, а по нему давно психи плачут. Цветков ночью обход делал, посты, как всегда проверял. Чего уж у них с Лупенко там вышло, может, бабенку не поделили, а, может, и так, сдуру, – только зафугасил в Цветкова этот двинутый, в самую десятку, тот и пикнуть не успел.

– Вот тебе и лютики-незабудки! – сказал сержант Чубарь и сдвинул свой картуз с гербом на затылок.

– Орлы, время! – кричит в дверь курилки командир взвода лейтенант Тищенко с выпученными очками.

Идут в комнату, где производится инструктаж наряда. Взвод с грохотом садится за столы-парты. За столом командиров отделений пустует одно место. Вот тебе и лютики-незабудки, Витя Цветков.

8.00. На стене суровый Дзержинский с бородкой-клинышком, указы правительства, выписки из указов и кодексов, красочный чертеж пистолета системы Макарова. Командир взвода Тищенко встает за трибуну, раскрывает толстую, как библия, книгу в черной обложке, читает информацию о преступлениях. Взвод пишет в свои служебные книжки:

Фрунзенский район, убийство в квартире пенсионерки Мурашкиной, 70 лет. Жертву ударили молотком по голове. Похищены хрустальные вазы, фарфор, цепочки из золота, перстни, серьги, деньги. Японский магнитофон "Сони". Приметы преступника: 20-25 лет. Рост 170-180 см. Лицо белое круглое приятное. Губы толстые, шепелявит. Ноги короткие, кривые. Был одет в грязную замасленную фуфайку. Представился сантехником. В руке держал чемоданчик с инструментами.

Разыскивается дезертир Магамедов Зиммудин Магаметович. 20 лет. Рост 195. Атлетического сложения. Лицо азиатского типа, глаза карие, волосы черные, стриженные. Одет в армейский бушлат. При себе имеет автомат Калашникова и 300 патронов.

Выборгский район. Пропала Маша Гаврилова, 12 лет. Нос в веснушках. Портфель школьный, вишневого цвета.

Разыскивается мошенница Лисицина Ольга Павловна. Полная. 50 лет. Волосы светло-рыжие, парик. На подбородке шрам. Щурит глаза. Разыскивается рецидивист по кличке Шмак. На левом веке бородавка. На груди татуировка: нож, обвитый змеей. Украинский акцент. Лицо

ромбовидное. Нападение на инкассатора, 47 тысяч рублей. Обнаружен труп молодой женщины в реке Карповке. Грузинский акцент. Левый глаз смотрит вверх. Лицо квадратное. Угнан "Москвич-408", номер 18-13 ЛЕЗ, желтого цвета. Шапочка-петушок. Разыскивается пропавший без вести милиционер Бураков. Сбыт фальшивых купюр. Татуировка: "нет в жизни счастья". Побег умалишенных. Кража икон из Русского музея. Лицо небритое треугольное. Латышский акцент. Разбойное нападение на квартиру. Побег осужденных. Плотный казах ограбил такси. Изнасилование несовершеннолетней. Татуировки: череп, роза, русалка. Гулбис Раймонд, стройный, глаза навывкате, голубые. Мужеложество. Брюки-бананы. Лысина в свежих царапинах. Изнасилование пятилетней девочки. Три кавказца. Жигули желтые. Расчлененный труп в новогоднем мешке...

Лейтенант Тищенко захлопнул книгу, как выстрелил. Смотрит сурово:

– Орлы! Вчера ночью убит наповал сержант Цветков. Погиб наш прекрасный боевой товарищ. Остались без отца два несмышленьша. Такое горе. Приедут со Смоленщины отец и мать – что старикам скажешь?.. Лупенко будут судить по всей строгости советских законов. Сейчас он в спецбольнице под стражей, проверяют его психонормальность. Парторганы полка предлагают собрать деньги по кругу – проводить в последний путь Витю Цветкова, нашего дорогого товарища. Эх, орлы!..

– Теперь! Сами знаете; особое положение. Работа без передыху. Близится Великий Октябрь. Большая революционная годовщина, праздник всей советской страны. А в городе, орлы мои, растет небывалая волна убийств, грабежей, насилий. Преступный мир поднял свою змеиную голову. И это стихийное бедствие, орлы мои, похуже любого наводнения, которыми так знаменит наш город-герой на Неве. Все! Показать удостоверения личности!

Зввод поднимает малиновые корочки с золотыми буквами: ГУВД (Главное управление внутренних дел).

– Убрать! Орлы! В коридор! Стройся! Быстро! Булатов!..

В коридоре шеренга.

– Вправо. Заправься. Ровняй носки. Строй, как бык посс...л. Булатов, опять у тебя сапоги в дерьме! Где ты шатаешься по помойкам? Ох, уж мне этот Булатов! Как нож в горле.

Из кабинета выходит замполит Шептало, майор, высокий, тощий, уши-локаторы.

Тищенко кричит:

– Взвод! Смирно!

Шептало вскрикивает:

– Здравствуйте, товарищи!

Взвод набирает в грудь воздуха и лает:

– Здрав тов мёр...

– Вольно! Товарищи! – начинает Шептало, – прискорбное событие, миленькие мои. Погиб наш прекрасный боевой товарищ, сержант Цветков. Погиб не в борьбе с преступниками, не в опасной операции, не при отражении нападения на объект государственной важности. Пал он нелепой смертью, во цвете лет, от руки своего же товарища, миленькие мои. Лупенко будут судить по всей строгости советских законов. Сейчас он в нашей спецбольнице, проверяют у Лупенко его психонормальность. Всем вам жестокий урок, миленькие мои...

Замполит двигает ртом, поднимает в потолок длинный, поросший черным волосом указательный палец, покачивается на каблуках, ходит перед строем туда-сюда.

– Заткнул бы ты свой рупор, – шипит сержант Булатов.

Наконец, Шептало уходит. Тищенко, вздернув очки, командует:

– Взвод! Смирно! Приказываю приступить к охране общественного порядка в городе-герое Ленинграде, строго соблюдать соцзаконность и вежливое обращение с гражданами. Направо! По постам! Шагом марш!

– На опохмелку, – добавляет в конце строя коренастый красноносый Булатов.

Тищенко грозит ему пальцем:

– Булатов, шкуру спущу!

Невский. 8.40. Быков и Чапура едут в автобусе. Надо на пост – охранять стратегический объект. А именно – мост.

Толпы в общественном транспорте валят по Невскому – служить, трудиться, работать, трубить, вкалывать, вламывать, зашибать рубль, корпеть, мозговать, крутиться шестеркой и прочее, и так далее... Город готовится к великому празднику. Высоко в небе висят большие кумачовые плакаты с ликом Вождя и лозунгами:

*Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи.
Имя вождя озаряет нам путь к коммунизму.*

Лозунгов над городом с каждым днем все больше и больше. Закрывают все небо, небо становится кумачовым, пламенеющим, расписанным призывами в светлое будущее. Чапура всю дорогу болтает о бабах, крутит ус-веник, масляно усмехается. Памятник царя Николая на площади забит досками, ремонтируется, только торчит шлем с позеленелым гребнем. Ничего – скоро царь будет как новенький. На столбах трепещут флаги с полумесяцем. Город ждет в гости каких-то арапов. Бульвар профсоюзов, площадь Труда, Дворец Труда. Мост лейтенанта Шмидта. Быков и Чапура подходят к будке на середине моста, с краю у проезжей части. В будке сержант Схватик и сержант Ловейко, с красными глазами, как удавы, зевают. У Схватика на лбу заметное вздутие.

– Ну, как ночка?

– Да как. Трех виннипухов загребли, – отвечает Ловейко, один – морда шире моста. Вызвали по рации хмелеуборочную, пихаем в фургон, а он развернулся, да как звезданет Схватика промеж рог. Так Схватик чуть в Неву не улетел. – Ловейко гогочет.

Схватик хмуро трогает на лбу большую, как яблоко, шишку. Потом Ловейко и Схватик, сдав пост, уходят. А у Быкова с Чапурой начинается труд охраны важного государственного объекта.

Нева. Хлопья чаек. Мчится через мост грузовоз с ворохом железной стружки с завода. Из кузова сыпятся с лязгом и разбегаются по асфальту спиралевидные фиолетовые змейки. Чапура останавливает машину своим полосатым жезлом-зеброй. Высовывается испуганное с отвисшей челюстью лицо шофера.

– Ну, что, – говорит, Чапура, – друг стружечник, – мусорим понемножку в городе-герое?

Ветер с залива обещает бурю и наводнение. Панорама реки быстро темнеет. Краны Адмиралтейского завода, слева, призрачны. Васькин остров справа, сфинксы едва различимы. Вспыхнули голубым, лиловым, сиреневым фонари-ландыши. Накаляются. Стали блестяще-белые. Нева ходит волнами, морщится. Холодно.

Быков и Чапура прячутся от ветра в будку. Чапура достает стакан, согреться ему, видите ли, надо. Быков отказывается, зарок, говорит, дал. Чапура опрокидывает стакан в горло, багровеет, наливается соком. Цокает языком:

– Сюда бы еще что-нибудь этакое, – говорит он, и рисует руками в воздухе пышные женские формы. – Без баб, как без фанфар. Как строем без барабана. Скука. Летом их в городе, что куропаток в поле.

Иду в саду ночью, шарю фонариком. А они из кустов так и шарахаются с визгом, как фейерверк. Смотрю: на скамейке двое возятся. Я их на испуг. Он – ноги, и дунул по дорожке. Она, пьяная, пялится, точно невыдоенная корова на ферме. Ничего, ничего, говорю, не грусти. Что-нибудь придумаем, чудище ты мое подфонарное. Веду в будку. Дверь на ключ. Только я то, да се – дверь дерг, лупят кулаком. Шептало, наш майор, ревет на весь сад, как сирена: Чапура, открывай! Я знаю, что ты здесь... И отобрал ведь у меня девку, чтоб его в лоб... А однажды мы с Баранашвили целый месяц сырые яйца с пустырником жрали для мужества. Сказали нам: есть две, никто их никак не ублажит. И что ты думаешь, мы с Баранашвили у них трое суток были на боевом взводе, как железные трудились, не покладая дул. На четвертые сутки все ж таки умаялись. А ну их, думаем, в титьку. Так ведь и богу душу отдашь. Чуть те вздремнули, мы с Баранашвили и давай тягу со штыками в штанах накараул. А Ванька водолаз. Помнишь? Водку жрал бочками, как Змей Горыныч. Иду к нему на катер. Ванька в кубрике, горюет. Стол в пустых стекляшках, как стеклодувный завод. А на лежаке валяется тюленьими ляжками какой-то гуталин. Храпит, нашвабренная Ванькой и в хвост и в гриву. Ванька пальцем показывает: хочешь? Студентка из Сенегала. На водолазку у меня учится...

Два ночи. Мост разведен. Быков и Чапура в будке. Снаружи ветер, фонарь, бурная октябрьская ночь. Быть наводнению.

– Чапура, – говорит Быков, – придумай что-нибудь. Я и так и эдак, не дается, хоть застрелись.

– Мужик ты или валенок? – ему Чапура.

– Простить, понимаешь, не может. Застукала с другой, – продолжает Быков.

– Не лей слюни, – рыкает Чапура, – на каждую курочку с закоулками найдется и петушок с винтом. Дави сон, пока мост разведен.

Быков дремлет, привалился головой в угол будки... Мрачное подземелье. Куски кирпича, зубья стекла, ломаные ящики. Чапура подмигивает выпуклым, как лампочка, глазом. Вера! Ты!.. Лежит Быков, будто мертвый, и на животе у него растекающимися розами кровь. Но никак, никак Быкову не встать к ней, к своей Вере, с этим самым букетом роз. А у Веры лицо меняется, теперь оно злое-презлое. Стоит над ним, приставила тесак к горлу: сейчас башку стругану!.. Размахивается и бьет...

Быков просыпается и ничего не понимает. Лампа со стола упала на пол. Голова болит. Чапура изрыгает матюги. Выскакивают из будки, свешиваются за ограду моста, смотрят: внизу баржа, красный фонарь, долбанулась о сваю. Чапура кричит:

– Эй, винт моржовый, гребни к берегу, мы тебе сейчас сделаем рыбью морду!..

На палубе шатается капюшон, пьяная чурка, образина в брезенте, моя твоя не понимаю...

На следующий день вечером Быков встретил Веру на Невском. Лебеди-ноктюрны!

– Вера! Ты!.. Я застрелюсь!

– С ума сошел! Стреляйся, топись, вешайся! Первобытный ты человек, Быков. А еще представитель власти.

Уплыла. Ветерок французских духов. «Что мне, баб мало!» – думает Быков. Толкучка. Час пик. А он тут стоит, как цепью прикован к этому месту. Фонари, фары, автобусы, колючий дождик. Толпа тычется противными зонтами, лезет в глаза. Взречь бы быком на весь город! Пусть шарахаются! У, Минотавр!

На Дворцовой площади машина-гигант с кровавыми фарами, кипит котлами, катится в парах, льет лаву асфальта, бегут желтые бушлаты с лопатами наперевес. Визг от машины ультразвуковой, уши лопаются. «Это срочно ремонтируют город», – думает Быков, – скоро праздник. Скоро великий октябрь», – думает Быков. – «Ухнуть бы кого ломом в лоб. И в люк...»

Чапура ему:

– Не грусти. Быков! Слушай: я был летом в доме отдыха на Кавказе. Горы, море, самый смачный сезон. Там все полковники, да полковники. Импотенты. А ко мне женперсонал, сам знаешь, так и липнет, будто я весь из меда. Ну и чутье у них, я тебе скажу... У меня там было двенадцать жен, как у шаха. Я их принимал сразу по две в номере. Менялись по вахте через каждые четыре часа. Такой, знаешь, танец маленьких лебедей всю ночь.

Выпуклые глаза Чапуры масляно смеются, поет свой любимый припевчик: ландыши, ландыши, светлого мая привет...

– Слушай, – продолжает Чапура, – вчера я звонил твоей птахе – я, значит, не могу терпеть такую аморальность в советском государстве. У Митьки-то твоего глаз на сторону. Она: что такое? Негодяй! Пошли вы оба туда-то... И бросила трубку. А? Как подкопчик? Ценишь? То ли еще будет!.. Я, знаешь, сам решил твоей недотрогой заняться. Для

ровного счета. Как раз третью сотню закрою. Да и зачем она тебе, Быков. Ты уж с ней надурил. Я тебе другую добуду.

Быков смотрит на Чапуру и не понимает: шутит он или всерьез.

– У-у-бью! – наконец выдавликает он, заикаясь.

Чапура усмехается, стоит и демонстративно почесывает свой громадный кулачище.

Утром, в 8.00 за трибуной командир взвода лейтенант Тищенко опять читает взводу из черной библии новые чрезвычайные происшествия:

– Патрульный газик упал ночью с Кутузовской набережной. Весь экипаж погиб.

Убийство ножом в спину милиционера в Приморском парке.

Ночью в Летнем саду неизвестная банда разбила на куски античные статуи. Постовой из будки исчез.

Побег из спецбольницы психов и сифилитиков.

В своей квартире задушены электрошнуром супруги Сидоровы.

Разыскивается за развратные действия с несовершеннолетними: шрам на левой щеке...

– В общем, как всегда, все одно и то же: убивают и насилуют, насилуют и убивают, – заключает лейтенант Тищенко.

Затем взвод опять строится в коридоре. Пуговицы, значки, кокарды. Перед строем лейтенант Тищенко. Он полон служебной энергии. Вздергивает очки-окуляры. Лягушачий рот широко округляется и издает звонкую команду:

– Смир-р-рно! – лейтенант качнулся на каблуках. – Сегодня у нас тяжелая служба. Так сказать, день чекиста. Будете получать денежное вознаграждение за свой доблестный труд. Эх, орлы! Чувствую, что опять без сюрпризов не обойдется. Снова завтра кое-кого в строю не досчитаемся. – Лейтенант дергает на носу свои окуляры. – Главное, получше храните удостоверения своей драгоценной личности, не засовывайте его в сапоги, не дарите любимым женщинам в знак верности мужского сердца, не теряйте в транспорте, не роняйте в унитазы. Не повторяйте ошибки сержант Цыпочки.

С краю шеренги задавленно смотрит недавно потерявший удостоверение маленький щуплый Цыпочка.

– Берите пример с вашего командира, – продолжает Тищенко, расстегивает карман голубой рубашки, двумя пальцами извлекает корочки. А корочки-то, оказывается, прикованы к железной цепке, а

цепка повешена на тонкогорлой, но крепкой, как бутылка, лейтенантской шее. Тищенко обводит шеренгу победными, поблескивающими сквозь очки глазами.

Шеренга шумит:

– Ну, командир! Навек пришпандорил! – прячут усмешки.

– Взвод! По постам! Разойдись! – командует Тищенко.

Чапура в курилке опять травит истории.

– А помнишь, Черепов, из 4-го взвода, на Дворцовом мосту показывал своей девахе, какая у него есть игрушка. Ну, и прострелил ей носопырку. Увезли на «Скорой» без носа. А Медведев из 1-го взвода. Охотник. Да ты его знаешь. В мехах ходит. Приезжает к нему ночью на Волково кладбище наш майор, Шептало Петр Петрович. Заходит в будку: – Ты опять пьян, – говорит, – сдай оружие.

А тот:

– Сам ты пьян. А я трезвей стеклышка.

– Едем на экспертизу, – говорит Шептало.

– А вот тебе экспертиза, – отвечает Медведев, достает дуло и ковыряет пулями кирпич над макушкой майора. Тот деру в дверь, ни жив, ни мертв.

А Белогорячиков, командир 2-го батальона, долбанул себя в висок в кабинете. Весь череп разнесло. Дело темное...

Большое, мрачное, как замок, здание универмага на Обводном канале. Этажи, этажи. Гудит улей торговли. Колышутся толпы. Пикет милиции: конурка с окном во двор, облезлый кожаный диван, куб-сейф, стол, телефон.

Мишка Мушкетов привел парня с грязными соломенными волосами, бьет его кулаком по шее. Тот мотается, как чучело на огороде, вопит:

– Сержант, не бей, больно!..

– Да я тебя сейчас на электростул посажу и провод с током в задницу воткну, ворюга! В Отделе обуви скинул с лап свои вонючие бахилы, надел новенькие английские колеса, и катится к выходу, как король...

Через полчаса Мушкетов приводит в пикет целый табор. В руках у Мушкетова ворох отобранных предметов спекуляции: чулки, колготки, шапочки, кофточки, импортная парфюмерия. Все швыряет на стол. В комнате несмолкаемый визг цыганского хора. Толстая Кармен кричит:

– Э, бесстыжая твоя рожа! На, грабь! Ничего больше нет. – И трясет перед сержантом чумазыми пальцами в золотых кольцах. Усатый сержант морщится и хладнокровно отстраняет от себя цыганку.

Администратор Лазарь Степанович с седым пушком на голове просит:

– Мишенька, приготовься, сейчас выкинем дефицит, дубленки из Польши.

В зале гул, дерутся локтями. Толпа колышется, изгибается, по лестницам, с этажа на этаж, как гигантский змей. К прилавку пробивается, орудуя костылем, высокий старикан в морщинистом грязном плаще, горит во всю щеку яркий румянец алкоголя. Старикан кричит медной глоткой, как армейская труба, требует: за раны ветерана импортная дубленка ему полагается без очереди... Старика сжала толпа женщин, шумят, галдят, сейчас разорвут на кусочки. К месту беспорядков приближается, раздвигая возмущенную массу, сержант, его рыжие усы дергаются. Мушкетов сегодня дежурный по универмагу. Значит, порядок будет железный.

Вечером у метро Быкова остановил старик в зипуне, с мешком за спиной, с обаятельной лайкой на поводке:

– Сынок, я приезжий, порядков не знаю. Можно в метро с собачкой, аль нет? Она у меня смирная.

Лайка смотрит дивными кроткими лучисто-карими глазами. Быков вздрогнул. Вздыхает:

– Нет, нельзя, папаша. Не положено.

Были политические занятия. В классе гвалт, на стене плакат, красными буквами тема:

Духовный прогресс личности
советского милиционера

Замполит Шептало с указкой за трибуной. Встает Мишка Мушкетов, тощий, дергаются злые рыжие усы:

– Я скажу! Что трудящемуся милиционеру духовный прогресс и перестройка личности!.. Вы, товарищ замполит, живете себе в своем трехкомнатном микрокоммунизме с ванной и телевизором, а я, как таракан, прогрессирую в своей казарме с женой и детенышем пятый год!.. А дежурил я на секретном складе, без окон, без вентиляции, за железными замками, как очумелая крыса. Падал в обморок через

каждый час от нехватки воздуха, и антисанитарной вони. Отнюхивался нашатырным спиртом. А потом говорят: Мушкетов опять на посту пьян. Где же справедливость, товарищ замполит? Вон и железный Феникс, – Мушкетов показывает на портрет Дзержинского на стене, – как осуждающе на нас смотрит!

– Да не Феникс, а Феликс. Сколько раз, Мушкетов, тебе повторять, – морщится за трибуной замполит Шептало.

Мушкетов продолжает:

– А в отпуск на родину слетал. Ползал с батькой в шахте на четвереньках, киркой шараял, как при царе Горохе. Чуть не завалило. Подпоры – труха. И жрать нечего. Пер отсюда чемодан колбасы.

– Мушкетов, что ты мелешь не по теме, хватит дебатов, садись! – машет обеими руками замполит Шептало. – Кто следующие? Булатов! Только по существу вопроса. Что такое духовный прогресс твоей личности?

Булатов молчит. Потом шепчет: – Иди ты к Эдите Пъехе...

Взвод шумит. Ловейко сзади набрасывает на шею Булатову аркан (веревку для связывания преступников). Булатов, черкес, багровый, свирепеет:

– Убью!

Шептало обоих выгоняет из класса указкой, как мальчишек. Начинает за трибуной речь:

– Миленькие мои, теперь, когда весь народ вступил в новую фазу духовной жизни...

После политзанятий Чапура, подмигивая:

– Еще раз звонил твоей птичке. Дал адресок, где тебя с поличным застукать можно. У нее голосок дрожит: «Мне-то какое дело. Знать его не желаю!..» Чапура гогочет. Напеваёт: ландыши, ландыши, светлого мая привет...

У Быкова дергаются губы, сжимает кулаки, говорит:

– Тронешь Веру – тебе не жить. Я не шучу.

– Я тоже, – сразу мрачнеет Чапура, и, тряхнув головой, сдвигает козырь на брови. – Поразговаривай, – заключает он, – враз кончу. Пикнуть не успеешь.

Быков и Чапура выходят на улицу. Идут. У пивного ларька драка, дубасят друг друга кружками по зубам. Чапура подходит, орет:

– А ну, рассыпья! Бомжи, туняядцы, пьяницы, ухогорлоносы!

Драка поворачивается к нему и застывает с поднятыми кружками в руках. Подъезжает фургон медвытрезвителя, и двое дюжих сержантов с помощью Чапуры и Быкова швыряют грязных уродин в фургон, как собак.

– На мыло их! – говорит Чапура.

– Орлы! – зовет Тищенко, – все на собрание!

Усаживаются в зале в ряды малиновых кресел. Там уже весь батальон. На возвышающейся сцене широкий стол, покрытый кумачом. Слева, у стены, большой белый Ленин из гипса. На противоположной стене метровый портрет Дзержинского в золотой рамке. За столом на стульях сидит президиум. В центре стола, под яркой люстрой, полковник Кучумов, постукивает карандашиком по графину с водой. К полковнику склонился майор Курков, говорит, морща лоб. Слева замполит Шептало с большим морковным карандашом. Справа шушукуются партсекретарь Севрюгин и комсомольский вожак сержант Шибанов. За трибуну встает сам полковник Кучумов с бумажной кипой, кладет листы перед собой. Поднимает руку, кричит в зал:

– Тихо!

Надевает очки, начинает говорить громким командным голосом, взглядывая через очки на бумагу перед ним:

– Товарищи! Исторический октябрь, говоря глобально, потряс судьбы мировых народов. С какими же итогами труда, товарищи, мы грядем к большому революционному юбилею?..

Лиц, в стадии алкогольного опьянения, оскорбляющего общественную нравственность, честь и достоинство советских граждан, нами в этом году сдано в медвытрезвители города в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Лиц, совершивших спекуляции и другие мелкие нарушения и преступления закона, нами сдано, товарищи, только в два раза больше по сравнению с прежним годом.

А вот лиц, совершивших хищения, хулиганство, грабеж, разбой, убийства и другие тяжкие уголовные преступления закона, этих лиц, товарищи, – и полковник Кучумов вдохновенно повышает голос, – нами в этом году сдано соответствующим службам в целых три раза больше, чем в прошлом году! Явный рост производительности труда, товарищи! Сами видите, какие у нас замечательные показатели. Но в то время, когда указы партии и правительства настраивают советских людей, говоря глобально, на повышенный режим трудовой жизни... –

полковник Кучумов снял очки, строго посмотрел в зал. Зал тих. В задних рядах просыпается сержант Цыпочка. Кучумов, выдержав многозначительную паузу, продолжает:

–...некоторые наши бойцы позволяют себе злостные нарушения дисциплины и вообще, вытворяют черт-те что. Таких артистов еще поискать! Таланты! Самородки! Не батальон, а балаган. А ведь мы с вами, товарищи, должны день и ночь думать о поголовной дисциплине в наших рядах. Железный Феликс нас бы сегодня по голове не погладил. – Кучумов пугливо взглядывает на суровый профиль Дзержинского на стене. – В этом году девять милиционеров батальона утратили удостоверения своей личности. Это Железкин, Чубарь, Цыпочка... Сержант Цыпочка, встать! Объясните нам, уважаемый сержант Цыпочка, при каких чрезвычайных обстоятельствах вы лишились удостоверения вашей драгоценной личности? Пожалуйста, сержант Цыпочка, мы все вас убедительно просим. Может быть, у вас произошла схватка с лютым рецидивистом, он-то и порвал в борьбе с вами ваше несчастное удостоверение? А?

Цыпочка переминается, хмуро смотрит в окно.

– Так что же вы, товарищ Цыпочка, молчите? А?

Цыпочка мямлит:

– Я же говорил...

– Ну, ну, дальше, Цыпочка, вылупляйтесь поскорей!..

– Ну, я же вам уже говорил, – бормочет Цыпочка.

– Да вы не мне, вы к товарищам-то повернитесь, им поведайте!

– Ну, в отпуске был, у матки с баткой, – неохотно объясняет Цыпочка, – показать попросили, никогда не видели еще, говорят, что за штука. А тут ихняя корова, думала – конфета, ну и сляздила из рук, жует, тварь такая, челюстями ворочает, как комбайн. Ну, что сделаешь с ней, с животным! Приучил братан конфеты жрать.

В зале смех, гримасы, ехидно зовут: цып, цып, цып, на конфетку!

– Тихо! – поднимает руку Кучумов. – Таким не место в органах милиции. Наши ряды, говоря глобально, должны быть безукоризненны. Таких из наших рядов надо вышибать железной метлой! На первый раз, Цыпочка, объявляю вам трое суток гауптвахты, – обратился полковник к поникшему сержанту. – А, вообще, выбить бы вам удостоверение на вашем лбу вместо клейма, чтобы до гроба не потеряли!

Пролетело еще восемь дней, точно пистолет разрядил обойму, выпалил все свои восемь пуль. Каждый день – дежурство.

Ночью вчетвером – Быков, Ловейко, Схватик и Булатов – на Витебском вокзале. Особое задание, рейд. Ловили беглецов-психов из спецбольницы. Шарили фонариками в темноте по шпалам, осматривали товарники, запасные пути, разбитые вагоны. Утром нашли в заброшенном вагоне Лупенко. Оброс щетиной, как железом, загнанная крыса с красными злыми глазками. Связали. Пинали сапогами за Витю Цветкова. Чуть не забили до смерти.

Теперь история с убийством Цветкова известна полностью. Дело было так. Лупенко под проливным дождем на безлюдной улице с невзрачными домами еще времен Достоевского свернул в подворотню с тусклой лампой и во дворе толкнул дверь парадной, справа. Спустился по ступеням в подвал, остановился перед мрачной железной дверью с глазком и несколько раз подряд, с ожесточением нажал кнопку звонка. Плащ Лупенко от влаги дождя потемнел и набух, с козырька скатывались капли, усы были унижены брызгами.

Лупенко услышал, как за дверью гремел ключом постовой милиционер, дожидавшийся смены. Мощная дверь со скрежетом отворилась, за ней, через шаг, была распахнута вторая железная дверь, а за той дверью была еще и стальная решетка, которая закрывалась на засов. Дальше виднелся длинный узкий коридор с осыпающейся известкой стен и темными потеками на них. От коридора в обе стороны шли лабиринтом разветвления. Электрический свет пыльных плафонов был желто-тускл, пахло подвальной затхлостью, несло хлоркой из туалета. Тщательно осмотрев двери помещений, проверив замки и пломбы, Лупенко принял смену, позвонил дежурному по батальону, проводил предшественника наружу, и закрыл, лязгая ключом, одну дверь за другой. Затем Лупенко вернулся к своему столу с телефоном и лампой. Шумела, переливаясь с журчащими звуками из неисправного бачка в унитаз вода. Больше ничего не могло услышать даже самое чуткое ухо.

Но Лупенко вздрогнул, вытянутое лицо, настороженный взгляд. Оглянулся в коридор. Затем лихорадочно расстегнул кобуру, достал пистолет, передернул затвор и с пистолетом в руке, крадучись, бесшумными шагами двинулся еще раз осматривать все бесконечные закоулки этого помещения, запутанного, как лабиринт, со стальными дверями в замках и пломбах.

Нет, ничего подозрительного Лупенко не обнаружил. Тогда он снова вернулся в центральный коридор, к своему столу, засунул пистолет обратно в кобуру, плюхнулся в кресло, вытянул ноги в сапогах и развернул газету.

Через какое-то время снаружи раздался оглушительный звонок. Лупенко вскочил с кресла, как пружина. Он быстро сунул газету в ящик стола и устремился открывать двери, поправляя на ходу галстук и фуражку.

У последней двери Лупенко поднял веко глазка и внимательно осмотрел человека снаружи, хотя он и был ему хорошо знаком. Уменьшенный фокусом линзы, стоял там командир отделения старшина Цветков, и усы его браво торчали стрелками, как у жука.

– Открывай, лютики-незабудки! Разглядывает, как в театре. Слеп, что ли? – шумел Цветков, и, вваливаясь, наконец, в помещение, внес запах дождя и сырой одежды.

Цветков был ветеран милиции, старшина, прослужил почти двадцать пять лет. К Новому году можно было и собирать документы на пенсию. Но это был мужчина в расцвете сорока пяти лет, крепкий телом, с бычьей шеей, с круглой головой в жестких черных волосах. Его лицо сияло солнечной добродушной улыбкой до ушей, показывая широкие, замечательной белизны зубы. Это был еще тот цветок! Чертополох! Кактус! Цветков гремел:

– Лютики-незабудки! Что ты все молчишь? Отвечай, как ты докочевал до такой жизни?..

Потом Цветков, наверное, стал рассказывать Лупенко, смущенному таким напором энергии и веселья, самые смачные последние анекдоты, и сам же раскатисто гоготал, массивно рассевшись в кресле и упираясь ручищами в колени. А Лупенко стоял перед ним и косо, вежливо улыбался.

Тут опять до слуха Лупенко раздался какой-то странный подозрительный звук, как будто кто-то с тихим ржавым скрипом открывает дверь где-то изнутри запломбированного помещения за поворотом коридора.

Лупенко опять выхватил из кобуры пистолет, который был уже на боевом взводе, судорожно двинулся вдоль стенки на полусогнутых ногах, устремив настороженный заледеневший взгляд в одну точку.

Цветков крикнул ему вслед:

– Ты что, совсем сдурел? Во шибанутый! Тебе бы только мышей стрелять!

Лупенко снова какое-то время, крадучись, обыскивал путаницу коридоров.

Когда же он, опять ничего не обнаружив, возвращался, прислушиваясь к каждому шороху, вдруг тихо скрипнула дверь позади него, Лупенко быстро обернулся, и пистолет выстрелил...

Человек застонал, захрипел:

– Ах, ты, лютики-незабудки... – и опустился в распахнутых дверях туалета. Это был командир отделения Цветков.

«...Наконец-то можно и отдохнуть, отоспаться» – вздыхает Быков, – домой, теперь уж домой». От Исакия шел к Неве, к Всаднику.

Выскочил лейтенант ГАИ в фосфоресцирующих манжетах, вращает колесом дубину-зебру, гонит автомобили по сторонам, как тучу стальных мух, туда-сюда, да хоть в воду, хоть на луну, к чертовой матери! Освободить дорогу!

В сумерках от Невы показался красный бисер, поворачивают у Всадника. Шарахнули фары, крутится на передовом милицейском газике, как бешеный, синий фонарь. Мчатся мотоциклисты-охранники в кожах, головы-яйца с гербами. Проносится стая черных шелестящих машин, за стеклами толстогубые профили эффиопов.

Быков идет по бульвару Профсоюзов. Остановился трамвай, распахнулись створки, вывалился Алкоголь Горыныч, в грязи, в блевотине, лоб раздрызган. Мытариться еще с этим сокровищем! Прислонил к стене. Патруль подберет.

Катится Быков в ночном безлюдном трамвае. Мимо Никольского собора, Крюкова канала. Старый-старый Петербург. Очень старый. Смотрит на скучные, плывущие в темноте дома, на мерцающую ухмылку воды. Лампочка-одуванчик в подворотне. Тусклые окна. Неожиданный на мгновение просвет неба между фасадами, страшный, как в иной мир. «Где это я? – думает Быков. – Этот кусок города брошен на съеденье псам!» Кроваво-кирпичное здание с содранной кожей. Железный еж у машины-чистильщика, как усы у Чапуры. Быков не выдерживает, кричит:

– Как называется этот город? На Л или на С?

Быков у себя в комнате. Смотрит в окно, огромный черный квадрат. А на стене постукивают часы, шагают на месте, как солдат с усами.

Вошел Чапура с милицейской кокардой на лбу.

– Эй, Быков, хочешь бабу? Смотри! – Чапура показал из штанин с малиновым кантом – Веру!..

– А ты не убежишь с моей у-тю-тю девочкой? – стал издеваться Чапура. – А вот я тебя прикую. – Снял пояс и прикрутил Быкова к батарее.

Быков орет:

– Чапура, отпусти! Зверь! Никуда я не убегу!..

А Чапура только гогочет.

Ничего нет. Темно. Хоть в глаза выстрели. Только звон и блеск на окне и потолке – трамвай. В зеркальном сапоге отразился негр. Порядок! Шагай сапог за порог! Цветочки на обоях лилово скучайте!

На Невском однообразии. Глаза и колеса.

Лучи-усы. «Рыба». Пролетают автобусы. Погасло К, горят АССЫ. Потом гаснет А.

Фонари, фонари. Рация о чем-то шумит-кричит. В пистолете спят восемь медных ос. Надо ночью охранять МЕДНОГО ВСАДНИКА на скале. Быков озирается, слушает: шумит роща, растет мерный плеск и звон, дробь барабана, и вдруг рядом ослепительно запела армейская труба. Шумя, шинелями бурого цвета, и звеня сапогами с железками, поблескивая зыбким тростником карабинов, марширует рота солдат-юнцов на Дворцовую площадь. Скоро праздник, парад, Великий Октябрь.

Номер на личном пистолете Быкова 1703. А надо ночью охранять Петра с конем на скале. Провались он в болото!.. Растет ветер. Ураганные порывы. В дрожащих фонарях блестит Петр, как сон. На нем позеленелый медный мундир. Как генерал. Голова в лаврах. Гроздь фонарей затряслась, зазвенела, фуражку Быкова унесло в Неву. Гранитный утес дрогнул, и над квадратнозубым конем тихонько шевельнулся Петр. Смотрит орлиным взором. Владыка! Не оторваться от его тусклого взора, прикованы глаза... А Нева взбухает, волны плещут пеной. Солдат, стреляй! Идет вода! Взлетела из рук Быкова птица-пистолет, блеснул вороненый клюв, лопнул огонь, вскрикнул выстрел над Невой яркой звездой...

И над утесами домов во сне летит выстрел на воле – такая развеселая звезда. А над городом медный гигант с перстом, и под ним у скалы солдатик со стиснутым в руке пистолетом.

Идет, идет Быков ночью. Свист ветра, мрак. Толстая баба обхватила фонарный столб, матерится по-черному, зовет: – Эй, сперматозоид в лампасах, проводи под ручку. Я за углом живу. Что вылупился? Нравлюсь? Смотри-ка – врзался с первого взгляда!

Быков видит: ну и бочка, рожа какая-то пористая, губищи, как раздавленные помидоры, ноги-бутыли, задница в грязи. Женщина! Зацепил, тащит, шатается, лужи свинские, нефтяные, ветер поспыстывает в водопроводных трубах.

Зашли в дом. – Хочешь, – говорит, – отблагодарю. Только тут. В квартире – ни-ни. Муж.

Ну, и отфанфарил же ее Быков. Прямо тут, на лестнице. За все! За Веру, за Надежду, за Любовь!

Дом трясся всеми этажами, как землетрясение.

– Ну, ты и зверь! Б-б-бы-ык!

Видит Быков, укладывают сослуживцы его в гроб, все при параде, с мрачными мордами, фуражки в руках. Скрестили Быкову руки на груди, кладут сверху гробовую крышку. А она никак не ставится, что-то мешает. Смотрит Быков: а это его мужское достоинство стоит столбом, живой живого, как ни в чем не бывало. Стыд и срам. Как же хоронить?

– А вот мы его сейчас малость подкорнаем, крышка и ляжет, как миленькая, – говорит Чапура и вытаскивает откуда-то из-за спины топор.

Ночь. Нева. Крепнет ветер. Вздувается вода, хлещет брызгами о гранит. Чудовища флота с цифрами на боку, разукрашенные флагами и гирляндами горящих лампочек, растопыренные пушками, покачиваются на волнах. Скоро великий праздник советской страны, большая революционная годовщина. Совсем скоро.

Тоска. Купил Быков бутылку. Пошел к соседям. В комнате табачный дым, сапоги. В карты режутся. Чьи-то босые ноги на кровати. Чапура уже там, пьет из горла бутылку «Бычья кровь».

Быков ревет:

– А, так ты кровь мою попиваешь! Смирно! Равняйся! Сволочи, паразиты, пьяницы, подонки, сброд!.. Я вас, лягавых, на уши поставлю!..

Чапура спокойно допил бутылку и пошел на Быкова. Началась свалка.

Что-то Быков совсем заскучал. «Если быть – то уж быть. Первым. Вот если бы я стал, как Гагарин, – первый космонавт на планете, – думает Быков. – Вот это жизнь! Космическая! Свобода! Молодая веселая кровь. С пылу, с жару. Ошеломлять башку и сшибать с

копыт... А закон стоит у ворот, чурбан в каске, с гербом на лбу, с автоматом. Кто его тут поставил, у зоны запрета для слаботерпимых? Начитался, сволочь, слюней, теперь рассуждаешь. Освободиться бы от всего, от всего!.. Нет, до чего ж скучно, – думает Быков, – куда ни сунься – морды, морды... Нет уж, – думает Быков, – я свои сапоги ни на что не променяю. Ни на какого Моцарта и Сальери. Плевать мне на них с Исаакиевского собора. Гады. Хоть бы раз дали путевочку в Париж. Что я, не человек? Я тоже хочу попутешествовать по всяким там заграницам... Вот сидела бы у меня на плечах генеральская звезда! Нет, лучше – министр внутренних дел».

Видит Быков самого себя в широких брюках с лампасом. А над ним ослепительными буквами лозунг:

Путевки в Париж – каждому советскому милиционеру!

Чапуря полирует щеткой сапог, напевая свою любимую песенку: ландыши, ландыши, светлого мая привет.

Щурит выпуклый желтый глаз, говорит:

– Быков, ты ведь свое получил. Полакомился девочкой, дай и другому. Что выкобениваешься? А все потому, что ты такой жадный.

– Ах ты, гад, змей! – вскрикивает Быков, машет пистолетом. – Убью!

Чапуря с усмешкой пожимает широкими плечами.

Выстрел. Чапуря и не дрогнул. Знай себе ухмыляется.

Быков стреляет и стреляет. Патроны кончились. Что делать? Стал доставать из кобуры запасную обойму. Где же она?.. А все зубы у него изо рта так и посыпались. Подставил ладонь – а это, оказывается, патроны, целая пригоршня.

– Вот тебе и запасная обойма, – говорит, подходя, Чапуря, и бьет Быкова сапогом в пах, потом в поддых.

Быков охает, приседает, хрипит с разинутым ртом.

Чапуря наваливается, жмет его коленом к полу, душит матерыми лапищами, ломая горло.

В мозгу Быкова взрываются и высоко возносятся, как фейерверк, большие кроваво-веселые звезды. Все выше и выше. Дух захватывает. Праздничный салют...

Потом все тухнет.

ВТОРАЯ БУТЫЛКА

Улица Шкапина, мрак, дождь. Ветер, внезапно набрасываясь, ударяет сбоку. Хорошо что – ватник. Ничего святого у этой погоды. И фонари трясутся в мутных свинцовых ореолах. Октябрь.

Нагнув незащищенную голову, преодолеваю пространство. Только бы старуха не закрыла пивной ларек. Впереди освещения больше, трамвай лязгает. По Обводному каналу косит дождик.

Ларек уже близко. Облизываю пересохшие губы. Какой-то темный тип загородил дорогу:

– Эй, мужик, дай рубль!

– Нету. Одна мелочь.

– Ну три рубля дай. Пять дай. Десять! – уже орет обезумевшим голосом, наступая на меня, уголовный верзила.

– Да нет ничего. Честное слово. Вот только двадцать копеек на кружку пива.

– А ты, оказывается, крепкий мужик, – удовлетворяется тот. – Ну, хоть хлебнуть оставишь.

У ларька стоит суровая мужская очередь. Стоит молча, вперив взгляд в заветное окошко, где толстые, как боровы, пальцы старухи брызжут водой, омывая кружку, поворачивают кран, и выращивают снежную вершину.

Впрочем, я обнаруживаю, что не только мужчины составляют общество пивного ларька. Две, которых для краткости лучше бы назвать на «б», находятся в сторонке и уже хлебают из кружек, размазывая помаду. В отличие от мужчин эти достаточно разговорчивы. Они вскрикивают и производят резкие жесты, обсуждая свои приключения. Особенно оживлена та, что выделяется весьма объемными формами и мясистой лицевой частью. Она держит кружку, изящно оттопырив похожий на сардельку мизинец. По ее плачу на живот стекает струйка пива. Кулаком другой руки она тычет в чахлую грудь подруги и закатывается хриплым хохотом.

Бледный юнец в кожаной кепке непринужденно предлагает:

– Идем со мной, что ли. Не пожалеешь.

Та пихает подругу в бок и гогочет:

– Слыхала, а?.. Да что я с тобой делать буду? У тебя еще пистолетик не вырос!

Наконец и я получаю свое облако пены. Мрачный верзила держится около меня, хоть и отвернул голову, безучастно взирая в мировое пространство.

Я ему оставляю почти половину. Он важно принимает кружку, не спеша делает пробный глоток, и потом замирает с задумчивостью дегустатора, чмокая губами.

Я уже собираюсь двигать в свою котельную, но замечаю, что накопившаяся очередь шумит и волнуется. Два бритоголовых, расправив плечи, отстраняют людскую мелочь и полновластно занимают место у окошка с пивом. При этом один из них нечаянно толкает под локоть моего нового знакомого, который как раз надумал сделать вторую пробу. Выплеснутые таким способом остатки пива, освежив его небритую физиономию, текут по щекам. Верзила утирается рукавом, произносит односложное ругательство и, резко взмахнув кружкой, бьет обидчика по зубам. Раздается хруст. Потерпевший садится на корточки и выплевывает, мыча, кровавую кашу. Друг его, горя мстью, лезет в карман (не за ножом ли?). Но верзила держится решительно, приготовив свое оружие для следующего удара. И это оружие грозно. Оно не обещает ничего приятного. Торчат острые, как бритва, зубцы стекла. Люди у ларька вросли в асфальт, столбы столбами. Женский пол завизжал.

Будто из-под земли вынырнул милицейский газик, и, сделав вираж, резко затормозил.. Выскочили два сержанта. А верзила с устрашающей кружкой, где же он? Ветер сдул?.. Очередь тычет в меня пальцем – этот с ним был. Тот, что так и не вытащил нож из кармана, тоже – нет его. Сержанты швырнули в фургон разбитого. Двинули и меня в спину, предлагая бесплатный проезд. Я понимаю: сопротивляться бессмысленно.

Во дворе районного отделения милиции оживленно, движется туда-сюда будничная милицейская форма. Из подъезжающих фургонов выгружают нарушителей общественного порядка и прочий преступный элемент и конвоируют во внутренние помещения. А оттуда уже оформленных преступников выводят, чтобы отправить в те или иные места – отбывать наказание. Профессионально отлаженный круглосуточный конвейер по обработке противозаконных людей.

Повели и меня, вместе с другим участником происшествия, разбитым и стонущим.

В тусклом помещении с загаженным полом сержанты, усадив своих подопечных на скамьи вдоль стен, пишут протоколы, выпытывая у виновных их паспортные данные, а также перечень имущества, находящегося при них. Затем ведут и встают в очередь, опять же к окошку, за которым сидит дежурный офицер с красной повязкой, и помогающий ему старшина. Но из этого окошка выдают отнюдь не пиво. И я, державшийся довольно равнодушно, начинаю трястись.

Дежурный офицер (то ли майор, то ли младший лейтенант) – знак звезды прыгает на его плечах, вводя в заблуждение своими размерами (дежурный офицер, ведающий судьбы, изрекает мой срок), и усатый конвоир-сержант, подталкивая в спину, гонит меня из помещения. Но мне не хочется: ох, как не хочется, и я пытаюсь тормозить.

Скользя безнадежным взглядом, замечаю: дюжий старшина, шкаф в мундире, сидит в сторонке, покачивая нечищенным сапогом. Его исполненная пунцовой и сытой важности личность не выражает никакого чувства по поводу заикающегося, похожего на бред повествования, которое расходует перед ним какой-то потрепанный бедолага.

Что-то озаряется, старшина мне знаком, и я кричу:

– Шмякин!

Тот поворачивается, он изумлен. Тряхнув лбом, сдвигает на брови козырек фуражки и орет во всю глотку:

– Охромеев! Ты тут чего?

Слабо улыбаюсь и развожу руками.

– погоди.

Идет к окошку. Дежурный раздражается:

– А раньше ты где был? Я его уже оформил.

– Этого взамен возьмешь, – невозмутимо говорит Шмякин, указывая на приведенного им бродягу. – Ему один хрен. Как его ни запиши.

Обмен происходит, Шмякин выводит меня на улицу. Радуюсь: ночь, город. Дождь поливает вволю, как ему хочется.

– Спасибо, – бормочу я, – если бы не ты...

– Не траться! – орет Шмякин. – Чешем ко мне. Надо встречу sprysnut'. Я ведь не из «уличников». Я к ним забрел бомжишку сдать. Из охранников я.

– Что ж ты, тюрьму охраняешь?

– Кроме тюрьмы есть что охранять, – наставительно произносит Шмякин, и поднимает палец. – Объекты особой государственной важности. Понял?

– В котельную мне надо, – вспоминаю я.

– Что, котлы взорвутся?

– Да нет, еще не пустили. Готовим.

– Ну, и забудь свою котельную.

Шмякин подвел меня к дому. Шесть этажей темны. Только на первом тускло размазывается по стеклу свет. Окно в решетке. Что тут охраняют?

Шмякин позвонил, нас пускают в заскрежетавшую дверь. Лычки младшего сержанта, усы.

Коридор, двери, таблички с цифрами. Шмякин вводит меня в комнату:

– Ну, располагайся. Ведь как чуял. У меня тут как раз бутылек конфискованный.

Из сейфа достает водку. Голый стол, желтая лакированная скака. Со стены смотрит Держинский. Неизменный. Незаменимый.

Шмякин разлил в стаканы:

– Ну, поехали! – крикнул. – Закуска – извини. Хочешь, вот со вчера корка завалилась.

После третьего стакана Шмякин принялся рассказывать, как он проходил у врачей обязательную каждый год проверку своего здоровья.

– Слушай, Охромеев, хохма. – Масляно заливается Шмякин. – Поначалу надо было анализы сдать. Ну, нацедил я мочи поллитровую банку. Старуха в халате говорит: «Ты что? Жеребец? Это же лошадиная доза!..» – «Ничего, – отвечаю, – анализы лучше получатся.» – Пошел я дальше – сидит девица, кровь из пальца шлангом высасывает. Ну, улыбаюсь, тары-бары, куда, говорю, вечером закатимся? Она – тоже, развеселилась. Глазищи – у! Раскрашенные во всю рожу. Как у коровы. Не прочь, в общем. И сама не заметила, как у меня чуть не канистру крови выкачала. Еле выбрался по стенке, как пьяный.

Я слушаю шмякинскую муру, крошу корку в пальцах. Шмякин продолжает:

– Вот, в кабинете хирурга, знаешь, подольше задержаться пришлось. Хирург, такая, знаешь, матрена, раздевайся, говорит. Снимай все – до носков. Что ж. Понятно. Посмотреть, у меня есть на что. В кабинете сразу откуда-то взялись три медсестрички, инструменты на столах переставлять им понадобилось. Сунула голову в дверь и четвертая, как будто с вопросом. А хирург брови нахмурила и спрашивает:

– А это что же у тебя на конце-то такое, а? Нарост какой-то?

– А это, – говорю, – мы на флоте из баловства. Шарики это у меня под кожей. (Помнишь, Охромеев, пьяному мне зашили тогда, стервецы, в конец шарикоподшипник).

У хирургши и очки на затылок полезли:

– Это для чего ж у тебя такое?

Медсестры инструменты перестали передвигать, уставились на меня, слушают.

– Ну, как же! Все для любви, – отвечаю. – Чтоб, значит, женщинам приятней было.

– И что? Приятно им?

– Еще бы. Катаются, как на роликах. Можно сказать, визжат от удовольствия.

Хирург аж на копытах вздыбилась:

– И тебе не стыдно?! Вот такие, как ты, и портят нашу сестру! Ну что, скажи, женщине после тебя делать?.. Разве она сможет жить с каким-другим?

– А мне-то что, – говорю, – после меня хоть потоп.

Хирургша визжит:

– Это надо у тебя вырезать!

А медсестры за меня заступаться стали:

– Клавдия Ивановна, но ведь у него это совсем вросло. Вы же видите. – А сами так и стреляют глазами. – Теперь операцию делать опасно. Пусть уж так и остается.

– Ха-ха-ха, – заливается Шмякин. Его глаза-щелочки масляно смеются. Мне становится не по себе. Сейчас он похож на веселящегося спрута в милицейской фуражке.

Допили остатки. Я заскучал. Шмякин меня подбадривает:

– Охромеев, не унывай. Сейчас еще добудем. На! Переоблачайся! – и Шмякин извлекает из сейфа полный комплект милицейской формы.

Выбрались наружу, на улицу. Шмякин уверенно зашагал к какой-то известной ему цели, увлекая за собой и меня, наряженного в новенькую форму с широким, как у ворона, глянцевым козырьком.

Шмякин останавливается и поводит носом, втягивая воздух. Заворачиваем за угол дома и направляемся в скверик. Там, на утопающей в грязи скамейке, мокнут под дождем два мужика. Они так и застывают со стаканами в руке. У одного из кармана плаща торчит еще не откупоренная водочная головка.

– Давай сюда, – требует Шмякин и показывает глазами на оттопыренный карман.

– Не отдам! – вдруг истошно завопил мужик. – Менты проклятые! Ведь на последнюю копейку купил, на кровную!..

– Ну-ну. Поразговаривай у меня, – лениво замечает Шмякин, – жду одну минуту.

– Сказал – не дам, и не дам, – продолжает кричать мужик, – Делайте со мной, что хотите!

– Не дашь? – меланхолично спрашивает Шмякин и икает.

– Не дам. Хоть застрели! – взвизгнул мужик.

– Последнее твое слово?

– Ага, последнее.

– Ну, ничего, – говорит Шмякин, – последнее, так последнее, – Достает из кобуры пистолет, и стреляет мужику в ухо.

Взяв из кармана распластанного трупа бутылку водки, Шмякин размашисто шагает из сквера. Я, ошеломленный, выпучив глаза, следую за ним, гремя сапогами, и оставляя на асфальте бурые комья грязи.

РОДИНА-МАТЬ

– Шевелись, Охромеев! Что ты, как мертвый! – кричит в ухо старшина Жудяк.

В темных водах витрин плывет моя голова, окровавленная околышем.

Транспорт гудит, зыбь зонтов, погодка.

Узнаю: Невский, Гостиный Двор. Сворачиваем на Садовую. Идем. Крыша галереи вдруг обрывается, дождь стрекочет по плащу автоматной очередью.

Тут – вправо. Жудяк пинает дверь, приглашает. Делаю шаг, и на меня, как из обрушенной бочки – шум, гам, гогот. Небольшое помещение полно горластого милицейства. Пахнет сапогами. Красный телефон визжит на столе, как зарезанный. Из облака дыма протягивается рука в повязке, рвет трубку:

– Дежурный по батальону сержант Фролов. А, товарищ полковник!.. Да заглохните вы, оглоеды! – кричит окружающим дежурный. Опять прижимает трубку к уху, пальцы заросли рыжим волосом, – алло, товарищ полков... будь сделано...

Я озираюсь. Повернуть обратно, назад? Поздно!

Жудяк облапывает меня медведем и ведет к дежурному сержанту, который бросил трубку и, впав в задумчивость, курит, пуская дым в левую сторону, туда, где за решеткой угрюмо пустует клетка для задержанных.

Жудяк орет, глуша все голоса:

– Фролов, ты что спишь стоя, как лошадь? Можешь зафиксировать. Это мой подопечный. Сегодня он будет при мне, в резерве.

Появляется капитан с нетвердой походкой, лицо вытянутое, скучное, тощ, как резиновая палка. Хрипло вскрикивает:

– Соколы! Выходи строиться!

– Суконцев. Зампослужбе, – уведомляет меня Жудяк.

Милиционеры, один за другим, ныряют в низкую дверь, пропадая в зевавшей темноте. Жудяк и меня толкает кулачищем в спину: я проваливаюсь.

Темная подворотня, резкая сырость, сквозняк. Подворотня

отгорожена от улицы двустворчатой железной дверью, висит замок. Голая лампочка-заморыш пытается с потолка освещать шеренгу. Стук дождя, шарканье, отрывки фраз.

Дежурный Фролов рад стараться. Выпучив глаза, горланит иерихонским петухом:

– Наряд, становись, равняйся, смирно!..

Капитан Суконцев страдальчески морщится. Его уху достается, он машет усталой рукой:

– Вольно, вольно... Фролов, читай информацию.

Тот распахивает толстенную в черной обложке библию и, помогая себе фонариком, начинает перечислять происшествия за сутки. Мрачной чередой идут грабежи, насилия, убийства. Шеренга пытается в темноте зафиксировать информацию в своих служебных книжках. Шушат плащи. Это святое дело милиционеров, Жудяк пихает в бок: пиши! Я пробую, держа на весу новенькую служебную книжку, чиркать на ее первом листе, но только зря терзаю страницу.

– Терпите, соколы, – икает капитан Суконцев. – Негде нам, бедным, приютиться, чтобы по-человечески... – опять икает, – инструктаж произвести. – Его вытянутое серое лицо даже и не пытается прятать равнодушие к совершаемой церемонии. До нас доносится с его стороны приятно контрастирующий с обстановкой аромат коньяка.

– Это его дежурный запах, – косит ухмылку Жудяк.

Суконцев продолжает бороться с икотой:

– Вы уж того... Вам пятьдесят рублей прибавили. Должны быть теперь счастливы, – как говорится, до задницы. А вы, знай дрыхнете на своих постах, как медведи. Вот Быков на Кировском мосту, фуражку под голову, и храпит так, что мост трясется со всем проезжающим транспортом. Вот, – говорит Суконцев, приложив ладонь к уху и прислушиваясь, – так и есть – храпит!

Шеренга заливается, громче всех лучистоглазый Фролов.

Суконцев обращается к нему:

– Я, Фролов, никогда не пойму, отчего ты такой веселый после ночного дежурства: радуешься, что смена, или стакан уже успел на грудь принять?

Фролов скалит зубы:

– Как же, стакан!

Суконцев замечает меня, тычет пальцем:

– Вот, прошу любить и жаловать, в наши ряды влился новый сотрудник... Как тебя величать-то?

– Охромеев, – негромко произношу я свою фамилию.

– Так вот, Охромеев. Наставником молодому кадру назначается всеми нами уважаемый командир отделения старшина Жудяк.

Жудяк приосанивается. Он доволен.

Суконцев продолжает:

– Эх, вы, соколы мои красноперые. Никто ж от вас особенно и не требует, чтобы вы ловили на улицах бандитов и подбирали пьяных. Разве уж никак нельзя обойти, тогда, конечно... У нас другой профиль работы. Наша задача – обеспечить охрану государственных объектов особой важности... Теперь напомним тему развода. Сегодня тема развода: вежливое обращение с гражданами. Короче говоря, в двух словах: если вы хотите взять за шкирку какого-нибудь нарушившего порядок гражданина, то сотрудник милиции прежде всего обязан приложить руку к козырьку и представиться: сержант Сидоров. Затем доходчиво и убедительно, без оскорбительных слов и жестов, не унижая человеческого достоинства гражданина, объяснить ему смысл его правонарушения, а тогда уж, без лишних слов, брать за жабры и тащить в отделение.

Суконцеву, наконец, надоедает говорить. Борьба с икотой становится затруднительна, она прерывает фразы в самый неподходящий момент. Но Суконцев вдруг преобразается, вскидывает голову, будто его потрянуло током, и громко командует:

– Наряд, смирно! – и начинает скороговоркой произносить, чтобы успеть до следующего ика, заключительную формулу так называемого развода:

– Приказываю заступить на охрану общественного порядка и собственности в городе-герое Ленинграде, на защиту жизни, здоровья и личного имущества граждан, а также... и так далее... Суконцев, застигнутый новым спазмом кишок, громко икает с утроенной из-за задержки утробной силой.

Комната милиции. Дежурный Фролов, весь так и искрясь веселостью, сдает смену другому сержанту, мрачному, как пуленепробиваемый сейф. Снимает ремень с кобурой, повязку.

Капитан Суконцев откинулся на стуле, шуршит газетой, бросает на стол. Сидит вялый, глиняный, с широкой беззусой губой, зевает, как могила.

Жудяк гудит мне в ухо:

– У-у, нагулялся! Видишь, совсем разваливается. Опять всю ночь девок на служебной машине возил.

Дверь взвизгивает от удара сапога. Влетает, нагнув голову, нечто обезьяноподобное, поперек погона толстая медная лычка, старший сержант. Подбегает к нам, срывает фуражку, швыряет на стол. Фуражка с высоким околышем, как стакан, козырек расколот.

– Чтoб его в рот... Я этого козла с говном съем. Дай закурить.

У Жудяка усы встают вертикально:

– Бойцов, ты чего? С цепи сорвался?

Тот сидит на столе, нога на ногу, глаза в опухших мешках. Мундир, как будто корова жевала. Ногти булыжником бум-бум-бум по столу. С яростью закуривает протянутую Жудяком папиросу:

– Чтo ты думаешь! Опять этот х... на службу не изволил. Ну, достучается. Я его в рот вы-бубу... – бурно всасывает дым и в неожиданном молчании начинает выпускать роскошные пушистые эллипсы, плывущие, покачиваясь, к потолку.

– Артист! – говорит Жудяк. И мне: – Знакомься. Бойцов, командир 2-го отделения. Мы с ним в пару тянем. И – Бойцову, похлопывая меня по плечу:

– Не обижай парня. Он у меня, так сказать, под крылом.

Бойцов смотрит оценивающе. Нетронутое бритвой лицо с сивыми колючками на подбородке улыбочиво расплывается:

– Мы его враз службе обучим. Мент будет – первый сорт. Верно говорю?

Я издаю стонущее мычание:

– Да не получится из меня... – Делаю движение, пытаюсь, как паутину, совлечь этот нелепый затянувшийся маскарад.

– Ты чего? – лапа Жудяка у меня на плече, – раздеваться решил, что ли? Тут тебе не пляж. А ну, сядь.

Дверь с улицы опять распаивается. Входит красавец-майор, рост, плечи, распаивающая во все лицо улыбка. С ним маленький лейтенант в очках-колесах. У лейтенанта под мышкой папка, он важно держит голову и при каждом шаге подпрыгивает коленкой.

– Вот и наша лягуха скачет – объявляет Жудяк.

Капитан Суконцев открывает усталые глаза.

Майор что-то говорит лейтенанту, светясь золотозубой улыбкой с высоты своего роста. У лейтенанта тонкогубый рот растягивается, как

резиновый, в ответной косой ухмылочке. Проходя мимо Суконцева, лейтенант взглядывает и отворачивается.

Скрываясь за майором в кабинете с табличкой «Командир батальона», лейтенант булавочно стрельнув сквозь очки, визгливо кидает Бойцову с Жудяком:

– Ждать здесь!

Суконцев тем временем встает, потягивается:

– Высшее начальство на месте. Теперь имею полное право всхрапнуть, э-э-э, в домашней обстановке. – Исчезает в дверях на улицу.

Жудяк пихает:

– Начальство ты должен знать назубок. Майор Румянцев, Сан Саньч. Наш царь и бог. А тот, с ним, твой взводный Тищенко. И Бойцову:

– Ох, подроет он Суконцева. Вот увидишь.

– Не-е! – возражает Бойцов, – не подроет.

– Румянцева от нас усылают, – назидательно информирует Жудяк.

– На его место парторг Жлоба. А Тищенко его давний дружок. Да что ты, Тищенко не знаешь. Он в любую ж... без мыла влезет.

Лейтенант Тищенко, взводный, выходит своей дрыгающей походкой из кабинета. Теперь он без фуражки, на темени блестит, как рубль, небольшая проплешина. Тищенко приглашает дежурных, производящих смену, зайти для доклада к командиру батальона. «Лучеглазый Фролов и тот, сейф, отправляются на ковер к Румянцеву.

Тищенко подходит к нам. Двумя пальцами, снизу вверх, как вилкой, вздергивает очки.

– Бойцов, где прошлое дежурство был? За весь день – четыре проверки.

Бойцов взрывается:

– Шура! Соси ты хер! Понял? Бегаю, как пес, по постам. Ноги по коленки стер. Пожрать некогда. Жена неделями не обласканная. Дети уже не признают. А ты еще – соль на раны.

– Фу! – морщится, отворачиваясь, Тищенко, – несет, как от винного завода. – Озирая сквозь очки обоих своих командиров отделений, заключает: – слушайте, братцы-кролики, больше я вас выгораживать не собираюсь. И парня вы мне испортите. Это уж к бабушке не ходи. Короче. Выметайтесь посты проверять. Чтобы

минимум восемь проверок на пост. Охромеев, с ними будешь. Изучай, золотце, службу. Потом на хороший объект поставлю. Жудяк! Ты у меня за него в ответе.

Жудяк зевает:

– Чего там. Что с ним сделается...

Бойцов достает из коробки две спички, одну обламывает, короткую и длинную зажимает в кулак, торчат одинаковые концы:

– Короткая – север. Длинная – юг.

Жудяк тащит. Длинная! Бойцов скалит зубы:

– Ничего. Тебе молодой поможет.

– Нам юг, – говорит Жудяк. – Там постов больше.

Что ж. Влекусь в сапогах вслед за бодро шагающим Жудяком по внутреннему двору Гостиного. Дождь долбит. Тоска асфальтовая в этом тылу торговли. И Жудяк в той же асфальтовой форме – избранный цвет представителей власти. Сам я, как это делается в фильмах ужасов, с головы до ног залит асфальтом. Спина Жудяка – глухая плоскость стены, шея кирпичной кладки, затылок булыжный. Жудяк двигается враскачку, грузно ставит скошенные каблуки, цокает подковками, поигрывает пузатым медным свистком на цепочке. То накрутит на палец, то опять раскрутит.

Двор пересекает толстый страж, ведет на ремешке овчарку. Милицейский бушлат треснул по шву у подмышки. На голове величиной с тыкву едва держится крошечная фуражонка, повернутая козырьком вбок. Овчарка раскормленная, глаза в мрачных кругах, по кличке Фемида.

Жудяк орет:

– Эй, Петренко! Пузо вперед! Ать два! Дрых всю ночь в залах вместе с «Фемидой», а теперь идешь дожимать в собачник? Шикарная у тебя служба. Так и гуляете вдвоем: от лежака до кормушки и обратно...

Кличку «Фемида» присвоил овчарке замполит Кузмичев. – Культурный он у нас, академии кончал, – объясняет на ходу Жудяк.

Добродушное лицо Петренко, заросшее ночной щетиной, ухмыляется.

Жудяк продолжает:

– У вас половину Гостиного из-под носа утащат, вы и не почувуете. Что ты, что Фемида.

Петренко, добродушно улыбаясь, замечает:

– Смотри, Жудяк, она шуток не понимает, – он показывает глазами на овчарку. – Перехватит разок – мало не покажется.

– Где вам! – пренебрежительно машет рукой Жудяк, – обожрались оба на казенных харчах. Только вот я не понимаю: как Фемида терпит, что ты у нее половину мяса хряпаешь? Будь я на ее месте, я бы тебе давно тыкву откусил.

Петренко не обижается, треплет овчарку по загривку:

– Мы с ней друзья. Она за меня любому глотку перервет. Ты, Жудяк, лучше ее не дразни. – И шествует дальше в свой собачник.

В залах Гостиного двора гудит торговля. Жудяк водит меня за собой, из отдела в отдел, с этажа на этаж, ищет постовых милиционеров, охраняющих социумущество и общественный порядок в торговой фирме. Пятерых он, в конце концов обнаружил, кого где: один смотрел утреннюю передачу в отделе телевизоров, другой завтракал в буфете, третий добирал пару часов сна в подсобном помещении, четвертый и пятый добросовестно исполняли свой долг, следя за колыханием жужжащей толпы в залах. Но вот на след шестого, некоего Молочкова, никак не удастся напасть.

– Где этот мерзавец прячется! – кипятится Жудяк, – я из него кефир сделаю!

Наконец находим этого самого Молочкова в отделе нижнего белья и сорочек. Он сидит на низенькой скамейке рядом с продавщицей цветущего возраста, одетой в розовый рабочий халатик, и в чем-то ее горячо убеждает. Девушка криво усмехается, клонит густо нагугалиненные ресницы.

Жудяк кричит:

– Ай да Молочков! Ты, я вижу, вплотную решил приступить к работе в органе внутренних дел. Так ты скоро у нас и отличником станешь.

По радиотрансляции просят сотрудников милиции срочно прибыть в зал верхней женской одежды.

– Что там еще стряслось? – Жудяк спешит в зал. Я и Молочков за ним.

В зале картина: две продавщицы пытаются удержать на месте толстую тетку с одутловатым лицом, вцепясь с двух сторон в полы роскошной норковой шубы. Тетка хрипло вскрикивает, машет руками, старается вырваться. Будто две птички отчаянно атакуют разбойницу-ворону. Еще одна продавщица брезгливо держит пальчиками какую-то чумазую хламиду.

Жудяк спокойно, с суровой важностью представителя власти, приближается к участникам происшествия. Он говорит:

– А! Старые знакомые! Ты что, мать, к зиме готовишься? Шкурку решила поменять?

Та видит Жудяка, делает торжественное лицо, поднимает руку с грязными растопыренными пальцами и патетически восклицает хриплым, пропитым голосом:

– Сынки! Защитники наши! Родина-мать вас не забудет!.. – Ее поза, действительно, довольно верно изображает известную символическую скульптуру Родины-матери.

Жудяк без церемоний берет «родину-мать» за шиворот новенькой незаконно присвоенной шубы и выводит из зала. Молочков следует за ним, держа в руке ее природную одежду, какое-то рваньё, вонючее, как из сортирной ямы. Я иду за Молочковым.

Опять мы оказываемся в комнате милиции. Там с повязкой дежурного уже не Фролов, а тот, сейф.

Жудяк ему:

– Охранкин, держи шуку! Это тебе в твой аквариум, как говорится, на разживу. Только смотри, чтобы она не разнесла его вдребезги!

Жудяк присаживается, достает из служебной сумки бланк протокола:

– Оформим-ка эту хищницу государственного имущества!

Охранкин тем временем скрежещет замком «аквариума», распаивает железную дверцу и пинком в спину толкает внутрь освобожденную от шубы воровку. Опять закрывает дверь, лязгая ключом.

Железная клетка, которая до сих пор пустовала и казалась каким-то ирреальным сооружением из-за отсутствия в ней чего-либо живого, теперь имеет вполне нормальный рабочий вид и оглашается хриплыми воплями. Вплюснув в решетку свою фиолетовую физиономию «родина-мать» кричит:

– Сынки! Сволочи! Х... мороженые! Посс... пустите! Имею полное законное право посс...ть!

Жудяк, не обращая на ее вопли внимания, продолжает деловито составлять протокол.

ЕВА

Мрачный денек. Дождь поливает, как из шланга. Топай тут в сапогах. Мучается старшина Матусевич. Со мной неприветлив. Разговаривает резкими фразами:

– Мудак Тищенко – зачем тебя прислал? Некуда ему людей девать... Со-о-бор! Чего в нем? Целый день экскурсии. Налетают, как вороны. Ах, красота! Ах, архитектура! – Матусевич в ожесточении плюет на паперть. – Со-о-бор! Религия была. Теперь тут сплошной атеизм. Музей сделали. Понимать надо – памятник, народное достояние. Экспонаты не лапать. – Матусевич морщится, отворачивается от дождя и ветра. – Не Ташкент. А еще ремонт внутри затеяли. Зарылся бы там где-нибудь. А то – тарарахают с утра дверями на весь собор. Доски таскают, бочки катают. Пойдет гулять сквознячок, засифонит в куполе. Куда денешься?

Пройдя со мной великанскую рощу колонн, Матусевич не без труда открывает массивную, визжащую дверь с бронзовой ручкой. В коридоре тьма, хоть в глаза выстрели. Наконец он нащупывает вторую дверь, и мы попадаем в замкнутый сумрак собора, под его неприветливые пещерные своды. У Матусевича физиономия принимает уныло-свинцовое выражение. Что ж, мне тоже радоваться нечему. Нам предстоит суточное заключение в этом каменном мешке.

На возвышении, к которому ведут ступени, стоит стол, излучает бодрое сияние лампа под жестяной шляпой наподобие гриба. За столом угнездилась вахтенная старушка Софья Семеновна, в пуховом платке и ватнике. Она выдает гигантские железные ключи взбирающимся к ней по ступеням работникам музея. Софья Семеновна жалостливо спрашивает меня:

– За что же тебя сюда, сынок?

С простыми работниками музея и со случайными заходящими людьми, не знающими, что – ремонт, а потому экскурсии отменены, Софья Семеновна сурова, требует пропуск и звонко вразумляет упрямцев под акустическими сводами.

Чтобы не мерзнуть, я странствую по собору, стучаю сапогами, созерцаю иконы и фрески. Иисус Христос смотрит со стены страшными всевидящими глазами. Я отворачиваюсь. Подхожу к

реставраторам. Они возятся на полу с каменными плитами, звякают зубильцами.

Матусевич зовет, машет рукой. Иду. Помогаю открывать створы дверей наружу. Сиплые ватники таскают доски. А бандитский ветер, ворвавшись в собор, сырыми холодными пальцами хватает меня за горло. Я кашляю и проклинаю все соборы в мире. Стукаю сапогом о сапог. Кружу по собору, заглядывая во все закоулки.

Смотрю: фанерой отгорожено пространство. Там темно. Валяются обломки скульптур, руки, ноги, мраморы без голов, в пыли, в хламе. В нише странная кроватка на львиных лапах. Мрачно блестит позолота. На кровати, как будто спит, целехонькая мраморная красотка. Вот ведь. И не холодно-то ей ничуть.

Матусевич подходит:

– Что? На голых баб заглядываешься? Вишь: Ева!

В течение дня два раза приходил командир отделения Бойцов в своей фуражке с высоким околышем, наподобие стакана, козырек расколот. Громыхал под сводами:

– Ну что, живы еще? Ну и рожи! Как у вяленой воблы. И глаза какие-то бессмысленные. Ничего, в другой обход буду – вы у меня совсем задубеете. Можно будет с пивом закусывать.

Но, видя угрюмую реакцию Матусевича на его скользкие шуточки, Бойцов яростно трясет шариковую ручку, бормочет фигурные выражения, и, торопясь, словно конькобежец на льду, вывести в служебной книжке фразу о благополучии на посту, безжалостно терзает бумагу.

Наконец вечность рабочего дня начинает иссякать. Музейщики и ремонтники потянулись к выходу. Что они, как мумии! Гнать бы их рукояткой пистолета по башке... Они поднимаются по ступеням к тронному возвышению, где восседает Софья Семеновна, и преподносят ей звякающие связки ключей. Софья Семеновна, строго принимает подношения, упрячивает их в ящик стола, и дарует подносящим жизнь и волю. И те, наконец, воскресают для иной формы существования. Лица расцветают, голоса звенят, жесты становятся грациозны. Это их звездный миг, праздничная вспышка всех чувств в предвкушении свободного вечера. И окрыленные счастливицы исчезают до утра.

Мы с Матусевичем выходим из собора наружу, на широкую паперть, под колонны. Колючий ледяной дождик сечет лицо. Мутно

освещают тьму шары фонарей. Невский шумит, вспыхивают фары, ненастье гонит косые фигурки пешеходов.

Спускаемся к каналу. Гранит мокрый, скользкий. Шагаем вокруг здания, смотрим на окна с тусклыми бликами – все ли в сохранности. Обойдя собор, мы опять видим ночной Невский, и уже собираемся укрыться внутри вверенного под нашу охрану объекта. Тут Матусевич заметил сидящую на ступенях девицу с лохматой опущенной головой. Девица что-то бормочет. Рядом, на ступени смутно малинует упавший с головы берет.

– Эй, пьянь! – злобно толкает ее Матусевич, – нашла, где устроиться.

Та с трудом поднимает голову, смотрит на Матусевича мутными, ничего не выражающими глазами и икает.

– Только из пеленок, а уж, видно, потаскалась по кобелям, – говорит Матусевич. Сапогом поддает ее малиновый берет и приказывает:

– А ну, бери покрывало и айда со мной. Слышишь, ты, трехрублевая!

Та смотрит на Матусевича, лепечет с наивной расплывающейся улыбкой:

– Мне домой надо. Меня мама ждет, – и снова роняет голову.

Матусевич берет ее за воротник своей ручищей и тащит по ступеням. Она икает и клянется, что ничего у нее нет. Матусевич вскрикивает:

– Молчи, шмара!

Затащив ее внутрь собора, Матусевич начинает допрос:

– Отвечай, где назюзюкалась, при какой гостинице работаешь, сколько берешь с рыла?

Девица начинает трезветь, она испуганно смотрит на Матусевича широкими зрачками и дрожит.

– Я не понимаю... Мы у подруги... Мне домой надо, на 9-ю линию.

– Что ты мне мозги пачкаешь! – стервенеет Матусевич, – лучше скажи, чистая или, может, с сюрпризом. Лечись потом после тебя.

Девица смотрит на Матусевича, как в гипнозе, глаза расширены до невозможности, в них ужас.

– Может, договоримся, – продолжает Матусевич, – а то – сейчас в отделение. А там ребята, не то, что я. Ласковые ребята. Они тебя враз обрабатывают.

Тут подходит старушка Софья Семеновна:

– Да отпусти ты ее, Вань. Греха потом не оберешься.

Матусевич фыркает в усы, мясистыми багровыми пальцами вращает кружок телефона, вызывает машину из отделения.

Через пять минут появляются, как из-под земли, два сержанта в изжеванных шинелях, с шапками на затылке. Они тащат девицу, как парализованную, ноги ее в розовых сапожках волокутся, царапая носками каменный пол. Лицо девицы в гримасе ужаса повернуто назад.

Софья Семеновна тем временем, разложила на столе под световым кругом лампы газету и на ней всякую снедь.

– Сынки, – говорит Софья Семеновна, – первое средство от холода – покушать. Ну-ка: яички, хлебушко, маслице... Чаек на мяте заварен.

Поужинали.

– Теперь и почивать, – говорит Софья Семеновна, – ты, сынок, поди туда, за фанеру, – говорит она мне, – кроватища-то там, дуру-то мраморную спихни, я тебе ватников дам. Ничего, тепло будет.

В это время раскатились эхом по собору глухие торопливые шаги... Я вздрагиваю и впиваюсь глазами в темноту. Ничего там не видно. Стоит сплошной мрак.

Матусевич хмыкает:

– Что? Струхнул?

А Софья Семеновна объясняет:

– Крыска это. На прогул вышла. А будто здоровенный мужик башмачищами тукает. А-а-кус-тика! Я тут, сынок, первые года до смерти дрожала. Одна-одинешенька. Теперь уж пятнадцать лет вахтую. Жизнь тут, можно сказать, прожила. А с вами-то, сынки, милое дело. Вон у вас – пистолетины! Да и кто сюда сунется. Разве что окно шибанут камнем...

Тут тарарахнуло над нами сверху, где-то в куполе. Я опять вздрагиваю и задираю голову в мрачную, как сапог, темноту.

– Это ничего, – успокаивает Софья Семеновна, – это оконце в куполе на ветру постукивает.

Гулы умолкли. Тишина. Я иду за фанерную перегородку – малость поспать. Хоть инструкция запрещает, а веки-то свинцовые.

Там темнота. Только от окна падает слабый свет. Кровать кажется огромной, как для великана. Устраиваюсь на ложе и вытягиваю усталые ноги, брякнув каблуками. Мраморная женщина, отодвинутая мной, лежит рядом бесчувственным неподвижным телом. Ее соседство

меня ничуть не беспокоит. Мрачная музейная пещера погребла меня в глубине первобытных времен.

Опять раздаются по камню громоподобные шаги. Крыса! А как будто, по меньшей мере, мамонт ходит. До меня теперь не докопаешься, – думаю, – я тут, как в кургане. И начинаю проваливаться в сон.

Кто-то толкнул в бок... Открываю глаза, смотрю – та, мраморная. Сидит, обхватив колени, зрачки сумрачно поблескивают.

– Эй, лягаш! Или дело делай, или убирайся! – говорит она. Я холодею. Все мои члены парализованы. Только сердце колотится с таким грохотом, словно утрамбовочная «баба» забивает мне в грудь бетонную сваю.

– Ну! – говорит мраморная, – долго я буду ждать?

Мне становится жарко. Как в тропиках. Надо мной стоит Ева с бледным непроницаемым лицом, глаза, как бездонные колодцы...

– Да проснись ты, сынок! Не дотолкаешься тебя. Иди скорей, там к тебе начальник пришел, ждет. Утро уже. Да ты что? Никак с этой каменной душой спал? А вцепился-то, люди добрые! Посмотрел бы кто, хороша парочка... Шапку-то поправь, кокарда на затылке.

Меня ждет взводный Тищенко, гордо держа голову, постукивая каблуком и нервно вздергивая двумя пальцами очки.

– Ну, как ты тут, жив еще? – спрашивает он, пристально глядя на меня сквозь очки, и отворачивается.

– Кажись, жив, – хрипло бурчу в ответ, еще не придя в себя от ночного кошмара.

– Охромеев, золотце, слушай, такой парадокс, – бодрым звонким голосом заговаривает лейтенант, придвинувшись ко мне и крутя пуговицу у меня на шинели, – Матусевича я на другой пост отправил. А на замену тебе прислать некого. Все болеют. Понимаешь, такой парадокс. Так что, Охромеев, продержись еще сутки, а? Я тебе, золотце, потом неделю отгула дам.

– Да, но, э...

Тищенко не находит нужным дожидаться большей членораздельности моей речи и быстрой дрыгающей походкой исчезает в дверях.

Ничего! Матусевич дал мне хороший урок! Я обхватываю мраморную Еву за туловище и волоку из собора. Гулко бороздят пол ноги Евы. Чего уж. Свалю в канал – и амба.

ИСПОЛНЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

Комбат Жлоба говорит:

– Бойцы, есть возможность отличиться. Поступил сигнал: этой ночью готовится широкомасштабное преступление на охраняемый нашим батальоном объект государственного значения. Неизвестные лица собираются похитить изделия секретного производства. Тищенко! – обращается, комбат к взводному, – расставь людей. В проходных, по цехам, снаружи, под стенами. Бойцова, Жудяка – в засаду. Вот и Охромееву дай ответственное задание. Пусть себя покажет в настоящем деле. Проведете удачно операцию – каждому премию по окладу. Да не бойтесь оружие применять в соответствии с уставом... Ну, шагом марш!

Что ж, расскажу и об этом сверхсекретном объекте. Каждое утро запыленные автобусы привозят сюда дремотную рабочую массу. Впрочем, ее доставляют сюда четыре раза в сутки, обеспечивая четыре смены непрерывного производства. Люди выгружаются, и тут кончается город и простирается пустыня бурой бесплодной почвы. Железные башни тянут через поле гигантскую высоковольтную сеть. Ржавый трубопровод, коленчато изгибаясь, ползет за горизонт. Шум ветра тут постоянен. Покачиваются чахлые колючие репейники. И в этих беспросветных октябрьских сумерках шум ветра может смениться только шумом дождя. Люди шелестят плащами. Дорога, выложенная бетонными плитами, упирается в колоссальную стену. Внизу – ворота и проходная с вертушкой. Два усатых сержанта в милицейской форме, с автоматами за плечами, мрачно проверяют пропуска, которые должны, помимо всего, иметь особые знаки.

Секретное предприятие занимает своими многоэтажными цехами и сооружениями не меньше квадратного километра площади, ограждено мощной стеной и тщательно охраняется спецстражей.

Электрик Тихомиров машинально двигается в цепочке рабочих людей с поднятыми в руке пропусками. Его трогает за плечо Бойцов:

– Эй, электрическая сила, просыпайся! – говорит он. – Зайдешь ко мне после обеда в караулку. Дело есть.

– Ладно, зайду, – равнодушным машинальным голосом отвечает Тихомиров. Это и есть тот самый осведомитель, который дал знать нам в охрану, что намечается преступление.

В обширном помещении раздевалки ряды пронумерованных железных шкафчиков, тут Тихомиров переоблачается. Теперь на нем безукоризненно белый халат, выстиранный к понедельнику, и такой же белизны колпак на голове. Эту форму обязан носить весь персонал предприятия, от директора до последнего грузчика. У грузчиков, правда, новенькие халаты к концу смены приобретают такой же глиняно-бурый цвет, как и пустынное поле, простирающееся за стенами цехов. В конце смены все без исключения на этом предприятии получают за вредность труда ящики молока в бутылках. Молоко не ограничено, хоть залейся.

Тихомиров, пройдя лабиринт коридоров останавливается у входа в герметическую зону. Тут, у входа, за столом с ярко-красным, можно сказать, пламенным телефоном, восседает еще один страж. Он, как и все, в белом халате и в колпаке, но с погонями и кокардой. Требуется предъявить спецпропуск в гермзону.

Тихомиров вступает под своды секретного изолированного производства. Помещения цехов заливают яркий искусственный свет, блестят металлы механизмов, двигаются люди с сосредоточенными серо-стерильными лицами. Воздух тепел и густ от масляных испарений машин, химических запахов, излучений токов. В сфере гермзоны дыхание учащается, непрерывный монотонный гул мутит мозг, подступает тошнота. Не зря тут платят работникам большие деньги.

Тихомиров входит в комнату дежурных электриков. Бригадир Иван Федорович говорит Тихомирову:

– Сиди пока. Ребята без тебя справятся. Все равно, от тебя не работа, а один вред. Больше напакостишь, чем сделаешь. Пиши вот лучше в журнал – какие если заявки на ремонт будут. Понял?

– Понял, – зевая, отвечает Тихомиров. Садится на стул. Монотонный рабочий гул гермзоны неудержимо тянет его в сон. Снится ему, что у него голова ослепительная и прозрачная и горит в ней вместо мозга электрический червячок. Повернул Тихомиров свою голову, как лампу в патроне, голова повернулась и потухла, и стала падать с какой-то гигантской высоты – сейчас разобьется вдребезги...

Тихомиров просыпается и судорожно дергается вверх головой, которая уже чуть не перевесила его тело, увлекая к полу.

Работы нет и после обеда. Бригадир отпустил, и Тихомиров направляется в караулку, как ему сказал Бойцов. Караулка находится во дворе, в особом служебном флигеле.

В караульной комнате четыре милиционера стучат за столом костяшками домино. Медведеобразный старшина спит на стуле, раскинув ноги в сапогах и свесив голову. Козырек фуражки съехал ему на нос, а мясистая нижняя губа вяло отвисла. Это Жудяк. Утомился он. За отдельным столом с лампой что-то пишет низенький лейтенант в очках. На непокрытой голове блестит, как рубль, небольшая плешь. Взводный Тищенко работает, отчеты пишет.

Бойцов, доиграв партию домино, подходит к Тихомирову:

– Электрическая сила, слушай, ты еще не передумал? Место ведь у нас освободилось. Я уже о тебе говорил. Ну как, согласен?

– Сумею ли, – сомневается Тихомиров.

– Еще как сумеешь. Такой богатырь! – Бойцов усмехается, окидывает взглядом щуплого электрика. – Главное, здоровым воздухом дышать будешь. И капуста солидная. Тут охрана на особом положении. А в гермзоне ты совсем зачакнешь.

– Шура, – обращается Бойцов к Тищенко, – вот этот парень, я тебе говорил.

Взводный отрывается от писанины и булавочно взглядывает сквозь очки на Бойцова:

– Что, премию на пропой зарабатываешь? Посмотрел бы в зеркало. Кирпич твоей морды краше.

Бойцов отводит электрика в сторону:

– Не сокрушайся. Через месяц будешь у нас работать. А пока примерь-ка, – и Бойцов сует ему запасной комплект обмундирования.

И Тихомиров важно примеряет в зеркале то мундир, то плащ, то фуражку с гербом представителя власти.

Бойцов тем временем входит в раж, он командует:

– Теперь повторяй за мной присягу: клянусь беззаветно стоять на страже советского правопорядка и бороться с преступностью не щадя своих сил, а если понадобится, то отдать саму жизнь... Если же я нарушу эту священную клятву, пусть я понесу кару со всей строгостью советского закона...

Тихомиров повторяет механическим голосом, как попугай:

– Клянусь беззаветно... со всей строгостью закона... – голос его бойко звенит под бетонными сводами.

Тищенко не выдерживает:

– Бойцов, прекрати театр! Что, тебе больше заняться нечем? Отправляйся на проходную. Жудяк! Хватит дрыхнуть! Бери

Охромеева, пусть он Павлюкова на вышке сменит. Завалите операцию – три шкуры сдеру!

Тихомиров, сознавая свое повышенное социальное значение, облаченный в форму, следует за Бойцовым, в проходную. Он вроде как на испытательной практике. Там, в проходной, он начинает мрачно и строго проверять пропуск у текущей с обеденного перерыва рабочей массы. Он останавливает своего начальника, бригадира дежурных электриков, и важно говорит:

– Федорыч, пришли какого-нибудь парня лампу вкрутить в проходной поярче. Пропусков не разглядеть.

Бригадир Федорыч смотрит на своего подчиненного, преобразившегося за каких-нибудь полчаса в столь неожиданным виде, и в его широко разинутый от изумления рот вполне можно вставить лампу в 500 ватт.

Предприятие тем временем живет своей жизнью как небольшое самостоятельное государство. Гудят и лязгают цеха, дымят трубы, разъезжаются автоматические створки ворот, выпускающая бронированные грузовики с секретной продукцией.

Ночью я дежурю на вышке. Поглядываю на бетонную стену, ограждающую светлые корпуса цехов от таинственной зловещей черноты осеннего поля. Стена освещается фонарями, ее требуется охранять от преступных происков, посягающих на тайны государства. Шинелка не спасает от пронизывающего ночного холода. Тоскливо шуршит дождик.

Снизу брызнул луч фонарика, и раздается визгливый голос взводного Тищенко:

– Охромеев, а ну, покажись Жив еще?

– Жив, – уныло отзываюсь я.

– Будь начеку, Охромеев. Бди в оба, – говорит взводный.

– Я и так бдю, – отвечаю.

– Что-то в тебе энтузиазма нет, Охромеев. Скажу замполиту, чтобы он тебя малость подзажег идеями строителя коммунизма, – говорит взводный и уходит.

К концу своего 4-х часового дежурства я смертельно продрог от ночного октябрьского холода и каждую минуту смотрю на часы, отворачивая рукав шинели. На стену, которую мне приказано охранять, мне уже начхать. Провались она в болото!..

Что-то звякнуло. Я вздрогнул. И сразу замечаю на освещенной стене, на фоне ночи отчетливый силуэт человека.

– Стой, стрелять буду! – кричу я.

Но человек бежит в сторону от меня, качаясь на высоте руками. Что делать? Стреляю в воздух. Но и это предупреждение не останавливает неизвестного человека. Тогда я выполняю пункты строжайшей инструкции и, уловив мушкой бегущего человека, как учили, нажимаю спусковой крючок. Человек на стене вздрагивает и, взмахнув руками, как подбитый журавль крыльями, рушится вниз.

На выстрел прибегают, топоча сапогами, Тищенко, Жудяк, Бойцов и прочие.

Тищенко снимает фуражку, блестит под фонарем круглая, как медаль, плешь.

– Ничего, Охромеев, не трясись. Все как надо. Ты исполнил свой служебный долг. Премия, считай, в кармане.

Тищенко надевает фуражку:

– Вот дурак! – обращается он к раненому, – я ж тебя знаю; ты из слесарного цеха. Чего, балда, бежал? И похитил-то всего – старую газету «Правда». У мастера из стола. Зачем, тебе, скажи, газета понадобилась? – недоумевает Тищенко.

– Зачем, зачем? – дразнит Бойцов, – посрать хотел на вольном воздухе. На подтирку, вот зачем.

Матерящегося рабочего положили на носилки из-под цемента и куда-то унесли.

ПОКУШАЙТЕ В РЕСТОРАНЕ

– Жудяк! – кричит визгливым голосом взводный, – отвезешь своего подопечного в «Бриллиант». Пусть его там Дубченко натаскает. Понял?

Что ж. Отправляемся в «Бриллиант».

На подступах к магазину заслон людей южных национальностей. Они пытаются остановить спешащих в магазин, что-то им предлагая.

– Пасутся. – Фиксирует факт Жудяк. – Значит, сегодня дают.

– Как это – дают?

– Наивняк ты, Охромеев! Золото теперь дают, только у кого спецталоны имеются. Так, с улицы, всякому встречному-поперечному золото теперь не улыбается. Вот эти кучерявые и скупают по двойной цене. Денег-то у них – куры не клюют, а спецталона нема.

Группа азиатов, увидев нас, сторонится, освобождая дорогу. Их красивые агатовые глаза невозмутимо провожают нас, пока мы не скрываемся за дверями магазина.

В зале с зеркальными витринами уютно горит электричество, отражаясь и дробясь самоцветными огоньками. Очередь в кассу, у всех в руках спецталоны. За прилавком симпатичная девушка-продавщица.

Жудяк ищет глазами, загорается злорадством. Прикладывает палец к губам, показывая движением головы. Вижу: в другом конце зала – солидный лысоватый сержант. Он держит фуражку в руке наподобие подноса, и интимно беседует с каким-то низкорослым братом Али-Бабы. Жудяк подкрадывается, прячась за спинами. Неожиданно вынырнув своей усатой тюленьей головой перед оторопевшим сержантом, он спрашивает:

– Дубченко, почему золотишко? Опять двойную цену дерешь?

Дубченко моргает, фуражка-поднос дрожит в руке:

– Не топи! Может, что достать надо – сейчас сделаю.

– Не топи! Да ты за мою доброту кокарду из чистого золота мне отлить должен! – И Жудяк бодает воздух, гневно потряхнув фуражкой на голове. – Сварганишь мне три цепи. Самые крупные. Понял? – заключает Жудяк. Он пишет в постовую книжку, что милиционер Дубченко на месте, и у него на посту все в полном порядке, и никаких замечаний не имеется. Отводит меня в сторону:

– Что ты думаешь, – осведомляет Жудяк, – этот Дубченко еще тот деятель. Ты с ним держи ухо востро. Втянет тебя, зеленого, в какую-нибудь историю. Ну, бывай, Охромеев. Осваивайся тут. Я еще загляну. – Жудяк уходит.

Я смотрю: за прилавками с драгоценностями продавщицы, молоденькие девочки. В кассе взгромоздилась за аппаратом сова в очках.

Дубченко подмигивает мне, говорит кассирше:

– Марья Иванна, тоска-то какая! Хоть бы напал кто. Ух бы я наделал в нем дырок. Как в ситечке!

– Дурак! Накаркаешь! – огрызается Марья Иванна.

Дубченко молодцевато прохаживается по залу, поправляя на боку кобуру с оружием. Облокачивается на прилавок, поглаживает свой пышно-рыжий, свисающий к подбородку ус.

– Маринка, – говорит он симпатичной продавщице в сиреновом служебном халатике, – серьги требуются. С брульянтом. Сообразишь?

– Что я тебе, склад что ли? – цедит Маринка. – Подкатывайся к заведующей. Она ж от тебя тает.

Маринка отворачивается, достает из кармана зеркальце и помадный карандаш и принимается рисовать себе пламенные, как гранат, губы.

Дубченко продолжает обход вверенных ему под охрану помещений. Я сопровождаю. В особой комнате принимаются от населения изделия из драгоценных металлов на комиссию. В коридоре, перед дверью сидят граждане, мирно дожидаясь своей очереди. Обаятельный молодой человек в потертых джинсах горячо убеждает двух женщин, пытаясь рассеять выражение нерешительности на их лицах. Увидев Дубченко, он выпрямляется, широко улыбаясь полным золотых зубов ртом.

– Опять ты тут пасешься? – говорит Дубченко. – Я же предупреждал. Ну, пойдём.

– Сержант. Все понял. Больше ни-ни, – заверяет золотозубый, выйдя вслед за Дубченко на улицу.

– Тебе что, больше всех надо? – спрашивает Дубченко. Места своего не знаешь? Чтоб за десять шагов от магазина ты мне не попадался.

– А это? – улыбается перекупщик, потирая большой палец об указательный.

– Что-то ты сегодня такой разговорчивый, – замечает Дубченко, закуривая. – Эх, тоска! И пухнуть-то не в кого. Хоть бы бешеная собака пробежала.

Подкатил белый, сверкающий как рояль, фиат. Откинулась дверца. Из машины появляется красивая, средних лет грузинка, горбоносая, с вороненой гривой, пальцы в перстнях.

– Я хочу с Вами па-га-варить, – гордо заявляет она Дубченко. – Атайдем в сторонку. Вчера мою дочурку тут обманули. Продали фальшивый кулон. Девочка сейчас в машине.

Видим: за стеклом фиата мощный бюст дочки и ее пухлое зареванное лицо с блистающей серьгой в виде обруча.

Грузинка продолжает:

– Так вот, дочка узнала его. Вот он, этот мошенник. – И она поводит своим многозначительным глазом в сторону перекупщика. – Надо его задержать. Я отблагодарю.

– Это наша работа, – козыряет Дубченко. И он тут же берет за воротник встревоженного маклака и предлагает пройти с ним в служебную комнату. О сопротивлении не может быть и мысли. Там Дубченко спокойно набирает номер телефона, звонит в отделение – чтобы прислали машину с милицейским нарядом.

– Чучело, – говорит он приунывшему маклаку, – кто ж так работает? Ничего. Не первый раз. Отбояришься. Завтра опять тут ни свет ни заря, как кол, торчать будешь.

Через час снова подъехал великолепный блистающий снежными отблесками фиат. Грузинка царственным жестом приглашает Дубченко посидеть с ней две минуты в скверике на скамейке. Я по инерции за ним.

– Ничего. Это моя тень, – говорит он про меня грузинке.

Та раздвинула в улыбке ярко окрашенные губы:

– Я вам очень, очень благодарна. У вас сейчас будет обеденный перерыв. Покушайте чуть-чуть в ресторане, – и она протягивает Дубченко две новенькие, несколько превышающие его месячный заработок, хрустнувшие как дубовые листки, бумажки.

ОМРАЧЕНИЕ

Началось вручение наград. Полковник Кучумов объявлял фамилию. Вызванный поднимался на сцену, там Кучумов уже встречал его с протянутой в руке медалью за десять или пятнадцать лет безупречной службы, поздравлял и жал руку. Поднялся на сцену и старший сержант Черепов. Кучумов протянул ему в коробочке награду и потряс руку. Вспыхнули магнием фотоаппараты. Дзержинский в золоченой рамке тоже поздравил потеплевшим взглядом сквозь прищуренные ресницы. Зал, полный сослуживцев, ревел и лупил ладонями. Но Черепов смущен. Дрожащими пальцами раскрыл коробочку. На бронзовом диске медали сияет надпись: 10 лет безупречной службы.

Но что-то невесело смотрит сержант на это блистательное солнышко чести. Не радует его сердце великолепная медаль. Награду свою он считает незаслуженной. Такой уж чудак, этот сержант. Впрочем, ее можно принять, как священный залог: который будет жечь беспощадным стыдом грудь, пока не совершит, наконец, сержант Черепов настоящий подвиг.

Кроме того, у сержанта полна тяжелым туманом голова, воспаление режет ножом горло, даже трудно глотать воздух. Наверное простудился на дежурстве.

Аплодисменты и награды ветеранам вскоре иссякли. Собрание годовых итогов зычный полковник объявил законченным, и спрятал праздничную, как яблоко, лысину под строгий козырек.

Бурное милицейство, шумя сапогами и скрипя португезями, вскидывая на головы шапки с гербами, суя в истомленные рты сигареты, выталкивается из зала, растекается по коридорам, дробится на группы и единицы.

Сержант Черепов идет по улице. Нервное лицо, тощий шиповник власти с суровой колкостью глаз. Но... 10 лет в форме блюстителя порядка – это вам не бутафория, не артистические доспехи на час спектакля.

Он идет по набережной у гранитного парапета. Летит с неба то ли снег, то ли дождь, течет по щекам слякоть. Сапоги хлюпают. Промокли. Надо отдать в починку. Дождь штрихует на том берегу скучные желтые здания классицизма, и они тонут в туманной

рассветной сырости. Над черным простором реки лениво пролетают чайки. По набережной проносятся с ревом машины, чихают и брызгают гриппозной слякотью. У Черепова тяжелеет свинцом голова и мутится в глазах.

Он проходит мимо двух неподвижных львов, уставившихся на воду, и вступает на мост. Там он сменяет старшину, который устрашал граждан усами, подобными двум седым саблям.

Оставшись один, Черепов начинает с пистолетом на боку охранять это гигантское железобетонное сооружение. Ни души. И машины куда-то провалились. Город словно вымер, он кажется нереальным – свинцовый застывший мираж. Черепов остается один, совсем один в этом мире, который превратился в тоскливую галлюцинацию. И бесцельно сержанту Черепову стеречь этот Мост, это стальное чудище, соединяющее два берега угрюмого миража. Он – одинокий страж Моста. Или это его свободная воля в мире высших сущностей стережет идею Моста, Города, Государства? И его форма – это эмблема, символ высшей идеи Долга?

Но что-то нехорошо Черепову в этом идеальном мире. Мокрое ненастье хлещет в глаза. И ноги мерзнут в чавкающих водой сапогах. Если бы не эта форменная шинель с погонами на плечах, этот толстый, суконный символ его беззаветного служения, Черепов бы тут и совсем пропал. Воспаление уже сжимает его горло железным ошейником с вонзающимися шипами. И вирус болезни уже властвует у него в крови.

К Черепову подходит высокий тощий мужчина в шапке с висящими собачьими ушами. Глаза в прожилках крови горят мрачным ожесточением.

– Сержант, – хрипит он, – ты мне скажи: когда с наших улиц и площадей сотрут черные имена душегубов?.. Скажи ты мне, сержант, – кричит безумный мужчина, – когда отменят статью об очернительстве партии? Кто мне вернет мои восемь лет? Зачем ты эту форму носишь, сержант?

– Гражданин! Что вам надо? Кто вы такой? – обрывает Черепов нелепую агрессию с неба свалившегося психа.

– Кто я такой?.. Микроб я. Понял? Вирус. Поймай! Попробуй! Охранничек! Стрельни в белый свет, как в копеечку. Не промахнешься!..

Черепов озирается. Никого. Мост тонет в угрюмом тумане, зарешеченном черными полосами дождя.

«Убить микроб – это не подвиг. Это обыкновенное дело», – думает Черепов. «А микроб он везде. Что такое человек? Вирус жизни, неутолимость преступлений против порядка природы»...

Сержант расстегивает кобуру, вынимает пистолет, сдвигает флажок предохранителя, лязгает затвором, и, наставив ствол в злорадствующий в его омраченной голове вирус жизни, стреляет себе в мозг.

ОДНА НОЧЬ

Я шел и шел. Ноги расплзались и чавкали, с трудом влача налипший груз земляной грязи. Кругом было мрачное картофельное поле, перепаханное тракторами. Валялись поломанные ящики. Совсем стало темнеть, и в сумерках посыпался мелкий противный дождь. Я тяжело дышал, еле тащился. Но небо впереди уже широко освещалось, как розоватый пепел. Город! Густые огоньки большого человеческого общежития оживили меня своим теплым манящим мерцанием. Я сел на ящик, отдышался, сбил с башмаков тяжелые глиняные галоши. И пошел дальше бодрее.

Когда я, наконец, выбрался из мрачной пучины поля на залитый светом городской асфальт, прочный, гладкий, блестящий, словно алмаз, – ноги мои будто сами по себе окрылились удивительной легкостью и отвагой, и я полетел по улице, как греческий бог, обутый в крылатую обувь. Но легкость тела меня обманывала. Через несколько минут мне захотелось прилечь на кровать где-нибудь в теплой сухой комнате, и спать, спать, спать... Все-таки я очень устал.

Передо мной открылась площадь. На площади возвышалась колоссальная арка триумфальных ворот, воздвигнутых когда-то городом в честь легендарной победы отечественного воинства. Тут когда-то торжественно проходили при криках ура боевые, пахнущие порохом колонны. Грозовели знамена... Сверху ворота были украшены конями и воинами в древних доспехах. Металл отливал угрюмой многовековой зеленью.

Когда я вступил под арку, густо затушеванную темнотой, меня остановил внезапный, как укол, луч фонарика. Два усача ледяными немигающими глазами разглядывали мой облик. На их касках поблескивали эмблемы власти. Они были в форменных плащах цвета октябрьской ночи, их уродливые, как тумбы, сапоги были забрызганы грязью. Сбоку у каждого рельефно фигурировал пистолет в кобуре, с плеча свешивалась на ремешке рация, в руке покачивалась черная, как голownя, резиновая дубинка. Патруль.

– Тебя-то нам и надо! – сказал приземистый и сиплый. – Паспорт есть?

Я растерялся и судорожно подал ему из внутреннего кармана книжицу в кожаном переплете.

Приземистый развернул, осветил фонариком.

– А парень-то с юмором, – просипел он, обращаясь к своему длинному собрату. – Что это? – помахал он книжкой с золоченым крестом у меня под носом.

– Это евангелие... – ответил я.

– Ты что, поп, что ли?

– Да нет, я так... Я, видите ли, в каком-то смысле посланец...

– И кто же тебя к нам послал?

– Он...

– А! Он, значит. Ну что ж, и то хлеб. Как говорится, что бог послал. Только вот не послать ли тебя к нему обратно в зад? А? Прямым ходом. Как ты думаешь?

Тут вступил в разговор длинный:

– Что ты его пропагандируешь, Харченко. Ему что в лоб, что по лбу.

– Ну, тогда разоблачайся, – приказал мне Харченко.

Я попытался возражать, но он угрожающе поднял надо мной дубинку:

– Поговори у меня, мозги вышибу! Чтоб ни одной тряпки на тебе не болталось! Все съмай! Понял?

Я стал стаскивать с себя куртку, рубашку, брюки. У башмаков никак не развязывались шнурки... Длинный брал у меня одежду, тщательно шарил пальцами и бросал в кучу у моих ног. Из куртки он вытянул мой кошелек с небольшой суммой денег, три рубля бумажкой и медная мелочь...

– А, воруя, карманник! – радостно воскликнул длинный, пряча

вещественную улику себе за пазуху, – признавайся, где кошелёк срезал?

Больше у меня в карманах ничего ценного для них не обнаружилось.

– Что с ним будем? – спросил длинный.

– А купаться пустим. В люк. Пусть поплавает... – отвечал приземистый.

Меня сжал ледяной ужас. Я уже вообразил, как сейчас буду захлебываться в дерьме канализации. Какой конец!..

– погоди, Харченко, – сказал длинный, – по радиации передают, майор к нам едет, сейчас будет.

Подкатила бронированная машина, лягнула дверца. Вылез майор, грузный, с густыми, как у медведя, бровями. Вслед за ним выбрались из машины два сержанта в касках, с автоматами. Майор окинул гневным взглядом мой плачевный посинелый вид Адама и закричал:

– Харченко, Чумаков! Мерзавцы! Опять за свое: Я предупреждал. Позор моей седой голове и всему нашему великому государству! Что за бандитские приемы!.. Ребята, отобрать у них оружие! – приказал он двум коренастым сержантам-автоматчикам. – В машину их, под суд, прикладами в шею, в Сибирь, сосну валить. Пора очищать наши ряды от остатков периода нарушения законности!

Потом майор вежливо обратился ко мне:

– А вы, молодой человек, примите всяческие извинения. Давно надо было избавиться от этих чудовищ, да все руки не доходили. Знаете, людей совсем нет. Некому работать. Где найдешь честного беззаветного человека? Вот вы, молодой человек, и замените нам этих двоих негодяев. Не возражайте! Это ваш гражданский долг.

– Василий! – сказал майор внутрь машины, – выдай-ка сюда полный комплект обмундирования.

– Одевайтесь, молодой человек, одевайтесь, – опять повернулся ко мне майор. Живот-то совсем синий. Холодно ведь. Осень. Октябрь уже. Время-то как бежит. Пора, молодой человек, за дело браться.

– Да, но...

– Все формальности потом, – прервал майор. – Фамилия, имя, возраст, биография, анкеты – это все потом, это теперь не важно. С бюрократизмом у нас борьба.

Что было делать? Возражать бесполезно. Автоматчики помогли

мне облачиться в доспехи сержанта охраны, накрыли голову каской, привесили к поясу пистолет, вложили в руку дубинку и оставили сторожить гигантские триумфальные ворота на площади. Бронированная машина газанула бензином чадом, круто развернулась и с ревом унеслась в ярко освещенную улицу.

Я осмотрелся. На площади никого не было. Блестели белые шары фонарей, как луны в черном космическом безлюдьи. Тускло светились кое-где окна зданий, они казались такими далекими, словно на краю вселенной. Зверски хотелось спать. Зевота разверзала мой рот шире, чем триумфальные ворота, которые мне надо было тут охранять. Где приткнуться? Форма скрежетала на мне при каждом движении и была неповоротлива, как скафандр. Я не знал, куда мне деть эту дубину в одной руке, связку звякающих наручников в другой. Наконец, я заметил около стены ворот сторожевую будку. Она была вся стеклянная. Я залез в будку, устроился в кресле и сразу заснул. Но только я уснул, навалился на меня кто-то большой и темный и стал душить. Я очнулся и в ужасе вскинул голову. Сердце колотилось в груди, как кролик в клетке. Тут же за стеклом будки я различил крадущиеся силуэты. Справа крались, пригибаясь к земле, каждый держал в руке какое-то орудие, похожее на молоток. И слева подкрадывались на цыпочках – у каждого в руке поблескивало что-то изогнутое, словно серп. Я закричал, выскочил из будки, и стал размахивать дубиной. Но непонятные бандиты и не подумали испугаться. Тогда я отчаянно засвистел в свой сторожевой свисток, вырвал сбоку пистолет, раздался выстрел. Силуэты оскалились, как крысы и разбежались. Я вздохнул со всхлипом, ноги у меня стали ватные, и я опустился на асфальт.

Опять с ревом вынырнула как из-под земли бронированная машина. Опять лязгнула дверца. Опять вылезли седые медвежьи майорские брови.

– Ты еще жив, сержант! – опешил он. – Обычно на этом посту больше часа не стоят. Трупы увозить не успеваем. Замучились. Что же теперь с тобой делать? Мы тебе замену привезли, а ты живехонек, как голубок. Так не годится. Подобные случаи у нас не предусмотрены. Придется тебя пристрелить.

– Михал Иваныч, – сказал утробный голос из машины, – у нас каждый патрон на строгом учете. Истратишь патрон – потом рапортов на километр писать надо для начальства.

– Ну что ж, и напишем, – добродушно отвечал майор.
– В том-то и дело, что не написать. Рапорта-то у нас все еще в понедельник кончились.

– Так что ж с ним тогда делать?

– А заберем его с собой в Управление. Пусть главный решает.

Я возблагодарил судьбу и спасительный голос из машины. Это оказался капитан. У него было как будто никелированное вогнутое лицо. Я даже сначала подумал, что это рупор, в который говорят, чтобы усилить голос военного приказа. Впрочем, он улыбнулся мне вполне приветливо. Да и майор отчески похлопал меня по плечу – ничего, парень, теперь все будет в порядке. Я уже на него не сердился и спросил:

– А что это за люди хотели меня убить? У них были в руках серпы и молотки.

– Это наш трудовой народ.

– За что же они хотели меня убить?

– Видишь ли, друг, они хотят жить без нас.

– Да кто же тогда их будет защищать от грабителей и убийц и всякого преступного сброда?

– В нашей стране, сержант, преступность начисто ликвидирована.

– Как это?

– У нас, понимаешь, экспериментальное государство. Мы в виде опыта объявили всему преступному миру амнистию и обеспечили их законным правом на труд в наших же органах.

– А!..

– Да. Бесплатное обмундирование, бесплатный транспорт, люкс-номера, как в гостиницах для интуристов, право пить и жрать задарма во всех ресторанах, и зарплата, как у министра. Чего еще нужно! Да если бы кто и захотел у нас грабить и убивать – так ведь не из-за чего.

– Это почему же?

– А потому что мы весь прочий трудовой народ уравнили в правах жизни и обеспечили всеми необходимыми благами для счастливого совместного проживания. В нашем государстве, так сказать, совершеннейшая демократия. Самая лучшая в мире.

– Ничего не понимаю. А вы-то тогда зачем?

– Вот дурило. Я же тебе толкую. Мы же весь преступный элемент вобрали, так сказать, внутрь своих органов, взяли весь яд общества на себя, перевариваем теперь, перевоспитываем. Дело-то не скорое. И

пускай уж они лучше у нас друг друга иногда чуть-чуть прирежут от скуки, чем опять начнут гулять на свободе. Тут они все-таки под присмотром. Так что в тюрьмах теперь нет никакой необходимости. А кроме того есть у нас еще очень ответственная функция – сохранять в трудовом народе полное равноправие благ. Надо следить, чтобы, так сказать, никто не высовывался. Ни на волосок. Понятно? А кто высовывается – мы того быстренько сбиваем. Теперь ты все понял? Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.

– По-нял... – отвечал я. – Но почему все-таки хотели меня убить эти с серпами и молотками?

– Сознательность у них низкая, – вздохнул майор. – Они, видишь ли, хотят жить без нас, без органов власти и порядка. Им подавай свободное народоуправление. Но они сами не знают – чего добиваются. Это же абсурд, анархия. Еще никто никогда без нас не обходился. Но все равно, наш город самый лучший в мире...

– А как называется ваш город?

– Содом, – гордо отвечал майор.

Да, красивый город Содом. Великолепный город. Даже и ночью. Прекраснейший в мире город. Мы проезжали каналы, закованные в гранит, освещенные уходящими вдаль фонарями в голубых ореолах. Вода черным-черна, покачивалась в столбах отраженного света. Мы проезжали башни, соединенные циклопическими цепями, грифонов, распростерших тусклое золото крыльев, каменных львов, играющих в мяч, сфинксов с божественно-прекрасными женскими лицами. Серые в ночном воздухе силуэты колоннад, дворцов, соборов, конных неподвижных императоров – бывших властителей города.

Мы поехали по набережной широкой реки в арках мостов. Справа, на том берегу, тускло блестела игла шпиля. К игле прилепился какой-то золотистый крылатый силуэт.

– Что это? – спросил я.

– Это собор Ангела, – охотно отвечал майор.

Слева потянулся роскошный фасад дворца в завитушках барокко, увенчанный аллегорическими скульптурами. За дворцом открылось безлюдное пространство площади. На площади высилась гигантская колонна. На колонне светилась крылатая фигура с перстом, грозно указывающим на небо.

– А это что? – опять спросил я.

– А это, товарищ, колонна Второго Ангела, – тоном гида отвечал майор.

– Что все это значит? Первый. Второй. Может, сейчас и третий будет?

– Нет. Третьего не будет. Эти поповские басни давно потеряли всякую актуальность.

– Какие басни?

– Вот темнота необразованная! Ты с неба свалился?

– Да. Как будто...

– Вот-вот, и рожа у тебя какая-то не наша. Может, ты инопланетянин?

– Да, в общем-то можно и так выразиться...

– А парень-то с юмором, а, Василий, обратился майор к капитану, вогнутое лицо которого было похоже на рупор. Капитан блеснул никелированной улыбкой и одобрительно кивнул:

– Ценный кадр.

– Но все-таки, что это за монументы с ангелами?

– Есть, видишь ли, легенда. Будто прилетел в наш город когда-то в допотопные времена посланец. Ну, что-то типа инопланетянина от космической цивилизации. А по-поповски, значит, ангел. А посланец этот был не простой. Короче говоря, ни больше, ни меньше – инспектор из космоса от Самого, от Главного. Видит он, непорядки тут у нас и всеобщая гнусность в народе. Он и предупредил – чтобы срочно исправлялись, и срок дал. Народ, конечно, в штаны наклал от страха, и чтобы ангел не сердился, и сварганили ему этот собор с ангелом на шпиле. Ну, ангел чуток оттаял и улетел... Первое время после него в городе шла срочная перестройка сознания и повышение всеобщей моральности. Добились стопроцентных показателей добра и поголовной радости. Грабить, насиловать, убивать – баста. Страшно, все-таки, – а вдруг Тот, с неба бабахнет! Но время шло, потихоньку все позабыли. Кто прилетал? Зачем прилетал? И такие тут начались безобразия! Жуть! Еще почище прежнего. Тогда сверху не стали больше болтать лишних слов, открыли там свои краники и напустили на наш город потоп. Дождь хлестал целый месяц, как из лопнувшей трубы. Море поднялось и залило весь город, как какую-нибудь муравьиную кучу. Куда ни посмотри – одна вода, и дождь хлещет. Только торчит из волн башня со шпилем, а на шпиле ангел с перстом. Ну, потом вода ушла. Спасся от потопа один кораблик. Из него поразвелся опять в нашем городе народец. Ну, а потом, как в сказке про попа и собаку.

Была у попа собака,
и он ее любил.
Она съела кусок мяса,
и поп ее убил...

Короче говоря, прошла, может так тыщонка–другая лет, опять явился посланец, опять произвел инспекцию, опять предупреждал – чтобы наконец исправились. Опять все наклали в штаны, соорудили второму ангелу колонну с его изображением – высокую-пре-высокую до самого неба. И этот ангел убрался обратно в выси. А народ опять скурвился. Опять потоп... И так далее. В общем, все это поповские басни. Религиозный дурман и опиум для народа. Говорят, еще будет третий посланец. Последний! Уж после него всю землю в порошок сотрут и по ветру развеют. Но это уже совсем ахинея. Ты же видишь – у нас поголовное счастье и процветание жизни. Наконец-то мы построили идеальное общество. Это же, так сказать, лучший из миров. Есть, правда, еще кое-какие недоделки. Но это уже нюансы. Так что никаких ангелов – ни первого, ни второго, ни третьего не было, нет и быть не может. Мы сами, можно сказать, государство ангелов.

– Да, как у вас тут интересно, – сказал я. – А этот, на горке, что за всадник с кошачьей головой? Зеленый, как из глины.

– Это наш древний император. Основатель города. И не из глины он, а из меди.

– Ну, значит, это так кажется... А вот еще такое красивое здание с колоннами, а наверху тоже ангелы – только черные, и с книгами...

– Тут, мой дорогой, раньше заседало царское правительство. Теперь тут тоже наш пост. Охраняем архивы истории. Да, – хмыкнул майор, – такой тут был смешной случай, когда стали мы переделывать наше государство. Видишь ли, в этом здании стоял на парадной лестнице бюст императрицы прошлых времен. Большой, я тебе скажу, бюст. Габаритная была женщина. И весь из золота. Высшей пробы. Пять пудов золота. Преступность в те времена цвела у нас, как маков цвет. И вот жил-гулял в городе один замечательный бандит по кличке Гамлет. Бывший артист императорского театра. Любил, гад, красиво работать. И вот, представь, день, на площади туристов тьма, иностранцы с биноклями, фотоаппараты щелкают. Машины потоком. Регулировщик стоит на углу, жезлом дирижирует. Центр города. А во дворце этом как раз правительство заседает, индюки в орденах, решают важные государственные вопросы. И в том числе – как

справиться с невиданной волной преступности в стране. В столице уж наводнение. Девятый вал, можно сказать, накатывает. И вот, в это самое время, подшуршала к подъезду роскошная правительственная машина, так и сверкает черным лаком, как башмак какого-нибудь заграничного принца. Взбегает по ступенькам сам «Гамлет», наследник датского престола, в белоснежных кружевах по плечам. С ним еще двое при пистолетах и шпагах. Все подумали – кино снимают. А у них – как по нотам. Швейцару и двум охранникам надевают на голову балахоны, связывают и аккуратно кладут у входа. Берут под ручки золотой бюст императрицы, сажают в машину и укатывают, сделав красивый прощальный жест. А! Как работал, мерзавец! Теперь уж таких гениев нет. Так, мелочь. У нас ведь эра ликвидированной преступности. Скучно мы живем, а, Василий? – обратился майор к капитану.

– Ску-у-чно, – утробно отвечал капитан-рупор.

Наша машина свернула на мост и помчалась через широкую ночную реку в пятнах и полосах фонарей. На середине моста машина затормозила. Сбоку я увидел стеклянную сторожевую будку, точно такую же, в какой я ютился у триумфальных ворот.

– Тишина, – сказал майор, и его медвежьи брови встали дыбом.

– Никого, – утробно пробурчал капитан-рупор.

– И на рацию он не отвечал, – сказал, обернувшись, шофер, и его сивые, как сабли усы, чуть не отхватили у меня голову. Так неожиданно близко выросло его лицо.

– Заиченко, Кириллюк! Приготовиться! – приказал майор двум сержантам, громоздившимся сзади, как бронированные сейфы с автоматами.

– Идем с нами, – сказал мне майор, – посмотришь. Тебе надо учиться нашей службе.

Дверь будки была распахнута. И внутри был беспорядок. На столе валялась фуражка с расколотым козырьком, и из-под нее растекалась клейкая лужа крови. Кровь была и на полу. Еще на столе, рядом с фуражкой лежал тяжелый молоток с раздвоенной бородкой для выдергивания гвоздей. А ударная часть молотка блестела, заляпанная свежей пурпурной краской.

– Ну, вот! – вздохнул майор. – И так каждое дежурство. Скоро у нас весь личный состав иссякнет. А ведь каждый раз инструктируем весь наряд самым тщательным образом: орлы, бди в оба! Не спать!

Сами знаете, чем пахнет сон на посту... Какое там! Только примет смену, плюхнется на стул, положит на стол буйную головушку... Тут и подкрадутся, и тюк молотком по башке. Пистолет себе, а труп с моста, рыбам на закусон... Еще и молоток оставят на столе для издевательства.

Майор сурово сдвинул медвежьи брови:

– Кириллюк, – приказал он мощному кубическому сержанту с маленькой круглой головой в каске, – принимай пост. Поспи вот только у меня! – погрозил он поросшим черной шерстью пальцем.

Мы поехали дальше.

– Куда теперь? – спросил саблеусый шофер.

– Гони на кладбище жертв революции! – приказал майор.

Улицы стали некрасивые, дома мрачные, однообразные. Сворачивали несколько раз туда-сюда, потом долго катили по шоссе, справа тянулся чахлый лесок. Наконец, показалась стена, ограждающая кладбище, и запертые железные ворота.

– Ну-ка, Василий, подай им голос, – сказал майор.

Капитан вытянул свое лицо-рупор, покашлял, и сотряс воздух мощным металлическим голосом:

– Костюков, открывай ворота! Быстро!

Но с кладбища ответил только нечеловеческий вопль. Как будто там кого-то резали. Стало жутко.

– Опять, сволочи, собак мучают. Ну, я предупреждал, – сказал майор.

– Костюков! Сидоренко! Замурую! Насидитесь вы у меня в склепе! – надрывал свой рупор капитан.

Наконец ворота заскрежетали, раздвинулись. В проеме масляно улыбалась физиономия в пышной шапке рыжего меха, одно ухо торчало, загибаясь, с болтающейся тесемкой. На лбу блестела кокарда.

– Костюков, почему шапка не по форме? Так, так. Где ты собак держишь? А ну, веди в вольер.

– Но, товарищ майор, они же при патрулях, по кладбищу ходят. Где же их сейчас отыщешь?

– Помолчи! – угрюмо сказал майор. – Веди! Быстро!

Пройдя аллею уже безлиственных октябрьских деревьев, среди которых смутно белели по сторонам кресты и плиты, мы остановились у кирпичного строения с одиноким светящимся окном. Майор уже хотел толкнуть дверь, но резко повернулся, вглядываясь в сумрак.

– Это у тебя там что? – елейным голосом спросил майор.

Тут и я заметил висящие на суках продолговатые предметы. Мы подошли. Это оказались освежеванные туши. Еще капала с тихим стуком кровь. Рядом на сучьях мы обнаружили и сохнувшие шкуры.

– Что же это такое? Я тебя спрашиваю? – зарычал майор. – Где псы? Где собачки? Отвечай! За месяц три партии собак сменили. Бандиты, говоришь, шалят? А? Костюков? Отвечай! Где псы? Что ты рот разинул, как могила!

– Что ж отвечать, товарищ майор. Сами видите, – произнес могильным голосом Костюков.

– Где остальной наряд?

– В сторожке.

– А ну, пошли.

Мы очутились в грязном душном помещении. На столе валялся фонарик с треснутым стеклянным лицом. На стене висела старая серая, как из глины, шинель. Из-за стола, где на развернутой газете лежал хлеб и розовые ломтики сала, резко вскочили трое, и, отдавая воинскую честь, приложили руки к пышным, как рыжие облака, шапкам собачьего меха с кокардами на лбу.

– Так. Все ясно, – металлически отчеканил майор. – Пора нам с этой живодерней кончать. Капитан! – обратился он к своему рупорообразному помощнику, – рас-стрелять!..

– А теперь куда? – спросил шофер.

– А теперь и нам отдохнуть надо. Мы тоже не железные. Газуй в Управление.

Штат Управления занимал все этажи громадного бетонного небоскреба, у которого не было ни одного окна. А, может быть, окна были забронированы, и поэтому их было не отличить от однообразия стены. На площади перед зданием роились в луче прожектора лозунги и транспаранты. Визжали женщины. Качались над головами буквы на кумачовом полотнище:

«Голосуйте за народного депутата Тищенко!»

Сам Тищенко, по-видимому, был тот угрюмый изможденный мужчина, который сидел на стуле, окруженный со всех сторон своими приверженцами.

– Что делает этот человек? Что им нужно? Чего они требуют? – спросил я майора.

– Этот человек голодает. В знак протеста. Голодает он тут, не двигаясь с места, вот уже седьмой день. А требуют они – чтобы их представителя, этого самого голодающего типа, пустили в Управление, в наши ряды на должность: «истинный представитель интересов народа». Что делать – кончится тем, что мы его туда пустим. Но это нам ничем не грозит. Правда, у нас есть уже такой «представитель». Но он их, видишь ли, не устраивает! Продался, говорят. А, впрочем, я тебе по секрету, – и майор наклонился к моему уху: – этот голодающий – наш человек. Мы его в штатское передела. Выполнит задание – капитана получит.

У мощных бронированных дверей нас ослепили прожектором и тщательно рассмотрели. После этого дверь автоматически раздвинулась, и мы вошли внутрь здания. В караульном помещении майор сдал меня коренастому старшине с широким медным лицом и приплюснутым носом. Казалось, это было не лицо, а большая бронзовая кокарда. Мне стало как-то нехорошо.

– Жрать хочешь? – прохрипела кокарда.

– Да так себе... Я и сам не пойму, хочу я или не хочу.

– Ну, один хрен, пошли, накормлю.

Кокарда повел меня по длинному узкому коридору, мы спустились по ступенькам на нижний этаж, свернули направо, опять пошли по коридору, опять поднялись по ступенькам, потом ехали на лифте, потом опять коридор, еще сворачивали, еще поднимались. Наконец до меня донесся капустный запах столовой. Там, в зале, за столиком, сидели двое сержантов в расстегнутых мундирах и пили компот.

– Сапогов, накорми парня, – приказал кокарда. – А потом найдешь ему свободную койку.

– Григорьич, не беспокойся. Это мы в один секунд, – откликнулся Сапогов.

И вот я уже хлебал густой жирный борщ и посматривал на второе блюдо, где меня дожидался кусок жареного мяса с картофелем. Пока я ел, Сапогов очень уж пристально разглядывал меня каким-то неприятным масляным взглядом. И вид у него был совершенно уголовный. Мне стало не по себе, и кровь бросилась мне в лицо и в шею. Когда я расправился с пищей, Сапогов, улыбаясь, перемигнулся со своим дружкой и кивнул на меня:

– Ну, куда мы эту красную девицу спать уложим?

Я уже собирался выразить свое возмущение, но Сапогов поманил меня пальцем, и я пошел. Я очень хотел спать. Опять начались блуждания в лабиринтах коридоров. Наконец Сапогов толкнул дверь ногой и ввел меня в комнату, где помещались четыре кровати. На двух спали в форме, в сапогах, с паровозным храпом, со свистом. Две кровати были свободны. На столе горел ночник.

– Выбирай любую, – сказал Сапогов, там все есть, белье чистое. Форму в шкаф вешай.

Сапогов ушел, я разделся и нырнул под одеяло. За стеной шумели пьяные голоса. Рокотала гитара. Я стал погружаться в сон, поплыли образы... И вдруг, словно что-то кольнуло меня в сердце, и я очнулся, и страхнул липкую паутину сна. Дверь была приоткрыта, и за ней вполголоса спорили несколько человек. Один говорил: «Его майор привел. Григорьич тоже предупреждал – не трогать». «Что нам твой майор», – говорил второй, «а Григорьич просто старая кокарда». «И так без баб живем», – говорил третий. «Тоже мне идеальное государство. В лагере, пока в уголовниках числились, и то лучше было. А ну, ребята, вставим ему по пистолету в зад...»

Тут я все понял слишком ясно, и когда они бросились на меня, я успел забиться под кровать. Они стали ловить меня руками, и тащить за ногу. Я вырвался и юркнул под другую кровать.

– Тащи его, гада! Степа, не дай ему уйти!.. – кричали озверелые содомиты и топотали сапогами. Казалось, их тысячи!

Мне уже удалось выскочить в дверь, и я помчался по коридору, не чуя ног. За мной гнался грохот тысяч сапог. Все! Конец! Некуда. Впереди тупиковая стена. Что делать? У меня не было даже ножа – чтобы перерезать себе горло. И в полном отчаянии, я ударился с ревом всем телом о крашеную в грязно-голубой цвет стену. Она треснула и рассыпалась, как стеклянная, и я полетел наружу, в небо...

Я летел в широком ночном пространстве, набирая высоту, уходя в холодную черноту и мрак. А Город подо мной взрывался и рушился, скидывая столбы огня; низвергалось с грохотом, как водопад, гигантское здание.

Меня обвевало свободное черное пространство широкого мира, где не маячило в ночи ни одного огонька.

ЧЕЛОВЕКОВАД

– Ефрейтор, подъем! На вокзале ночевать нельзя! Дрыхнет, как в казарме, и в ус не дует!

Хрипунов встрепенулся, приподнял голову. Около его жесткого ложа в зале ожидания стоял старик в малиновом женском пальто. Старик был внушительен, покрытое седой щетиной лицо выражало властность. На голове шерстяная шапочка со свисающей у виска кистью. Из-под длинного, до пят пальто виднелись сине-белые спортивные тапочки.

– А куда я пойду? Негде мне. – Хрипунов нехотя оставил лежачее положение, сидел, нахохленный, с поднятым воротником шинели.

– Встать, когда с тобой разговаривает комендант вокзала! – закричал непонятный старик и топнул ногой в спортивном тапочке.

Хрипунов встал, невольно подчиняясь властному голосу, рука у него сама собой потянулась к съехавшей на затылок шапке – отдать честь.

Облаченный в странную форму комендант смягчился.

– Ну, что, дембель-штемпель? Чего тебе в нашем великом городе на Неве понадобилось?

Хрипунов усмехнулся:

– Ясно – чего. Пристроиться бы где. Работенку...

Старик-комендант поиграл кисточкой у своего виска.

– А что ты умеешь? Ракеты с атомными головками пускать?

Упоминание о ракетах задело Хрипунова за незажившее:

– Ра-ке-ты! А ну их на хрен, товарищ комендант! Наелся я ими за два года, во! На колбасу бы их, свиной жирно-железных!

Комендант слушал, пожевываясь в своем несколько потертом и утратившем яркость малиновой краски пальто, снятом напрокат с чьих-то женских плеч.

– Шоферить могу, – заявил Хрипунов, – на худой конец – слесарем-токарем.

Комендант почесал грязным пальцем щетину у себя на щеке:

– Сначала ты мне показался умней, – заметил он. – Нашел занятие для мужчины: подбирать объедки с барского стола, что начальник цеха кинет. – Критически оглядел крепкое, коренастое телосложение

Хрипунова. – Хочешь, в телохранители к себе возьму? Дам два пистолета в обе руки. Только должен предупредить: у меня ведь, знаешь, свой взгляд на обязанности телохранителя: будешь идти впереди меня по вокзалу и стрелять во всех подряд, без разбору – малый, старый, инвалид, ветеран, беременная богоматерь, или младенец-Иисус в коляске. Пали пулями, не бойся. Всю ответственность беру на себя. Ничего, я думаю, тебе эта работа понравится. Платить буду, как маршалу Советского Союза. Ну, как? Не очень-то привередничай! У меня на это место конкурс объявлен, каждый день приходят, спрашивают, – раздражаясь, закричал комендант и опять уже хотел топнуть ногой в тапочке. Хрипунов затруднялся в ответе, он взирал на коменданта в большом замешательстве.

Привлеченные громким криком, в зал вошли два патрульных милиционера, в ремнях-кобурах, с рациями. При их виде настроение коменданта резко переменялось. Он скинул свой головной убор с кисточкой на пол и пошел впрысядку, сопровождая ее голосистой песней: Эх, калинка, калинка, малинка моя! В саду ягода-малинка моя!..

Милиционеры молча подступили к ударившемуся в плясовую стихию коменданту, крепко схватили его под руки и поволокли через зал к выходу. Один из милиционеров, пожилой старшина-усач обернулся:

– Что, солдат, не видал еще такого дива? Вот Калинку-малинку к майору отведем, и ты дуй с нами. Майор с тобой поговорить хочет.

Стражи порядка протащили самозабвенно заливающегося соловьем Калинку-малинку через два проходных зала и втокнули в комнату милиции. Следом вошел и Хрипунов. В комнате за столом сидел строгий дежурный майор с повязкой. Увидев его, Калинка-малинка закричал плачущим голосом:

– Начальник! За что меня твои холуи по почкам бьют? Я никому ничего плохого не сделал. Что я, не человек? Да ты знаешь, кто я? Перед вами чемпион по фигурному катанию на льду! У меня золотая медаль! – в диком визге возгласил новоявленный чемпион.

– Ну ты и заливать, Калинка-малинка, – сказал невозмутимый майор. – Не люблю, когда мне лапшу на уши вешают. Ладно. Покажешь медаль – отпустим. Честное милицейское.

Калинка-малинка рванул свою элегантную, позаимствованную у

какой-то модницы на зимний сезон покрышку, под которой обнаружилась голая, в татуировках грудь.

– Нету! – завопил он, – стибрили, сволочи! Это они у меня медаль срезали! – бешено тыкал он пальцем в приведших его милиционеров.

– Поговори у меня! – огрызнулся старшина-усач. – Снял шапку с гербом, погладил себя по плешивой голове и опять водрузил шапку на место. – Куда его, Василь Васильич?

– Куда, куда? Как будто не знаешь. На чемпионат фигурного катания. – Майор отвернулся, листал на столе какую-то папку.

Вокзальную знаменитость поволокли обратно на холодок, и он снова принялся исполнять свою, прерываемую пинками, программную песню. В саду ягода-малинка моя... – затихало в глубине зала.

Майор сердечно взглянул на Хрипунова:

– Что, гвардеец, пойдешь к нам работать? Жилье дадим, зарплата твердая.

– К вам, так к вам, – дал квакающее, бездумное согласие Хрипунов. Глаза у него были по-лягушачьи выпучены от недавнего зрелища и все еще не вернулись в нормальное состояние.

– Ну, тогда, будь здоров. До скорой встречи. Иди, тебя на улице мотоцикл ждет. В общежитие отвезет – переночевать.

Выйдя из вокзала на улицу, Хрипунов увидел милицейский мотоцикл с коляской. Шофер в шлеме-яйце – готовый к старту космонавт.

– Лезь в люльку! – мотоциклист махнул рукой в могучей кожаной рукавице.

Хрипунов повиновался, устроясь в полулежачем положении в промерзлой коляске. Яйцеголовый дал газ, и мотоцикл помчался по ночному городу.

Город казался беспределен, как вселенная, он состоял из множества светлооконных галактик и то разряжался на широких площадях, набережных, и мостах через масляно-огнистые каналы, то опять сгушался в тесных, высотно-коробчатых, жилых кварталах. "Хана копытам", – подумал Хрипунов, пытаясь пошевелить околоченными пальцами в солдатских башмаках. "Еще пять минут такой прогулки – придется ампутировать".

Дома расступались – идущие на парад, единообразные, в суровых бетонных шинелях армейские колонны, холод нарастал, и на каждом повороте подстерегало дорожно-транспортное происшествие, обещая превратить двоих седоков в кумачовую кляксу на тротуаре.

Стоп! Мотоцикл замер у протяженного угрюмого здания в десять этажей. Окна голые, без занавесок, блестели лампами и все, как одно, смотрели на Хрипунова, ошеломляя его своей грозной, вызывающей незадернутостью. Мотоциклист тоже, как бы замороженный, с большим любопытством взирал на дом, задрвав яйцевидную голову.

– Чего это сегодня в общаге так тихо? Перерезали они там все друг друга, что ли? – проговорил он озадаченно. – Как сюда подъезжаю – так обязательно с этажей кого-нибудь выкидывают. В день полочки сюда ближе, чем на сто метров и не суйся. Тут такой человекопад к вечеру начинается – сохрани меня боже и мое родное министерство внутренних дел! Валяются ребятки со всех этажей, от первого до десятого. Тут специально ограждения с красными флажками вокруг здания ставят – чтобы прохожие не пострадали, два вахтера в свистки свистят, предупреждают граждан, чтобы обходили опасное место. И машины скорой помощи дежурят всю ночь на подхвате. А сегодня что-то очень уж тихо, – повторил в недоумении мотоциклист. – Ох, чует мое сердце, не к добру это!..

Дверь парадной зевала настежь, как разинутый в столбняке рот. Мотоциклист повел Хрипунова внутрь общежития и вверх по лестнице. На ступенях попадались интересные вещи: пуговицы, кокарды, фуражки без козырьков, черствые, заплесневелые огрызки, а то и даже целые батоны, окурки, резинки презервативов. Мотоциклист брезгливо отшвыривал их носком сапога. На полушубке у него медно поблескивали широкие лычки старшего сержанта.

– Никакого проку от уборщиц, – проворчал он. – Казалось бы, – самых страховодных берем, все равно, наши жеребцы к себе в комнаты затащат, так что потом неделями не отыскать.

Сверху раздался отчаянный визг, борьба, что-то с шумом рухнуло. Хрипунов и сержант-мотоциклист шархнулись по сторонам лестницы. Между ними пролетела, оседлав швабру, девушка, в чем мать родила, на лоб нахлобучена милицейская фуражка, козырек закрывал все лицо. Девушку догоняло, грохоча по ступеням, большое цинковое ведро.

– Убью, стерва! – кричал с площадки разъяренный мужской голос. – Часок поспать не даст после дежурства, швабра проклятая! Совсем заездила!..

Голос умолк, хлопнула дверь. Сержант-мотоциклист постоял, подумал, в недоумении почесал затылок.

– Что-то я ее раньше здесь не видел. Новенькая, должно быть, – предположил он.

Поднявшись на площадку, сержант опять остановился, сняв шлем, почесал красный, морщинистый лоб.

– Куда же тебя, солдат, на ночь поместить, чтобы ты у меня дожил до утра целый и невредимый? – размышлял он вслух. – Я-то с тобой тут, понимаешь, не могу. У меня семья, дети. Сын первый год в школу пошел. А двоек уже нахватал, как собака блох. Такой, я тебе скажу, говнюк. Завтра утречком я за тобой заеду, в контору нашу повезу оформляться. Только вот куда ж тебя тут переночевать устроить?..

Сержант все еще чесал свой многомудрый лоб, когда дверь из коридора распахнулась, брякнув о косяк от крепкого ножного удара, и на площадку вывалились три веселых милиционера в смешанной форме одежды. Один держал на плече гитару, как будто дубину. Гитарист этот, капля в каплю, – Сенька Погребняк, корешок хрипуновский.

– Игореха! Ты, что ли? – изумился Погребняк.

– А то кто ж? Вот пришел посмотреть – как ты тут живешь.

Погребняк передал гитару стоявшему рядом с ним милиционеру и бросился обнимать друга.

– Эх, Игореха, счастье моей поросычьею жизни! Теперь мы с тобой в пару в патруль будем ходить...

Сержант-мотоциклист, сложив ладони, любовался встрече двух боевых друзей-товарищей, лицо у него сияло, как начищенный к строевому смотрю сапог.

– Вот и ладушки, – проговорил он умильно. – Сдаю, так сказать, с рук на руки на сохранение, чтоб к утру цел-невредим в наличности был по первому предъявлению. Бумажку надо будет заполнить, контрактик подписать на три годика.

– Не волнуйся, Столбов, – потрепал сержанта по плечу Погребняк. – У меня, как в ломбарде. Волос с головы не упадет. А ты к семье катись, сынка нянчить. Пусть он тебя за нос потаскает, козла старого.

Столбов пошел вниз по лестнице, но его все-таки мучило беспокойство, и он еще два раза оглянулся на оставленную компанию, прежде чем исчез из вида.

– Айда ко мне! Обмоем событие! – Игореха, кореш мой незабвенный! – кричал разгоряченный Сенька Погребняк, таща Хрипунова по зашарпанному коридору.

В комнате, обклеенной мрачно-полосатыми обоями, – четыре койки вдоль стен, на постели наспех кинуты мягые покрывала-попоны. С потолка свешивается, даря уютное сороковаттное освещение, лупоглазая лампочка в оригинальном абажуре, устроенном из старой милицейской фуражки. В углу у дверей шкафа, задубелый ветеран с девяностолетним стажем службы, весь, сверху донизу покрытый ножевными шрамами, пулевыми отверстиями и вмятинами от неизвестных твердых предметов. От шкафа до шпингалета на окне через все помещение протянута бельевая веревка с гирляндой непросушенных, пахучих, как протухшая рыба, носков. Посередине – застеленный газетами стол, полбуханки хлеба, изуверски, в рваных зубцах вскрытая "килька в томате", три стакана.

– Переселенность у нас, – пожаловался Погребняк, усаживая Хрипунова за стол. Сдвинул локтем все, что на столе, освободив место для трапезы. – Но ты, Игореха, не бери в голову. Не твоя это забота. Койка тебе здесь законно будет. Выкинем одного дундука в окно – только и всего. – Погребняк подошел к одной из коек, пошарил в наволочке подушки, словно искал шуку в бредне. – Есть голубушка! – обрадованно закричал он, вытаскивая бутылку водки. Подбрасывал ее и целовал то в один стеклянный бок, то в другой. – Не нашли тебя, кровиночку мою, поганцы сивобрюхие! – приговаривал Погребняк вне себя от радости, поставил бутылку на стол. – Вот мы тебя сейчас и приласкаем, светик ты мой ненаглядный.

Хрипунов снисходительно посмеивался, наблюдая дурачества своего дружка.

– Досталось мне тут, Игореха, на первых порах. Ох, досталось! – стал рассказывать Погребняк, когда друзья врезали по стакану. – Одели меня в форму, а на ответственные посты, понимаешь, нельзя ставить и пушку нельзя давать. Спецшколу еще надо, говорят, пройти в городе Пушкине. Поручили Столбову в школу эту отвезти, да по дороге преподать кой-какие практические уроки. Столбов и говорит, зайдем к Лялину, он тут недалеко живет, на Дзержинского. Двадцать пять лет протрубил в рядах правопорядка. Он за час лучше всяких школ тебя подкует... А мне-то что? Ну, идем мы, значит, к этому Лялину. Дом какой-то такой старинный, внутри лестница-винтовуха и перильце медное, чтобы держаться. Раньше-то люди не дураки были – все у них было предусмотрено. Столбов по пути меня настраивает: войдем, не пугайся. У него не квартира, а слесарно-токарная

мастерская: станки, верстаки всякие, инструмент. Лялин этот, видишь ли, в свободное от службы время любимым делом занимается. Хобби у него такое: штучки разные мастерит ножички, наручники... Загляденье, я тебе скажу, хоть на всемирную выставку посылай...

– Сенька, не таракти! – рассердился Хрипунов. – Спать хочу до смерти. Говори, чем вся эта твоя баланда кончилась.

– Сейчас, сейчас, – заторопился Погребняк. – Чем кончилась? Зажали мне башку в слесарных тисках и накачали винищем, так что из всех дырок текло. А потом поставили на пост у Исаакиевского собора, чтоб всю ночь в свисток свистел, бандитов отпугивал от архитектурного сокровища. Это, говорят, испытание молодого сотрудника на стойкость...

– Пустобрех ты, Сенька. И могила тебя не исправит, – встав из-за стола, объявил Хрипунов. – Показывай – на какой лежак кости кинуть.

– А на какой глаз положишь, – отвечал Погребняк. – Вон хоть у окна. Там белье почище, всего-то месяц не меняли.

Хрипунов разделся, и по солдатской привычке аккуратно сложил обмундирование стопочкой на стуле. Распростертый под суровым, плотно обволакивающим шерстяным одеялом, он тут же заснул...

Спал Хрипунов, должно быть, недолго. Свет в комнате погашен, кто-то тряс его за плечо, голос Погребняка:

– Игореха, подъем! Столбов тебя уже оформил. Сейчас в спецшколу повезет.

Разбуженный Хрипунов сидел на постели, ничего не понимая, злился:

– Офонарели вы, что ли? Какая спецшкола посреди ночи? Спать хочу, как покойник.

– Нет, Игореха, нельзя. Потом отоспишься, – упрасивал Погребняк. – Столбов тебя на мотоцикле отвезет. Пока доберетесь и – утро.

Хрипунов взглянул: в проеме дверей молчаливо ждал Столбов в мотоциклетном шлеме.

Опять они помчались по ночному городу, сворачивая с улицы на улицу. Затормозили у какого-то дома.

– Заглянем к Лялину, – сказал Столбов. – Заправиться надо перед дальней дорогой.

Подворотня, сырость, кошки. На дверях столбики цифр.

Остановились в конце двора, в тупике перед дверью с одной единственной цифрой, намалеванной от руки во всю дверную ширь – это была криво ухмыляющаяся девятка. Столбов пнул створку сапогом, пригласил Хрипунова внутрь.

Лестница-винтовуха, медное перильце. На каждой площадке Хрипунов заглядывал в низкое, запыленное окошко. Там повторял себя золотой, как гигантское яйцо, срезанный нагроможденным морем городских крыш, купол. Исаакиевский собор. Столбов тоже смотрел:

– Ах, ты, халупа позолоченная! – высказывал он свой восторг. – Ну, идем, идем, солдат, Лялин ждет.

На последнем этаже Столбов нажал кнопку. Звонком запищал комариком. В распахнутых дверях – майор с вокзала. Лялин.

– Т-с-с-с! Идите тихо, чтобы жида не видели, – зашептал майор Лялин и повел гостей за собой, бесшумно ступая щегольскими, блестящими сапогами. Пропустив в комнату, закрыл изнутри на ключ. Там – очертания какого-то станка, инструменты на столах.

Столбов и майор Лялин схватили Хрипунова с двух сторон – не вырваться.

– Какой ему курс обучения? – спросил майор Лялин. – Сержантский, офицерскую школу, или, может, сразу академию?

– Офицерскую он, пожалуй, не выдержит, – засомневался Столбов. – Это ж пять закруток. Не голова будет, а блин. Не говоря уж об академии. Жми сержантскую. Это всего две закрутки.

Зажали голову Хрипунова в станок, стали поворачивать стальную ручку. Череп затрещал, глаза полезли из орбит, сознание вот-вот потухнет. Диктующий с учебной трибуны голос:

– Раздел первый. Статья третья. Принципы деятельности органов правопорядка: деятельность органов правопорядка строится на принципах законности, гуманизма, обеспечения прав человека и уважения его личности...

Хрипунов в ужасе вскочил с постели. В комнате было темно. Потом раздался звон разбитого стекла, яростная матерщина, пьяный вопль и шум выброшенного наружу тела. Это, должно быть, начинался человекопад.

ЦИРКУЛЯР № 12

Лейтенант Глухов посмотрел на часы: 20.00. Развод. Лицо у Глухова суровое, рыжие усики. Глухов раскрыл книгу информации о преступлениях в городе и произнес:

– Приготовьте служебные книжки. Циркуляр номер одиннадцать. Выборгское шоссе, в придорожной канаве обнаружен труп... Записывайте, записывайте, чтобы все подробности были. Проверю.

Старший сержант Зубков молчание не мог выдержать более двух минут. Он зашептал в ухо старшине Овчинникову:

– После смены на рыбалку? А? Крючки, червячки...

– Зубков! – загремел голос лейтенанта. – Записывайте приметы трупа: 30-35 лет, плотного телосложения, лоб высокий с залысинами, брови сросшиеся, глаза голубые, шапка-петушок черного цвета... – отчетливо, неторопливо диктовал лейтенант.

Кот серый в полоску гулял по проходам между столов, терся о сапоги. – Кис-кис, – зашептал Зубков, – хочешь рыбки? Лейтенант Глухов отложил книгу информации.

– Тема развода: задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления. Должны знать назубок. Время поджимает, – и, отвернув рукав мундира, опять посмотрел на часы.

В оружейной комнате получали свои пистолеты и колодки с патронами. Зубков никак не мог извлечь патрон из колодки и кричал:

– Хоть зубами тащи, в медную его мать! Дежурный! Чем жо... за телефоном просиживать – дырки бы в колодках сверлом расточил.

– Тебе не угодишь, – заворчал черноусый и бритоголовый, как черкес, дежурный Хазин. – То у тебя маленькая дырка, то большая. Это, наверное, патрон у тебя к ночи распухает.

Хмурый Овчинников убрал снаряженный пистолет в кобуру, поправил завернувшийся клапан на кармане шинели. Сказал:

– Приснилось: оса в шею ужалила. А жжет, будто в самом деле... – И, морщась, потер толстую шею за воротником.

– Меньше пить надо, – заметил Зубков. – Ты же меры не знаешь. При таких запоях и не то еще причудится! Эх, старшина, старшина!

– И перчатки где-то посеял, – продолжал Овчинников.

Люди в форме вышли на улицу, стали расходиться по своим постам. Зубков и Овчинников – вместе. До охраняемого объекта им недалеко, минут пятнадцать.

Зубков говорил:

– Червяков купил у старика-ханьги – жирные, как сосиски, сам бы ел. Клев-то будет? Как думаешь?

– Будет. Только успевай вытаскивать, – пробурчал немногословный Овчинников.

Поворот. Фонарь. Вывеска. Подмигнула оловянными буквами РЫБА. До места десять шагов, в переулок.

Мутно-зеленый дом, отремонтированный. Резкий запах свежей нитрокраски. Вагончик с лесенкой. Рядом отсвечивали стеклами "Жигули". Шофер спал, прислонясь головой к стенке кабины. Дом заселен, окна веселые. На втором этаже, в обрамлении пышных штор – хрустальным каскадом – люстра.

– Живут! – восхитился Зубков. – Как в музее! Пошел я вчера...

Из темной подворотни появился плотный, коренастый мужчина в куртке, в шапке-петушок черного цвета. Руки обременены увесистыми тюками.

– Постой, – оборвал Овчинников напарника.

– Эй, трудяга, не тяжело нести? Покажи-ка паспорт.

Коренастый опустил тюки, полез в куртку. Рука выскочила обратно, грянул выстрел.

Овчинников схватился за шею и стал садиться. Пальцы, пытаясь удержать кровь, оделись в липкую, красную перчатку.

Второй выстрел последовал за первым, прервав Зубкова на полуслове. С дырой между бровей он уже ничего не мог сказать.

Третий выстрел прозвучал почти одновременно со вторым. Овчинников выдернул из кобуры пистолет и разрядил в темнеющую перед ним фигуру половину обоймы.

Жигули за спиной Овчинникова газанули и с бешеной скоростью понеслись по улице.

Утром лейтенант Глухов говорил перед заступавшим на службу нарядом:

– Мать вашу в парашу! Это называется – задержать преступника! Вчера тему развода объявлял. Перестреляли, как птенчиков. Взрослые

мужики, пятнадцать лет стажа. Выполняли бы устав, не лежали бы сейчас – один в море, другой – в госпитале. Записывайте: циркуляр номер двенадцать. Приметы преступника. Нет, трупа, то есть. 30-35 лет, плотного телосложения, коренастый, лоб высокий с залысинами, брови сросшиеся, на голове шапка-петушок черного цвета...

– Да это мы записывали, – заметил кто-то. – Что они, оживают каждый раз, что ли?..

– Разговоры! – крикнул Глухов. – Записывайте, записывайте. Чтоб все подробности были. У каждого проверю. Приметы второго преступника, скрывшегося на машине, не установлены.

ГДЕ КИРИЛЛОВ?

Я ищу сержанта Кириллова. Но его нет. Сегодня строевой смотр. Объявлено: чтобы весь личный состав батальона в 8.00 стоял во дворе, стриженный, отутюженный, с сиянием бодрости в глазах. Чтобы все до одного прибыли под страхом расстрела! Где же Кириллов? Опаздывает? Появится с минуты на минуту? У нас с ним кой-какие счеты...

Серые милицейские шеренги во дворе. Шинель, портупья, кобура. Усы, носы. Сверху – непрерывный мокрый снег. Тает, течет, сырые рукава.

– А начальства-то, начальства! Как воронья! – ахает Бубнов, старший сержант, фуражка на затылке. – Может, комиссия из Москвы? – Бубнов возбужден. Подбородок-кактус, небритые колючки.

В начале строя возникает громадный, рыжий лев-майор в окружении свиты. Это новый командир батальона Трофимец. С ним два тощих, высоких капитана и зам по службе лейтенант Голяшкин, плоскотелый, колода с семенящими ножками.

Голяшкин, густо покраснев, кричит команду:

– Ры-ыв-ныйсь! Сми-rrr-но! Равнение налево!

Трофимец рывкает

– Здравствуйте, товарищи милщнеры!

В ответ раздается нестройное, вялое:

– Ав ав ав, – и бессильно обрывается.

Трофимец из рыжего делается багровым – свирепое солнце над асфальтовой пустыней двора.

– Не батальон, а дохлятина какая-то! Мертвые кошки и то оживленной. Ну и служба у вас тут. Уж я вас закручу на все гайки. А ну еще раз:

– Здравствуйте, товарищи милщнеры!

Строй на этот раз отвечает более воодушевлено:

– Гав гав гав.

Бубнов тоже разевает рот, беззвучно, имитируя крик, как несчастная похмельная рыба, выброшенная на берег из пучины разгульной ночи.

Комбат Трофимец больше не пытается на свое мощное приветствие получить отзыв соответствующей строевой звучности.

– Да у вас батальон на ладан дышит, – обращается он к Голяшкину. – Не батальон, а кладбище. Какой-то хор мертвецов. Приказываю, лейтенант, в недельный срок провести с лич.составом служебные и строевые занятия. После чего я сам буду принимать зачеты по профессиональной подготовке. Кто не соответствует занимаемой должности советского милщнера, тык скызать, слуги народа – обходной лист в зубы, и прощай, Вася, Петя, Федя, или как там вас еще прозывают, сукиных сынов, разгильдяев, оболтусов, уродов в нашей здоровой семье братских республик! В народном хозяйстве повкальвайте, как папы карлы! От звонка до звонка! Это вам не на посту прохлаждаться, ковыряя в носу, да по телефону с бабенками языком трепать целые сутки – о стыковке на околоземной орбите договариваться!..

Теперь посмотрим внешний вид и готовность к службе. Командуйте, лейтенант.

Голяшкин, ни жив, ни мертв, осипшим задушенным голосом дает команду:

– Первая шеренга – два, вторая – один шаг вперед. Третья – на месте. Достать свистки, служебные книжки, расческу, носовой платок, удостоверение личности в развернутом виде.

– Хамлов, кинь свисток, когда тебя пройдут, – просит в первую шеренгу стоящий сзади сержант Давийло, тыча пальцем в спину тому, кто перед ним – плечистому старшине с кудреватым затылком.

– Боюсь, ах, боюсь! – трясется бочкообразная Мурина, – у меня голова неуставная.

Действительно: вместо форменного котелка с кокардой, что положено по уставу носить в межсезонье женщинам-милиционерам, у

нее на голове задорно пламенеет собственноручно связанная на посту, мохнато-шерстяная, как у шотландских гвардейцев, красная шапка. Что будет с комбатом от такого зрелища – трудно предугадать.

Он, в сопровождении свиты, осмотрел первую шеренгу, движется по второй, грозным взглядом окидывая с кокарды до сапог каждого.

– Это что за явления природы? – возглашает Трофимец, не дойдя до меня двух метров. – Сколько лет в милиции – такого еще не видел! – Он смотрит в ноги Давийло.

Давийло стоит перед комбатом навытяжку, рука к козырьку. Вся его амуниция, казалось бы, в полном порядке: фуражка, шинель, служебная сумка на ремешке, штаны с лампасами. Но вот дальше, там, где кончаются, обтягивая икры, штаны-бриджи, открывается, как неожиданный рельеф местности, вид, лишенных сапог, волосатоголых давийловских лодыжек. Вместо сапог, этой грубой армейской казенщины, на ногах Давийлы – лаково блестящие бальные туфли с кокетливым бантиком-бабочкой.

У Трофимца щеки задергались в тике:

– Вы что, сержант, танец маленьких лебедей тут исполнять решили? – И гневно Голяшкину:

– Распустили людей, лейтенант! Не служба тут у вас, а театр оперы и балета. Так он в следующий раз вообще босиком придет запорожского гопака плясать. На гауптвахту, мерзавца! Чтоб я тут больше его не видел!.. А вам, лейтенант, строгий выговор!

Трофимец приказывает:

– Поворачивайте людей к стенке. Буду стрижку смотреть. Мы патлы им урежем.

Совсем озверев от вида заросших затылков, Трофимец ревет, как голодный лев в пустыне:

– Снять левый сапог, показать носки! Ну, если у кого неуставного цвета, красные, голубые, серо-малиновые в полоску! Живьем в землю тут посередине двора зарюю!

Шеренги стоят, одноногие цапли, согнув левую в колене и вытянув напоказ ступню в сером уставном носке. Под мышкой сапог. Я тоже стою, смотрю украдкой в конец шеренги: не появился ли Кириллов.

Справа, бок в бок старшина Павлов. Форму – боготворит. Командование всегда его в образец ставит. Безукоризненное снаряжение. Сапоги – хоть на витрину. Выправка, солидность. Эта

форма присуща Павлову, как кожа присуща телу. Его невозможно представить без нее. В форме представителя власти Павлов так внушителен, так величественно держит голову, что на его монолитных плечах вместо полосок старшины чудятся маршальские орлы. Эту форму Павлов считает наилучшей в мире. Бубнов про него рассказал случай: Павлов, важный, как индюк, при всех регалиях, остановил собственную жену, спешившую в магазин за продуктами (жена перебежала дорогу на красный свет семафора) и, не обращая внимания на ее возмущенные протесты, хладнокровно добился уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения. С тех пор Павлов один. И никто не видит его в иной одежде, кроме формы и в быту, и в гостях, и на прогулке.

Но где же Кириллов? Он мне позарез нужен. Не люблю быть в долгу. Пора рассчитаться...

Смотр кончился. Теперь нас повезут в автобусах в стрелковый тир.

– Целиться под восьмерку! Плавно нажимайте спусковой крючок. Плавно! Тогда попадание обеспечено, – поет зам по службе лейтенант Голяшкин. – На огневой рубеж шагом марш!

Мурина бледная, как сама смерть. Глаза во все лицо – два омута слепого ужаса.

– Ох, боюсь! Боюсь я! пистолет трясется в ее руке, как будто она держит жабу.

Из шеренги раздаются голоса:

– Первый к стрельбе готов. Второй готов. Пятый готов. Десятый.

– По мишеням огонь! – командует Голяшкин.

– Прекратить огонь! – вопит бешеным голосом Голяшкин. – Мурина, ты куда стреляешь?

Мурина поворачивается, ее глаза закрыты, лицо меловой статуи. Пистолет трясется в ее руке, как лихорадочный, и направлен прямо в грудь лейтенанту. У Голяшкина отвисает челюсть. Он хрипит:

– Мурина, брось пистолет. Брось сейчас же!

Мурина пробует стряхнуть клещом вцепившийся в пальцы пистолет. Но избавиться от этой зловредной железяки ей никак не удается, пистолет дергается вверх, вниз и, огрызаясь, начинает палить в пол, под ноги Голяшкину. Тот пляшет, бойко отбивая четку с темпераментом испанца в милицейском сомбреро и истерически визжит:

– Отнимите у нее пистолет! Сейчас же отнимите!..

Все кончается благополучно. У Муриной отбирают оружие и уводят в бесчувственном состоянии.

Голяшкин возвращает свою челюсть на место, поправляет за козырек съехавшую в пляске фуражку, и мы продолжаем стрельбу.

Отзвучал последний выстрел. Голяшкин командует окрепшим после чудесного спасения голосом:

– К осмотру мишеней бегом марш!

Подбегаю, смотрю: у меня легло ровно в девятки, десятки. Как говорится – кучкой, дырка на дырке, нарисованное пистолетом решето.

Мишень Бубнова рядом с моей – девственно непорочная, непоцелованная ни одной пулей.

– Эх, Бубнов, опять скажешь: кривой пистолет тебе попался! – укоряет Голяшкин. – С такими стрелками у нас все мишени целками останутся.

Бубнов усмехается, почесывает скорлупчатым, желтым от никотина ногтем колючий полуостров своего далеко выдающегося в пространство небритого подбородка. Он ничуть не унывает от неудач со стрельбой. Из ушей торчат пустые гильзы – затычки от грома выстрелов. Сейчас вся эта мука кончится, отпустят на волю, и перед его жаждущим взглядом уже стоит мираж с источником животворящей влаги, бьющей из кранчика пивного ларька.

Бубнов про Кириллова должен знать. Они ж дружки-приятели.

В батальоне завелся вор! То служебная сумка пропадет, то деньги, то шинель, то свисток. А сегодня и запасной магазин с патронами улетучился у Бубнова из кобуры, пока он травил анекдоты в курилке. Бубнов вращает свирепыми глазами, кричит негодующим голосом:

– Только попадись, подонок! Я ему руки поотрубаяю. Будет еще одна Венера милосская...

– Лучше четвертовать, – замечает Павлов, сочувственно сморкаясь перед Бубновым в клетчатый носовой платок. Аккуратно складывает, прячет в карман. Потом, обнаружив у себя на рукаве мундира пушинку, сдувает ее.

Голяшкин за столом с грудой бумаг. Встает, требует тишины.

– Кто скажет: какая у нас сегодня тема развода? – с коварной искоркой в глазах задает вопрос Голяшкин.

Все молчат, крепко стиснув губы.

– Опять не знаете. Каждый день повторяю. Что у вас – мозгов нет? Дырки в черепе – сквозняк свистит. Лошадь и то давно бы выучила, а вам за целый год двух фраз не запомнить. Все! Последний раз! Кто не запомнит – без зарплаты останется, – возвышает голос Голяшкин. – Тема развода: основания задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Когда это лицо застигнуто при совершении преступления. Когда очевидцы и потерпевшие прямо укажут на данное лицо. Когда на подозреваемом лице, его одежде, при нем, или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления, как то: следы крови, борьбы, царапины, укусы, огнестрельное и холодное оружие, ножи, ломы, топоры и тому подобное. При наличии иных данных, дающих право подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано лишь в том случае, если покушалось на побег, не имеет постоянного места жительства, или у лица не установлена личность...

Наряд, уставясь страдальчески-сосредоточенными взглядами на лейтенанта, пытается удержать в памяти хоть одно его слово. Я тоже пытаюсь. Но речь Голяшкина льется, как поток бюрократических чернил по бумаге, в котором ныряет, то исчезая, то появляясь вновь, чье-то, лишенное черт, лицо с выпученными от ужаса глазами-кляксами.

Голяшкин продолжает

– Надо подтянуть показатели. В этом месяце задержаний – кот наплакал. Останемся без премий. И с кадрами напряженка. В батальоне некомплект сорок человек. В полку я и не заикаюсь. За каждого приведенного кадра комполка лично обещает десять дней к отпуску и денежную сумму в размере оклада.

Бубнов после развода рассказывает: я этой курве: ты хоть газетой закройся! А она ни бельмеса. Лыбится до ушей, как будто я ей миллион подарил. Рожа как блин, чухна скуластая...

Господи, ну куда же делся Кириллов? И никому нет дела – где он. В отпуске? В командировке? Перевелся в другое подразделение? Хоть бы кто слово о нем сказал. Молчат, будто Кириллова и на свете не существует. А расспрашивать мне не хотелось бы. Есть на это причины.

Голяшкин, встав из-за вороха бумаг, за тем же столом, в том же помещении, мятый, тусклый, начинает механической скороговоркой:

– Новая тема развода: применение оружия. Разрешается применять оружие против граждан и других опасных животных, угрожающих жизни и здоровью сотрудника милиции, а также при попытке завладения его служебным достоинством с целью изнасилования несовершеннолетних и пытающегося скрыться... – нет, что-то я, кажется, не то, – спохватившись, обрывает свою речь лейтенант и обалдело смотрит на нас. Один ус у него торчит вверх, другой загнут вниз, как отклеенный.

– Все в голове перепуталось, – трет себе лоб Голяшкин. – Кручусь и днем, и ночью, как проклятый...

Мурина меня за рукав:

– Ты бы, Сереженька, хоть часок со мной подежурил. Уж что я с восемнадцати лет на этой работе во внутренних органах повидала!

Мне хотелось бы прервать Мурину и сказать, что меня зовут не Сереженька, но – не удастся. Она, загородив проход своим необъятным корпусом и поигрывая глазками, продолжает тараторить:

– Девчонка несмышленная, назначили меня в больницу, сифилитиков охранять. Привели первый раз в палату: ох, мамочка – что я там увидела! Такое, такое! По гроб не забуду! Голые мужики, без всего, и – в карты. А один на кровати, ноги по-турецки, и сам с собой... Ну, ты понимаешь, – хихикает Мурина, – это самое... Фу, гадость. А те – в карты. Хоть бы глазом кто моргнул. – Мурина поглядела на меня с беззастенчивой прямотой и призывно моргнула подкрашенными ресницами, как бабочка черным крылом, чуть не задев меня по лицу. Я испуганно отшатнулся.

Тот же стол, помещение, молочные трубки люминесцентных ламп. Голяшкин, бодрый, усы нормально горизонтальные, читает информацию о преступлениях: Октябрьский район, нападение на квартиру. В час ночи гражданину Лоту позвонили в дверь, сказали – посланы произвести обыск. Трое в черных капроновых чулках, надетых на голову. Возраст, приблизительно: 20-30. Рост: 190-200. Применив баллончик со слезоточивым газом, связали и закрыли в ванной. Совершили хищение следующих вещей:

Икона божьей матери с младенцем Христом. Картина с нарисованным средневековым замком работы неизвестного художника. Картина, изображающая наводнение в городе Санкт-

Петербурге. Три медальона царского времени. Шкатулка из бронзы, инкрустированная изумрудами. Морские часы в чехле. Ботфорты и позорная труба, приписываемые Петру Первому.

Преступники скрылись на машине "волга" неопределенного цвета.

– Вот и ищи-свищи этих ангелочков, – развел руками Голяшкин. – До чего у нас народ гостеприимный, впускают всех без разбора – только в дверь позвони.

Один на дежурстве в пустом многоэтажном здании. Дворец, мрамор, колонны. Зеркало – мрачный прямоугольник, в обрамлении, в бронзовых завитушках барокко. Достают пистолет, сдвигаю флажок предохранителя, щелкаю затвором. Приставляю дуло себе к виску. Сталь миротворно холодит. Палец на спусковом крючке. Пытаюсь нажать: ну же, ну!.. В зеркале страдальческое лицо с глубокой вертикальной морщиной между бровей, милицейский погон – игральная карта смерти. Трагикомизм в злеченом антураже: как будто человек отлить хочет, терпит из последних сил, сейчас обосс... Нет. Не могу. Опускаю руку. Слишком смешно. Колотит дрожь. На виске четко розовеет кружок от дула. Не розовеет – чернеет. Это отнюдь не кружок – это дырка в черепе. Палец проваливается свободно. Мозг можно пощекотать, чтоб он завопил, умирая от смеха. Может быть, все-таки, был выстрел, а я и не заметил? Извлекаю магазин из рукоятки пистолета, считаю патроны: все восемь, полный комплект. Пистолет пуст.

Сменился с дежурства. Спуск в метро Гостиный двор. Люди на встречном эскалаторе, те, что едут из-под земли, все, как один, смотрят на меня, мужчины-женщины, молодые-старые, уроды-красавцы – решают очередями автоматных глаз, как живую мишень. Достигнув спуска, я уже не ощущаю себя одушевленным телом, занимающим мало-мальское пространство, я – сплошная дыра. Сквозняк сквозь меня свистит по залу.

Там – бег толпы, в шубах, в пальто, в пестрых куртках. Толпу пересекает, как рана, кровавый лампас. Что бы это могло значить? Толпа призрачных человечков мчится на фоне монументальных штанов великана-милиционера, поверженного во всю длину подземного зала. Мраморная скульптура? Окаменелость? Может, спит? Мертвенно-голубое лицо, свисающие, как у казака, усы. Что-то знакомое. Где я его видел?.. Ну, конечно: это Кириллов.

Вчера уволили сержанта Курочкина. За аморалку. Он, будучи в гражданской одежде, в свободное от службы время, приставал в городском транспорте к красивым молодым женщинам. Представлялся кинорежиссером. Предлагал взять на пробу для съемок в эротических фильмах. Только, мол, предварительно нужно фигуру осмотреть в оголенном виде – годится для кино, или какой дефект. Одна девица не правильно поняла, стала визжать, что ее изнасиловать хотят. Курочкина загребли в отделение. Девица уперлась, железобетон. Никак не уломать, чтоб отступилась от показаний. Пришлось составить протокол и пустить дело в оборот. Дошло до Большого Дома. В результате несчастного кинолюбителя, не прошло и 24-х часов, уволили из любимых органов внутренних дел, как говорится, пинком под зад.

– Батальон редеет катастрофически – что ни день! – сокрушается на разводе лейтенант Голяшкин. То убьют, то уволят, то сам под машину подвернется, или из окна выпадет. А то и просто так, за здорово живешь, без вести исчезнет. Пойдет погулять, на ночь глядя, и – тью-тью. Как будто собака языком слизнула. При такой текучке людей не напасешься. С кем же мы службу-то служить будем? – в отчаянии вопрошает Голяшкин.

Стоим кучкой, пытаюсь защититься от ветра у Петроградской стороны Тучкова моста. Ветер с Невы сырой, пронизывает шинели.

Бубнов рассказывает анекдот, яростно жестикулируя обеими руками, вскидывая костистые фейерверки пальцев.

– Приходит Чапаев в цирк, на работу, значит, устраиваться. А директором там Петька. Вот Петька и спрашивает, а какие ты, Василий Иваныч, номера показать можешь? А Чапаев ему: вот, к примеру, Петька, такой фокус: выхожу я на сцену, в белых перчатках, в цилиндре... – Бубнов рассказывает с азартом. Мне противно слушать этот всем известный сюжет, который оканчивается тем, что весь зрительный зал оказывается облит дерьмом из раскрывшегося под куполом цирка дурацкого сундука. Один только фокусник Чапаев, чистенький, во фраке, стоит перед публикой и раскланивается. Затрепанная анекдотчиками шутовская кукла.

– Бубнов, – говорю, – на два слова.

– Ну, чего тебе? – спрашивает он, недовольный, что я прервал его артистическое выступление.

– Что-то Кириллова давненько не видать. Не знаешь – что с ним?

Бубнов смотрит на меня, выпучив глаза в красных прожилках.

– Ты что, с космоса свалился? Он год уже – покойник. Шлепнул какой-то гад ночью вот на этом самом мосту во время дежурства. Поговаривали: кто-то счеты свел. Так и не нашли. Дело темное... Жаль, конечно, Кирюшку. Хороший был парень. Литровку зараз выхлебывал, не морщась...

Мероприятие закончено. Ночь. Все ушли. Я на мосту один – дежурить до утра. Иду к будке. В двух метрах от нее лежит ничком человек в милицейской шинели, сержант. Спина расстрелянная, рваная. Пули легли кучно. Бурая, запекшаяся кора крови. Эх, Кириллов, Кириллов! Ошибки быть не может: это – он.

ЗВЕРЬ АПОКАЛИПСИСА

Задержанный нагло глядел сквозь решётку на сержанта Цымбалова и чесал грязным пальцем голову. Сержант за столом осматривал изъятые у бродяги вещи. Ручка с вечным пером. Сержант покрутил находку у себя перед носом. Вместо капли чернил на кончик пера выползла вошь – громадная, коричнево-красного цвета. Цымбалов выронил ручку. Появление этого зверя Апокалипсиса потрясло своей неожиданностью. Бродяга в стальной клетке теперь неистово скрёт брюхо, от него разило помойкой. Зажав рукой нос, Цымбалов крутнул несколько цифр:

– Эй, срочно машину! У меня убийца! – Затем просунул руку в прутья и опрыснул пленника одеколоном. Получилось ещё хуже – букет из гвоздик и дохлых кошек. Бродяга, перестав чесаться, изумлённо пялился на Цымбалова.

В комнату шумно вошли ещё двое: младший сержант Жмырев и молодая цыганка.

– На, обыщи! – цыганка распахнула дорогое кожаное пальто. Жмырев скинул козырёк, вытер рукавом замученное лицо.

– Денежки на стол.

– Что я – рожаю их? – смуглощёкая, тряхнув серьгами, обиженно застёгивалась.

– Не чиркать! – цыкнул на неё Жмырев. – Отопри клеточку, – сказал он Цымбалову. – Пусть посидит в приятном обществе.

Бродяга был польщён. Просунул лапы и, сластолюбиво ухмыляясь шетинистой мордой, воззвал:

– Эх, обниму, к сердцу прижму! – По чумазой шее ползло насекомое.

Бедная девушка, побледнев, попятилась, из её карманов посыпались толстые пачки денег. Дверь распахнулась от удара сапога. Вступили усачи с автоматами:

– Где убийца?

Цымбалов ткнул в клетку:

– Вот он, красавчик.

Усачи взглянули – усы перекосило.

– Этот? – вопрос прозвучал нетвёрдо.

– Он самый. Даром отдаём. Вам бы, хлопцы, противогазы.

Усачи увели бродягу, подталкивая дулами. Цымбалов вытянул в кресле квадратные сапоги.

– У меня сегодня день рождения, – объявил он.

– Чего ж ты молчал, урод? – Жмырев достал табличку "Обеденный перерыв" и повесил с наружной стороны двери. – Идём, – сказал он Цымбалову. – Мы тут только время теряем.

– Тихо, как в гробу, – заметил Жмырев, озираясь в квартире. – Жену куда дел? Кокнул?

– В ванне сжёг, – признался чистосердечно Цымбалов.

– Зверь! – Жмырев рванул пакет, посыпались зелёные пупырчатые крокодилы. Один пополз, изгибаясь, через комнату и исчез под шкафом. – За твоё здоровье! – кричал Жмырев и лил водку.

Пили, как показалось, недолго. Цымбалов взглянул на окно – непроницаемый мрак. Перевёл взор на бутылку – пусто. Жмырев встал.

– Я скоро. Нога здесь, другая – там, – и пропал. У двери одиноко стояла нога сама по себе. Сапог сморщился, но не чихнул.

Цымбалова разбудил грохот, громкий голос Жмырева. Два усача-знакомца наставили автоматы. Между ними широко улыбался Жмырев. На заднем плане маячила полюбившаяся молодая цыганка.

– Скучно, – объяснил Жмырев. – Сначала мы так катались. Потом я вспомнил: у тебя день рождения. Чего жмуришься? Пить, плясать будем! Пир горой! Ребята, заходи! Будьте, как дома.

Заорал страшным голосом магнитофон – певцу сдирали живьём кожу. Усачи мрачно чокались. Цыганочка хохотала, вихляя бёдрами. С улицы донёлся могучий гудок.

– Это Нахуйдоносор! – усач распахнул окно и крикнул: – Чего воешь?

– Я тоже хочу! – жалобно заныл Нахуйдоносор.

– Тебе нельзя, ты за рулём, – возразил усач-автоматчик. – Дежурь на рации.

Барабанная дробь сотрясла дверь, взревел звонок. Цымбалов пошёл открывать. Там стояла старуха-соседка в надетом наспех халате, с молотком.

– Долго будет продолжаться этот ад? – осведомилась она. – Милицию вызову!

– Милиция – мы! – отозвались усачи в расстёгнутых рубахах, таща за ремень автоматы. – Мы ж тебя бережём, ведьма!

Старуха взмахнула молотком и выбила Цымбалову глаз.

– Тьфу на вас! – закричала она разъярённо и скрылась в своей квартире.

– Сваливаем! – возгласил Цымбалов, держась за изувеченную зеницу. – Сейчас эта Иродиада легионы бесов сюда пригонит.

Друзья гурьбой сыпанули по лестнице. Утро, светло. У автоматчика ус закрутился штопором.

– Нахуйдоносор, газуй!

Помчались, воя сиреной и бешено вращая мигалку. Цымбалову сделалось нехорошо. Стоп! Распахнул дверцу.

– Вы, ребята, поезжайте. Я тут воздухом подышу.

– Ключи дай, – попросил Жмырев. – В квартире приберём. – Цымбалов кинул ему связку.

Вернулся с прогулки поздно. Ушибленный глаз заплыл. На звонки не отвечали. Тихо играла музыка. Долго дубасил в дверь кулаком. Наконец, Жмырев, в одежде Адама.

– Цыганочка – высший сорт, – оповестил он, пошатываясь. Цымбалов шагнул в квартиру и не узнал её: везде раздавленные помидоры.

– Мы тут, как видишь, прибирали, – Жмырев икнул. За ним стояли два невозмутимых усача в той же первозданной форме, что и он сам.

Цыганочка исполняла на ковре сирийский танец.

– Меня в Багдад в ночной бар танцовщицей приглашают? – заявила она, вертя на талии, груди и бёдрах одновременно три блестящих обруча. Это было уже слишком.

Цымбалов увидел единственным здоровым глазом: через комнату полз гигантский красно-коричневый зверь, ошестиненный штыковидными рогами и увешанный автоматами. На бронированных боках брякали пистолеты и револьверы всех систем, существующих в мире: браунинги, люгеры, наганы, кольты. Чудовище повернулось к Цымбалову, скрежеща суставами, и разинуло зубатую пасть.

– Такси! – закричала танцовщица.

Лучезарно улыбаясь, оседлала Зверя и пришпорила пятками. Уносясь, она послала воздушный поцелуй с написанным на нём помадой домашним телефоном. Цымбалов не разобрал ни цифры.

СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ НА МАРАТА

Почистим пистолет. Разбираю на части, пальцы работают автоматически. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф паф! Ой-ё-ёй! Умирает зайчик мой...

Стоп. Пальцы в полном составе, вышколенные, отсутствующих нет. Личное оружие нападения и защиты, предназначенное для поражения противника на коротких расстояниях. Восьмизарядный системы Макарова.

Сборка в обратном порядке. Магазин снаряжён, вставлен в рукоятку. Оружие в кобуру.

В коридоре колонна дверей, одетых в чёрные кожаные куртки, движется навстречу. Так всегда: яркость ламп, таблички, таблички.

Синие "Жигули".

– Курнём! – кричат собратья по оружию. Гогочут, шлёпая себя по ляжкам.

Здания, брызги из-под колёс, погодка. Пукалка, в слона не попадёшь. Это тебе не товарищ Маузер!

Ул. Заслонова, вылезаем, план прост: идём к "месту" и ждём "клиента".

Они свистят, у меня мысли. Мутный денёк, слякоть. Мы окружены домами. Спортплощадки, огороженные стальной сеткой. Подростки в хоккейных шапочках убирают лопатами сырой снег. Дом-урод, кофейная жижа, рога антенн. Трое нам навстречу: рослая,

флотская шинель без погон, башка в грязных бинтах, звякают в обеих руках сумки. За ним – две опухло-багровые бабы в цыганских платках.

Стиснутый амбарами, узкий двор. Кирпич – точно запёкшаяся кровь, с карнизов ледяные струи. Двери в нишах, ржавчина, замки-лапти. Два одинаковых каменных крыльца по четыре ступени глядят через двор друг на друга. Над правым вывеска:

МЕБЕЛЬ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

В конце двора арка, улица, мелькают машины. Через улицу – такая же подворотня, чугунные ворота. Номер дома – 77. Это и есть улица Марата. Без четверти три. "Клиент" будет с минуты на минуту. Расходимся: они поднимаются на левое крыльцо, я – на правое, с вывеской.

Тот, кого мы ждём, вероятно, появится не один, он приведёт двойника. Две бритоголовые уголовные капли в чёрных кожаных куртках взойдут, один – на одно, второй – на такое же крыльцо, возьмутся за железную ручку и развернут перед собой дверь, а за дверями – ку ку.

В помещении ярко, люстра-хрусталь, зеркала, мягкие кожаные диваны. За прилавком азартно режутся в карты два милиционера, в шинелях, шапки на затылке. Развернув удостоверение, сую в усатые рожи. Они отшатываются, как будто я показал им раскрытую рану.

Поднимаю палец. Шаги на дворе, шум слякоти, плеск капель. Зверь на ловца бежит, тоскливый, не повернуть ему вспять. Бежит в нашу ловушку. Ближе, ближе. Шорх-шорх по ступеням. Пришелец у двери, дышит со свистом. Мы по другую сторону тоненькой перегородки из досок, у нас пистолеты. Момент напряжённый.

Пришелец – дёрг дверь, чёрная куртка. Кричу:

– Стой! Стреляю!

Он, слетев с крыльца, стремительно удаляется. Доли секунды – и нырнёт под арку, на Марата. Медлить нельзя. Навожу оружие. Хлопок. Валится в лужу.

Он лежит головой в луже, назвать это головой – было бы грубым искажением действительности. В грязной воде плавает розовый медузообразный сгусток. Отворачиваюсь, волна тошноты, чёрное небо.

СОЛДАТЫ В ЛЕСУ

Чохов застегивал пуговицы чернопогонной шинели. Дембельный сержант Кутько, сидя на табурете, терпеливо ждал.

– Перед смертью не надышишься, сказал дюжий мордач Кутько. – Хоть застегивайся, хоть расстегивайся. В караулке няни тебя давно ждут, не дождутся, запеленают.

В караулке два расторопных сержанта принялись снаряжать Ивана Чохова в ночной наряд. Обули в неповоротливые валенки. Натягивали поверх шинели пудовый тулуп. Чохов, хоть и не слабого телосложения, а зашатался. Приказ комроты Козловича – чтобы часовой не замерз, сторожа склад с боеприпасами. На гладко остриженную под ноль голову – шапку завязали под подбородком по форме четыре, а на шапку водрузили еще и каску, которая тут же съехала на глаза. Один из сержантов бесцеремонным толчком вернул ее на прежнее место и потуже затянул ремешок. Другой облачил чоховские руки в меховые рукавицы и повесил на грудь автомат.

Кутько, который молчаливо присутствовал при снаряжении Чохова, окинул его раздутую фигуру взглядом оценщика. Хмыкнул:

– Порядок! Ну-ка, боец, попробуй, пройдишь маленько.

Чохов пошел к двери, с трудом переставляя валуны-валенки.

Ад мятущихся снежинок. Проектор на вышке боролся лучистым мечом. Кто там? Лазутчики в маскхалатах? Хлопья в световом конусе крутились бесноватым роем.

Разводящие довели Чохова до охраняемого объекта (длинный кирпичный сарай с амбарными замками на дверях), прислонили к торцовой стене и, убедаясь в устойчивости поставленного часового, предупредили:

– Не вздумай дрыхнуть, как лошадь, понял? У нее четыре копыта, а у тебя только два. Заснешь – скопытишься. И вообще: лучше не шевелись.

Ушли, клонясь шинельками, нагнув очурбанные шапками головы, заслоняясь локтями от снега. Чохов остался один.

Фонарь над дверью склада, пятисотваттный, в металлическом каркасе. У Чохова блестящие галоши на валенках, и горел стальной блик на стволе автомата. За углом склада бетонные зубцы, очертания забора в венце ржавых колючек.

За забором что-то темное, шаталось и взмахивало лапами – громадная ель. В сучьях мог прятаться вражеский стрелок, наводя на эстрадно-озаренного часового снайперский прицел с крестиком. Главное – кто первый. Шелохнется тот, качнет веткой, Чохов вскинет автомат и – очередь.

Чохов сплюнул, отвернувшись от ветра. Курнуть бы. Снял рукавицы, полез за пазуху за папиросой и спичками. Прикурить не удавалось, огонек в ладонях-лодочках гас мгновенно, задуваемый из-за плеча. Поискать где потише, за углом склада?..

Достигнув угла, Чохов зацепился за что-то валенком, рухнул навзничь, как подпленный столб. Попытался встать: ну, ну... Чохов понял: встать он не сможет, пока на нем этот пудового веса тулуп. Надо расстегнуть пуговицы. Пуговицы не давались, хоть их зубами грызи, но зубами не дотянуться. Пальцы как не свои. Сунул опять в рукавицы. Отморозил? Каска при падении наехала на глаза, лишив видимости. Хорошо – на спину брякнулся, а не рылом. Покричать? Волки услышат. А солдаты не услышат. Солдаты в казарме повально спят. "Соловьи, не будите солдат..." И ты, Чохов, не буди. Нечего тебе глотку драть. Умри, как мужчина.

Стало чуть-чуть себя жаль: молодой, здоровый, во цвете девятнадцати лет... Ничего не придумать, да и думать не хотелось. Так он и лежал...

В шуме метели он услышал близкие голоса.

– Говорили тебе: не шевелись, – произнес назидательный голос, по которому можно было узнать Кутько. – Ну, ничего. Не ты первый, не ты последний. Не раз еще тулупчик этот на себя примеришь, пообвыкнешь. Берите его, бойцы, за руки, за ноги, несем молодого обратно в караулку.

В медчасти фельдшер Загрудный смазывает Чохову руки мазью, покачивал цыганской головой:

– Были руки, как руки, а теперь кочерыжки, – сказал он. – Еще бы полчаса поморозил – пришлось бы ампутировать. В лазарет бы тебя, да лазарет у меня полнехонек таких же. Дам тебе освобождение, и дуй в казарму, там и лежи.

Чохов стоял в спальном помещении, держа перед собой забинтованные, как у боксера, кисти рук. До отбоя еще больше часа. Одному из всей роты валяться на койке стыдно, хотя замкомвзвода старший сержант Фальба и не препятствовал.

За спиной вдруг залопотали не по-русски, крича и взвизгивая:

– Калым-малым, алла-мулла, не трогай моя постель, старшина скажу! – Голоса смолкли. Спорщики пришли к мирному урегулированию вопроса.

Раздался треск раздираемого полотна. Чохов обернулся. Двое чурок в углу казармы были заняты важным делом: один держал натянутую простыню, другой рвал у нее край – на воротнички. Красиво гляделось на оторванной полоске армейское клеймо-звездочка. Так и пришьют, чурбаны. Старшине эта звездочка при осмотре сразу в глаза кинется – как быку красная тряпка. Он вчера ревел на весь лес и копытами стучал: "Простыней не напасть, на голых матрасах, свиньи, спать будете!"

Чохову тоже не мешало б освежить воротничок, и он отправился в бытовку.

В бытовке жара, как в бане, – приходи голый с веником и парься. Утюги-танки катались, шипя по опрысканным из защечных резервуаров робам. Ефрейтор Брыкин, вертлявый парень, подшивая воротничок, рассказывал очередную байку. К каждой фразе Брыкин прицеплял любимое культурное словечко, наподобие колючки к овечьему хвосту.

– Еду вечерком на тракторе, трясусь, как квашня. Феноменально! В сельмаг за бутылем. Балда с похмельюги трещит. Феноменально! В шесть тетя Дуся лавочку на замок, а мне через реку, как раку с греком, до моста верст десять. А, думаю: была, не была! Дал газ: мой тракторенок подпрыгнул, да и – на тот берег. Феноменально!..

Машковский, годок, элегантно работая утюгом, предупредил:

– Брыкин, еще одно "феноменально" – и я тебе феноменально утюгом по кастрюле двину!

– Ну, чего ты, чего? – удивился Брыкин. – Слово, как слово. Могу и не употреблять. Плевать мне на него. Я же не досказал, чем кончилось. Подкатываю к сельмагу – закрыт, избушка на курьих ножках, чтоб ему перевернуться. Три замка висят, один другого больше. И четвертый тетя Дуся уже вешает, самый большой замчище, вот такой – что моя голова! Феноменально!..

Брыкин, так и не закончив байку, едва успел увернуться от пущенного в него раскаленного снаряда. Утюг с грохотом врезался в стену. Килограмм десять железа!

Чохов сгорбился, запричитал, юродствуя:

– Солдатики, сыночки! Помогите инвалиду безрукому. Пострадал на службе отечеству. Секретный объект охранял. Помогите ошейник пришить!

– Артист! Молодой да ранний! – засмеялся, счастливо избежавший гибели, Брыкин.

Ночь. Дневальный прокуковал отбой. Свет в спальном помещении погашен. Чохов лежал на койке верхнего яруса, скрестив на груди пострадавшие руки, и думал. Думал он о доме. Второй месяц нет известий...

Сосед Чохова по койке, Федька Каравай, зашептал:

– Чох, не спишь? Ты бы видел, что чурки опять учудили: гимнастерки постирали, а выжимать лень. Мокрые на дворе на веревках развесили. Мороз за ночь, говорят, выжмет, ветерком обдует. Хорошая халат будет, сухая. Я сейчас нарочно ходил взглянуть: гимнастерки теперь у них – чугун. Так их дедушка-мороз перекрутил – страх смотреть. Фигуры всякие, фантастика! Представляешь, как они гимнастерки свои одевать станут, когда подъем сыграют!.. Одно слово – чурки!

Чохов видел: беззвучный смех раздирал лицо Каравая, заставляя его демонстрировать в темноте два ряда блистательно белых, будто фарфор, зубов.

На нижнем ярусе под Чоховым шевельнулся Кутько. "Деду" не спалось. Срок его службы давно прозвенел серебряным звончком, но взъевшийся на Кутько комроты за многие провинности задержал до декабря и только вчера смягчился и подписал приказ.

Радостное возбуждение не покидало Кутько, уснуть не было никакой возможности. Он ворочался и вздыхал, не зная – чем себя занять. И вдруг – озарение!

– Чохов, Каравай, Песяк, Уточкин! Подъем! Боевая тревога! – грозно провозгласил побудку Кутько, восседая толстыми, волосатыми ногами на койке, как громовержец.

Босой горох посыпался с верхних коек. Перепуганные, в трусах по колено, встали в струнку перед всемогущим "дедом". Чохов спрыгнул с койки последним, ему было смешно, игра какая-то.

– Духи, слушай мою команду! – продолжал Кутько. – Равняйся, смирно! Равнение на мой палец! – и Кутько поднял свой корявый, как сучок, указательный. – По порядку номеров рассчитайсь!

Выслушав переключку, Кутько объявил:

– Испытание вам сейчас будет. Усекаете? Возьми каждый по швабре, а на голову ведро вместо каски. Мне кирзачей на койку побольше. По моей команде бегите на меня в атаку, а я вас этими снарядами подшибать. В кого попаду – вались, на хрен, на пол. Убит, значит, – никаких разговоров. А кто до меня добежит, да шваброй мне в морду ткнет – тот, значит, прошел испытание с блеском и присуждается ему звание солдата-лешака первой степени!

Взяв в обе руки по увесистому кирзачу, Кутько рявкнул:

– Приготовиться! Марш!

Отряд молодых бойцов, со швабрами наперевес, помчался в атаку на угнездившегося на койке, будто в дзоте, Кутько. Впереди всех бежал вслепую с цинковым ведром на голове Федька Каравай. Меткий кирзач с такой силой угодил ему по бронированному лбу, что тяжело контуженный Каравай зашатался и грохнулся навзничь. Песяк споткнулся о него и тоже лег смертью храбрых. Уточкин упал сам собой, то ли за компанию, то ли от испуга. Только Чохов, которому не досталось ведра на голову, благополучно преодолел огневой рубеж и обмахнул шваброй грозно вытарашенные из-под койки усы Кутько.

– Хватит, хватит, тебе говорю, сукин сын! – страшным голосом заорал Кутько, отбивая настырную швабру. – Размахался, как будто сральник убираешь. Не своя рожа, так и обрадовался!

Последний эпизод боя разбудил спавших, казалось бы, мертвым сном чурок.

– Дай спать, слушай! Спать хочется как зарезанному! – возопили они из своего угла.

Но молить о сне было поздно. В помещение ворвался коренастый капитан, сам комроты Козлович и вlepил здорового леща по шее дневальному, который зачарованно следил за развитием батальных действий.

– Театр из службы устроили! Большой драматический! Мать в портянку! – разорвался Козлович. – И замкомвзводов туда же! Где Фальба? Я с него шкуру спущу!

Фальба, помощник дежурного по роте, плотный, облыселей сержант, моргая, стоял перед Козловичем, руки по швам, левый его глаз настоороженно мигал.

– Сержант, гоните людей на плац! Косых, хромых, убогих! Всех! Живо! Три круга по морозцу мозги проветрить!..

Чохов бежал по плацу, выдыхая облачка морозного пара. В гимнастерке и сапогах жарко. Снег туманился.

После пробежки в казарме спали крепко.

Ровно в 6.00 дневальный кукарекнул подъем, хлопая себя по бокам руками-крыльями, как исправный петух в курятнике на насесте. Такую символику пробудки ввели неиссякаемые на выдумку годки. Плохо выспавшийся Кутько схватил первый подвернувшийся сапог и метнул его в надоедную будильную птицу. Звонкая солдатская зорька захлебнулась на полуслове.

Чохов очнулся то ли от крика, то ли от того, что электричество ударило по глазам. Дом всю ночь снился. Почему нет письма?.. Откинул одеяло, вслед за другими спрыгнул с койки.

– Тридцать секунд! – кричал Фальба. Все! Время пошло! Одурило вскакивали с постелей, совались в гимнастерки, в сапоги, обмотав ноги портянками, с ремнями в зубах бежали в коридор строиться. Фальба с часами в руке следил за секундной стрелкой.

– Молодцом! Уложились, – удовлетворенно сказал он. – Заправиться! Равняйся! Смирно! Напра-ву! На физзарядку бегом марш! А ты куда, дурик, со своими культями! – остановил он Чохова. У тебя освобождение. Иди обратно в койку, пока эти кони-жеребчики не набегают.

Рано радовался Фальба утренней готовности роты. А где же чурки? – вдруг спохватился он и, чуя недоброе, пошел на двор

А с чурками было вот что: как только прозвучала команда одеваться и строиться – они бросились наружу навестить на дворе свои высушенные морозом гимнастерки.

Там их ожидало зрелище, которое повергло их в полную растерянность. Дедушка-мороз, всю ночь проработав с сырым материалом, проявил недожинный талант скульптора-сюрреалиста. Гимнастерки было не узнать: они приняли причудливые и устрашающие формы. На Марсе эти монстриальные формообразования, может быть, никого бы и не удивили, нормально вписываясь в марсианский пейзаж, но здесь, на земле, они могли помутить самый крепкий, неподготовленный к таким скачкам воображения, рассудок. Чурки держали в руках закоченелые фигуры, не постигая: что с ними делать. Одна из бывших гимнастеров напоминала фантастический музыкальный инструмент смесь саксофона с гармошкой. На ней можно было бы попытаться что-нибудь сыграть, но надеть ее на себя было бы верхом безумия и самонадеянности.

Чурки заплакали. "Ай, что шайтан наделал!" – говорили они, размазывая по щекам грязные слезы.

Фальба, застав их в таком положении, полюбопытствовал:

– Что это у вас за диковины? Бараны мороженые, что ли? Так, ясно. Дурь есть – ума не надо. Ну, и сидите теперь без завтрака в казарме, пока не оттают. А потом всем кагалом – в столовую, в кухонный наряд, картошку чистить.

Взвода, один за другим, красные, распаренные, задышающиеся, возвращались с пробежки, скидывали гимнастерки, голые по пояс, с ревом устремлялись занимать места у умывальников и отливальников, толкались, дрались зубными щетками, как на шпагах, лезли к зеркалу, поджимая губы и надувая щеки, пытаясь побрить и себя и затуманенное отражение.

После умывания, заправки коек, построения и безжалостного утреннего осмотра: подворотнички, манжеты, крючки, пуговицы, чистота сапог, стрижка, побритость, – Фальба, наконец, подал зычную команду:

– В колонну по четыре становись! В столовую на завтрак шагом марш! Песню запевай!

Колонна, чеканя кирзовый шаг и запевая походную песню, направилась, овеваемая метелью, через плац в столовую. "Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут!.." – самозабвенно, голосистой всех выводил Чохов. Быть ему ротным запевалой – говорили между собой годки. – Соловьиная глотка. Ни у кого в роте такой.

В столовой обнаружили проделки солдатского домового. Командиры давно сбились с ног, отыскивая призрачного мерзавца, с неутомимой методичностью портившего казенную посуду. Едальные орудия опять оказались совершенно непригодны к употреблению. Алюминиевые ложки всмятку, беспощадно размозженные ударом каблука. Вилки – не вилки, ерши какие-то, зубцы у них у всех врасстыпыр, каждый зубчик отогнут в разные стороны. Кружки, искореженные до неузнаваемости, словно их мяла, как глину, чья-то сильная рука, стараясь придать им более изысканную форму; теперь из этих посуды мог напиться разве что таракан.

Рота взбунтовалась, яростно застучала кулаками по столам, требуя заменить испорченные столовые принадлежности.

– Жрите так! Сапогами хлебайте! – крикнул, выглянув из

выдавального окошка повар Дрекулов. – Нету у меня больше ложек, нету! Хоть режьте!

Наконец, дежурный по кухне принес ящик с уцелевшими чудом чайными ложечками, и бойцы с удесyтеренной скоростью, будто на приз, принялись грести этими кормежными весельцами пересоленную овсянку в мисках.

Сразу после завтрака замполит старлей Мякота, ворочая толстыми, как сардельки, губами, объявил:

– Хлопцы, слухай сюда! Малый перекур и – на плац. Присягу у молодых бум принимать. Щоб строевым шагом, как на параде! Попробуй у меня кто поволынить: заставлю языком ленкомнату лизать! Поняли?

Мякота, будучи сторонником демократизма, любил обращаться прямо к народу, минуя посредничество младших по чину.

Чохов, обойдя Мякоту, решил достигнуть самого комроты Козловича. Встретить у выхода из офицерской столовой откушавшего хозяина леса. Лес этот, не просто – лес, а запретная зона. Рота, не просто – рота: остаток от полка. Полк был, да пропал в лесах, утонул в болотах, перемер от тоски, от прыщей-фурункулов, с полковником, с бронетехникой. Осталась самая стойкая рота Козловича и полковое знамя в штабе. Козлович связывался по телефону с дивизией, а ему генеральский рык: стой, куда Родина поставила. Хоть мхом обрасти! А не то – трибунал!

– Товарищ капитан, разрешите по личному вопросу! – отчеканил Чохов, вскинув к виску забинтованную руку.

– Ну, чего у тебя там? – спросил, ковыряя спичкой в зубах, Козлович.

Чохов ему – так и так.

– Я тебя понимаю, – выразил сочувствие Козлович. – Очень даже я тебя, рядовой Чохов, понимаю. Что я, не человек? Я тоже человек, такой же, как и ты – из мяса и костей. Скажу, не хвастаясь: человек я неплохой, хоть, может, и не с большой буквы. Но пойми и ты меня, Чохов, мать в портянку! Едва месяц прослужил, присягу не принял, а в отпуск уже просишься. Тоска смертная у него по дому, видишь ли. У всех у нас тут тоска. Ничего, живем, не вешаемся. Я тебе скажу, как мужчина мужчине: не киселься. Мать в портянку!

Козлович посмотрел на часы:

– Все. Прием закончен. Строиться.

Торжественное событие близилось. Строй, раздумянные лица. Снег с сухим шорохом сыпался по плацу. Замерев в передней шеренге, Чохов уныло смотрел вдаль, за ложбину, на лесистые сопки.

Гулло раскатилась по плацу барабанная дробь.

– Разворачивайте знамя! возгласил командно-звонящим голосом Козлович.

Знаменосцы развернули ало-бархатную, с золотыми кистями, святыню. Что это?.. Посередине знамени ошеломительно зияла громадная дыра. Она хохотала нахальным квадратным ртом в лицо комроты.

У Козловича челюсть отвисла, как сломанный курок.

– Чьих поганых рук это дело? – закричал он. – Разве это армия? Это помойное ведро! Сукины сыны, ублюдки! Вы – все! Все до одного! – Козлович, бледный, страшный, как сиюминутный мертвец, рука лихорадочно искала сбоку, царапала кобуру. – Только и остается – пулю в лоб, – потерянно озираясь, проговорил комроты.

Строй стоял, боясь показать свои чувства. Годки шушукались: не иначе, Кутько вырезал на дембельный альбом, на обложку.

– Да я сам видел, – уверял Машковский. – Шикарный альбомец.

Присягу отменили, изуродованное знамя унесли. Чохов об этом не думал. Думал он махнуть на лыжах до дома. Не догонят. Как грусть-тоску развеять до вечера? Куда крестьянину податься? Посмотреть телевизор в ленкомнате? Там годки...

Годки перед телевизором сидели непроницаемым для молодых полукружием-подковой. Взирали на экран с фильмом. Это у них называлось: упасть в ящик. Взирали они неподвижно, не моргая. Попробуй шевельни головой – рывкнут все как один: не верти жалом!

Машковский, как всегда, элегантный, полулежа на стуле, вытянул длинные, в модно сморщенных сапогах ноги. На нем собственного покроя куртка-распашонка, которую он смастерил из обрезанной по хлястик шинели. Чохов, незамеченный, одиноко устроился во втором ряду.

Дверь настезь перед новым посетителем. Это вступал в комнату Кутько. Станный он, с загадочной улыбкой усатой Моны Лизы. Подойдя к бюсту Ильича на постаменте в правом углу, Кутько оглянулся: нет ли офицеров, и, скорчив свирепую гримасу, в молниеносном пируэте сапогом вождю по переносице – на, получай! И пошел, опустив глаза, со смиренно-постным видом.

Подсел, похлопал Чохова по плечу:

– Прощание с ротой у меня! – радостно заговорил он. – А завтра – фью! Улетела пташка! А ты парень не нюнься. Воздух тут здоровый. Леса! Звери-росомахи. Прыгает за тобой с елки на елку, а как стемнеет – хрясь! И готов! И сожрет-то только уши. Ну, морду, может, еще объест, лакомка. Остальное медведи-шатуны да волки добирают. В ста шагах от части такая чашоба – лучше и не соваться. И что мы тут стережем – леший знает... Эх, скучно мне, скучно! – жаловался Кутько. – Горит в груди. Чем бы огонь залить? А вот знаю – чем, – хитро подмигнул он и направился исполнять свое таинственное намерение. Плечистый, торс треугольником.

Затылки годков, упавших в ящик. На стене воззвания к молодому солдату: ценою крови защищать отечество. Гипсовый вождь на постаменте, кончик носа испачкан, будто в чернилах.

Мучила изжога – последствие обеденных щей, в которых повар Дрекулов, устав от стряпни, полоскал тряпки. Чохов сунул в рот два незабинтованных пальца, и его вырвало разудалым соловьиным свистом.

Годки взвились с кулаками:

– Ты чего? Ты как здесь оказался? Пошел вон, пока грызло не свернули!

В этот момент входил замполит Мякота, язык розовым лоскутом свисал у него с губы. Очевидно, Мякота хотел облизать вверенное его заботам святилище, любимого Ильича в углу.

Чохов вспомнил: он имеет полное право на постельный режим. Скинул сапоги, влез наверх, распростерся под малогрейным синеньким одеялом, затаился в задумчивости.

– Тащите сюда, мерзавца! – взорвался визгом разъяренный Козлович. Три солдата внесли бесчувственное тело Кутько и свалили на койку.

– Это надо ж так нажраться! Мать в тряпку! – комроты в ожесточении пнул сапогом безразличную ногу Кутько. – В гробу в белых тапочках ты теперь дом свой родной увидишь! – и Козлович еще раз хряснул по свешенной кутьковской конечности.

– Бабаев, Кирюков, Мясин! За мной! – скомандовал солдатам Козлович.

В дверях он столкнулся со старшиной Сидориным. Сидорин лихо отмахнул честь.

– Товарищ капитан, списочек. Расход имущества роты за квартал. Год кончается, я и подбил бабки.

Козлович приостановился, повертел в руках предложенный Сидориним список.

– А кто тебе сказал, что это рота? – вдруг проговорил он. – Ну, ну, не пугайся. Я тебе скажу больше: это совсем и не рота...

– А что же это? – тихим голосом, вытаращив рачьи глаза, спросил Сидорин.

– Это не рота, – повторил Козлович. – Это отряд врага. Заслан сюда для диверсионных целей. Под наших замаскировались, сволочи!

Козлович вернул листок ошарашенному старшине и покинул помещение, сопровождаемый караульной командой. Старшина последовал за ними.

Чохов откинул с головы одеяло, оглянулся. Никого. Дневальный, и тот оставил свой ответственный пост и куда-то исчез.

Кутько спал мертвецки, раскрыв широкую амбразуру ротовой полости. Не пошевелится, если бы даже сыграла ему сейчас подъем, гаркнув в самое ухо, труба страшного суда.

Пружинисто спрыгнув, Чохов не стал мешкать. У Кутько воинский билет. Поменяться шинелями...

Лес. Великаны-ели, на лапах примерзли куски снежного сала. Протягивали голодному Чохову. С трудом выдернул ногу, снег набился в сапог. Озирался: куда дальше?

Раздвинул хвойный шатер: перед ним Фальба и два солдата на лыжах, с автоматами.

ПОИСКИ

– Эй, солдат, просыпайся! Ленинград!

Живцов посмотрел: вагон пуст. Надо выбираться.

Декабрь, до рассвета часа три. Промозгло, платформа. Финляндский вокзал. Пассажиры схлынули за музейный паровозик в стекле на перроне. Город там?..

Живцов провел ладонью по щеке – наждак, суточная небритость. Сплюнуть нечем – сухота. Пузырь разрывается. На плечах – лычки, младший сержант. Письмо, адрес, ну ладно. Платформа качнулась, поползла, Живцов, приободрясь, отталкивал ее каблуками, и она покорно уплывала за спину, сокращая неизвестность. Кончилась, уперлась в протяженный короб вокзала.

В зале стоял монументальный гул толпы. Невыветренный за ночь. Зал был пустынен. По его диагонали двигалась коренастая мужская фигура в распахнутом пальто. Двигалась к окошечку кассы с задернутой белой шторкой. Подошел и требовательно застучал по стеклу костистым согнутым пальцем. Завешенное окошко безответно. Человек, опустив большую, плешивую голову, что-то бормоча, пошел прочь. Смятая кепка в руке. Калмыцкие скулы, борода.

Живцов стал озираться в поисках буквы "М".

У газетного киоска: валенки в галошах, ватные штаны, ватник, рыжая шапка-ушанка, ящик на ремне, ледоруб.

– Рыбак, где тут?..

Ловец рыб, замерзший к газетному киоску, вздрогнул. Улыбка взволновала лицо.

– Идем, покажу! Отслужил, парень?

Живцов кивнул.

– Припозднился, пехотинец. У комроты в черном списке? – рыбак засмеялся, показав прокуренные зубы.

Живцов вернулся через пять минут легкой походкой. Рыбак поджидал у выхода.

– Куда теперь, гвардеец?

– Туда. – Живцов неопределенно мотнул головой в сторону города.

– Родня, знакомые?

Из мятой пачки рыбака Живцов выудил папиросу, прикурил, всосал глубокою затяжку.

– Навещу кой-кого. – Следил за воздушной табачной струйкой. Туман.

Рыбак придвинулся, глаза горели. Бесцеремонно хлопнул Живцова по плечу:

– Обогреемся, солдат! У меня в ящике полный набор. Не могу один...

Живцов отстранил пропахшую рыбой руку.

– В другой раз. У меня адрес...

Рыбак, разочарованный, словно у него сорвался с крючка лещ или окунь, мрачно взглянул на протянутый конверт:

– Двадцать восьмой автобус. Остановка – как выйдешь с вокзала. И до кольца.

Площадь, огни, убеленный снежком чугунный коренастый памятник. Кучка людей у автобусной остановки. Правый карман шинели отягощает цилиндрическая штукovina с ручкой. В левом – монетка. Вся наличность. То, что было, ушло за один вечер.

Возник откуда-то сбоку, из темноты, силуэт Людовоз. Раскрыл скрипучие дверцы.

Народу, мужчины-женщины, невыспанное, бесполое. Трудяги. Живцов стоял, стиснутый, на задней площадке. Во льду окно. Лунка. Приложить глаз: цепочка мутных огней.

Шофер объявлял остановки. Арсенальная набережная – как арестантская. Правый карман оттопыривается.

Кольцо. Три человека пропали – подхваченные ветром снежинки. И спросить не успел... Озирался. Ревущее шоссе, улица – в сумеречную даль. Адрес на конверте: улица Т...

Дома из блоков, стандарт, десять этажей стекла, бетона. Таблички с номерами. Рассвет едва начинался.

Машина-чистильщик, опустив железную челюсть, убирала снег с дороги. Другая машина, гребя лапами, нагружала ползущий вверх конвейер, и снег сыпался грязной струйкой в кузов грузовика. Живцов стал кричать чудовищам: далеко ли дом такой-то? Но в кбинах угрюмые шоферы ничего не слышали.

Через квартал – гуськом длинная очередь. Стояли за водкой. Нарастало возбуждение. Кто-то кинул шутку, как камешек, и по очереди прокатилась волна гоготанья. Перед магазином два потертых

ватника выгружали ящики из фургона. Ящики звякали, водка "Московская".

Пивной ларь похабно выставлял из окошка свой нержавеющей кранчик. Живцов не мог терпеть, достал двадцатикопеечную монету.

– Что, солдат, мочи захотел? – крикнул мужик из водочной очереди. Вокруг него разразился взрыв хохота.

Шутивший обладал привлекательной внешностью: один глаз глядел широко и боявито, другой – тусклая бусинка в сизо-багровом пироге разбухшего века.

Живцов сделал заказ:

– Холодного на всю сумму.

Толстомордая баба в халате поверх фуфайки нацедила кружку.

С первого же глотка Живцов понял: шутник из очереди – это пострадавший за бесстрашную правду пророк.

– Чем, крыса, поишь?

Торговка, ужаленная шилом в зад, подскочила на табурете и завизжала:

– С завода! Свежайшее! Откуда я тебе лучше возьму!

Живцов выплеснул содержимое кружки обратно в окошко и пошел.

– Милиция! Милиция! – звала оскорбленная хулиганским действием. Желтая жидкость текла по толстым щекам, как ручьи слез.

В водочной очереди поступок Живцова вызвал бурю восторга.

– Вот это окатил! И в баню не надо! Теперь бы поленом выпарить ее, ведьму!

Живцов спросил у очереди: далеко ли нужный ему дом?

– Да вот он! На тебя смотрит! – пророк с подбитым глазом показал на здание.

Шестой этаж. Дверь, эмалевый кружок с номером сорок семь. Тяжелым, бурым от табака пальцем раздавил кнопку звонка.

Открывать не спешили, разглядывали в глазок.

– Кого надо? – раздался старушечий голос.

– Дарья Макарова здесь живет?

– Живет, не живет. Кому какое дело.

– Мне дело. Письмо – чтобы приехал. Егор Живцов.

– Не знаю, ничего не знаю.

– Послушай, бабуся! Так и будем через дверь? – закричал Живцов.

– Где Дарья? Пусть выйдет!

– Дарья, говоришь? Дареному коню в зубы не смотрят. Твой подарочек – ты и разбирайся. Ходят, ходят и день и ночь – все Дарью спрашивают. Никакого покоя на старости лет, – ворчала за дверью старуха.

Живцов в ожесточении плюнул. Рехнулась! Крыша поехала?

– Письмо! – опять закричал он. – Чтоб приехал! Помочь в трудностях, ну и, вообще... Да где она? Увидеть – во как надо! Два года переписывались.

– А где я ее тебе возьму? Третий день не является. Записку оставила. Погоди, сейчас принесу, – старуха зашаркала в глубь квартиры.

Вернулась. Опять тщательно рассматривала в глазок:

– Страшный ты. Как тебя пустить. Чего доброго, и убьешь. Через цепочку просуну.

Живцов выхватил из щели записку: "Егорушка, приходи к гостинице "Астория" в половине восьмого. Твоя Дарья."

Снаружи, наконец, рассвело. Тускло. Небо пепельное, в слабых просветах сини. Декабрь, Дарья... В половине восьмого? Вечера?..

Должен был в Ленинград еще в воскресенье. Но зацепился стаканом. Двое суток обмывали окончание службы. Телеграмму не на что было послать – "задерживаюсь." Так что: записка с назначенным свиданием – трехдневной давности.

У входа в "Асторию" разговор не клеился. Швейцар в золотой фуражке справок не давал и не соглашался пропустить мимо себя к администратору. Зверообразный солдат, дыша перегаром, лезет в гостиницу для иностранцев, да еще и девку себе требует, будто в борделе. С крепкого перепою парень.

Живцов злился, схватил за отвороты ливреи, потряс чурбана в галунах. Дитина в костюме и галстук поспешил швейцару на выручку.

– Девушка тут была три дня назад, – заявил Живцов новому действующему лицу. – Вечером, в половине восьмого.

Дитина-охранник, руки в брюках, челюсти фрезеруют жевательную резинку:

– А какая она из себя?

Живцов стал объяснять:

– Волосы до плеч, золотистые. Черный берет. Звать – Дарья...

Охранник, заржав, чуть не подавился резинкой:

– Во рисует! Да у них тут у всех до плеч. И в беретах. Веры, Иры,

Марины. А Дарьи ни одной. Чего нет, того нет. Ищи, кирзовый, в другом месте.

– Вот она! – не сдавался Живцов. Рванул шинель. – Ну что? Видел ты эту девушку?

Охранник покосился на фотографию, мотнул головой:

– Нет.

Так. Еще одно место. На Герцена институт.

Живцов не ориентировался в городе. Герцена он зевнул, созерцая мраморную массу Исаакия. На Гоголя повернул.

У перекрестка заколебался. Здание в капремонте. Два строителя в касках цепляли тросом бочку. Запах краски, визг сверла. Клоповники обновляют? Золотая игла с корабликом...

Невский. Гастроном-магазин. Столы с колбасами, пестрые пирамиды консервных банок. Засосало в животе, голодные кишки ждали сигнала поднять бунт и заявить о своем возмущении. Ничего не ел со вчерашнего утра. Пирожок, называемый "с мясом" – вся трапеза. Самое время что-нибудь взять на зуб. Живцов кинул на колбасные столы длинный, остро отточенный, как мясницкий нож, взгляд. Пища была недоступна. Продавцы не отдадут даром. Дают за деньги. Наличие денежных знаков после неудачной попытки утолить жажду у пивного ларька можно было бы обозначить астрономической колонной нулей, хоть до бесконечности, но эта армия была лишена своего маршала-предводителя – единицы. С такой армией никто не будет считаться. Оставалось единственное: войти с высоко поднятой гранатой и приказать лечь ниц. В буквальном смысле: лечь на лицо и не поднимать глаз с пола, пока он не выберет себе по вкусу самую толстую колбасину, королеву колбас в ожерелье нежных жиринок. Собрав волю в сжатый кулак, заставил себя пройти мимо витрины твердым шагом.

На подходе к институту попал в шумный поток девушек. Омываемый щебечущей рекой, он не мог уклониться, повернуть вспять. Толкали локтем, портфелем, чертежным фуляром. Разозленный, пошел как сокрушительный танк. Девушки расступались, давая дорогу, их прибой начал стихать. Оживленные глаза, смех, разговор.

Вышел из института. Студентка Макарова успешно сдала два экзамена. На следующий не явилась по неизвестной причине. Никто не знает.

В районном отделении дежурный офицер, капитан с серопятнистым лицом, прочитал письмо, записку. Отложив вещественные доказательства, вперил в Живцова взгляд прицельных, неморгающих, как пистолет, глаз. Небритая наружность Живцова внушала капитану мало доверия.

– А ты не дезертир, дорогуша? Письмецо, истерика, – ты и дернул из армии. Что скажешь? Ну-ка документики!

Живцов хмуро подал воинский билет. Руки капитана лежали на столе, выползшие из рукавов мундира, испещренные, как и лицо, серыми пятнами. Рука поднялась, завладела билетом.

Удостоверясь в демобилизации, подписях и печатях, капитан раскрыл сейф, достал чистый лист бумаги:

– Пиши заявление. Гражданин такой-то, заявляю, что случилось то-то и то-то, пропала и так далее... Вот образец.

Рядом с капитаном сидел милицейский старшина, шкаф с погонами, парень, по виду, добродушный. Он попробовал утешить:

– Не у тебя одного. Ты что думаешь? Каждый день женский пол у нас пачками пропадает. И девки-то какие! Пальчики оближешь! Высший сорт. Скоро с одними крокодилами останемся, мать твою в сапог!

Живцов сжимал ручку в пальцах, не решаясь коснуться острием бумаги. Не сосредоточиться, составить фразу, как будто, чтобы выразить ее смысл, надо соединить несоединимое: живого человека с трупом.

– Климов, принимал новые телефонограммы? – спросил капитан.

– Ну, принимал. – Старшина зевнул, почесал свой кулачище. Стал повертывать его перед собой и осматривать, словно прикидывая на глаз его убойную силу.

– И что?

– Да ничего. Пять трупов, три изнасилования, ограбления, угоны. Икону свистнули из Русского музея.

– Какую икону?

– Да ну, язык сломаешь. Про Георгия там чего-то.

– Чудо Георгия о змие?

– Во-во. Я и говорю: чудо. Стибрили за милую душу...

Не обыскали – подумал Живцов, закончив посещение представителей власти. Не понравилось бы им такое динамитное эскимо на палочке. Пощупал карман. Все! Занавес! На вокзал. Домой. Не найду я тут ее, хоть лоб расшиби! Кто ее знает...

Набережная Мойки...

Площадь Мира...

Садовая возвращались снова и снова, будто он кружил в лабиринте. Магазины, подвалы, аптеки, срочное фото со двора, книги, торты, меха, мыло, булка, женское белье, шляпы. Трамваи тормозили, открывали дверцы, закрывали и устремлялись в морозную даль улицы, завывая, громыхая вагонами, как на пожар. Трамваи, к подножкам которых он не успевал, к которым опаздывал.

В сумерках Невский. Фонари вспыхнули трехглаво. Город улыббался загадочными каменными масками с каждого дома.

Инвалид у Дома Книги что-то кричал, шатаясь на костылях-бугулях, вскидывал руку и взывал к мимотекущему человеческому племени. Ветер клубил на его облыселем черепе гневные жгуты седых змей. Но никто не слушал пророка, кроме двух мордастых милиционеров в теплых шапках, в шинелях, с рациями.

Опять стал мучить лишенный пищи живот. Что там, в животе? Стая голодных кошек терзала внутренности, как требуху, брошенную у мусорных баков.

Дом, дверь. За дверью – полумрак. Площадка, лестница. Позвонить в первую же квартиру – пожрать дали б хоть что-нибудь, хоть селедочный хвост, хоть корку.

Но, поднимаясь, миновал дверь за дверью, не решаясь нажать звонок. Считал ступени – семьдесят две. Тупик, дверь в железе на чердак, замок. Грязное окошко: в бездонном ущелье, в сумерках, кишмя кишел огнями Невский.

Опять на площадку нижнего этажа. Бачок отбросов, с ручками, с крышкой. Скинул крышку ударом ноги. В грудке картофельных очисток, на дне, полбуханки мерзлого, как камень, хлеба. Обтерев, остервенело грыз. На, жри! – обращаясь к животу. И – все! И – на вокзал!

Грузчики на Московском вокзале везли телеги с чемоданами. В зале ожидания, в толпе, мелькнуло распахнутое пальто, кепка, скулы, борода. Так ему и не уехать из этого города, не вырваться из заколдованных кругов-каналов, не достучаться до билета. Вот и рыбак, в ватных штанах, ящик у него на ремне, старый знакомец. Какую рыбу он на вокзалах ловит? Солдат он ловит и в ящик свой складывает. А потом везет в отделение милиции и жарит там солдат на сковороде, как корюшку. Потому что это и не рыбак вовсе, а переодетый мент.

Живцов подошел к окошку воинской кассы:

– Ни гроша, требование только до Ленинграда. Думал, совсем останусь, а теперь передумал. Домой надо. Дома ждут, не дождутся.

– Деньги, или документ на проезд, – отвечала недосыгаемая для нелепых доводов кассирша. – К коменданту иди, ему и объясняй.

Ответ оскорбил.

– Дай билет! Хоть куда-нибудь дай! Хоть на Камчатку! Ты, змеюга очкастая! Перед тобой защитник отечества, голодный, нищий, без копейки в кармане...

Но огражденную бронестеклом кассиршу крик не понимал.

– Документ, – невозмутимо твердила она. – Требование на проезд. Или деньги давай. Я, что ли, за тебя платить буду? За каждого очкастого психа раскошиться – никакой полочки не хватит.

К кассе приблизился полковник в высокой каракулевой папахе. Полные полковничьи щеки малиновели от возмущения.

– Сержант, прекратить безобразие! – строго осек он Живцова. Живцов посмотрел на крупнозвездного армейского чина.

– Ты-то что лезешь? Напялил папаху, так думаешь – орел. А ты индюк. Штабной индюк и больше ничего. Понял?

Полковник был до того изумлен, что краска сбежала с его щек, как смытая.

– Пьяный ты, что ли? – пожав плечами, он огляделся в поисках помощи.

Живцов плюнул пол ноги начальству.

– Патруль, сюда! – зычно гаркнул полковник показавшемуся в конце зала офицеру с нагрудной бляхой в сопровождении двух солдат в повязках.

Начальник патруля, молодеватый, перетянутый ремнями старлей, подошел, козырнул.

– Лейтенант, разберитесь. Учинил хулиганство. Оскорбляет старшего по званию. Черт знает что! По-моему, у него белая горячка.

– Есть, товарищ полковник. Разберемся, – еще раз козырнул старлей. – Сержант, покажите документы!

Криво усмехаясь, Живцов стал расстегивать пуговицу шинели. Два курносых патрульных солдата, с тесаками на боку, смотрели, скрывая сочувствие.

Старлей полистал воинский билет, протянул обратно.

– Уволен в запас, так и распоясаться можно? И небрит, и вид неряшливый. Придется тебя в комендатуру. Идем.

– А какой у меня может быть вид? Вторые сутки ничего во рту. В помойных баках роюсь!

– Что ж, у тебя совсем денег нет? – спросил полковник.

– Домой не добраться. А тут у меня никого, – вяло, погасшим голосом ответил Живцов.

– Сколько? Этого хватит? – полковник протянул пачку. – И отпустите его, лейтенант. Отпустите. Я не в претензии.

Живцов остался один у кассы, но покупать билет не спешил. В задумчивости сунул руку в карман, стиснул ручку гранаты.

Часы на столбе: до половины восьмого пятнадцать минут. Площадь. По верху здания, будто фриз, бежали огненные буквы, реклама фильма.

Переполненный автобус. Шофер отказывался двигаться, пока не освободят дверцы. С задней площадки свешивалась многорукая, галящая гирлянда. Живцов ухватился за штанги, понатужился, грудью вдавил людей внутрь.

У "Астории" он был ровно в половине восьмого, секунда в секунду. Он увидел это время на здании с флагом, засветившиеся и погасшие цифры. Швейцар торчал за стеклом, красуясь золотой фуражкой. Вестибюль, люди ходящие и сидящие, ничего особенного.

Подъехала машина. Из кабины выбрались, лопоча не по-русски. Финны? Живцов опять посмотрел на часы на здании: без четверти восемь. Пустое ожидание. Направился в сторону собора. Улица, еще одна. Свернул.

Живцов увидел: дом в дырах окон, в капремонте. Двое и Дарья. Взяв за локти, вели ее к дому. Оглянулась, ища спасения. Толпа текла по тротуару: восковые, с закрытыми веками, лица слепых.

Живцов рванулся на ту сторону улицы, но ему преградил дорогу рой устремленных на зеленый свет семафора машин. Машины шли плотно, проскочить между ними – никак. Сталь, стекло, резина. Сердце Живцова стучало.

Бросился в первый просвет. Мешала шинель. Двое и Дарья исчезли в доме.

В три прыжка достиг входа. Споткнулся о грудку досок. Полумрак,

ступени, мусор, ящики, куски кирпича, отодранные обои. Под потолком тусклая лампочка.

Прислушался: ничего, невнятный шорох. Сквозняк шевелил ворох старых газет. Заглушенный этажами, сверху донесся слабый вскрик. Живцов ринулся по ступеням.

На площадке четвертого этажа он застал насильников и жертву в тот момент, когда медлить нельзя. Выхватив гранату, Живцов с размаха опустил ее на одну голову, потом на вторую. Оба рухнули поперек площадки, громоздкие, как мешки с цементом.

Живцов увидел: не Дарья. Фиолетовые щеки, мутный взгляд. Пьяная баба. Икнула.

– Ну, что вылупился? Хочешь?..

Не промолвив ни слова, с гранатой в руке, Живцов пошел вниз.

ЗАВТРА В МОРЕ

Прохоров лежал на койке. Морской погон с двумя звездочками. Лейтенант. Всего лишь. Но скоро он сможет прикрепить и третью звездочку. К 7-му ноября? К Новому году? Скоро, скоро...

Прохоров лежал на правом боку, подогнув колени, не шевелясь, и смотрел. Он смотрел на голое окно. От окна дуло, и отклеенная бумажка билась на стекле около трещины. Что там? День, или полярная ночь? Море замерзает, издавая мелодичный звон, и подводная лодка у причала вскрикивает душераздирающей сиреной, схваченная врасплох объятием.

Прохоров прислонил ладонь ко лбу: горячий. Может быть, и сорок. Долго ли он, Прохоров, продержится в надводном положении? Доктор – постельный режим. Как зима – так в казарме не работает отопление. Выходит из строя, а обратно ни за что не встает – хоть все трубы лопни. Матросы спят под матрасами. Утром их зашивают в мешок, привязывают ядро к ногам и бросают в море. Нет, это еще не последняя стадия. Только бы не перепутать Марину с субмариной...

Прохоров вздрогнул, приподнялся на локте, прислушался: как будто бы доносился гул шторма. Кто-то шагал по коридору, гремя гневными каблуками. Ближе, ближе...

Дверь – настезь. В комнату вступил низкорослый человечек, украшенный курчавой бородой-водорослью, в шинели, в шапке с золотым крабом, на погонах кап. два – командир лодки Сабанеев. Собака! Долго ждать объяснений о причине его визита не пришлось. Собака широко разинул оснащенную прокуренными клыками пасть, и комнату тут же затопили потоки грубого сквернословия. Будто через пробойну хлынула в отсек под колоссальным давлением глубинная, грохочущая вода.

– Прохоров, почему не на лодке, такую мать! – брызжа слюной, вопрошал Собака. – Умник! Курорт у него тут! Мед с мармеладом! Простудились они, бедненькие, в постельке полеживают, платочком носик утирают, головка у них бо-бо. Маменькин сынок! Слюнявчик на шею, коку с соком. Я с тобой нянчиться не собираюсь, так и знай! Опозорю на весь флот! Матросам прикажу разложить на мостике и выпарить ремнями – щенка! Сразу вся простуда соскочит!.. – Посмотрел на часы у себя на запястье, – даю сорок минут на сборы. Чтобы к первой склянке – как штык. И доложить мне лично. Понял? А не то – в говнопровод спущу! – Сабанеев крутнулся на каблуках и вышел, хлопнув дверью.

Вот собака! И что взелся? В санчасть пойти? Он и там в покое не оставит, адмиралу доложит – что симулирую, совсем с флота сживет. Прохоров вздохнул, тяжело поднялся с постели. Шинель, кашне, перчатки. Вместо носового платка засунул за пазуху свернутое трубкой вафельное полотенце. Ну, все.

От казармы до гавани Прохоров шел, держась одной рукой за шапку, чтоб не улетела, сорванная ветром. Погодка еще та! Ветер дул с моря, пронизывающий до костей норд. Волны, лихо заломив белые береты, врывались в гавань, словно морской десант штурмовал военную базу и городишко, зажатый в скалистых сопках. У пирса грузно колыхалось туловище подводной лодки. Стальной левиафан с цифрой двадцать на боку. Часовой в полушубке с поднятым воротником, в шапке с завязанными под подбородком ушами, ходил по пирсу туда-сюда, засунув руки в карманы, с автоматом на спине. Увидев Прохорова, он нехотя вынул правую руку и отдал вялую честь.

– Усё в порядке, товариш лейтенант.

Прохорову на "порядок" в данный момент было начихать, он и чихнул, обильно разрядясь из обеих ноздрей простудным залпом. Доставая припасенное полотенце, спросил:

– Загогуленко, командир на лодке?

– Нема, – отвечал Загогуленко. – Дайте курнуть, товарищ лейтенант. Умираю без куреву.

Прохоров дал сигарету, немного постоял в нерешительности, затем перебрался на палубу подлодки. Огромная, обросшая черной шерстью крысища метнулась из рубочного люка и, проскочив между ног Прохорова, исчезла на пирсе. Что бы это могло значить? Прохоров подошел к люку и в мгновение ока спустился внутрь, скользя руками по поручням трапа.

В отсеке центрального поста было людно. Старпом, штурман, замполит, боцман, штурманский электрик, радист. Все они копошились в тесном пространстве, уставленном приборами и механизмами, как одно тело о шести головах и с дюжиной сноровистых рук.

Замполит Демин, тучный кап. три, пилотка подводника на лысом черепе, встретил нелюбезно, глаза-медузы:

– Лейтенант, что такое? Разгуливает, понимаешь. Командир тебя три раза спрашивал. Марш в свой отсек.

Штурман Маяцкий ехидно усмехнулся омраченному Прохорову:

– Одолжить мыла – подмыться?

Прохоров, утирая нос полотенцем, оправдывался перед Деминым:

– Температура сорок. Доктор дал освобождение на неделю, постельный режим.

– Ну, это меняет дело. Лечитесь, лейтенант. Нечего тут микробы разносить. Вы мне весь экипаж заразите, – заволновался Демин.

– Да нет. Командир приказал явиться. Работа вылечит. К тому же – новые торпеды сегодня со склада принимать. Мичману Чернухе без меня будет не управиться.

– Ладно, идите, – согласился Демин. – Только вот марлевую повязку вам на лицо повязать бы, чтоб микробы не успели разлететься по всей лодке, а то мы этак, понимаешь, и через месяц в море не выберемся.

Прохорову на это было нечего сказать, он отдраил массивную крышку переборочного лаза и, нагнув голову, нырнул в отверстие, как в прорубь.

По мере продвижения Прохорова по лодке, от центрального поста к носу, в отсеках становилось малооживленной и тише. Людей там было не меньше, чем в центральном, но деятельность у них была

заторможена, как у мух при понижении температуры. Действительно, сделалось заметно прохладней. Нос Прохорова, проявляя своеволие, начинал жить самостоятельной жизнью: казалось, он решил расширить свои боевые возможности, и вот-вот нацелит вместо двух целых четыре ноздри, четыре, заряженных вирусом торпедных аппарата, превратясь в грозное оружие, способное погубить всю военную базу (да что там!) – разнести вдребезги весь северный флот! Попав, наконец, в носовой отсек, нос Прохорова без какой-либо предварительной команды дал сокрушительный залп по находившимся там подводникам.

Старшина первой статьи Крайнюк, лежавший, подстелив ватник, на запасной торпедке, чуть не свалился в проход.

Мичмана Чернуху тоже сильно покачнуло взрывом. Он отер рукавом кителя забрызганное лицо и усы и затем вежливо проговорил:

– Будь здоров. Чтоб тебе от темна до темна без капли спиртного во рту маяться. Расчихался, брандахлыст. Ты что думаешь, лодка хрустальная, что ли? Как рюмочка в буфете от твоего чиха расколется? На фу-фу нас не возьмешь!

Нет, Прохоров не думал, что лодка у них хрустальная. Вся она из железа, как наковальня, как серп и молот, как шило в мешке. И мозги тут у всех, пожалуй, железные, наподобие крепких, безотказных, стальных пружин.

– Заболел я, – оповестил Прохоров мичмана. – Жар, чертики в глазах. А сегодня новые торпеды со склада принимать.

– Ну и примем. Велика важность, – безмятежно отвечал Чернуха. – А ты на меня не дыши, гриппозник, отойди куда-нибудь подальше. Чернуха взмахнул рукой, как бы с целью убрать Прохорова из района видимости, но, описав в воздухе пируэт, попал пальцами в банку с машинным маслом. Несколько минут Чернуха глубокомысленно созерцал свою заскорузлую пятерню со стекающей с нее мутной жидкостью. Затем, взяв из кучи чистую розовую ветошку, повесил ее себе в нагрудный карман кителя, как франтовский платочек, а испачканные пальцы тщательно вытер о свои широкие старослужащие усы.

Прохоров, отступив на шаг, смотрел на мичмана с недоумением: то, что Чернуха был в великолепной опохмеленной форме и, значит, вполне годен для выполнения учебно-боевых задач – в этом можно

было не сомневаться. Но вот какую дозу он принял с утра себе на грудь – это вопрос. Потому что, при повышенной дозировке с Чернухой происходила нехорошая метаморфоза: у него нарушались какие-то важные механизмы мозгового управления, и мичман самые обычные действия начинал производить шиворот-навыворот, опрокидывая застоявшуюся человеческую логику и ошеломляя окружающих невероятным поведением.

– И без тебя тошно. А ты еще тут со своими выходками, – сказал Прохоров. Голова кружилась, как мутная волна. Бил озноб. – Манометр смотрел на балластной цистерне? Стрелка барахлит. И чего ты, Чернуха, дожидаться? Не мне же тебя учить.

Чернуха, с розовой гвоздичкой-ветошкой на груди, дождался, когда Прохоров кончит высказывание, и, наконец, сам раскрыл рот – выпустить одно могучее слово, чтобы вопрос о манометре и прочей механической чепухе решился раз и навсегда и больше не возникал. Он, Чернуха, сам знает: что у него барахлит, а что в полной исправности. Но слово так и не успело выйти из чернухинского рта, потому что в этот момент около уха мичмана внезапно рывкнул рупор переговорной трубы и раздался хриплый, осатанелый лай ком. лодки Сабанеева:

– Лейтенант Прохоров! Явиться в центральный отсек!

Испуганные командирской побудкой, вынырнули откуда-то из закутов и застыли, каждый у своего торпедного аппарата, двое матросов-торпедистов: Булкин и Ведерников. Старшина Крайнюк все-таки не удержался на лежаке и с шумом свалился в проход. Чернуха крутил пальцем в оглушенном ухе и, надувая толстые щеки, с силой выдыхал воздух изо рта и ноздрей.

– Вот собака! Будто латунной пробкой забило, – жаловался он, морщась. – Никак не продуть.

Прохоров в отчаянье оглядел отсек, раскиданный инструмент, ветошь, мятые рыла своих подчиненных. Господи, за что ему такое наказание! Безнадежно махнув рукой, отправился на доклад.

Прохоров спешил. По всей лодке раздавались громовые команды Сабанеева. И лодка, содрогаясь стальными боками, беспрекословно проглатывала сильнодействующие пилюли.

В центральном народу набилось – руку не вскинуть, отдать честь. Заметив Прохорова, ком. лодки и звука не дал ему произнести.

– Лейтенант, сопли жуешь! Почему мне не доложил о своем прибытии?

Прохоров задохнулся от возмущения.

– Вас на лодке не было. Доложил замполиту Демину, по его распоряжению находился в носовом отсеке.

Но Сабанеев оборвал оправдательную речь. Он, помнится, дал сорок минут на сборы. Но некоторые щенки, и года не прослужившие на флоте, позволяют себе пренебрегать приказанием командира, прибывают не вовремя, как будто их в гости на чашку чая пригласили.

Прохорову промолчать бы, пусть Сабанеев пар выпустит. И старпом Николай Иваныч, и штурман Маяцкий делали ему недвусмысленные знаки. Но Прохоров опять не стерпел: щенок-нещенок, но он прибыл на лодку даже раньше указанного срока, он прибыл, если уж быть абсолютно точным, через 33 минуты и 37 секунд после посещения командира...

На Сабанеева было страшно смотреть. Всем, находившимся в отсеке, захотелось головы поглубже вобрать в плечи и спрятать их, как перископы с поверхности штормовой воды. Ждали: сейчас ком. лодки разразится ураганом неслыханной ругани. Но Сабанеев (непостижимо!) на этот раз сдержал себя. Тень несостоявшейся грозы сползла по его лицу и скрылась в густой, курчавой, заливавшей грудь, бороде. Заговорил, отдавая резкие, электрические приказы:

– Товарищ лейтенант, попрошу проверить ваше боевое заведование. Чтобы каждый клапан слушался, как собака своего хозяина. Новые торпеды загрузить. Недостающие запчасти получить со склада. Завтра – в поход...

После разговора с командиром Прохоров был занят до позднего вечера. Лодка через все люки загружалась необходимым для трехсуточного похода. Даже на обед в береговую столовую никто не отлучался. Кок Бакланов приготовил на лодочном камбузе сытный борщ и биточки, присыпанные зеленым горошком. Торпедисты ели в родном отсеке, примостясь, кто как мог, с тарелками на коленях. Старшина Крайнюк, раньше всех покончив с первым, вторым и третьим, сразу же, без задержки, принялся за ящик с галетами, который он изловчился подтибрить при погрузке провизии. Крайнюк безостановочно хрустел галетами, как кролик капустой, и объемистый ящик, зажатый у него между ног, опустошался с устрашающей быстротой.

– Во работает! – подмигнул Прохорову Чернуха. – Пустил свою хлебобрезку на полный ход. Теперь он все сожрет – что ему не сунь в

пасть. Как бы он, лейтенант, нашу новую торпеду не смолотил за милую душу. Заглотит с хвостиком, как тараньку. Ему ведь что торпеда, что сушеный карась – один хрен. Чем тогда будем в море по мишеням стрелять?

– Как чем? Крайнюком и выстрелим, – мрачно ответил Прохоров. – Еще и лучше выйдет. Он своим медным лбом любую цель протаранит. – Прохоров не знал куда деть тарелку с недоеденным биточком, и тарелка в руке дрожала. И вид, и запах пищи был ему противен.

– Да забери ты ее от меня! – крикнул Чернуха.

Мичман, взяв тарелку у Прохорова, передал ее матросу Булкину, который составлял тарелки стопкой, чтобы отнести в посудомойку.

– Кто не ест – тот не работает, – высказал сентенцию Чернуха. – Уморишь ты себя, лейтенант, и море тебе не поможет, несчастный ты человек. У меня, к примеру, в море аппетит неимоверно разыгрывается, как у тигровой акулы. Глянь на Крайнюка – налицо тот же признак. Только кок на камбузе начал кастрюлями брякать – у этого паразита такое обильное слюноотделение пошло, что лодку чуть не затопил. Я уже хотел аварийную тревогу звонить – чтоб помпу пустили.

– Чернуха, покажи язык, – попросил, утомленный мичманской болтовней, Прохоров.

– Это еще зачем? – удивился Чернуха.

– Покажи, тебе говорят.

Чернуха повернулся к зеркальцу, прикрепленному между трубами на переборке, вопрошающе посмотрел на Прохорова.

– Хороший у тебя язык, длинный, – одобрил Прохоров. – Как он у тебя во рту помещается, не понимаю. Давай-ка мы его тебе, Чернуха, малость укоротим. Кок из него фирменное блюдо на ужин приготовит. На всю команду, пожалуй, хватит.

Испуганный Чернуха в ужасе поджал губы, словно кок Бакланов стоял уже перед ним с остро отточенным, как сабля, ножом. Весь вечер Чернуха мычал, как Му-му и изъяснялся жестами глухонемых, задевая над собой осветительные колпаки с мигающими в них лампочками.

После вечерней приборки командир отпустил команду на берег до утра, до подъема флага. Подготовка к походу почти закончена. Произвести размагничивание и – в море.

– Товарищи, начальство! Куда такая гонка? – жаловался в промежутках икоты нажравшийся галет Крайнюк.

Куда? Куда? Дело ясное. Адмирал в свои адмиральские штаны наложил. Бойтся, полярный Нептун трезубцем треснет – и все море замерзнет от Мурманска до Камчатки, как чухонское корыто!..

Люди с лодки выбирались по железной лесенке наружу и исчезали, рассыпая в темноте прощальный салют – искорки сигарет. Ночка обещала баллов десять. Луч, брошенный с вершины сопки, шаря, озарял часть гавани: там варилась белопенная, штормовая каша. Кок Бакланов (кто же, если не он?) помешивал это варено поварской ложкой. Лучше бы и не смотреть на такое безобразие, тем более, что ветер безостановочно вышибал слезу. С берега ласково мигали огоньки, предлагая домашнее тепло и уют. Подняв воротник шинели, Прохоров пошел к Марине.

Марина жила на окраине города, в самом отдаленном от гавани доме, и нужно было идти по проспекту Полярников, пересекая десять улиц, одну за другой, словно расстегивая бусинки пуговиц на марининой блузке.

В городе, за шеренгами домов, было тише, чем на открытом пространстве у моря. Фонари дрожали, опущенные мутно-морозным сиянием. Не попадалось даже собак, которые обычно бегали по улицам тощими стаями. На полпути Прохоров стал колебаться: правильно ли он делает, что идет туда? Не дать ли ему задний ход, пока не поздно? Что ждет его в том доме, за той дверью? Могло случиться, что сегодня в гостеприимной марининой постели он встретится с экипажами всех подводных лодок и кораблей базы, от простого матроса до адмирала, в полном боевом составе. Придется ему, Прохорову, участвовать в большом праздничном смотре. Да пронесут мимо него эту чашу!

Прохоров, все-таки, дошел до знакомого дома. Угловое окно на четвертом горело, как пожар.

Полумрак парадной, грязно-серые стены, повторы лестничных площадок. Палец в кожаной перчатке, утопив кнопку, устроил с той стороны двери осатанелый аварийный трезвон. Марина открывать не торопилась. Она не открыла. Прохоров, ожесточась, стал дубасить кулаком, ногами. Все тщетно.

– Марина, открой! – горестно воскликнул Прохоров. – Я знаю, что ты здесь! Я на минутку, два слова сказать...

За дверью раздался, имитирующий Марину, писклявый голос штурмана Маяцкого:

– Прохошенька, извини. Голубчик мой, у меня месячные. Приходи через недельку. Я тебя вне очереди приму.

Прохоров услышал фырканье, женский смешок. Вот сволочи! Плюнул, растер на загаженном бетонном полу. Пошел прочь, не солоно похлебав у этой стервозной двери.

На улице еще раз взглянул на дом: угловое окно на четвертом погасло. Темным-темно в нем, как в трюме. Несчастный ты человек, Прохоров. Несчастный и невезучий. И тут тебя обскакали. Ну, куда ты теперь, дурила? В казарму? В этот ледяной гроб без музыки?..

Прохорову стало нехорошо, помутилось в глазах, земля поплыла из-под ног, будто опрокидывалась палуба. Мытариться день-деньской, предвкушая радость вечера, устремиться, наконец, к цели, шлепать с температурой под сорок через весь город на манящий игривый огонек и – бац! Получить подлюю пробоину ниже ватерлинии!.. Простуда горела в горле – зловещая заря над морем. Но, может быть, это была и не простуда, а что-нибудь похуже?..

Удрученный Прохоров подошел к фонарю – рассмотреть время у себя на часах. Время было не очень позднее: без пяти минут девять. До отбоя целехоньких два часа. Но что ему отбой? Он не матрос какой-нибудь, бритый лоб-первогодник, не прошедший учебки, которым помыкают все, кому не лень. Он – молодой офицер, у него блестящее будущее. Он еще себя покажет, так покажет – что все эти шакалы завоюют от зависти. Ну, простужен немножко. Не беда. Пройдет. Пополоскать коньяком... Прохоров, почувствовав прилив сил, двинулся обратно в сторону гавани. Теперь целью его устремлений был ресторан "Северное сияние".

Квартал за кварталом, безлюдные улицы, опять – вид на море, в уши вернулся рокот шторма.

Ресторан работал, окна горели, в пурпурных драпировках.

Однорукий инвалид-гардеробщик принял у Прохорова шинель и повесил на крюк рядом с такими же флотскими покрывками, усыпанными и крупными, и мелкими звездами всех званий.

Прохоров постоял у зеркала, пытаясь причесать на голове ком слежавшейся прелой пакли. Достигнув некоторого успеха, дунул на расческу, убрал в китель. Бледное лицо, нос – багровая груша. Так и не расставаясь с вафельным полотенцем, зажатом под мышкой, Прохоров вступил в ресторанный зал.

В зале гудел пьяный улей. Над столиками колыхались волны табачного дыма. Оркестр на сцене молчал, вконец измочаленный. Оркестранты, устроив передышку, утирали смертный пот со своих распаренных лбов. Из зала кричали, требуя новую песню. Оркестр попробовал начать что-то лирическое. Но не поучалось, звуки глохли, инструменты валились из рук.

Из-за ближнего у окна столика Прохорову замахали-закричали в один голос мичман Чернуха и командир б. ч. 5 капель Анохин:

– Эй, торпедная часть! Гребки к нам!

Анохин, прозванный на лодке крутилой, сидел расстегнутый, выставляя замазленный торс в тельняшке. Третий в компании – незнакомец с седым чубом, угрюмый кап. три. На груди – золотая звезда героя Советского Союза. Вот так фрукт. Откуда он взялся?

– Ты что, в баню сюда пришел? – захохотал Чернуха, показывая на прохоровское полотенце. – Садись, сейчас мы тебе жарку поддадим. – Чернуха налил через край стакан коньяка и, расплескивая, пододвинул Прохорову. – Знакомься! – сказал он, – нашего полку прибыло – ком. лодки Александр Иванович Мариноска.

Кап. три протянул через стол крепкую руку. Пятипалые якоря сцепились в пожатии. Мариноска подмигнул, улыбнулся:

– Пей, сынок, не стесняйся. Тут мы все на равных. Не укачаешься с трех стаканов – возьму тебя к себе на мою гвардейскую старушку.

Предложение лестное, что ж мешкать, и Прохоров опрокинул в горло жгучий, настоенный на клопах, стакан. Остальные последовали его примеру.

Чернуха, пожевав корочку хлеба, стал продолжать прерванный появлением Прохорова рассказ из новой серии своих береговых походов:

– Вот я и говорю: полез я к ней, сам не свой, в таком запале, что – ужас! Дрожу, будто динамо-машина при зарядке аккумуляторов, и левая нога куда-то задирается, черт ее дери, как вертикальный руль со сломанной гидравликой. Но я не обращаю никакого внимания на эти мелкие трудности и жму в заданном направлении, что есть сил. Только, братцы мои, не тут-то было. Уперся во что-то твердое и ни в какую, хоть ты тресни! И что бы это могло быть, думаю? Холодное что-то и как бы железное. Посмотрел: мать моя родная! Ни за что не поверите: у ней там вместо этой штуки – замочная скважина! Я чуть с ума не рехнулся, ей богу. Миленькое дельце: лезешь бабе под юбку – а

у нее там такое, что и в кошмарном сне не привидится. Как на двери в какую-нибудь халупу. Ну что тут будешь делать? Хорошо – у меня с собой ключи от квартиры оказались. Вставил, значит, ключ, повернул, открыл, вхожу – а там, кто б вы думали? Наш ком. лодки Сабанеев... Да как зарычит на меня: мичман, куда лезешь! Пошел вон, сукин сын! Не видишь что – занято!..

Мариноска и Анохин смеялись, упав головами на стол. Плечи у них тряслись. Прохоров смотрел на них, ничего не понимая. Неужели он начисто утратил чувство юмора?..

– Опять ты, Чернуха, всякую ахинею несешь. Перемени тему, очень тебя прошу, – стал умолять он мичмана. – Ну, хочешь, я тебе памятник в гавани поставлю, с подплывающих кораблей тебя за десять миль будет видно, или половину получки отдам?.. Мочи у меня нет твой сивый бред слушать.

– Вот это дела! – удивился самым искренним образом Чернуха. – Как же ты, лейтенант, мочишься, если у тебя мочи нет? Ты что, святой? – широко распахнутый карий взор мичмана выражал такое глубокое недоумение, что и дураку было бы понятно: ничем Чернуху не пронять и лучше оставить его в покое. Пусть заливаает, что хочет.

Мариноска и Анохин перестали трястись, но головы свои не поднимали. Чернуха приподнял за волосы одного и заглянул ему в лицо, потом проделал то же самое со вторым. Отпущенные Чернухой головы вернулись в изначальное положение, стукнув бильiardными лбами.

– В дупель! – констатировал факт Чернуха. – До чего слабый моряк пошел. Вот в войну моряки были так моряки. Подводники – высший класс. Асы! Вернется лодка с похода, отправив на дно тыщонки две-три фрицев – рыб кормить. Подвоят к стенке, командир-герой наверху в боевой рубке, с ним старпом, боцман, сигнальщик, в шапках набекрень, в штанах-клевцах. Командир зычно кричит на причал: эй, снабженцы, крысы тыловые, мать вашу в печенку! Чтоб через десять минут доставить на палубу моей эски бочку самого лучшего армянского коньяку. А не то у меня парочка торпед в запасе – разнесу всю базу, мокрого места не останется! Моим морским волкам после боевого плаванья хорошенько размагнититься треба. Через сто смертей прошли, с минами, чертями рогатыми, целовались, живыми выплыли. А теперь нам погулять охота! И что ты

думаешь, лейтенант, – катят крысы снабженские им на палубу бочку самого превосходного армянского коньяка. Командир веселым голосом командует срочное погружение. Задраивают люк. Лодка тут же у стенки опускается на дно морское. И ребята веселятся и поют песни на глубине тридцати метров, как боги. Никто их не видит, не слышит с берега. Никто им не нужен: ни мать, ни отец, ни сестра, ни дети, ни война и мир, и ничего, что есть на свете. Душа разворачивается гармошкой. Подводники поют песню, так что рыбы и чудища морские шарахаются на сто миль в округе. Только вот беда – воздух в лодке скоро кончается, электричество опять же – подзаряжать... Всплывай – хочешь - не хочешь. Тут уж адмирал, командующий базой не зеваает, по его приказу катера окружают, десант на пирсе. Только лодка покажется, откинут крышку люка – тут их всех и берут на abordаж, котят беспомощных, и тащат на берег, в казарму, в простынках отсыпаться. Командир лодки идет последним, бородишей оброс до пят, как дьявол, самоходом идет, без буксира, герой. Ох, и крепок же был, я тебе скажу. Скала! Утес! Если бы не это дело – быть бы ему командующим флотом! – Чернуха опять поднял за волосы голову Мариноски и посмотрел в его бледное, с закрытыми веками лицо.

Прохоров слушал - не слушал болтовню мичмана. Выпил второй стакан. Третий. Словно это и не коньяк, а желтенький чаек. Да что ж это такое! Возьмет его сегодня хмель? Возьми ты меня, хмель-хмелина, змей винный, всего с потрохами возьми, без остатка! – умолял Прохоров. – Не нужен я себе сегодня, ну, ни капельки не нужен. А завтра – хоть и потоп...

Прохоров оглядел зал: флотские затылки, распаренные рыла, и ни малейшего присутствия женщины во всем зале.

– Мичман, где женщины? – прервал он бесконечные повествования Чернухи.

– А белый медведь их знает – где, – равнодушно отвечал Чернуха. – Кажись, в матросском клубе они все до одной, включая старух, из которых песок сыпется. Им там сегодня лекцию читают: любовь и космос. Специально лектора из Москвы выпросили, чтобы осветить им эту проблему.

– Ты, я вижу, ничуть не унываешь, что юбок тут нет, – заметил Прохоров.

– Не унываю, – согласился Чернуха и тяжело вздохнул. – Или

пить, или юбки любить. Что-нибудь одно. И вот что я тебе скажу, лейтенант, вино – первый враг этому великому физиологическому процессу. Как серпом по яйцам, извини за выражение. Эх, лейтенант, я тебе душу наизнанку, а ты меня, смотри, не выдай. Плуг у меня, понимаешь, что-то стал плох, не пашет. Старик я, совсем старик... – Большая печальная слеза робко выглянула из-под века мичмана, помедлила секунды две-три, наливаясь унылой тяжестью, и затем поползла по его небритой щеке, прокладывая себе русло в колючих зарослях. Прохоров видел: это меланхолическое выделение Чернухи, преодолело, наконец, зону лесистой тундры и, упав в пустой стакан, наполнило его, но меньшей мере, на треть. Чернуха поднес стакан к носу, понюхал.

– Спирт! – объявил он. – Чистейший, медицинский. Будто сейчас с аптеки. – И Чернуха опрокинул стакан себе в рот.

В тот же момент со сцены грянула долгожданная музыка. Зазвенели бронзой литавры, и прекрасный, как северное сияние, голос запел:

– Прощай, любимый город! Уходим завтра в море! И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой...

Весь зал стоял с поднятыми бокалами в руках и слушал. Шквал аплодисментов едва не обрушил стены заведения. Кричали ура, лезли на сцену к музыкантам целоваться, совали в саксофон червонцы, многие рыдали, словно это был их последний вечер на берегу.

Потом были и другие песни. Слушать их до безбрежности – что еще надо желающему забыться человеку? Чернуха ушел отливать еще одно свое выделение, которое, вполне вероятно, тоже оказалось стопроцентным, чистым, как слеза, спиртом. Анохина и Мариноску куда-то утащили вызванные звонком патрульные матросы.

Прохоров остался один за столиком, на поле боя. Сидел, пригорюнясь, подперев щеку ладонью. Зачем он здесь? Никакого утешения он тут не нашел. Даже хмель отвернулся от него; ни третий, ни четвертый стакан не брал его с собой в дальнейшее плаванье. Все сегодня его предали. Сговорились они, что ли? Или это какая-то неведомая болезнь, притворяясь простудой, забралась к нему внутрь и распоряжается, будто своим личным хозяйством? И теперь уж он в себе не волен. Теперь уж ему точно – каюк... А, может быть, он как-то не так живет, не так думает, не то ест, и не то пьет, не по тем местам ходит? Потому и не сделал до сих пор ничего ни для своей славы, ни

для своего бессмертия? А ему завтра тук-тук в окно 24-ре! Ау! Ты еще здесь? Боже мой! Дожить до 24-х и не заставить мир смотреть на тебя! Это больше чем позор: это срам. И жить с таким срамом невозможно. Вот Чернуха – другое дело. Проспиритованный до кончиков усов мичман никогда не умрет. Чернуха вечен.

Прохоров и не заметил, как подсел к нему за столик, вынырнув из дыма, замполит Демин.

– Я не пью, – предупредил замполит, и не совсем решительно отодвинул от себя стакан.

– А я пью, – ответил Прохоров, наливая себе еще из бутылки.

– Срочное дело, понимаешь, – сказал замполит. – Ни одного офицера не найти дома. Все здесь. Вот и я – сюда. Перед походом, понимаешь, кучу работы надо провернуть: боевой листок, соц. обязательства для каждой боевой части. Совсем запарился. – Замполит отер рукавом свой лысоватый сократовский лоб. – Вот соц. обязательства для твоей торпедной команды. Прочитай и фамилию в конце подмахни, – замполит протянул лист бумаги.

Прохоров держал лист перед собой, смотрел на машинописный текст. Что за абракадабра! Написано было на каком-то непонятном языке. Русским тут и не пахло. Где он, Прохоров, находится, в какой стране, на какой планете? И кто это сидит перед ним, прикидываясь замполитом Деминым? Искуситель! Подсунул листок с зашифрованным дьявольским договором, чтобы Прохоров расписался своей кровью в предательстве родины...

Замполит, утратив терпение, выхватил у Прохорова листок и повернул его с головы на ноги.

– Меньше за воротник закладывать надо, – проворчал он. – Коньяк, понимаешь, пьют, – покрутил бутылку и опять поставил на стол, – об этом я еще проведу с вами беседу, товарищ лейтенант.

Теперь текст на листе стал предельно ясен. Напечатано было по-советски, грамотно и разборчиво. Прохоров читал:

"Соц. обязательство боевой части № 3 подводной лодки С-20.

...все свои дела мы посвящаем родной партии. Каждый из нас обязуется высоко нести честь и достоинство советского моряка-подводника.

Мы обязуемся:

Проявлять высочайшую бдительность при несении ходовой вахты.

Развернуть борьбу за секунды при выполнении боевых нормативов.

Внести 15 рац. предложений.

Отработать взаимозаменяемость внутри команд.

Освоить смежные специальности..."

– Ну, как? Все понял? – спросил Демин.

– Абсолютно, – кивнул Прохоров.

– Согласен?

– Согласен.

– Тогда подпишись, – потребовал замполит.

Прохоров взял у него ручку с красными чернилами и размашисто написал поперек листа: "С херней согласен. Адмирал Прохоров".

Демин смотрел на листок и не верил своим глазам. Он уже собирался попросить объяснений, но не успел. Прохоров вскочил из-за стола, увидев входящего в зал ком. лодки Сабанеева. Вот он – враг номер один. С ним надо расправиться сейчас же, не теряя ни секунды. Все равно, им не ужиться вдвоем ни на земле, ни в море, ни в походе, нигде...

– Ах, ты, собака! Хватит тебе мою кровь лакать! – исторгнул неистовый вопль Прохоров, схватил за горлышко полную, неоткупоренную бутылку.

Никто не сумел предотвратить нападение. Прохоров мгновенно очутился перед командиром лодки и обрушил ему на голову свое оружие. Сабанеев повалился навзничь. По лицу его текла, смешанная с коньяком, кровь. Прохоров, не оглядываясь, побежал вон из ресторана. Перед ним испуганно расступались.

Устремился в сторону гавани. За ним, несомненно, уже гнались. Выслали противолодочные корабли. Расстреляют в упор, закидают бомбами. Спаси могло только срочное погружение. Ветер над гаванью расчистил от туч кусочек неба, засветились звездочки. Одна, другая... а вот и – третья!..

Прохоров побежал вдоль пирса. У лодки нес ночную вахту часовой. Матрос-торпедист Иван Булкин. Бледный, курносый блин, только что из деревни, накрытый форменной шапкой. Булкин проводил своего командира удивленно вытаращенными глазами.

Прохоров остановился на свободном пространстве, где взметались и заливали причал волны.

– Срочное погружение! – закричал он приближавшемуся Булкину.
– Заполнить цистерну главного балласта! Носовые аппараты – товсь!
1-й аппарат – пли! – Прохоров, взмахнув рукой, прыгнул в кипящую,
бурную пену.

"Приму вне очереди" – говорил ему нежно вибрирующий голос. И он, горя безудержным вожделием, гигантский осьминог, сжимал в объятиях субмарину, увлекая ее в темные, загадочные глубины, и железные ребра ее трещали.

Булкин, сбросив с себя автомат, полушубок, ринулся в ледяную воду спасать сбесившегося командира. К месту происшествия сбегались люди.

ОБ ОТЦЕ

– **Т**ретий час ночи! – говорила мать, гневно сдвинув тонкие брови. – Ребенка разбудите.

Но ее не слушали. Тускло светившаяся керосиновая лампа, стоявшая в центре стола, позволяла видеть румяные отцовские губы, лениво борющиеся с куском сала, наколотым на вилку. Отец сидел солидно, в расстегнутом кителе, показывая полную фигуру в натальной рубахе. Половина его лица, обращенная к свету, расплывалась в пьяной улыбке.

Старший лейтенант, Гриша Безбородько, боевой друг, плечом к плечу кончали войну в Берлине, – так вот, Гриша раскрыл рот, напоминающий отверстие танкового люка и загорланил "Катюшу". В пузатом стекле лампы колыхнулось коптящее острие. Гриша тут же пресек песню и предложил отцу:

– Что, капитан, вспрыснем еще разок твоего февралёнка!

Отец был вполне мной доволен. Конечно, может быть, было бы лучше, если бы я дотянул с моим рождением, скажем, до мая. На вольном воздухе пить приятней. Но и февраль чем плох в жарко натопленной белорусской избе. Всем месяцам месяц. Отец повернул в мою сторону свой широкий, потно блестящий лоб. Тот, кого можно было назвать новорожденным, сладко спал в пеленках, убаюканный материнскими коленями.

– Гришка, у меня мировой парень! Будущий танкист. Сразу видно.

Это тебе не гусеницами землю пахать. Сам бы такого родить попробовал.

– И родю, – угрюмо отвечал Безбородько. – Подумаешь. Чем я хуже. Вот найду подходящую девку и родю.

Отец оторвал от стола стакан, покачнул его высоко в воздухе, граненый, мутный:

– Ну, поехали! За мужчину!

Выпив, отец встал, икнул, и попытался приблизиться к сыну, взглянуть на свое спящее произведение.

Мать зло, сквозь зубы процедила:

– Уй-ди!..

– Что ты, Машенька? – добродушно удивился отец, отошел и потянулся опять к объемистой трехлитровой бутылки. Но там оставалось на донышке, только стакан ополоснуть. Отец недоуменно воззрился на бутылку.

– Пани Леля, – жаловалась мать хозяйке, – вторую неделю ведь пьет.

Пани Леля засыпала, подперев щеку мясистой ладонью. В отличие от матери, женщины миловидной и хрупкой, пани Леля могла гордиться своей дородностью и квадратным мужским подбородком.

– Машенька, ты себя не мучь, Виктор Титыч образумится. Душевный он у тебя. Такой душевный... – Пани Леля никак не могла быть равнодушна к отцу, начальнику автоколонны, строящей дорогу по западной Белоруссии на Брест. Шофера, отпетые ребята, тоже – готовы были за него в огонь и воду.

Тут Гриша Безбородько всхлипнул:

– Ох, братцы, что-то стало скучно. Патефон, может, завести.

Мать взорвалась:

– А ну, убирайтесь вон со своим патефоном и гуляйте, где хотите. Чтобы мои глаза вас больше не видели!

– Понял, понял, – засуетился Гриша, пытаясь сдвинуться с места. Он жил за перегородкой.

Пани Леля потянулась, изгибая толстую спину, повязала платок на голову и пошла во двор.

Остались одни, семья. Мать положила меня в кроватку, вынула гребень из прически и распустила по плечам свои длинные русые волосы. Отец, сидя у разобранной постели, принялся стаскивать сапог. Сбросил один на середину комнаты. Второй никак не поддавался.

Машинально вынул из внутреннего кармана кителя револьвер, положил под подушку и, так, как был, с одним неснятым сапогом, повалился на кровать и захрапел.

Пани Леля вышла во двор. Раздувая ноздри вдыхала морозную благодать. Село утопало в молочных сугробах. Над сараем сияли рожки новорожденного месяца. Чем не ягненок.

– Погодите! – со злостью прошептала пани Леля, – это вам не под поляками. Скоро вам устроят колхозную райскую жизнь...

Треснул выстрел, как дерево от мороза. У самой щеки чиркнул ветерок пули. Пани Леля бросилась в дом, закричала:

– Ой, батька, бандюги!

Отец в одном сапоге, и вслед за ним Безбородько, мгновенно протрезвевшие, выскочили в сени и стояли, прислушиваясь, наставив в ночь револьверные дула.

– У, гады недобитые! – тяжело дышал Безбородько. Стояли, слушали. Но кругом было тихо. Как говорится, мертвая тишина.

– Эх, жизнь копейка, – сказал Безбородько, – в войну выжили, а тут подстрелят, как куренка. Виктор Титыч, пойдем лучше еще хряпнем. У меня полбутылки обнаружилось. Чтоб не скисло.

ЖЕНИТЬБА ДЯДИ

Мужчины в нашем роду уходили один за другим. Но, все-таки, они успевали жениться и произвести себе замену.

В Питере, на левом берегу Невы, на проспекте Обуховской обороны жил дед.

Электричка везла нас с матерью к Балтийскому вокзалу. Я гордо держал на плечах звездочки морского лейтенанта, на каждом по две. Шинель жала под мышками, новая. Проносилась скучная местность. Симпатичный малиновый беретик нет-нет и косил в мою сторону. Мать сидела прямо и нервничала. Раскрыла сумочку:

– Ну вот, валидол забыла. А ты веди себя прилично. Прошу как человека – пей в меру.

– Да ведь родной дядя женится, – возразил я. – Такое раз в жизни бывает.

Мать всплеснула руками и запричитала:

– Ты же мне обещал! Угробить решил. Хватит мне позориться. Никуда я с тобой не поеду.

– Тише ты, люди кругом, – успокаивал я, озираясь, – шуток не понимаешь.

– Знаем мы, как ты со стаканами шутишь, – буркнула мать. – Весь в отца. Царствие ему небесное...

Малиновый берет смотрел на меня изумительно круглыми ошеломленными глазами. Я уже подыскивал слова, чтобы сказать ей что-нибудь приятное для начала знакомства, но тут электричка прекратила свое движение у конечной станции "Ленинград", и надо было выходить.

Город шумел, мельтешил. Слякоть. На платформе месили ногами грязную снежную кашу. Рядом с мужским туалетом толстая тетка в одетом поверх ватника халате (имевшем претензию на белый цвет) продавала из своего передвижного комода эскимо на палочке. Я глядел в мутный воздух, и мне почему-то захотелось парного молока, как в детстве. Воображение мое разыгралось. Наверное, я уже впадал в идиотизм младенческих воспоминаний. Про меня можно было сказать, что в голове у меня паслась корова Зорька.

Мать шла рядом, маленькая, по плечо. Балтийский вокзал был все такой же. Ничего не изменилось за столько лет. У матери был я. Она тревожилась в толпе: как бы меня не затолкали, не смяли, не повредили что-нибудь, что потом скажется в моей жизни. Она снова была мной беременна. Или постоянно.

Трамвай номер 19-ть тянулся и дребезжал через город и по левому берегу Невы. Огромный железный мост висел в зимнем воздухе, как мираж, и полз по нему длинным червяком поезд. Мать смотрела озабоченными глазами. Мне хотелось курить, и я завидовал огромной заводской трубе, безостановочно выдыхающей вулканы дыма.

Дом, где жил дед, на шестом этаже, – как его не узнать. Нас приветствовала его копченая, желтая, как горчица, стена. И дальше по улице, до самой Невы тянулось пустое пространство дворов, огражденное низким бетонным барьером.

"Что ты водишься со всякой шпаной, – сказала мать. – Ты же морской офицер. Опять из школы принесешь кол по арифметике".

Я посмотрел на мать: нет, она ничего не говорила, губы плотно сжаты. Я очнулся от детства, вижу: начинает сереть зимний вечер, кружа снежинки в замутившемся воздухе, и мы вошли в дом деда.

Надо было отсчитать вверх около полусотни заплеванных ступеней. Мать тяжело дышала, отдыхая на площадках. Послышалась нарастающим грохотом лавина низвергающихся башмаков. Мы успели прижаться к стенке. Мимо пронеслась с гиком орда подростков с клюшками, догоняя ошалелую, мечущуюся туда-сюда шайбу. Один сорви-голова катился задом-наперед, оседлав перило. Все провалились в тартарары, хлопнув парадной дверью. Мать перекрестилась, она теперь часто вспоминала свою религиозную тетушку, и мы продолжили восхождение.

Звонок дребезжал в квартире комариком. Коммуналка кишела родичами, издававшими радостный гул. В комнату деда попадали слева, за поворотом. Но я оставил мать лобызаться со всем кланом, а сам двинулся по темному коридору на брезжущий в конце свет. Там, заполнив все небольшое пространство кухни, курили мужчины, выдыхая дым в форточку.

– А, вот и морской волк! – констатировал Василий Петрович, мой крестный. Он с достоинством знающего себе цену сорокалетнего мужчины выставлял ногу в лакированной туфле и выпускал из аристократического выреза ноздри струю "Беломора". Его щеки лоснились, сизовыбритые, и благоухали одеколоном "Шипр". Блондинистые волосы, прошитые нитями седины, были зачесаны волнистыми складками, открывая широкий, как купол, лоб. Василий Петрович щелкнул серебряным портсигаром, распахнул его, и предложил сократить содержимое папиросного патронташа.

Вытянув папиросу, я тут же услышал ее жалкий раздавленный хруст, это мой родной дядя Виктор, восторженно рыча, принялся мять меня в своих медвежьих объятиях. В жениховском костюме, румян, курчав и грандиозен, дядя, мучительно сознающий себя виновником торжества, сунул нам стаканы в руки и щедро плеснул из поллитровки.

– Свистнул со стола, пока бабий батальон пудрится, – быстро шептал дядя.

На кухонной плите булькала кастрюля размером с котел, варилось какое-то млекопитающее.

Через полчаса свадебный стол бушевал, властвуя во всю длину комнаты, тесня густо сидящих родственников и расстреливая их в упор шампанским. Бокалы сами присасывались к ртам, заваливая головы, вилки вонзались в груды маринованных помидор, ложки гребли в морях салатов и студней, ножи взлетали победоносными

саблями. Дед сидел прямо, со строгими морщинами вдоль щек, лысина блестела. Невеста, миловидная, молодая женщина, обладающая весьма приятными, пышными формами, даже припудренная бородавка около носа ничуть не портила ее счастливое, улыбающееся лицо, – так вот, невеста нежно, но крепко держала своей пухленькой ручкой окольцованную лапищу моего дяди, совершенно сковав ему свободу передвижений между бутылкой и стаканом. Мать сидела рядом со мной, у самого моего локтя. Ее отвлекал разговором, по предварительной моей просьбе, Грачев, старинный приятель дела, с нависающими над лицом воронными бровями. Пока мать отворачивала голову к Грачеву, перечисляя свои болезни или умерших родственников, я успевал хлопнуть рюмки три. Мой крестный, Василий Петрович, невозмутимо держал свой великолепный купол, будучи под недремным наблюдением жены и важно ее предупреждал:

– Зоинька, мы договорились: десять рюмок за вечер. Видишь: я пью вторую.

Впрочем, разговор за столом шел об инопланетянах, о том, как готовить студень из пороссячих ножек, и будет ли третья мировая война. Соседка, тетя Клава, жаловалась горемычным голосом, что сын Вовка каждую ночь в постель дует. А еще пионер, называется. Никому такого ангела не пожелаешь. Мне при этих словах показалось, что потолок над нами поехал и в разверстом небе пролетел с золотистой пионерской трубой ангел.

Наконец, пошли всем скопом плясать в комнату тети Клавы. Я приглядел подружку невесты, она была в плотно облегающем фигуру, переливчатом платье с отважно декольтированной грудью, и взвизгивала:

– Ах, как я люблю морячков!

Мой дядя Виктор, каким-то чудом ускользнувший из нежного плена новобрачной цепи, удержал меня за руку:

– Скорей, пока никто не расчухал, Петрович уже ждет.

Мы благополучно выбрались из квартиры на лестничную площадку, будто бы покурить, крестный уже дымил беломором, увлекли его за собой и втроем скатились по ступеням.

Оказавшись на свободе, мы облегченно вздохнули и сразу же бодро зашагали к пивному ларьку. Очереди не было. Мы отпили половину из кружек, дополнили захваченной с собой водкой, и тогда

уж сдвинули кружки, поклявшись хранить до конца дней наш триумvirат свободных личностей. Настроение у меня было самое радужное, я был юн и наивен, как Адам до грехопадения, фонари двоились в бронзовых нимбах, будто святые. Я сдвинул шапку с крабом на затылок и предложил толстухе за окошечком, откуда разлило бочкой пива, разделить со мной молодую радость жизни. Толстуха развеселилась, высунула руку и пошлепала меня по щеке мокрой липкой пятерней:

– Ах ты, соплячишка!

После чего я, словно провалился в люк. Очнулся я, лежа; дядя держал на коленях ту толстуху, и они горланили: «Эх, мороз, мороз! Не морозь меня!».. Крестный, уронив свой великолепный купол на стол, сотрясался в рыданиях.

А рядом со мной на диване сидела красавица, ее лицевая часть оканчивалась таким острым подбородком, что им, как утюгом, вполне можно было бы отгладить мои мятые-перемятые, потерявшие всякую флотскую форму брюки. Она и гладила меня, но только по голове, приговаривая:

– Какой пай-мальчик. Совсем шелковый. Вот уж скоро ночь. Придется мне быть твоей.

– Погоди, Люська! – возразила толстуха. Ты уж и отдаваться. Пускай они еще бутылку принесут.

– Бутылку, это мы можем, – сказал дядя. – Что бутылку. Мы сейчас ящик шампанского притащим. Свадьба у меня или не свадьба, я вас спрашиваю?

– Выпить хочу, – продолжала требовать толстуха. – Если сейчас же не нальете мне и Люське по стакану – пошли все вон, кобели.

Мой дядя Виктор откуда-то, из штанов, что ли, вытянул еще бутылку. Это было в полном смысле последней каплей. Чернильная клякса залила мое сознание, я опять провалился в люк, мне стало совсем непонятно: хорошо мне или плохо. И был вечер, и было утро...

Родичи с бледной, несчастной, опухшей от слез невестой искали нас по всем моргам четыре дня.

Через четыре года моего крестного, Василия Петровича, я, действительно, увидел в гробу. Он лежал, важно скрестив руки. Его великолепный лоб почернел. И отчетливо были видны шрамы от вскрытия черепа. Сказали, что мозг моего бедного крестного съел рак.

А еще через год я прощался и с моим дядей Виктором. У него оказалось слабое сердце. Румянец, когда-то разливавшийся, как зорька, по его щекам, теперь заменила грубая маскарадная краска, измалеванная похоронным мастером, который старался принарядить эту, не имеющую ничего общего с моим дорогим дядей, мертвую куклу.

Следующим ушел дед, он-то был старой закалки.

А я пока жив, пью из своего стакана за их неведомый мне рай или ад.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

Все ноябрьские праздники мы с тестем глушили "московскую". Косил дождик. Мокла, прикрепленная к соседнему зданию, красная тряпка флага, как сморщенная кожа помидора. Часы шевелили тараканьими стрелками. Фургон для перевозки мебели въехал во двор и задавил зазевавшуюся кошку. Жена бесилась, била посуду и кричала, что будет выкидыш. Я смахнул таракана. Оказалось, это часы, подаренные нам на свадьбу. Стояли себе на комод, никому не мешали. А я их смахнул. Я им, видите ли, весь циферблат разбил. Надо же было как-нибудь убить время. После сердечного разговора с женой я вспомнил: поезда дальнего следования меня всегда успокаивали.

Впрочем, мне как раз пора было возвращаться на север, к месту моей службы. Мурманский поезд отправлялся в 18.30 с Финляндского вокзала. Все выходило, как нельзя лучше. Вчетвером мы заняли отдельное купе: два лейтенанта, мичман и прапорщик береговой охраны. Ехать предстояло почти трое суток, и мы, первым делом, проверили запасы горючего. Получалось не так уж и бедно: примерно по литру на брата. У меня была лимонная горькая и две маленьких – что успел достать. Зато прапорщик, хохол из-под какого-то Бердичева, вез канистру горилки. Мы подумали: должно бы хватить до Мурманска. Поезд гуднул, платформа потихоньку поплыла в косом дождичке. Решили начать с моей лимонной.

Примерно, через час мичман мрачно заговорил о внутренних и внешних делах нашего государства. Он провозглашал речь с пафосом Цицерона, и размеренно выпускал по мировому злу, круглые, как торпеды, периоды, начиненные зарядом могучей обличительной силы.

Прапорщик сразу поддержал эту тему и поведал печальным голосом с мягким украинским акцентом, как его земляков успешно травят с колхозных самолетов селитрой. Я уже давно заметил: горячие диспуты на эту поистине неисчерпаемую тему неизменно и самым естественным образом начинались с третьего стакана. Я знал по опыту, если сейчас же не повернуть в сторону женского пола или анекдотов про Чапаева и Петьку, то остановить Цицерона будет уже, практически, невозможно, и мы все трое суток проговорим о политике. Поэтому я сказал: государство, это – куча дерьма. Охота вам в ней копать.

– Нельзя стоять в стороне от мучений народа, – сказал лейтенант, наполняя очередной стакан, на что я возразил:

– Никакого народа, просто-напросто, не существует. Все народы давно вымерли, как мамонты. Теперь у нас вместо народов масса. Что-то вроде студня. А мы тут сидим себе в купе со всеми удобствами, рядышком, как четыре неразлучных мушкетера, и, насколько я еще могу здраво судить, ничуть не мучаемся.

Мичман встал, простер руку и провозгласил, что наше правительство – это банда обожравшихся свиней, и стал призывать к новой революции.

В купе заглянула симпатичная проводница в красной железнодорожной шапочке и спросила: не надо ли чего?

Хохол-прапорщик подумал, подмигнул нам и сказал: как же! Кой-чего, конечно, треба такому молодому хлопцу, как я. И пошел за проводницей. Больше мы его уже не видели до самого Мурманска.

Так, под стук колес, в приятных беседах, прерываемых короткими снами, покачиваясь в ритмичном движении, ехали мы на север. Пейзажи за шторкой нас мало интересовали. Все же, изредка, я замечал, то ли сквозь сон, то ли в забытии разговоров, могучую небритую щетину елового леса, и, будто бы одну и ту же лысую сопку, которая время от времени, шатаясь заглядывала нам в окно. Все-таки, я боялся заснуть, я знал, что змей поезда пожирает беспечно спящих людей, слизывая их с верхних полок. Поэтому, болтая босыми ногами, я спросил: достаточно ли пороха в пороховницах? Оказалось, мы не рассчитали наших возможностей, случилась беда: путешествовать еще целые сутки, а у нас на столике грустно позванивает взвод пустых бутылок. Нас спасла пятиминутная остановка в известном населенном пункте. Бывалый мичман знал – что надо делать. План действий за многие годы его путешествий по этой дороге был отработан до

десятых долей секунды. Поезд стал тормозить, мичман на ходу соскочил на платформу и пулей кинулся по изученному назубок маршруту, производя молниеносные зигзаги и повороты, и срезая углы. Мы летели за ним, спина в спину, в точности повторяя все его маневренные фигуры. За собой я услышал топот лошадиного стада и, быстро оглянувшись, увидел, что за нами по пятам несется, сбившись в кучу и поднимая пылевую бурю, весь мужской состав нашего поезда. До прилавка уютного сельского магазинчика мы добежали первыми. Сунув продавщице точную сумму денег без сдачи, мы выхватили из стоящей на прилавке шеренги приготовленных бутылок, каждый по две, в обе руки, и ринулись в обратный путь, сжимая за горлышко свою боевую добычу. Это была "зубровка". Она приятно лучилась янтарной жидкостью. Теперь мы не сомневались, что благополучно доедем до Мурманска, не страдая от скуки жизни.

В Мурманске мы не задержались, а сразу отправились на катере в городишко "Полярный". Там находилась наша база подводных лодок.

В Полярном было мрачно. Свирепый ледяной ветер продувал шинелки. Крыса пересекала пирс. Гигантская крыса с черной шерстью. Она жила внутри стального левиафана, который покачивал у пирса суровый бок с цифрой 20.

Полушубок с задранным воротником и с автоматом на спине повернулся. У часового было фиолетовое марсианское лицо. Разжав губы, он попросил закурить. Он был, несомненно, героической личностью, сумев закурить при таком ветре.

Мы пошли в городишко, прячущийся в сопках. Штормовой денек пытался свалить грязно-бурую шеренгу жилых коробок. Клубилась пыль. Подхваченный вихрем кусок газеты парил высоко в воздухе, как буревестник.

В казарме меня встретил командир лодки капитан 1-го ранга Собакин, по прозвищу иерихонская труба. Увидев меня он закричал: «Почему я не исполнил его командирский приказ и не присутствовал вместе со всей командой – слушать по телевизору речь главы государства. Или я считаю себя выше всех». В ответ я взглянул на него сверху вниз, измеряя его, мало соответствующий голосу, рост, и, не в силах сдержать злость, прошептал: «Собака, я ведь только что прибыл из отпуска». В следующую минуту я получил приказ отправляться на гауптвахту. После чего я сразу же пошел в сан. часть, предварительно

натерев у себя в комнате лоб вафельным полотенцем, быстро доведя его до состояния раскаленной печки. Кроме того, я влил себе в нос полбутылки канцелярского клея, так что нос превратился в безостановочно чихающую и исторгающую гриппозные ручьи разбухшую багровую грушу.

В сан. части я отдыхал без малого две недели и там-то впервые прочитал, от нечего делать, полное собрание сочинений Шекспира. Грандиозный, конечно, старик. Я даже плакал, накрывшись простыней, после того, как Отелло задушил Дездемону.

Покинув, наконец, это оздоровительное заведение, я узнал, что ночью наша подлодка уходит в море. Иерехонская труба выдавил две хриплых фразы: «Ничего, губа от тебя не убежит. Твоя вахта с четырех утра». И мрачным жестом командирского перста указал мне путь в сторону пирса.

Вечер был еще тот, плевался дождем, с моря доносился гул.

Спустился по трапу в стальную внутренность лодки, пробрался в свой родной торпедный отсеk.

Старшина первой статьи Кириллюк, подложив замасленный ватник, дрых на торпедe. Матрос Степанов грыз воблу. Мой заместитель мичман Чернуха, подперев щеку, сидел у торпедного аппарата.

– Ну что, Чернуха, – спросил я, – полстакана неразведенного тебе бы сейчас не повредило, а?

Чернуха уныло заметил, что грех измываться над несчастным человеком.

По всей лодке раздалась команда иерихонской трубы: «Задраить люки. Готовиться к погружению».

Стали продувать цистерны. Свистел воздух. Старшина Кириллюк, спавший на торпедe, зашевелился.

– Батьку с маткой во сне видал, – объявил он. – Товарищ командир, отпусти домой на недельку.

Лодка, тем временем, понемногу проваливалась в глубину. Щелкало в ушах. Сердце, словно само по себе, в одиночку, с сосущим страхом падало куда-то в бездну.

В море мы пробыли трое суток. На учениях моя торпедная часть отличилась. Все цели были поражены на пять с плюсом. Иерихонская труба пожал мне руку, отменил "губу", и обещал денежное вознаграждение в крупных размерах.

Возвращались ночью в надводном положении. Лодка, вздувая пенные усы, с шипением рассекала мрачную воду. Будучи вахтенным офицером, я бодрствовал в рубке и размышлял: чего же я жду? Один буль-буль, и все кончится.

После вахты, зайдя в гальюн, я там обнаружил восседающую на бачке крысу. Крыса была внушительных размеров, обросшая черной шерстью. Она меланхолично смотрела на меня своими тихими красноватыми глазками. Ей некуда было деться, и я вспомнил, что старпом обещал матросам по три дня отпуска за каждого подобного зверя. Я ее выпустил.

На берегу меня дожидалась телеграмма: «У нас сын. Целую. Валентина».

Я перелистал мой запас денежных знаков. Магазины были уже закрыты. В ресторане "Северное сияние" я купил по двойной цене ящик коньяка. Кутили в офицерской казарме, всю ночь, обмывали младенца. Так сказать, заочное крещение в морской купели. Старлей Ибрагимов рассказывал, как празднуют такое событие у него на родине в Туркестане. Мичман Чернуха печалился:

– А у меня одни девки.

– Халтурщик, – осудил командир электрической части Ваньшин.

Я налил коньяку в жестяную с отбитой эмалью кружку, выпил залпом, и удивился, что мичман Чернуха, это ничто иное, как большая черная крыса. Мне захотелось ударить, я замахнулся кулаком, и Чернуха визгнул.

Тогда я пошел в соседнюю комнату, взобрался на стол, привязал веревку к крюку, на котором висела люстра, и сунул голову в петлю. Но в последний момент я замешкался, принявшись размышлять: куда я попаду, в ад, или, все-таки, в рай.

Прятели, почуяв неладное, ворвались в двери и сдернули с моей шеи смертельную петлю. Я лягался. Выскользнув из их рук, я побежал по коридору, влетел в чью-то комнату и забился под кровать. Все попытки вытащить меня оттуда кончились неудачей. Я рычал и кусал их за пальцы. Друзья решили пригласить медицинскую помощь. Через определенное время дюжие санитары, опытные в таких делах, выудили меня пожарными баграми из моего убежища, стиснули локти и поволокли по коридору, по ступеням, и вниз, во двор, под морозящий дождик, к ожидающейся там машине с крестом. Все было кончено.

ЖЕЛЕЗНЫЙ

Я думаю, почему это так получается – казалось бы и весна, и должно быть светлей, а тяжело, хоть вешайся. Можно вешаться в шкафу, чтобы не подглядели в специальную просверленную для надзора дырку. Но найдут ведь, облагодетельствуют, вынут из петли, вызовут ноль три. Тук-тук, кто здесь живёт? Каморка, я, дом восемь, на верхнем этаже. Когда появляюсь в коридоре, шушукуются.

– Кочерга гулять вышла.

Фаина прикусывает жало, муж её проскальзывает по стене и прячется в туалете. Булькает борщ. Он состоит из мяса и костей. Муж её – шофёр продуктового магазина.

Угрюмые книги. Не хочется сегодня торчать дома!

Пахнет сырым бетоном и тряпкой.

– Минутку! – говорит Алла, – моя кровь дома?

– Кашлял.

Свет слепит, отражаясь от лба. Оказывается, уже час. Надо на Большую Пушкарскую. Надо как напильник. Для чего и на Пушкарскую. Напильники забрать. Он мои напильники не съест. На углу Ковров.

– Далеко? – спрашивает Ковров и вертит пальцами.

– Так. Гуляю.

– Так гуляет! Тут одно место, – и тянет меня за рукав.

Фургон перевозки почты переезжает трамвайные рельсы. Водосточная труба выплёвывает на асфальт свои ледяные внутренности. Симулируя сумасшествие, психи проглатывают ложечки.

– Срежем через дворы, – предлагает Ковров. – У меня, кстати, руки чистые, мылом мою.

– Причина не в мыле.

– А в чём?

– Тебе не понять.

В чердачном оконце вспыхивает электросварка. Через три двора – на Кропоткина. Зря я иду за Ковровым. Знаю, что зря, а иду. Скоро Пасха.

– Предупреждаю сразу, – говорит Ковров, – девка – зверь.

Я думаю вот что: лестницы, как поезда. Ковров жмёт звонок в

квартиру, словно хочет выдавить глаз. Упав, хватаюсь за перила. Ковров смотрит на меня загадочно, сверху вниз, покачиваясь на своих итальянских лодочках.

Курят, невымытые окна, на кухне сжигают цыплят. Рыжая девка ставит стул и наливает штрафной стакан.

– Закосеет!

Слюнки текут, как у подопытной собаки Павлова. Галинка суёт гантель и тарелку с металлической стружкой: хряпай, кочерга, ломом будешь!

Спускаюсь по ступенькам и думаю: ну что я за человек? Какая дурь затащила меня за Ковровым? Шёл бы себе за бессмысленными напильниками на Пушкарскую.

ЦЕНТР

Лежу, непомерно вытянутый в длину, гулкий, как коридор, и во мне голоса, шаги. Сам иду, коридор знаком, и справа, и слева таблички, на каждой – ЦЕНТР.

Я читаю: не те центры. Того, что нужен, здесь нет. И опять блуждаю по бесконечному коридору, путешествую в лифте, и везде: шаги, шарканье. У меня папка.

Я не уверен в их сходстве, они отнюдь не братья. Я мог бы перечислить их различия по пунктам, загибая пальцы. Новый поворот – очередной пункт в различиях. Сколько я загнул пальцев, столько машина сделала поворотов, удаляясь и удаляясь от центра к окраинам. Прекратить! Они, как две братские капли дождя на лобовом стекле. Словно в игре, выкидываю все пальцы.

Козырная десятка накрыла город. Стремительно лечу к центру.

Стоп. Грязно-серое здание, в окнах – мрак, иду, ноги-свиноц, лестница, окурки. Шестой. На площадке детская коляска, в коляске кукла с оторванной головой и пачка старых газет. В темноте белеет табличка: ЦЕНТР.

Распахивает зверского вида бородач, шрам через харю. В руках короткий автомат.

– Только не в живот! – кричу ему.

Он буравит мой пуп огненным сверлом.

СУББОТА

Суббота, окно дует. Ворона, сев на мусорный бак, раскидывает по двору бумажки. Капли, методичные, как время...

– Где это я? Хлебо завод?

– Какой хлебо завод? Смотри!..

Безлюдный бульвар. В звонкой бочке сердце заведено на смерть. Мясник глядит из-под складок красного мяса:

– Марш в машину!

Дом, садик, решётка. Четвёртый этаж. Нетерпеливый звонок.

– Открывай!

Лязг запоров. Старик видит и пытается захлопнуть. Молот обрушивается ему на голову. Грохочет костыль. Лежит в прихожей, очерясь искусственной челюстью.

– Пожалуй и к лучшему. – Мясник в кресле, бобровая шапка, полушубок растёгнут, покачивает лакированным рылом на рифлёной подошве.

– Дует. Закрой окно! – приказывает мне. Я боюсь шагнуть. Луна – как серебряный выстрел. Я сыграл роль, секунды мои сочтены. Кто-то, скрипя, проводит по стеклу пальцем. Омерзительный звук.

Бегу на мороз. Там встречает балаболка-очередь. Чурбаки лежат на снегу. Или трупы? В машине пусто, дверца раскрыта, рой пуль.

Смотрю в ужаленное лобовое стекло: бегут, накренысь, коробки. Поворачиваю, мчусь по проспекту. Всё позади. Уношусь в ночь по пустынной автостраде.

ДЕНЬ ФЛОТА

Воскресенье, июльский день. Взял газету: строй матросов на праздничной палубе, офицеры в белых перчатках, с кортиками, адмирал-орёл, рука у козырька.

Невский затопила орда моряков в белых праздничных рубахах. Братва шумно стремилась к набережной, над садом плыл золотой адмиралтейский фрегат.

Пошёл за матросами. Свои в доску, в тельняшку, бурные, в бескозырках.

– Куда, бомбовоз? – нагнала шлюха. – В бега?

– Га-га-га! – грохнули матросы белозубым смехом. Чёрные змейки, бронзовея якорьками, взвились у затылков, льнули к загару шей. Тельняшки штормили, глаза-буревестники. Замер в нерешительности между ними и разъярённой блудницей.

– Эй, берегись! – закричал матрос. – Сейчас эта вошь лохматая тебе ниже ватерлинии вцепится!

– Мазни её по фасаду, чтоб штукатурка осыпалась – сразу отстанет, – предложил другой.

– Зачем такую хорошую девушку обижаете! – стыдил третий, с головой в форме корабельной рынды. – Кореш, махнём не глядя: ты нам её на сутки в кубрик, а мы тебе бачок борща притараним, макарон по-флотски, новенький тельник. Лады?

– Откуда вы, ребята? – спросил я детей моря.

– С крейсера Кирова! – был дружный ответ.

– Как с Кирова? Киров – это я...

Матросы переглянулись.

– К адмиралу обратиться, – сказали. – Он сейчас в Гавани.

Матросы и шлюха ушли. Сговорились. Как они проведут по трапу под усами у вахтенного? Клёшами завесят? Да ну её в клюз!

За спиной грянула мажорная, как десятибальный шторм, музыка. Я оглянулся: по Невскому шествовал, дубася в барабаны и свирепо дую в блестящие трубы, духовой оркестр моряков. Туда путь отрезан. К набережной, три румба!

Двигалась густая толпа. Корабли на Неве украсились гирляндами цветных флажков. Самозванный крейсер Киров горделиво показывал на серой военной скуле цифру 264. Крейсер крепко держался на плаву, опираясь на оранжево-полосатые поплавки-барабаны. Катер с матросами болтался у борта. Белые рубахи с голубыми воротниками лезли по штормтрапу, таща и подталкивая в корму широкобедрую, захваченную на берегу добычу. Вахтенный и два золотопогонных сундука демонстративно отвернулись, покуривая. Вся картина была видна подробно, как в бинокль. Огнисто плясали прицельные крестики зноя.

Толпа гудела. В небе висели на ниточке виноградные грозди, цепляясь за серебристую рыбу-дирижабль. Я машинально перебрался на Васильевский остров и побрёл к Гавани. Братва, ау! Какой магнит тянет? Моречко? Блестит что-то, алюминиевый кусочек.

Топ, топ и – Гавань. Морской ветер и солнце. Дом, на доме табличка: Адмирал А. А. Петров.

– Войдите!

За столом что-то студенистое, фуражка с крабом. Закатанные рукава.

– Арсений Аркадьевич, новенький! Крейсер Киров, – доложил ему из-за моей спины равнодушный голос.

МАЙОР

Во дворе на скамейках шуряют старухи. Разевается дверца. Бабыё, обсуждая свежее мясо, тащат сумки. Голуби, кошка, солнечный асфальт. Майор задумчиво подпёр кулаками кадровый подбородок. Четверть первого. Жарко.

В чемодане обвязанная шпагатом коробка.

– У Миловановой майор поселился! – оглашает двор скелет в сарафане. Обрита наголо, зубы выбиты, под очами свежие фонари. Новость эту она пытается вкричать в череп столетней подруге. Та сидит безучастно в толстом пальто из драпа, в меховой шапке с опущенными ушами, в валенках. Бульвар, цветут липы, летние платья.

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать: катастрофа! Самолёты взрываются на взлёте. Подлодки тонут, не отойдя от пирса. Армия небоеспособна. Армия умирает в бетоне казарм в жаркий летний день! Армия умирает внутри нас! – майор бьёт черенком вилки в грудь, вермишель летит с неряшливых усов. На слёзный вопль оглядываются с соседних столиков.

Придвигается, заглядывает в глаза. Жёлтые белки, слюна, перегар:

– Это не штаб! – шепчет он хрипло. – Это – клуб шахматистов и картёжников. Игра по-крупному. Ставка – жизнь. Проиграл – к стенке. Раздевают до носков. На груди, где сердце, рисуют синей ручкой круги-мишень. Целятся в десятку, в сосок. Называется: огневая подготовка, не выходя из кабинета. Очень весело. Трупы зашивают в мешки и – в подвал. Ночью вывозят на грузовиках и закапывают в поле, в безымянных братских могилах... Я – из контрразведки, – шепчет он тише, почти неслышно, – Киргизов из контрразведки...

По коридору – грохот танка, тяжёлая тележка. Катится калека без ног, отгаликываясь пустыми бутылками. Грудь кителя бренчит блюдцами, пилотка набекрень. На лихом вираже инвалид отдаёт бутылкой честь и скрывается за поворотом. Грохот замирает. Ветеран войны.

Майор идёт по городу, воздух – зола и пепел, бензин звереет к вечеру, моторы ревут с мостов. Дома бегут в бетонных сапогах, скосив угрюмые квадраты-рамы, из разинутого окна орёт в родильных муках рок-музыка. Двое на подоконнике роняют плевки в толпу и хохочут. Кидают бутылки, консервные банки, тухлые яйца,

батарейки, горшок с фикусом. Тащат к подоконнику рыжую девку, пытаются выбросить на тротуар. Девка вырывается и визжит. Отпустив её, расстёгивают ширинки и встают во весь рост над текущей массой. Там несут плакат:

СЧАСТЬЕ В НАШИХ РУКАХ. НОВАЯ МОЛНИЕНОСНАЯ СВЯЗЬ ПЕРЕВЕРНЁТ МИР

Март, апрель... В конце мая – майор. Два просвета: один чёрный, другой белый – жизнь и смерть!

Медаль, раскалённая медь, скоро закатится. Река раздумянулась. Краны-гиганты. У парашюта чемодан.

– Эй! – нагоняет небритый. – Твой?

Огневой клубок вибрирует последними лучами. Мостовая горит, как пожар. Резкие звуки, краски. Машины идут сплошным потоком. Отблески бегают по горбатым металлическим спинам. Гул стального стада, сгоняемого с перекрёстка жезлом-зеброй. Желтоглазо мигает испорченный семафор. Раздавленная кошка. Гудок оглушил. Смертоносный ветерок жарко обласкал лицо. Едва увернулся от устремлённого на него бандитского бампера. Ярочно-красный пикап.

Медлит диск, небо цвета хаки, звон похоронных литавр. Могучая грудь разукрашена ранами и орденами. Жди – зажгутся на этой груди звёзды героев, два самолёта низвергаются в кратеры, прочерчивая через всё небо огненно-розовые рубцы. Самолёты рушатся серебристыми эскадрильями – в зарю, в горящий нефтью залив... Хватит! Пора прекратить парад!

Лестничные площадки играют в шашки. Чёрно-белые плитки блестя азартно и грозно. Поскорей пересечь доску игры.

Комната, окно. День на грани. Один шаг до стены. Босой стол. Обои-буквы. За стеной кто-то идёт, за стеной на улице, шумно дыша. Идут, идут, идут на круглых, рубчатых ногах. Марш машин. Блестят стальные лбы. Противогазы в строгих очках маршируют, руки по швам. На приветствие маршала отвечают громовым троекратным ура. Пыхтя, тащат пушки. Гудят, колышась, бронированные туловища, из откинутых люков высовываются пятнистые ящерицы в касках...

Нет!!!

– Я расскажу историю. Пески, черепа солдат. Дрожит марево. Четыре точки с раскалённого горизонта. Вынырнув из-за бугра, встают в рост. Свирепые, крючконосые бородачи в меховых папах. Ватные халаты перекрещены пулемётными лентами, на поясах – гирлянды

гранат. На плечах автоматы, полные рожки. С неба гул. Вертолёт! Гортанный вскрик. Четыре грязных войлочных бороды вздёрнуты вверх. Автоматы нацелены в спящее фиолетовое небо. Гремят очереди, сотрясая барханы. Потом бородачи идут к дому.

– К дому?

– Да, дом в пустыне. Обыкновенный бетонный дом, пять этажей. Живут обыкновенные мирные люди: женщины, дети, старики, старухи. Когда папахи с автоматами подходят и один берётся за дверь первой парадной – дом взрывается. Со всеми жильцами. Секунда – и груды дымящихся развалин.

– И это всё?

– Всё.

ЖАЛЕЙКА

Музей? Музыкальных инструментов? Никто, ничего. Слыхом не слыживали. Золотился купол.

Истоптанный снег. Жёлтая жижа. Что? Повторите, пожалуйста.- Вот глухая тетеря! Жетон, говорю, дай!

Что она так кричит, эта сердитая шуба? Требуется! На каких основаниях? Рождает он жетоны?..

День на грани. Дрогнул. Скатится. У сумерек ушки на макушке. Месяц родился. Тоненький, беленький, дрожит. Ах, ты ягнёнок! Над крышей. Да это банк... Бодай его, рогатенький мой! Колёса мчатся, ошалелые, брызгая огнём и грязью. – 3-3-задавлию! – визжат.

Шуба ждала. Глаза-фары.

– Олух! Дашь жетон или так и будешь vareжкой хлопать?

А!.. Дошло до жирафа. Жетон нужен. Натё. Рад услужить. Болтается в кармане. Думал – монета.

– Наконец-то! Урюхал, фитиль. Иди, иди! Катись! Дуй в кларнеты!

Лязгая диском, мотала номер. Туда-сюда. Безрезультатно. Там трубку не брали.

Он вздрогнул. Наглый коготь крутил диск у него в груди. Крутил, крутил, с нарастающей злостью, стерженая... Хруст. Сломался. Ах, музей уже не найти. Камни лысые. Адажио. Жаров, Журавлёв, Жилин. Вот еще: Жалейка. Учреждение. Окна такие нежные, нежные, как манжеты дирижёра, а их гасят, гасят. Кассы захлопываются. Портфели на хмурых ножках.

Шуба, бешеная, швырнула переговорную гантель ему в голову. Зло на нём срывать он не позволит! Не такой!

Банк, танк. Валюта. Валет. Век воли не видать. Народился серпик.

Спусковой крючок. Выжмем пульку – пижону в лоб. Стрелок, а стрелок? Ты где? Затаился... Целится...

Музей? Музыкальных инструментов? С луны упад? Пустили тебе сквозняк, кабель. Калган в дырочку.

– По справочнику тут. А тут – чёрт знает что. Банк...

– Эх, ты, Ванька! Вот что. У тебя легкая рука?

– Не знаю... – он поднял и опустил руку, взвешивая.

– Давай, лабух! Попробуй ты! – шуба протянула жетон.

– А что сказать?

– Скажи: сел петух на хату.

– Так и сказать?

– А как ещё? Круги!.. – диктовала иглы-цифры. Насквозь.

– Тишина. Воды в рот набрали. Я бессилён. Я...

Побежал, полы длинного пальто путались. Шапка мешала. Шапка-крыша съезжала ему на окна.

Подворотня-живодёрня. Горе моё! Солнце кинуло прощальный лучик-ключик. Я буду помнить об этом золотом ключике всю ночь, всю ночь. Он будет помнить. Твердо обещаю, ручаюсь узкими, как у женщины, длинными, длинными, семимильными, трепетными, фортепьянными пиявками!

Жалейка! Жалейка!..

От Исакия до клюквенной Фонтанки. Колёс, колёс! Невский. Аничков мост ткнулся ему в плечо конской мордой. Отчаянье, ржанье. Аккорд укротит глухую тетерю. Какафония. Каша машин. Дайте диссонанс и я отрежу все уши! Чтоб не подслушивали моё бессвязное бормотанье, клубок боли и бреда! Разматывайся, разматывайся для лисьих лап!

Он бежал, толкал, опаздывал. Видели: страшен, смешон, неуместен. Был, не был. Семь било – кулак грома.

Дверь-бронза, вестибюль, хрусталь, парадный прыжок лестницы.

Ждали, махали, призывы, отливы. Ему, ей, ему – нет, только ей. Да, ей, теперь она, всю ночь, вскачь, до восхода солнца. Знаю эту историю. Облупленное яйцо. Я стоял на лестнице. Я, сам. Старушки-

контролеры рвали входные краешки крыльев. Стоял, махал февральской вороной. Дирижер, дирижабль. Зверски знаменит! Люто! Махал вместо дирижерской палочки гроздью черноглазого винограда.

Она не любит финки? Дин-дин – деньжата. В форточку, на ветерок! Пачками – в печку! Ида – имя недоступной. Гора Фригии. На Рубинштейна. Банковское окошко выплонуло миллион беззубых улыбок и захлопнулось. Шах и мат, конец маскарадного дня. Подкупающе логично. Оставим этот Вавилон...

Он видит: крыша, зимние сучья, маска с прорезями для глаз. Мельпомена-грабитель. Ему не двадцать, ему сорок. Жаль – шепнула она. Кругом зашипели. На него, на нее. Ми минор. Фонарь с набережной сунул в шторы раскаленную голову и слушал. Убери чакан! Ты! Машины сыпались, ревя колёсами. Фары, фракы. Старинные музыкальные инструменты спали в ненайденном, несуществующем, выдуманном ему в насмешку доме.

ЛЕСТНИЦА

Руки опускаются. Шоссе, буквы. Вставил в машинку лист пепла. Печатаю: "Загородный проспект..."

Ехать-то, ехать, а копошусь, то, сё. Леший в зеркале. В шашечку стена. Щётка, вешалка. Пальто, как чужое, дичится, пыжится.

Амурские волны. Не люблю я лестниц. Старуха валяется на ступенях. Клетчатая мужская рубаха навывпуск, белые шерстяные носки. Пьяная?

Переступая, вижу: открыла глаз. Бровь в пластыре. – Эй! Слышь, ты! Сигарету!..

Туман. Корешок, шушера. Гол сокол! Кричу с падающей башни. Пёрышки ошиплют. Большие мастера. Быстро справятся. Будешь шёлковым. Пропуск на тот свет. Без писка. Живее крути шариками. Лишнего им не надо. Плеснуть в стакан. Ларьки, кульки. Голова обтекаемой формы. Рыдает. Аэродинамично. Куси, куси его! На тротуаре футляр скрипки, вскрытая раковина, краснея от стыда, просит подаянья. Скупые плевки монет.

Метро гудит в мозгу, туннель под веками. Ворон машет, гоня вентиляционный ветер. Пунктирная линия сливается в сплошную, завихряется. На чёрном – слепящие кляксы станций. Эскалаторные

ступени торопятся на поверхность. Рядом – ремонтируется. Каски, лампы, Неприятно видеть эти механические внутренности.

Троллейбусу нужен кондуктор. Требуется позарез. Рубль проплыл, влача за собой покорные печальные пальцы, а за ними и всего человека. Ресторан кивнул через улицу пивному бару.

Тротуар орёт дворником. Мешаю метле. Глаза – канализационные люки. Борода запуталась в проводах.

Жуют, слюна. Рот в бокале. Обувь, меха. Ювелирные камни. К фасаду склонилась гигантская лестница, расставив на тротуаре толстые ноги, и заглядывает в окно верхнего этажа. Что такое? Пожар?

– Беги, раззява! – кричат сзади,
Звон. Загородный. Зря.

ПИСТОЛЕТ

Клюв из воронёной стали.

– Встать! Живо!

Пытаюсь исполнить команду, но – никак, Я не могу встать, я мёртв. Это не я.

Осечка: надо мной стоит врач. Надо же! Он такой! Он всё-таки попробует поставить меня на ноги. У него за щекой припасены восемь сильнействующих целебных пилюль. *Он* требует, чтобы я пошире раскрыл рот и проглотил лекарство. Поднимет и мёртвого – уверяет врач. Воскресит молодца.

Я благодарен. Креплюсь, чтоб не разрыдаться, как дитя малое.

– Доктор, милый! Спасибо! Спасибо! Спасли. Выгнали из гроба. Теперь поправлюсь. Встану и пойду...

Личный номер на пистолете. Нет, не вспомнить. Цифры царапают. На стальной скуле буква пси.

Я не сдамся. Нельзя сдаваться. Я должен вспомнить, должен. Смерть многих...

– Встать! Вставай и вспоминай!..

Большой, бескровный. Спускаюсь по лестнице. Восстания. Метро. Толпа ворон. Когти ковшиком. Номер моего пистолета. Вижу: бежит по фризу огненными цифрами. Что? Воронье взвилось, унося тайну четырех арабских закорючек.

Рано радуются. Цыц! Наверное потерял. Четверка, девятка. На задворках...

Волк сидит на развилке дерева. Белый волк. Машина. Мотор работает. Пар вьётся в блеске фары. Булькает канистра. Рука без перчатки. Тонкая такая. Симпатичная рученька. Смычком водить. Страшно: вот-вот увижу лицо! Рыло! Глаза, брови, рот, нос. С ноздрями! Ужас! Это уж слишком. Бежать! Волк стоит на дороге, не пускает, смотрит.

– Автово там?

– Там, там, – отвечаю.

– Едешь в одно место, а попадаешь к чёрту на кулички.

– Бывает...

Не смотреть выше шеи. Людей я могу терпеть только в безголовом виде. А этот, как нарочно, с головой до неба. Карман оттопырен. Пистолет.

– Лучшие в мире врачи, – говорит человек скорбно. Голос заглушён шарфом, которым он обмотал себе лицо, чтобы я мог смотреть на него безвредно, как на безликого, и выслушать его горе. Ну не горе – трудности.

Хорошо, хорошо. Такая кротость. История произошла с ним! Надеюсь.

То же самое и со мной, в том же городе, на тех же улицах, под тем же, переплетённым проводами и утыканным трубами небом. Рассказ связан с лестницами, хирургическими инструментами, дворами, с улицы на улицу. Рассказ бессвязен. Номер, который я ищу... Бесспорно одно: четвёрка и девятка. Теперь и это... Предупреждаю: я боюсь высоты, верёвок, врачей, улицы Гороховой в отрезке от Мойки до Адмиралтейского проспекта и – всей моей прежней жизни...

Троллейбус...

Машина ушла. Волк на дереве. Что-то наподобие вторника. В стакане. Я просил не разматывать шарфа, я всего лишь просил не разматывать этого серого косматого шарфа, я убедительно просил не разматывать шарфа! Я просил не разматывать бинтов!..

Оружейная комната. Рот ощерен двумя рядами патронов. Разбирает смех. Сорвутся предохранители, взведутся курки, заразятся весельем, и всё оружие, какое тут есть, загрохочет гомерическим хохотом...

Хорошо ли я выспался на составленных стульях? Пистолет. Дело

не в чистоте дула. Номер. Оружие старое, ветеран, послужило на своём веку. Сталь стёрта добела. Соль. Железный холодок дует в затылок. Гроза разразится. Рано ещё. За тобой должок. Ты ещё не всё тут. Час полновесной расплаты. Мы-то знаем. Потерпи суток трое, Ты у цели. Почти. Крыши, крыши, у нас заговор. Секрет. Молчок – до поры! Мумия-Петербург смотрит, смотрит...

Пистолет в кобуру и выхожу в коридор. Никого. Ни мерзавца, ни негодяя. Спускаюсь по лестнице. Ямы-котлованы, траншеи, окопы. Цемент, бетон.

Строения черны. Город падает. Двуногие колонны. Переполнены злобой. Рука в перчатке колючей проволоки. Под током. Окно на шестом.

– Стой тут и не спускай глаз! Он не тряпка.

Десятиэтажная горилла продаёт очки, диваны, меха, ноты, услуги нотариуса. Яркий враг, рубли-когти. Огрызок приличия в спортивных тапочках и штанах массажиста. Что ему? Штык в зубы? Манекены за стеклом построились в шеренгу и повернулись к улице – мини-юбочки, целлулоидные овалы, руки по швам, ступни врозь. Гильза на грязном асфальте. Кто стрелял?

На тротуаре чёрном, чёрном. Окно арестовано. Там прячется сволочь, с которой все, кому не лень, сводят счёты. Шкаф-фагот, стул-скрипка. Медная струна нерва, натянутая на меланхолический позвоночник. Стоит за шторой и целит в щёлку.

Благодарю. Вы чрезвычайно любезны. Я не войду. Моя фамилия – Невойдовский.

Спина уносится в толпе спин. Гонимые снежные хлопья спин. Эта – прожжённая окурками. Трус! Слякоть! Куда – интересно знать? Позвольте! Сегодня у нас что? Чайковский? Смычок в туннеле пилит бревно. Пилит, пилит. Старается. В-з-з, в-з-з. Да, этого следовало ожидать.

Галерная 7. Угол крыши и полукруг луны в чёрном небе смотрит в правую сторону. Мерзавец. И Всадник и звёздочка. Фонари-чайки. Купол Исакия – ком мрака. Огоньки, Астория, неотразимый удар. На Гороховую. Подворотня, кошки. Мрачная лампочка.

Как по нотам. Сделает решето через дверную цепочку. Чисто, без отпечатков и воплей, в упор. Незванный татарин. Жду, бестрепетен, сердце стальное, одетое в кору кобуры. Весело. Разбирает смех. На части. Дом 9, квартира 4. Вот он я – тут. Не чирикать!..

Грохнул о бетон. Лом? Селена? Сантехник? Топчусь, ничего похожего. Дворники жгут ящики из магазина. Смотрю на огонь, зачарованный. До конца дней моих стоял бы так и смотрел. Он – единственный человек, с которым у меня получается чепуха. У него открытое лицо. Как дверь в подвал. Отпетый головорез. Не забудь гильзу. О каждом истраченном патроне – отчёт.

О чём они тарабарят? О мордастях? О мужчинах и женщинах в этом колесе? Вермишель серая, шевелится. Почти невероятно услышать что-нибудь новенькое в таком, забытом богом месте. Тужурки лопаются у них на плечах. Не случайно. Ширман, шины. За крышами кровавый шар сжат клешнями. Зимний закат. Кто сказал: на канале?

– Пятьсот рублей – лимончики! По пятьсот! Налетай!

Торговки на Сенной.

На Каменном мосту метнулась белая шапка, ощерясь железными зубами. Плоский, прямоугольный предмет, обёрнутый в толстую бумагу, под мышкой. Картина? Не успею, нет, не успею. Мысли уже не те, не злые, раскисли. Вон той голубой подсветки не было ведь раньше. Трактир, трактат, бремя, брюхо, дребедень, бестолочь. Я запутался в собачьей жизни, в собственнойязычно сотканной паутине лжи. Не палить же в воздух, как полоумному. Небо-баранка. Таксисты-жуки дежурят ночь напролёт – у таких клубничек.

Надеюсь, на этот раз повезёт. Да тот ли это дом! Искал усы, а нашел косу. Тахта, рухлядь. Лежит и ждёт. Нож в живот. Ева с дынями.

Длинные рюмки. Говорящий мужик на изогнутом стуле. Шляпа, вот такая же, плавала в чёрной полынье. За мостом, как всегда – 27. Красный, неизменно красный семафор. Кабинка с клавишным телефоном-автоматом. Снег, грязь. Грохочут фургоны. Двигутся двуногие фигуры на ходулях, достигая гигантских размеров. Гирлянды лампочек качаются во мраке по всей улице, бьются о балконы. Троллейбус, рога. Галерная, подвальные окна, свечи на столах, голые ноги, пивочный бантик фартука, золотой эполет. Снег между камней брусчатки и на ступенях, и на двух гранитных пеньках у подворотни. Снег-свидетель. И всё сначала. Я в круге. Переулок важничает манжетами с запонками канализационных люков. Мокро блестящий мрак. Провал, полный.

А ты кто такой? Звучное, здоровое сердце. Гравировка: от сослуживцев. Кручу головку завода до отказа. Восьмой, вечера. Мыльный пузырь.

Красный табурет с белыми ножками, такими тонкими, такими непрочными, как это они ещё не переломились, мушиные... Волчий счётчик. Включен. Долг растёт, не по часам – по секундам. Гора, Памир, Тянь-шань. Развязывается узелок жизни. Не выдержу! Должен выдержать! Должен, должен, должен!..

Рыбу, мясо. Ноги в лампасах, в рёве города...

Смена охраны. Поёт петух. В третий раз.

– Сержант Цепнов! В дежурку!

Чёрный чай Зимней канавки. Нефтяной. Вижу краешком вырезанного бритвой глаза: железные ворота на Неву распахнуты – и первые, и вторые, и третьи. Из них вылетает рой кокард и грубоголубой фургон.

С новой Невой. Всё ново. С кем, против кого? Тут нет выбора. На Выборг. Юг, север, запад, восток. Сухая извёстка. Видавший виды и медные воды, в трубах, в гробах. Мундир, музей. Сержант Цепнов в халате уборщицы сметает шваброй стреляные гильзы. Профессия у нас такая: разить из-под козырька закона.

Душеразрывающий. Твой город. Щербатый сфинкс из Фив.

– Эй! – дышит в лицо буря.

– Сколько дней и ночей?

– Ты река – тебе и карты в руки. Иглы твои петропавлопритупленные.

– Устала я, ох, устала течь к Балтийскому морю.

Голос замер, заглушенный шумом машин на набережной. Шмалят. Черняшку-шири. Шланг не хочет ширенхать. К нему идет шмира, обшмонает шмеля в очке.

Есть подозрение, что пятница.

Снег резанной свиной визжит на Миллионной. Грудь переkreщена трамвайными рельсами, волосы-фонари. Руки в клейком, руки-улики. Горящие руки! Не спрятать! Стою на углу и думаю.

Тормозит. Вылез.

– Капитан Петродуйло! – представляется, выпучив патрульные фары. Из кабины нацелены два автомата. – Руки! – ревет он.

Покорно показываю. Предательницы дрожат. Жду стального объятья браслетов на моих запястьях.

– К свету!

Сую к фаре. Руки как руки. Как у всех. Петродуйло – ресничщупальцы. Резиновый меч покачивается-покручивается, свисая на петельке с пальца.

– Дуй, пока добрые! – рывкает капитан.

Не нужно повторного приглашения. Спокоен, гильза. Мощью спокойствия я могу померяться с мертвецом. Петродуйло проглотил дулю. Ничего преступного он у меня не обнаружит.

Шуберт, жалоба рожка. Беспомощно нежная нота, пар жемчужного дыхания, статуи в саду, малахитовый подсвечник Урала. Метро-мурло. Литовская-Достоевская.

– Эй, сурло! Стой! – Шляпка набекрень. – Псы поганые! Роются, как в скифском кургане...

Смотрю: размалёванная шалава. Падаёт в сугроб. Караул! Грабят! Режут! Шума на миллион, а барыша на вошь.

Бегу. Сердце гремит в горле. Давай, давай, поднажми! Дома, пустырь. Ремонт, резкие лампочки, подвалы, бочки, доски, "козлы", залитый цементом пол. Ни двора, ни дома 18. С воем гонится чудище, держа в круге прицельных фар. На Мясную. Бьют в спину. Канал, плывут шляпки грибов. То место, где настигнут и пришьют. Капитан Петродуйло – усы целят в стороны дула двух пистолетов.

Взлетел по лестнице. Дверь зевает. Кавардак, щётки. Кто-то тихонько поёт в ванной. Сидит на табурете, отмачивая ноги в синем эмалированном тазу с солью. Устала, топотунья, по тротуарам, по туннелям. Ступни распаренные, красные. Ногти вырезаны с мясом.

Голова сержанта Цепнова спит на столе. Живот Данаи, золотой дождь, кислота, нож.

Руки по швам, рот-медаль, нос-орден. Не шелохнется. Убитые горем родичи и сослуживцы, обутые поверх сапог в войлочные, музейные, бесшумные тапки на резинках. Лежит, бедный, седьмой день, терпит муку, неслыханную на земле. Должен встать и сказать. Должен и – не может!

Стоят в сторонке. Шу-шу, шу-шу. О нём? Суровая и нежная нити свились. Замолкают, их встревожил шум на улице, идут к окну.

– Что там?..

Сдует стёкла с домов и забросит в залив. Пожар! Ай-я-яй! Гостиница "Европейская" вычёсывает огненным гребешком из рыжих косм обгорелых мошек и стряхивает на тротуар.

Жаворонки ржаные. Прибыл высокий гость. Очистят Невский железам. Промчится под бронированным колпаком. Меха, музыка. Умерла? Выбегают из Филармонии, срывая за волосы черепа.

"Мир", книжно, людно. Резко – руки. Оставили по приказу. Возможно, их увлѣк вожделенный предмет. Двери, двери, к ним нельзя прикасаться. "Нева" в журнальных берегах. Бронза огрызается. Матрос, троллейбус, целлулоидные ноги футболят витрину. Огни не греют. Яркий, мертвый мир.

Изюм, инжир. От них веет ужасом, гарью вокзалов. Не зажигаю, боюсь затылком, лопатками. Жду шляпку. Избавит от страхов. Она гранит. О неё опереться.

Автомобильная пробка – от Сенной до Большой Морской. Заткну уши и лягу. Голоса сирен. Сиренят по всему району.

Лиц у них нет, потому что нельзя в вечернее время выходить с лицом на улицу безнаказанно. Строго запрещено. Кто осмелится нарушить указ, не спрячет своё лицо или не оставит его дома, того в лучшем случае... В худшем – куда-то увозят... Поэтому на улицах стертые лица. Иногда фигуры смотрят на окно. Одна такая стоит и смотрит. Взгляд-пуля.

Старуха жадно заглядывает в спальню. Охрана спит. Голова на столе, руки простёрты. Страдивари, сердцу осталось полчаса. Бедное, загнанное на десятый этаж животное. Я не в состоянии ответить ни на один из простых и прямо поставленных вопросов. Рембрандт роет яму, лопата, фонарь. Мы близнецы-сиамцы. Номерок у крыс. Я вспомнил. Не то, опять не то, что требуется. Требуха, топор...

Сняла сапоги, бросила крест-накрест. Идѣт в чулках. Змеи сада. Зоркие здания. Геракл и безногая матросня. Луна-сфинкс. Стереть пулей с лица земли неуловимую гадину. Достану со дна колодца. Полу-четверг, полу-творог. Однорукое дерево. Курит, санитарные скулы в румянцах йода. Он тут. Телефон на клочке. Шанс – расквитаться, сейчас же. Не упусти!

Хорошо, хорошо. Город-пистолет у меня в кобуре. Я – неразговорчивый язычок спускового крючка. Тугой спуск. Трудно выдавить коротенькое, как вскрик – о жизни и смерти. Он у меня на мушке. Шорох, как песок морской, толп. Щучьи лампы. Пороша шипит. Мойка. Пельменная. Два чугунных уродца в тарелках-шляпах. Старики в метро. Заспанный утиный нос, неотмытые бумажки,

президент, очки-черви, губы-плевки, нефтяной жираф, испанцы с синевой.

– Невский проспект? Си?

Кроме монет. Сумки, локти. Посидеть бы спокойно, как зверь в клетке, чтоб не толкали.

Пушкин, печально. Неукрепленная иммунитетная система. Капелла, разговоры, упавшие с жующих столиков. Пистолет тёплый. Железный пот. Жизнерадостно встать во весь непредвиденный рост и прекратить концерт. Вокруг много разного сброда, готового лизать пятки. А человека нет. Многострадального Иова. Может быть, она и не белая, а только кажется такой в жуликоватый час сумерек. Вижу, кожей: Он тут. Одному из нас – лежать. Это говорю я! Говорю, взвесив свое слово.

Передаю по буквам: Харитон, Рая, Илья, Семен, Тимофей, Ольга, Святослав. Задержать и распать!

Проведу пальцем по небу и на пальце останется кровь. Краскаловушка, в которую попадают руки воров и убийц.

Капитан Петродуйло. Резиновый меч покачивается-покручивается. Тамбов, Воронеж.

С адресом. Четверка, девятка. Сумерки, брызги. Толпа валит к трамваю. Под колёса. Режет, орут. Сидит, тихая, там, ступни в тазу. Слова-искорки – кто-то их подносит к моим губам, дразня, и опять уносит.

Торопись. Ты потерял много часов. Много. Путаница теней. Двор, фургон. Та-та-та. Вверх-вниз. Ковыляет по вагону костыль. Ладонь, протянутая ко мне, просит подаянья. Кладу гильзу. Взглянул пронизательно. Зажал в кулаке.

Чернеют. Мне нужно совсем другое, совсем другое, то, чего у вас нет и не может этого у вас, у двуногих, быть.

Пустой пьедестал. Оплеванные уставы.

– Ежов!

– Здесь!

– Прочитай, что у тебя в руке и иди!

Разжал кулак: выстрел!

Иду, озаренный торговым светом. Гороховая 9. Ждать. Он придет. Ему некуда. Шинель. Мрак на полгода – козырек, надвинутый на глаза, рыла сапог, шевроны на рукавах, выжженный клеймом уголовного закона мозг, грубая работка.

По стеклу ходят тени. Кто-то пытается рассмотреть. Губы шевелятся, выпячиваются – дуть на горячее блюдо. Трубы-шеи поросли ржавой шерстью, рискованная лестница – в небо.

Там, за окном, наконец, остофельдфебело пучить бельма, они ушли. Несытые, гнусные.

Темная фигура. Это он! Тяжести не существует. Он – точно вырезанный из бумаги. Его сдувает в пропасть. Нет, он стоит твердо.

Он стоит, такой же серый, как я, также одет, такого же роста, смотрит в правую сторону. Я стреляю – он падает.

Звездочка? Это еще та звездочка! Видел я ее уже! Что она на этот раз скажет?..

Окно отделилось от стены и подошло ко мне на шерстяных собачьих ногах. Собачьих? Туманный месяц стоит в небе, наивный такой, нежно опушенный, одухотворенный месяц, и мимо, перечеркивая его, пролетают стаи крикливых птиц, несутся и несутся, и кричат, испуганные чем-то, кучи размашистых черных птиц. Когда же рассвет? – спрашиваю я месяц и этих птиц. Когда же придет спасительный рассвет и вызволит меня из этой ямы? Знаете ли вы, мои милые, что сил уж моих нет лежать здесь пластом и слушать, как храпят другие, моченьки уж моей нет быть прикованным неразрывными цепями к больничной койке!

Я лежу без движения. Если не четверг, то выкарабкаюсь – стучит в мозг. Стучит, стучит. Четверка и девятка переплелись крысиными хвостами. Их не разнять. Личный номер моего пистолета: 4998. Я вспомнил. Теперь я спокоен.

Я беру лопату и рою могилу, рою, рою глубокую могилу, самую глубокую в мире могилу. Я бросаю в нее мой пистолет и забрасываю комьями черной сырой земли, забрасываю, забрасываю... Вот и все.

ЗАГИНАЙЛО

Повесть

I

Морской офицер шел по городу. Вразвалочку, медведь в черной флотской шинели. Шапка-ушанка с кокардой-крабом, белое кашне, старший лейтенант. Адрес: Лиговский проспект, дом № 145. Траурная телеграмма с вестью о смерти брата. Эта телеграмма, полученная два месяца назад, и причина его целенаправленного движения. Офицер дошел до переулка Тюшина. То самое, желто-этажное, хрен-горчица. Обводный канал. Трамвай гремит через мост. Одна дверь – ВИНО, другая – ПОЛК ОХРАНЫ № 3. Тугая пружина – для руки геркулеса, слабосильный не войдет. Внутри стража: сержант с автоматом. В отдел кадров? Третий этаж. Офицер поморщил нос: в галюне чище, чем в этом учреждении. На лестничной площадке третьего этажа бутылка на виду поставлена, посередке, на проходе, длинное красивое горлышко. Пустая бутылочка, винцо выпито. Зачем тут стоит, черт знает. Окно на площадке разбито, зубцы торчат, острые, как ножи. Со двора несет ужасным смрадом. Черный дым и чад. Как будто там дохлых кошек жарят. Морской офицер посмотрел: что там? Дворники костер жгут. Эх, какой кострище запалили!..

За его спиной раздался яростный вопль и удар ногой в дверь. На площадку вышел, изрыгая ругательства, седоусый майор милиции в форменной голубой рубашке с закатанными рукавами; он нес в руках аквариум, в котором плавали кверху брюхом дохлые рыбки. Вода, бултыхаясь, переливалась через край и мочила майору его штаны-бриджи с красным шнуром, лилась за раструб голенища ему в сапог.

– Чего тебе? – спросил майор, узрев посетителя.

– Начальник отдела кадров нужен, – заявил морской офицер.

– Я начальник отдела кадров, – буркнул майор. – Подержи.

Моряк угрюмо взял аквариум. Майор, засучив еще выше рукав рубашки и обнажив до плеча сильную, поросшую седым волосом руку, стал вылавливать дохлых длиннохвостых рыбешек в чешуйках кольчуг, и одну за другой выбрасывал через разбитое стекло в колодец двора. Всех до последней. Как будто побоище.

– Отравы подсыпали! Сволочи! – майор злобно выругался. Забрал

обратно стеклянный ящик с осиротелой водой. Заметив у моряка татуировку на кисти правой руки, якорь, обвитый двуглавым змеем, воскликнул, заинтересованный:

– Дай-ка, дай-ка! – Держа аквариум под мышкой, взял руку моряка, разглядывал. – С двумя башками впервые вижу. Всегда с одной рисуют. У нас тоже мастера есть. Похлеще, чем у вас на флоте. По татуировкам я спец. У меня альбом. Коллекционирую. Ты кто? Загинайло? Роман? Данилыч? Знаю. Запрос о тебе. У нас был Загинайло. В первом батальоне. Петр. Брат твой?

Моряк кивнул.

– Идем! – Майор ринулся в проем двери со своим аквариумом, как тараном.

Коридор-кишка. Майор впереди, Загинайло – за ним. Двери кабинетов по обеим сторонам открывались, выглядывали любопытные, остриженные под ежик, лбы и тут же прятались.

– Мерзавец на мерзавце! – охарактеризовал их майор. – Подонки все до одного! Кляузы на меня каждый день строчат в Управление!

Майор остановился у двери отдела кадров, она была приоткрыта.

– Иван Кузмич идет! – раздался изнутри чей-то предостерегающий голос. – Помочь, Иван Кузмич?

– Помощнички! – рявкнул, входя, майор. Пригласил Загинайло следовать за ним.

Помещение, не сказать, обширное. Тесненько. Накурено – топор вешай. Всего тут четверо. Машинистка-сержант, могучего телосложения, громоздясь на высоком табурете, как орлица на скале, закрыв веки, автоматически, вслепую стучала по лязгающим клавишам. Дальше, три инспектора кадров, каждый за своим столом: капитан и два лейтенанта – просто лейтенант и младший. Капитан черняв, лейтенант – рус, младший лейтенант – рыж. Все трое пили чай в граненых стаканах с подстаканниками. Они вели веселый разговор, лица лоснились. Майор-начальник грозно зыркнул на них из-под косматых бровей:

– Так. Чаек попиваем да похабными анекдотами развлекаемся! Что-то у вас подозрительно рожи сияют. Глаза как у кроликов. На десять минут нельзя оставить без присмотра.

Майор, минуя машинистку, которая все также сомнамбулически шлепала по клавишам и передвигала каретку, направился к себе в кабинет. Загинайло следом. Майор поставил аквариум на свой широкий, как пристань, двухтумбовый стол.

– Садись, – сказал он Загинайло. Сам сел напротив. Окно с решеткой. Шум проспекта.

Все требуемые документы Загинайло принес. И рекомендацию с флота.

– Ну что, морской волк, – сказал майор. – У нас ведь тут нет ни северного сияния, ни полярных-заполярных, ни мармелада, никаких-таких прелестей. У нас, знаешь, другой профиль: воры, грабители, насильники, убийцы, проститутки, бандитизм. Выбирай, что твоей морской душе угодно. У нас мор на командиров взводов, везде дыры, как в космосе. Вот и залатывай. Вопиющий недокомплект на эту собачью должность. Такое уж у нас черное и неблагоприятное дело, белым оно только в бинтах, на больничных койках, да вот на бумаге. Я человек прямой и поэтому говорю тебе со всей откровенностью, чтобы ты потом не рвал себе волосы на голове, у тебя их и так не густо, плешь, как полярная льдина, больше моей, а тебе ведь еще и тридцати нет. Ну что?

– Решено. – Загинайло посмотрел в глаза майору твердым взглядом.

– Тогда пиши заявление! – майор протянул лист бумаги. – У нас контракт. Как душу черту. Кровью пишем. Для офицерского состава бессрочный. По гроб. Из Мурманска – и прямо к нам. Лихо, лихо у тебя получается. Да. Бумеранг.

– Что? – не понял Загинайло.

– Да, да, бумеранг, – вздохнул майор. – Возвращение с того света. Вот гляжу я на тебя, не нагляжусь, и у меня большое недоумение насчет того, чего ты сюда приперся, по какой-то охоте или велению сердца. К нам идут по-разному. А ты что? Твой брат капитан милиции Петр Загинайло погиб при загадочных обстоятельствах. Труп нашли в Малой Невке. С пробитым черепом. Темная история. А ты на смену, значит. Бороться с преступностью. Так, так. А ты, как вылитый, на него похож, на своего братишку, как две капли. Тот повыше был, потоньше, стройный, быстрый. А ты – увалень. А вот мордой очень похожи. Близнецы? А?

– Нет. Не близнецы. Он старший. Два года разницы. – Загинайло сидел тяжело. Левша. Пишущую ручку держал в левой, а каменный кулак правой с крепко сжатыми толстыми пальцами увесисто покоился на столе.

Он написал заявление и заполнил анкету. Оформление и

проверка займет месяц, может, и меньше, это как повернется. Во всяком случае, майор примет меры, чтобы не тормозить дело, а наоборот: ускорить процедуру приема столь ценного для них кадра. А пока, вот: направление в приемную медкомиссию. Сегодня, пожалуй, уже поздноватенько. А вот завтра, пораньше, к восьми утра, на улицу Гоголя дом десять и начать. Майор, закончив разговор, сидел в своем кресле какой-то обмякший, седые усы повибрили, как будто от последних сказанных им слов силы вдруг его покинули. Он с тоской смотрел на свой осиротелый аквариум, где не плавало ни одной рыбки.

Загинайло миновал комнату инспекторов. Они, кончив пить чай, зарылись в бумаги. У рыжего младшего лейтенанта два его уха над грудой папок пылали, как два алых мака. Машинистка-титанша хоть и продолжала без устали колотить по клавишам своего пишущего бронтозавра, открыла одно око и взглянула на Загинайло с хищным интересом, проследив его путь до двери.

Коридор пустовал. Лестничная площадка. А бутылочка-то – тютю. Испарилась. Костер на дворе догорел. Загинайло не спеша спустился на первый этаж. Вдруг дверь парадной рванули, так что пружина чуть не слетела. Грохот, борьба, грубый окрик:

– Стоять! К стене!

Два дюжих милицейских полушубка, овечьи шапки-мерлушки, и какой-то хлыщ, лысый, как булыжник, кожаное пальто до пят. Подозрительный тип, гулял по Лиговскому проспекту с голой головой – вот и попался патрулю. Поставили лицом к стене, под углом 45 градусов, приказав раздвинуть ноги циркулем, до упора, и полушубок-прапорщик, склоняясь, проворно обшмонал обеими руками покорную фигуру. Товарищ его, здоровяк-старшина, наблюдал, ковыряя в носу. Страж-автоматчик отвернулся со скучающим видом. Блюстители порядка пропустили Загинайло, не взглянув на него.

Загинайло пошел пешком по Обводному. К Балтийскому вокзалу. Еще один адрес. Куда якорь бросить. Глаза щипало. Дым, вонь, гарь, грохот. Густой автопоток. Грузовики проносились, ревя и крутясь громадными колесами; за ними тянулся черный выхлопной хвост. Дошел до Варшавского вокзала. Трамвайное кольцо. Церковь без креста, мрачная, закопченная. Чугунный колосс с вытянутой рукой. Мутно. И как бы вечер, толпа, сутолока. Тарелки на тротуаре, на тарелках черное мясо. Схватят кусок и бегут прочь. Одноногий старик

на костылях пытался дотянуться до тарелки, поскользнулся и грохнулся затылком об асфальт... Загинайло закрыл глаза, опять открыл. Площадь. Это уж он добрел до другого вокзала. Это Балтийский. Они как два брата, рядышком. Стеклопанные своды. Как бы рынок. Свиные рыла, зажмурив мертвые веки, выставили пятаки с ноздрями... Зал ожидания, гул пчел. Окошечко, часы чинят. Золотые, подарок, с гравировкой на крышке: «Помни брата». Не чирикают часики-то. Сутки напролет показывают одно и то же время: половина шестого... Услышал за спиной свое имя и почувствовал крепкий удар дружеской руки по плечу. Обернулся: перед ним Рашид Абдураимов, веселая душа, глаза-черносливы смеются.

– Гора к Магомету! – закричал, белозубо смеясь, Абдураимов.

– Нет! – возразил Загинайло. – Магомет к горе. Я к тебе шел, а ты сам тут!

Абдураимов – богатырь. Природа, любя, не скупясь, дала ему от щедрот своих всё: рост, силу, здоровье, грудь шире Кара-Кум. Бригадир водолазов в порту. Ему и скафандра не могли подобрать его размера, по спецзаказу на Канонерском заводе изготовляли.

– Славная, славная встреча! – радовался Абдураимов и опять хлопнул Загинайло по плечу. – Эх, мурманские ночи-денечки! Как врежу стакан, так и вспомню. – Абдураимов кричал громовым голосом во всю силу своих могучих водолазных легких, заглушая шум толпы в зале ожидания. Радость встречи его распирала, и сдержанность свои чувства он не находил нужным, да просто не умел. Люди в испуге глядели на него со скамей, как на хулиганское явление.

– Я сюда погреть прихожу, – объяснил он Загинайло. – Тут на вокзале ресторанишка, директор – земляк, узбек. Гребем! Угощаю! Закатим пир горой! У меня там личный столик, до гробовой крышки, никому там нельзя сидеть, все знают, официанты подносами посетителей отгоняют. Там и табличка стоит: "Занимать запрещено! Столик водолаза Абдураимова!" Но дураков у нас хоть режь, хоть под поезд бросай, сам знаешь. Все равно, олухи безграмотные, лезут. Я к столику ток высокого напряжения подключу, протащу подводный кабель сюда из порта по дну Обводного, чтоб как дотронется какой-нибудь баран, так и убивало бы этого гада на месте! Будут знать, кто такой водолаз Абдураимов, известный всему Мурманску и Заполярному краю! А? Как ты думаешь? – болтал без умолку Абдураимов, таща своего друга в вокзальный ресторан. Загинайло

слушал с усмешечкой. Сели за тот самый персональный столик у окна. В зале накурено страшно, фигуры как в тумане. Из этого тумана вынырнул официант, лоб пылает свежим багровым рубцом, наискось, от виска к брови. Почтительно склоняясь перед Абдураимовым, принял заказ. Умчался. Минуты не прошло. Молнией обратно, с полным подносом, всё, что грозный водолаз заказал: бутылка коньяка, закусочки, и в горшках горячий, дымящийся, настоящий узбекский плов.

Абдураимов восторженно потер руки:

– Такой пловчик ты не едал! Таким кушаньем гурии в раю героев потчуют! А больше ни одну тварь земную! Не положено. Божественный пловчик! Не обожгись! Вулкан! – Абдураимов, перестав есть, ткнул пальцем в погон Загинайло.

– А! Третья! Звезды на тебя так и сыпятся. Моргнуть не успею – адмиралом будешь! А моя жизнь – буль-буль. Барокамера. Ну ее к шакалу! У меня тут на Шкапина комната, жена живет, а я там не живу. – Абдураимов поморщился, словно жизнь с женой, это отвратительно, как тарангул.

Они пили, зал гудел, играла музыка. Загинайло за окно взгляд бросил. Тяжелый взгляд. Как камень в черную воду. А по воде круги. И как из-под воды выползал чудовищным морским змеем мутновозонный поезд.

– Мрачный ты тип, – сказал Абдураимов. – Ни на грамм не изменился. Все молчишь и о чем-то думаешь. И о чем ты думаешь, Омар Хаям? Мудрость на Востоке, заруби себе на носу! Всё на Востоке – и душа, и женщины, и верблюды! А здесь что? Холод, скука, гранит! – Абдураимов наполнил бокалы, поднял свой, прищурился, посмотрел с сомнением на не вызывающую доверия мутно-желтую жидкость и, покачав головой, опрокинул в широко раскрытый рот, как в воронку.

– Я думаю: где мне причалить сегодня на ночь, – ответил Загинайло. – Твой адрес у меня, я и шел, а теперь выходит, к тебе на Шкапина нельзя. Так я понимаю.

– Есть место! Не беспокойся! – заверил Абдураимов. – Ночлег я тебе обещаю сногсшибательный, в гостинице такого комфорта не бывает. У меня в порту хибара на водолазном плотике, там у нас наше водолазное имущество хранится. Там я и обитаю.

Абдураимов смеялся звонким богатырским смехом во всё своё

круглое узбекское лицо, зубы блестели, крепкие, как у верблюда, царя пустыни. Абдураимов был чрезвычайно жизнерадостный человек, веселая, широкая, щедрая душа. Он излучал свет такой могучей силы, что при его погружении даже в самый крошечный мрак самой черной бухты к его лицу, сияющему улыбкой сквозь толстое стекло водолазного шлема, как на яркий подводный фонарь, устремлялись стаи рыб со всего залива и мешали ему работать, обступив густой тучей, толкаясь, все лезли целоваться, бурно выражая свою любовь, обезумев от восторга и страстного обожания. Загинайло позабывал такой жизнерадостности. Сам он, надо признаться, действительно был мрачноватый тип, душа его большую часть времени была погружена во мрак.

Они уж доканчивали вторую бутылку коньяка, когда к их столику подошел в сопровождении официанта (другого, не обладателя рубца на лбу) какой-то человек, одетый в железнодорожную форму: черный мундир с золотыми пуговицами, фуражка с красным верхом, козырек украшен серебряными вензелями. То ли начальник вокзала, то ли швейцар. Официант тоже, как бы железнодорожник, в форме контролера. Галстук, как черный рак, вцепился клешней ему в шею, словно утопленнику, и настолько сильно стиснул горло, что бедняга не мог выговорить ни единого слова. Он, вытаращив налитые кровью глаза, попытался изъясняться задушенным мычаньем, выразительной мимикой и театральными жестами, тыча перстом в золотую пуговицу на пузе подозрительного гуся-начальника.

– Чего он хочет? – попросил разъяснений у Загинайло обескураженный Абдураимов.

– Дай ему в морду разок! – посоветовал Загинайло таким безжалостным голосом, как будто он произнес смертный приговор.

– Нет, так нельзя. Может, человек на чай просит, – возразил добродушно Абдураимов. – Он неожиданно для всех рванул своей страшной рукой золотую пуговицу с пуза начальника вокзала, выдрал с мясом и, протянув ошеломленному официанту, сказал: – На, сынок! Бери, не стесняйся. Честно заслужил.

Начальник вокзала, обретший дар речи, отступив на шаг, обиженно произнес:

– Рашид Мамедович, позвонили из порта, просят срочно прибыть на пятый пирс.

– Чего ж ты сразу не сказал, баранья башка! Теперь пуговицу

пришивать обратно! – Абдураимов тяжело поднялся из-за столика. – Опять под лед лезть, – проворчал он. – Сами бы по дну потаскались. Ну их в клапан! Уволюсь. Пойду в детский сад инструктором по водолазному делу.

Абдураимов расплатился, не позволив Загинайло совать свои паршивые гроши, как он выразился. Они вышли наружу. Была уже ночь.

– Я в тебя верю! – громогласно провозгласил Абдураимов таким ничем не стесненным голосом, как будто труба взревела на всю площадь, во всеуслышанье. – Верю, верю! – повторял Абдураимов с грозной настойчивостью. – Верю в твою звезду! Ты упорный. Жмешь и жмешь. Крутишь, как кабестан. Цель у тебя. Серьезный ты. А я – что? Пузырь, кровавый шарик. Ни узбек, ни русский, от одного берега оторвался, к другому не пристал. На родине я никому не нужен. У них гашиш, глина, ножи, нищета. Скучно, скучно жить! Айда на Шкапина, я от скуки жену в шкафу повешу. Большую и лучшую часть своей единственной и неповторимой жизни я провожу под водой, во мраке и дерьме, плавающем кругом, как проклятый аллахом краб, вожусь с поврежденными кабелюками или затонувшие кастрюли на металлолом режу, утопленников за шиворот таскаю наверх. Неблагодарная работенка у нас, знаешь, лучше уж на твоих торпедах и минах дрыхнуть. Что с утопленника возьмешь? Серьгу из уха? Кольцо с пальца? Вчера тащил одного такого: то ли баба, то ли цыган, рыло разбухло, ни хрена не разберешь, такая харя, что у осьминога краше! Каждый день новенького вылавливаем. У нас там на плотике целая гора черепов. Вот сам увидишь! Сиди всю ночь и любуйся при луне! А другая, малая часть моей милой жизни, та, что на суше – то в барокамере, то накачаешься в порту и лежишь в глубоком мертвецком обмороке, бессознательный и бессмысленный, как свинцовая стелька. Вопиющее безобразие и аморализм. Так зачем же мне такая бесчувственная жизнь, скажи ты мне! Десять лет крабом по дну ползать!

– Да брось все и возвращайся к себе в Бухару-Самарканд, или что там у тебя! – сказал ударившемуся в отчаянье водолазу Загинайло.

– Не могу, не могу! – качал черно-курчавой, непокрытой головой водолаз. – Не могу вернуться. У нас не так, как у вас. Ты не понимаешь. У нас кланы. Я отрезан от своего клана. Отрезан, отринут. Отщепенец. Не примут меня. Обратной дороги нет. У нас закон! – Абдураимов помолчал минуту, гордо поднял голову:

– Да я и не узбек, я – уйгур! Когда-нибудь, в другой раз, я тебе расскажу историю моего народа. Такое ты нигде не услышишь и не прочитаешь ни в одной книге. О Тимуре и великой пустыне Гоби, в которой по ночам поют духи песков. Это прекрасная и страшная история. Эх, ты! Ничего ты еще не слышал настоящего. Все, что ты слышал – шелуха, семечки! Говорю: вся мудрость на Востоке! Стой! А Коран ты читал? Ты и Корана не читал! Великую книгу! Так о чем с тобой растабаривать, с бестолочью! – Абдураимов умолк, как будто разочарованный во всех людях и утративший всякую на них надежду.

Они шли темным переулком. Мрачное здание в четыре этажа, окна горят. Баня. Старухи у входа продают венки.

– Может, ты помыться хочешь с дороги? – предложил Абдураимов. – Эта баня работает круглосуточно, без выходных. Бандитская баня. Дай на лапу, и мойся хоть до смерти, плещись в бассейне с голыми девками. Так что могу устроить, у меня тут блат. Тут и массажист есть, турецкий массаж делает. Турок, парень свой в доску, все кости переломает. Там ты как в раю помоешься! – уговаривал Абдураимов. – Упрямый ты осел! Чего упираешься! Там река райская течет, по-арабски Каусар. Вода ее белее снега и вкуснее меда. Течет в золотом желобе посреди бани, в мыльной, на четвертом этаже, а дно усыпано рубинами и жемчугами. Врать не буду. Сам видел, своими глазами!

Но Загинайло не поддался на эти головокружительные соблазны. От мытья он отказался наотрез.

На Обводном Абдураимов остановил машину. В порт. В машине он задремал, свесив голову на грудь. Скоро приехали. Шофер разбудил доблестного водолаза вопросом: где остановить.

– У главных ворот, где ж еще? Безмозглый ты какой-то! – возмутился, мгновенно придя в себя, Абдураимов. – На! На орехи! – протянул он плату щедрой рукой, на эти деньги город кругом можно было б объехать.

Водолаз повел Загинайло к воротам порта. Заперты. На звонок высунулся в окошко черный берет блином на ухе. Военизированная охрана.

– А! Водолазная команда! – обрадовался сторож. – Отбой тревоги. Всё уж уладили. Любимая кошка начальника порта пропала, думали – утонула, приказ водолазам – на дне искать. А кошечка нашлась, это она так, погулять по пристани вышла. Так что теперь – тишина. Иди, бригадир, спать. А этот у тебя что? Новенький?

– Какой тебе новенький! – возмущенно вскричал Абдураимов. – Он водолазное дело не хуже меня знает. Ему положено по службе. Лодка затонет, так через торпедный аппарат в водолажном снаряжении выкарабкиваться. Он уж не раз спасал свою шкуру, всё назубок знает, мне его, ученого-печеного, учить нечему. Он у меня на плотике спать будет.

– Желаю хорошо выспаться на мягкой постельке, – не без язвительности напутствовал сторож, пропуская их на территорию порта.

Абдураимов повел друга к месту обещанного ночлега. Шли плечо к плечу. Пирс протянулся на милю, на две, конца ему нет. Портовые фонари, безлюдье. Вода со льдом тяжело бултыхается, ударяясь о бетонную стенку, лягз льдин, шорох. Взломанный штормом залив опять замерзает, издавая глубокий вздох или стон. Ночь мрачновата. Промозглая ночка. Ни души. Порт, как мертвый город. По краю пирса, тускло блестя, убегали вдаль два рельса, по которым ходит грузовой кран. Теперь этот гигант стоял на своих железных ногах неподвижно, скучая по ночной работе, но судно не пришло, застряв где-то, гребет по Балтике. Разгружать пока нечего. Кран-скелет, ветер свищет в железных ребрах.

– Гляди в оба! – предупредил водолаз. – Тут крыс несметно. Какая-то особая порода вывелась, мутанты, помесь с бульдогом. Громаднейшие! С бочку! Злые, как дьяволы! Шайтаны! Набросятся всей бандой – спасенья нет. Тут недавно эти зверюги сожрали грузчика вчистую, с кишками, только и осталось от несчастного человека, что – докерская каска, да и ту внутри обгрызли, подкладку то есть, сальная потому что от головы. И что характерно: грузчик этот – единственный трезвенник в бригаде. У крыс, знаешь, свой вкус.

– Значит, нас эти твари не тронут, – высказал утешительное умозаключение Загинайло, зорко вглядываясь в тенистые места у стен пакгаузов, где, казалось, шевелились толстые, как тавровые балки, хвосты.

Наконец они достигли края пирса, тут он обрывался. Последний в шеренге фонарь светил тускло. Сирота-фонарь. Дальше – мрак, залив.

– Тут спуск, – указал водолаз. – Скользко, как по ледяной горке скатимся. Иди за мной след в след. Ни шагу в сторону, а то искупаешься, и выпрезвителя не надо, – предупредил он Загинайло. – Пойдем, как Иисус Христос по морю ходил.

Абдураимов спустился по обледенелым ступеням к воде и смело ступил на понтонную дорожку, которая представляла из себя довольно-таки простую конструкцию, а именно: соединенные доски, положенные поверху на плавучие барабаны. Этот непритязательный понтонный мостик был наведен через залив, простирался чуть не на милю, по нему водолазы и переправлялись на свой рабочий плотик, где в хибарке, построенной из так называемого плавуна, хранилось их водолазное имущество. Загинайло не без опаски ступил на эту в буквальном смысле слова скользкую дорожку: настил из одной обледенелой доски, которая шаталась туда-сюда, и брыкалась при каждом его шаге, а то и погружалась под воду; он уж промочил ноги в коротких флотских ботинках. Все равно что по качелям гулять над бездной. Абдураимов уверенно шагал впереди, возглавляя это шествие по водам, казалось, он даже не смотрел себе под ноги, он и с завязанными глазами, при полном отсутствии сознания, не дрогнув, ни разу не оступясь, благополучно добрался бы до своего, затерянного во мраке залива, плотика.

– Вот и дошлепали! – объявил водолаз, взбираясь на плот. – Лезь, не дрейфь, крепок, как скала! На четырех китах стоит. Берлога на месте, печь затопим, дров тут на три полярных зимовки!

Загинайло попал на плот легко и удивился его прочности. Плот был завален припасенным на зиму топливом, на нем и вокруг него громоздились торосы из досок и бревен, выловленных в заливе. Из этой дровяной горы торчала крыша хибары, похожая на железную кепку с плоским козырьком, как будто сейчас скажет, как хулиган: «Эй, ты! Закурить есть?» Пролезть к этому убежищу, не сломав себе шею, могли только опытные скалолазы. Но Загинайло вслед за Абдураимовым, цепляясь за доски, быстро достиг хибары. Дверь открывалась немудреным образом: ударом ноги. Замок отщелкивался и впускал хозяина. В хибаре пахло резиной. У стен навалено водолазное снаряжение – скафандры, шлемы, шланги, баллоны, компрессоры, насосы и прочее. Два топчана, печь-буржуйка. Позеленелый самовар громадного размера, который вмещал в своем медном чреве, должно быть, ведер десять. Вещь необычайная, фантастическая!

– А! Что я тебе говорил! У нас, брат, есть на что посмотреть. Видишь, какая диковина! – закричал радостно Абдураимов,

довольный, что ему есть, чем похвастаться. – Мы это чудище на дне нашли. Ему лет сто, я думаю. Купеческий. Отчистили, отдраили, пустили в ход. На всю нашу водолазную бригаду хватает. Э, чего только на дне тут не валяется! – продолжал на повышенновосторженных тонах Абдураимов. – Ты не поверишь, фургонами в антиквариат сдаем. Вот где – золотое дно! В прямом смысле. Миллионером можно стать. Запросто. И стали б. Если б мои гаврики не пропивали все до копейки. Алкоголизм – наша беда. Горе да и только! Профессиональная болезнь водолазов, какая, как ты думаешь? – спросил у Загинайло, хмуро прищурясь, Абдураимов. – Кессонная болезнь? Э, нет! Это, это! – Абдураимов щелкнул себя пальцем по шее под подбородком. – Что, зябко? – заметил он, увидев, как Загинайло передернул своими широкими плечами. – Погоди, сейчас тут будет Ташкент. – Абдураимов, взяв топор, вышел наружу.

Вскоре он принес громадную охапку нарубленных досок. В буржуйке заревел огонь, жадно пожирая обрубки, которые совал ему в красный, ненасытный рот, сидя на корточках, Абдураимов.

– То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, – запел он устрашающим, слышным на всё Балтийское море, громовым голосом. – Ты храпи, а я у огня подежурю, – сказал он Загинайло. – Потом тебя разбуду. Полночи я, полночи – ты. Так и спи в шинели, ватник еще бери, а хочешь – два рваных одеяла из чьей-то шерсти, может, вымершего мамонта, не знаю. Подушки тебе не надо, череп – это ведь кость, зачем ему подушка? Баллон под башку положи, он хоть и железный, а мягкий, с ржавчиной, ничего, не жестко, я сплю, не жалуясь. Там и вмятина от моей головы есть. Голову баловать нельзя, а то как вата будет, изнежится на пух-перьях, мозг испортится, скиснет, не будет в нем мужской доблести. И так-то ума – икринка, а на пуху будешь спать – совсем круглым идиотом станешь. Как персы. Почитай Геродота.

Загинайло, не слушая болтовню водолаза, лег на топчане, ближнем к печке, и сразу уснул. Ему снилось, или он сквозь сон чувствовал, как плотик кряхтит, покачивается, а под ним булькает и хлопает что-то, ворочается какое-то гигантское морское чудовище, кит, не кит, левиофан, пасть разинул, из пасти потоком хлещет бурная, вихрастая вода, как в пробойну, с жутким грохотом, он один в отсеке. «Срочное погружение!» – слышит он команду. Лодка проваливается на глубину, сосущая пустота в сердце... Скорей – водолазный костюм!

Шлем завинчен неплотно, и вода хлещет под шлем в щель, дышать нечем, задыхается, всё... И лодка начинает валиться набок, опрокидывается, резкий толчок, удар о грунт...

Загинайло очнулся. Абдураимов, бригадир водолазов, мурманский орел, тряс его за плечо.

– На вахту, кочегар! – кричал он. – Держи огонь в топке. Я готов, сдох, глаза, как гири. Только вот головой на баллоне спать надоело. Это тебе в новинку, а мне скучно. Булыган бы какой найти. Святослав камень себе под голову подкладывал. Суворов с него пример брал. Великий полководец, да. Но с Тимуром ему не сравниться. Это, знаешь, смешно. Рядом с Тимуром он просто букашка... – Так, бредя на эту тему мужского изголовья, которая к нему привязалась, будто какая-то особая водолазная мания, Абдураимов повалился на другой топчан и захрапел богатырским храпом.

Загинайло и не жалел, что вынужден бодрствовать. По крайней мере, кошмары не мучают. А кошмары мучили не только его, весь Северный флот страдал страхом и ужасом во время сна, в бессознательный период своей жизни, когда душа человека беззащитна перед демонами, которых насылают Арктика. Коллективная душа флота, от адмирала-командующего до матроса, погружаясь в сон, ревела от ужаса, как сирена. Как будто сторожевой корабль, схваченный неведомым течением, с неодолимой силой уносило в черные воды Ледовитого Океана на верную гибель, и он кричал, кричал страшным криком... Загинайло, и покинув флот, остался частицей этой души, и власть общего кошмара угнетала его и тут, вдали от Севера. Он присел у раскрытой дверцы, закурил и смотрел на огонь. Он любил смотреть на огонь. «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем» – вспомнилось ему заученное в школе. Заготовленное водолазом топливо кончилось, Загинайло сжег последнюю щепку. Он взял топор и вышел. Ветер зверел, штормовой ветер, залив шевелился в темноте, на плот со всех сторон с лязгом наползали громадные льдины, зеленоватые чудовища, но им было не преодолеть защитные сооружения из досок и бревен, эти неприступные бастионы, льдины-чудища ломались, треща, отступали, а вода толкала их сзади, гнал на приступ ветер, и некуда им было деться. Взломанный штормом лед шел сюда, на штурм плотика, со всего залива.

2

Едва рассвело, Загинайло покинул гостеприимный плотик. Небритый, в мятой шинели, голодный, и чаю не попил. Абдураимов раскопегарил свой самовар-десятиведерник и предлагал не пороть горячку, а погреть кишочки чайком, как человек, но пока этот меднопузый гигант, утешитель купцов и водолазов вскипел бы, это уж был бы не утренний чай, а вечерний. Бригада водолазов уже собралась в хибарке, когда он уходил. Шесть, не считая Абдураимова, тяжелоступы и горлопаны, краснорожие, грудь нараспашку, бочки в тельняшках, у них горело внутри, каждый излучал жар, как ходячая печь, поэтому буржуйка зря трудилась, она могла бы и отдохнуть от службы, теперь хибара обогревалась бы от тел самих водолазов. Вместе со своим бригадиром, который наилучшим образом выпался на топчане и выглядел бодрым и свежим, как вынырнувшая на поверхность глубоководная мина, они в семь луженых глоток подняли такой хай, что Загинайло, если б и имел время, не мог бы задержаться тут больше ни минуты.

– Надо поторапливаться, – изрек он с суровым видом. – У меня медкомиссия.

– Ну и дуй к чертовой матери! Туда тебе и дорога! – от чистого сердца напутствовал его Абдураимов. – А на ночь не забудь вернуться. У тебя тут дом родной. В порт тебя пропустят, не пикнув. Только свою рожу покажи на паспорте. Мое слово железное. Закон.

Загинайло опять прогулялся по скользкой понтонной дорожке, от плотика – в порт, к пирсу. Конечно, днем этот путь пройти не то, что ночью. Раз плюнуть. Как акробат по жердочке. До ворот порта подкинул попутный грузовичок. Там автобус в город. Через полчаса он уже стоял около дома № 10 на улице Гоголя, или Малой Морской. А чего-то медлил. Черт бы побрал их, эти медицинские учреждения. Он решительно рванул дверь. Вестибюль. Ярко.

– Это я куда попал? – остановил он бегущую мимо него медсестру, тощую, как палка в очках. В руках у медсестры рискованно накренился поднос с пробирками.

– А куда надо? – в свою очередь спросила, прервав свой бег, худощавая медсестра, еще опаснее наклонив поднос с легко бьющимся грузом.

– Мне на медкомиссию надо, для устройства на работу в МВД. У меня направление, – подробно объяснил Загинайло.

– Безграмотный? Читать умеешь? – медсестра грубо и мрачно сверкнула на Загинайло сквозь очки, как будто перед ней стоял ее заклятый враг, и показала подносом: – Написано же по-русски! Читай, лопарь!

Загинайло прочитал на стене вестибюля, куда указывали, крововокрасными буквами, то, что он сначала не заметил: Военно-окружная медицинская комиссия. Во дворе.

– Полюбовался бы на себя в зеркало, а потом бы к врачам шел, – проворчала, уходя, медсестра с подносом.

Дверь из вестибюля во двор нашлась легко, она не закрывалась, подпертая кирпичом. Перед этой дверью, сбоку, у стены, имелось большое, прямоугольное зеркало. Загинайло взглянул на себя: да уж! Хорош! Медведь небритый. Лицо массивное, тяжелое, глаза сверлящие, как это говорят, глубоко посаженные, ненормально близко у переносицы, и еще эта его косая ухмылочка. Вид зверский. Все врачи разбегутся. Подмигнув своему зеркальному двойнику, Загинайло вышел на двор.

На дворе он увидел громадную толпу. Курили, горланили, шум, гам. Парни, безработная братия, демобилизованные солдаты и матросы. Среди моря мужских скул мелькали то там, то сям и женские щечки, приятно разнообразя эту грубую, орущую орду. К реву голосов примешивался шум падающей воды. Где-то рядом слышался бурный, kloкочущий поток, он лопотал своё, словно участвуя в общем собрании толпящихся тут людей. Толпа стояла тесным кругом, в центре которого, посередине двора, зиял провал, асфальт в этом месте обрушился, из провала поднимался зловонный пар и смрад канализации, и внизу ревела, низвергаясь в бездну, подземная река, поток сточных вод, день и ночь текущий под городом. Вся эта орда ожидала очереди к врачам. Военно-окружная медкомиссия еще не начала свою работу. Загинайло с трудом попытался: где тут вход. Только десятый опрошенный услышал, что от него хотят узнать, ткнул указательным пальцем, едва не выбив глаз у своего товарища:

– Для офицеров отдельно. С тыла, старлей, зайди. Там у них приемный покой. Морг, то есть. Жмуриков приносят-уносят. Ты не пугайся, рядом дверца. Там полковников принимают, майоров. Попробуй, может, и тебя пропустят.

Обогнув здание, Загинайло нашел нужную дверь. Поднялся по черной лестнице на второй этаж. Туда указывала стрелка. Попал в

коридор. Облезлые голубые стены. В отличие от столпотворения во дворе тут, можно сказать, приятное безлюдие, как в пустыне. Дойдя до половины коридора, Загинайло уже не надеялся увидеть тут человека. Но слева обнаружилась площадка и там регистратура. В регистратуру – три офицера, разнозвездные и разных родов войск: полковник, майор, лейтенант. Загинайло спросил у лейтенанта с зелеными погонами пограничника, который стоял последним в очереди:

– Что там дают, в этой амбразуре?

– Медкарту дадут, заполнишь сам. И номерки к врачам, – охотно ответил пограничник.

– За день успеем пройти медкомиссию? – задал еще один вопрос Загинайло.

– Можешь не сомневаться! – веселым голосом ответил лейтенант, доблестно охранявший государственную границу на суше. – Пулей полетишь из кабинета в кабинет. Посмотрят: руки-ноги есть, голова на месте, не немой, не глухой, не хромой. Остальное им до лампочки. Легчика и смотреть не будут, – лейтенант показал на подполковника с голубыми петлицами, в шапке с крылышками, которую он не снимал в помещении, должно быть, из уважения к воинской дисциплине. – Что на него смотреть, – добавил словоохотливый лейтенант. – Здоров, как боинг. В Управление пойдет, к небу поближе. Нам сверху видно всё, ты так и знай. – Лейтенант засмеялся, показывая полный рот железных зубов.

– Где зубы потерял? – спросил Загинайло.

– Ты не поверишь. В Будапеште! – ответил лейтенант. – Так булыганом саданули, что за один раз все и вышибли. К дантисту не надо лишний раз ходить. Да я и не жалею, эти и лучше, чем костяные, их и чистить не надо, я их уже пять лет не чищу, они же нержавеющие, только почернели чуть-чуть, – лейтенант разинул пошире рот и показал пальцем, где у него почернели зубы. Загинайло не успел убедиться в правдивости его слов, потому что у пограничника подошла очередь, и свирепоглазая медсестра, гибкая, как кобра, высунувшись из окошка почти что по пояс, желала, наконец, добиться от него кое-каких биографических сведений, а именно: кто он такой, русский или, может быть, какой-нибудь нанаец, какая нелегкая его сюда принесла и чего он, собственно, хочет. Если место участкового – то так бы сразу и мычал, добро пожаловать, зеленая дорога, только погоны сменить.

Когда дошла очередь до Загинайло, он постарался не злить медсестру, которая призналась со всей откровенностью, что не любит, чтобы ей мозолили глаза и задавали бестолковые вопросы. Мрачно сунув ему из окошка медкарту и семь номерков, она предупредила:

– Порядок прохождения врачей нарушать нельзя, строго следуйте той последовательности, как указано в медкарте. Перепутаете что-нибудь, пеняйте на свою безмозглость. Будете всё сначала проходить. Устала каждому вдалбливать! – добавила она злобно, не Загинайло, а другой медсестре, подошедшей к столу за окошком. – Умные люди сюда устраиваться на такую работу не пойдут. Одни бараны идут весь день.

Загинайло, молча проглотив эту оскорбительную пилюлю, отошел от окошка, к которому тут же ринулся следующий безработный офицер, жаждущий узнать о себе мнение грозной медсестры и заодно проверить свое здоровье и выдержку.

Загинайло стал изучать медкарту. Первым в списке значилось: сдача анализов. Анализы сдавались в лаборатории. Лаборатория находилась никаким образом не здесь, как объяснили ему те, кто уже всё знал, не в этом здании, это было б слишком хорошо жить и легко отбрыкаться, а во флигеле. Чтобы туда попасть, почему бы опять не прогуляться через двор, теперь в обратном направлении. Ноги-то есть, не протезы, свои, времени тоже – хоть зарежься.

Толпа на дворе рассосалась. То ли врачи приемной комиссии, засучив рукава халатов, ускорили темп осмотра поступающих на службу молодцов (а служба опасная, что ж их зря мурыжить, скорей в бой), то ли большая часть их все-таки была поглощена этим зияющим провалом в бездну посреди двора, ограждать который забором-зеброй и красными тряпками не сочли нужным, очевидно, из особых дальновидных соображений. Но, как бы то ни было, от громадной буйной орды остался клочок. Человек десять. Они, обступив провал, тихо смотрели в эту мрачную яму, как замороженные, а там всё так же ревел, низвергаясь в тартарары, грязный поток сточного водопада, и зловонное испарение от него поднималось на поверхность, одурманивая привлеченных зрелищем, скучающих созерцателей. Загинайло не пожелал присоединиться к этому кружку избранных. Он не был любитель ни смотреть в ямы, ни заглядывать в будущее, чтобы узнать свою судьбу. Чему быть, того не миновать. Смерть дурака найдет.

Лаборатория помещалась в подвале флигеля. Загинайло нашел там своих новых знакомых: и лейтенант-пограничник, и подполковник-летчик, и майор-танкист. Пограничник, обладатель нержавеющей железных зубов, увидев Загинайло, искренне обрадовался:

– Бери банку! – возопил он, как будто сейчас должно было произойти что-то страшное, по меньшей мере, землетрясение. – Вон там по одной банке на рыло дают! – продолжал пограничник. – Давай бегом! Не достанется, куда будешь свою героическую военно-морскую мочу прудить? Там разные банки есть, большие и маленькие. Бери литровую, – посоветовал он Загинайло. – Не промахнешься. Анализы лучше получатся.

– А ведра у них нет? – спросил Загинайло.

– Опоздал, миноносец, – засмеялся веселый пограничник. – Ведро подполковник уже хапнул, хлещет, как из брандсбойда, в подсобном помещении, сейчас принесет сдавать на радость врачам.

Загинайло с полученной банкой отправился в то место, которое по-русски называется нужник, а по-морскому гальюн. На двери действительно была прикреплена кнопкой бумажка и на ней начертано синими чернилами: подсобное помещение. В этом помещении страшно ударяло в нос хлоркой. Три отделения с перегородками, два заняты, майором и подполковником, одно свободно. Окно замазано белой краской, посередине чей-то свobodолюбивый коготь процарапал на стекле лунку, поглядев в которую можно было наблюдать кусочек Гороховой улицы. Должно быть, и у майора, и у подполковника дело шло туго, у одного вовсе ничего нельзя было выжать из пустой цистерны, у другого цедилося по капле. Загинайло, в отличие от них, не долго любовался пожелтелой раковиной унитаза в ржавых потеках и слушал музыку неисправного бачка, в котором пела, переливаясь через край, вода.

Вручив свой сосуд с жидкостью санитарке, Загинайло последовал дальше по коридору – сдавать кровь. В коридоре, узком, как кишка, стояли, прижавшись к стене, затылок в затылок, гуськом, понурые парни. Свободного пространства хватало только, чтобы пройти кошке. Тоненькая медсестра в чистеньком, как ландыш, халатике, протиснулась боком, неся над головой поднос с анализами, то бишь, стеклянными колбочками со свеженабранной кровью. «Посторонись!» – кричала она грубым, не склонным к любезности голосом. В конце

коридора – оцинкованная дверь, как в мертвецкую. Впускали по звонку. Строго-настрого. Раздавался резкий звонок, пронзая насквозь уши всей длинной очереди. Через минуту – другой. Пауза. Затем звонок следовал за звонком беспрерывно, лавиной, сливаясь в одну, раздирающую барабанные перепонки, зверскую трель. В дверь устремлялись, заголяя на бегу руку. Из двери вылетали с комком ваты на окровавленном пальце. Весь пол был устлан этими кровавыми комками. Коридор молниеносно очистился от половины очереди. Лейтенант-пограничник вышел из этой двери бледный, как мертвец, зажимая средний палец на правой руке в кулаке левой.

– Это вампирня! – сказал он Загинайло загробным шепотом. – Сидят сто ведьм за столиками, все на тебя шприцы нацелили, глаза сверкают! Ужас! Живым не выйдешь. Давай, друг, задний ход!

Но Загинайло, не послушавшись доброго совета, храбрым шагом вступил в кабинет. Всё так и оказалось, как предупреждал пограничник: в просторном помещении за столами в два ряда, как на какой-нибудь кровососной фабрике, сидели женщины в белых медицинских халатах. Тут были все возрасты, от 18-летних юных девушек с розово-свежими, как персик, щечками, до безобразных жаб-старух, седых и покрытых морщинами, которым уж давно перевалило за 70. Тут были представительницы всех племен и народов. Загинайло встал, как вкопанный, как в поле посреди стаи голодных волчиц. Его позвала бурятка с ближнего к нему стола, она зловеще махнула ему рукой. Загинайло отважно присел за ее стол. Бурятка обращалась с его предназначенными для процедуры пальцами, средним и безымянным, весьма бесцеремонно и даже грубо, протерла спиртом и вонзила иглу. Загинайло смотрел, как наполняется его кровью объемистая колба.

– Не смотрите! – потребовала бурятка. – Это мне мешает работать. Многие от вида крови падают в обморок. Теперь такие слабонервные мужики пошли, аж противно! Психопаты и неврастеники. Достаточно. Можете идти!

Загинайло, поспешно встав, неловким движением задел стол с препаратами и чуть не опрокинул его.

– Осторожно, медведь! – зло закричала на него бурятка. – Пьяный, что ли? Да что говорить, ясно, пьяный в драбадан, небритый и пахнет скверно, мерзостью какой-то. После принятия алкоголя, к вашему сведению, трое суток нельзя анализы сдавать! Так что, я умываю руки, если у вас найдут в крови недопустимое присутствие спирта. Так и знайте!

Загинайло, напутствуемый этими криками бешеной бурятки, вышел вон немного смущенный, но ничуть не поколебленный в своем стремлении преодолеть все ступени медицинских испытаний, чего бы это ему ни стоило.

Опять сверился с медкартой. Следующий этап – флюорографический кабинет. Ему объяснили, что надо вернуться в то здание, откуда он начал этот тернистый путь. На этот раз не лезть вверх по лестнице, а прямехонько катиться в подвал, там много поворотов, заблудиться запросто, там уж немало народу пропало без вести, в списке значатся, как проходящие медкомиссию, а налицо – нет их, кого месяц, а кого и год ищут, отыскать не могут. Вот и мотай на ус. Выслушав мрачный рассказ сведущих товарищей, Загинайло взял курс на флюорографический кабинет. Следуя подробным указаниям, он опять зашел с тыла здания, спустился по крутой лестнице в подвал и довольно долго странствовал в низеньком подземном коридоре, который извивался, как червь, в недрах земли. Наконец, он уперся в тупик. Стальная дверь, гладкая на загляденье, ни ручки, ни звонка, ни глазка. Ничего! Загинайло грохнул кулаком. Подождал, прислушался. Глухо. Тогда он стал дубасить изо всей силы, с интервалами, что-то вроде громовой азбуки морзе. Отбил кулак. Никакого эффекта. С той стороны не отзываются ни на удары, ни на крик. Загинайло решил, что те, кто его сюда послали, подшутили над ним, и уже повернулся идти обратно, как дверь разверзлась. Суровая старуха в халате смотрела колюче.

– Флюорографический кабинет здесь? – спросил Загинайло.

– Что? – переспросила старуха грозным голосом. Так обычно говорят тому, кто сморозил какую-нибудь нелепость.

– Здесь флюорография, спрашиваю? Ну, или рентгеновский кабинет по-другому? – потеряв терпение, свирепо прорычал Загинайло. – Если не здесь, так где, черт вас всех побери!

– Здесь, здесь! – гаркнула старуха. Услышала, наконец, глухая карга. – Ты восьмой. Раздевайся догола и бегом к аппарату! Семеро одного ждут! У нас по партиям. Пока партия в восемь человек не наберется – не принимаем.

Загинайло вслед за старухой вступил в предбанник. Там было не теплей, чем в ледяном погребе. У стены выстроились в шеренгу семь мужчин, все нагие, от макушки до пят, как Адамы, ни ниточки на всем посинелом теле. Вешалок не предусмотрено, одежда всех

семерых свалена кучей на лавке. Хоть и голые, все семеро глядели соколом. Даже не очень посинели, даже почти и не дрожали, по крайней мере, успешно боролись с дрожью, кое-кто слегка лязгал зубами, кое-кто приседал, а кто растирал себе руками плечи и грудь. Народ военный, закаленный. Появление Загинайло вызвало всеобщий бурный восторг.

– Вот и восьмой! – заорал первый в шеренге, гордо стоящий голышом во главе этой команды адамитов. Он был на голову выше всех, с синим пузом и усами, как у Буденного.

– Эй, флот, где тебя носило! По каким морям! – закричал последний в шеренге голыш, в котором Загинайло узнал лейтенанта-пограничника. – Скидай скорей с себя тряпки! По-военному! Секунду даем! Иначе нам тут всем крышка! Смерть лютая от замерзания! – Лейтенант, принявшись энергично растирать себя руками и присесть, чтобы согреться, запел раздирающим душу тоскливым голосом: «В той степи глухой замерзал ямщик...»

Тут, в шеренге, были знакомые уже Загинайло и майор, и подполковник. Когда Загинайло, голый как все, присоединился к мужскому братству и замкнул шеренгу, лейтенант-пограничник, стуча железными зубами, стал ему объяснять:

– Понимаешь, у них тут такой порядок – не принимают, пока полная обойма не наберется. Чтоб аппарат зря не тратил рентгеновские лучи, а сразу всех прострелил, очередь из автомата: тра-та-та! К чертям собачьим!

Дверь в кабинет приоткрылась, свежий ледяной ветерок обдул ноги. Сильный женский голос басом скомандовал изнутри из гулкого помещения:

– По порядку номеров! Первый – вперед! Марш!

Синепузый, похожий на Буденного, усач, как застоявшийся конь, ринулся внутрь кабинета. Не минуло и двух минут, как он влетел обратно в предбанник и уже натягивал на себя всю свою сбрую, брошенную в общую кучу на лавке. Он оказался капитаном по снабжению. Басистая медсестра опять скомандовала в раскрытую дверь, и к аппарату помчался второй, будто бы бегун-марафонец, перенявший эстафету. Очень скоро тем же манером призвали и Загинало к рентгеновскому аппарату. Он и замерзнуть не успел. Зараженный общей спешкой, он враскачку, неуклюже, грузен и тяжел корпусом, побежал на властный зов медсестры-флюорографички, ощущая голыми ступнями холодящие плитки серо-голубого кафеля.

– Шевелись, красавчик! – весело закричала, подбадривая его, медсестра. Это оказалась низенькая, крепенькая, как кубышка, женщина сочного возраста с непропорционально большой головой и очень крупным носатым лицом, жидкие соломенные волосы, остриженные под скобку, не совсем аккуратно, торчали клочками.

– Лезь сюда, красавчик! – приказала эта командирша в халате. – Руки на пояс! Грудь к экрану! Живот втянуть! дышать! Не дышать! Кругом! Спиной к экрану! Дышать! Не дышать! Всё! Слезай! Результат через два часа.

Вернувшись в предбанник, Загинайло нашел там лейтенанта, который зашнуровывал свой бронированный танк-ботинок.

– Глотнул рентгенчика? – поинтересовался он. – Я думаю, дозу хапнули, как при испытании водородной бомбы. Облучили голубчиков, чтоб светились вместо семафоров. Аппарат-то старый, раздолбанный, при царе Горохе сделан, из него из всех щелей радий так и прет, я нутром учуял, даже ой, как! Жжет двенадцатиперстную кишку, хоть волком вой. Ой, ой, мамочки, не иначе как язву заработал у этой змеюги с ее чертовым агрегатом! – Пограничник согнулся, скорчась от боли. Загинайло не мог понять, дурит он, или и вправду у него что-то с животом.

Пока Загинайло одевался как на пожар, подгоняемый старухой-регистраторшей и слушал байки поборовшего боль в животе пограничника, в предбаннике уже набралась новая партия мужчин – жертв неумолимого обряда. Им было велено оголяться, а не мух считать. Аппарат ждать не будет.

Теперь – терапевт. Так следовало по медкарте. Загинайло и лейтенант-пограничник поднялись обратно на 2-й этаж, где регистратура. В коридоре у кабинета № 1 они нашли своих товарищей, с которыми побратались в рентгеновских лучах. Опять у них составила полная обойма, восемь бойцов. Все кучей стояли в коридоре и все с вожделием взирали на закрытую дверь. Врач-терапевт Фурова (так было указано на таблице) принимать не торопилась. Грамотный, надев очки, мог бы, если это его интересует, прочитать под табличкой с номером кабинета и фамилией врача махонькую приписочку, где указан график проветриванья, то есть: последняя четверть каждого часа. Сейчас как раз проветривание. Так, во всяком случае, кратко объяснила выглянувшая на настойчивый стук в дверь медсестра.

– Елена Петровна прекратит прием, если не понимаете! – пригрозила она утратившим терпение офицерам. – Проветрим и начнем.

Офицеры горячо обсуждали свои дела, горести и печали службы, у всех накипело, у каждого своя хрен-редька. Тут собрались все роды войск, армия и флот, все по тем или иным причинам выброшены за борт. Куда бедному офицеру податься? Раздался звонок, как гром, как ревун боевой тревоги, и одновременно загорелась над дверью красная сигнальная лампочка. Расшумевшиеся офицеры все как один вздрогнули и умолкли. Врач-терапевт Фурова возобновила прием. Ее кабинет вполне проветрился. К терапевту запустили по двое. По приказу медсестры раздевались с порога, чтобы не терять драгоценное время. Пока один, раздетый до пояса, сидел на стуле перед врачом, так сказать, с глазу на глаз, и та ему энергично пеленала резиной руку для измерения кровяного давления, другой, раздетый уже до трусов, но в носках, лежал, совершенно беззащитный, в углу на кушетке, в то время как медсестра, склонясь над ним, упорно щупала ему живот сильными руками и спрашивала: есть ли жалобы? Процедура проходила четко, без сучка и задоринки, минута на человека. Раздевались наперегонки. Рука в резине, груша жметесь, на кушетке живот щупается, жалоб нет, здоровеньки булы. Следующая пара. За десять минут все были осмотрены. Врач и медсестра покраснелись. Когда Загинайло, последним покидая кабинет терапевта, увидел, что медсестра бурной рукой рвет форточку для срочного внеочередного проветривания, он ничуть не удивился этому. В самом деле, воздух в кабинете от краткого пребывания тут восьми мужчин сделался чрезвычайно густ.

Так они и ходили восьмером из кабинета в кабинет. Хирург, ветхая старуха в колпаке, вводила по одному за ширму, там требовала оголиться и что-то смотрела. Загинайло так и не узнал – что. Потому что хирург, будучи преклонных лет, насмотрелась уже на других вдосталь и на Загинайло не хватило ее дряхлеющих сил. Ему поверили на слово, что у него все кости целы, череп не проломлен, ни одной даже малюсенькой травмы получить не посчастливилось, и как мужчина он хоть куда, хоть на племенной завод, может запросто наплодить табун жеребят, было б только желание. В кабинете окулиста офицеры задерживались подолгу. Им там все глаза просмотрели, до доньшка. Пуше всего искали третий глаз. Окулистка увлеклась

парапсихологией и оккультными науками, у нее осмотр пациентов отличался оригинальностью. Вместо того чтобы проверять обыкновенное зрение, таблицу с буквами и прочую чепуху, она ставила опыты для выявления паранормальных способностей у своих пациентов. Это ей было нужно для диссертации. Усадив Загинайло за стол, завязала ему глаза черным платком и потребовала, чтобы он читал ладонями рук со странички, которую она держала под столом. Потом ушла в смежную комнату и спрашивала оттуда: видит ли он что-нибудь сквозь стену, если видит, пусть расскажет, не скупясь на подробности. Увы, Загинайло ничего не мог разглядеть сквозь эту капитальную переборку, экстрасенсорными способностями он явно не обладал. Чудес не обнаружилось ни у одного из восьмерых офицеров. Венеролог искала у них признаки венерических болезней, хоть каких-нибудь завалышених и застарелых, но так и не нашла, что ее не то, чтобы разочаровало, но привело в некоторое недоумение. Психиатр учинила настоящий допрос с пристрастием, она спрашивала: случались ли галлюцинации, зрительные или слуховые, не подвержен ли лунатизму, не бывал ли в состоянии аффекта, не покушался ли на свою жизнь, то есть не было ли попыток самоубийства, не страдает ли какой-нибудь манией, скажем, манией страха, или агрессии, не состоишь ли на учете в психодиспансере. Ответ она получала от всех отрицательно-скучный: нет и нет. Такое однообразие ей приелось. Ничего новенького. Ее можно было понять. Поэтому психиатр, сидя с противоположной стороны стола, взирала на Загинайло с самой жгучей ненавистью, на какую только была способна, как будто он был ее злейший враг. Это была женщина крупная, сильного характера, с костлявым широким лицом, которое украшала волосатая бородавка около носа. Она истязала Загинайло своими вопросами более, чем предыдущих офицеров из их доблестной восьмерки, дав ему предпочтение, может быть, потому, что он был последним, на нем прием заканчивался.

– Вы любите риск? – злобно сверкая очками, спрашивала психиатр. – Стремитесь к смерти? Она вас притягивает, да? Признавайтесь. Говорите честно, как на исповеди. Я вас насквозь вижу: по типу психики вы смертник. Камикадзе. Везде, надо и не надо, на рожон лезете, ищете смерть. Так что ли? – В глазах психиатрши загорелось мрачное злорадство, она была очень горда своей прозорливостью.

Загинайло косо усмехнулся:

– Самурай – сам умирай. А по-нашему – умирать, так с музыкой.

На этом допрос прекратился. Вопросы иссякли. Все было ясно, как божий день. Психиатр была последней в медкарте, на ней завершилась чередой испытаний. Осталось получить заключение главврача медкомиссии: прошел – не прошел Сциллу-Харибду. Вскоре узнали: все восемь офицеров признаны годными для службы в органах МВД.

3

Загинайло, опять пошел ночевать на водолазный плотик. По Большой Морской. Посреди тротуара на раскладном стульчике старик в тулупе, препоясан веревочкой, на голове шлем-миска с шишаком. В руке плакат: Оперный певец Петров. Помогите русскому певцу, издыхающему голодной смертью, отдавшему жизнь служению родине и искусству. Певец, задрал старое, небритое лицо к небу, пел арию Сусанина из оперы Глинки «Жизнь за царя». Загинайло сунул ему червонец. Певец поблагодарил низким поклоном, так что шлем-миска чуть не свалилась с его головы, приложил руку к сердцу, спрятал подаянье в тулуп и продолжал петь. Загинайло отошел от него. Раздался женский визг и звон разбитого стекла. Из магазина выскочил бродяга, рот оскален, в зубах кость с остатками мяса, только что стащил с прилавка в мясном отделе. За ним гнались три дюжих мясника в фартуках и с ножами. Беглец вихрем промчался мимо Загинайло, мясники за ним. Все, и беглец, и погоня исчезли в узеньком дворике между домами, похожем на щель. Бродяга, споткнувшись, упал. Мясники настигли, началось избиение. Били ногами. Слышались звуки ударов и стоны жертвы. Загинайло пошел туда, но его опередили. У тротуара затормозил патрульный милицейский газик, и два молодца, вооруженные дубинками, быстро навели порядок. Всех четверых повели к машине. Бродягу пришлось волоочь, он ревел и колотил ногами об асфальт, из его неразборчивых криков с трудом можно было понять, что у него переломаны все ребра, отбиты печень, почки и мочевого пузырь, а потому он требует денежного возмещения. Бродягу кинули в кузов, как мешок костей. Мясников, потолковав с ними минуту, отпустили, и они друг за другом, в широких клеенчатых фартуках, с зажатыми в руке разделочными кинжалами, вернулись в свой магазин.

Загинайло на автобусе добрался до порта. Только рот раскрыл, пропустили беспрепятственно и паспорта не спросив. Тем же путем на плотик. В водолазной хибаре никого. Жратва оставлена: тушенка, хлеб. Заморил червяка. Лег на топчан... Его разбудил громкий голос бригадира водолазов Абдураимова.

– На глубине шестьдесят метров! – восклицал с горечью в голосе Абдураимов. – Эх, вы, шланги! Четвертый за осень!

– Ты чего? – спросил, сев на топчане, Загинайло. Он озирался, ища собеседника водолаза, но в хибаре, кроме них двоих, никого не было. – С кем разговариваешь?

– С тобой, с кем же еще, – удивился Абдураимов. – А ты дрыхнешь. Приютил подлеца, а мне слово сочувствия от тебя надо услышать. И чего ты орешь во сне? Бредишь. Споришь с кем-то, чего-то доказываешь, требуешь ответа на свой вопрос. Обожрался пайком, что ли? Вот и кошмары...

– Да. Снится ребредень какая-то, – согласился Загинайло. – А ты-то чего заговариваешься, у тебя-то что случилось? – спросил он, зевая. – Любимая кошка начальника порта опять пропала, что ли?

– Какая там кошка! – печальным голосом отвечал Абдураимов. – Еще один мой водолаз со дна не вернулся. Скоро один тут на плоту останусь. Эх, где вода, там и беда! – заключил он мрачно, словно подводя итог всему своему горестному жизненному опыту...

Утром нового дня Загинайло опять посетил отдел кадров в доме № 145 на Лиговском проспекте. Он принес благоприятное заключение медицинской комиссии. Начальник отдела кадров отсутствовал, хотя, казалось, его исполинские седые усы висели в сильно накуренном помещении, оставленные надзирать над своими молодыми инспекторами. Делом Загинайло занимался рыжий, как подсолнух, младший лейтенант Лебеда. Здесь звали его просто Рыжик. Он доброжелательно выслушал Загинайло.

– Ну, дело в шляпе! – воскликнул он. – Поздравляю! Через денька три и ксива будет готова. В четверг поеду в Управление. А ты пока, чтоб время не терять, на склад обмундирования дуй. Бумажечку дам. Это за Финляндским вокзалом. Арсенальная улица. Там всегда машины на километр стоят. А еще тебе ориентир – пожарная каланча. Башня такая высоченная, красная, далеко видно. Иди на нее, не сворачивая, и как раз на склад напнешься. Найдешь. Не в лесу же. Получишь новую форму. Советую насчет мундира: не брать готовое.

Шьют-то по стандарту, на одну фигуру, усредненный образец. Да и шьют-то уголовники. Готовое – дрянь, не бери, а лучше взять материал, у нас свое ателье для офицеров, высший класс сошьют, как в Париже. И льготно, со скидкой. Вот на мне! Смотри! Как влитой! – рыжий инспектор вскочил из-за стола, приосанясь и выпятив колесом грудь. Новенький, мышиноного цвета мундир сидел на нем весьма элегантно, даже щегольски.

Загинайло не стал отрицать преимущество индивидуального пошива. Взяв у инспектора Лебеда направление на склад, он повернулся уходить.

Только он хотел взяться за дверную ручку, дверь рванули снаружи, и в помещение влетел, как вихрь, грузный майор, глаза-шары, нос – багровая груша. С разбегу он наткнулся на Загинайло и чуть не сшиб его с ног, хотя тот отличался чрезвычайной устойчивостью и всегда крепко стоял на своих коротких относительно туловища сильных лапах.

– Столкновение слона с носорогом! – воскликнул с живостью Лебеда. Другие два инспектора и машинистка, прервав свою бумажную работу, тоже с напряженным вниманием взирали на нового посетителя.

– Рыжик! Где твой начальник долбаный? Что он мне какую-то ахиною прислал! Лапшу вешает!

– Нет его. В Главное Управление вызвали. На Литейный. С утра злой был. Говорит, против него заговор, вытурить хотят. А на его место своего поставят, кто попокладистей будет. Стариков, говорит, убирают, такая теперь политика, омоложение кадров идет.

– А это кто? – задал вопрос майор-вихрь, ткнув красным пальцем в грудь Загинайло.

– Знакомься. Пополнение. Твой новый командир взвода. Возглавит твой осиротелый четвертый взвод.

Майор сначала окинул Загинайло с головы до ног оценивающим взглядом, потом протянул лапищу для рукопожатия.

– Бурцев, командир первого батальона, – назвал он себя. – Тебе повезло, – сказал он Загинайло, – получишь самый дисциплинированный взвод, лучший во всем полку. Остальные – сброд, алкаши и бабники, головорезы и мерзавцы, вор на воре. Давно пора разогнать эту банду, да некому работать будет. А твой взвод – образцовый. Золотой эталон мер и весов. Рыцари, святые Георгии, честь и совесть

наших органов, над каждым нимб светится. Работают за идеал, а не за свою нищенскую зарплату. Так что должен уразуметь – мы тебе бесценное сокровище вручаем. Понял? – майор посмотрел на Загинайло куда-то поверх его головы, может быть, в надежде увидеть светящийся над ней нимб, но так и не заметил ничего похожего на сияние. – Ни хрена ты не понял! – яростно махнул рукой ураганный майор. – Ничего, придешь ко мне в батальон служить, я с тобой проведу политбеседу. А ты, Рыжик, цветочек аленький! – обратился он к инспектору, – не сопли жуй, а оформляй его скорей. У меня взвод без головы, злые, забубенные, нервы раздерганы, как нитки, котел вот-вот взорвется, а вы тут сопли жуετε! – кинув упрек всем трем инспекторам, которые, давно уж зная нрав громкокопящего комбата, весело взирали на него из-за своих канцелярских баррикад, таким же железным вихрем вылетел вон, саданув со всего размаха дверью так, что на столы инспекторов посыпалась с потолка известка.

Загинайло скоро нашел склад обмундирования за Финляндским вокзалом. Арсенальная улица. Скопление машин. Как инспектор Лебеда говорил. Машинами запружена вся улица. Едва протиснешься сквозь этот строй грязных бортов и колес. Фургоны, фургоны – до самых ворот склада. У ворот скучал автоматчик в черном бронежилете, как жук, в каске-лоханке с ремешком под подбородком. Взглянув на предъявленную бумагу, он смачно сплюнул себе под ноги. Молча пропустил в ворота, не сказав ни единого слова и даже отвернувшись. Загинайло попал на широкий двор, кругом здания казенного армейского образца. Он направился к ближнему входу. Как раз, куда ему надо. На 2-м этаже комната. На двери написано, что тут обслуживается полк охраны № 3. Ну, значит, его подразделение, ему сюда. Там и без него натолкалось таких же. Три девушки работают. Занимаются обмундированием полка. Каждая занимается одним из трех батальонов. Примерно через полчаса Загинайло дождался своей очереди и, представ перед сидящей за столом дородной девушкой-инспектором, предъявил ей свое направление из отдела кадров. Та завела на него учетную карточку, зачитала длинный перечень всего, что ему положено получить на складе, и вручила ведомость на получение всего этого. Загинайло отправился на склад. Складские помещения протянулись через весь двор, к входам вели широкие помосты для заезжания тележек. Склад № 2, как указано в ведомости. Сюда, значит.

Склад обмундирования – это четыре этажа, битком набитых свежешпошитой формой установленного образца на все четыре сезона. Первый этаж – форма на весну, второй этаж – форма на лето, третий – на осень, четвертый, разумеется, на зиму. На каждом этаже коридоры образуют квадрат, начав идти по которому, кончаешь той точкой, откуда начал свое путешествие, то есть – попадаешь опять на лестницу, уже не с пустыми руками, а навьюченный, как ишак, – и шуруй выше, на следующий сезон, с весны на лето. Склад темен, окон тут почему-то не предусмотрено, может быть, чтобы никакой чужой глаз не подглядел его секреты и тайны. Идешь по коридору, слева от тебя беспросветная глухая стена приятного буро-гнедого цвета, справа – хранилища, освещенные тусклыми лампочками, разделенные перегородками. За прилавками кладовщицы в серых халатах. Ни чертами лица, ни фигурой они не блещут, но очень энергичны. Делают свое дело весело и сноровисто, стараются угодить, подбирают вам размер и рост. Не дадут рукав по локоть, а штанины по колено. Нет, такого не бывает. Скорее уж дадут навырост. Пусть и мешковато, зато тепло. Подшил, подвернул – и трын-трава. Кто на тебя будет любоваться? Бандиты? Пьяницы и хулиганы? Бери, что дают, и вали отсюда. Очередь напирает и кричит. Так гуляешь от прилавка к прилавку. Тут дают нижнее белье: трусы, кальсоны. Тут – носки. Тут – туфли. Такого фасона, что побежишь за преступником, туфли с ног сами соскочат, чтобы босиком легче было беглеца догнать. Здесь – всякая мелочь: латунные пуговицы, эмблемы, погоны, шевроны, лычки, звездочки, ремни, портупей, свисток в придачу. На последнем, верхнем этаже – зимние вещи: толстые кальсоны и нательные рубахи, синего и зеленого цвета, шинели, шапки, сапоги, валенки и к ним калоши. Шубы тоже дают, но не всем, а избранным, тем, кто весь день на улице нос морозит. Запах на складе обмундирования особенный, такого больше нигде не понюхаешь: какой-то такой вкусно-суконно-кожаный. Загинайло увидел, что тут бродило много молодцов, облаченных разносезонно и в смешанной форме: кто в осеннем плаще, но в валенках с калошами, кто в шинели, но в летних туфлях, кто в рубашке с коротким рукавом и открытой грудью на случай жары, зато на макушке водружена зимняя шапка пышного меха с голубым отливом. Кроме того, все несли громадные мешки, куда было напихано все полученное. Некоторые таскали на горбу рюкзаки такого размера, что туда мог бы поместиться танк. Муравьи в развороченном муравейнике. Загинайло им позавидовал. Он не догадался взять с

собой даже торбочки. Всё полученное барахло он нес охапкой, все это сыпалось, он подбирал, опять сыпалось: картонки с обувью, галстуки, перчатки. Загинайло чертыхался и хотел уж всё бросить. Кладовщица на последнем этаже сжалилась, дала ему лишний и ненужный ей холщовый мешок такой вместимости, что влезло все выданное ему обмундирование и сверху фуражка с красным околышем.

– Что, прибахлился? – услышал он у себя за спиной разудалый голос. Обернулся – перед ним лейтенант с лучистым взглядом и выдающимся вперед подбородком, как будто побритый башмак.

– Командир первого взвода Шаганов, – весело назвал он себя. – А ты, значит, четвертый взвод берешь? Ну, ну. – Шаганов засмеялся. Его усатая физиономия, нагловатые глаза и этот башмак-подбородок надвинулись на Загинайло, точно, чтобы рассмотреть его поближе. – Меня Бурцев за тобой послал. У меня машина. В батальон. Подброшу. Давай мешок. Во нахапал. Десятерым не снести. Лихой ты парень, как я погляжу. Да я сам такой. Сдружимся. У нас взвода через сутки крутятся. Утром будешь мне смену сдавать.

Держа мешок за два конца, они спустились по лестнице, во двор. За воротами склада ждала служебная машина. Шофер-сержант спал, положила бритую голову на баранку.

– Чумко! Кончай дрыхнуть! Поехали! – закричал на него Шаганов, выпучив глаза и вдвинув свой подбородок в кабину. – Мешок в багажник! Нет, стой! У тебя же там всякое говно, канистры, колеса. Ну, сунь сюда, на заднее сиденье, сверху фуражку, ха-ха! Как будто наш комбат, Бурцев, боров в фуражке сидит! – Шаганов потешался чистосердечно, но как-то психопатически, как будто его нервам требовалось развлечение. Он, уже сидя впереди, рядом с шофером, повернулся боком и, вытянув руку, ткнул кулаком в мешок с обмундированием, снял с себя шапку с кокардой и нахлобучил на мешок, как на голову. – Ха-ха! Бурцев! Вылитый! – хохотал он до слез, чуть ли не в истерике и бил себя по ляжкам.

Шофер Чумко, в противоположность Шаганову, чрезвычайно серьезный и хмурый, не участвовал в забаве. На его бесстрастном и сухом, как деревяшка, лице, казалось, было написано: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», или: «Покажи дураку палец...» Он дал газ, и машина, успешно лавируя между стоящими с двух сторон фургонами, стала удаляться от ворот склада, оставив там скучать плевателя-автоматчика, обремененного бронжилетом и каской.

Через город, в центр. Г-я улица. Вот тут их батальон и угнезвился. В батальоне Загинайло не успел осмотреться. Комбат Бурцев потребовал его к себе в кабинет. Разговор короткий. Майор-вихрь хотел услышать от него вразумительный ответ на два простых вопроса: во-первых, собирается ли он выходить на работу, или так и будет в отделе кадров ошиваться? Что они там копаются! Бумажные души! Чего оформляют! Этого бездельника Рыжика за то самое повесить надо! Сегодня же сними свое рыло на удостоверение личности. Сам в Управление свезу. Срочное фото тут – два шага. В подворотню. Для своих. Дуй! Нога здесь, нога там!

Загинайло так и сделал, как требовал горячий комбат. Через час он принес готовые фотографии. Завтра-послезавтра он получит ксиву. И завтра же утром, к восьми ноль-ноль в батальон. Как штык! Принимать взвод. Хватит вольтить. Офицеров в батальоне некомплект, за троих работаем. А на сегодня свободен. Вот записочка к завхозу в казарму, чтоб дала койку. А то эта блядь не возрадуется! Шкуру спущу! Готовь форму, подгоняй, обшивайся, гладься, пудрься! А теперь – с глаз долой! Пошел вон! Загинайло и не думал задерживаться в кабинете Бурцева. Он ничуть не обижался на грубо-оскорбительное обращение комбата. Потому что – это же Бурцев, ураганный Бурцев! Что с него взять. О нем брат Петр тепло говорил, да, тепло, по-доброму.

Казарма на Лиговском проспекте, там же, где командование полка, в том же здании, шесть верхних этажей из десяти. Завхоз, красномордая бабища-прапорщица, прочитав послание комбата Бурцева, злобно выругалась.

– Кобель поганый! Записочки пишет! А сам нос сунуть боится. Плевала я на его приказы! Распоряжается! Я только комполка подчиняюсь, Николаю Кирьяновичу Колунову. Как он скажет, так и будет. А ты мальчик ничего, ничего... – прапорщица-завхоз оглядела Загинайло хищно-масляными глазками. Облизнула толстые губы, причмокнув. Плотоядный зверь. – Ладно. Идем. Дам я тебе комнату. На девятом. У меня тут по-двое, по-трое теснятся, а тебе сразу отдельную даю! Счастливчику! Уж не знаю, как ты будешь меня благодарить, не знаю, не знаю. – Так приговаривая, прапорщица, колышась мясами, обтянутыми в форму, повела его на девятый этаж. Там проводила его по грязному коридору, в самом конце показала ту самую комнату и дала ключ от двери.

– Ключ не терять! – погрозила жирным пальцем прапорщица. – А то, хоть ты и милый мальчик, а высеку! Второй ключ только у меня! Только у меня! – повторила она злорадно. Еще раз оглядела Загинайло прищуренными глазками, как будто прицеливаясь, и, наконец, ушла.

Загинайло остался один. Озирался в новом жилище. Каморка. Каюта. Ничего. И в спичечном коробке жить можно. Койка есть, прочее неважно. А тут еще и стол, и два табурета, и шкаф, и тумбочка. Да это роскошь! Чего еще! Окно голое, ну, какой-нибудь тряпкой завесим. А постельное белье чистое как бы, постиранное. Не привыкать. Весь вечер он провел в новой своей берлоге, приготавливаясь к службе. Провозился с формой до полуночи. Пришивал погоны и шевроны, прикреплял эмблемы и кокарды, разглаживал электроутюгом измятые мундир, брюки, шинель. Утюг, иголку, нитки взял у соседей. Он их разглядел только частями: где волосатый торс, где ухо-лепешка, где нога-бутыль. Так сильно там было накурено. Соседей было двое, а, может, трое. Пол трещал шелухой семечек. Пробки от пива. Справясь с формой, Загинайло лег спать в первом часу. Одеядо ему не понравилось: в подозрительных пятнах, как будто о него сапоги вытирали. Отбросил прочь. Накрылся двумя шинелями, морской и милицейской. Рев разразившегося в казарме позднего ночного торжества и крики последовавшей за ним драки нисколько не помешали ему спать до утра, как убитому.

4

Загинайло был грубо разбужен диким воплем:

– Подъем! Мать твою в тельняшку!

В комнате горел яркий электрический свет. Голая груша, свешенная с потолка, раскалилась добела и, казалось, вот-вот лопнет, брызнув осколками тонких стеклышек. Бесцеремонный голос принадлежал командиру 1-го взвода лейтенанту Шаганову, с которым вчера он познакомился на складе обмундирования. В шинели, шапке, португее. Подбородок-кактус в сизых колючках щетины. Безумные шелки в опухших мешках кричат, вперясь в неподвижно распростертого Загинайло, как будто обуянные ужасом: уж не мертвец ли на койке? Зарезали ночью? Нравы казармы общеизвестны. К великой радости Шаганова мертво лежащий как труп Загинайло зашевелился, открыл глаза, встал с койки. Хмуρο посмотрел на гостя, так грубо прервавшего его сон.

– Шмутки в охалку и поехали! – опять завопил Шаганов. – В машине оденешься-обуешься. Комбат как разъяренный тигр в уссурийской тайге мечется и рычит на всех. Дал пять минут, чтоб доставить тебя в батальон. Будешь принимать свой взвод. Давай, давай, шевели клешнями! ты не знаешь нашего Бурцева. Он с нас с тобой с обоих прикажет кожу заживо содрать – старшине на кобуры и рукавицы!

– Ладно. Не пугай. Я не из пугливых. Оденусь, и пойдем.

Загинайло без суеты, но быстро облачился в приготовленную с вечера новую милицейскую форму. Скрепя ремнями и сапогами, последовал за Шагановым. Непривычно, необошено, там жмет, там давит. Мерзкий вид. Шаганов, заметив, как он прихрамывает в своих новеньких с блестящими голенищами сапогах, едва налезших на его лапы, развеселился. Еще одна для него потеха.

– Отхватил ты чоботы! Высший сорт! – возопил он. – Ты знаешь, из чего эти офицерские сапожки для нас делают? Вот то-то, что не знаешь! Из говна коровьего! Из картона! Через неделю развалятся. Советую эти игрушечки обменять на складе на солдатские яловые. В тех как буйвол будешь топтать лет пять. Я тебе говорю! Я только яловые беру. Эти вот шестой год таскаю, никак стаскать их не могу, тулумбасы! – Шаганов, отвернув полу длинной до пят шинели, показал доблестный сапог, неказистый с виду, но крепкий, как копыто.

Влезли в машину. За баранкой тот же бритоголовый шофер, такой же неразговорчивый.

– Чумко! Рви когти! В батальон! – приказал ему Шаганов. – А знаешь, почему Чумко башку свою бреет как футбольный мяч? – спросил у Загинайло опять нашедший себе забаву Шаганов. – Ха, ха! Вши у него! Вши! Ха, ха! Пес вшивый! А знаешь, от кого он этих зверей приобрел? От своей же бабы! От собственной жены! Да еще у них отпрыск восьми лет, в школу пошел, и тот тоже – весь во вшах! И все они башку себе обрили. И баба его обрилась, как кастрюля. Хороша семейка! А, Чумко! Что молчишь? Ты ведь так весь батальон снабдишь этими зверюшками, да что там – весь полк. Всем придется головы брить, во главе с самим комполка Колуновым. Будет полк бритоголовых! Ха, ха! Ой, мамочки, уморил! ну, Чумко, Чумко!... – Шаганов буквально бился в припадке смеха, как припадочный, на его подбородок от такого безудержного веселья текла слюна.

Через минут двадцать, с непрерывными шуточками Шаганова, прибыли в батальон на Г-й улице, дом 11. Дежурный сержант, высунув кроваво-красные щеки в окошко, крикнул:

– Бягите к комбату! В кабинете у себя ревет, как зарезанный. Ой, что тут было! Ой, ой! Разнос зверский. Батальон трясся, как тросточка. Два окна вдребезги! Бягите, бягите, а то он опять к нам примчится по башкам мне и помдежу чайником колотить!

– Так вам и надо, – заметил с хохотком Шаганов. – А то у вас тут чайхана, а не дежурка. Все дежурство, круглые сутки, сидите у самовара и чаи гоняете. Помидоры астраханские! На завод вас гнать в шею! Лоботрясов! Вкалывать! За станок! Экономику в государстве поднимать! Тунеядцы!

Комбат Бурцев встретил их у себя в кабинете на удивление мирно. Он уже выпустил пар, утреннюю порцию, отбушевал, откипел, откричался. На душе у него, как видно, наступил полный штиль.

– Ну и чего вы приперлись? – спросил он, мрачно смотря на них из-за стола. – Я вас не звал. Нечего мне глаза мозолить. Ты, как тебя там, Загинайло? Иди, знакомься со своим взводом. А ты, чучело, – обратился неприветливый комбат к Шаганову, – вместо того, чтобы зубы свои гнилые скалить, введи его в курс нашей работы, поприсутствуй на инструктаже, и вообще, окажи помощь начинающему. Он же ни хрена еще не знает, ни в зуб ногой. Представь этим шакалам нового их командира. Замполит занят. Так вот ты за него выступи. Подбородок, поганец, вытри, заплывал весь, как в зоопарке! Сил уже нет смотреть на твою похабную харю! Всё понятно?

– Понятно, – ответил, пряча ухмылку в свои густые усы, Шаганов.

– Ну так и пошли оба вон! – рявкнул на них комбат.

Офицеры вышли. Загинайло был сумрачен, его массивное, скуластое лицо имело суровый вид. Шаганов повел его по коридору в класс службы, где производился инструктаж взвода, заступающего в наряд.

В классе службы – гам, шум, дерут глотки, горлопаны. Тридцать молодцов в полной амуниции, за желтолакированными столами, сидят, стоят, ходят. В шинелях, в шапках, ремнях, взопрели. В помещении тепленько, батареи жарят. Весь взвод уже вооружен для службы, как говорится, сверх зубов. Брякают железами: пистолеты в кобурах на боку, браслеты-наручники на поясе, резиновая палка-дубинка, газовый

баллончик, автоматы, как железные шуки, свисают с плеч дулом вниз. У других на груди, у третьих – за спиной. Командир отделения, мордатый прапорщик в тулупе и сизо-мерлушковой шапке, сдвинутой на затылок, увидев вошедших офицеров, хрипло заорал, как петух:

– Взвод! Встать! Смирно!

Раздался грохот отодвигаемых скамей. Взвод встал, замер. В серых шинелях, шапках. Глядят волками. Ребятишки что надо. Приятно с такими познакомиться поближе. Ждали, что начальники скажут.

Шаганов выступил вперед, скрестив руки на животе и улыбаясь своими густо-развесистыми усами.

– Что, бойцы, обсуждали прибавку к жалованью? – спросил он, хохотнув по своему обыкновению, довольно зловеще. – Будет, будет вам прибавка, в получку двадцатого числа всем дадут сверх зарплаты по червонцу в зубы – задницу подтирать. Эх, бойцы, не в деньгах счастье. Бездуховный вы народ. Каждый раз на инструктаже волками лютыми смотрите, сожрать готовы с косточками своих и без того замученных командиров. К вам и приходиться страшно. Мы-то чем виноваты? Делаем, что можем, из кожи, так сказать, вон лезем, всё для вас, всё для вас, для облегчения вашей луковой, бесчеловечески трудной жизни. Вот, архаровцы, ваш новый командир взвода. Прошу любить и жаловать. Загинайло Роман Данилович. Родной брат вашего бывшего любимого командира Петра Загинайло, погибшего героической смертью при исполнении своих служебных обязанностей. Роман Данилыч, так сказать, берет вас как бы по наследству, из рук брата Петра, как бы долг и фамильная честь. Ради вас, остолопов, ушел с флота, где был на лучшем счету. Так сказать, поднять боевой дух в рядах. Воевать на другом фронте. А командование над вами – ой, не малина, шапка Мономаха!.. – красноречие Шаганова иссякло, он не знал, что тут еще добавить, вроде бы все сказано, не хуже, чем у замполита вышло, который и должен был представить взводу нового взводного, но отсутствовал по уважительным причинам.

Взвод хранил гробовое молчание.

– Вольно! – скомандовал Шаганов. – Вот теперь ваш новый командир скажет слово, а вы послушайте, олухи! Говори! – обратился он к Загинайло, освобождая ему место и отходя в сторону.

Загинайло, тяжело качнувшись, шагнул вперед. Плотнодельный, кряжистый, широкоплечий. Лицо напряженное, губы сжаты. Произнес твердо-значительно:

– Вами командовал мой брат Петр Загинайло. Теперь я буду вами командовать. – Объявив это, он своими мрачно-карими, сужеными глазами холодно обозрел взвод.

– А теперь вот что, – изрек он. – Почтим память вашего бывшего командира и моего брата минутой молчания. Снять шапки!

Весь взвод, как один человек, стоя, разом обнажил головы. Все до единого. И три командира отделений, которые стояли отдельно, сбоку от Загинайло. Стянул с себя шапку и Шаганов. Наступила та самая мертвая тишина, когда слышно, как муха летает. Эту тишину Загинайло хранил уже давно внутри себя. Гудели под потолком молочные трубки люминесцентных ламп. Выждав минуту, Загинайло скомандовал:

– Надеть шапки! – и вслед за всеми нахлобучил свою.

– Ты веди инструктаж, как там у вас это делается, – обратился он к Шаганову. – Покажи, значит, что и как, процесс, а потом я сам.

Шаганов ослабил:

– Да чего там. Никакой-такой мудрости нет. Высшего юридического образования не надо. Да у тебя и помощники собаку съели, твои командиры отделений. Один Бабура чего стоит! Это ж зубр! Двадцать лет в милиции. Враз всему научит. Не бойсь. А потом еще у нашего замполита Розина пройдешь ускоренные курсы. Уж он тебя подкует! Или наш Железнов, замполслужбе, у него бесплатную консультацию получишь. Бабура! – крикнул он прапорщику в тулупе, – чего мух на потолке считаешь! Начинай инструктаж. Да не гони лошадей! С чувством, с толком, с расстановкой. Членораздельно. Чтob новый командир все усек, всю, так сказать, специфику. – А вы, – приказал он взводу, – можете расслабиться, сесть на свои насесты и достать ручки и служебные книжки. Увижу, кто не записывает – усы оборву! Давай, Бабура! Вперед!

Бабура, мордастый прапорщик в тулупе, с толстой, черной книгой в руке направился к чему-то вроде конторки, поставленной на возвышении перед взводом. Он встал за эту фанерную трибуну, как оратор, готовый произнести торжественную речь. Черную свою книжищу он положил на трибуну перед собой и, развернув ее посередине, начал вялым и безразличным голосом:

– Тема инструктажа: разбой. Статья уголовного кодекса... – Бабура осекся. – Да чего долдонить одно и тоже! В зубах навязло! Подними любого с постели посреди ночи и спроси его, сукина сына,

что такое разбой, он и от сна не очухавшись, выпалит как из пушки, номер статьи и какое наказание и прочее там, слово в слово, будто по книге прочитает.

– Ничего, ничего. Ты, Бабура, читай дальше, – добродушно возразил Шаганов, накручивая на палец кончик своего пышно-горчичного уса. – Язык не отсохнет. А то ты и читать разучишься. Это тебе не в курилке балабонить. Вот вашему командиру надо освоиться, он еще не знает...

Бабура, тяжело вздохнув, продолжал чтение. Взвод, склонив головы, записывал в служебные книжки.

– Матросов! Почему не записываешь? – вдруг бешеным голосом закричал Шаганов. – Ты что у нас, особенный?

– Да не хочу я писать всякую чепуху! – небрежно бросил Матросов, молодой сержант с черными усиками. – Рука устала, пальцы скрючило, ручку не держат. – И Матросов, демонстративно подняв руку, покрутил скрюченными, как у паралитика, пальцами.

Шаганов обиделся, настроение у него резко испортилось.

– Видишь, какими мерзавцами тебе придется командовать! – обратился он к Загинайло. – У меня во взводе своих таких хватает. Сам расхлебывай. А я – пас. Бабура! – приказал он прапорщику, – отпуская людей!

– Взвод! Встать! – гаркнул с большим воодушевлением тулуп-прапорщик. – Смирно! Приказываю заступить на охрану общественного порядка и государственной собственности, жизни и здоровья граждан в городе-герое Ленинграде, Петербурге, Петрограде! Вольно! По постам! Разойдись!

Серые шинели, закинув за спину автоматы и закуривая на ходу, повалили вон из помещения. Шаганов тоже ушел. Загинайло остался с глазу на глаз со своими тремя командирами отделений. Они поочередно представились: командир 1-го отделения прапорщик Бабура, командир 2-го отделения старшина Черняк, командир 3-го отделения старший сержант Стребов.

– Ну, рассказывайте – кто шлепнул моего брата? – в упор спросил Загинайло. – Голую правду. А то все лапшу мне на уши вешают.

Командиры отделений глядели угрюмо.

– У, какой сердитый! – ответил за всех старшина Черняк. – Следопыт. Это ты для расследования к нам явился? Вот оно что! Голую правду тебе подавай. Шлепнули и шлепнули. Ищи ветра в поле.

Тут пачками шлепают. Не он первый, не он последний. Нас и так весь месяц к следователю таскали. Зря ты это, взводный. Грязное это дело, лучше б тебе не копать, замараешься. Да мы и сами знаем не больше твоего.

С шумом вошел битюг в кожаной куртке, которая, казалось, трещала на его широком туловище. Мотоциклетный шлем, рукавицы-краги, замерзшее фиолетовое лицо. Старшина батальона Яицкий.

– Вот и наш старшина! – закричал Стребов, командир 3-го отделения. – С Сестрорецкого шоссе, с ветерком. Каждое утро из Сестрорецка сюда гоняет. В виде разминки. Драндулет у него – ата! Зверь! Как заведет его у себя в Сестрорецке – рев на Литейном в Большом доме слышен, а в Смольном уши затыкают от ужаса. Оседлает своего железного трехколесного коня с коляской и мчится сюда, как полоумный, кобуры штопать. Кстати, Яицкий, отец родной, ты же новенькие кобуры вчера на складе получил, просочились сведения, дай кобурку, не жмись. У меня гнилуха, растрескалась вся, как глина, потерял пистолет, ты ведь будешь виноват! – Стребов подобострастно улыбался, показывая свои два широких белых зуба, сильно выступающих в верхнем ряду вперед из губы, как у кролика.

– Хрен тебе, а не кобуру! – буркнул, следуя к своей каптерке, Яицкий. – Ты же, говнюк, в ней фляжку с водярой носишь, а пистолет у тебя в кармане болтается, брючину оттягивает. Хлебнешь из фляжечки, и хорошо тебе, служба-малина, цветешь, благоухаешь, как орхидея. Тебя, Стребов, давно пора вышвырнуть из батальона, по статье, к такой-сякой матери, а не новую кобуру!

– Нет, Алексеич, ты не прав, – стал защищать товарища командир 1-го отделения прапорщик Бабура. – Зачем на человека зря клепать. Он у нас непьющий, капли спиртного в рот не берет, даже в день рождения жены. Он у себя в кобуре морковь таскает. Жена ему каждый раз на дежурство морковку сухим пайком дает. Любимая пища кроликов и зайцев. Вот он и грызет за милую душу, только хруст на инструктаже и слышим: хруп-хруп-хруп.

– Зубоскалы вы, зубоскалы! – Яицкий, выражая безнадежность, махнул толстой рукой в рукавице-краге. – Пустобрехи, клоуны, вас бы в цирк. Вот новый командир вас, шутов гороховых прижмет! – пригрозил он, заметив Загинайло. – Ты зайди-ка ко мне, взводный, – обратился к нему Яицкий. – Тебе положена новая кобура. И карточку-заместитель на пистолет оформлю, если маленькая фотография с собой

есть. Да хоть какая, лишь бы рыло было. Получишь пистолет своего брата Петра Данилыча, номер 4998. Так сказать, по наследству. Специально для тебя берег, никому не давал. Чистенький как зеркальце, в маслице, лежит у дежурного в оружейке, тебя ждет. Безотказное оружие. Придет час, вспомнишь старшину Яицкого добрым словом.

Загинайло, оставив своих командиров отделений составлять график работы взвода на новый месяц, заглянул к старшине в каптерку. Что-то вроде чулана, стеллажи, полки, ящики и ящички, коробки, фуражки без козырьков, старые шинели без погон и пуговиц – в углу кучей. Яицкий, в очках, лысина блестит под лампой, сидит за своим рабочим столом, что-то сапожным ножом вырезает из куска кожи.

– Вот, крою. Из десяти старых кобур – одну-две новых смудрую. А что делать, приходится дурью заниматься. Это же не милиционеры теперь, а позор нации. Всякий сброд напринимали. Недоумки, дебилы, одна извилина на триста человек. На весь полк. Эти мерзавцы за месяц новенькие со склада кобуры превращают в полное безобразие. Чего только они не вытворяют, фантазия работает, как у писателя-фантаста, брата Стругацкие, такую мать. И режут, и кромсают, и вдоль, и поперек, и так и сяк. Обкорнают, чтоб как оперативники, под мышкой носить. Или еще чего почище придумают, с бантиком, все равно что анархист, ниже пояса маузер на мудях таскают. Кобур на них не напасешься. Об оружии уж и не говорю. Сердце кровью обливается, как эти недоноски полостнокишечные обращаются с оружием. Десять раз писал рапорт об увольнении, к такой матери. Николай Кирьяныч, комполка не отпускает, незаменимый, говорит. Тебя, Яицкий, старая гвардия, заменить некем, так что терпи и не рыпайся, только вместе со мной уйдешь. Если б не он, давно б плюнул, растил бы на пенсии огурцы у себя в Сестрорецке.

Старшина, отложив нож, выдвинул ящичек стола, достал новенькую кобуру. Любовно ее осмотрел со всех сторон, крутя на свету под лампой, помял в руках и после этого протянул Загинайло.

– Пощупай, настоящая, телячья, мягонькая. Тебе по благу. Только у командира полка да у меня самого такая. У всех прочих кобуры как лошадиные копыта, не гнутся, хоть о башку колоти. Карточку-заместитель я тебе уже приготовил, возьми. Рыло свое сам наклеишь. Оружие соблюдай в таком же образцовом порядке, как берег его твой

брат. Он свой пистолет, можно сказать, языком вылизывал. Ну, будь здрав. Удачи с горчицей и службы с хреном! – Это была любимая поговорка старшины Яицкого. Высказав свое пожелание, старшина опять взял нож и принялся за свою кройку кобур.

Краснощекий дежурный, не мешкая, выдал Загинайло из окошка оружейной комнаты тот самый пистолет системы Макарова с личным номером 4998, который принадлежал брату Петру, два магазина и колодку с 16-ю патронами. Полнокровный дежурный, передавая пистолет рубчатой рукояткой вперед, хитро подмигнул:

– А ты похож на своего братишку. Ой, как похож, как две портянки, прости за сравнение. У меня даже глазенаны на лоб полезли: вижу – воскресший Петро прет. Мы его уважали, парень-кремень. Его даже комбат побаивался трогать, а Бурцев – это ж не человек, а цунами какое-то, смерч, торнадо, явится не в духе, горная лавина, орет так, что барабанные перепонки вдребезги, неделю потом глухой ходишь, как тетеря. Или молча хряснет в зубы, ни слова не говоря, за здорово живешь – и весь разговор. А кулачище у него – во! С пожарное ведро! – и возбужденный дежурный энергично ткнул перстом в пожарный щит на стене, где висел багор и два объемистых ведра, окрашенных в такой же пламенно-багрянистый цвет, как его щеки.

Загинайло, молчаливый и суровый, слушая брехню дежурного с невозмутимым безразличием, разобрал и опять собрал пистолет. Произвел полную разборку, как полагается. Пистолет был в блестящем состоянии. Старшина Яицкий не обманул. Этот пистолет долго служил своему хозяину, как верный пес. Старое, грозное оружие. Вороненое покрытие местами стерлось, стальной корпус стал белый, как солью выеден, как кость. Особенно затвор. «Ищи ветра в поле» запали ему в ум слова его командира отделения Черняка. Снарядил магазины, один вставил в рукоятку пистолета, запасной – в кармашек кобуры. Пистолет поместил в новенькую кобуру у себя на ремне у правого бедра, застегнул пуговку.

– Полюшко, поле! – запел вдруг довольно красивым певучим тенором дежурный. – Твой брат Петро тоже оружие любил, можно сказать, обожал, – сказал он, прекратив петь. – Тоже, и перед дежурством и после дежурства, всегда производил полную разборку и сборку. И все чистил, все смазывал, лелеял каждую детальку, всякий там зубчик и загогулилку. Все уж давно из батальона свалят, кто куда, а он все со своей любушкой железной милуется, как с любимой женой.

Все гладит, все ласкает, налюбоваться не может. Целует, и в правую щеку, и в левую, и в ротик, все никак не расстаться...

– Волына! Соловей мой, соловей! Ты опять, пташка, разливаешься, сказки рассказываешь! – закричал дежурному вошедший в помещение Стребов. – Козловский хренов! У тебя пол-оружейки растащили, пока ты тут лясы точишь. Сейчас старшину Яицкого позову, он тебе споет арию Шаляпина в роли Бориса Годунова, так что в моргалах у тебя мальчики кровавые запляшут! От Бурцева ты уже получил чайником по кумполу, птичка певчая, канарейка!

Тут вступил в разговор другой голос, мрачный и нелюдимый. Это вслед за Стребовым вошел водитель Чумко. Бритоголовый.

– Стребов! Зачем обижаешь нашего Волынчика! – хмуро упрекнул он. – Какая ж он канарейка! Он у нас Жар-птица! Смотри, какой от него жар! Вся рожа горит! Так и пышет!

Дежурному Волыне насмешки не пришлись по душе. Он оскорбился, совсем стал как рак вареный.

– Грубые шутки! – оборвал он. – Ничего, вы у меня наплачетесь после смены, когда придете оружие сдавать. Будете чистить до потери сознания. пока до дыр не сотрете, выродки! – Волына с ожесточением захлопнул окошко оружейки, загородившись от них бронированным щитом.

Загинайло так и не проронил ни слова, пока происходила перед ним эта сцена. Он был готов на выход и кивнул Стребову, чтоб двигаться отсюда. Стребов сегодня должен был его сопровождать, показать посты, ознакомить со службой. Они вместе вышли из батальона на улицу.

5

Загинайло и Стребов шли по Г-й улице. Под арку, площадь. Нет, им не в ту сторону, не к Неве. Стребов как-нибудь в другой раз сведет своего командира туда, панораму показать. Грандиозно! Любимый город! И мосты покажет, мосты тоже их батальон охраняет. Это потом, не убегут, а пока – свернем на бульвар. Стребов в роли вожатого незаменим, он всё знает, все ходы-выходы, каждую подворотню, каждый камень. По нюху. Как кошка. Правильно, что Загинайло выбрал в провожатые именно его, а не этих жуликов, Черняка или Бабуру. Стребов ознакомит своего командира со всеми постами,

которые обязан охранять их взвод, как зеницу ока. Посты разбросаны по всему городу, как колода игральных карт, брошенная, заброшенная аж на окраины, аж к черту на куличики, в Озерки, в Шуваловский парк. Объекты государственной важности: мосты, сады, кладбища, водокачка, мэрия, музеи, архивы, главпочтамт, ювелирторг, Гостиный двор, Публичная библиотека... Юг, запад, север, восток. Пока объедут, проверят службу – и день пройдет. Один круг только и успеют намотать. А надо три круга за смену! Дежурство суточное. Днем – общественным транспортом, ночью – пешеходом. Сто подметок сотрешь за год. Машину таким мошкам не дают. Нет машин, не рожают. Стребов на службу не жалуется, пусть командир не думает, это он так, надо ж что-то молоть по дороге, чтоб время летело. Опять же – гулять на воздухе и для здоровья лучше, чем в душной кабине сиденье задницей протирать, геморрой зарабатывать. Ноги на такой службе делаются железные, как у бегуна-сорохода. Вот, Загинайло может сам пощупать, если не верит, какие у Стребова железные ноги. Он даже особую манеру ходьбы выработал, оптимально-выносливую, годную только для него, для его оригинального организма. Другие пробовали так ходить, ни хрена у них не получилось. А он, как страус по африканской пустыне, мчится быстрее экспресса. «Красную стрелу» обгонит запросто, благо – ноги длинные! За ночь два круга накручивает и хоть бы хны. Трепотня этого пустомели раздражала, но Загинайло не прерывал.

Ноябрьский день, холодный и хмурый. Вот-вот посыплет снег. Стребов не любил толкаться и тискаться в общественном транспорте, у него имелся жезл-зебра, которым он и пользовался, как власть имеющий. Держа в руке этот атрибут инспектора ГАИ, он зорко высматривал с края тротуара нужную жертву, и властным взмахом, грациозно крутанув жезл в руке, приказывал водителю остановиться. Вот и теперь он сделал также. В трех шагах от них послушно затормозил синенький «жигуленок». Стребов приблизился к жертве неторопливой походочкой, похлопывая жезлом о голенище сапога. Подойдя вплотную, небрежно козырнул испуганному водителю, который высунулся из окошка, и, оставив свою «зебру» болтаться на петельке на запястье, представился:

– Старший инспектор Стребов. Куда пугь держим?

Оказалось, водитель едет в ту сторону и прямо к тому месту, куда нужно Стребову. Водитель рад-радешенек подвезти представителей

власти по законному их требованию ввиду служебной необходимости. Таким манером, работая железом, пересаживаясь с машины на машину, они с комфортом объехали все охраняемые объекты и посетили все посты, вверенные батальону. Загинайло познакомился со всеми милиционерами своего взвода, кроме больных, хромых и находящихся в очередном отпуске. Объекты, которые охранял взвод, были такие: три моста, три банка, два ломбарда, два ювелирных магазина, магазин мехов, «Русские самоцветы», три архива, музей города, центральная водоканка и, наконец, два больших кладбища, Еврейское и Волково. Загинайло серьезно отнесся к своим новым обязанностям, строго осматривал посты, тщательно вникал во все, дотошно расспрашивал и требовал объяснений. Что называется, wszedł во все дырки и щели. С каждым милиционером особо и подолгу беседовал о службе и жизни. Так что всегда невозмутимый Стребов стал роптать:

– Ты меня утомил, командир. Ты еще почище нашего замполита Розина. Тот тоже, как пиявка, присосется, мучитель людей, кровожадный тиран: все ему расскажи, все ему объясни, душу ему, как карман, выверни. Под череп, гад, залезет и самые твои секретные и сокровенные мысли, самые дорогие и взлелеянные, какие от всего света и всякой подлюки подальше прячешь, и те все до одной прочтет, все равно что газету прочитает «Вечерние новости» или «Правду». Только тогда, гад, отвалится, раздутый пузырь, вурдалак, нажравшись твоим тайное тайным. Не уподобляйся ты этому дракону. Ну что ты их допытываешь-выпытываешь об их житье-бытье. Разве от них правду услышишь. Наврут с три фургона с прицепом, так мы и за месяц посты не обойдем, если ты с каждым придурком битый час по душам калякать будешь.

От Загинайло не ускользнула одна особенность, общая для всех постов, которые они посетили, это относилось не столько к объекту, сколько к субъекту охраны, а именно: все постовые милиционеры, с которыми знакомился на местах Загинайло, хотя и действовали безукоризненно по уставу и инструкции, отвечали на вопросы четко, толково, со знанием дела, были дисциплинированы и вели себя почтительно, но при всем при том ему показалось, смотрели на своего нового командира взвода как-то неуловимо нагло и мрачно. В их взглядах сквозила хищная недоверчивость и чуждость, так зверь смотрит на другого зверя, покрупнее и посильнее его, вторгшегося на его территорию, терпя по необходимости незваного гостя. Загинайло

интуитивно почувствовал это, он всегда верил своей интуиции. Он почувствовал: тут что-то кроется, некая тайная сговоренность этих людей, какой-то заговор скрытой злобы. Ничего, он скоро узнает, в чем тут дело.

Короткий ноябрьский день кончился. Стемнело. Они вернулись в центр города. Оставалось посетить новооткрытый банк на Мойке и тем самым замкнуть круг. Стребов повел к месту. Фонарный мост. Сделать еще два шага и – банк. Тут заорала рация Стребова, так яростно, что чуть не слетела шапка с его затылка. Страшный голос кричал что-то нечленораздельное, но Стребов смысл этой сумбурной речи, подобной реву бешеного быка, разобрал без труда, дословно, как опытный дешифровщик.

– Это замполит Розин, – объяснил он. – Легок на помине, трехглавый змей! Речистый парень, я тебе скажу. Цицерон, царь красноречия. Только дикция у него – того, дефективный с детства, урод логопедический. Выйдет на трибуну на общеполковом собрании с отчетной речью, и лопочет, лопочет, черт его поймет о чем, как чукча, раскипятится, руками размахивает, пена изо рта в зал на нас летит, в штопор вошел, бешеный, шаман, ему бы еще бубен в руку! Хорошо еще, что ему на выступление не дают больше двадцати минут по регламенту, а то бы он всех нас слюной затопил. Я один в полку понимаю, что он сказать хочет, это оттого, что у меня филологический дар, на собрания меня всегда к нему толмачом ставят, чтоб переводил на чистый русский язык его лопотню.

– Так что он хочет? – спросил Загинайло, прервав своего словоохотливого помощника.

– Он хочет, – засмеялся, скаля свои кроличьи зубы, Стребов, – чтобы ты срочно к нашему командиру полка летел, к Колунову. Тебе великая честь! Гордись! Сам папа, так мы комполка называем, Николай Кирьяныч хочет с тобой лично познакомиться, и приглашает тебя в баньку. Заодно и помоешься, ты же наверно сто лет не мылся, от тебя какой-то тиной воняет. Папа у нас большой любитель русской бани. Можно сказать, мастер. Хе! – засмеялся еще веселее Стребов. – У него что-то вроде ордена рыцарей бани, избранные из полка, а он – гроссмейстер ордена. У него обычай: нового офицера, поступившего к нему в полк, приглашает попариться к себе в особо устроенную баню. Так сказать, проверка на прочность. На что ты способен. Крепок ли ты, парень, пар

выдержать, как в паровом котле, да полковника выпарить веничком. Три веничка у него поочередно: березовый, дубовый и еловый. Вот новичку такой экзамен, значит: попарить папу. Смотри, Данилыч, не осрамись. Как попаришь, так и служба у тебя пойдет. Или на верха вознесешься, любимчиком будешь и карьера в кармане, или – ты у него никогда из грязи не выберешься. Ты Колунова не знаешь. У! Злющий кабан! Злобный, хитрый, мстительный. С потрохами сожрет.

Загинайло оставил Стребова продолжать проверку службы на постах, а сам, как от него требовали, вернулся в батальон на Г-й улице, дом 11. У батальона его ждала служебная машина с синей полосой и мигалкой, с работающим мотором. С заднего сиденья из кабины ему замахал рукой лопухий капитан. Замполит батальона Розин.

– Светик-семицветик! Соколик мой ясный! Где же ты шатаешься? – закричал замполит отчаянно-плаксивым голосом. – Скорей, скорей! Николай Кирьяныч ждет! – замполит распахнул дверцу кабины. – Лезь сюда! Ненаглядный мой, ты же меня без ножа режешь. Нам уж давно пора в парилке быть раздетыми, разутыми. Соколик ты мой ясный! Чумко, газуй! – возопил замполит водителю. – Пулей! Чтоб через десять минут быть у места! Успеешь вовремя – премию выпишу в двойном размере! – Речь замполита была достаточно разборчива и членораздельна, слова выговаривал он хоть и скоропалительно, но вполне отчетливо для понимания, его дикции мог бы позавидовать любой актер, но, может быть, это оттого, что он еще не раскалился добела, как про него говорили в полку. Тогда у него слова плавилась и превращались в пламенно-извергаемую лаву. Так что, может быть, Стребов и не соврал. Замполит, несмотря на студеную пору года, красовался в легонькой фуражечке, из-под которой его уши-лопухи торчали, как два красных семафора – запретительный сигнал всему встречному автотранспорту, чтобы освобождали дорогу.

Машина помчалась на Черную речку. Там была баня полковника Колунова. Об этой бане ни одна собака в городе не знала. Дом как дом, закопченный кирпич, капремонта просит, огражден стеной, труба торчит, высокая, угольком курит, пуская курчавый дымок в угрюмое, и без того мутное небо. Как бы котельная и при ней гараж для милицейских машин.

– Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет! – стал громко декламировать замполит Розин, когда они миновали мост через

Малую Неву. – Дантес, гад, лягушка в рейтузиках! – в неожиданном порыве праведного гнева возопил Розин. – У, гнида! Вот этими бы голыми руками так и задушил бы гниду, прямо на месте дуэли, на кровавом снегу! – замполит произнес эти гневные слова чуть не плача, со слезой в голосе. – Я тут живу, – пояснил он. – Каждый вечер в свободные от службы дни гуляю с бульдогом Маргариткой, злая сука, как гиена в наморднике, на всех бросается.

Машина, повернув налево, затормозила.

– Ну вот и банька! – обрадовался замполит. – Успели. Высунув рупор из кабины, он взревел: – Эй, шайка-лейка, светик мой ненаглядный, отвори ворота. Работника Балду привез папе спинку парить!

Толстомордый сержант в полушубке, бряцая цепями, раскрыл створки железных ворот, и машина въехала на двор. На дворе они увидели еще две машины: легковушку и микроавтобус.

– Папа уже здесь! – закричал в ужасе замполит Розин. – Быстрой, вылезай, соколик, радость моя, бегом в парилку! На ходу раздевайся, давай, давай, соколик, я сзади побегу, помогать тебе буду, шмотки скидай, шапку, шинель, сапоги, я буду подбирать на бегу! Веники в предбаннике я сам прихвачу. Ой, лишенько, не успеем, папа нам голову снесет! Или в кипяток посадит, вкрутую заживо сваримся! Граф Дракула, что с него возьмешь. А то еще хуже: заставит Достоевского читать, «Преступление и наказание». Он патриот, русскую литературу от всех своих милиционеров знать назубок требует, все равно как устав патрульно-постовой службы. Лекции каждый месяц для всего полка устраивает в актовом зале на Лиговском проспекте. А нас, замполитов, заставляет квартальные отчеты о проделанной работе с личсоставом писать в художественной форме, чтоб не отчеты, а повести и романы были. Не знаю, как для других, а для меня это мука смертная, легче на кресте висеть на Голгофе. С литературой у меня отношения еще в школе сложились печальные, прямо тебе скажу, ни бум-бум, вот как эта деревяшка. – И замполит постучал кулаком по лавке в предбаннике, где они оба скоропалительно разоблачались, освобождаясь от всей своей амуниции. – Мое призвание – живопись. Я картины рисую, – продолжал свои признания замполит. – Я же поступал в Мухинское. Но не поступил. По недоразумению. Будь уверен, поступлю не со второго, так с третьего захода. Да хоть с десятого. Я жутко какой

упорный. О, ты еще не видел моих картин! Придешь в батальон, я тебе покажу, у меня весь кабинет увешан. Шедевры! Теперь я пишу портрет Дзержинского в полный человеческий рост, закончу к годовщине Октябрьской революции, к юбилею. Кровь из носу! Ой, соколик, бежим! Заболтался. Папа уже пару наподдал. Слышишь, как будто змея шипит? «Пора, мой друг, пора» как говаривал Александр Сергеевич Пушкин, памятник наш нерукотворный. Ублажишь папу – служба, как по рельсам вагонетка, под горку покатится, сыр в масле. Не служба, а малина у тебя будет.

Замполит Розин, голый до пят, только на макушке фуражонка, с тремя вениками под мышкой, отворил разбухшую дверь парной. Загинайло таким же голышом последовал за ним. Их обдало жаром, нестерпимым для непривычного человека. Глаза чуть не лопались, пол обжигал подошвы босых ног. Полковник Колунов, голый, но в полковничьей папахе на голове, сурово взирал на них с возвышения, как статуя с пьедестала.

– Товарищ полковник, разрешите обратиться! – воззвал к нему снизу у подножия помоста замполит Розин, приложив руку к козырьку своей фуражечки и приплясывая на обжигающем полу красными пятками.

– Розин, без церемоний, лезь сюда! – рявкнул командир полка. – Что ж ты, дурак пузатый, тапочки не взял? Пляшешь как карась на раскаленной сковороде.

– Ты тоже поднимайся, – приказал он Загинайло.

Полковник был тощ, как кощей бессмертный, лицо изборождено морщинами, не лицо, а пашня. Папаха, высокая, в сизо-седых мерлушках, чуть не касалась закопченного банного потолка, кокарда блестит звездой. Полковник Колунов лег на полок ничком и, не поворачивая головы, изрек замполиту:

– Розин, покажи новенькому, как надо вениками работать, а потом ему передай. Посмотрим его таланты.

Розин, надев кожаные рукавицы, принялся обхаживать двумя вениками костлявую спину командира полка, хлопая с большим рвением, с энтузиазмом, проворно и грациозно, и березовым и дубовым, бегая вдоль полка, хлестал мастерски, как профессионал, банщик высшей квалификации.

– Все понял, соколик? – спросил запыхавшийся замполит, передавая Загинайло рукавицы и веники. – Приступай. Господи благослови!

Теперь Загинайло взялся, как от него требовали, хлестать спину полковника, которая, казалось, совсем не имела кровеносных сосудов, ее серо-землистая кожа, испещренная какими-то темными пятнами, даже не порозовела от такой лавины ударов. «Все равно что скелет парить», – подумал Загинайло, безжалостно обрабатывая полковничьи кости.

– Сильней! Жарь всюю! – сердито закричал, приподняв голову в папахе, Колунов. – Что ты меня, как бабу, гладишь. Колоти, не бойся, из всех сил, какие у тебя есть. Представь, что ты палкой пыль из ковра выколачиваешь! Брось эти, бери еловый, шпарь, не жалей! Розин, ты где? – крикнул он замполиту. – Тициан, Микеланджело, титан кисти! Поддай жарку! Пару шаечек! Живо! Замерзаю!

Загинайло без передышки, около часу исполнял обязанности банщика-парильщика, работая, как говорится, не покладая рук. От ударов колючего елового веника спина полковника, наконец, покраснелась полосами и узорами. Полковник был доволен, он перевернулся животом. Грудь густо заросла седой шерстью.

– Что сопишь? Устал, что ли? Давай, давай, орел! В решеточку! Березовым да дубовым, вдоль да поперек!

Полковник Колунов упарился. Он приказал Загинайло побрызгать на него холодной водой. Полковник был в разнеженном, размягченном состоянии духа, морщины его разгладились, он был вполне доволен своим новым офицером.

– Так ты у меня, значит, в 1-м батальоне? У Бурцева? – спросил он, вставая. – 4-й взвод возглавил? Это у меня лучший взвод во всем полку! Тебе, Загинайло, великая честь. Смотри, не ударь лицом в грязь, смотри, смотри. Начал ты службу неплохо. Да, очень даже и неплохо начал ты свою службу у меня в полку. Так держать. А ты что ж, с умыслом пришел к нам на работу, целенаправленно? По стопам брата? На его место? Твой брат Петр Загинайло, погибший при загадочных обстоятельствах, доставил мне немало хлопот и неприятностей. Немало, немало, – повторил ехидным тоном полковник Колунов. – Позволял себе со мной спорить, пререкаться. Лез на рожон, надо и не надо. Храбрец! Молодец среди овец! Я, знаешь, не люблю неоправданный риск. Вот и пустили храбреца с проломленным черепом на дно Малой Невки, привязав чугунную болванку на грудь. Нашел приключение на свою задницу. Ты уж извини, что я так говорю о твоём брате, оскорбляю, так сказать, твои родственные чувства, –

полковник Колунов язвительно улыбался тонкими, бескровными губами своего широкого рта. Тело пятнистое, как у тритона. Полковник Колунов, казалось, получал удовольствие оттого, что специально старался вызвать к себе антипатию, даже отвращение. Ему, очевидно, доставляло неизъяснимое наслаждение то, что его подчиненные, покорные его власти люди, молча выслушивают все, что он им ни скажет, и пикнуть при этом не посмеют, скованные его гипнотическим змеиным взглядом.

Все трое спустились по ступеням с помоста и вышли из парной в прохладный предбанник. Там замполит Розин накинул на плечи полковнику чистую белую простыню, в которую тот завернулся, как римский сенатор в тогу. Папаха так и оставалась на его голове.

– А город ты знаешь? – спросил он Загинайло. – Имей в виду, я не держу у себя в полку того, кто не знает о моем любимом городе всё, каждую улицу и каждый переулок. И как что называется, и почему, кем и когда было названо. Площади, мосты, каналы, дворцы, набережные. Все должен знать, когда построено, кем. Как азбуку. Всю историю города. Мне не нужны у меня в полку болваны безкультурные и необразованные. Тем более офицер. Вот скажи, например, – полковник Колунов, выдержав паузу, спросил: – Сколько львов на Свердловской набережной? Ну-ка?

Загинайло сконфуженно молчал. Пожал плечами. Он не знал, сколько львов на Свердловской набережной. Он не слышал, что шептал ему сзади, свистя, как воздух из прорванного шланга, замполит Розин.

– Не знаешь! – со злорадством тигра, настигшего добычу, воскликнул полковник Колунов. – Восемнадцать львов! Заруби себе на носу! На Свердловской набережной восемнадцать львов! А в городе сколько всего львов, знаешь? Откуда тебе знать, все вы вот такие неучи. Розин, что ты там шелестишь, ты же сам ни в зуб ногой, а еще замполит. Я давно хочу выгнать тебя в шею, ты у меня на волоске висишь! Только из-за твоей мазни тебя и терплю. Не напишешь портрет Дзержинского к сроку, выгоню к чертовой матери! А сделаешь Дзержинского к великому празднику – я тебе сразу майора дам и отдельную мастерскую. Да вот тебе еще заказ: как Дзержинского закончишь, будешь рисовать портреты лучших милиционеров нашего полка. Так сказать, галерею героев, как в Эрмитаже. Повесим по стенам у нас в зале собраний на Лиговском проспекте. А ты, –

обратился он опять к Загинайло, – как у тебя с русской литературой? Что ты читаешь? Какие твои любимые книги? Меню в ресторане? Сберкнижка? Знаешь поговорку: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты? Ну, Толстого, Чехова тебе в школе по программе вдалбливали. А вот – «Бесы» Достоевского читал? А Крестовского «Петербургские трущобы»? И не слышал о таком писателе? Кем мне приходится командовать! Пещерные люди, папуасы, питекантропы! – полковник Колунов, возмущенный, туго завернувший в свою римскую тогу, погрозил Загинайло костлявым пальцем. – Паришь ты, Загинайло, хорошо. Ничего не скажу. Но не знать великую русскую литературу, нашу классику, нашу национальную гордость – это срам и позор! Чтоб Крестовского «Петербургские трущобы» прочитал оба тома, от корки до корки. Даю неделю. По ночам читай, как Горький в детстве. Через неделю вызову, будешь сдавать мне экзамен: перескажешь содержание и какие умозаключения в твоей умной голове возникли. Вон у тебя какая голова большая, лысая уже от мыслей, в двадцать шесть лет, башковитый, как видно, семь палат. Спиноза! – закончил злоязычной насмешкой свою ядовитую речь комполка Колунов.

Ефросинья Николаевна, дочь полковника Колунова, Фря, как он ее называл, готовила в отдельном помещении стол с вином и яствами. Так сказать, следующий номер программы, вторая ступень испытания новопоступившего офицера. Этот обычай был введен и соблюдался с тех пор, как Колунов стал командовать полком: новенький, принятый в тесно сплоченную офицерскую полковую семью, должен был пройти три испытания: баня, пир, стрельба в тире из автомата и пистолета. Загинайло посадили за стол, за которым собрались все свободные от службы офицеры полка, и ему налили богатырский стакан, или, как его называли – чарка папы. Это был не простой стакан, особенный, второго такого во всем мире не сыщешь. Его изготовили на заводе по специальному заказу Колунова. Лучший мастер-стеклодув выдувал этот перл. Это был стакан-башня, из толстого стекла, граненый, прозрачный, как горный хрусталь, и вмещал в себя ровно литр водки. Испытуемый должен был выпить его, не отрываясь, зараз, за один дух. Колунов сидел во главе стола, ждали его сигнала.

– Ну, что Загинайло, готов на амбразуру? – спросил полковник Колунов.

Тот кивнул.

– Тогда поехали! – махнул рукой Колунов. Все офицеры подняли свои обыкновенные столовые стаканы. Поднял своего великана и Загинайло, держа обеими руками как драгоценный сосуд. Поднес к губам.

Он одолел этот богатырский стакан героически. До доньшка. До капли. Стоя. Так полагалось. Поставил пустой стакан на стол. Все офицеры эти три минуты ждали в гробовом молчании, устремив на него свои упорные взгляды: не пошатнется ли он? Нет, он не пошатнулся, стоял мертво, как вкопанный в землю, железный столб. Весь стол разразился громовым ура. «Мировой парень!» – кричали офицеры. «Чарку папы одолел, не моргнув! Стоит, не шелохнется, глаза ясные. Водку дует, как Змей Горыныч! Ай да Загинайло! Наш! Свой в доску! В дубинку! Вот это по-русски!». Колунов улыбался своими ядовитыми серыми губами.

– Дайте ему что-нибудь на зуб! – приказал он. – Кровяной колбаски, поросенка с хреном. Не свалишься через пять минут под стол, – дам капитана. Свалишься – Фря тебя спать уложит в постельку, она у меня добросердечная, любит с детьми нянчиться, споет тебе баю-баю.

Загинайло не свалился под стол ни через пять минут, ни через полчаса. Хмель его не брал, голова ясная, только ноги свинцом налились, и язык говорил не совсем связно. Загинайло и всегда тяжело выговаривал слова, не любил он говорить, а тут пришлось отвечать на вопросы. Фря, дочь Колунова, девушка восемнадцати лет, сидела от Загинайло по правую руку. Очень он ей понравился, и она завела с ним приятные речи.

– А ты, Загинайло, кремень! – похвалила она развязным тоном, круто повернувшись к нему, опираясь локтем о стол и похабно-цинически разглядывая его. – Фигура у тебя, как у молотобойца. Ты что, из кузнецов?

– Ага. Угадала, – ответил ей, выдавливая слова, упорным языком Загинайло. – У меня прадеды – кузнецы. Дед был кузнец, известный по всему Закарпатья. Знаменитый был кузнец. Отец тоже кузнец был.

В это время Колунов, прервав его, зычно подал команду:

– Старший лейтенант Загинайло! Встать!

Загинайло, исполняя приказ, встал из-за стола.

– А теперь пройдишь шага три! – приказал Колунов.

Загинайло сделал три шага, ноги пудовые, как будто к ним по гире привязали.

– Ну, вижу, вижу. Будешь у меня на лучшем счету, – услышал он насмешливый голос комполка Колунова, в словах которого звучала нескрываемая оскорбительная нотка. – Ты покрепче своего брата на ногах держись. Тот на третьем шагу пошатнулся и грохнулся бы, если б под ручки не поддержали. К стеночке прислонили. А ты стоишь, как Александрийский столп. Тебя надо беречь. Посмотрим еще, какой ты у нас стрелок, и я тебя отпущу. По коням! – громко скомандовал Колунов. – Фря! Вставай! С нами поедешь, будешь этому орлу поводырем, крепче держи его под ручки, ты же любишь опекать молодых офицеров. Хотя немолодых ты тоже не пропускаешь, – добавил он с саркастической ухмылкой.

Все офицеры вышли на двор, к машинам. Большая часть поместилась в автобус. Полковник Колунов, замполит Розин, Фря и Загинайло сели в полковничью машину.

– На Львовскую! В тир! – приказал Колунов водителю.

– На Львовскую улицу! В тир! – скомандовал вслед за ним замполит Розин, как бы эхом повторяя приказ полковника.

Машина помчалась, ревя сиреной и крутя мигалкой. Загинайло не мог бы сказать, долго ли они ехали, и в какую сторону. Он забылся. Очнулся от толчка в плечо.

– Эй, ты, кузнец своего счастья! Просыпайся! – грубо, не церемонясь, говорила ему Фря. – Тир. Сам выползешь или помочь?

Загинайло отстранил руку помощи, и сам вылез из кабины.

Тир – длинный, двухэтажный кирпичный сарай. Офицеры полка во главе с полковником Колуновым, шатаясь на нетвердых ногах, во хмелю, пошли от машин, сгрудились у входа. Вахтер тут же распахнул дверь, и все прошли через турникет внутрь здания. В подвале тира ждал заблаговременно приготовивший все нужное полковой инструктор по стрельбе старший лейтенант Батенька, конопатый, вихрастый, в наушниках. Офицеры выстроились на огневом рубеже зыбкой шеренгой. Полковник первый справа, с ним замполит Розин и Загинайло. Тут же в шеренге офицеров, локоть в локоть с Загинайло, стояла и Фря, препоясанная широким ремнем с кобурой на бедре, в которой помешался ее личный пистолет, подаренный ей отцом, для самообороны, чтобы она могла себя защитить, если на нее где-нибудь на темной ночной улице нападут бандиты. Инструктор Батенька, в

своих наушниках похожий на тощую стрекозу, шел вдоль этой не совсем стройной, качающейся, как камыш, шеренги и раздавал горстью из котелка, наполненного медными желудями, каждому по 16 патронов. Протянул и Загинайло полную пригоршню на своей широкой, корявой, как грабли, пятерне, дружески подмигнув ему. Батенька, раздав патроны, отошел на шаг в сторону от шеренги за свой наблюдательный пункт, где у него на столике была установлена подзорная труба и лежал бинокль. Батенька хмурился, он не скрывал своего недовольства, не боясь вызвать гнев командира полка, и это можно было назвать отвагой. Все знали Колунова: как он любит оскорблять и унижать людей, бить по самым болезненным струнам, да не просто так, а всегда с каким-то подвохом и вывертом, садистски, втоптать в грязь, при свидетелях, не щадя самолюбия. И что примечательно, какой бы ты ни был молчун и скрытнич, найдет твою тайную жилку – и всё, ты в его власти, пропал. За эту жилку он будет тебя постоянно дергать, терзать и мучить, и уж не отстанет. Так что, хоть плачь, а патроны давай и молчи в тряпочку. Не твое собачье дело, что за одну такую ночную, внеплановую стрельбу офицеры израсходуют месячный запас патронов. Теперь личному составу полка, бойцам всех трех батальонов, на учебных стрельбах, положенных по графику раз в неделю, будут выдавать вместо десяти по одному патрону на человека. А потом удивляются, что снайперов в полку маловато. Батенька, омраченный этими мыслями, повернулся лицом к шеренге и скомандовал:

– Снарядить магазины! Оружие к бою! Огонь!

Раздался треск выстрелов. Опустошив обойму, перезаряжали пистолет, вставив запасной магазин, и без команды, самостоятельно продолжали стрельбу, лупили в двоящиеся и троящиеся мишени с их расплывающимися, как от камня на воде, насмешливыми кругами. Патроны иссякли, треск выстрелов прекратился. По команде «К осмотру мишеней! Марш!» – гурьбой побежали в конец тира, к щитам. Картина представилась грустная: почти все мишени удачно уклонились от зорко пущенных в них пуль. Однако были и исключения. Мишень командира полка Колунова была так издырявлена, что ей позавидовало бы решето. Мишень, в которую стреляла Фря, порадовала глаз инструктора Батеньки еще больше: ни одного промаха, пули легли густым роем в центр мишени, девятки, десятки. По мишени замполита Розина Батенька скользнул

презрительным взглядом: три попадания из шестнадцати, три семерки. «Портвейн замполит выбил» усмехнулся про себя Батенька, вспомнив марку любимого всеми вина. Зато у мишени Загинайло Батенька остановился ошеломленный, как громом оглушен. Такое он не ожидал увидеть. Загинайло вlepил в центр мишени все 16 пуль, все в десятку.

– Феномен! – наконец обрел дар речи Батенька. – Хоть на выставку! Сколько лет в тире, первый раз такое вижу. – Батенька, забыв снять наушники, все взирал на мишень и никак не мог оторвать от нее восхищенного взгляда. – Вот это стрелок! Я понимаю! Чудо природы! Вот, подлец, залупил! И откуда ты только такой взялся? Медведь медведём, а как стреляет! Нет, это надо ж! – продолжал изумляться инструктор Батенька. – Ты что ж, и из автомата такую же штуку нарисуешь? Э! Теперь ты у меня на стрелковых соревнованиях МВД первый приз возьмешь, чемпион будешь!

Все офицеры сгрудились у мишени Загинайло. Подошел и полковник Колунов. Он криво усмехнулся и не проронил ни слова. Молча пошел вон из тира. Все последовали за ним. Сели в машины. Всех развезли по домам. Загинайло и еще трех холостых офицеров отвезли в казарму.

6

Через трое суток на четвертый день утром в половине 8-го часа Загинайло опять явился в батальон на Г-й улице. Взвод по графику заступал в наряд. В дежурке он столкнулся нос к носу с плосколицым капитаном. Зампослужбе Железнов.

– А! Загинайло! – воскликнул он добродушно, протянув ему широкую руку для рукопожатия. – Слышал о твоих подвигах! – закричал Железнов. – Жаль, своими глазами не видел. Геракл! Мифы и легенды. Молва о тебе до Москвы докатилась, до министра внутренних дел. Готовь погон. Бери у старшины шило и дырявь для четвертой звездочки. – Железнов, взяв Загинайло под локоть, продолжал: – Идем ко мне, я должен тебе вручить одну птичку-невеличку. Переходной вымпел – золотая сова. Символизирует нашу службу охраны. Твой четвертый взвод признан лучшим подразделением в городе. Хоть это, извини, и не твоя заслуга, а, так сказать, воздаем запоздалую честь твоему брату Петру, это он свой взвод из разгильяев, какие везде и всюду, сделал железной боевой

единицей, как говорится, но тебе оказывают доверие, на тебя возлагают большие надежды.

Железнов привел его к себе в каморку, которую он громко называл кабинетом. Стены увешаны красочными чертежами оружия, схемы, указы правительства. Карта Октябрьского района, в полстены, под стеклом, прикрепленная по краям могучими, как на рельсах, гайками.

– Крадут карты, воруяги! – объяснил, помрачнев, Железнов. – Три раза тибрили. Им все равно, что тащить – ящик с гвоздями, мешок с цементом, икону, хреновину какую-нибудь из музея, ногу от мумии, переписку Екатерины Второй с Вольтером. Что охраняют, то и тащат. Не знаю, чем им карта моя приглянулась? – жаловался Железнов. – Карта как карта, ничего в ней нет. Медом, что ли, намазана? Или, может, спиртом пахнет? Но вот, верь, не верь, а парадоксальный факт: три раза карта исчезала у меня из кабинета. Повешу, месяц повесит, прихожу утром на службу: нет карты, голая стена! И ведь никаких следов. Шито-крыто. Эту пришлось болтами прикрутить к стене насквозь, с выходом в кабинет к Розину. Вот его картины почему-то не трогают, ни одна собака не покушается на его шедевры. А кабинет отхапал в три раза больше, чем у меня. Ему, видите ли, мастерская нужна, много места, чтоб свою мазню развешивать. Ты к нему и не суйся, не советую, начнет показывать свою мерзопакость, всего тебя красками перепачкает. Он же там сидит как сыч день-деньской и малюет свое «Явление Христа народу» – Держинского. В шинели, в сапогах, с маузером. Во всю стену засобачил. Он тебе еще не показывал это великое полотно, шедевр века? Будет звать, не ходи. Я тебе говорю: такая гадость, что потом сутки все дежурство будешь плевать, как будто тараканов наелся. – Железнов с ожесточением сплюнул в стальную каску у него на столе, которая служила ему пепельницей. Открыв сейф, он достал свернутый вымпел. Держа за древко, развернул его во всю ширину, как штандарт. Изображение летящей над городом золотоперой совы с громадными черными очами. Под ней, внизу, в правом углу – маленький, голубоватенький, как призрак, Медный Всадник. Сверху красными буквами – ОХРАНА. И сбоку – МВД. Зампослужбе, показав это символическое изображение, сам стал очень внимательно, в упор рассматривать, как будто видел его впервые, и что-то было ему там непонятно и приковывало. Наконец, исчерпав интерес к этому образу, протянул вымпел Загинайло.

– На! Забирай сокровище! Шелк-парча. Можешь себе вместо портянки в сапог намотать. Лучше б деньги подкинули, зная нашу нищету. Да! Дырявая башка! – Железнов хлопнул себя по лбу. – А ты, что ж, гаврик, молчишь, как цинковый гроб? Ты ж нуждающийся? А? Ты ж у нас еще ни гроша не получал! Так я понимаю? Тебе до двадцатого числа тянуть. Могу поделиться по-братски. В получку отдашь. Вон ты какой бледный, зеленые круги, утопленник краше. Чего доброго, ты у меня на инструктаже в голодный обморок упадешь! – Железнов полез в карман своего мундира.

Но Загинайло наотрез отказался от денежной помощи и своим решительным отказом, казалось, обидел великодушного капитана. В светло-серых глазах Железнова что-то померкло, и он сухо закончил:

– Ну, хозяин-барин. Тогда не задерживаю. Вали к своему взводу, уже восемь. Начинать инструктаж.

Загинайло с выпелом под мышкой вышел от зампослужбе и по коридору направился в помещение, где производился инструктаж наряда. Весь взвод собрался, без опозданий, по всему батальону гам и рев тридцати здоровенных глоток. Загинайло вошел. Взвод затих, как по команде. Два командира отделений, Стребов и Черняк, вскочили из-за стола, за которым еще с двумя милиционерами забивали «козла». Костяшки домино со стуком посыпались на пол.

– Взвод! Встать! Смирно! – подал запоздалую команду звонким голосом старшина Черняк.

– Вольно! – махнул рукой Загинайло. – Сесть и слушать. Вот, выпел! – Загинайло передал выпел старшине Черняку. – Поручено всех вас поздравить от имени начальника ГУВД. Вы – лучшее подразделение города, образцовый взвод. Заслужили честной и добросовестной работой. Это мой брат Петр, ваш бывший командир, должен был сделать. Но вот, делаю я. Поздравляю.

Взвод никак не отозвался на его речь. Хмурые взоры. Все хранили единодушное гробовое молчание. Загинайло хотел сказать им еще кое-что, но ему помешало внезапное происшествие. Тощий сержант, вскочив из-за крайней парты, бросился к окнам позади сидящих, яростно рванул грязную штору и, что-то бормоча, стал открывать форточку. Но форточка не поддавалась. Старшина Яицкий вчера забил ее наглухо гвоздями, на зимний сезон, чтоб эти недоумки, эти болваны, уроды проспиртованные, которым всегда жарко, не выстужали батальон. Сержант, уразумев бесплодность своих усилий,

недолго думал, снял с плеча автомат и прикладом вышиб стекло вдребезги. В душную комнату ворвался холодный ветер со двора.

– Линьков, ты что? Хлорофоса стакан с утра тянул? – взревел на него командир 3-го отделения Стребов. Это был его подчиненный. – Опять ты за свое! Воздуха тебе не хватает? Туберкулезник недолечившийся! Мне твои фокусы вот уже где! – Стребов резанул себя ребром ладони по горлу.

– Так дышать же тут нечем! – отчаянным голосом завопил Линьков. – Вонь от всех страшная, как будто год никто не мылся, рты у всех смрадные, хлебалы, несет как из помойки, сапоги эти вонючие, все потные, все в дерьме валялись, лучше со свиньями в хлеву жить, чем в этой душегубке мучаться на ваших разводах!

– Ах, какая неженка явилась! – прервал вопли Линькова Стребов. – Скажи, пожалуйста! Может, ты тут ландыши хочешь нюхать. Духами для тебя специально комнату опрыскивать? Гвоздикой, жасмином? Да на кой ты нам тут нужен, сопля чахоточная? Пиши рапорт. Отправим тебя обратно в санаторий. Пусть тебя там долечат. Там и дыши соленым морским ветром. Заодно и психику тебе там поправят, а то ты нам тут все окна раздубасишь!

Загинайло прекратил этот безобразный спор:

– Всё! Сесть на место! Начнем инструктаж. – Встав за фанерную трибуну и раскрыв толстую книгу в черной клеенчатой обложке, куда заносились свежие новости о преступлениях, совершенных в городе и стране, он объявил: – Приготовьте ручки и служебные книжки. Я буду диктовать, а вы записывайте. Тут много записывать, целую страницу. – Загинайло уже вполне освоился со своей новой ролью, он уже вник в эту службу так, как будто проработал не четыре дня, а четыре года. Он стал громко читать из книги:

– Циркуляр номер триста сорок семь. Фрунзенский район. Разбойное нападение, ограблена касса... – Но Загинайло не успел прочитать дальше. Внезапно вошедший в помещение замполит Розин прервал его важное сообщение на полуслове.

– Вольно, вольно! – закричал он, маша обеими руками, как журавль крыльями, хотя никто и не собирался при его появлении подавать команду «смирно».

– Явилась ворона! – произнес милиционер со скуластым монгольским лицом, который сидел за передним столом и мрачно взирал на бабью фигуру широкобедрого и пузатого замполита.

– Где почетный вымпел? – возопил замполит Розин. – Дай сюда! – потребовал он, разъяренный, и вырвал вымпел из-за голенища командира отделения Черняка, куда тот его засунул за неимением другого подходящего места. – Как ты обращаешься со знаком почести! – набросился он на Черняка. – От кого, от кого, а от тебя, Черняк, такого кошуинства я никак не ожидал, ты же не дикарь, музеи посещаешь. Мне доложили, что ты вчера был на новой выставке австралийского искусства в Эрмитаже. Опять же, рисуешь! Графики работы взвода цветными карандашами так сделал – заглядишь! Стенгазеты – опять же ты! Регулярно и безотказно. За что и великая тебе благодарность. Но как тебе пришло в голову засунуть вымпел в такое место? Ты бы его еще в штаны себе засунул! Безобразие! Эх, соколики! Не ожидал, не ожидал я от вас... – оскорбленный в лучших чувствах замполит Розин держал вымпел над своей головой, эту попорченную святыню, как будочник держит флажок при приближении поезда. – Надо его поставить на видное место! – торжественно провозгласил Розин.

Неизвестно, куда бы замполит поставил злосчастный вымпел. В коридоре раздался грохот тяжелых сапог, дверь распахнулась, в помещение ворвался прапорщик Бабура, который отсутствовал на инструктаже наряда по уважительным причинам. Его мясистое, как кровавая котлета, лицо тряслось.

– Чижика замочили! – прохрипел он. – Сегодня ночью. Там все теперь, и Бурцев, и Колунов.

– Подожди, подожди, Бабура! – остановил его замполит Розин. – Опять ты басни сочиняешь? Но если действительно, как ты тут при всех утверждаешь, младший сержант Чижов погиб на посту, при исполнении служебных обязанностей, то его семье по закону должны будут выплатить пособие в размере десятикратного жалования, а также полностью оплатить расходы на похороны. Насколько я помню, у него многодетная семья, да... – поугрюмев, проговорил замполит Розин тихим голосом, чеша вымпелом свой затылок и сдвинув козырек фуражки на скорбные брови. – Да, траурную весть ты принес, Бабура. Но что ж делать. Продолжайте развод, Роман Данилыч, – обратился он к Загинайло. – Работайте, работайте. Не унывать! Что ж тут попишешь, такая у нас служба. Сегодня прыгаешь, завтра – в гробу ножки протянул. Да, Чижов такой живчик был, с него портрет писал, так он секунды не мог усидеть на стуле. Но!... Мemento мори! Не

падать духом, соколики! Веселей, солдат, гляди. Как в песне поется! – замполит Розин, держа перед своей грудью вымпел, поспешно покинул помещение.

Взвод шумел. Обсуждали происшествие. Штора колыхалась на разбитом окне, комнату наполнял холодный воздух снаружи, но он не остужал спорящих. Загинайло оставался за своей фанерной трибуной. Он не вмешивался. Его не тревожило то, что он еще чего-то тут не знает. Скоро выяснится. За три дня он хорошо приготовился к исполнению своей должности, штудировал уголовный и административный кодексы, устав патрульно-постовой службы (сокращенно ППС), различные пособия, криминалистскую и юридическую литературу. Этот ускоренный курс наук он прошел самостоятельно, запершись у себя в каморке в казарме. Ему ничто не мешало, ни шум, ни громкий стук в дверь, ни рев, ни хор мертвецов за стеной в соседней комнате, где жили два товарища, такие же два командира взвода, только из другого батальона. Загинайло все освоил и запомнил, все существенное, что есть в этих книжках. Ему запала в ум фраза, прочитанная в одном из пособий: «Надо понять дух этой профессии. У каждой профессии есть свой дух». Что ж не понять, если сам тут... Подождав минут пять, пока накричатся, выпустят пар, он поднял кулак и грозно гаркнул, подавляя шумящие голоса:

– Прекратить прения! Прапорщик Бабура! Пишите рапорт о происшествии! У вас ведь по всякому случаю рапорта пишут, как я понимаю. А мы продолжим инструктаж. Итак, тема инструктажа: права и обязанности сотрудника милиции. – Загинайло тяжелым взором посмотрел на взвод. – Я думаю, вы все лучше меня знаете свои права и обязанности. Эта тема у вас гвоздем в черепе. Ваш хлеб.

Тут его перебил командир отделения Стребов:

– Ни хрена они не знают! – взвизгнул он злобно. Видно, это было его больное место. – На каждом инструктаже им долбим и долбим. Уж, кажется, даже у микроба ума хватило бы запомнить. У какой-нибудь хламидо-монады, инфузории-туфельки. А спросишь на следующем дежурстве: ни бум-бум. Фомы, Еремы. Как о стенку горох. В одно ухо влетает, в другое вылетает, со свистом, как пуля. Так что, брось ты это бесполезное занятие, Роман Данилыч. Пустая трата сил и нервов. У них у всех котелок с дыркой, что с них возьмешь. Они одно право на зубок знают: пожрать, поспать, да на бабу влезть. А насчет обязанностей – это наш замполит Розин знает лучше всех, он в

свободное от живописных работ время сообразительности всем нам на новый месяц сочиняет с учетом индивидуальности каждого. Ты лучше им анекдот расскажи.

Прапорщик Бабура, занятый писанием рапорта, не вытерпел:

– Стребов, балабон, закрой зев! От твоей брехни все мысли спутались. – Роман Данилыч, – обратился он к Загинайло, – закругляйся. Отпусти взвод на посты. Потолковать надо. Чп это, знаешь...

Прапорщик, подойдя вплотную, зашептал в ухо Загинайло, обдавая его табаком и перегаром:

– Тут твой брат Петро аукнулся с того света, наш дорогой бывший командир. Вот из-за таких ублюдков он и погорел, – прапорщик показал взглядом на взвод.

Взвод был распущен на посты и все милиционеры ушли до единого человека. Загинайло остался с глазу на глаз со своими командирами отделений. Он спросил у них напрямик:

– Ну что, святая троица! Выкладывайте, что там у вас.

– Что выкладывать? – огрызнулся Стребов. – Ты, взводный, сам уже во всё влез. На одну зарплату и верблюду двугорбый не проживет в наше время. Жировых запасов нетути, одни только хрящи да сухожилия! Как тут существовать! Командиру отделения пятерку сраную дают в прибавку за все его непосильные, титанические труды! Это ж курам на смех! Одних сапог за месяц десять пар сотрешь. Подметки так и горят. Тротуары с солью, с песком, с кислотой. Без ног скоро останусь. Инвалидную коляску и ту, сволочи, ведь бесплатно не дадут!

– Стребов, заглохни ты! – свирепо зарычал на него прапорщик Бабура. – Тарахтишь, как мотоцикл Яицкого. Черняк, вот он подтвердит. Ювелирсклад этот на Петроградской, вот, где сегодня ночью Чижика, прикреплен к нашему взводу. Туда твой брат Петр Данилыч любил навещаться, часто там бывал. Эх, камешки, камешки! Изумрудики, брульянтики!

– Постой, Бабура, – пресек прапорщика внимательно слушавший его речь Загинайло. – А чей взвод дежурил этой ночью? Из какого взвода этот Чижов?

– Как из какого? – изумился прапорщик. – Второй взвод, командир взвода Корзинкин.

– Так ты, Роман Данилыч, Корзинкина нашего еще не видел? –

опять вмешался в разговор Стребов. – Этот прощелыга далеко пойдет! В академии учится. С иглочки, щеголь, мундирчик, брючки, фуражка-аэродром, по спецзаказу шил. Тулья в полметра, как у гестаповца. Я, говорит, кадровый офицер, кровный. У меня, говорит, родословная, предки военные из поколения в поколение, армия и флот, кровь проливали за великую державу, за Россию-матушку. Вот и он – по стопам отцов. А какая там у него родословная! Вошь камчатская!

– И что же? – спросил Загинайло. – Часто тут у вас такие чп?

– Да почему ж часто! – запротестовал прапорщик Бабура. – Это если всех взять, во всех взводах, в трех батальонах, во всем полку, то наберется, конечно, за год-то. Каждый месяц, считай, что-нибудь происходит. То прирежут, то задушат, то пристрелят. Примут новый пост под охрану – жди, будет чп. Правило без исключений. Закон. Но это у других. А наш взвод особый. У нас ничего такого не бывает. До сих пор эта беда нас миновала. То есть, не совсем. Два-три за год. Это мелочи. Норма. Ты же сам видишь, Роман Данилыч, у нас ребята серьезные, зубастые, палец в рот не клади. У нас не какая-нибудь размазня, каша-малаша, мамалыга, пюре. У нас бойцы на подбор. Это Петро, твой брат незабвенный, всех разгильдяев повыгонял, а набрал к себе с бору по сосенке, переманил из других взводов. Такие молодцы – спецназ позавидует. Твой брат Петро, наш любимый командир, погиб героем, а мы свято храним его завет, взвод не распустился, держали крепко, тебя ждали, как собака своего хозяина. Может, ты не знаешь, мы ведь всем взводом составили коллективное письмо на имя командира полка Колунова с просьбой, что никого не хотим к себе во взводные, кроме как родного брата нашего бывшего командира Петра Данилыча – Романа Даниловича Загинайло, о котором он нам часто рассказывал. Так что командуй, Роман Данилыч, а мы будем беспрекословно выполнять все твои приказания. Так сказать, бразды правления в твоих надежных железных руках!

– Во Бабура заливает! – захохотал Стребов. – Чего ты лепишь? Какое письмо? Что-то не припомню.

– Было, было письмо! – подтвердил с серьезным видом молчавший до сих пор старшина Черняк. Ты в отпуске был, вот и не знаешь. Мы с Бабурой текст составили, и весь взвод подписался. За тебя тоже подпись поставили, Стребов, так что не думай, что ты тут в стороне.

Стребов раскрыл рот выразить свое категорическое несогласие.

Но тут в дверь просунулась курчавая цыганская голова. Лучистые глаза, круглые, как черешни, весело блестели. Дежурный по батальону сержант Горячев. Он дежурил вместо Волыны, потому что гнев комбата Бурцева не остался для Волыны так уж и без последствий: от удара тяжелым чайником по голове у него на следующий день обнаружилась черепно-мозговая травма.

– Четвертый взвод! – закричал Горячев, – у вас тут что? Колхозное собрание? Президиум заседает? Тайное голосование за закрытыми дверями? Галопом к телефону! Папа требует. Николай Кирьяныч не в духе. Орет в трубку, так что у меня чуб на затылок сдуло. Снимет с вас стружечку. Давай, давай, взводный, крути педалями, привыкай!

Загинайло пошел в дежурку к телефону. Отрапортовав, как положено, услышал в трубке резкий голос комполка Колунова. На него обрушился поток грубых оскорблений: «Загинайло! Мать твою! Сопли жуешь! Почему до сих пор в батальоне? Чп, подарочек мне на именины, на весь город прогремели, в газетах трезвон, что было и чего не было, а ты прохлаждаешься! Какой ты, в такую мать, командир взвода! Ты и на флоте наверное где-нибудь в штабе терся, к адмиралу примазался. Крыса корабельная! Живо на Петроградскую! Чтоб через пять минут был на месте! Хоть на самолете! Хоть на оленях! Меня это не касается! – комполка, оборвав возражения Загинайло, бросил трубку.

Делать нечего. Надо было отправляться на Петроградскую, на Большой проспект, где находился ювелирсклад. Но на чем? На метле? Городской транспорт – это когда доберешься! Загинайло пошел в гараж во дворе. Там другой водитель, не Чумко, а Жвардин ремонтировал служебную развалюху. Перепачканный, как черт, Жвардин только сплюнул на бетонный пол злым плевком. Какое там ехать! Он уж полгода пытается вдохнуть жизнь в этот проклятый луноход, но пока никаких признаков движения в этой груде металлолома он не наблюдает. Загинайло вернулся в батальон. Дежурный Горячев, цыганский барон (так его звали в батальоне) объявил ему радостную весть: что Загинайло подбросит на место командир 3-го взвода Гриша Русланов. На мотоцикле Яицкого. Сам старшина не может сесть в седло, радикулит разыгрался, а вот доверяет своего «зверя» Русланову, тот автомобилист, парашютист, эквилибрист, каскадер и хрен знает кто еще. Гонщик, ас, мигом

домчит. На юридическом в университете учится, пятый курс, так что он тут недолго задержится, полетит орел за облака, только его и видели. А профессор по истории права там знаешь кто? – заключил вопросом говорливый дежурный. – Тоже цыган! Как я! Самый умный народ в мире – цыгане! Запомни это хорошенько! – гордо и высокомерно проговорил Горячев, вскинув свою черно-курчавую голову с жесткой, как у жеребца, шевелюрой, которую он брезговал покрывать каким-либо головным убором.

Загинайло, криво усмехаясь своей мрачной усмешечкой, подошел к Горячеву вплотную и заглянул ему в глаза твердым и тяжелым взглядом.

– А вот скажи, мой брат Петр умный был человек? А, Горячев, что ты думаешь на этот счет?

Горячев отшатнулся, смущенный.

– Петро был ножевой парень, смелый, риск любил. Он как цыган был. Наше племя. Сумасшедший, бешеный. Только не так, как этот буйвол Бурцев. Петро умный был. Вот с Гришей Руслановым они друзья были.

– Ладно. Где твой юрист-эквилибрист? – потребовал Загинайло. – Пора ехать.

Горячев не успел ответить. Вошедший в дежурку крепыш в мотоциклетном шлеме и кожаной куртке с милицейскими погонами, тоже старший лейтенант, звонко и мажорно спросил:

– Барон! Где мой пассажир? Конь запряжен, копытами перебирает! А! Будем знакомы. Русланов, командир третьего взвода. Рад видеть. Командир четвертого? Давно, давно хотел руку пожать! – Рукопожатие Русланова было горячим и сильным. Этот крепыш кипел неисчерпаемой энергией, излучал оптимизм, при этом был вежлив и деликатен. Он сразу расположил к себе тяжелую и недоверчивую душу Загинайло.

– Друг моего брата мой друг, – ответил он. – Ты о Петре мне еще должен рассказать. Ну, потом, посидим спокойно и расскажешь. Поехали, значит. Четыре дня у вас, а столько уж всего, как в пробоину валит, темные у вас тут дела.

– Да. Чего, чего, а тьмы у нас тут хватает, – согласился Русланов. – И тьмы и мрака. Роман? Рома? Пошли, Рома. Шинель застегни на все пуговицы, продует. Замерзнешь в коляске, как сосулька. Ветрюга с залива.

Оба командира взвода вышли из батальона на улицу. Там уже стоял готовый к поездке «зверь» старшины Яицкого, могучий мотоцикл с коляской.

Пулей домчались. Ювелирсклад, вход со двора, подвальное помещение, три, одна за другой, железных двери, замки, решетки, сигнализация. Как грабители – могли проникнуть? Как произошло убийство? Непонятно. Все двери на склад – нараспашку. Оба командира взвода вошли беспрепятственно. Постовой милиционер сержант Кантимиров сидит себе на стуле, задрал сапог, изучает развернутую во всю ширь газету. Заметив вошедших Загинайло и Русланова, он зевнул, убрал газету, лениво накрыл лысый лоб козырьком.

– Зад к стулу приклеился? – спросил Загинайло.

Русланов, командир 3-го взвода, оставаясь в своем мотоциклетном шлеме, тоже подступил к невежливому сержанту:

– Кантимиров? Что с тобой? Почему не рапортуешь? Может, тебя парализовало от всех этих событий?

Сержант презрительно усмехнулся, еще выше задрал свой сапог. Казалось, он и не думает встать со стула и проявить почтительность к прибывшему на пост начальству. Русланов хотел уже применить к этому нахалу крутые меры, он-то хорошо знал нрав Кантимирова. Но тут в помещение влетел неизвестно откуда взявшийся еще один взводный, командир 2-го взвода Корзинкин, тот самый, у которого родословная, предки-полководцы во тьме веков. Фуражка, да! Не врал Стребов. Шире Финского залива! Подскочил к милиционеру:

– Кантимиров! Кабан! Морду сворочу! Стоять по стойке «смирно» перед командирами взводов!

Сержант вяло поднялся, наглый взгляд.

– Доложи по уставу, что у тебя тут? – потребовал, кипя злобой, Корзинкин.

– Иди ты, Корзинкин, к татарской матери! – ответил, опять зевнув, нахальный сержант. – На свою кошку ори, а на меня нечего глотку драть. Наслушался горлопанов за десять лет службы. Заступишь на пост – и пошла карусель. Мчатся проверять, как Кантимиров работает. Туча начальников, как саранча. От мала до велика. В час по десять человек. Все начальники! Дармоеды! Всей ордой на одного работающего Кантимирова. Семеро с ложкой, один – с сошкой. Проверить всем им надо, чем Кантимиров на посту занимается: девок-кладовщиц щупает, или на очке сидит? Набрасываются, как тигры, и каждый орет – от командира отделения до генерала из ГУВД. За

дежурство оглохнешь от криков, как в кузнечном цеху или на полигоне, где нашу боевую мощь испытывают.

Загинайло, удивленный таким яростным отпором, достал свою новенькую офицерскую книжку, где были записаны краткие биографические сведения о всех милиционерах его взвода. Кантимиров был его подчиненный. Любопытный тип. Загинайло стал читать вслух из книжки:

– Кантимиров Олег Евгеньевич. Тридцать пять лет. Женат. Трое детей. Десять лет службы в органах МВД. Так вот, уважаемый Олег Евгеньевич, будьте так любезны, поведайте нам, что произошло у вас на посту за время вашего дежурства?

– Опоздали маленько, – ответил хмуро Кантимиров. – Все уколесили, и командование и оперативники. Четверть часа назад. Чижова в морг, естественно, башку тряпкой накрыли. Башки-то, считай, нет. Из пушки в него били, что ли? Мозг со стенок соскребали.

– А командир полка? Колунов? Что приказал? Передать нам что? Почему склад нараспашку? – грозно подступил к нему опять Корзинкин.

– Колунов тоже уехал. Вот только-только укатил. Ничего он мне не приказывал и передавать мне вам нечего. А склад нараспашку – потому что нечего там теперь охранять. Все до последнего камешка и последнего перстенька подчистили. Хоть веником подметай. Пусто, как у меня на голове, – Кантимиров снял фуражку и погладил себя по голой, как бульжник, лысине.

– А сигнализация? Не сработала? За укрепленность объекта кто отвечает? – допытывался назойливый Корзинкин с такой властью, как будто он был не командир взвода, а, по меньшей мере, подполковник, зам самого Колунова.

– Какая там, к черту, укрепленность! – презрительно отмахнулся Кантимиров. – Все на соплях. Гуляй-поле, ветер свищет. Кнопка сигнализации не сработала. Чего тебе еще?

– Починили? – спросил, напирая, неугомонный Корзинкин. Оба других командира взвода, Загинайло и Русланов, словно сговорясь, уступили инициативу и не препятствовали кипучему энтузиазму Корзинкина, сурово стояли рядом, плечом к плечу и не вмешивались.

– Устал я стоять перед вами, чайники-начальники! Да еще отвечать на дурацкие вопросы! – объявил Кантимиров, злобно

посмотрев на троих офицеров. – Извините за грубость, но пошли вы все трое на хрен! – Он опустился на свой стул, нога на ногу, опять завесился газетой. – Если тебе, Корзинкин, такая охота языком чесать, – прибавил он из-за газеты, – то сам у Темрюченко, начштаба полка и выясняй. Он тут с Колуновым был. Он тебе быстро растолкует, этот орангутанг, из зоопарка сбежавший: сапогом топнет, кулаком хлопнет. А лично я что-то тут мастеров по сигнализации и во сне не видел. Кнопочка так, для украшения, красненькая, нажмешь – таракан выползет или клоп. А больше тут ничего не увидишь.

– Где ж тебе что-нибудь из-за газеты увидеть! – взвизгнул, как поросенок, в бессильной ярости Корзинкин. Фуражка-аэродром съехала на ухо. – Хотя бы сквозь дырку зри, как шпион! – и Корзинкин своим длинным, костлявым пальцем, как гвоздем, проткнул газету Кантимилова, едва не выколов ему глаз.

Все три командира взвода покинули ювелирсклад, оставив невежливого стража в одиночестве. Погода мерзкая, морось, муть. Беды не кончились. Мотоцикл старшины Яицкого заупрямился. Заводиться не хотел. Русланов остался с ним возиться, а Загинайло и Корзинкин пошли пешком по Большому проспекту Петроградской стороны – к стадиону Ленина.

– Вот и работай с такими! – высказался, все еще кипя, Корзинкин. – Давно бы надо пинком в зад, в народное хозяйство, пусть там, хамло, права качает. А – терпим. Да и парень-то он неплохой. В огонь и в воду. Перворазрядник, умный, башка. А с норовом, на дыбы, конь Клодта! Может, тебе, Загинайло, удастся его укротить. Нам – никак. Даже сам Колунов редко к нему нос сует, пост его стороной за километр объезжает.

Прошли весь проспект, повернулись лицом к стадиону Ленина. Вдруг повалил сырой снег, густо-густо, лавиной, залепил их с головы до ног, надел на их шинели еще по одной, толстой, снежно-тающей. Вот и иди, такой-сякой, убеленный, вслепую, с залепленным лицом, туда, не знаю, куда. Два лейтенанта, а, может два полковника, на плечах по сугробу, а шапка в папаху выросла...

Офицеры расстались, у каждого из них свои дела. Загинайло весь день и всю ночь, сначала в сопровождении прапорщика Бабуры, потом один, ходил от поста к посту, проверял службу милиционеров своего взвода. Он уже свыкся, освоил эту специфику, с прошлого дежурства точно запомнил, где что. Память, глаз. Цепкость, зоркость. Все, все приметил, что другой не увидит. Наблюдательность – одно из его

достоинств. Что есть, то есть. К концу смены притомился, ноги гудели, как чугунные. На флоте такого труда ногам не бывает. Мог бы, конечно, прикорнуть на каком-нибудь посту часок-другой, да и не без комфорта, на мягком кожаном диване, до шести утра, когда транспорт начинает ходить, как советовал ему прапорщик Бабура, но он этого послабления себе не позволил.

После дежурства, на следующий день, в 8 часов утра, сдав смену командиру 1-го взвода Шаганову, тому самому горластому усачу, который ничуть не погрустнел с их последней встречи, Загинайло вернулся к себе в казарму. Бездумно прошел мимо вахтера и поднялся по ступеням на свой этаж. Только б до койки, брякнуться, в чем есть, не разоблачаясь, и задать хорошего храпака на полсуточек. Вставил ключ в замочную скважину, а открывать-то нечего, дверь незаперта. Любопытные дела. Входит. Кто-то тут есть. Сюрприз. Фря! Незваная гостья. Дочь полковника Колунова. Парилочка, чарка папы и доченька впридачу. Постель разобрана, простыня – сама белоснежность, снега заполярные. Фря на постели развалилась, голая, смуглая, голову к нему повернула, татарские скулы, глядит грубо и нагло глазищами раскосыми. Кобыла!

– Сменила белье. Свое из дома принесла. Ты, Загинайло, живешь как в хлеву. Как свинья, по уши в грязи. Ну, что стоишь, хлебло разинул? Скидай шмутки и – в постель! К станку! За работу! Живо! – проговорила Фря тоном приказа, не терпящим возражений. О! Голос у нее – сталь, дочь своего отца.

Фря засмеялась, томно потянулась, распростертая на постели, закинула руки за голову.

– Эх, Загинайло! – сказала она, как бы смягчаясь. – Ты послушай, у меня есть сестренка, школьница, девять лет. Вот я ее вместо себя потом тебе приведу. Пора ей уже начинать. Хочешь? А ты – водку жрать мастак. Илья-Муромец. Ведрами. Эх, ты, Загинайло, Задирайло! Дракон татуированный!... Считай, что тебе еще одно испытание. Постарайся. Твой брат Петр на этот счет был, что надо. Крепыш, как ты, только плечи не такие широкие, поуже, и ноги у него были – ну, Аполлон Бельведерский! А у тебя – как у полярного медведюги. Коротенькие, кривые, в шерсти, и шерсть-то какая-то сивая! Тьфу! Может, у тебя и когти, как у медведя?... Ну-ка, показывай!...

Загинайло проспал весь этот день и ночь, до утра. Проснулся. Один. Фря ушла, оставив ему на столе деньги и записку: «Заработал». Загинайло не погнушался этой платой за постельный труд, на этот счет

у него не было предрассудков. У Фри рука щедрая, отвалила ему «капусты» в размере его месячного жалования. Загинайло опять надел на себя все флотское. Штатской одежды он пока не приобрел. Пообедал в ресторане. Пить ничего не стал, ни рюмки. Не оттого, что не привык пить в одиночестве, а – важное дело предстояло сделать в этот день и требовалась трезвость. Этот день был у него свободный от службы. Загинайло купил в булочной каравай круглого ржаного хлеба. В хозяйственном магазине купил толстую простую свечу. Вечером он поехал на трамвае через Петроградскую сторону, к Островам. Он вышел на берегу Малой Невки, спустился к воде в том месте, где, как он узнал, нашли два месяца назад труп его брата Петра с проломленным черепом и привязанной к груди чугунной болванкой. Загинайло озирался. Безлюдное место. Достал из-за пазухи своей флотской шинели каравай ржаного хлеба, еще теплый и пахнущий свежим хлебным духом. Из кармана вытащил свечу, воткнул ее в середину каравая, зажег свечу спичкой и пустил каравай с горячей свечой по воде, вниз по течению. Загинайло присел на корточки на берегу и следил, как каравай с горячей свечой уплывал дальше, дальше, в сторону залива, во мрак, в ночь. Поминанье по древнему славянскому обычаю, весточка брату Петру на тот свет, в страну мертвых. Ветер набрасывался, ветер-зверь, темный, злой, гнул и трепал пламя, дул на него бурным дыханьем, но стойкое золотое сердечко не сдавалось, не гасло. Загинайло тихо запел:

Отдав мене мой батенько та за воеводу.

У чужой край, сторононьку, далеко от роду!

Ой вырву я с рожи квитку та пуцу на воду.

Плыви, плыви с рожи, квитко, аж до моего роду...

Уплывающий огонек был уже далеко, мигнул последний раз и исчез. Загинайло встал. Он стоял, широко расставив ноги, напряженный, угрюмый, скулы, сжатые кулаки. «Потерпи, Петька, еще кроху», – проговорил он. «Я отомщу за твою погибель. Ты не беспокойся. Клянусь. Клятва моя тверже железа. Найду гадов и на этом самом месте перережу горло. Каждому. Всем до единого. Кровь за кровь». Загинайло усмехнулся. Мрачная, кривая его усмешечка. Взглянул еще раз, пристально, на течение темной, мертвой воды, как будто хотел в ее черной глубине запечатлеть навсегда силу своего взгляда и удержать хоть на миг бег реки, вздохнул глубоко и пошел прочь с этого скорбного места.

Командир взвода обязан посещать на дому каждого своего подчиненного – для ознакомления с его домашней жизнью. Загинайло начал по порядку, как у него в служебной книжке записано: с командиров отделений. Первым в списке – прапорщик Бабура. Но Бабура не мог принять гостя, ему за 20 лет безупречной службы дали, наконец, отдельную конуру, а то бы век в казарме ютился. Он бобыль, по убеждению. В новополученном жилье ремонт затеял, белит, красит. Гостя негде посадить. Старшина Черняк тоже попросил подождать. Посещение его халупы, как он выразился, нежелательно. К нему куча родичей нагрянула, у него сейчас не дом, а стойбище, ночной стан. Он сам оттуда сбежал и носа показывать не хочет, в батальоне на лавке спит. Третий в списке командир 3-го отделения Стребов не возражал. Он готов принять Загинайло хоть завтра. Как раз воскресенье, вся многолетняя семья Стребова будет в сборе, и он наглядно сможет показать своему взводному, как ему весело живется.

Во второй половине дня, в воскресенье, Загинайло навестил Стребова в назначенный час. Стребов жил в Невском районе, в двухкомнатной квартире. Гостя он встретил, будучи в тельняшке и трусах. Повел Загинайло в комнату, где за длинным столом собралась вся семья.

– Вот, командир, видишь, как мы живем! – показал Стребов. – Как кильки в томате! Нас тут на площади сорок квадратных метров – десять душ! Сам посчитай! Они тут все и на тебя смотрят. Знакомься! – Стребов стал поочередно указывать перстом на молча вззирающих из-за стола домочадцев: – Вот считай! Жена моя, Марина – раз! Теща – два! Тесть – три! Это – брат, не мой, а жены. Балбес. Дубина демобилизованная. Полгода не работает и не думает. Четыре! Этот вот – бледная поганка! Это-то и есть мой приемный сын, о котором я тебе говорил. Вениамин, он астматик, тринадцатый год лбу, кашляет и кашляет, по ночам спать не дает. На лечение этого уroda весь семейный бюджет уходит, обрезаем себя во всем, картошка да селедка – вот наша трапеза. Младенцу не на что соску купить, орет с голоду как пожарная сирена. Вот он, в углу, в кровати, проснулся. Подожди, сейчас заорет, так что люстра рухнет и стекла из окон повьлетают. Еще дочь есть, наша с Мариной, где-то шляется. Ну, вот, все члены семьи. Посчитай, сколько ртов? А? Целая рота! Ну и скажи, командир, по-честному скажи, можно простому милиционеру жить на такие

харчи в нечеловеческих условиях? А? – разбушевавшийся Стребов со всей силы грохнул кулаком по столу. – Ты, командир, очевидец: моя семья остро нуждается в материальной помощи. Я хоть сейчас готов сесть за стол и писать рапорт, чтоб подкинули посильную сумму астматику на лекарство.

Загинайло, посаженный на почетное место перед всей собравшейся молчаливой семьей, выслушал тираду Стребова хмуро и бесстрастно.

– Ладно, Стребов, – сказал он, вставая. – Вижу, живешь ты действительно тесноватенько. Дико живешь. Ясно. Что могу, сделаю. Рапорт ты в батальоне напишешь. Ну, прощевайте. – Загинайло направился к выходу.

– Да как же так! – взвился Стребов. – А бутылочку распить! Мы же бутылочку приготовили, портвейнчик, угощение, варенички. Марина у меня мастерица на варенички, язык проглотишь. Эй, вы, семья! На колени все! Просите, умоляйте! Роман Данилыч, гость дорогой, посиди с нами, не погнушайся обществом бедных людей, нищих и оскорбленных. Чем богаты, тем рады! Ну!

И вся семья Стребова, действительно, всей кучей бухнулась на колени перед Загинайло и возопила благим матом:

– Роман Данилыч! Роман Данилыч!

Загинайло остановился у двери.

– Слушай, Стребов! Кончай ломать комедию. Ты, директор сумасшедшего дома! Выйдем-ка! Мне с тобой надо с глазу на глаз покалякать.

Стребов, покорный и смиренный, поспешно оделся, и они вместе вышли на улицу. Рядом с домом скверик, туда и направились. Сели на скамейку. Скверик безлюдный. И такой у них там был интересный разговор.

– Видишь, командир, садик какой хороший, – заметил Стребов. – Теперь-то никого, а вечером алкаши везде, под каждым кустом, орут, песни поют и рот у всех полон грязи. По утрам я тут бегаю в свободное время, в тренировочном костюме, физзарядка, чтоб в форме быть.

– Ты, Стребов, вот что, – Загинайло придвинулся и заглянул ему в глаза, словно в самое его нутро, своим тяжелым, неподвижным взглядом. – Ты, Стребов, зубы мне не заговаривай. Это тебе не поможет. Я ведь знаю ваши делишки. Ювелирсклад этот. Чижова, может, ты сам? А?

– Зачем сам? И без меня есть, – спокойно отвечал Стребов. – Ты зря тревожишься, Роман Данилыч, – продолжал он, вытаскивая из-за пазухи объемистый пакет. – Вот. Твоя доля. Бери. Львиная доля-то. Чин-чинарем. Десятая часть. Десятина. Ха-ха. Бери, бери, не стесняйся. По справедливости. Такой же кусок был и твоему брату Петру. Тебе делать ничего не надо. Мы все сами, а ты только денежки в ручки получаешь. Мы работаем, ты – молчок, рот на замочке. Шито-крыто. Ну как? Договорились?

Загинайло, молча, не отвечая на вопрос, взял из рук Стребова пакет, положил к себе во внутренний карман шинели.

– Ты, Роман Данилыч, как колбасу суешь, – обиделся Стребов. – Не просто они достаются, эти фантики, нет-нет, да и трупик, уж их накопилось, ой-ой! Крематорию месяц работать. Прокурору не понравится.

– А это, Стребов, ваши заботы, – держа кулаки в карманах и вставая со скамейки, ответил Загинайло. – Прокурор, не прокурор, а чует мое сердце, что лежать вам всем троим, друзьям-приятелям, где-нибудь на дне залива, в одной связке, и тебе, и Черняку, и Бабуре, с проломленными черепахами. Вот как брата Петра кто-то порешил. Я такой сон сегодня ночью про вас видел, про вашу святую троицу. Вещий это сон. У меня, видишь ли, бывают вещи сны. Спасибо за подарочек. Будем считать, первый взнос. Должок за вами. Вы мне за два месяца задолжали. Но теперь у нас будет другой расклад. Вы, соколики, еще отчитаетесь, когда придет час. Вам еще, братья-разбойники, придется доказать свою невиновность, как это у юристов говорится, что не вы брата Петра жизни лишили. А пока вот что: теперь у нас будет немножко другое распределение долей, маленькая поправка: вы мне будете теперь давать не десятую, а – пятую часть, – твердо, глядя сощуренными темно-карими глазами, объявил Загинайло.

Стребов, помолчав, сплюнул себе под ноги. Усмехнулся.

– Круто берешь, Роман Данилыч. Быка за рога. Крутые у тебя поворотики. Не знаю, не знаю. Мне-то что. Пятую, так пятую. Пусть мой астматик сдохнет, если ему на лечение бабок не хватит, и Маринка моя пусть хоть охрипнет от крика, что я грошей в родное гнездо мало ношу. А вот, что взвод скажет? У нас ведь все почти, как я, семейные и многодетные. А Бабура, а Черняк как на такое радостное нововведение посмотрят? Они ведь не такие добрые и покладистые,

как дурак Стребов. Не знаю, не знаю. Я бы тебе не советовал так, с топора, Роман Данилыч. Ты подумай. А то ненароком косточкой подавишься, как журавль у нашего великого русского баснописца Ивана Крылова, не помню отчества, но я очень люблю читать его басенки, моральные уроки, так сказать. Твоему брату Петру, говорят, тоже все мало было. Слухи такие, краешком уха слышал. Может, брешут.

– Я решений своих не меняю, – отрезал Загинайло. – придет время, мы еще продолжим эту увлекательную беседу, и у тебя, Стребов, будет возможность поупражнять свое остроумие. А на сегодня – поговорили. Хватит. Кругом! Марш! – скомандовал он.

Стребов шутовским манером исполнил команду и пошел прочь, не оглядываясь, насвистывая «Чижик-пыжик, где ты был». Высокий, спортивный, затылок брит. Загинайло, раскачиваясь широкими плечами, тяжеломерно, но пружинисто-упруго зашагал по тротуару в противоположную сторону, по улице Седова, к метро Ломоносовская.

Да, он знал то, что знал. Взвод-оборотень, у этого взвода ночная жизнь. Днем охраняем, ночью грабим. Банда. Чего же лучше. У Колунова в полку заведено перемещать милиционеров с поста на пост, из взвода в взвод, из батальона в батальон, чтоб не засиживались на одном месте, «не пускали корни и не обрастали мхом, как пни» (так любил выражаться комполка), чтоб не было «вась-вась» с работниками охраняемого объекта, отчего терялась бдительность, слабел контроль, возникали преступные связи и происходили хищения. Так что, милиционеры полка, как правило, знали работу всех постов, которые охранял полк. Во взводе Загинайло личный состав не менялся вот уже три года, по той причине, что взвод – образцовый, эталон. Зачем портить. Пусть весь полк смотрит и берет пример. Пусть все подразделения города смотрят и завидуют – какой у полковника Колунова чудо-взвод. Любил, любил полковник Колунов этот 4-й взвод 1-го батальона, любил и опекал, и оказывал свое высокое покровительство. И даже прощал погибшему Петру Загинайло, бывшему командиру взвода, независимость характера, строптивость, гордыню и пререкания, что полковник Колунов никому не прощал. Ограбления на охраняемых объектах полка, непременно с трупами, происходили регулярно, один раз в квартал, то там, то там. Это крупные. Мелкие не в счет. Всё объяснялось небывалым ростом

преступности в городе, достигшем неслыханных масштабов. Гигантская волна преступности захлестнула город. Говоря языком газет. Такому наводнению как противостоять? Дамбу не построишь. Да и недостатки службы, слабая укрепленность, средств нет, текучка кадров и прочее. Все понятно. Учет показателей в норме общего положения. Не снимать же за это полковника Колунова с его места. Кто же мог заподозрить, что взвод занимается такими делами? К тому же взвод и сам нес потери. При дежурстве взвода тоже случались чп с грабежом, тоже гибли члены взвода при отражении нападения на охраняемый объект, жертвы общей беды. Редко, но случались.

Снова вечер. Мойка. Фонарный мост. Переулоч Пирогова. Переулок этот мрачный, и днем-то, а ночью лучше б сюда не заглядывать. Личности шныряют. Тупики, подворотни, глухие стены. Загинайло здесь один. Пост проверить. Пирогова, 9. Продувает. Как в трубу. Сырость. Видит: то ли собака, то ли волк. Отощавший от голода, серый зверь, встал у него на дороге, посмотрел ему в глаза тускло-застылым взглядом и скрылся в темноте подворотни. Загинайло вздрогнул. Опять призраки, наваждения последних месяцев, или что? Тревожно как-то. А, может, радоваться прикажете? Есть старое русское поверье: встреча с волком – добрый знак. К удаче, значит. Веселенькое дельце! Назвался атаманом, так полезай в кузов. Э, померяемся еще! Загинайло почувствовал в себе страшную силу. Казалось, схватит сейчас человека за руку – и оторвет руку ко всем чертям, вырвет из плеча с кровью и мясом. Дернет кого-нибудь за чуб – и башку напрочь, как кочан, бросит в черную воду Мойки...

Что ж такое с ним? А? Давно тянется... Это уж и не переулок Пирогова. Ничего подобного. Да и было ли? Померещилось ему. Не тот район. На Лиговском он опять. И Обводный канал. Перепутал лестницы. Тут лютый сквозняк, ступени-свиньи, наставили на него вонючие рыла. Двери сорваны, окна разбиты. Казарма гремит. В коридорах – сапоги, рев, гитары. Поют: «Чиму я не сокол, чиму не летаю?» Вот он, его чулан. Каюта его. Мебелей нема. Ни стульёв, ни столов. Посредине комнаты – огромная, ржавая, железная кровать. Это прапорщица-завхоз нашла на свалке и сюда приволокла. Загинайло глядит: на его кровати – бабища, в чем мать родила, мяса безобразные, вдребезги пьяная, распята на панцирной сетке, как паучиха в гамаке, руки-ноги прикованы наручниками к спинкам. Храпит, как бегемот, пена изо рта. Завхоз и есть. Она самая. Прапорщица. Шутники-

любители потешились-позабавились. Вся казарма тут проехала. Загинайло озирался, как в лесу. Куда-то он не туда забрел. Не его берлога. Этажом ошибся. Топай выше друг-товарищ. Топ-топ к себе в гроб. Вот, наконец-то! Родная хата. Плевки, окурки. Кто в теремочке живет?.. А! У него – опять гостя! Фря уж битый час его ждет. Постель дремучая, кровать скрипучая. Лучистая головка на шнуре с потолка свесилась, как змея на хвосте. Окно? А занавеска где? Голый, стеклянный глаз. Фря на кровати, на ней ни нитки, у нее боевая готовность номер один, как говорят на флоте. Закинула руки за затылок, поет свой любимый романс: «Он говорил мне: Будь ты моею... И стану жить я, страстью сгорая; прелесть улыбки, нега во взоре мне обещают радости рая...». Загинайло злит ее наглые вторжения, но он терпит. Он потерпит до поры, до времени.

– В чем дело? – сердито вопрошает Фря, перестав петь. – Я уже час тут валяюсь. Все песни, какие знаю, перепела. Загинайло, голубок сизый, так у нас не пойдет. На первый раз – устное взыскание. А второй раз опоздаешь – не взыщи. Скажу отцу – на гауптвахту отправит, на «губу», так у вас называют. Там тебя крысы за одну ночь заживо до костей сожрут. Один скелет останется для медицинского института, или в кунсткамеру, как образец уникального уродства. Зачем тебе такая лютая смерть, Загинайло? – Фря смеется, ей весело.

– А Крестовского прочитал, «Петербургские трущобы»? – спрашивает она, издеваясь. – Смотри, Загинайло! Отец у меня – зверь. Завтра вызовет, потребует, чтобы пересказал содержание. Завтра у него пир горой. Соберет всех офицеров полка. У него день рождения. Шестьдесят старому мерзавцу. И тебе там быть. Готовь подарок. Что мечтаешь? Лезь в постель! Живо! Марш, марш! Всем вам особое приглашение нужно. Что такое девиртисмент? – вдруг спросила Фря. – Не знаешь. Вот и я не знаю. Что-то музыкальное, Моцарт и Сальери...

Через два часа Загинайло лежал в полузабытьи, с закрытыми глазами. Он притворялся, что спит. Фря отлучилась на несколько минут. Вернулась. Села на постель рядом с ним и, достав какой-то фрукт из своей сумочки, начала алчно поглощать, урча и чавкая. Проголодалась. Загинайло не выдержал, открыл глаза, приподнялся на локте:

– Жрешь над самым ухом! Как свинья! – сказал он злобно.

Фря, доев апельсин, который она поглощала целиком, с кожурой, обтерла об одеяло липкие пальцы и изрекла ему требовательно и властно:

– А ну подвинься! Сам боров! Весь в шерсти. Ноги грязные, с рожденья наверное копыта не мыл. У вас там на северах не приучены. Разлегся. Деньги на столе. На червонец поменьше сегодня, чем в прошлый раз. Вычет. Плохо работал. На троечку. Гудбай.

Фря ушла. Загинайло сразу уснул и проспал мертвым сном до полудня следующего дня.

8

У полковника Колунова гульба, пир горой. Он собрал всех офицеров полка у себя в просторном кабинете на Лиговском проспекте, в новых хоромах. Так говорили офицеры: «Папа себе новые хоромы отгрохал. Свой юбилей будет там праздновать». Новый кабинет Колунова был отделан силами и средствами полка. Помогли богатые объекты, которые охранял полк, отстегнули на строительство солидные суммы. Стройтрест не понадобился. Своих мастеров на все руки – хоть дворцы возводи. Работала бригада милиционеров, набранная из трех батальонов. Они были освобождены от службы на время строительства, за них охотно тянули лямку внеочередных дежурств их товарищи, которые не ропща, с радостью в сердце пахали за двоих, лишь бы у командира полка, отца их родного, их папы было приличное помещение, достойное его чина. Особо отличившимся на строительстве умельцам каждый месяц, а то и неделю, в виде поощрения выдавали премию из специально учрежденного премиального фонда. Премия укрепляла дух и вылечивала головную боль по утрам у всей бригады. Посылался гонец, бегать далеко не надо, тут же на 1-м этаже, соседняя дверь с улицы. Тут были все нужные профессии: плотники, столяры, каменщики, электрики, сварщики, паркетчики, краснодеревщики, маляры, штукатуры. Все – мастера высшей квалификации, у всех горели руки в работе, соскучась по любимому делу, всем в радость было вернуться к утраченным профессиям. Стройка кипела, темпы росли. Успеть к 7-му ноября. Подарок папе. Вообще-то день рождения полковника Колунова 6-го ноября, ему исполнилось 60 лет. Но торжество перенесли на 7-е, по понятным причинам. Такое событие требовалось отметить масштабно, не скупясь, с фанфарами и фейерверком. Через четыре месяца, точно к

6-му ноября работа была завершена. Комполка мог перебраться из своего прежнего скромного кабинетика в новые апартаменты. Всем участникам строительства выдали премию в пятикратном размере месячного жалования. И вот, по тройному случаю, новоселье, юбилей, революционная годовщина Великого Красного Октября, полковник Колунов и собрал у себя всех офицеров – спрыснуть это тройное торжество.

Столы поставили в виде буквы К, что означало инициал, заглавную букву фамилии – Колунов. В голове стола – он сам. По правую и левую руку – его замы, штаб, командиры трех батальонов. Там и Фря, полковничья дочь, рядом с майором-снабженкой, жабой в мундире. Дальше – по чинам. За двумя боковыми, приставленными вкось к главному, столами-лапами этой символической буквы К, густо теснясь, поместились младшие офицеры, комвзводов, радисты, связисты, инспектора, по спорту, по огневой подготовке, по гражданской обороне и прочая младозвездная мелочь. Новый кабинет сверкал. Одна хрустальная люстра с бронзой чего стоила! Как во дворце Белозерских-Белосельских! Блеск и восторг! Паркет такой, что по нему и ходить жалко. Надо бы тапочки, как в музее, на сапожищи надеть. Ступали с опаской, как по зеркалу. Угощение! Столы трещали. Горы всего, лес бутылок. Загинайло сидел на самом краю бокового стола, вместе с офицерами своего батальона. Полковник Колунов встал, держа полный стакан коньяка в высоко поднятой руке. Весь стол с грохотом поднялся вслед за ним, как по команде, с наполненными стаканами. Комполка выдержал паузу, пока утихнет шум. Загинайло заметил, что выглядел-то юбиляр неважнецки, заботы заели. А, может, болен чем. Печень. Лицо землисто-серое, изборождено глубокими морщинами, как будто трактор с плугом по нему проехал. Изможденный, бритогубый, страшный. Мертвец краше. Что с ним такое, с этим драконом? Драконья кровь оскудела в жилах?

– Товарищи офицеры! – громко, но как-то не очень воодушевленно и безотрадно возгласил полковник Колунов. – Прошу поднять тост за нашу великую родину, за Россию! За русский народ! За державу! Да сокрушит она всех своих врагов, явных и тайных! До дна!

– Ура! – взревели офицеры. – За Россию! За русский народ!

Все осушили свои стаканы до доньшка. Опять налили. Опять тост. За родное министерство внутренних дел. Выпили дружно. Третий

тост – за юбиляра. Чтоб ему сто лет жизни и железного здоровья, чтоб он командовал нашим полком бессменно, бессмертно, во веки веков! Аминь! Не хотим никого другого! Не желаем, и точка! Четвертый тост – за родной полк охраны № 3, лучший полк охраны во всем городе. Да что там – во всей стране! Потом тосты посыпались как горох. Не успевали закусывать. Было шумно. Тосты возглашали по кругу, по чинам. Каждый без исключения офицер, от велика до мала, должен был встать из-за стола и произнести свой тост. Так требовал обычай. Замполит Розин провозгласил тост за бессмертную славу героя революции Феликса Эдмундовича Дзержинского. Над ним смеялись: «Розин, ты же еще только один сапог от Дзержинского нарисовал, да и то – только полголеница. Ай, да Розин! С ног начал! Все с головы рисуют. А он – с ноги, с сапога! Молодчага! Новатор! Он у нас еще и Репина за пояс заткнет! Брось ты этого чекиста, Розин! Друзья просят: нарисуй – «Милиціонеры полка охраны № 3 пишут письмо турецкому султану!». Долго потешались над Розиным. Бедный замполит, красный, как кумач, не выдержал позора, полез под стол, но его вытащили оттуда и по приказу Колунова заставили силой выпить штрафной стакан – за то, что он не исполнил портрет великого чекиста к сроку, как обещал. Два могучих железновыпных комбата, Хорев и Смага, держали его с двух сторон за руки мощной хваткой, а зампотех полка подполковник Мезинов, разжав ножом его стиснутые зубы, влил ему в рот через вставленную в рот широкую воронку, знаменитую чарку папы, литр водки, весь до капельки. После такой заправки Розин на этот раз рухнул бы под стол неотвратимо, посрамленный и опозоренный окончательно, если бы его не подхватили под мышки. Бесчувственного замполита, как бревно, утащили волоком в соседнее помещение и бросили там прямо на голый пол. Пусть дрыхнет, пока не очухается. На холодном полу процесс отрезвления пойдет быстрее, как в вытрезвителе. Последний заключительный тост достался Загинайло. Он встал с полным стаканом. Все уж так надрались, что не могли понять, чего он, собственно, от них хочет. Если бы сам папа не потребовал молчания, чтобы заткнули свои пьяные, поганые глотки и слушали, тишина за столом навряд ли бы установилась. Загинайло произнес твердо и ясно, и как бы угрожающе, с нажимом на каждом слове, точно нажимал спусковой крючок пистолета и расстреливал своими словами всех сидящих за столом, начиная с комполка Колунова:

– Прошу всех вас, кто тут находится, выпить за моего погибшего и до сих пор неотомщенного брата Петра Загинайло!

Полковник Колунов зыркнул на него мрачно сверкнувшими глазами. Издевательски усмехнулся. Мститель нашелся. Слез с гор. Выпили за Петра Загинайло. Стали вспоминать, какой он был. Задира, забияка, сорви-голова, железный орешек, гвозди бы делать из таких.

Перепились все вдребезги, мало кто устоял на ногах и ушел с пира своими силами. Офицеров развезли по домам на машинах. Комполка Колунов тоже нагрузился, не мог самостоятельно передвигаться, его вели, вежливо взяв под мышки, два могучих комбата, один – седой, крючконосый – Хорев, другой – рыжий, с красной шеей – Смага, командиры 2-го и 3-го батальонов. Голова полковника моталась, как у тряпичной куклы, он что-то мычал. Нечленораздельная речь его была обращена неизвестно кому, из углов рта текли, как у теленка, обильные слюни. Потом он уронил свою старую, седую голову на грудь и затих. Два комбата-гиганта поволокли его по коридору и вниз по лестнице, ноги полковника, как парализованные, пересчитали все ступени, с 3-го этажа до 1-го. Милиционеры, дежурившие снаружи, убрали с глаз долой свидетелей, чтоб народ не пялился бессмысленно на исход их крепко гульнувшего начальника. Комполка кое-как усадили в машину на заднее сиденье, по бокам два комбата. Фря, злая, мрачная, рядом с водителем. Увезли полковника Колунова с пира домой.

Загинайло один остался. Не то, чтоб тоска, а тяжесть. Пойти б куда-нибудь, побродить... На лестнице его остановил Бурцев, громокопящий комбат. У него разговор есть.

– Вот что, Загинайло, – вперился он своими выпученными, налившимися кровью, блекло-голубыми шарами, – не будь дураком. Чего ты в бутылку лезешь? С мезтью сюда явился? Кого ты тут собрался карать, кому мстить? И без брата твоего тут неотомщенных – целое кладбище. Братская могила. Иди вот на Пискаревку и возложи венок, если тебе делать нечего и червяк гложет. А будешь во всеуслышание тут заявлять о своих мщениях, то как бы тебе самому не оказаться там же, где нашли твоего брата. А за тебя кто мстить придет? Предупреждаю по-дружески – брось ты это. Чего тебе в грязь эту лезть? Вон ты какой орел! Послушай старика, вали ты отсюда, пока жив. Горячий ты и в башке мусор. Кретин будешь полный, если меня не послушаешь. – Бурцев отвернулся, как-то безнадежно махнул

своей широкой рукой. Сгорбясь буйволом, стал спускаться по лестнице, на улицу, где его ждала машина и любимый батальонный водитель Чумко.

Загинайло тоже вышел наружу. Проветриться. Пошел куда-то. Обводный, забылся, ступени к воде. От воды зловоние, пар смрадный. Смотрит в упор на эту черную воду. Ну что, вода? Кого ты там прячешь? Покачивается, раздутое, безглазое. Стерпим. Срок еще не пришел... Да и чего ты тут зубами скрежещешь? Эй, ты!... Тошнота тут... Город спит. Праздника что-то не слышно. Где фейерверк? Где салют? Глухо...

Утром, придя в батальон, Загинайло узнал новость: у нас гость дорогой, Вася Рапинюк. Прикандыбал на костылях родненьких своих навестить, соскучился, дома сидя. Год назад Вася Рапинюк взорвался на гранате. Где именно, умолчим. Скажем только – на боевом задании. До этой беды Вася был здоровяк, самбист, стрелок-перворазрядник. Весельчак, балагур. Он и тогда в батальоне был знаменитость. А теперь, когда от Васи мало осталось, обрубок, да и слепой, глаза выжжены, Васина слава гремит по всему полку. Как увидели Васю на Г-й, выбежали, на руках вместе с костылями в батальон принесли. Усадили на табурет в дежурке. Улыбается слепыми веками. Все, кто был в батальоне, обступили его. Тут весь взвод Загинайло собрался, вместо инструктажа. Гам, смех, кричат:

– Васька! Пес слепой! Кандыбают на костылях, лучше, чем мы на своих, на цельных! Тебе ж протезы положены бесплатно, чего ж ты, дурик, на костылях мучаешься? Мы тебе кресло на колесах инвалидное сделаем! Скинемся всем полком и будем катать по Невскому туда-сюда в знак протеста. Пусть посмотрят на героя невидимого фронта!

Вася Рапинюк продолжал молчаливо улыбаться, сидя на табурете, в центре всеобщего внимания. Он был одет в камуфляжную форму, тельняшка облегла широкую грудь, на голове черный берет с хвостиком сзади. Ноги ампутированы по пах, правая рука по локоть, левая – без кисти.

– Как же ты, Рапинюк, теперь живешь? – хмуро спросил его, пришедший посмотреть на своего бывшего бойца, комбат Бурцев.

– Живу, не тужу, Степан Григорыч! – отвечал Рапинюк, кротко

улыбаясь. – Жену вот ищу. Объявление в газету дал. А то скучно одному дома сидеть. Приходят по объявлению каждый день, валом валят, отбою нет. Да ни одна мне пока не понравилась. Выбираю.

– Разборчивый ты, Рапинюк, – мрачно пошутил комбат. – И искать не надо. Мы к тебе своих жен поочередно посылать будем, всем батальоном. Пусть возьмут над тобой шефство. Или вот что: оставайся в дежурке, помдежем будешь. Ты же оружие знаешь, как свои пять пальцев. Прости, Рапинюк! – спохватился комбат, заметив, как дернулась культия у калеки. – Ну, сиди так. Хоть на трубе играй! Вот Вольна-симулянт вернется с больничного, травму свою залечив после сотрясения мозга, он трубач у нас, консерваторию кончал, он и певец и на дуде игрец. Он тебя научит. Всё! Пошли вон отсюда! Балаган закончен! Марш на посты! – заревел на собравшихся Бурцев. – Вам бы только зубы скалить, а не работать! Чтоб через минуту я ни одного не видел в батальоне!

Гнев комбата мгновенно разогнал сборище. Загинайло тоже хотел уйти, но тут он почувствовал, что кто-то тянет его за рукав. Замполит Розин! Жив-здоров, глаза сверкают зеленым, как у кошки, демоническим огнем, так и мечут искры! Чудовищная, сверхъестественная энергия распирает замполита. Как видно, штрафная чарка папы на вчерашнем пире и отдых на холодном полу пошли ему на пользу.

– Командир четвертого взвода Загинайло! – завизжал замполит Розин. – Почему вы не присутствовали на политзанятии? Специально для командиров взводов всего полка. Заранее было объявлено. Вы что, особенный у нас? Белая ворона? Колунов Николай Кирияныч очень вами недоволен. От его имени выношу вам на первый раз строгий выговор!

– Какое еще политзанятие? – изумился Загинайло. – Первый раз слышу про такое.

– Да это я так, к слову. Ты, Загинайло, не обижайся, соколик ясный, – вдруг совершенно переменяет тон замполит. – Мы это исправим, соколик. Вот что: идем ко мне в кабинет, я с тобой персонально политзанятие проведу, так сказать с наглядными пособиями – через показ художественных образов и воздействие произведений искусства. Идем, идем, пока Железнов в отлучке, а то это хамло может нам помешать, – упорно тянул Розин за рукав несговорчивого Загинайло. – Ты не знаешь Железнова. Это вандал!

Аттила! В живописи понимает столько же, сколько и бульдозер. Работать не дает, начну картину писать, он тут же в стену стучит, скотина, кувалдой или молотом, будто бы карту свою дурацкую к стене прибавляет. Мастерская у меня трясется, стены трескаются, куски штукатурки сыпятся на холст. Он мне своими болтами стену насквозь, как копыями, пробил и лучшие мои картины в том месте висящие изувечил! Разве можно в таких условиях создать великое произведение искусства? А? Как ты думаешь? – жаловался, чуть не плача, замполит, таща за рукав переставшего сопротивляться Загинайло в свой кабинет. Замполит Железнов действительно отсутствовал в батальоне. Дверь его кабинета, по соседству с дверью замполита, была наглухо запечатана сургучными печатями сверху донизу. Железнов остерегался воров, и не в меньшей мере козней своего соседа замполита, этого шарлатана, которому место в сумасшедшем доме, как он выражался. Замполит втянул Загинайло к себе в кабинет и закрыл дверь на ключ. Загинайло оглядел помещение. Тут было как у маляров: все перепачкано масляными красками. Стол, стулья, диван, подоконник. Даже сейф в углу. Пол заляпан страшно, везде огрызки карандашей, обрывки веревок, сломанные кисти. Хаос. Стены сплошь увешаны картинами, свободного места нет. Загинайло пригляделся к одной большой картине как раз перед ним на стене: там было изображено нападение банды преступников на охраняемый объект, должно быть, банк. Милиционеры отражали нападение. Тут были лучшие бойцы батальона. С обеих сторон были убитые и раненые. Скуластый капитан милиции в фуражке глубоко надвинутой на лоб, лихо палящий из пистолета в двух нападающих на него бандюг, показался Загинайло похож на его брата Петра.

– Это еще что! Это пустяки! Можешь и не смотреть! – замахал руками замполит Розин. – Ты вот сюда посмотри! Феликс Эдмундович, в полный рост! Главный мой труд, дело всей жизни. Сегодня утром закончил. Нанес последний мазок. Всю ночь работал, не покладая рук и кисти. Горел весь! В жару! В лихорадке! Ужас, соколик! Это, знаешь, свыше! Снизошло! Никогда, сколько себя помню, у меня такого вдохновения не бывало. Прямо-таки ярость какая-то, знаешь. Так и бросался на холст, как тигр, рыча и рыдая. Ну, смотри и оцени! тебе, соколик, первому показываю.

Замполит решительным взмахом сдернул простыню с гигантской от пола до потолка рамы. Перед Загинайло предстал, как живой,

знаменитый главный чекист, железный Феликс. Загинайло вздрогнул и отшатнулся. Гигантский, нечеловеческого роста Дзержинский, в наглухо застегнутой по горло долгополой шинели, в сапогах, с громадным маузером на поясе, бородка клинышком, страшный, вонзился неподвижным, убийственно-мертвящим взглядом в глаза Загинайло, в самое его нутро. Насквозь пронзил. Никуда и нигде от этого взгляда не спрячешься. И на краю земли не спрячешься, и там найдет, и на дне морском сыщет. Этот страшный гигант был изображен на кроваво-красном фоне великой мировой зари грядущего коммунизма.

– Ну, что скажешь, соколик? – спросил, горя нетерпением, замполит Розин. – Как он тебе?

– Впечатляющий дяденька! – высказался наконец Загинайло. – Как будто живой. Сейчас вытащит из кобуры маузер.

Замполит был чрезвычайно польщен такой оценкой. Неизвестно, сколько бы еще времени он продержал в плену посетителя его мастерской. В дверь загрохотали кулаком и раздался отчаянный крик дежурного Горячева:

– Товарищ замполит! Открывайте скорей! Ой, ой, скорей! Эти шизики сейчас перестреляют друг дружку! Мать их в дупель!

Замполит Розин открыл дверь и, увидев перед собой бледного с вытаращенными глазами дежурного, безмятежно-величавым голосом спросил:

– Горячев, в чем дело? Чего глотку дерешь? Я с командиром взвода провожу экстренное политзанятие, а ты лезешь с какой-то ерундой.

– А, Загинайло! Роман Данилыч! – обрадовался дежурный. – Беги во все лопатки в класс службы – разнимать своих головорезов! У них там смертельный поединок. Как петухи! В батальоне никого, кроме вас. Бурцева нет, а то бы он дал каждому из них по пинку и по углам бы раскидал в миг.

– Да что такое? – следуя за Горячевым, потребовал подробностей Загинайло. –

Замполит Розин, шедший с ними, тоже попросил пояснений.

– Горячев! Толком говори! Пьяные они, что ли? – Происшествие касалось его, как замполита, еще в большей степени, чем взводного.

– Да не пьяные они, а из-за шубы, – отвечал Горячев.

– Какой шубы? Чего ты мелешь?

– Говорю, из-за шубы! – продолжал Горячев. – Старшина наш Яицкий выдал одну на взвод. Баранья шуба, на зиму, мехом внутрь. Шубеечка – высший класс! Жарко, как в печке. Посты проверять в лютые морозы. Вот они и не поделили. Черняк и Стребов, твои командиры отделений, Роман Данилыч. Один орет: моя шуба! Другой еще громче орет: нет, моя! Сцепились. Пистолеты хватать. Говорю вам: сейчас выстрелы грянут. Один свежий труп уж точно сейчас увидим. Ой, лихо! С дежурных снимут!

– Да как они смеют! – возмутился замполит Розин. – Эта шуба положена командиру взвода. Не по праву! Моральное разложение! Я с ними сейчас разберусь! Я не позволю! Так мы далеко заедем!

Все трое вступили в класс службы, ожидая, что их встретят выстрелы. Они увидели такую сцену: два командира отделений, старшина Черняк и старший сержант Стребов, стояли по разным сторонам стола, приставив свои пистолеты ко лбу друг другу, пальцы на спусковых крючках. На столе, разделяя их, виновница раздора – новенькая шуба, добротная, с черной крышкой и барашковым воротником. Эта пышная красotka лежала себе, развалясь мехами и ожидая, когда она достанется победителю кровавого спора за обладание ею.

– Отставить! – угрожающе приказал Загинайло. – Подскочив к дуэлянтам с поразительной для его массивной комплекции быстротой, он мгновенно разоружил обоих. Отобрав пистолеты, молча отошел в сторону. Зато замполит Розин дал своему языку полную волю.

– Черняк! Стребов! Мушкетеры, Дартаньяны! Дуэли тут устраивать! Герои нашего времени! Дантес-полонез! Придется Николаю Кирьянычу докладывать. Все равно информация пулей долетит. Может, уже долетела к нему в кабинет на Лиговский, и все уж он, что тут делается, знает! Ой, что будет! Гром и молния! – замполит в ужасе схватился за свою сильно поседелую голову.

– Тимофей Трофимыч! Моя это шуба! Я ее законно в карты выиграл! – возопил возмущенным голосом Черняк. – А этот шулер карту передернул! Туза бубен козырного из рукава вытащил! Подлый урод!

– Врет он всё! – возразил Стребов. – Я честно выиграл, моя шуба.

– Ладно, ладно, соколики. Командир полка сам решит, чья шуба. Сейчас же иду ему звонить. А пока марш оба посты проверять! Чтоб духу вашего в батальоне до завтрашнего утра не было! – Замполит,

взяв злополучную шубу в охапку, понес ее, как добычу, к себе в кабинет.

– Роман Данилыч, – сказал он, обернувшись к Загинайло, – ты не будешь возражать, если я эту шубу себе возьму? Вы все и так жаркие, кровь кипит. А я страшно мерзну, мастерская у меня – все равно что в ледяном погребке сидеть. А Яицкий почему-то мне шубу не выдает, сколько я его ни просил. Объясняет тем, что замполитам не положено. Ну как? А я тебе картинку подарю за это. Любую выбирай. И от политзанятий освобожу, пожизненно.

– Договорились, – усмехнулся Загинайло. – Зачем мне шуба. Тяжесть на плечах таскать. У меня шинель теплая.

Выйдя из батальона, он увидел, как оба его командира отделений шлепали впереди него в шагах пятидесяти по Г-й улице, дружески беседуя, как ни в чем не бывало, плечом к плечу. Судя по их бурным жестам, они обсуждали происшествие с уплывшей из их рук шубой и костили замполита.

9

Весь ноябрь работали без выходных. Усиленный режим. Ожидали комиссию из Министерства с проверкой. Загинайло был в батальоне каждый день. Он наряду со всеми нес это беспрерывное дежурство. Офицерам не было послабления ни на минуту, напряженность в городе не позволяла поблажек. Простой милиционер у себя на посту взаперти еще мог вздохнуть, офицер – нет, офицер и спать должен на ходу, да и то одним глазом. Замполит Розин, казалось, ничуть не тяготился такой перегруженностью. Он щеголял в новой шубе, отогревая свои промерзшие косточки. Он и в батальоне разгуливал в шубе, не снимая ни на минуту. Смотрелся он в шубе хорошо, как боярин. Зампослужбе Железнов, увидев его в этой обновке, что-то пробурчал под нос и тут же ушел к себе в кабинет писать срочное донесение комполка Колунову.

Взвод Загинайло также работал в усиленном режиме. После инструктажа, распустив милиционеров на посты, остались в классе службы вчетвером: взводный и его три командира отделений: Бабура, Черняк и Стребов.

– Послушай, Роман Данилыч, – сказал за всех троих прапорщик Бабура. – Мы тут дельце наметили. Экспроприация ценностей. Решили тебя посвятить. Мы так подумали: что ж мы-то. Ты командир, ты и командуй.

– Ты, Бабура, не темни, – Загинайло взирал на прапорщика своим тяжелым взглядом. – Выкладывай, что там у вас. Какое дельце.

– А вот этот новый банк, что под охрану берем. Там можно копилку тряхнуть, только торопиться надо. Они новую сигнализацию будут ставить скоро. Завтра-послезавтра. Грех не воспользоваться. А? Роман Данилыч? Рыбка сама в руки плывет. Дела-то, дела. Проще прыща у Черняка на заднице. Мы бы, извини, и без тебя. Но мы так решили. Ты у нас – голова! Ты – главарь! Главарь, главарь! Вожак! Признаем! Весь взвод признал! – прапорщик подмигнул. Его кроваво-мясистое лицо улыбалось лъстивой и омерзительной улыбкой. Так улыбается осьминог.

Загинайло никак не отреагировал на предложение. Он молчал, взирая на прапорщика все тем же тяжелым, неподвижным взглядом. Его молчание можно было понять как согласие.

– Так вот, Роман Данилыч, план такой, – стал развивать мысль Бабура. – Главное действующее лицо – этот вот шут гороховый. – Он ткнул пальцем в усмехающегося Стребова. – Кролик наш. Ты, Роман Данилыч, еще не знаешь всех его талантов. Он такое может, что – о! Гений! Дар божий! Ему бы в БДТ играть! Наш Стребов может подделаться под любой голос – ни за что не отличишь. Шпарит чужим голосом – только так. И Бурцевым может, и Железновым, и Розиным. Даже под папу, комполка – запросто! Артист! Говорю тебе! Золото, а не человек. Он у нас и на сцене, на праздничных концертах всегда выступает. Передразнивает начальство. Недавно, в ДК Дзержинского – весь зал от хохота под стульями валялся. Так вот. Через день заступит на дежурство взвод Корзинкина. Подгребем к банку в часика два ночи, пароль узнать – раз плюнуть. Каждая кошка, что в подворотню шмыгает, знает – какой у нас на эту ночь по банкам пароль. Стребов наш в переговорное устройство назовется, что он командир второго взвода Корзинкин, его голосом, значит, и пароль назовет, какой будет, Тамбов, Воронеж. А фигурой они с Корзинкиным похожи, в монитор ни хрена не разглядишь. И фуражку ему найдем такую же безбрежную, как степь. Корзинкин всю зиму, нарушая устав, в фуражке красуется, уши морозит. На него уж, как на дурака, и внимания не обращают. Ну так вот, постовой откроет дверку в банк, варежку разинув, а дальше – как по нотам.

Вслушав речь прапорщика Бабуры до конца, Загинайло долго еще хранил молчание, как будто обдумывал. Барабанил пальцами по

столу, спокойненько так, точно азбуку морзе выстукивал, чем очень раздражал выжидающих его ответа трех командиров отделений.

– Ладно, гуси-лебеди! – объявил он, наконец. – Вижу, вы все обкатали. Вы уже спецы по таким делам. Операция икс. Возражений у меня нет. Только по первоначально вот что: я хочу сам посмотреть этот объект. Я еще не смотрел. Я хочу остаться там на часик и хорошенько изучить этот ваш банк. Утром я скажу вам свое решение.

На этом разговор закончился. Все четверо пошли смотреть намеченный объект.

Они шли по набережной. Гадкая ночь. Промозгло. Черная вода, рябь. Стребова замучила икота. Он икал громко и безостановочно, во все горло.

– Стребов! Заткни фонтан! – грозно зарычал на него Бабура. – На весь город слышно. Орешь, как осел!

Стребов хотел возразить, но вместо того икнул еще громче.

– Ему бы чего попить, – сочувственно посоветовал Черняк. – Выпить воды литр – верное средство. По собственному опыту знаю.

– Ну, давай его в Мойку за ноги спустим и пусть пьет, сколько влезет, – предложил раздраженный прапорщик. – Пусть хоть брюхо лопнет. Нажрется, сволочь, перед дежурством селедки, а потом ык-ык всю ночь. Провалит дело, дурак. Как ты будешь изображать голос Корзинкина, если у тебя икота на весь квартал? Скажи, идиот? – приступил к Стребову разъяренный прапорщик.

– Бабура, не ори! – остановил приятеля Черняк. – Он в банке козьего молочка сейчас хлебнет и как рукой снимет. Сегодня там Монахов дежурит. Монахов ничего, кроме молока из-под козочки не употребляет. Бидон с собой на пост таскает каждый раз в рюкзаке на горбу. Говорит, городскую воду из-под крана пьет только самоубийца, которому лень вешаться. Он не вредитель своего здоровья. Тут все жители на восемьдесят процентов состоят из грязи и отравленной невской воды, а на остальные двадцать из различных выделений. Один Монахов исключение. Монахов состоит из молока. Он где-то вычитал, что надо почаще кишки промывать. Вот он и покупает у какой-то бабки, дома хлещет весь день и на дежурство волочет все равно как молочник какой-то. Монахов, он и есть Монахов! – Черняк выразительно покрутил пальцем у себя висок, так энергично, словно закручивал шуруп. – Но парень он надежный, можно положиться. На Волге угес. Зарежет и не моргнет.

Пустынная улица. Фонарь на углу. Подошли к мрачному шестиэтажному зданию, одно единственное окно на первом этаже тускло светится, все остальные окна темны. Над входом вывеска: Банк. Гранитные ступени, дверь с вензелем. Надзорный глазок и переговорное устройство. Бабура нажал кнопку звонка.

– Кто? – гаркнул изнутри голос незримого стражника.

Бабура назвал себя и пароль

– Чего, чего? Что ты там бормочешь? Повтори! – потребовал негостеприимный страж. – Усы сначала прожуй, а потом разговаривай!

Прапорщик Бабура не мог терпеть такого нахальства. Сунув свое мясисто-красное лицо к самому говорильнику, он сотряс дом громовым воплем:

– Монахов! Молокосос хренов! Открывай! Мы тут все дожидаться должны, когда ты расслышишь, что тебе русским языком говорят! Дубина! Чукмек чертов!

Неистовый рев прапорщика возымел действие. Дверь распахнулась настежь и перед ними предстал этот самый Монахов, верзила-сержант, идиотски-угрюмая улыбка до ушей. Бронежилет расстегнут, каска-лоханка набекрень, автомат на пузе.

– Ты что ж урод, дверь в банк посреди ночи распахиваешь, все равно как в сарай с дровами. Тебе это как ширинку расстегнуть, балда! – набросился на него прапорщик. – На что тебе в дверях глазок вставлен! Целый телескоп! Или ты не только глухой, так еще и слепой?

– Нет, Бабура, зря ты глотку рвешь, – возразил, продолжая зверски-дебилно улыбаться, Монахов. – Ты хоть и прапорщик, но, прости за грубость, чепуху порешь. Буду я, как дурак, в глазок пялиться, чтобы мне в глаз пулю засадили. Не помнишь, что ли, Гришка Подорога, из взвода Шаганова, посмотрел так в прошлом году в глазок – ему и шарихнули из какой-то крупнокалиберной гаубицы, так что череп снесло напрочь и мозг по всему банку раскидало. Благодарим покорно за такие смотренья. Я и так чую, кто у меня за дверью. По запаху. Как фокстерьер. Или очки с бронебойным стеклом выдавайте, чтоб и снаряд не прошиб.

– Вот и поговори с ними, Роман Данилыч, сам видишь, – пожаловался прапорщик. – Спорят и пререкаются из-за всего. На каждое слово у них – сто. Ораторы! Робеспьеры! Командир отделения для них – нуль. А как выходной вне очереди – так Бабура.

– Потрепались, а теперь отдохните маленечко. Я буду говорить, – прервал жалобы прапорщика Загинайло. – Сержант Монахов! Доложить обстановку! – строго потребовал он, обратясь к верзиле-автоматчику.

Монахов вытянулся в струнку и, лихо вскинув растопыренные пальцы к каске, отрапортовал:

– Товарищ старший лейтенант! На посту номер двадцать восемь все спокойненько. Тихо, как на Пискаревском кладбище. У меня там дед с бабкой покоятся, блокадники. Царствие им небесное! – добавил он скорбно-угрюмо.

– А напарник твой где? – спросил, тяжело взирая на сержанта, Загинайло. Массивное лицо его оставалось каменно суровым.

– У денежного хранилища. Где ж ему еще быть! – развязно отвечал Монахов, опустив отдававшую честь руку. – У него там будка, собачья конура, он там на железной цепи сидит, или по галерее туда-сюда, как сатана, гремя цепью, бегаёт. Цепь длинная, позволяет. А отлучаться ему нельзя. Ни по какому случаю. Там, в галерее, и мочится и испражняется, если приспичит. Все нужды свои человеческие справляет.

– Так. Ясненько. Показывай объект! – приказал Загинайло. – Все показывай, от подвала до чердака. Проверим укрепленность. А на посту за тебя пока эта троица побудет. – Он кивнул на Черняка, Стребова и Бабуру, которые уже расположились в креслах у включенного телевизора. Показывали бокс: негр и мулат. – Передай напарнику на пост, чтоб встречал, – добавил Загинайло. Там, по расписанию наряда, младший сержант Оськин. Правильно?

– Так точно! – подтвердил Монахов. – Изменений нет, как в расписании воздушных рейсов в Пулкове. У меня там все стюардессы знакомые. Эй, Оськин! Пес цепной! – гаркнул он в переговорник. – Кончай дрыхнуть! Ключ в зубы и бегом по галерее! К дверям в банк! Через пять минут жди взводного! Понял?

– Понял, не глухой, – отозвался замогильным голосом Оськин. – Чего орешь! Молока не забудь кружечку. Холодненького. В горле пересохло.

– Это от спертого воздуха в будке. От портянок и сапог, – пояснил Монахов. – Ладно, принесу.

Открыв дверцу кубического сейфа, предназначенного для хранения оружия на посту, он достал оттуда мутно-белую

поллитровку, заткнутую винной пробкой, и сунул ее в карман штанов. – Кумыса хочешь, взводный? – предложил он Загинайло. – У меня там еще бутылочка в запасе есть. – Загинайло отказался от кумыса. Монахов закрыл сейф, взял из ящика стола фонарик. – Айда, взводный! – позвал он Загинайло. – Если не боишься заблудиться в этих шхерах. Я сам там половину помещений еще не исследовал.

Монахов зажег фонарик и, светя им, повел Загинайло по темным коридорам банка. Освещение временно не работало. Ремонт внутри не успели закончить. Банк-то вселился, а недоделок тьма. так объяснил сержант, этот словоохотливый провожатый. Коридор качался в такт шагов, как толчки волн качают лодку. Луч фонарика прыгал туда-сюда, шаря по стенам, озаряя разные предметы. Шкафы, стеллажи, конторки, окошечки пустых касс, какие-то приборы, какое-то оборудование. Под ногами шуршали бумажки. Загинайло, подняв одну, попросил посветить. Деньги! Тысячерублевка!

– Возьми, возьми, командир! – весело воскликнул Монахов. – Задницу подтирать! Фальшивая денежка-то. Фальшивомонетчики тут гнездо свили, – объяснил он, хоть и все также весело, но с каким-то смущенно-таинственным видом. – Упражняются, штампуют по ночам на невидимых станках. У них тут целый цех. Шуруют вовсю. Призраки, привидения. Слышу с поста: шум какой-то непонятный, вроде как штамповочный станок шлепает: чух-чух, трум-трум. Иду, смотрю: ни души. Затихли, как мыши в норах. Только денег накидано везде пачками и вразброс, свеженьких, только что наштампованных, как грязи. Говорю тебе, командир. Призраки! У них тут подпольный завод, монетный двор свой. Вот опять! – Монахов, услышав шорох у себя за спиной, резко обернулся. Луч фонарика ударил в стену. Озарилась амбразура в стене, отверстие наподобие корабельного люка.

– Там кто-то прячется! А, взводный? – Лицо Монахова с каской набекрень было бледно. – Ступая на цыпочках, он приблизился к этой дыре и осветил фонариком.

– Духи гуляют! – мрачно изрек Загинайло. – Это ты сам сапогами шаркаешь, так у тебя душа в пятках. Храбрецы вы тут. Вперед! Я не собираюсь блуждать здесь с тобой до рассвета в поисках привидений. Не банк, а лабиринт какой-то!

Монахов, устыженный, послушно повел дальше. Добрались до конца коридора, спустились по ступеням на площадку нижнего этажа. Тут запертая стальная дверь.

– Оськин! Открывай! – заорал Монахов во все горло. – Взводный здесь, надерет тебе уши, как школьнику!

– А кумыса принес? – невозмутимо, ничуть не испуганный грозными воплями своего напарника, спросил Оськин. – А то не открою.

– Принес, принес! – заверил Монахов. – Бутылку с соской. Соси хоть всю сразу, хоть по частям удовольствие растягивай!

Оськин заскрежетал какими-то железами с той стороны двери, повернул на три оборота вставленный в скважину ключ. Приоткрыв дверь на щелочку, потребовал:

– Сначала кумыс давай! – Тогда впусти.

Монахов сунул ему бутылку, и тот, отступив, широко распахнул створку, впуская ночных гостей.

– Молочная ферма, а не охрана банка! – хмуро глядя на своих подчиненных, заметил Загинайло. – Может, вы тут коз и коров где-нибудь на дворе пасете? Возмутительное несение службы. Вот что, Оськин, покажи, что ты тут охраняешь.

– Свой лежак охраняет, да самого себя! – захохотал Монахов.

Щуплый Оськин, также облаченный в бронезилет и каску, также с автоматом на груди, отнюдь не оскорбленный репликой своего приятеля-напарника, вскинул руку и бойко отрапортовал:

– Товарищ старший лейтенант! Докладываю! Под моей охраной находятся: денежное хранилище – раз. Внутренний двор банка – два. Наружные ворота – три.

– Хорошо, Оськин. Ты, Оськин, я вижу, орел! – похвалил Загинайло бойкого сержантика. – Вот и покажи, что ты охраняешь. А я посмотрю. Начнем с денежного хранилища. То, с чего ты глаз не должен спускать, как я полагаю, а мы тебя отвлекаем от твоего служебного долга. А ты, Монахов, – Загинайло обратился к стоявшему у дверей провожатому, – возвращайся к себе на пост. Да передай тем трем воронам, что я тут пока останусь, с Оськиным. А они пусть дуют посты проверять. Чтоб через пять минут их тут и духа не было!

– Будь сделано! – обещал Монахов. Повернулся и исчез за дверью. Оськин тщательно закрыл эту дверь ключом на три поворота.

Младший сержант Оськин, грохоча сапогами, повел своего гостя по галерее. Загинайло следовал за ним, осматривая на ходу незнакомое место. Галерея с низким потолком, ярко освещенная лампами в

плафонах. Один бок – стена банка, другой бок – стекло, вид на двор. На дворе ночующие машины. Принадлежат банку. Грузовик, автобус, три легковых. Колеса блестят – серебряные диски. Это от яркости света. Двор озарен мощным прожектором, сверху со стены банка. Все углы и закоулки высвечены, как днем. Иголке негде спрятаться. Прошли галерею, уперлись в тупик. Ступени в подвал. Глухая черная дверь, железная, под сигнализацией, преграждает доступ к денежным хранилищам. За этой дверью – вторая, потоньше. За той – железная решетка, закрыта на висячий замок изнутри. Чтоб открыть, нужно руку просунуть и повозиться, если не насобачился. Так объяснил, проявляя усердие, Оськин, открывая одну за другой все эти преграды и показывая Загинайло. Все, все под сигнализацией. Сигнал на ЦПО, то есть, центральный пульт охраны, и через три секунды, а то и раньше, как из-под земли вырастет группа захвата из ближайшего РУВД, автоматчики в касках. Но на этот счет тревожиться нечего. По крайней мере, в эту ночь. Можно шагать спокойно и дверями грохотать. Хоть плясать, хоть песни петь. Сигнализация временно отключена, что-то там с проводами кручено-перекручено, распутать не могут.

– Так. А теперь денежные хранилища покажи! – выслушав столь важное сообщение, приказал Загинайло.

Оськин повел в хранилище. По коридорчику налево. Горела только одна лампочка, давая скудное освещение. Дверь в хранилище запечатана бумажкой с печатью, сургуч. Оськин смело сорвал все печати и открыл дверь ключом, выбранным из толстой связки у него на поясе.

– Да чего! Опять приклеить – раз плюнуть! – объяснил он. – Бабенки, банковские работницы, слепые, как кроты, в очках, запотелых от подвальной сырости, ничего не заметят. Да и не смотрят они! Им бы скорей сигарку в зубы запалить, и бегут в сортир – дым пускать из всех дыр и ноздрей, как из действующего вулкана. Дым аж ко мне в будку поднимается и по всей галерее стелется туманом болотным. А я-то сам некурящий – вот беда! Воюю с ними все дневное дежурство, но пока остаюсь побежденным. Эх, придется и мне начать курить. Другого выхода нет. Непосильная борьба с проклятыми бабами. Вот сюда, товарищ командир, тут они и обитают, эти крысы подвальные! – разговорчивый от одиночного дежурства Оськин, не прерывая своей речи, ввел Загинайло в подвальное помещение с низким потолком. Стол во всю стену. На столе гроссбух.

Канцелярщина: скрепки, папки. Зеркальце и женская расческа с длинной ручкой и целым клоком рыжих волос на зубьях. Оськин взял со стола зеркальце, посмотрелся в него и подмигнул сам себе хитрым глазом.

– Приличные бабенки, – известил Оськин своего сурового и молчаливого взводного. – У них тут всегда образцовый порядочек. Пыль сметут, тряпочкой оботрут. Днем деньги считают. А я в будке наверху над ними сижу, их охраняю. Инкассаторы приедут, гудят с улицы и на кнопку в воротах жмут. Провод ко мне в будку проведен, звонок-зверь, уши так и рвет, мертвеца из могилы поднимет, специально такой поставили, зная какой у милиционеров крепкий сон на посту. Звоню бабам в подвал, чтоб гостей ждали. Сам бегу отпирать ворота, автомат на пузе. Отпер. Инкассаторская машина на двор въезжает. Инкассаторы, два мужика с кобурами на заднице, тащат в хранилище мешки с деньгами. Эх, деньжат там! По завязочку! Как дерьма! Да вот, они тут все! Посмотрите, товарищ командир! – Оськин, распаясь от своего рассказа, красный, с горящими глазами, стал открывать одну за другой двери хранилищ и показывать Загинайло эти самые мешки с деньгами, все запечатанные сургучными печатями-блямбами, на каждом мешке бирка с номером.

– Эх, сидим на деньгах, а ни грошика не взять! – издал горестное восклицание Оськин. Он глубоко вздохнул и отвернулся, вид мешков надрывал его сердце, и лицо его имело страдальческое выражение. – А под вечер сегодня целый броневик прикатил, – стал он рассказывать дальше. – Таскали, таскали мешки эти, больше часа таскали. Вот они все тут, голубчики, в едином строю! Тут, я думаю, миллиард, такую мать! – Оськин стал пересчитывать прислоненные к стене мешки. – Нет, сбился! – сказал он. – Эх, товарищ командир, такие деньжищи пропадают! – Оськин снял каску с головы, автомат с плеча, положил на бетонный пол перед собой и смачно, с наслаждением уселся на мешок, первый в ряду. – Хоть посидеть на нем, на миллиарде, задом своим почувствовать! А сигнализация-то, командир, не работает же! А, командир! Ты подумай, подумай, командир! Сразу разбогатеть веселее, чем лапши ждать из светлого будущего! – Оськин, сидя на мешке с деньгами, запел, загорланил во весь голос:

Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати!...

– Пошли отсюда! – мрачно оборвал его песню Загинайло. – Расселся. Белая горячка у тебя что ли, Оськин? Рожа красная, огнем горшишь, сургуч на мешке задом расплавишь. Знаю, какой кумыс вы тут попиваете!

Оськин нехотя поднялся с мешка. Обратным порядком запер хранилища на все запоры. Вернулись в галерею. Тут, сбоку, над хранилищем, где галерея поворачивает – будка для постового. В будке угарно и душно.

– Это от батарей, – объяснил Оськин, – их тут три штуки, масло горит. А что делать? Так еще можно тут существовать, чтоб от холодуги не околеть. А чем отоплять? Консервная банка эта выстужается вмиг, только отключи. Через минуту тут Северный полюс. От масла воздух тяжелый, конечно. Но терпимо. Стужу лютую переждем. Ноябрь жмет. Эх, судьба-индейка!

– На судьбу жалуешься? – спросил Загинайло, садясь на лавку.

– А для чего ж я родился? – спросил в свою очередь с наивным изумлением Оськин. – Нет, ты, товарищ командир, скажи, почему такая несправедливость в мире? Эти гуси для денег, значит, родились. А я, нищий, для чего?

– А ты, Оськин, и тебе подобные, – ответил ему хмуро-насмешливо Загинайло, – рождаются, чтоб чужие денежки охранять. Ты для других охраняешь, пес в будке, тебе за это один раз в месяц хозяин косточку кинет со своего стола, чтоб ты с голоду не сдох и смог охранять не за страх, а за жизнь и дальше его несметные богатства, его сокровища. Вот так-то Оськин, и нечего, браток, скулить. Лапша-размазня. Дышать тут у тебя нечем! – Загинайло, не поднимаясь с лавки, ударил ногой в дверь в галерею, чтоб вошел свежий воздух.

– Нет, нет, мировая несправедливость! – продолжал плакаться Оськин. – Не могу я согласиться с таким устройством жизни, не могу, не могу! – вдруг закричал он истерически и грохнул кулаком по блоку сигнализации на стене. Взревел ревун.

– Оськин! Спятил! – Загинайло, вскочив, тряхнул взбесившегося сержанта за плечи, приводя его в чувство.

– Да кто услышит! – возразил Оськин, отключая ревун. – Ночь. Глухо. Кто услышит? Хоть волком вой.

Опять зазвенело. Не ревун. Телефон. Загинайло схватил трубку.

– Командир четвертого взвода Загинайло! – представился он.

– Слушай, Загинайло, – прозвучал из трубки вкрадчиво-звительный голос комполка полковника Колунова, – а что ты там в банке делаешь вот уже целый час? А?

– Новый объект. Изучаю особенности, выясняю недостатки, – твердо и спокойно ответил Загинайло.

– И что? Какие ты обнаружил особенности? Какие недостатки?

– Обязан вам доложить, товарищ полковник, что в банке не работает охранная сигнализация, – сказал Загинайло.

Пауза. Полковник Колунов обдумывал сообщение.

– Так, так, – произнес полковник. – Интересная новость. А Бурцев мне – ни полслова. Это он, видно, решил мне приятный сюрприз приготовить. Ну что ж. Состарился Бурцев. Склероз. Пора на пенсию, грядки копать. А на его место я тебя, Загинайло, поставлю. Не возражаешь? То, что ты только месяц в милиции – ничего, ничего. Ты, Загинайло, из молодых да ранних. Ты у меня можешь высоко подняться. Да, высоко. А пока, вот что. Усилить охрану банка и сам оставайся там на всю ночь, до прихода служащих. Руководи охраной. Понял, Загинайло? – Полковник Колунов, не дожидаясь ответа, бросил трубку.

Младший сержант Оськин обрадовался. Вдвоем коротать ночь веселей. А то – скука. Экран монитора – что там? Мертвая улица. Гляди, не гляди – канал, камни. Как на луне. На двор банка глядеть милей. Машины спят, лошадиные силы, мотор отдыхает, железное сердце...

– Вооружения у нас с тобой, Оськин, маловато, – заметил Загинайло. – Пистолетик – воробьев пугать, – он хлопнул по кобуре у себя на боку.

– Так у меня еще автомат есть! Запасной! – воскликнул Оськин. – Выбрав из связки тупорылый ключ, открыл сейф-гроб на полу у себя под ногами, достал оттуда новенький автомат АКМ-300 и снаряженный рожок. Протянул Загинайло вперед стволом.

– Оськин! Обращение с оружием у тебя, как у пещерного человека! – сделал замечание Загинайло. – Не дубину подаешь, может и выстрелить. Знаешь старую солдатскую поговорку, что ружье раз в год само стреляет?

Загинайло бережно взял автомат за ложе, снял с предохранителя, передернул затвор, проверил – нет ли патрона в патроннике. Опять поставил на предохранитель. Присоединил рожок. Положил автомат на стол перед окном, нацелив на двор.

– А сваргань-ка, Оськин, чайку, – сказал он, привалясь боком на лавку, подперев голову кулаком.

– Чай пить, не дрова рубить! – бойко ответил Оськин. – Мигом! Чайник у меня термоядерный. Ткну в розетку – через секунду вскипит, если не взорвется. Сменщик мой, Лычангин, три чайника уже взорвал. Он по-своему, по чукмекски кипятит – без воды. Будку всю осколками изрешетил, башкир проклятый.

Оськин приготовил чай. Достал откуда-то из-под стола два грязных стакана, один, сполоснув, подал Загинайло, другой, как есть, оставил себе. Налил из чайника – что-то черное, как деготь и пахнущее керосином. Без сахара. Выхлебав свое пойло, Оськин впал в меланхолическое настроение. Запрокинув голову в каске с ремешком под подбородком, он запел песню военных лет: «Темная ночь, только пули свистят по степи... ты над детской кроваткой не спишь... Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в бою. Вот и сейчас надо мною она кружится...». Потом, сразу без перехода, запел другую песню, разбойничью: «Что ты кружишь, черный ворон, над моею головой...». Потом еще другую, и еще. Так он распевал больше часа. Загинайло задремывал на лавке, в глазах туманилось. Автомат на столе, блестит вороненый клюв, прорезь мушки... Подвал, мешки с деньгами...

– Ты как перед смертью поешь, – сказал он Оськину. – Тоскливо ужасно. Кончай нагонять тоску. Все равно перед смертью не напоешься.

Оськин умолк, и дальше они молчали до конца ночи, каждый в своем углу.

В шесть утра раздался громкий гудок с улицы.

– Это мусорщики! – крикнул, вскочив, Оськин. – Ни свет, ни заря. Пойду ворота им открывать. У нас мусора громадная бочка на дворе.

Загинайло, встав с лавки, пошел с ним. Мусорщики, два дюжих парня в робах, погрузили переполненную бочку с мусором на свою тележку и покатали ее через распахнутые Оськиным ворота на улицу, туда, где стояла их машина-чудище с высокой, как крепость, цистерной. Загинайло вслед за ними вышел за ворота наружу.

– Бувай, Оськин! – попрощался он с возбужденным бессонной ночью младшим сержантом. – Банк не проворонь. Да молока из той бутылочки припрятанной на дежурстве не пей, а то нехорошо будет. – И Загинайло своей тяжелой походкой враскачку зашагал от банка прочь.

10

В ту ночь начался буран, как нарочно, словно был в их сообществе. Снег повалил страшный, сплошной лавиной, занес улицы, их не успевали чистить, застревали машины. Но это-то и на руку. В «ночной работе» участвовали избранные, половина взвода, все три командира отделений. Загинайло возглавил. Впервые, сам повел. У него тут был свой умысел. Убьет двух зайцев. Он знал: убийцы его брата Петра предстанут пред его судом. Он покарает их своей рукой. Но прежде этого пусть они в последний раз в своей гадючей жизни на него поработают. Придурки. Придумали маскарад. Стребов, шут, его идея. Вместо черных чулков с дырками для глаз, чем прежде пользовались, надеть звериные маски: медведь, волк, лиса, кабан, лев, тигр, бык и проч. Банда ряженных. Как в кино, у гангстеров, только на русский лад, так сказать. А у некоторых морды такие, что и масок не надо. Бабура возражал, он был категорически против. «Тут не Чикаго!» кричал он. «Театр устроили! Представление! Спектакль в детском саду! В игрушки бы все играть! Дебилы! Ты бы хоть, Роман Данилыч, внушил им, этим куриным башкам!» обратился он за помощью к Загинайло. Но тот, как ни странно, не встал на сторону здравомыслящего прапорщика, а поддержал эту дикую фантазию. Он мрачно усмехнулся. «Даю добро», – твердо заявил он. Стребов ликовал. Черняк был нейтрален. Прапорщик Бабура посмотрел на Загинайло внимательно. Почуял прапорщик что-то, его не проведешь. Но отступать поздно. Бабура, скрипя зубами, согласился на этот балаган. Где маски взяли? Стребов достал. У него жена завхоз в Детском театре, в ПЮЗе.

Загинайло уж был готов, когда за ним пришли Черняк и Бабура. Но помешал телефонный звонок. Позвали с вахты. Загинайло спустился к вахтеру на первый этаж, взял трубку. Фря, полковничья дочь, ее развеселый и наглый голос: «Эй, Загинайло? Плохо службу несешь. Уволю. Расстели постель. Через десять минут буду у тебя. Потом к отцу поедем вместе, хочет тебя лицезреть, опять в баню с ним пойдешь, чтоб попарил. Попаришь – место комбата твоё! А Бурцева вон. Меня должен благодарить, меня, Загинайло! Блядь полковую! Помой к моему приходу хоть одну половину туловища, желательно, нижнюю, от пояса и лапы, ты, уродина, медведь вонючий!...» Гудки. «Пьяная она, что ли?» – подумал про эти загадочные и обильные речи полковничьей дочери Загинайло. Делать нечего. Объяснил этим двум.

Его выход отменяется. Он остается в казарме. А они как хотят. Сами с усами. Бабура и Черняк переглянулись. Они были посвящены в эти милые делишки, что у Загинайло с единственной и бесценной дочерью комполка Колунова, папы. Да весь полк знал. Ладно. Чего там. Не привыкать. Управятся. Утром Загинайло получит свою пятую долю добычи, как договорились. Хотя во взводе, говоря начистоту, никто не визжит от радости, уведомленный о таком дележе. Выражают недовольство, пока негромко. Но так и быть. До утречка. Бабура и Черняк ушли. Загинайло вернулся к себе в комнату. Увидел на столе оставленную маску. Криво усмехнулся своей косой усмешечкой. Надел ее на себя, резинки тугие, врезались в его широкий затылок. Не раздеваясь, как был, в шинели, в сапогах, ремнях, в оскаленной маске медведя на лице, лег на постель.

Фря явилась через четверть часа.

– Встречай, Загинайло, миляга! – закричала она, входя в комнату. – Блядь русская пришла! – объявила она с гордым вызовом. – А кто ж я еще? Блядь и есть. Ты что, на бал-маскарад собрался? – Фря рванула с него маску. – Тебе, Загинайло, лучше б ягненком нарядиться. Бе! Бе! Ягненок с рожками! Прирежут тебя, Загинайло, ягненок мой, чую, прирежут. Петра – пулькой в лоб, да камешком по башочке, а тебя – ножиком в животик, кишочки выпустят. Или в шею, в сонную артерию. Вот сюда! – Фря ткнула пальцем в шею все также лежащего на постели, безразличного к ее словам Загинайло. – Я вчера сон о тебе видела, – продолжала Фря. – Вещий сон. – Фря вернулась к двери, закрыла ее на ключ, стала раздеваться. – Шинель не жмет? – спросила она, голая, подойдя к постели. – Не поспеши я, ты б смылся. Куда собрался-то во всем снаряжении? Отвечай!

– Внеочередное дежурство, – вяло ответил Загинайло. – Особое задание. Приказ твоего дражайшего родителя.

– Родитель! – взвизгнула Фря, словно ей нанесли смертельное оскорбление. Сволочь он! Мерзкая гадина! Змей тощезадый! Кто б избавил меня от этого седого кобелюки, я бы тому была по гроб благодарна, ножки б тому целовала. Его любимые писатели – Крестовский и Фрейд. Психоаналитик он! У всех, кто ему ни попадись, нутро насквозь, как рентген, видит. Духовидец!...

Зapolночь. Лампочка раскалилась, палящий глаз. Фря не позволяет гасить, боится мрака. Спит как мертвая. Заезженная лошадка. Загинайло не спится. Встал. К столу пошлепал босыми

подошвами по охлаждающему полу. Графин с водой. Задел стул, упала сумочка, Фря оставила на сиденье. Из сумочки выпала тетрадь. Толстая тетрабочка, обложка желтая, внутри исписано мельким, кругленьким, что называют, бисерным почерком. Любопытные записочки, что это у нее там такое? Криминал на него? Дневник? Девичьи чувства? Загинайло присел на стул и стал читать. Так и есть: дневник. Любовный дневник ее. Только особый это дневничок, единственный в своем роде. Ай да Фря! Тут что-то вроде донжуанского списка, только не женщины, а мужчины перечислены, стоят строем по одному, нескончаемая колонна, перечень. Хоть команду давай: «по порядку номеров рассчитайсь!» Чуть не вся тетрадь заполнена, тут листов сто. И аккуратненько-то у нее как, по пунктикам, этими бисерными буквами, как в канцелярии, в какой-нибудь бухгалтерской книге. Каждый под своим номером, дата знакомства, фамилия, имя, отчество. Национальность. Описание внешности и характера, кратко, как это делается в ежедневных сводках о совершенных преступлениях в городе и о разыскиваемых преступниках. Особо, с подробностями – описание мужских достоинств и как себя ведет в постели. Исчислено количество встреч и отмечено их качество. Так, под номером, каждый мужчина, с которым она имела дело. Офицеры всех чинов и званий, от генерала до младшего лейтенанта. И сержанты, и старшины, и прапорщики. Все. Весь полк. Загинайло нашел в этом списке и своего брата Петра, и тут же – подробности его тела и его поведение в постели, бесстыдные и цинические. Фря, кроме того, каждому своему мужчине поставила за каждую встречу отдельную оценку по пятибалльной шкале, а также и суммарную – за все в целом. Как учительница школьникам за учебный год: двойки, тройки, четверки. Высший балл – редко. Пятерочки что-то не пестрят у нее в тетрадке. По большей-то части все двоешники да троешники. Но Петру поставлено пять, да еще с плюсом. Полюбился ей Петро. Сокол Петро... Последний в списке – он, Роман Загинайло, под номером 299. До 300-того не дотянул. На нем список кончался. Веселенький списочек! Загинайло подошел к постели, грубо толкнул в плечо эту коллекционершу мужчин, сунул ей тетрадь в нос.

– А мне что за год поставишь? Ты, работодательница!...

Фря вырвала у него тетрадь из рук, вскочила с постели, быстрая, как кошка. Пружина.

– Не лезь своими грязными лапами, куда не просят, целей будешь!

– отрезала она. – А чужие сумочки тормозить не советую. Скоро, Загинайло, жить устанешь.

Она хотела положить тетрадь обратно в сумочку, но Загинайло надвинулся на нее, наступил ей тяжело на ногу, так что она вскрикнула от боли, рванул тетрадь. Тетрадочка эта могла пригодиться. Фря не отпускала, вцепилась мертвой хваткой. Тогда Загинайло ударил ее кулаком по лицу. Фря упала. Но, когда он наклонился над ней, вдруг изо всей силы рванула его к земле. Он рухнул. Теперь они боролись на полу.

– А Петр получше тебя был! – хрипела Фря злобно. – Ты так, мусор. Жидковат, тебе я больше троечки, уж извини, не поставлю. И то – с минусом.

Загинайло разозлился. Он потерял самообладание. Чтобы Фря замолчала, придавил ей локтем горло. Он не рассчитал своей медвежьей силы. Горло Фря хрустнуло. Удивительно: какое оно оказалось хрупкое. Он увидел: Фря мертва. Мертвей мертвого. Чего уж тут. Натворил делишек. Или чудится ему? Очухается еще?.. Поднял, отнес на кровать. Не спеша оделся, взял, что надо, кобуру с заряженным пистолетом – под шинель, на пояском ремне. Вышел, дверь запер на ключ. Спустился на улицу.

Загинайло шел в батальон. Закончить свои дела там. Безлюдно. Часы в подвальном окне в опустелом ночном баре: половина шестого. Свеча на голом столе догорает. Повеселились. Ночь-то на исходе, город зашевелится, рассвет серенький, зимний забрезжит. Эти гаврики уж покончили работенку, банк пощипали маленечко, мешочек утром в банке не досчитаются. Добычу делят, на блюдечке принесут... На Г-й улице он встретил Стребова. Тот бежал по тротуару, в полной милицейской форме, шапка набекрень, усы-щетки, глаза из орбит вылезли, изумленные, безумные. Запарился сапогами брякать. Увидев Загинайло, встал как столб.

– Командир, задний ход! – возопил он. – Дуем отсюда!

– Стребов! Рехнулся! Гонятся за тобой, что ли? – спокойно, не дрогнув ни одним мускулом на своем массивном, колючем лице, спросил Загинайло своего помощника.

– Засыпались, Роман Данилыч! – отчаянным голосом пропел Стребов. – Засада. Всех на месте повязали. Теперь остальных из взвода тепленьких в постельке берут. Я сразу почувал неладное, когда к банку подгрэбли. В воздухе смертью пахнет. Чудом ускользнул у них сквозь

пальцы, как ершик. От банка – к тебе, вахтер: да только что уперся, беги, догонишь. Я – сюда. Предупредить. Рвем когти, командир!

– Дура ты, Стребов. Чего орешь? Чего за мной помчался? Почему это ты так обо мне заботаешься? Свою бы шкуру лучше спасал. И куда ты будешь когти рвать? Оцеплено. Сцапают вмиг. – Загинайло говорил все тем же невозмутимым тоном, как будто ничего не случилось и никакая опасность ему ни чуточку не грозит. Неподвижный, тяжело стоял посередине тротуара, мрачно-иронически взирая на своего собеседника.

– Так что ж, сдаваться пойдем, Роман Данилыч? – погасшим голосом произнес Стребов. – Это папа нас вычислил! Колунов! Он, он! Собачий нюх! Вот дракон! – Стребов сдернул шапку и отер ею потное лицо. – Он и дал команду. Опера давно готовились. Банк – приманка. Заманили нас в ловушку, как мышей на кусок сала – в мышеловку. Роман Данилыч! Что ж мы? Явка с повинной мордой? А?

– Психопат ты, Стребов. Паникер. Шут-пересмешник, подделыватель голосов! – оборвал его Загинайло. – Ясно. Явка с повинной облегчит твою участь. А то, хочешь, со мной. Есть шансик. Махонький, с волосок, но есть. Лови машину. В порт.

– Чего в порт? – Стребов вытаращил свои позеленелые от страха глаза. – На корабле удрать хочешь, Роман Данилыч?

– В точку попал. На торпедном катере. Давай, давай! Минута дорога! – прикрикнул на него Загинайло.

Стребов, выскочив на мостовую, тут же остановил частника. Как раз то, что надо. Тунгуз узкоглазый, промышляет, с властями ему вредно ссориться.

– В порт! Вихрем! – приказал он узкоглазому шоферу. – Предотвратить теракт. Понял? Порт заминирован. Через час на воздух все полетит, к чертовой матери! Успеем – медаль получишь!

Шофер-азиат повернул машину. Помчались в порт. Загинайло сидел спереди. Стребов – на заднем сиденье.

– У меня сын-астматик поддыхает... – Стребов вдруг затрясся всем телом. Он рыдал, уткнув лицо в шапку. Истерический припадок.

– Стребов! Баба! Прекрати выть! – зыкнул на него Загинайло. – Пасть пластырем заклею!

– Астматик-то мой теперь точно сдохнет, – продолжал рыдающим голосом Стребов. – Хана парню. Где таких денег достать? Ты не представляешь, Роман Данилыч, сколько они, врачи-сволочи,

денег дерут! На лечение мы выложили им на лапу за пять-то лет – ой-ё-ёй! Миллион наберется! Где ж мои найдут грошики дальше-то лечить? Я – курочка-ряба, золотые яички несла. Вот и приехали, Роман Данилыч!

Да. Так и есть. Порт. Главные ворота. Вахтер в проходной узнал Загинайло. Вот так удача! Как же, как же! Бригадир водолазов Рашид Абдураимов, лучший друг Загинайло, у себя на плотике. Обрадуется до поросячьего визга, если еще хоть капельку сохранил трезвый ум. У водолазов безработица третий день, получку пропивают, никак пропить не могут. Вот Загинайло с дружкой своим и придут к ним на помощь. Вахтер пропустил их через ворота в порт беспрепятственно, с горячим напутствием и добрыми пожеланиями. Остановили грузовичок, в кузове баллоны газовые звякают, багровые, как раки, полнехонько, строем стоят, на Канонерский завод везут. Подбросят. Как же! Сели на пол, подперли спинами взрывоопасный груз. Поехали! А чего тут и ехать! Конец пирса. Высадились. Залив-то оттаял. Мертвый штиль. Сизо-темно. Горизонт это или что? Суденьшко ползет. Вот он, спуск, ступенечки эти к воде. А вода и не плещет, и не шевельнется, черная-черная, с глянцем, как вороненый козырек. Вот и понтонная дорожка-мосток, туда куда-то. Туман в глазах, седые ресницы, поседели, пока ехали. Ну, потопали по досочке!

Через десять минут Загинайло и Стребов были у цели. Взобрались на плотик. Из трубы водолазной берлоги вился дымок. Дверь без запора. Ввалились, не стуча. Бригадир водолазов Абдураимов, сидя на корточках, топил щепками свою буржуйку. Огонь гудел. Абдураимов в толстом свитере-кольчуге, в круглой шерстяной шапочке, увидав гостей, закричал от неожиданности, вскочил на ноги, ударил кулаком в свою богатырскую грудь, так что она загудела как железная бочка.

– Загинайло! Шакал! Гуцул проклятый! Неблагодарный, неблагодарный ты орангутанг! Пропал. Как в воду канул. Ни слуху, ни духу, папуас! Чего ты там? С бандюгами борешься? Загордился. Эх, друг, а я тут с тоски подыхаю. Как раз ты вовремя явился, а я уж думал – погрузиться на дно и не возвращаться. – Абдураимов обхватил Загинайло в объятиях, деликатно так, не очень сжимая, чтоб не поломать костей, но горячо. – Я ведь из всей бригады один остался, – рассказывал Абдураимов. – Кто утонул, кто от чрезмерного употребления алкоголя очокурился, кто ушел куда-то, ничего не сказав

на прощанье. Давай, спрыснем встречу! А это твой телохранитель? И ему нальем стопарь, помолясь на Восток. По мусульманскому обычаю. Там Мекка, там правда.

– Потом выпьем, – остановил водолаза Загинайло. – Сейчас не совсем подходящее время. Вот что, не в службу, а в дружбу. Спрячь нас куда-нибудь. Нас ищут по всему городу. Мы, понимаешь, немножко набедокурили. Колыма светит. Говорят, там хорошо, да нам пока не хочется. Нам бы переждать. Залечь на дно и выключить все шумы.

– Понимаю, – сразу посерьезнел Абдураимов. – Только куда же я вас спрячу? Не коробок спичек. Разве что – под воду. Вот, два водолазных костюма, целые, без дыр, в рабочем состоянии, вчера спускались в морскую бездну. Да хоть в Мариамскую впадину – выдержит давление водяного столба в десять миль. Лезьте, не бойтесь. Да тут глубина лягушачья. Шлангом буду вам дыхательную смесь подавать. Нагрянут гости незваные, скажу: мои водолазы работают. Сигналы вам буду подавать: если порядок, вылезайте – тросиком три раза дерну. А дрянь-дело – два разика. Вот так: – Абдураимов дернул Загинайло за рукав три и два раза.

– Ну что ж. Концы в воду, – пошутил Загинайло. – Давай свои доспехи. – Странно ему было: он понимал, что дребедень это все, дурацкая затея, а почему-то хотелось ломать эту мрачную комедию. Навряд ли его действия можно было назвать нормальными. Да словно они все свихнулись. Как будто он их загипнотизировал, и они под его властью, исполняя его непреклонную волю, делают безрассудное дело, послушные машины, повинуюсь приказанию его угрюмого мозга.

Абдураимов помог обоим облачиться в тяжелые глубоководные скафандры. Водрузить шлемы, закрутить три могучих гайки гаечным ключом и – спуск. Все трое стояли на краю плотика, где уходил под воду водолазный трап – скользкая железная лесенка.

Загинайло задумчиво держал на ладони золотые часы, которые он снял, прежде чем облачиться в скафандр. Абдураимов и Стребов смотрели на него как в оцепенении. Часы соскользнули с ладони в черную неподвижную воду.

– А ведь это ты убил моего брата Петра, – сказал вдруг Загинайло Стребову.

Стребов побелел, верхняя губа поднялась, подбородок задергался в тике, зубы застучали, два верхних плоские, как у кролика. Жалкий вид.

– Ты что, командир, того! – наконец смог он говорить. – Это Бабура, его работа. Черняк помогал. Они вдвоем. А я тогда дома был, астматика на обследование возили. У меня руки чистые. В смерти Петра Данилыча я неповинен. – Стребов в доказательство своей невиновности поднял облаченные в тяжелый скафандр руки и протянул их перед глазами Загинайло.

– Клянись, – потребовал Загинайло.

– Клянусь родной матерью! – проговорил торжественно Стребов.

– Ладно. Завинчивай шлем. Сначала ему, потом мне, – обратился Загинайло к Абдураимову, который стоял в столбняке, в состоянии полного недоумения. – Я до этих гавриков еще доберусь. Не уйдут! – твердо заключил Загинайло.

– Да где ты до них доберешься, Роман Данилыч? – возразил Стребов, будучи уже в шлеме, но без центрального лицевого иллюминатора, который Абдураимов повременил привинтить. – В морге? Или на том свете? Они ж – трупы. Что Бабура, что Черняк. Оба. Шлепнули их. Оказали вооруженное сопротивление, как говорится. Бабура даже и грохнул одного оперишку. Ну, их и положили, друзей-товарищей, рядышком.

– Шлем давай! – потребовал Загинайло у Абдураимова.

Когда шлем был водружен на его голову и крепко привинчен на три болта, Загинайло подтолкнул Стребова к трапу, и тот покорно стал спускаться по ступеням железной лестенки под воду, волоча за собой трос и дыхательный шланг. Вот он по пояс, вот по грудь.

– Так у него же нарыльник на шлеме не завинчен! – опомнился водолаз Абдураимов, словно очнулся от тяжелого сна. – Стой, дурак! – закричал он. – Куда прешь! Шлем!

Но Стребов как будто не слышал. Когда вода достигла ему горла, он задержался на секунду, потом, будто решив окунуться, погрузился с головой и исчез в мрачной глубине, потащив за собой и трос и шланг.

Загинайло стал спускаться вслед за ним.

ОЧИ ЧЕРНЫЕ

Апрель, Всадник, последние льдины на Неве. Капли клюют мой погон, мочат плечо. Летят блестящей стаей с высокого архитектурного карниза.

– Покурить вышли?

Черные солнца, жгучие жерла, расстегнутые пальто. Мост, сад, бульвар, тощие лавры, вешние воды, гудки, колеса.

Каморка мрачна. За зиму осточертела так, что видеть ее не могу. Телефон, чайник. Занавеска эта. Когда-то белая. Сменщики вытирают сальные пальцы.

Полковник Кончак. Кобура штопанная. Сплю одним оком, а другое гуляет по ночной набережной, моргая огнями. Входит по шаткому трапу плавучего ночного ресторанчика "Петр Первый". Девки, визг, фонари, зыбкое бдение. До рассвета. Всю зиму проспал на стульях, накрывшись шинелью. Медведь в берлоге.

Таянье, тоска, гранит, бурные драки, поножовщина в ночном баре у меня под боком, беспокойное соседство, усы-усмирители из Октябрьского РУВД, длань Петра, скала, сбежать с поста, разбуженная кровь, дикая, звериная, отравленная городским чадом. Весна – стреляйся. Ожила змея замороженная.

Росси, пыльный, желтый, горка-подъезд, ступенчатая рябь, брусчатка с проросшим мохом. Зимой тут скрежетала на мутном рассвете у меня под окном лопата дворника, после густого снегопада. Все утро расчистка. Сугробы, рев и лязг уборочной машины на мостовой. А теперь асфальт сух, и теплый ветер крутит бумажки. Приятно овеивает лицо, ерошит волосы. Стою с голой головой, держа свой вороненый козырек в руке. Нарушаю устав.

Теперь куда как шумней. С одного бока бар, с другого – бильярдная, подо мной, в подвалах. Год назад там еще жили семьи, за решеткой этих, вровень с тротуаром, окон, под угрозой осенних наводнений. Помню, сам помогал спасать их скорбь. А теперь эти вызолоченные, отделанные под мрамор, процветающие заведения, ночное веселье, роскошные лимузины, грохочущая до рассвета музыка. И странно мне теперь вспоминать те тихие ночи. Писк и цокот drobных коготков по плиточному вестибюлю. Крысолов совсем

обленился, не отвечает на мои звонки. Не подходит к телефону, не берет трубку. Номер устарел или уж и в живых нет? А тут такие красотки! Голова кружится. Будь я помоложе, хорош собой да не тюфяк, завел бы я тут шашни. Они любят ходить к моему телефону-водопою. Хоть и служебный, и инструкцией запрещено, отказать не могу, пусть поболтают минуту, другую. Мир не рухнет. Скоро им в отделе поставят аппарат, и тогда это паломничество кончится.

Днем я хожу-брожу, меряю шашечную пустыню вестибюля от стены до стены. Томительность этих дежурств, цепь часовая. Командиры запарились, весной всякие мероприятия, обвал каких-то комиссий, а людей нехватка, в полку растет некомплект, разбегаются, зарплата смешная, это верно, командир отделения и то – редкий гость, мелькнет, потный, с вытаращенными буркалами, пост проверить, черкнет в журнале, вытрет рукавом багровый рубец на бычьем лбу от фуражки и – нет его до вечера. А взводный хорошо, если раз в сутки, на исходе ночи или перед концом смены явится, смертельно усталый, серый, как его плащ.

– Скучаете?

Эта ее улыбочка. Шествует в свой отдел. Хороша, хороша, кто ж спорит. Так и просится на грех, как говорит мой друг Вася Дуров, которого я меняю по утрам. Я тут их всех знаю, их имена всю зиму звучали в моих ушах.

Да вот это здание с его приведениями, с которыми я смирился и не пытаюсь уже перебраться дежурить в другое место, оно меня, пожалуй, и не отпустит теперь подобию-поздорову. Так тут и сгину. Замуруют где-нибудь в погребе, в тайном каменном колодце. Сенат и Синод – два близнеца-брата по бортам Галерной улицы. Лаваль, Нева в морских кранах, шум машин, пешеходы, два льва с кошачьими мордами лениво лежат, сторожа дубовую дверь с глазком и кнопкой звонка. Дирекция, бухгалтерия, кабинеты с цифрами, коридоры-лабиринты, залы, лестницы, гулкость шагов, бесконечность хранилищ, шкафы, стеллажи, тусклые лампочки, бумаги, гроссбухи, осыпи фолиантов, черт ногу сломит, они сами ведасть не ведают, что у них тут годами накапливается и громоздится, они боятся даже подступать к этим чудовищным завалам. Я там едва не заблудился однажды, отправясь в одиночку проверить тревожный сигнал сработавшего датчика. А младшие и старшие архивариусы шмыгают тут, как мыши в своих серых халатах и знают тут все щели и лазейки. Охраняя это

бумажно-архивное царство, я сам пропитался его черной въедливой пылью. Меня надо месяц палкой выколачивать, безжалостно, как ковер. Вышибить душу.

И все чаще задумываюсь... Зачем мне это? Так просто. Флажок предохранителя. Жму железную запяную. Нежненько так, плавненько, неотвратно. Брезжит жирно поставленная прекрасная точка в конце сорокалетнего пути. Сапоги скрипят. Дети бесови.

Иногда они мне очень досаждают. Хлопают и хлопают тяжелой входной дверью. С нервами непорядок. Действие весны. В Манеже выставка. Глазурованные сырки живописца с мировой известностью. Толпа упорно осаждают своего кумира. Город всю ночь стоит за билетами, обвив Выставочный зал тройным змеиным узлом. Охрана стеной. Девочки в отделе посоветовали обратиться ко мне. Достаточно одного моего звонка – и ее молниеносно пропускают через служебный вход.

Все возрасты Евы. До-ре-ми-фа- соль-ля-си. Студентка с истфака. Неоконченный третий курс. Мешают любовь, замужество, дети. Быть грому. Горячие деньки наступают. Светлые стрелы дождя шуршат в саду. Бессонная сова, страж ночной, полечу над городом. Черные сучья ловят меня в сыром, затопленном талой водой, саду, свистят и хватают за рукава-крылья, и золотой кораблик скользит под веками, царапая килем глазное дно. Коринф, акант, виноградное небо. Университет, Нева. Полоса дамасской стали.

Утром я меняю Васю Дурова. Свеж, как огурчик. И не подумаешь, что ночь дежурил. Прохрапел на лавке в вестибюле, подложив под голову крепкий кулак. Седой леший, веселье голубые глаза, брови-рыси, остаканился уже, вот и поет арии из опер. Сменясь, не уходит. Поверх формы халат. Возит тележку, нагруженную кирпичами скучных рукописей в читальный зал. Ночью – охрана, днем – грузчик. Устав запрещает любой вид работы по совместительству на стороне, но Вася Дуров (ему уж под шестьдесят, но все зовут его запросто Васей) – вольнолюбивое исключение из общих правил. Командиры на него рукой махнули. Любимый город глядит на дела и дни нашего Васи Дурова сквозь чугунные пальцы своих строгих решеток.

Однополюный коллектив, ссоры, раздоры. Один Дуров мелькает со своей тележкой у них в отделах. Электрик и директор не в счет. С тоски помрешь. Гармония Поднебесной нарушена. Инь-ян, нефрит, щемящая нота, гибель богов, хаос миров. Не одолжу ли я нож. Зарезаться. Фрукт чистить. Апельсин.

Место курения на первом этаже. И сидят, сидят они там часами на табуретах вокруг пожарной бочки с водой, колдуньи, окутанные болотным туманом, качаются в табачных клубах. Курящие беспрерывно свои неистощимые сигареты, пачку за пачкой, плантацию за плантацией, шепчутся, бормочут, варят зловещий, булькающий разговор. Бурю гнева.

Бегом в батальон! Орет трубка. Борщ помешивать пистолетом. Языком вылизать до зеркальной чистоты. Штык в бок от комбата. Жабры щучьи. Нашли труп пропавшего сержанта Курочкина. Всплыл на Карповке. Череп с пулевым отверстием. Опознали по татуировкам. Меч обвит змеем. Ходят слухи, темные, хмурые. Замешан в чем-то. Концы в воду. Бедный Курочкин. Такие семечки – как он любил говорить.

Майор Буреев навестил меня сегодня в третьем часу дня. Вопит: бордель! Пригрелся у юбок. Разболтался. Трали-вали. К телефону пускаю. Не будь он майор Буреев, если меня завтра же с этого поста не сдунет. А пока прикажет скрытую телекамеру поставить на ночь мне под стул. К утру выведет меня на экране на чистую воду.

В шесть схлынут все. Оставят меня одного, сдав под охрану помещения. Ключи в пеналах. Лучи сигнализации. Бывает, луч-подлец не берется. Взоет сиреной. Несчастливая хранительница фондов, проклинающая судьбу, возвращается проверять. У нее семья, семеро по лавкам. Сумки, магазин, бежать на бульвар, втиснуться в троллейбус. Сельдей в бочке. Стайка девушек щебечет за порогом ненавистного учреждения, решают – куда бы им полететь да поклевать. Ветер у них в голове, пьянящий весенний ветер.

Дверь хлоп за последней спиной. Закроюсь. Одиночество до утра. Этажи, печати. С фонариком обход здания от подвалов до чердаков. Проверю, и стемнеет. Не как зимой. Светлые, зыбкие сумерки. Тревожные это сумерки. От них веет странным чувством, они что-то кричат, грубо, нагло, резко. Гудки с Галерной, пьяные голоса, черные дворы, городские колодцы. Высунув голову в низко расположенную форточку на площадке верхнего этажа, пью высоту, мутный сон. Склады, флигель, механическая мастерская, копать крыш, десятый час, звездочка. Тоска.

Стою у окна в своей каморке. Фонари зажглись. Ночной бар начал работу. У входа поет труба. Звенит, звенит, заливаается. Очи черные, очи страстные. Каждый вечер они, неизменные, зазывные. За зиму

оскомину нарыдали в моих ушах. Но сегодня "очи" звучат так чисто, такой острой нотой! Пронзают, прожигают насквозь. Новорожденные эти очи. Живая вода омыла их. И поют они, и горят, и сверкают. Победные, пламенные, погибельные. Глубины темней. Одолели они меня, взяли в плен, бессильного, безоружного, связали по рукам и ногам, и теперь ликуют, радуются, торжествуют свой час. Прекрасные, беспощадные, неотвратимые эти очи.

Тротуар запружен лимузинами, и все лезут и лезут фары. Два глухонемых паренька пулей летят услужить ищущей щелку госте. Наголо бриты, руки-вихри. Ураганные ребята. Дылда прворней, подскочил к "кадилаку" первый. Пятясь, манит лодочками-ладонями. Стоп! Ладони вверх. Весь из пружин. Из дверец выпархивают ему в объятья ночные бабочки. Ловит и ведет под локоток к порогу бара. Кавалер. Красотки плывут не в мехах-соболях, как было зимой, а в мотыльковых серебристых плащах нараспашку, выставляя напоказ длинные, блестящие ноги на каблуках-башнях. Шеи в жемчугах, пальцы в перстнях. Взяв заработанную зелененькую бумажку, глухонемой сгибается в низком артистическом поклоне и посылает воздушный поцелуй. Нюхает купюру, словно розу, глядит на свет под фонарем, гладит, аккуратно свернув пополам, прячет внутрь куртки, к сердцу. Ртуть, живчик, где ж ему устоять на одном месте хоть секунду. Мечется по тротуару, куря сигарету за сигаретой. Крутится волчком, танцует, приседает, отжимается, отряхает брючки, дергает коленями, трясет плечами, вертит туда-сюда головой-флюгером, подпрыгивает, пытаясь достать звезду с неба. Приставив ладонь-козырек к узкому лбу, высматривает во мраке новую щедрую цель. Утробно мыча и размахивая рукой, мчится к новоприбывшей машине. Эти парни процветают. Я в месяц не получаю столько, сколько они за ночь. Бар гремит. Банда гуляет.

Проснулась и бильiardная у меня под полом. Костяной стук черепов. Пляска смерти. Петр, фонарь. Нева с пеной у рта. Бежит по черной стене, оря в радио: "Третий! Третий! Я – восьмой. Открывай ворота!" Трамвайная печка пышет жаром пустынь. Ташкент, Тимур, гора голов.

Светает, матросня, тельняшки. Опять их тигриная гимнастика в саду. Бильiardная храпит на зеленом поле. Кии переломаны, черепа разбиты. Толстая крыса-уборщица старательно размазывает грязь в вестибюле. За зиму замучила. Являлась в шесть, в такую рань, глаза

выколи, гремела звонком, барабанила в дверь. Хлоркой щедро сыпала там и сям, метель, бред.

Сержант – мой сменщик утром. Рыжий, сигарка. Развалясь в кресле, подпрыгивая толстым сапогом, похвастается подвигами. Он тут в вестибюле в прошлое дежурство поймал мышь. Связал лапы и подвергнул строгому следствию с пристрастием, с применением пыток. Сигаретой прижигал. Пищала, тварь, вырывалась. До сих пор паленая шерсть в ноздрах. Затем устроил суд, выступив поочередно в качестве прокурора, адвоката и судьи, един в трех лицах, и вынес приговор: высшая мера наказания – казнь через повешение. Найдя веревку, сделал петлю и повесил мышь над дверью. Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол. Уборщица – бряк в обморок.

На Галерной обгоняет трубач из бара. Оттрубив всю ночь, он летел дуть в другое место, пряча свою кормилицу под тощим плащом, эту чудесную Жар-птицу ночи. Плешивый, с истерзанными в кровь губами.

В раздевалке на столе спит в сапогах, всхрапывая, скрестив на груди багровые клешни, водитель Шилов. Всю ночь на колесах. Старшина батальона Яицкий, богатырь в мотоциклетном шлеме, с шоссе, с Сестрорецка. Уже в дверях, как всегда, обрушивает потоки грязной брани. Дочь – лесбиянка, сын – бандит. Обоьет бензином и сожжет заживо. Прах над заливом развеет. Ни dna им, ни покрышки. Эти отцовские проклятия весь батальон слышал много раз, веселясь и потешаясь. Ввалилась орава, 4 взвод. Буря. Бутылка водки, пустая, катится, бренча, под шкафчики. Опрокидывают, гогочущие, водителя Шилова вместе со столом на пол.

Невский, солнце-снайпер целится в висок. То в правый, то в левый. У Казанского на скамьях скелеты. Карфаген, Вавилон. Иштар. Сон во сне.

Они – кино. Вот разрешение директора. Таким-то (список) с такого-то по такое производить съемки фильма в помещениях. Печать, подпись. Горланы-кожанки тащат аппаратуру. Чулки, гайдуки, гардемарины. Арка Галерной глотает картечь. Отплевывается на Сенатскую площадь. Электрик Иван Петрович ставит в вестибюле под потолок гигантскую лестницу. Что-то бормочет. Железные зубы, как два ряда солдат в латах, далеко шагнули из рта. Лезет к люстре вкрутить ослепление. Солнце сцены.

Очи черные. Таскаю к себе в каморку на ночь самых красивых девиц из бара. Паук, лапы мохнатые. Вот и ее увлек. Согласна бросить своего режиссера за борт. Ограбим банк и убежим в Америку. Там друзья с распростертыми объятиями – медсестры и лифтеры. Устроят. Полицейским в Нью-Йорке. Новая жизнь. Ножик мой. Возвращает без единой зазубринки. Загадочный я человек. Загадочный и страшный. По глазам видно: зарежу и не моргну.

Чудится, мерещится. Курочкин. Почему я думаю и думаю об этом Курочкине? Чур, чур меня! Мертвец – мертвецам.

Два черных солнца протянули мне через ночной залив жгучие фосфорические жерла. Очи черные! Очи черные! Иду по вероломному, талому, весеннему льду. По этому апрельскому льду-жулику, льду-лгуну, льду-предателю. Иду в Кронштадт. Мне как можно скорее до Кронштадта. У меня там срочное дело. Срочное, неотложное. Бегу, задыхаясь, ручьи. Шинель, шапка, оружие в кобуре на боку. В чем был на посту. Поезд до Ораниенбаума, там – паром. Транспортные средства – ау. Третий ночи. Путь один – через залив. Анонимный телефонный звонок: жена моя не скучает. У нее гость ночной, дружок сердечный. Хахаль, хахаль у нее! Кричит: хахаль! Пусть поспешу, если хочу застать эту парочку в горячей постели. Голос грубый, хриплый, пропитой, сожженный алкоголем. Благодетельница, по доброте душевной. Черная лента, измена, змею у сердца. Обоих, потом – себя... Кронштадт уж брезжит. Ближе, ближе. Вот он! Руку протянуть. Форты, огоньки. Треск. Лдына лопнула. Под ногой, там, куда я едва не ступил, мрачная бездна. Оторвало. Уносит в море. Два черных солнца гаснут над Кронштадтом. Конус пограничного прожектора. Шарит по заливу, схватил льдину, бьет в лицо. Слепленный. Шум вертолета...

Сирена. Забор из острых кольев. Очи черные.

ОДНА ЗИМА

Гора не гора, чёрт поймёт. Метель её почти съела, рожки да ножки. Молния по склону – слаломист. В такую погоду... Гул подъёмника, ровная нота туго натянутой струны.

Меряй не меряй – семьдесят два шага. От одного конца платформы до другого. Число хорошее. Кто ж спорит. Чудесное число, Что мне с этим числом делать? Мальчик отморозил пальчик, а мать грозит ему в окно. Выбрали мы с ней денёк.

У неё крепления жёсткие. Окаянная метель. Где полого, там и спустимся, а то – недолго и шею сломать. Сосна у подножия в конце спуска. И что не спилят.

Падает да падает. Вся в снегу. Я не я. А там, высоко – железная будочка, а в ней мотор подъёмника трудится... Пусть, пусть думает, что хочет, что заблагорассудится. То в жар, то в холод, то нараспашку, то застегнут на все пуговицы. Серебряные змеи через сугробы поползли.

Я люблю пить из толстого стакана, с гранями, а там буран, машина, хлопья совсем ошалели, хмель зашумел у них в головушке, рой за роем, и чего там только нет, на дне этого метельного стакана. Урала я не видал, никогда, даже одним глазком, даже в щёлочку мутного щемящего сна. Это моя печаль, просто беда. Ух, как тут жарко натоплено! Снежинка спускается, а её крутит-вертит, заносит, ей не удержаться, она уже далеко. Ох, далеко...

Мы встречаемся. Теперь Эрмитаж. Да, и Эрмитаж дождался своей очереди. Даже забрались в Гатчину. Зимой в Гатчину. Павловский дворец закрыт. Ремонт. Намёрзлись. Эрмитаж – дело другое. Да. Зелёный костюм; нет, нигде он у неё не измят, чуточку, в незаметном месте, так, морщинка, не бросается, пустяки.

Я смотрю: Нева, шпиль, золото зябнет. Мы с ней заперты в медной башне. Живот – увядший ландыш. Денежки счет любят. Курочка-ряба, дождь обложной. Дождь-Зевс. Кесарево сечение. Ай-я-яй. Нарезался. Мытарь Матфей. Урия...

Утром болит голова. Во рту сухо. Мне надо, как воробью. Пузырьки возносятся и лопаются. В моём мозгу лопаются эти беспокойные пузырьки. Они полны голосов и шума. От двери дует, входят и выходят. Мы сидим за неудачным столиком. А ещё тут дым многоярусным коромыслом. Хотя на стене и грозит восклицательный

знак: курить запрещено! И раздражают плечи выпивох в коротких распахнутых пальто. Она так и говорит, со злостью: "до чего же они меня раздражают!" Здесь их уют. Они приходят сюда погреться.

Ещё мы столкнулись кое с кем на Гривцова. Знакомый, не знакомый, прошлое. Да минёт меня чаша сия.

Ни с творогом, ни с грибами. Это не блинная, это – кафе. Месяц назад была блинная, лубки, а теперь по перекрашенным стенам бегут на раздутых парусах фрегаты, придумает же! Так нельзя, знаете. Я не Саша, меня зовут совсем не так. Русский музей, Лунная, Куинджи. Мы еще там окажемся. Её подноготная меня не касается, пусть побережёт. В конце-то концов... Неважнецкий, гуща.

Хожу из угла в угол. Эти скулы я взял у угрофинна. У серпа из-под Пскова. А смуглую кожу подарила прабабка из табора. У нее тоже – шумеры. Икры балерины. Я судить не берусь. Какой я судья в таких делах. Зато о литературе я готов день и ночь, соловей, и она слушает, острова, Малая Невка, мёрзлый песок, щербатый лев с мячом. Серьёзная, безбровая, ловит каждое мое слово. Тревожная. Нежный, как раковина, рот. Мог бы и не найти в этакой толчее. Запросто. Да. Везенье. Номерок в косметический кабинет на Конногвардейском бульваре на два часа дня. Ничего. Пока поболтаюсь. Шоколад "Тройка". Они шьют верхнюю одежду, окна цехов выходят на Гороховую.

А в "Баррикаде" "Гибель Титаника". Работёнка у неё. Убегай посреди бела дня – начальник звука не проронит. Кинотеатры, сквоньяки, чихи, кашель. Пижонить без шарфа. Не горло, а горе луковое. Хорошо хоть телефон – хрипи себе в трубочку.

Не мытьём, так катаньем вхолостую. Сразу не разберёшься, и в себе-то, не то, что в чужих потёмках. В публичке кудряшками мотают: чего-чего, а такого у них нема. Ну и ладно, не очень-то и мечтал штаны просиживать. Чума, Камю. День чудесный. Спятил я... Погашено. Никому ничего я тут не должен.

Сад, снег, решётка, Екатерина, тепло укутанные шахматисты струдились у скамьи, у них тут клуб. Квадрига Аполлона мчится вскачь в мутном зимнем небе. Нет ли билетика? Жизель. Чему я, собственно, радуюсь? Улыбаюсь блаженно, как дурачок, которому дали грошик. Сияю. Масляный блин. Это не я говорю, это мне говорят другие. Яблочко наливное. Апельсины у Елисеева. Невский, он такой... Поворачивай оглобли. Разоренье, ей богу.

Витебский, иголка. Троллейбус, стальной лось, громко уронил рога. Грузчик--гигант, бляха, козырёк, рожает же земля. Зачем я здесь? Не вспомню. Со мной бывает. Со мной ещё и не то бывает. Не на верзилу же этого любоваться? Чудесный зеленоватый просвет между двумя коробками на Загородном. Меня привело сюда наитие: застать это чудо, оно длится только одну минутку.

Наверное так. Что же ещё. А вчера – Верещагин. "Апофеоз войны". Пирамида черепов. Шторы-штрипки. За шторами – сучья. Вот он, твой Михайловский.

Заморозить решил? Рабочие жгут доски в железной печке на снегу. Пламя пляшет, рыжее, жаркое, Шива, это её волосы. У неё есть тётка, у тётки дача за Вырицей, зимой дача пустует.

Не уезжай ты, мой голубчик. Застрянет в яме и твердит, твердит: не уезжай, не уезжай... Долго мы будем гулять по кругам этой заезженной пластинки? Ною в ковчеге помогала она коротать бурные ночи. Вот что я скажу. Седобородому старику Ною была бы крышка. А с музыкой – плевать на потоп. Тут мыши. Две, по меньшей мере.

Каждой твари по паре. Дрова – жар-птицы. Пых – и нет полешки. Не natoпишься. Эта дверь на веранду. Дует. А вот мы её сеном, охапками. Барахла у тётки. Смородинное! А ты говоришь – глушь.

В трубе выл волк. Не страшно выл он, так себе. А электричка, выскочив из елового леса, в панике, клыки за ней гонятся, лопотала колёсами под самой стеной, и вагоны, пустые, жёлтые, бежали по горячему зрачку.

Не знаю... Пальцы манят. Мёртвая голова на блюде. Вот и толкуй... Тьма, хоть выколи. Господи, что ни волосок – Египет. Сам я себе – и палач и казнь. Вино и хлеб. Это что же: мы с тобой вчера всё подчистили? Обжоры... Полнолуние, морозный ореол, самовлюблённая, сама собой не надышится, над елью, прожектор... пол ледяной, коньки... Что я маюсь? Опять, опять это. Разве мне сейчас не хорошо? Нет, не буду я пока ничего говорить ей. Перст в пустыне. Состав вот так – шалашиком, видишь: какая смешная тень на стене. Глаз это – море, круглое, тёмное, и на море – острова, архипелаги.

И в это море впадают реки, большие и малые, и совсем мелкие речушки. Морю без рек – никак. Азбука. И эта впадает, а зовут – Оредеж. Зубами скрежеща, давали ей название. Колючая, мрачная, моргает камышами. Здесь снег как и не шёл. Черное стекло. Ночное окно, завешенное водорослями. Лежим животом, ухо приложили: что там подельывают рыбы? А ничего особенного. Спят не спят.

Бормотание жабер, вздохи, бульканье, писк и даже как будто поют, унылый такой хор. Грах! Река-то постреливает. Трещина – от берега до берега.

Тишина тут. Нервы лечить. Целебные губы – заснеженный берег, тянутся, нежные, утешительные, целуют в сердце, и оно вздрагивает, лёгкая боль, хвойный укол. Спокойно, спокойно, дружок. Всё хорошо. Ты в каком веке живёшь? Скажем так: тишина тут психотерапевтическая. Сплошь застроено, шагу не ступишь, чтоб не споткнуться о санаторий. О чём речь. Это всё не по мне. Подальше б от шума, от языков и глаз. Жил бы один в лесу и молчал. С соснами, елями. Сто лет. Одичал бы, зарос, леший. Голосовые связки – до свиданья. Атрофируются. Только я жалеть об этом важном органе ничуть не буду. Так-то.

Бубенчик, а не собака. Звону-то, звону! За кем она там гонялась, сумасшедшая четвероногая, за каким красным зверем? До сих пор у меня этот звон в ушах, снежный ком, катится, катится, так и привёз его в город.

Просвистел суммочку. Сосу лапу. Неужели это То? А я думал: уже крест. Дантес, Чёрная речка, мочёная морошка.

Какой ты умный. А что мы будем в рот класть, светик? Как это – что? Купим килограмм колбасы, сыру копчёного, он как поросёнок, с хвостиком, в шуршащей обёртке. Мёду купим – бочку. А ещё селедочки бы развесной, чтоб сок тёк. Тут на углу. А то – в "Океане". Хочешь селедочки?

Тоска. Шатаюсь. Юсуповский сад. Сам я в щетине чугунных решёток. Со всего города. Детский визг, горки. День сизый, бобёр, с изморозью. Её Римского-Корсакова. Никольский. Поставить свечку. Бабушка. Мы туда обязательно. Она мне в душу смотрит. Понимаешь? С укором. Это её слова, не мои, повторяю её слова – вот какая у меня теперь забава. Может, и пронесёт, а? Не все же – чёрные полосы. Перо чешется, поди ж ты – гусиным пером... Что я кружу тут? Вон какие рожи с канала плывут. Так и говорит: тошно от рож. На работе, на улице, в метро, пойдём в музей, там портреты. И мы опять идём в музей. Шагал "Моя жизнь". Этот не доведёт, куда ты меня тащишь. Седое стекло, искрит, поворачивая, от кольца ещё ого-го пёхом. Первая подворотня, кап.ремонт, обойди, там и обитаем, кавардак, склянки, банки, чёрт в ступе. Жди. Переселят, когда жареный петух клонет... Читательский билет истекает. Ай-я-яй. В январе.

От метро "Чернышевская" – шаг. По его словам. Нет, на великана

он не тянет, рост средний, и вообще... Полу-серб, полу-чех. Оноре де Бальзак. Бывал когда-то да смазалось. Вот и ищи его Войнова десять. В морозном тумане. Э, батенька, сыт баснями. Будь я у него час назад, и то – труба. Где шёл, какой улицей, мимо каких домов, магазинов – убей. Сплошное белое пятно, а в нём вроде бы и бетонные столбики, вроде бы и ворота, всегда нараспашку, унылый двор, неказистая дверь. Я ориентируюсь. Уникальная способность. В двух соснах. Так, поболтать о материях. Дворником, шевелюра, пиджак, брюки, бахрома пол метёт. Шкаф ломится, рукописи, квасится в собственном соку.

Сварганит чаек. Николай, Николай, сиди дома, не гуляй. Нева – саван, свинец. Ладненко.

Зоругустрим, голубоглазая бестия? Буквы едва брезжут, не рассветёт никак, под копирку, пятый или шестой лист. Бессонница горбится над столом, завесясь махоркой.

Мужской монастырь нас с тобой зовёт, чижик. Лавру видно, сквозь грусть, сквозь черную пыль и бензин.

Приберег ко второму пришествию. Вилкой в зубах ковырять негоже. Нет, нет да и схватится с гримасой за щеку. А к стоматологу – арканом, В обществе себе подобных, я не в счёт, хранит рот в гробовом молчании. У него сестра Аня, мать. Я похудел, волнения, пятое, десятое. Он – угёс посреди бушующих волн, само спокойствие, брюшко с четвёртой дыркой в ремешке спорит.

Старая история, старая. Трафальгар, тра-та-та. Ядра ржавеют, мортиры. Оба целы, зоркость орла, хоть на мачту. У глазного нижнюю строчку... Суворовский. Ничего не пойму. Я на Невский ехал. Что там за беломраморное видение? Смольный? Он самый. Каким колесом меня занесло? Вскочил, наверное, в номер, а какую-нибудь цифру и проглотил вгорячах. Шуба, шапки. Просветлело. Не зря, значит... Как баба. Что-то я в эту зиму не то, чтобы ослаб... Дерни посильней и – вдребезги.

Сырой снегопад на Мойке. Купол Казанского. Нет уж, черепаха, раз пошли, так будь добр, переставляй лапы. И повалило, повалило – лавиной, нос, ресницы, дома, мост, "Висла". Синий плащ, капюшон, бледная, безбожная, махнула рукой. Страхнул сугроб с шапки и побежал вниз по ступеням.

В мире-то тесно, а в городе – и не заикайся. Ресторан Адмиралтейский. На какой я теперь посудинке? Да теперь я, знаешь – суша, моряк в седле. Пирог. Как же его фамилия? Симанюк? Татарцев? Якоря. Коктейль "бурый медведь". Шампанское с коньяком

– еще курсантские его замашки. Галстучек. Глазго. Встречал ли я кого из ребят? Магомет с Магометом. На круги своя.

Рафаэль, темно. Лиза, тройка, семёрка, туз. Так мы никогда не выберемся. Выход там... Галерея героев. Из собрания. Но зачем же попирать мёртвый картофель? Голова Олоферна. Квадратный морозный рот, Нева, Биржа. Ангел с черным лицом, весь я не умру, лес статуй. С этакой каруселью в голове... А что?.. Нарвские ворота. Карфаген, Троя.

Не зря змея снилась. Трамвайному парку требуются кондукторы. Спасательный круг. Что у него там? Пустые бутылки? Кошелёк с деньгами на тротуаре не попадает. Ты да я да мы с тобой. Компания. У неё не всё клеится. Утешительного – с гулькин нос. Голос грустный. Чего я от неё хочу? Ничего я не хочу от неё. Гуляем. Канал в снегу. Казанский тускло-сливовый, и небо это... Каркай, каркай. Оно и к лучшему. Лицо у меня... Мёрзлый лимон. Татищев, с ятями. Такой опущенный, можно подумать – навек. Денька три. Стрелой, туда и обратно, привезёт шорох подошв с Красной площади.

Без чая – хоть плачь. Её поезд ночной. Опять напугаю. Прибытия, отбытия. Лук, чеснок. Часы ткут паутину наших встреч. Часы-паук, чуткие лапы. Чтение, считать в уме до тысячи. Бессонницу этим не поборешь, попробую вечерний бег. Поздно креститься. Гром грянет, подкатывается, бормочет уже. Знаю я... Ясно. Симптомы, испугом не обойдётся. Тот, на Гривцова – санитар... Влип. Чёрная муха. Кожура мандарина, пожар, ку-ка-реку. Вагон шестой.

Господи, укрепи. Гомеопатическая. Аничков. Ржанье. Кони, кони, ах вы, кони. Не юноша, а туда же. Глаза ввалились, прикусил язык – до Восстания. Глупо, а вот... Не гонит, и то... Блаженный, юродивый... Прямой нос – находка. В чухонском городе. Она взяла свой с камей Гонзаго. Мой валенок рядом с Афиной-Палладой, и весь город нас видит, взирает на эту парочку. А я и рад. Да чему ты радуешься, жуелица?

Толпа, косоротая. – Чей ребёнок? – Кокарда продирается. С ума они все сошли!.. Бим-бом, кошкин дом. Своих дел... Лиговский. Новая почта, с погонами капитана второго ранга. Даром. Зачем мне шинель? Кураги, чернослива, изюма, варенья из айвы, хурмы, халвы. Обыкновенной картошечки Волосовской. Лицо в оправе. Своей рукой. Тамбур, стачка. Трясёмся. Да вспыхивай ты, сырая сера! Это мы куда? Из города поскорей или – покорно, смиренно, поджав хвост, обратно – в камни?..

Заведём попугая. Зелёного попугайчика и научим: дайте на пропитание бедному попке. Попка подохнет. Гости размякнут, насыют денег в прутья. Гору денег. Вот и прокормимся. Пропопугайничаем до марта, а там – солнце греет и глядеть веселей. Сумерки, идеи у нас, сама не знает – что надо. А я знаю?.. Стекло, тонкое. Стекло это – я.

Сто рублей. Варшавский. Чугунная рука далеко видна. Трамваи ходят, как ни странно. И по Обводному, и везде. Год не ходили, а то и два. Вообще-то не ожидал. В ушах у меня ещё полевой ветер свистит. От лыж. Не смехи... Спортивный значок. Spartak. Спартанец, привычка – вторая натура.

С одних колёс пересел на другие. Четырнадцатый, черепаха, тащится. Если бы домой, а то... Чучело, пугало, врешь ты всё... Щорса?

Сиротливая сигаретка в мрачной продувной парадной. Дым, туман... Жильцы дома, экзотические аквариумные рыбки, тычутся тупыми носами в борта моего пальто, взирают робко, шеvelя жабрами, молят: скорей, скорей! А то умрем... Простите, рыбки, не за того принимаете. Ваш хозяин не я. Ошибочка. Не я, кто-то другой обязан приносить вам корм.

Левако – два звонка. Медная дощечка. Глухо. Не подходят. Дома нет. Что ж такого. Нет дома. Придёт.

Лай на лестнице. Резкий, как в туннеле. Мопс, злоба. Мопсик, не лай. Пожалуйста. Очень тебя прошу. У меня в ушах скрипка, а не барабан. Сяду тут на ступень, возьму смычок – собственный позвоночник. Струны – нервы. Что вам сыграть? Шуберта?

Нацарапал отчаянные вопли, сунул в дверную щель. Левако всегда выручал. Скорая помощь, латинский словарь, глаз-стеклорез. Где шатается...

Кошевого. Облачко над ртом. Испаряйся. У меня много. Всякое дыхание хвалит... Руслан и Людмила. Коробища. Вот бы... Да на какие шиши. Хорош. Из пальца высосать? Как я покажусь с голыми руками на Новый год? Еду, еду, не свищу, а наеду – не спущу.

Московские дни её надломили. Бодрую её ось. Что-то с ней такое... шоколадный дед-мороз. С ликёром. Дорожный шампунь. Мылась в ванне, а вокруг дохлые рыбы кверху брюхом плавают. К чему бы это? Паникёр, один в поле воин. Афиши, афиши. Музыка любим. От музыки без ума. Э, да у тебя плешь светится, волшебный стрелок! Полянка, лес дремуч, за стволами... Земную жизнь – до половины... Достал вот. Да оттуда. У кассира из зубов вырвал.

Хрустальная, синенькие, зелёнькие. Скрип, серьги, гриф, подбородок. Не партер, а страна озёр. Так на то они и лопари, чтобы лопотать. Мы из Суоми – раз моргнуть на автобусах. Не мни. Сам Темирканов. Палочка не машется, ещё не проснулась. Даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром. Слушал не слушал. Медведь во фраке, Собакевич, манжеты-флажолеты, опрокинет попиптр. Ёрш в горле, прокашляться бы. Шипят. До слез...

Никакая не луна. Сочиний. Подышим до техноложки. Так судьба стучит в дверь.

У неё отец эстонец, хутор, ни слуху, ни духу. А мой? Спит под крестом на горе. Крепко спит он. А над ним метель, метель. Он в той метели. Его высокий, в залысинах лоб, у него тост. Вот я к нему и поднимаюсь. Каждую зиму поднимаюсь. Один.

Февральский стакан в руке моего отца не расплеснётся; чтобы жизнь была полная; толстые, румяные губы, пилотка...

Зря. Сам я на грани. Тоже такой. Родился бескожий. Растили ложкой рыбьего жира.

Боюсь провалов, память – ужас... Поэт, муза, на холмах Грузии, я помню чудное мгновенье, я Вас любил, мчатся тучи. Медный всадник, тиха украинская ночь, площадь Искусств, плоды любимых дум, не дай мне бог сойти с ума, есть в мире сердце, где живу я, он слаще всех жар сердца утолит... Забуду. Вылетит из головы. Как воробышек. Порхнёт, и нет ничего.

Этот мамонт ещё не вымер. Розовые твои очки, а в них торгаши, рынок, семечки лузгают. Пирожки на Сенной. Не совет. Какой я советчик. Предупреждение. Одна и та же чепуха. Студенты, солдаты. Безрассудная, угорелая. В этой толпе пустых глаз. Дыр с зевотой.

Ватные штаны в Апраксином. Орешки, отборные, идуг в ногу с похоронным маршем. Весёлые ребята. Потёмкин. Волга, Волга. То ли волхв, то ли волк. Чело. Притча во языцах. Блатное местечко не валяется. Знает одного человека, так он теперь миллионер.

Махровый халат, мокрые, окрашенные хной... Шитье, что-нибудь. Шалтай-болтай. Сегодня – мед, завтра – яд. Принимай за чистую монету. Запальчиво, с вызовом, подбородок, мрачная, торжественная. Ай, как мы грозны! Мечем молнии. А в чём я виноват? Что не халдей? Гороскопы не по моей части, знаете. Что у неё на роду – топором не вырубить. Изменить не в моих силах. Долю, дольку. Не в компетенции. Распределением не заведу. Тем дворцы, этим – шалаши. Кто ж спорит. Шушера. Соломки подстелить...

Деньги с неба не польются. Где такой благодетель? Жить за кем-нибудь, как за каменной стеной. Об этом мечтает одна её знакомая.

Как там Оредеж? Лес чешет еловый затылок, нос-шишка. Начальник расщедрился, даёт десять дней, целых десять, все пальцы. Это ж вечность! Понимаю? Она, я, и печка. Потрескивают дровишки. Возьмём вкусенького. Воз с прицепом. В три. На вокзале.

Промёрзла наша дачка. Дым в дом валит клубами, а в трубу не хочет, подлец, упирается, воюй с ним, А вот мы тебя, дым, выпроводим метлой. Уходи сам по добру, по здорову. Тяга – дрянь, но обещает исправиться. Что ты на это скажешь? Смеётся, поёт, белая шаль, Оренбург, топчет валенками. Чудная. Запомним эту ночь. Рюмка водки греет ноздри.

Нашёл кучу пластинок. Отрада тёткиной молодости. Романсы, романсы. Сличенко.

Разобранная постель разглядывает себя в зеркальном запотелом омуте. Комод-бегемот, стеклянный живот. Лежим посреди посуды – тарелок и чашек, призрачные, отражённые, на другой планете. Стон гитар. Эти мелодии нам прислал Уругвай. Ах, Уругвай, угар, ягуар, отравка. Железный многоколесный ком. Грохот за рамой. Да это поезд. Пустые вагоны бегут в город. Десять, ровно. Их всегда десять. Тихо-то! Прорубь. Мягкие, теплые губы. Звёзд! Опять... Шпалы грохочут, трясутся. На моей щеке эти шпалы трясутся, и вся дорога.

До мельчайшей чёрточки, до последнего вдоха. Запомним, запомним эту ночь.

На эти островки взбираются по лестнице. У неё под веками, за тростником ресниц. Шаткая, всхлипывает, перила слёз. Год за годом...

Город чихает. Носовые платки вспархивают то тут, то там. Береженого бережёт... К врачам обращаться... В ножных кандалах. Эпидемия. Ерунда в решетке. Нужен неуловимый Левако. Позарез. То средство. Оно бы помогло. Ясно. Помогло бы. Радиотехника, баян. Перстни. Везёт в любви.

Зыбко. То да сё. Шарик крутится. Ещё оборот. А какой он – собака? Порывивает, показывает клыки. Шалишь. Не робкие. Река забвения. Лета.

Строим башню, заоблачную – лебединая шея утонула в небе. Нашей башне будут завидовать ангелы. Царь вавилонский, Навуходоносор, пришёл посмотреть работы. Недоволен, разгневался, ногой топает. Нашли место. Почва – ползучий песок. А кругом – болото. О чём мы, глупые головы, с тобой думали? Горе-строители...

Как верёвочка ни вейся... Загремим под горку. На что я надеялся... Год прошел – и ничего, вот и решил... Не сплю третью ночь. Висит это надо мной. Оборвётся с часу на час. Страус, спрятаться. Толку от таблеток. И вообще – толку...

Не видимся. Не подхожу к трубке, не открываю дверь. Ночь. Стучат в стену. Тихонько так постукивают молоточком. Забывают. Гвоздик забывают. Да, гвоздик, должно быть. Что ж такого. Забьют, повесят картинку в спальне. Лес, медведей, Шишкина. Баркас, бурлаки. Иван Грозный убивает сына. Я не возражаю, с чего бы мне возражать. Сижу в кресле и смотрю, не отрываясь, на эту стену. Смотрю, смотрю. А в неё всё стучат, стучат, громче, громче...

Вошёл в дом. Лётчик на столе, ногами к порогу. Долетался. Не в небесах. Если бы... На грешной земле. Во сне. Спящего, в висок. Тайга, уголовник. За что? Было бы за что... За характер.

Отец и младший брат собираются в Сибирь. Чистят и смазывают части припрятанного на чёрный день Т.Т. Севрюгины. Знаю...

Турникет на дворе, осиротелый, хмурый, без рук, без солнца.

Подбрось шашечку! Не жалея! Чтоб вышибло! Не в рай, так в ад.

Баллон кислоты. "Данаи" нет.

Я в яме. На гнойном дне. В бинтах, Бедный Лазарь. Живой труп. Йод, йод. Размотайте! Ради всего святого!.. Дорога, пилигримы. Куда путь держите, посохи? – А в Софию, болезный. На яблочко.

Один шаг. Так просто. Шаг с подоконника. Мутно. Туман. Двор расплывчат. Четыре этажа. Достаточно ли? Отделяются переломами. Как кошка. Срастётся... Жарко. Мороз. Рога огня из крыши. Алые, яркие. Это на Гороховой. Вой пожарных машин. – Простудишься, – голос за спиной. Спокойный такой, погасший голос.

Окно в сапогах. Что надо? Покой ему нужен, полный покой. Больше ничего. Так что – не тревожить. Всё. Последнее слово. Месяц такой нежный, пушистый, как цыплёнок, этот месяц. Эй, ясный, будь добр, протяни руку – помоги мне выбраться из этой ямы. Друг-месяц... Что ж ты... Протяни луч... Ходят и ходят, катают в коридоре тележки. Уснешь...

Принесла гранат. У, фрукт! Где она такой раздобыла? Гранат-гигант. Поправляйся! – говорит она весело и звонко. Звонко и весело она говорит. И глаза у неё хорошие. Ласковые и хорошие. Тёткины ключи ещё у неё. Дача скучает. Выше нос, барбос!

РИГА В ШЛЯПЕ

Я пожимаю плечами и смотрю на залив. Солнце – раскалённая точка, поставленная над I.

На набережной ругаются. Спорят из-за рыбы. Чайки, их речь. Красят суриком скамейки, буи в море. Прихлынув, липнут к ресницам, и судно отстраняется. Матрос курит, стряхивая пепел на восход. Лихой блин набекрень. Лодка уходит, поклёывая разбросанную в воде апельсиновую кожуру. Всегда свежее, рижское.

Я гляжу: то загорится искорками янтаря, то померкнет. Пиво в высокой, как башня, кружке.

– Тру-ту-ту, – поёт тряпичный картуз, – тру-ту-ту, крошка моя. – Туфли-лодочки постукивают. Берёт из рюкзака трубу и играет. Из-за столика встаёт пара: толстый и тонкая. Они танцуют. Подходят с благодарениями. Ирма и Лиго. Она – гид по Риге, возит туристов в экскурсионном автобусе, вещает в мегафон. История старых камней. Чёренькая, зябкая, кутается в плаще. Он – шофёр автобуса, преданный друг. Огромный, толстый, могучий.

Окликаю. Они узнают. Смущены, извиняются. Теперь они не упустят меня из вида. Устроят, обогреют и найдут угол. Они милы, говорят с мягким, приятным акцентом. Пишут адрес и телефон. Улица Вальдемара. Смущаясь ещё более, предлагают деньги. Нет, деньги у меня есть. Благодарю. Прощаемся до вечера, и я иду один бродить по городу.

Спина упирается во что-то твёрдое. Спина-волна. – Покачайтесь! – кричу я чайкам. Нет, не кричу – переливаюсь. Иглоукальванье под кожей. Набережная Комьяунатнес бодрит, как нарзан. Гладковолосая, ляпис-лазурь под веками. – Загримировалась! – Я грустен. В руках громадный грейпфрут.

Сдираю кожуру остро отточенным, как резак, ногтем на большом пальце. Отращивал всё лето. Нектар течёт по подбородку, горьковатый. Тросы трутся. Утренний блеск пляшет у стального носа с продетой в ноздрю якорной цепью. Моют палубу и поют. Они прогуляются до Гамбурга. Ни-ни! За кого я их принимаю. Они – не плавучее благотворительное общество. Всё, что они могут мне предложить исключительно по доброте душевной – место юнги, уборщика гальюнов.

До ре ми. Без четверти девять. Кофейная чашка фыркает с губ. Автогудки. Кровяные шарики красят фасад. Половина грузовика. Распиленный пополам рояль. Мотоциклист-яйцо тухло улыбается, оседлав колёса. На заднем сиденьи корзинка.

Деньги снились. Сто миллионов. Я растерян по тротуарам и витринам. Выворачиваю карман – в нём дыра, хоть суй кулак. Я свищу.

Тут есть всё. Даже эпос. У прилавка с окороками я опять насвистываю. Я вижу луч, а читаю: Лачплесис. Латы героя – сальная гиря. Товары, лопоча, липнут к локтям. Туфли в пыли, солнце на шпиле. Центральный колхозный рынок. Нет, просто – рынок.

Тут и театры – драма и комедия. Бродят, зубрят роли. Кукареку высоко на иголке портного Петра. Плитки блестят. Пошив пиджаков и брюк. – Войдём? – Один глаз – аквамарин, другой – черепаха.

На площади Ратуши автобукет. Ключ от квартиры, пудель и полдень. Ярко-красный пикап. Говорят майзе и не слышат моих вежливых вопросов. Я верчу головой-флюгером – откуда обед дует? – В Диету! – Иду, притихнув, нюхая молочный суп. Переулок, брови-булки. Лабрит, ре-диз.

Передвигают фортепьяно. Медведь наступает на уши. – Это недопустимо! – Я кашляю простоквашей. Сижу на скамейке в Межапарке. – Так ты говоришь – кокле? – ковыряю в зубах скрепкой. – Кокнут, как сервский сервиз.

Сижу на скамейке и думаю об Ирме. Она не латышка, она – ярко выраженная еврейка. Нос, шевелюра. Жар под кожей, рассыпанный чёрный жемчуг. Щиколотки, икры, голень. Освежите меня райским яблочком.

Я болтаю, тень – молчит. На Балтике благоприятно. Тёплый циклон, за пазухой бабье лето. Латвия – бабочка. Рига – галва. (Читай – голова). Часики-браслет спешат мимо меня. Я не успеваю спросить время.

Удивительно – продрогшие руки шарят спички. Спроси в погребке горячего грогу – говорят в спину и дышат жаром. Это здесь. Фасад с разбросанными горящими тузами. Дверь – клёпка. В нише кто-то стоит, пряча нос широкополой бутафорской шляпой. – Юмиса не видел? – Нет, а что? – Я пытаюсь вспомнить: кто такой Юмис. Из Лудзы. Луковица о двух сросшихся головах, режиссер любительского театра.

Три ступеньки вниз. Тушь, гуашь. Феерия, торс в трико, петух чистит о фартук плакатные перья. Дверь открывать святым духом. Театр Кукареку. Пюпитр с нотами. Гипсовый Эсхил с отбитым носом. Стакан на краю стола. На тарелке стручок красного перца. Трапедия, конус. Лицо крестьянина в разрезе. Спелая грудь грушевидной формы. Такую же, с прилипшими песчинками, я видел недавно на пустынном взморье на Даугавгривас. Не торгуется. – Тридцать рублис. – Она курноса, как трамплин для водных лыж. Уводит за ширму. – Эльза! – Тащат тележку. Костюмы не готовы. Сошьют из лоскутков. Недаром он из Лудзы. Им осталось десять дней.

Я вижу: рубашка в шашку, борозды вдоль щёк. Нешуточный новатор. Работает, как одержимый манией величия. Тучная пашня. Фольклор курит трубочку. Пол блестит, грузчик ест чернослив. Роли бродят.

Он не прогоняет. Пусть остаюсь, если нравится. Мешать репетиции я не буду, хоть бы и улёгся посередине сцены. Он прикажет актёрам перешагивать.

Они меня подкормят. Угощают варёной брюквой и тушёной свиной. Подливают томатного сока. Интересно – откуда я взялся. Что касается их – они тут родились, тут и выросли. Это – Нора. Она – лёгкая на ногу, пшеничнобровая. Кто первый Нору полюбит – того первым она и проведёт за нос на другой край города в Плявниеки в новую квартиру. Пусть зря не зарюсь. У неё есть Рудольф. Гладит катком шоссе. Заработок откладывает за обе трудолюбивые щёки. Не увернётся, качаясь у себя в кабинке на мягком кожаном сиденьи. У Рудольфа остались считанные холостые денёчки.

За окном ходит солнцедера. Она из пьесы, которую пишет Юмис. Сам пишет, сам и ставит. Никогда я не видел такого крупного винограда. Лепной, пыльный, фриз, карниз. Голуби на подоконнике дерутся из-за хлебных крох. Розовый дом, кивнув высокой кудрявой крышей, вспрыгнул на педали и катится за сыром.

Они тут съели пуд соли. Предлагают и мне. Галстучки-морковки. Курят сигарету за сигаретой. Пачка худеет у них на глазах. Голубых и ясных. Они знают всех экскурсоводов. Шофёров – тоже. Как свой перст. Я должен их извинить, им пора на сцену.

Я иду. Нет, смотрю. Улочка выложена брусками мыла. У входа в бар стоит труба и играет. Мостовая горит, речь – брызги кипятка. Стою посреди тротуара и решаю: войти, или пройти мимо.

Они не гудят, они – зудят. Каша зеркал и кружек. Въезжают скулы машин и садятся за столики. Шины, кляксы. Бронзовые, из оркестра. Тарелки и клавиши. В рот лезет дыня. Народный орнамент, поют три голоса. Нет, нет, да и мелькнёт бескозырка.

Я строю зыбкие предположения. Строю на песке. На свойствах текучести и непостоянства. Ненадёжное, жёлтое, напрокат. Я подозреваю: они знают больше, чем я думаю. Они уже играют роли, реплики сырые, непрожёванные. Сжигают шашлык. У меня здоровый цвет лица – лиловый. Как у устрицы. Я произошёл от рыб. Неопровержимые доказательства: жабры. Я готов тут съесть все бобы с подливой и слушать их песни до горохового рассвета. Лиго, Лиго – поют они. Ведут хоровод и оплетают лентами. Возлагают венки на головы, как статуям павших солдат. Пустой рукав приколот к плечу. Он что-то оставил: гриф и лопнувшую струну.

Бармен цедит из крана. Пойду на Певческое поле – еще и не то услышу. Говорит он, вытирая о бока мокрые пальцы. Он знает Юмиса, как свою стойку. Кто ж его не знает.

Оптика, обувь, молодожёны. Резкие тени, звуки, краски. Лабдиен – гудит день. Лбы-банки, шаги-деньги. Шнурки. У меня плодородный взгляд: смотрю – плодятся. Пельмени, омлет. Аллегро, парик с буклями. Далеко вывернутое консерваторское ухо. Моцарт. Пара лоснисто-кожих перчаток – отражать солнечные удары. Учат языку сквозь зубы. Здесь жил Г. Новая выставка "Горизонты".

Крыши-клюквы. Перекрёсток в руке дирижёра-регулирующего. Оттопыренный палец показывает на Маза Пиле.

Ау! Ау! Аусеклис! Я пытаюсь разгадать слово – оно встаёт над круглой треугольной крышей. Пиво в бархатных чёрных штанах идёт по улице, мурлыкая на губной гармонике. – С хуторов. – Губа у пахаря отвисла, на неё садятся, гикая, галки. Площадь в пальто.

Ирма танцует с Юмисом. На Юмисе шляпа с высокой тульей, репсовая лента. Лиго мягко ходит вокруг в сапогах с отворотами, охотник. К потолку подвешивают жареных уток и кольца пахучих колбас. Перебрасываются раками. Ищут Юмиса, лезут под лавки. Он исчез. Юмис спит в поле под чёрным камнем. Взяв ножи, идут будить. Отрежут голову, а вторая – горькая луковица, умчится на мотоцикле в старую Ригу, спрячется на чердаке под ржавым корытом. Поднимутся, будут звать: Юмис, Юмис! Откликнись! Взгляни на свою невесту! Она – как утренняя звёздочка! Захочется Юмису одним глазком поглядеть, приоткроет край корыта. Тут и обнаружат...

– Богатый урожай лжи. – Пахари, уходя прочь, широко распахивают сырое пальто. – Сауле высушит, – говорят они.

Ар ко? Ар ко? – они накаркают. Вьются над ресницами, вопрошая – с кем? с чем? С благоприятными известиями. Юмис жив. Он в М., пьет свежее пиво. Ему поют три голоса. Крепкие икры танцуют до утра в клубе моряков. Два матроса раскачиваются, как лодки, якоря то загораются, то гаснут. Чёрная змея на дне моря мелет и мелет горькую муку. Косы взвиваются, колышутся.

Соломинка от коктейля, бумажный стаканчик. По лицу – зыбь, иллюминаторы. Галька перекачивается с боку на бок, шепелявый плеск. На меня смотрит баркас с расщеплённым носом и разбитые окуляры краба-бинокля.

Пугливые, пробуют воду. Одна штанина завёрнута, другая намокла. Я влюбляюсь в эти щиколотки. Аве Мария. – Ты можешь что-нибудь сказать? Хоть словечко? – Я иду и качаю головой. Иду и думаю. У меня адрес и телефон. Ирма и Лиго. Я ищу улицу Вальдемара. Спрашиваю – отвечают по-латышски. Пролетарии сружают железо. Бодрые локти мешают пройти. Я не из Ритабулли – отвечаю им.

Катятся конькобежки с ранцами. Они красиво размахивают руками. Соломенные волосы перевязаны на лбу лентами. Ролики гремят.

Она приняла меня за столб, потому и схватилась. Брови влажные, хоть пену выжми. У неё ни одного свободного свидания. Что делать – она не святая. У каждого свои плюсы и ляпсусы. Я ещё увижу её как-нибудь вскользь, встречи с ней непредсказуемы. Ролики у неё резвые. Она будет волновать меня в моих мечтах образом незнакомки.

Я провожаю взглядом. Божья помощь. Агентство "Аэрофлот" одного роста с солнцем, прикрывается фюзеляжем, ниже пояса выдают шасси.

Когда я, наконец, поднимаюсь на их этаж, они журят. Они давно ждут. Я – иголка, потерялся в стоге. Они нашли угол. Недалеко от центра. Тихая и приветливая улочка. Там мастерская. Кисть прекрасного художника Маргера. Он угрюм и говорит одно слово в год. Я непременно его полюблю. Для меня и тахту откопали. Крепкая ещё старушка, хромает на трёх ногах. Подложу какого-нибудь хлама. У Маргера его много. На грузовике с прицепом не вывезти. Ирма пыталась убирать, руку сломала. Сумочка через плечо, помада и пудра. Сигареты "Прима".

Толстяк Лиго чем-то взволнован, отводит глаза, вытирает сухой лоб платком. Скрыть драму ему не удаётся, она на лице, простом и добром. Я читаю на нём, как в книге: крушение. Он уступает мне Ирму без боя. Мы уходим, он остаётся.

Реклама брака. Зубной протез. Она потом объяснит, их отношения – запутанный клубок. Фата-фасад, обручальные кольца. Тушь, тени. Ирма говорит: я ошибаюсь. Лиго – друг. Со школьной скамьи.

Мне легко – у меня гиперболы. Берёт под локоть. Смело, как ручку чайника. Вздрагивают троллейбусные рога. Щекам жарко.

Улица П. Фа-мажор. Чортик на бочке. Нож и вилка. Руль, губы-бамперы, подстриженные виски. Номер смазан малиновыми штанами. Крутятся спицы, щёлкают дверцы. Вязкое, липкое, зрачок, хрусталь. Ирма говорит: здесь.

Ощущение: мы тут были. Дворик, надвинув кирпичный козырек, не торопится признаваться в близком знакомстве. Я чувствую: ухо растёт – печная труба. Ноги-антенны. Из-под губы-арки глядит амбар. Варят кофе, жарят котлеты.

Маргер – сомнамбула. Любая кошка, не спящая на подоконнике, мне расскажет. Рискованные шаги по гребешкам ночных крыш. Разве я не слышал? Я не выразителен, у меня мелкие черты. Не кинематографичен.

– Т-с-с! – Спит, поджав уютные ноги. Крупное, мрачное тело.

В мастерской светло. Маргер спит, грузный, в заляпанной блузе. Носок с дыркой на пятке. Под щёку подложены ладони.

Кисть рисовала солнце. Окно-витраж. Стена – музей фантазии. Бумага и бритва.

Я стою перед уголком старой Риги в простенькой рамке. Изображена та улочка и погребок. Та дверь, театр Кукареку. Актеры, встав в кружок перед входом, о чём-то толкуют. Я вижу: они не стоят, они – парят, ноги не касаются тротуара. У актёров неестественно повернутые, взволнованные лица, вывихнутые в суставах жесты. Я узнаю среди них Юмиса. Он в шляпе с широкими полями и высокой тульей. Бархатистый, чёрный велюр. Она огромна, величиной с Ратушную площадь. Теперь она лежит на мостовой перед рядом ярких автобусов. Я играю на трубе, и мне кидают в шляпу деньги. Много-много денег. Они сыпятся из рога изобилия, им не будет конца – этому сверкающему ливню. Они радужные, свежераскрашенные. Их нарисовал Маргер.

Глаза растут из моря. Буй-бекар. Неразборчивое бормотание – бемоль, буссоль. Никак не вспомнить: из каких звуков состоит устойчивое, как черепаха, слово. Оно спасёт. Откатываюсь, камешки шуршат. Очертания регаты. Парусное настроение яхт. Белокительный мичман кричит с борта и машет куском арбуза. Голос громкий и резкий. Голос-гонг. Лодки плывут, грезя, в ожерелье пузырей. Их мечты устремлены в страну лимонов. Там жарко, там рукоплескания.

Ирма говорит: Рига завалена фруктами. Дешёвые, как щепки. Когда мы выходим с корзинкой из фруктового магазина, мы видим: над зданием гос.банка висит зеленоватый шар. Нас обтекает и обдувает ветерком людный проспект.

Держит за рукав: я могу сделать роковой шаг под оторвавшееся от автобуса колесо. Тут часто отрываются и убивают зазевавшегося. Мгновенная гибель. Она понимает: я только о такой и мечтаю. Я молод и горяч. Так было с очень близким ей человеком. На её глазах. Нервы у неё стальные, из железа легче слезу выжать, но она не хотела бы повторения.

Пусть зря не рискую. Я ей нужен. Что-то вроде палочки-выручалочки.

Журнал – жирный текст, халва и изюм. Статьека о Юмисе и его театре. Автор советует взглядеться в гениальное явление. Подпольный слон, ютится в подвале. Пора обратить взоры, открыть простор, пустить на арену. Жюри оценит мощь бивней и толщину хобота. Постановка новой пьесы потрясёт подмостки.

Стоим на лестничной площадке и курим. Я безропотно соглашаюсь. Сигарета – столбик пепла.

Плитки – патология чистоты. Пафос глянца. Фаланги окрашены никотином. Я один вижу в них трагизм. Ирма не видит. Она и меня различает с трудом, хотя и щурится. Я преувеличиваю своё горе, я не великан, я – пукелис. (Пылинка). Сдует с руки – улечу в Швецию.

Курение – культ, фимиам. На каждого жителя по табачной фабрике. Мотоцикл гремит под окнами. Девятиглавый дракон. Умчится, посеет позвонки. Вырастет из поля патруль и спросит: курильщик? Здесь запрещено изрыгание огня и дыма. Велено взять тебя под арест. Послушает, послушает, уронит девять горемычных голов и ляжет спать. Протянется – мост через быструю, бурную реку. Поедут экскурсионные автобусы. Ирма-гид будет говорить в мегафон: поглядите – это не мост. Это – Юмис. Он не опасен, он спит. Сыт –

проглотил солнцедеву. А была она так прекрасна – глаза-звёзды, месяц в косе. Все мы её любили...

Я дергаю окно, не поддаётся. История перестает нравиться. Заперла в четырёх стенах и унесла ключ. Зелёные персики и кислые сливы. Кто бы ни позвонил, я отвечу уверенным голосом. Таким, который продолжительно живёт в квартире, ходит в шлёпанцах и халате с шёлковым кушаком.

Благодарность будет безмерна. Крошки от кекса. В трубке – треск.

Фонари ходят вокруг да около, ходят, ходят. Фонари-двойняшки. Смотрят с тротуара на моё окно. Бульвар.

Я иду с ними. Это бульвар Падомью. Тут гуляют парами. Тут круглый год гулко. Фонари ведут меня по узенькой улочке, по старым камням, мимо спящих ставень. Я читаю: Припортовая. Кто-то поёт. Голос-беда, голос-гибель. Сидит на пристани, струистые ноги. Мурлычет под нос. На шее колышутся бусы из затонувших кораблей. Утопленница в венце из раков, подвенечная пена. Море приносит древние руны и разворачивает перед моими глазами. Они отсырели, их съели рыбы, в них вплелись водоросли и обломки бесчисленных крушений. Они расплываются, не прочитав ни волны. Шлюпки ёрзают, шуршат лощи. Надвинув зюйдвестку, дует словарь ветров...

Ойле! Ойле! Железные кони! По Елгавскому шоссе едут сваты. Смывают тени водоструями брызжущих машин...

Ирма, школа, чётные номера на Шкюню. Она рассказывает свои сны: везёт туристов к заливу, а его нет. Маргер перенёс его на свою картину. Маргер не горбатый, он – гордый. Краски его согнули, палёная борода; Он не ходит, он летает кистью за призраками своего воображения. Волосы пляшут и метут ему плечи. Сено, солома.

Рёбра булки и рюмка водки. Мусор, мраморный торс. Нет, не Геракл. Карлис Скалбе – поэт.

Я сижу на тахте, спина рисует – Маргер. Сажа, жжёная кость, краплак. Топчет тьюбики, Росинант, лошадиные скулы. Говорит: эй! Не спит – там отоспится! Десять дней и десять ночей не смыкает створки упорных глаз.

Лакцепур, тушь, властитель латышского ада. Катится, катится под горку маковое зёрнышко, гонится за ним чёрный петух. Шпоры-серпы, коса-гребень. Пожар лижет коровьим языком крышу.

У Лиго новости: видел из кабины сюрприз. Солёные огурцы и пороят. Они просились на свадебный стол. Тост-башня, дверь в нише.

От Ирмы привет. Счастлива будет меня увидеть. Лиго странный, что-то он не договаривает, что-то умалчивает, пластырь на подбородке, бритьё.

От мостовой – пар. Пародия на элегантность. Рога бодают – велосипед, почтовый ящик. Капелла освежает уши Шопеном. Арфа зевает, полуденный отдых Фавна. Пищит каблук. Колдуньи на пуантах. Попаду в круг – закружат, им не привыкать, они – из Вецмилгрависа. Укус и крестик. Нательный, со шпиля. Нарисованное помадой сердце, громадное – на голой стене. Не тужат, живут на брюкве. Они не образец, они – эталон. Это Эрик. У Эрика горе: куры не несут золотых яиц. Пойдет Эрик в порт, а там опять – я.

Ноги-краны. Штопор, пробка. Что он так чмокает? Ты мог бы поклясться на неугасимом огне, что нигде её не встречал? Она – это она! Я всегда буду видеть её приветливой, в прибранной комнате. Ждёт на углу. Обула обувной магазин "Великан", жмут туфли.

Ресницы у Лиго моргают, бесцветные, как просо. Стыдится своего тучного присутствия. Он тут лишний, ему надо накачать колёса...

Телеграф, телефон, марки. Этот вырез ноздрей из Палестины. Она не помнит ни одного псалма и никогда не переходила вброд Чёрного моря. Хочет остудить виски.

Чемоданы сходят с трапа. Играет волна. Мы глядим с набережной: Ирма и я. Рыбак поплёвывает на крючок. Рыбак-старик, плащ, сапоги. Змейка купается – латинское Z. Зябко ей, изгибается и дрожит. Рыбак закидывает удочку – змейка не ловится. Ускользает и ускользает. То растянется, то сожмётся. Она не простая, говорит голосом Ирмы, просится мне на грудь.

Пересыхает во рту. – Ирма! Ирма! – Картинки – развесил Маргер. Это не мастерская, это – её квартира.

Катис жмурится, даёт себя гладить. До ре ми фа со ля си. Просто, как гамма. Иллюзорные суммы свистят сквозь зубы.

Телефон. Подниму трубку: голос Юмиса. – Справляюсь ли я с его ролью? – пожалуй, да... Улица обручает фарами. Я смотрю – нищий на сокровище: по тротуару разлит жир. Пальцы курят. То вспыхнут, то погаснут. Рыбы всплывают с жемчугом во рту, замороженные. Лодка везёт огонь. Развешанные для просушки рыбацкие сети бредут по побережью, увязая в песке. Сухие чешуйки и соль.

Крылья спорят. Чайки, их речь. Резкие крики базарных корзинок идут торговать.

ЯКОРЬ В РИГЕ

1.

Туда редко заходят. На плече татуировка "Таня". Встало зарево у горизонта. Вставало и падало много раз. Танкер, грек. Такой кострище! Торопись погреться у чужой беды.

"Спасите наши души!" – несутся отчаянные голоса над стальным зеркалом мертвого штюля. Баю-бай, не забывай нас...

Судно пришло в Ригу вечером, уже в темноте, команда возилась с швартовкой, тросы натянулись, трап ёрзал. Унылый месяц октябрь, фонари-рыбы. Безотрадное это, скажу я вам, место, а лучшего не дали.

Капитан наденет парадные позументы и золотые пуговицы и пойдет кланяться местным властям.

Пора, пора. Грузный козырёк первым. У нас уши на макушке. Берег – вот он: кусай лакомый локоток! Рыжий Кольванен и я, шурша плащами скатились по трапу. Рига поплёвывала дождичком в мутные лужицы через сутулое плечо причала.

По набережной гуляли зонтики, искали знакомств. Бобы, кружка пива. На шторках микроавтобуса – синие шпильки и заглавное латинское R. Тщательно отглаженные штаны потеряли вид, туфли промокли.

– Эй! – звал Кольванен, размахивая денежным знаком.

– По морям, по волнам, – пел Кольванен. Капли стекали по желобку его раздвоенного носа, но не мешали его соло. Не шёл, а танцевал, показывая модную бронзовую пряжку из Плимута из-за бортов незастёгнутого плаща.

Огни роились. Сидели бы на своей скорлупке и потягивали чай с лимоном. Так нет же – потащились за какими-то фигли-мигли. Фары редких машин, пробегая, мазали желтком по забрызганной поверхности.

Ай люли. Куда это мы забрели с тобой с риском сломать шею? Варягам на рога? Старые камни подставляли ножку. Перспектива споткнуться о барьер непонимания Кольванена не смущала.

Куда запропастился Кольванен? Столик – пустыня. Обслуживать нас и не думали. Кольванен пошёл искать правду, а я сиди под прицелами нежных взглядов сквозь черепаховые очки.

Подошла в развалочку и попросила прикурить. Курчавая шапка,

брови-медвежата. Забавная такая толстушка. Тут живёт: за бутылками и бородами. Горячая сигарета едва не прожгла ухо бармену. Её траур под ногтями, её «ты», её «дождь-зараза». Почему бы и нет.

Спотыкалась и посвистывала. Зонт-калека колот спицей. Забрызганные чулки. Дом, видите ли, в двух шагах с половинной, первый этаж /с улицы запросто – влезть/, а прошли уже квартал – дом её сквозь землю провалился или существовал исключительно только в её щедром воображении. Вцепилась в локоть, чтоб не упасть.

Хрипело и хлестало. У, сердитая! Таких водосточных труб, сколько ни шатался по свету, ни видывал. Моряк? Вжик-вжик – точит Рига о пороги своих каменных хижин ножи. Слышу ли я? Уши залепило илом, пучками водорослей? Чёрный янтарь, старинный, как у антиквара. А ещё, к моему сведению, она недавно любовалась с мола стеклянными шарами загадочного назначения. Гости из бездны. Мы же ничего не знаем о пучинах и их тайнах. Нас было двое. Мой друг Кольванен пропал без вести. Кольванена наверное съели, обгладывают его долговязые косточки. Она – Рахиль. У неё в крови не затесалось ни одного латышского шарика. Поэтому она так и шпарит на моём родном языке. Её предки распевали псалмы, переходя вброд Черное море.

Чечевица, маис. Где я не бывал. Городами глаза запоросило.

Завтра же покажу ей нашу потрёпанную калошу. Гавань стонала гудками. А дом её всё не являлся, прячась за углом, играл с ней, бестия, в жмурки.

Столица Швеции – Стокгольм. Клавиши и якоря. Грош в кармане. Стоять им тут и стоять, всю осень. До Нового года. Теплоход «Юрьев». Придёт только через месяц. И то – в тумане полной неизвестности.

Улочка согнулась – развязавшийся шнурок призвать к порядку. Дождевой поток, шумя и ревя, стекал в их Рижскую преисподнюю сквозь решётку люка.

Она должна предупредить сразу: кто перейдёт с ней седой поток этой ночью – поседет, как старец времени Лайкавецис. Забудет себя, своё имя и прежнюю жизнь. Забудет всё. Зря грозит. Соль тысяч вспененных миль на моей голове. Перекрасить бы моего дружка Кольванена, неистребимо рыж, подсолнух, протуберанец без единого тёмного пятнышка.

Это история с матросом. Взбесился в зените дня, в середине рейса, в тропических водах. Матрос тихий, характера шёлкового, мухи

не тронет, а – вот. Что с ним стало! Метался по палубе, сбивал всех с ног. Вскакивал на борт и кричал солнцу: “Убийца! Красная акула!” Связали, заперли в кубрике, убрав зеркала и всё режущее. Сторожили, по очереди, учредив вахты. Ночью придушили подушкой и выбросили в океан. Как бы сам, по дороге в галюн.

Её “Фьють”, её “заливаешь”. Пышные, неверующего Фомы губы. Её “трепло”. За кого она меня принимает? За мальчика? Клянусь челюстью гренландского кита! Удар раздвоенной лопаты способен поднять гору брызг до самых удалённых звёздочек. От шлюпок останутся щепки величиной с чешуйку.

Болтовня винта за кормой. Деньги текут сквозь её дырявые руки. Серебряные рудники, золотые прииски, алмазные копи. Ноги сами находят родные пороги, только узду отпусти.

Спит? Звонок не действует? Услышит ли, наконец, тетеря их неотступную азбуку морзе?

Рукава сырые, напитались влагой, как проливы у неё на географической карте. Из одного выжала Балтийское море, из другого – Северное. Зачем ей такая подробная Европа во всю стену? Лучше бы спросил: зачем ей мать – соляной столп в засаленном халате. Ещё лучше: не спрашивал бы совсем, а побыл молча, голодный и мокрый, до рассвета, который уже тут...

Был у неё уже один такой. Обещал вернуться в образе утопленника. Шлёт регулярные радиogramмы с края мира.

Она не виновата, что на неё косятся, что смотрят ей в след – шило в спину, что голос у неё, как у простуженного парома, что сняты дохлые рыбы. Росла тут и бегала на пристань – встречать и провожать.

Её ворчанье, оброненные ножи и вилки, разбитые чашки, рассыпанные солонки. Её юбки, сожжённые оставленным на минутку раскалённым утюгом. Её разодранные о гвоздь рукава. Её шиворот-навыорот кофты, скошенные каблуки. Расшатанные катастрофические табуреты, кофе без вкуса и цвета. Её “завянь” и “заткни фонтан”. Вся она.

Окно отбивалось от штурмующего десанта утра. Это не она, это, оказывается, я всю ночь разматывал бормочущий клубок в лабиринтах бреда. Вот что: оказывается – я. Клара любила Карла. Такая, знаете ли, скороговорка. Только надо быстрее, ещё быстрее! Клыр-кырл. Журавлиные переключки...

Портовые краны едва брезжили, поднятые, как для приветствия, чёрные стрелы.

2.

Рот в тине. Язык распух и не ворочается – орган, которым говорят о луне и солнце, о мёде мечты и жале желаний, о ранах и отравленных чашах, об изменениях моря, о происшествиях на воде, о третьем штурмане по прозвищу "Шаткое положение", о пробойнах и помпах, о сломанном винте и остановленной машине, о противотуманных похоронных ударах старинного корабельного колокола, слышимых моряками перед гибелью. Тело рвут свирепые раки. Оттуда нет известий. Фамилия простая, а вот не застряла. Запутался в Саргасах. Не туда смотрю, там... Ступни всей команды повернулись в ту сторону. У кончиков ресниц, у выпученных яблок – чёртов выродок. Крутился, дразнил. Совсем близко. Компасной стрелкой. Устал, разъело веки. Плыть уже не мог, из сил выбился. Покачивался на спине. Баста! Пояс из легучих рыб. Ожог от пожара. Багровые рубцы. Рога огня росли из палубы. Перстнями ловил блики, брошенные ходовыми огнями сумеречного скитальца. Хруст креветок. Засыпанное пеплом колено. Приютил у себя на галстике небоскрёбы и россыпь звёзд из другого полушария. Мёртвые клювы. Обзавелись поголовно, без исключения, интересно, всё-таки, знать: вернулся ли на борт Артур Арнольдович, капитан, под дудку которого все пляшут...

Я не у себя в каюте, я – у Рахили. Вот что. Штурвал боролся всю ночь с лютым штормом и вышел победителем из неравного поединка. А что не понял – пеняй на свой, повторяющийся из сна в сон, кошмар. Оглядеться никому не мешает. Берлога, куда заползают зализывать царапинки. Ещё рано, ещё хлеб не крошился и масло не горчило на конце тупого ножа. В доме нет мужских рук. Кашель грызёт её легкие. Шафранная кожа, как у мумии. Не надо песен. Столетние кости за стеной бубнили. Мрачное еврейское око выглядывало из комнаты. Спрашивало: не время ли выпроваживать за дверь её хахаля?

Ровно в три, у причала...

Старушку нашу я нашёл на том же месте, где оставил её вчера: не смыло её волной угара. Чуть ли не три месяца без берега как вам покажется? На борту шевелились матросские роботы. Утренняя приборка, мелкий ремонт. Что же это я, бесстыжий и нахальный, явился мозолить глаза начальству своим, катавшимся всю ночь в масле, сияющим блином? Надобности моего присутствия на судне пока не видят. Так что – могу продолжать Рижские каникулы. Только вот Кольванен мрачен. Ему не так повезло, как некоторым, для

которых дружба это – пузырь на воде. Тоже вечерок провёл. Вытряхнули карманы и вытолкали на панель. Цел и невредим – и то надо благодарить ангела-хранителя в кепи с полицейской кокардой.

Помиримся, уверяю вас, минуты не пройдет. Кольванен не злопамятен, с ним поласковой – и опять он замурлычет арии из опер. Розовая мечта Кольванена: тарелки в оркестрике. Запоёт бронза – чистое сердце, барабанчик-поросёнок завизжит от радости, будет поупражняться, пожалуйста, на моих боках, друг-Кольванен, кожа моя истомилась от безделья, гудеть бы ей под топотом палочек.

Выймой, Кольванен, руки мылом, щёки выбрей до лоска, оденься во всё элегантное, и пойдем, денди, прошвырнёмся по набережной. Познакомлю с Рахилью.

Тучи не устали. Капли – тук-тук. Издалека я узнал это её сокровище, её зонтик, кособокого её краба, которого она хмуро и брезгливо, с видом: "плевать", держала за ножку. Честно признаться – ёкнуло. Глупо, а вот...

Сброд болтался вокруг да около. Разглядывали носки штиблет-баркасов, собственных и чужих. Такие же, как мы, гаврики. Ей подфартило: думала – не придёт, а нате – двое. Топчется тут четверть часа. А так – делать нечего. Времени прорва. Взгляды-щупальцы не успели раздеть её догола.

Что в трюмах? Груз тоски? Жить можно. Не жалуемся. Шёлк и жемчуг носим не мы. С какой стати отягощать побрякушками уши и шею, не такие уж, надо сказать, и изящные, не собирается, хоть зарежь.

Эти тона к лицу Риге осенью; город с рыцарским прошлым, ржавые флюгера каркают со шпилей над рёбрами крыш.

Район с испорченной репутацией. Бывают и облавы. Чердаки кричат: "смерть оккупантам!"

Что ни дом – дот, что ни окно – амбразура с наведённым на "свиней" пулемётом. Гарантирует неприкосновенность. Волос не упадёт с головы у Кольванена. А упадёт – ужас! Рига сгорит в одно мгновение. Выгорит дотла. Вороши потом головешки, ищи череп бедной Рахили.

Кольванен мой неотразим, картинка, плащ-макинтош мёл тротуар, под плащом новенький, с иголочки, первый раз надетый вельветовый костюм цвета жёлудя. Герой.

Не зимовать же. Подлатаем, покрасим, а там – счастливо

оставаться. Сто футов под килем. Гребешки. Привет, Нептун! Что хорошенького? Баллов пять. Пустяковина.

Войдем в это осиное гнездо и посетим квартиру восемнадцать на последнем, подоблачном то бишь, этаже, просторный вестибюль парадной, кафельные плитки идеальной чистоты – хоть спи на них. Не бойся: не потревожат; перешагнут и пойдут дальше.

Наш "снег на голову". Инга, у которой мудрая переносица. Шаром покати по её полкам – продуктовым и любим, какие найдем у неё в лачуге.

Сидели по-японски на циновке и обсуждали: достаточно ли голы стены у Инги или, всё-таки, на них ещё висит что-то лишнее, что можно было бы загнать и заморить червячка. Инга – зубы, ослепительная эмаль; кто увидит её раз, не забудет вовеки. Аминь.

Рахиль, сомнения мои уходят на цыпочках. Я уже не тот доисторический ящер, что был вчера. Камень милостыни у меня за пазухой, оброс подводным мохом, морской травой. Кому я подам его? Во всяком случае, не тебе. Обещал и вернулся. Я держу своё слово. Встречай! Где твои возгласы радости? Не слышу ликования. Ты бледна, как меловая скала, глаза-иллюминаторы, смотришь с отвращением, выставила ладонь, барьер – чтобы не приближался. Вид у меня отгалкивающий, должно быть, да и каким ему быть после многих месяцев в солёной водичке, в сердце моря, его глубинах и безднах? Ничего не подделаешь. Согласитесь. Надо принимать меня таким, какой есть. Сяду за стол, а ты подай мне ужин, налей кубок. Но ты молчишь, ты воды в рот набрала – три океана. Влипла спиной в стену, не шевельнёшься. Только глаза – вопль. Раковина протрубит перламутровую весть рано утром, перед рассветом: пора! пора! Море зовёт своих уопленников. И я уйду, оставив лужи с обрывками водорослей у тебя на твоём негостеприимном, немилосердном полу. Прощай, Рахиль, прощай, дочь старой Риги! Загрёт мой голос в порту, сливаясь с гудком отчалившего от пирса, судна...

В тот вечер мы долго бродили от огня к огню, меняли кабачки. Низкие лбы неумолимых убийц преследовали нас по пятам. Поднимались на "поплавок". Укачает без хмеля. Мастер чучел? Моторист? Что ты бормочешь, беспрерывно, ветер крепкий поднялся, зыбь погнал в бухте. Сбрэндил. В глазах рябит. Кольванен-угорь, огненный линь, змеился и ускользал. В одну посуду, пожалста. Флакон "Кристалла" и что-нибудь закусить. Грозный перст стёр половину

столиков. Жирное горло надрывалось, чего-то требуя. Мелюзина, Лорелея. Сломанная лебёдка. Из её утробы мог бы выйти целый полк с барабанным боем и под развёрнутыми знамёнами. А вот – судьба распорядилась иначе. Ещё не ночь. Не новая, по крайней мере. Под ложечкой сосет хорошо знакомое всем отчаяние. Качает, качает. Электрические скаты лезли Кольванену на колени, он устал их сбрасывать. До чего капризный: то ему не так, и это. Шлёпогуб, африканский слон. Кто с тобой будет знаться? Не я, э, нет, голубчик, не рассчитывай. Откуда это ощущение неминуемой потасовки? Этот шум приборя? Сосредоточься на собственном шёпоте. Что она хочет? Случайной ласки? Подозрительного фосфорного отсвета на волосах? Что-то об имени. Имя, которое носят, как непосильное бремя греха целого народа, гиря-имя – тянет и тянет на дно. Тянет и тянет. Не успокоится, пока не угробит. Миклуха Маклай. Амундсен, Кольванен встал во весть рост, под потолок, и швырял монеты всех стран направо и налево. Колёсики раскатывались, сталкиваясь с ножками табуретов и башмаками, падая и звеня. Рюмки, кадыки, ночные бабочки. Глаз-головорез горел из-за соседнего столика.

– Погасло?

Двигались ямки, светлые и тёмные, сетью, булькало. Позор трезвым, вода полна плавников. Сцилла, Харибда. Обычная для такого бардака шум и пена. Инга погибла. В лапах Кольванена. Туда и дорога. Набежит свора шакалов – пора утیکать. С адским воем. Завтра "башка лопнет". Это её хрипотца, ни с кем не спутаешь. Швейцар подберёт. Пролив Скагеррак выползет из-под шкафа – душить клешнями. Невозможно у неё лежать ночь напролёт на её тесной постели. Метроном стучит у неё за стеной. Стучит, стучит, не переставая. Что он стучит, проклятый? Не всё кончено. Он ещё выплывет, освещенный факелами горящей нефти. Щеки-шхеры. От него, от этого Кольванена, не так-то легко отделаться.

Мириады мёртвых однодневок устлали белесой пылью залив. Или свет звёзд? Прощай, Рахиль, прощай, рижаночка, нежный жар в ноздре. Меня зовут подводные гроты. Я вернусь...

Долго я гулял, далеко забрёл. Причал, судно чужое. А наше – на рейде, огни ночные. Разделся, снял всю одежду и поплыл. Холод подобрался к сердцу, судорогой свело руки и ноги. Что-то плавало передо мной, совсем близко, у самых глаз.

Протянул руку – не достать. Яркий, как огонь, спасательный круг.

3.

Неузнаваемо, нелюдимо. Соль на леерах. Подставило ржавую скулу берегу, ожидая худшего. Умерли они там все, что ли, холерная палочка скосила? Судно стонало, просило не обессудить. Я тоже могу рассчитывать на тёплую койку в лазарете, доктор даст лошадиную дозу опиума, и я, тихо заржав, счастливый, пенногривый, нахлыну и затоплю побережье. У нашего доктора никаких других лекарств не имеется, вот в чём дело, и фамилия его – Рундуков. Маяк-изувер вколол иглу шприца мне в глаз. Мне больно. Вы бы знали: какая это боль! Пронизывающая, лучевая. Но я же молчу, я терплю, из моих уст самой страшной пытке на свете не выдавить жалобы. А ты, такое большое, железное, тоннаж солидный, а позволяешь себе скулить, как брошенный щенок, и тебе не стыдно, судно? Утюг ты мой. Мы с тобой ещё погладим мятые штаны какому-нибудь там Тихому океану. Не плачь, пожалуйста. Очень прошу. Я тебя утешу и успокою. Хочешь: буду ползать на четвереньках по палубе и облизывать любящим материнским языком твою старую шёрстку. Жарко. Подушка-плот. Стоптаный сапог полуострова, который я видел на чьей-то стене. Неснимаемая обувь. Босаяк-скиталец. Кто бы мне объяснил: зачем меня положили головой в костёр, разведённый на пирсе бродягами-буянами? Для них сам чёрт не брат. Это горят мазутные бочки...

В головах грохот и лягз выбираемой брашпилем якорной цепи. Вот кто меня разбудил – эта гремучая змея, терзающая мой слух, продетая сквозь мой мозг. Судно сотрясалось. В море? Новая стоянка, всего лишь. Гоняют по пристани, как вшивых. Рупор Артура Арнольдовича на мостике. Увидев меня, обязательно спросит с присущей ему ехидцей: хорошо ли я освежился ночным купаньем и крепко ли я после этого спал?

Кстати: получил ли наш милейший громовержец любезное позволение с берега – торчать в этой дыре рядом с соблазнами до скончания наших дней? Или завтра – в шею? Не желательно бы. А почему же? Просим объяснить тупоголовым. Не просите. Просьбы ваши также бестолковы, как и бесполезны. Вопрос этот пока неразрешим, друзья мои. И отцепитесь, я ещё не завтракал. Вот пристала смола. Что бы надеть такое, чтобы хоть чуть-чуть выделиться? Задача, знаете. Гардероб трещит, а ничего путного. Взятый у волны поносить кружевной воротничок-жабо. Я Вам очень признателен. Вы меня так выручили, так выручили! Я у Вас в долгу. Теперь я буду думать: чем бы Вас достойно отблагодарить.

Попался в руки потрёпанный Шекспир. Он всегда попадаетея первым, когда я ищу, сам не знаю, что. Датский принц Гамлет отправлен в Англию с депешей. Вот как! Приятная новость. Паутина снастей. Ночь. Скорлупку валяет. Два болвана дрыхнут на рундуках. А принцу любопытно: что в запечатанном королевском перстнем послании, он зажёт свечу, поставил её на бочку и, развернув свиток, заглядывает в него. И что же он там видит? Обезглавленное окровавленное тело кланяется ему. И его собственная отрубленная голова глядит на него, не мигая, выпученными мёртвыми глазами. Здравствуй, казнь. Бдение плывущего на утлой щепке по бурному морю ночью. Не спи, моряк, останешься кое с чем на плечах. Пальцы в машинном масле хватались за эту страницу, как тонущий за борт шлюпки. Гаечный ключ. Когда я вернусь к тому потрясателю пучин? Когда, когда. Шкуркой той, что вчера снял и оставил на причале, прежде, чем пуститься вплавь, я ничуть не дорожил. Говорю вам. Её, думаю, примерил портовый голяк и пришёл к выводу, что как раз по нему шито. И слава богу. Таскай мою покрышку, не промокай, собрат по плоти. Проглотил: сыр, сухари; чай остыл, с чайнками, слегка окрашенный. Кают-компания у нас – красное дерево, да будет вам известно. Скатерть-снег, Фарфор, мельхиор. Стюард атлетического телосложения, прозвище – Гибралтар, прислуживал, морщась, ревматик, плохо сгибая в коленях Геркулесовы столбы. Рот отвык. Триста лет питался планктоном, и вот: вернулся к нормальному человеческому столу, а ни кусочка не лезет, застревает в горле. На борту тихо, пусто. Ишаки моря не железные, отпущены на сушу немного порезвиться. Тут есть Шелипов, начальник над водолазами, старший у них. Водолазов тут целый отряд, если и не тридцать три богатыря, то пять наберётся, ляды точат в кубрике весь рейс. Судно у нас не простое, а особенное: бежит на сигналы СОС, с какой бы стороны их не услышало.

Зашел к Кольванену в каютку. Вот кому и горя мало. Тулумбасит на своих ударных инструментах, усердный кончик языка высунут – розовая свистулька, туфли отбивают такт. Размахался – переборку проломит. Музыкальный пот валится водопадом с лица моего трудяги – Кольванена. Лампочки крутить легче. А? Он своего добьётся, будьте уверены. Скоро, скоро мы увидим нашего Кольванена в более приятном для него месте: в оркестре трансатлантического лайнера, развлекающим денежные мешки. Кольванен, кончай концерт! С тебя реки льются и потоки бурлят. Утопишь, чертяка!

Тра-та-та по трапу. На причале работы: ток с берега тащат в панцирном кабеле к нашему плавучему дому, опустелому нашему ковчегу; брызжет электросварка. Намертво приваривали нас к шпоре Риги, не ускачем, улепетнуть не удастся без вмешательства высших сил. Не рыпайся, цыган, сиди на цепи, привыкай к чугунному кольцу в ноздре причальной стенки, к почётной позолоченной уздечке узника. Этого ли не доставало твоей кочевой душеньке? Мы оба, Кольванен и я, оглянулись: не сходит ли с борта ещё кто-нибудь из команды. Ждали минуту-другую в надежде занять деньжат. Вчера славно гульнули. Растраницировали все накопления. Мошна пуста, там теперь хор нищих поёт на самый заунывный мотив из репертуара Кольванена: подайте на пропитание сиротке безродному Христа ради. Напрасно мы ждали. Потерянные минуты. Так никто и не появился на палубе. Только скучала, облокотясь о поручень, затасканная, почти совсем утратившая свой первоначальный синий цвет, повязка на рукаве вахтенного матроса. Шиш. Сам на мели. Предупреждала она нашу денежную просьбу. Могу карманы вывернуть, если не верите. Так-то. Погодка у моря. Два мрачных месяца. Чёрствые, как булыжник за пазухой у голодного года. Зубы обломаем. Вот когда варёный рак свистнет в обе клешни, тогда и отчалим. Никак не раньше. Помяните мое пророческое слово. Не горюй, друг-Кольванен, рыжий пёс, искра божья, что-нибудь на ходу придумается, решится само собой, к нашему удовольствию, специально для нас, лично, подчёркиваю, для таких вот в пух и прах разоренных, какое-нибудь озарение, идея, эврика. Были бы у нас с тобой такие бычьи шеи, как у кнехтов, и мы бы повязали себе такие же стальные галстуки из неразрывных тросов и пошли бы, шеголи, распугивая местный народ. Дунуло с залива, пасмурь прогнало. И мы полетели на парусах наших плащей. Пешочком к центру. Автобусы нам с Кольваненом не надобны. На автобусах мы не любим кататься, и ни на каком земном транспорте. Такая гадость: садиться на колеса. Нет уж, спасибо, Проезжайте мимо. Мы – сыны другой стихии и будем ей верны по гроб, то бишь: по брезентовый крепкоспальный мешок с привязанной к ногам металлической болванкой. Хмурые брызги стряхнём с мудрого лба. Жизнь, закипай! Пузырьки в крови пионера глубин. Днопроходец, у него кессонная болезнь, оставь его умирать в покое под толщью километровой водяного столба. Не я бормочу – ты, всю дорогу. Дурная привычка, себе под нос. Не тебе же. И будь счастлив. Мокрые

куруцы, а не орлы. Смотрят, а рублем не одаривают. Расценим как издевательство? А? Кольванен? Что ж ты все отмалчиваешься, пара к моему сапогу? Не шебурши. Увидишь ты свою махровую розу Шарона. Рахиль, её "взять тачку" у шашек такси и её "махнём" туда, где кончается полоса неудач, дюны, зыбучий песок и чёрная змейка её вездесущего невезенья. Впрочем, она вот что хотела нам сказать: хорошо, что мы не пришли на пять минут позже, а то разыскивали бы её под мостом в студёных объятиях. Объяснение простое, как репа: приливы и отливы. Перст луны, невидимый днём, водит её тёмным, безропотным, послушным сердцем. Оно и так щемит, болит, зажатое тяжёлой тюремной дверью. Бедное, обнажённое, кровоточащее. Потерпи ещё немного – бросят сукам.

4.

Баржа пыхтела. Шум и ярость. Не нашими руками её беду развезти. Последний грош – последний её помощник. Назвала шофёру адрес: Вецмилправис или что-то в этом роде. У чёрта на куличках. Ничего волнительного: старый должок выколотить из одного парня, который пускает ей пыль в глаза вот уже почти год; не сомневается, что результат её воинственного наезда и на этот раз насытит её одной только пылью из-под копыт. Должок оброс уже бородой Авраама, дряхлый, сидит у шатра и ждёт, когда явятся перед его патриаршими очами три усталых посоха трёх странников. Мы с Кольваненом не ударим лицом в грязь. Разумеется. О чём речь. Пособим чем можем. Вот домчимся и возьмём этот пылевой смерч в оборот: выжмем из него томатный сок. Шито-крыто, замётано, Рахиль, дочь портовых халуп, рассеются твои страхи и тревоги. А потом? Какие у нас планы? Завернём к Болящей. Заглянем на часок. Пустят в палату – сможем лицезреть некую высохшую мумию, исколотую, истерзанную медицинскими стараниями, как сито. Не горюем. Держимся на поверхности. Буй боевой, потрёпанный бурями, несломленный, несогнутый. Нервишки шалят. Не с той ноги встала. Чёрная кошка метнулась у колёс. Стоп! Передумала! Тормози! Мы не едем! Лопнули все её затеи. Цыплята не проклевывались. Так весь день у нас и рвалось и путалось, таким манером. Таскались по захолустным лабиринтам окраин, по дворам-колодцам, где бельё сушилось на балконах, цветные тряпки, кальсоны, пелёны, и где носатые Лазари резались в карты на убогих скамейках. Листали угрюмые пороги её

родственничков и всякой шушеры. Радушие тут кривило душой, стаканчики перепали, а ничем существенным не разжились. На вечерний огонёк в баре так и не наскребли. А вот уже и сумерки. Куда податься? Какие ещё предпринять шаги? Поздновато мы вспомнили про Ингу и её финансовые возможности. Вот-вот уже брякнет дверью конец каторжного дня в её конторе, как-то связанной с таможней, а мы тут, лопухи, прохлаждаемся, ветер решетом ловим. Не получка ли у Инги сегодня? Какое число? Так и есть! Инге из кассы кругленькая сумма выкатится. Нельзя медлить. Затылок чесать Пороховой башней. И мы поспешили встретить Ингу у входа её тюрьмы, на пороге её свободного вечера.

Огни и знаки. Судно дало течь. О чём я? Помпам не справиться с такой пробойной в черепе. Это ясно, как знамение. К утру – тью-тью. В отсеке уже по колено, и прибывает, бешенноротая, с напором, как будто у неё времени нет, как будто на танцы торопится, на моих костях. Все воды и все волны. Пора доставать чистое бельё, братцы, надевать хранимые, как наряд жениха для свадьбы, смертные рубахи. Пора, пора. Не успеешь. Разговорчивые чудовища обступили меня со всех сторон, убудочные подбородки, ими кишит вся набережная, они замучили меня своей кораблекрушительной болтовней, байками кверху килем. Мне от них вовек не избавиться. Кольванен-Левиофан, достаточно мимолетно брошенного взгляда на его незаурядное ротовое отверстие, чтобы в этом убедиться. А где же Иона? Где он, этот дезертир, этот ослушник, я вас спрашиваю? Иона, оказывается – я. Заключённый в чреве Кольванена, молящийся о спасении в плену исполинских рёбер. Будь по-вашему. Не стану спорить, вступать в пререкания. Тыква произрела, созрела и увяла на шее Рахили, и город-Ниневию стёр с лица земли перст из туч, пока мы меряли шагами из конца в конец её добрую старую Ригу. Чем полна моя вечерняя бродяжая голова? Хотите знать? Вот чем: сведениями о маяках, огнях, якорных и ходовых, о навигационных ориентирах, которые все врут, и верить им нельзя ни на грош, о знаках предостережения и опасности уже совсем близкой, неминуемого когтя. Вспомнил, всплыло, "Дербент". Вытащили – уже не дышал.

– Пропашая?

Инга-иголка нашлась в стоге сена. Сгнула вчера, ни слуху, ни духу, и вот – зубы блестят в темноте, скромно улыбается, пытаюсь не показывать при виде нас истинных своих чувств и скрыть за губами

великолепные врата из кости. Акула тоже улыбалась. Мы ей снились на рассвете, всё трио, но как-то расплывчато, и сюжет сна облечь в слова невозможно, потому что призрачная материя, бессвязен, брыкается, предпочитает гулять нагишом и вообще – у неё срочные дела и всё такое прочее. Мы должны понять её правильно. Хотим ей добра или не хотим. Зарок. Рюмки в рот не берёт. Мы идём своим путём, она – своим. Горькое открытие, достойное быть записанным на Стене Плача. Не думайте, что мы Ингу не перебороли, набросясь на неё с трёх сторон; уговорили, уломали голубушку, повернули вспять, вернули в лоно бутылочки. Будущее алкоголички ей обеспечено, Кольванен в роли Вакха выстелет ей дорогу к бару виноградом и плющом. Дурили, балагурили. Взбаламучено. Что надо набережной, что она суется в каждую прореху между домами, лезет в наш разговор, слепит нас своими непрошенными сияниями, шествием факелов, эта фурия? Шляпы, козырьки, неизменно, бесследно. Хронос глотал своих котят. Спящий бушлатишко скорчился на скамейке с подстеленными газетами, ноги поджал к груди, обхватив колени руками; катились по морщинам и стекали с поседелой бороды годы и воды.

Столик у окна свободен. Обслужат миганьем бесцветных, как ячмень, ресниц. Блудливые завитки на обшлагах мундиров бляели в погребке, наливаясь пивной похотью. Погрузились по грудь в ил увеселительного заведения и не могли выбраться своими силами. Засосало. Суоми. Обломок военного флота. Кольванен мой капризен, медуза в брючках: то ему не так, и это не в той тарелке. Траурный марш. Гвоздики захлёбываются в слезах. Шопен. Не заводись. Тут дают сдачу валютой вышибал. Музыка скорбела на маленькой эстраде по заказу чьей-то печали: плешивая виолончель и барабан-латыш, который вывихнул себе плечо, лупя булавой по гулким щекам. Кольванен наш не усидел. Глядим: он уже заменил выбывшего из строя. Кольванен был в ударе в тот вечер, как он размахался, разбушевался, сыпал дробью, вертелся, горел. Пожар на корабле во время шторма, а не наш Кольванен. Полный триумф, доложу я вам. Директор вышел, предложил Кольванену подзаработать, пока лечится плечо незадачливого музыканта. Отчего же не согласиться, когда финансы поют романсы. Месячной нашей зарплаты – ого-го ещё ждать. Денежки ещё не зародились в судовой кассе. И мысли о них ещё не зачалось в голове казначея в парашождении. Старпом Скрыба, ухмыляющееся его полнолуние в день выдачи нам монет.

Спотыкались на горбах брусчатки. Уши-трубы насторожились: кралось, шуршало. Всё такое знакомое, облупленное. Колумбово яйцо всмятку. Ни дождинки не влетело в специально открытое для этого лицо. И то хорошо, как в песне про рыбака и рыбачку, которая ждёт на берегу у разбитого корыта. Лён, васильки – дар Инге от родных полей. Сопи, спесь, в дырочки. Мы отворачивались от ветра, вышивавшего из нас слезу вместе с глазом. На занавеске Рахили тень. Чья бы это? Во всяком случае, не старушечья. Чужим духом пахнет. Явственно. Вот что. Знак зла. Вострубят семь кораблей на рейде – и Рига рухнет. Лучше нашим женщинам сегодня переночевать у нас на судне. И мы, вся компания, повернули от дома Рахили в сторону пристани.

5.

Если бы не скребли по борту: уходи, приходи, уходи. Минута молчания, гулкая раковина, и опять всё сначала, свою канитель, свою волюнку: уходи, приходи, уходи... Кладбище затонувших кораблей. Нос, которому завидует крейсер. Безупречная линия, рожденная для поцелуев волн. Разлучат тысячи солёных миль, и тогда я, наконец, узнаю вкус тоски, узнаю многое. Звериные её брови заберутся в берлогу, залягут в логово долгого зимнего сна. Я вернусь, а она спит. Крепко, крепко спит. Зов мой не разрушит этот сон, голос мой слаб – писк комарика. Мои голосовые связки никуда не годятся, без применения проржавели, отказываются служить. Вот как! Беспомощные младенцы, связанные лапы птиц. Есть поверье: убить альбатроса – обречь корабль на проклятие. Беда неминуема, гибель пойдет за кормой по следу. Сожгла все мосты и развеяла по ветру золу и пепел. Раздумывает третьи сутки и ничего разумного придумать не может. Черепки не складываются. Она не та, за кого её принимают, меряя на общий аршин. Не любительница ерошить перышки. Замки возводить на песчинке. Ошалелость и оголтелость кружится, кружится и возвращается на круги своя. Тошненько. Октябрьские эти валы. Штормяга, я и говорю. Откусил винт и не подавился. Болтались обрубком у берегов Норвегии. Полундра! Прямо по курсу! Боцман Трулёв. Окаймлённые пеной, всплывшие пилотки подводников. Рано гудеть фанфарам. Отголоски мессы, устойчивость гор, айсберги, осы, сарабанда, в порошок сотрёт, мокрого места не оставит...

Которая по счёту склянка разбита за ночь? Осколки впились в тело, подъём. Проспали, суслики, поднятие флага. Шипело, шлёпало,

плескало, вздыхало. Утренняя приборка, швабра гремит в коридоре. Всё это превосходно, конечно: кофе с коньяком, половина на половину, ровненько, бурый медведь, и прочие приятности, но как бы капитан не пронюхал. Будет тогда на орехи. Наш Артур Арнольдович суевер, не терпит на борту слабый пол, незваное воронье, говорит: к несчастью.

Смяло, сжало. Отпускало медленно, с неохотой, не по своей воле, из ежовых рукавиц – пленника водоворота, раба божьего. Гигантская воронка, способная затянуть непобедимую армаду. В тех широтах с похвальным постоянством пропадают без вести. Ну что же это такое, скажите пожалуйста, осатнели они там, что ли? Саранча Страшного Суда топотала по палубе. Что у них там? Мировой аврал? Навалились всем миром, всей братвой на правый борт, опрокинут, глупые, наш поношенный лапоть. Долго ли мы вот так будем сидеть взаперти и дожидаться манны небесной? И часу не прочерепашило. Посмотрел бы я на себя! Господи, на кого похож! Хрящи, позвонки. На мне можно изучать анатомию древнего морского змея.

– Вода, вода, кругом вода, – пел с возрастающим воодушевлением Кольванен. – И провожают пароходы совсем не так, как поезда, – протяжно и меланхолично выводил мелодию мой голосистый соловей Кольванен, точно певучую волну катил по заливу за все пределы, все горизонты, за край земли; и вот выкатится она из нашего мира и поплывет по вселенной, затухая, далеко, далеко, нежная нота...

Мы уже опять ощущали под ногами твёрдость гранитных плит набережной, которые, подметя и помыв, обновила для нас утренняя Рига. Мы умудрились сбежать незамеченными от недремлющего ока под капитанским козырьком. Все четверо, ни одного не потеряв из нашей тёплой кампании. Время ли плестись, однако? Что сделают с грешной Ингой в конторе за её преступное опоздание? Посадят в канцелярский шкаф и пустят в море. Непременно. Разве написана у неё на роду другая участь? Именно так они и сделают, изверги. Надеяться на их гуманность, их таможенное милосердие (у этих-то крыс лицемерия и елея!), знаете ли, по меньшей мере наивно. Простимся. Погрустим, то там, то тут, у ломящихся витрин, отгороженные от жирных кусков пропастью безденежья. Беззаботные мы, не жнём, не сеем, плямимся на сокровища мира сего. А поклевать перелётным птичкам не мешало бы. Корабельным завтраком мы с Кольваненом пожертвовали ради нашего благополучия, лишь бы улизнуть, спасти

шкуру, и теперь с нами утробным голосом чревоушителя разговаривал голод.

Днище источено, как пчелиные соты. У моря много червей всех видов и всех размеров, больших и маленьких, и величиной с восьмизэтажный дом. Эти прожорливые твари легко прогрызают самую твёрдую и толстую сталь, буравят броню, как сливочное масло, как торт, как пирожное крем-брюлле. Забираются в трюм и ловят трюмных матросов за уязвимые ахиллесовы пятки. Там плавать опасно. Скверная слава этих вод шелестит на устах моряков всех стран. Съёмка с вертолётa: совокupление кашалотов. Самка с детёнышем. Исполинский ребёнок: как он резвился! Устье Святого Лаврентия билось в конвульсиях на шее того бедняги. Поздно подобрали: агонизировал, сонная артерия потеряла не один литр крови. Гарпун у себя в глазу не видел. Естественно. Чему тут удивляться. Глубоководные истории у моего Кольванена за пазухой не выведутся, не иссякнут вовек, сколько бы мы с ним не терлись ещё бок о бок, два сухаря, уверяю вас. Употчует до смерти. Кальмары в маринаде. Омар ещё вздрагивал, живой, сердце моё. Разве я не говорил вам, что в груди у меня на месте сердца поселился гигантский омар? Так вот говорю, раз не слышали. Он давно уже там обитает, не помню уже – и с каких пор. Он-то, это мерзкое отродье моря, и сожрал моё сердце, разжирел, раздался, устроился, как у себя в норе, и, по всей видимости, не собирается уходить. Ему тут нравится: тепло, удобно, пищи хватает – соки сосать из моего тела. Пусть. Мне не жалко. Соси на здоровье, чудище красоты неопиcуемой, в пурпурном панцире, с мешочками у пояса, полными бесценных небывалых жемчужин боли. Я не ношусь со своими воплями, как кок наш, прозванный Углеводом, с тесаком по камбузу. Я тише воды штилевой и ниже травы донной, которая по доброте своей стелет мне мягкую-мягкую шёлковую постель. Рахиль – пузырек имени. Подарок судьбы, который (горе!) не удержать на губах. Оторвался от рта и летит на поверхность. Хорошо, хорошо, согласен на все условия, стотонные, по ватерлинию. Лечь в дрейф на бульваре, у рынка, у кафе со скрипкой у подбородка, у Национального театра, у танцплощадки, у памятника Стрелкам, у жилого дома прошлого века с достопримечательными ажурными балконами и лепниной, у чернильницы Городского суда. Всё равно.

Рига сбилась в пёструю кучу. Ветер-силач раскачивал деревья с последними жёлтыми лоскутками. Липы – представлялись они в

полупоклоне, надо и не надо, всем, проходящим мимо, и сучья их дрожали от сырого холодного воздуха. Курносая толпа торопилась по своим делам, а мы трое, утратив Ингу, трудолюбивую нашу таможенницу, переминались на ураганном ветру, доставали сигареты и опять их прятали неприкуренными при таких задуваниях, и ума из семи палат не могли приложить: что нам с собой, бродягами, делать. Полосатая тряпка, трепыхаясь на фасаде, утверждала, что она флаг хоть и не великого, но достойного уважения государства. Да, разумеется: перемена власти, почесаться, жареный петух, шило на мыло. Консулы тоже люди, им хочется коснуться мостовой шиной строгого лимузина.

Нешуточные её предложения, её "доиграетесь" и её "разбитые скрижали". Мудрость предостерегала её устами от ненужного риска. Лучше бы нам в Риге застаиваться. Она знает, что говорит. Она знает и не то. Вот выйдет лев с флажком и рыцарь с мечом, выдерутся из старых разбуженных мостовых булыжники для баррикад. А на улице Вецпилсетас остановится грузовик с кузовом, полным изношенных лысых шин, предназначенных на свалку, и, не выключив мотора, будет чего-то ждать. Чего же он ждать будет, этот её фантастический грузовик? Сигнала фонарика с порта? Когда шины запророчествуют? Или всеобщего воскресения, восстания из мёртвых? Это она пока сохранит за зубами, а мы наберёмся терпения, железного, как метеориты знамений, падающие с провидческого неба. Ничего другого нам не остается. Не так ли.

6.

Пересохло горло. Не утихал. Рахиль приютит моряка, выброшенного умирать от жажды на берег глухих. Ледокол "Илья" в тропических водах. Тот, кто его видел, глотнул виски с кусочком льда. Увалень, ему ли разгуливать на ураганных дорогах? Угостил тунцом. Есть счастливые люди, не скрою, но они тут не задерживаются, не живётся им долго на одном месте, что-то их точит, кто-то их зовёт. Атлантический вихрь завладел нами, явился, неожиданный-негаданный, целовать ноготок Европы. Метеорологические сводки выражаются языком влюблённых. Раны они только бередят, струпья срывают. Этим языком запрещено пользоваться! Понятно вам? Говорящий лоскут надо резать и бросить за борт рыбёхам. Надо-то, надо, а ни головы, ни рук не поднять. Тяжело притворяться не утонувшим, братцы-крабы.

Куда же вы разбежались, попрятались? Я не кусаюсь, я безобидный, как свернутый в бухту линь. У кого бы тут попросить напиток.

Судно из породы спасателей. Профиль у нас такой, видите ли. Вот мы и ждали в Риге – когда какой-нибудь гибнувший в бурных Балтийских водах несчастливец возопит к нам о помощи. Так назначили нам высшие чины в пароходстве. Что ж, им видней, а нам, в сущности, всё равно, где разгонять скуку, спуская заработанные за спасение денежки. Пока, от нечего делать, занялись покраской, чтобы команда совсем не разболталась и не отбилась от рук. А мне занятий на борту не было, никто меня не тиранил, сам себе хозяин. Такая должность. И я жил у Рахили, как в родном доме, как получивший отпуск, как сон наяву, как клочок водоросли, вышвырнутый штормом, как прописался, такой-сякой, проспиртованная воронка. Ей пара. И просыпался, и видел её берлогу; пыльные мрачные шторы с кистями скрывали окно, оставляя лишь щёлку; там шаркала бледная сырая улица, взывал автомобиль. Я шёл на пристань. Брызги.

Билось это водное тело, титаническое, бесформенное, тяжёлый плеск и рокот; трезубцы, сверкнув, замахивались на сушу, но ломались и тонули, не исполнив своих угроз, так и не нанеся удара, безвредные, а пенная упорная рука уже поднималась опять с новым, неспособным поразить, оружием. Тянуло туда, броситься вниз головой, сплестись с этим плеском, вспениться этой пеной на губах свирепого бессилья, бесполезной мощи. Как будто я не принадлежал самому себе, и меня вела чья-то воля, которой я не мог сопротивляться, невнятное нашёптыванье, кто-то ласково подталкивал в спину. Я замирал на кромке, пожимал плечами и отворачивался. Находил Кольванена, измазанного краской. Свидания на бульваре Падомью не отменялись ни разу. Мы вчетвером, раздобыв монет, перехватив у кого-нибудь до лучших времён, шли в облюбованный кабачок, где тепло, посетителей мало и можно спокойно посидеть, поболтать, потягивая лёгкий хмель из кружек или из рюмок. Потихоньку и натягивались – струны-тросы, на которых играл угар, волнение вина, маэстро-алкоголь (усы штопором, фрак с искоркой), мы – четыре пьяные струнки на гусях вечера, единодушно предавались этой музыке. Ещё бы не предаваться! Так заманчиво звучало приглашение отчалить в весёлое плавание. Кольванен мой – умница, не терял рассудка от моря выпитого, хотя бы один его глаз всегда оставался трезвым, как секстан, и только благодаря этому мы частенько выходили сухими из воды, не промочив ни ниточки.

Уйти, не прощаясь, если хотите усвистать по-английски. Тут принято. Перепрыгнуть через условности, смахнув хвостом с вереницы столиков возмущенные недопитые бокалы. А ножничком клюковку пустить? Как вам понравится? Где нам искать тебя, Кольванен? За манжетом этого проходимца с запонкой дирижерского жезла? О чём ты с ним шушукался? О сногшибательных гонорарах? Всё! Мой бедный долготерпеливый пузырь лопнул! Ты мне теперь не друг, а китайский дракон. Вредина, вражина, ответь на мои вопросы. Ответишь – озолочу ручку или тут же с собой покончу, свалюсь с самой высокой мачты, как честный самоубийственный сфинкс. На выбор, как скажешь, так и будет. Характер скорее скорпионовый, чем скотский, скорее жалающий, чем жалеющий свою, прошедшую огни и воды, и медные трубы, горемычную голову. Ответь, ответь, и я всё прощу тебе, все твои ужимки, гримасы, измены, предательства, оскорбительные намёки, театральные жесты с протухшим пафосом, азбуку морзе гирей по мозгу для тех, кто сейчас не с нами, твою вытянутую, как вымпел, физиономию, твои барабаны и твои барракуды. Избавь меня от горящих углей в моём рту. Избавь меня и от неё, этой самаритянки у колодца. Её "обрыдло", её "семечки", её "утречко не за горами", её залитый воском ярости подсвечник из горного хрусталя. Воссияв, воспаря. Вихрь захватил нас и понёс, понёс, голубчиков. Куда он нас так занесёт, подлюка? Батьке в пекло? На потерянный, отречённый, преданный проклятию и забвению берег? У каждого из нас есть что-нибудь стройное, не всё, но хотя бы маленькая частичка. У Кольванена – мизинец, у Рахили – ресница, взятая у аравийской пальмы, у меня – меланхолический лом спинного нерва, воткнутый, как в чехол, в мой безропотный позвоночник. Не надо быть психоаналитиком, чтобы раскопать корень её унылых умонастроений, её хандры. Инговерт, что он ей внушает так рьяно, с таким фанатизмом: любовь к бубнам, кимвалам и цитрам? Убить его мало, растлителя тугих ушей. Тут пьют с ухищрениями, смешивая струи неравноценные, чистое и нечистое, испорченный до кончиков раздвоенных языков, подлежащий поголовному истреблению народ. Поищем уголок попроще.

– Руки жгут?

– Весь ужас в том, что я забыл. Отрубили... Кабельтова два...

Ла-манш, лапша, бесхребётные, хилые, кто откликнется на эти пик-пик. Пирамида консервных банок. В наших словах нет, нет да и почувствуется тепловато-противный привкус правды. Её "навести

марафет" бежал, вдогонку за её "поймать кайф". Топали за талером, который грустил во мраке бездонного кармана у Артура Арнольдовича, потому что больше просить не у кого, никто из команды нам уже и ломаного песо не даст. Туман съел надстройку. Клювы взлетали из-под век, клювы, клювы, стая за стаей, несть числа. Увезли несчастного в госпиталь, а там лекаря с одним только названием, взятки с них гладки. Аэростат запугался в её навязчивых идеях. О чём она и "талдычит": фермеры с ярмарки, воз свёклы спустили, пятками назад. Томас Мор и его отпрыски. Тихий омут. Мазь для восстановления волос. Мы тут уже были. Точно. Горка серебра на сиденьи. Теперь мы Ротшильды! На ниточке, на точке замерзания, на ладони, на грани срыва. У себя в каюте, где же ему ещё быть. Задобрим старика стаканчиком. Я видел их там воочию, повторяю. Вот как вас. Ворчит, под сурдинку, сердится, недовольный непонятной задержкой. Пограничное жерло вот такого калибра. Разве я распространялся бы, если бы не был уверен, что это мне отнюдь не мерещится, и прошу не щипаться. Не тарахти, не царапай роговицу, спишь – дай спать и другим. Грифон с морсом. Расплывались лица-кляксы, и ничего отчётливого вокруг нас уже не шмыгало. Баллов шесть, сдует, перекреститься не успеем. И сверху льёт, и снизу подступает. Колыбель, из которой мы вышли, штормила.

Отшуршали, отговорили круги в каучуковых рубашках.

Рига в огнях, в сияниях.

Опять та тень у неё на занавеске. Орангутангово.

Пирс, я на пирсе. Хлещи, бурли. Клонит, клонит и оббивает пеленами.

Сердце спит, крепко, крепко спит оно на ложе из камней в долине мёртвых. Спит сердце и видит сон: идут к нему тени со всех концов земли, обступают его и лепечут что-то невразумительное, ворчат, что-то от него требуют. Всё теснее обступает толпа теней, всё громче требует, и это уже – крик, вопль, визг, хор боли, грохот безумия, сердце хочет встать со своего каменного ложа и не может. Потому что спит оно, крепко, крепко сшит в долине мёртвых, долине мрака, и видит свои мрачные, свои чёрные сны. Я знаю, кто разбудит его, знаю. Разбудит его тот, кто первый бросит в него камень. Рикошетом по заливу, камешек-голыш, пекущий блины. О чём ты печёшься, сон в ряду снов? Тросы оборвутся – поздно будет по стальным волосам плакать, спи, мешочек удалой скитальческой крови. Отдохни. Тени уходят.

7.

Заставлял себя замечать. Раны ноют: отдай мой трал, мой лаг, мои узлы. Восемнадцать – на память о бурунах за кормой. Куда торопятся пенистые неутомимые сапоги морехода? Спроси их – они уже черпают голенищами водичку за чертой горизонта. Спасибо гироскопу за его неколебимый указательный перст. Всем спасибо, кто нам помогал, не подвёл в трудную минуту, не предал. Сирены сосут мозговую кость. Мы погрязли в греках. Они тут повсюду, на всех путях; их танкеры, ржавые корыта, ходят во фрахте, легкомысленные, высекают искры и кидают в трюм, пустой или полный, всё равно, и взрываются. Горят на море, как стога сена, и днём и ночью. Мы не успеваем к ним приблизиться на нужное расстояние, чтобы попытаться спасти команду: всё кончается у нас на глазах. Огненный столб насмешливо кланяется нам в пояс и уходит под воду; на месте крушения остаётся только горящее покрывало разлитой нефти. Спасать некого, мы снимаем шапки. Мы идём сквозь строй этих зарев и нам не требуется иного освещения. Мы идём, мы бежим. Спешим на очередной вопль радиста о спасении и нигде не успеваем. Футы-нуты – достаточно ли их у нас под килем? Плохо верится, что их – семь. Большому кораблю – большое горе. Шампанское текло по стальной скуле спущенного со стапелей гиганта. Предчувствовал, бедняга, свой ледяной поцелуй с плавучей горой полярных вод...

Спина устала лежать, рука затекла, а там, высоко-высоко над моей головой, сквозь мрачную толщу воды у поверхности брезжила и колыхалась жемчужная корона утра. Позвоночник-угорь извивался, пытаюсь подняться. Слева и справа протянулись со дна к поверхности, облепленные пузырьками, толстые якорные цепи, словно я лежал в колыбели, которую раскачивали на этих цепях чьи-то певучие нежные руки, раскачивали туда-сюда, и глубокий грудной женский голос звучал надо мной, пел этот голос о морях древних времён, убаюканных когда-то на дне морском. Тут тихо, тут нет тревог, сюда не доносится шум земных городов – пел голос. Пройдут века и прокатятся тысячелетия, а ты всё также будешь лежать на дне, в этом раю моряков, счастливый, качаясь в сырой колыбели, пребывая в блаженном покое, укрытый мраком этих водяных толщ.

Я встал и побрёл из глубин к берегу. Выбрался на пирс около нашего судна. Мой рыжий товарищ, подсолнух-Кольванен протянул мне свою верную лапу и помог вылезть.

– Идём, – настойчиво тащил меня Кольванен. – Велено тебя доставить живым или мёртвым.

Мы шли прозрачной Ригой, с меня стекали моря, Кольванен вёл меня за руку, как отвыкшего ходить по суше, беспомощного, онемелого, крепко держал и тянул на буксире. Вот и дом, где живет Рахиль.

Кольванен всё сам устроит, я могу на него положиться, как на утёс, моё дело – спокойно сидеть в кресле и ждать, когда он уладит недоразумение, втайне от меня, убеждая шепчущим безбрежным ртом ухо Рахили в дальнем углу тёмной комнаты. Зря стараются они скрыть от меня свои таинственные переговоры. Я различаю каждое слово; потому что все их слова, видите ли, начерчены на отглаженной волнами песчаной отмели, так ясно, как будто на моём собственном теле. Только вот беда: я не успеваю понять их смысл, набегают волна и смывает их без следа, уносит с собой в пучину, и опять на освобождённом чистом теле песка пишутся непонятные шипучие слова и целые фразы, и опять я тороплюсь вникнуть в их значение, уразуметь их смысл, мучительно напрягаю мозг, но – тщетно; я слышу: вот уже новая волна зародилась в пучине, она растёт, она бежит, шумит, неотвратимая, устремляется с сырым утробным грохотом на отмель и смывает все слова, стирает их в тот самый миг, когда я вот-вот постиг бы их, слизывает, ненасытная, и снова уносит от меня в пучину, и так раз за разом, повторяется одна и та же история с волной и зовами, и я чувствую, что эта история будет повторяться вечно; я взбешён, нет мочи терпеть такое, эту попытку волной и словом. Тарабарщина, Арамейский, Индостан, индустрия...

Рахиль, Кольванен, я – так и было, мы трое в её хаосе, в её кавардаке, где шею запросто сломать. А затем явился без приглашения четвёртый, куртка с поднятым воротником, плешивый широкий лоб, изнурённый, изборождённый невзгодами, черные гнилые зубы. Этот миляга вёл себя, как вернувшийся из отлучки хозяин, имевший полные и законные права на любую пылинку в своей хибаре. Язык тюрьмы, угрожая расправой, изъявил желание, чтобы Рахиль незамедлительно удалила за дверь своих жоржиков.

К подобному обращению, как говорится, мы не привыкли. Смотрю: Кольванен мой приготовился к бою, кулаки сжал – булжники в боксёрской стойке. Не обошлось бы без рукоприкладства.

Рахиль разрубит узел. Выступила на средину сцены, руки в боки, лицо горит багрянцем гнева: пусть убирается туда, откуда пришёл, она ему никто с некоторых пор, свободная от уз и вольна приводить к себе в дом, кого захочет, тут всё принадлежит ей, вплоть до щелей в паркете и трещин в потолке, он, нагулявший плешь, пришелец, плевок притонов, да будет ему ведомо, выписан с жилплощади, по нему решётка плачет и место его у зловонной парашаи.

Не думаю, что парень струсил; дрогнул; шагнул бы, ударил бы, сбил с ног; мы, защитнички, успели бы перехватить или нет – неизвестно. Порыв он свой укротил, скривился, проглотив все сладкое в его адрес, пообещал ещё встретиться на кривых улыбочках каких-нибудь тупичков, на острие заточки, верной его подружки в делах чести, при сведении личных счетов с хмырями болотными. До скорого свиданьяца.

Уплыл, испарился на тротуаре, законченный негодяй; попутного тайфуна, приятель. Не берём россыпью. Амбары не безразмерны, мало ли мусора, посреди которого мы осуждены барахтаться. Год была избавлена от известий о шкурнике и тешила надеждой, что у мрази хватило ума навсегда исчезнуть из её жизни. И вот: не запылится, лысый буйвол, до него докатилось. Рига, оказывается, молвью полнится: Рахиль пустилась с моряками во все тяжкие, позорит свой род. Ей чихать решительно на весь этот клоп-город и все его окрестности, и на вас Прибалтику, включая Скандинавский полуостров, и в прямом и в переносном смысле, и в любом из их смесей. Пора шить ей саван. Видела она этой ночью корабль смерти. Тихо, тихо, погасив огни, скользнул он в гавань. Никем не замеченный, призрачный, причалил у набережной Риги. Команда сошла на берег, угрюмая, молчаливая матросня, впереди капитан – седой филин. И пошли они прямёхонько к дому Рахили, и стучали всю ночь до рассвета в дверь её, и в окно её, требуя впустить, едва дверь не высадили и оконное стекло не вытряхнули из рамы, и представьте: никто в спящем доме не слышал поднятого этими морскими чертями адского шума и грохота. Одна она слышала. И ещё слышала она: корабль дураков рыдал на рейде, уронив в море свой бесценный дурацкий колпак с бубенчиками. Рыдал, заливался, безутешный, горячие потопа текли по рябой щеке, испещрённой ржавчиной дальних странствий.

Знаем ли мы легенды Риги? Чёрные змеи на дне моря мелят

горькую муку мести. Мелят, мелят. Тесто замесят, испекут пирог – пулями, накормят Ригу пальбой. Досыта накормят, до отвала.

Усталое око маяка померкло. Конфискованное мыло обольстительной обтекаемой формы. Головомойка с жасмином. Подлюю пряником не выманить, кнутом не выгнать. Темноватое, малопрозрачное будущее с фонарём под бельмами где-то там, за арками, за ангарами, за вокзалами, железнодорожными и морскими, застегнутыми на якорьки. Пресная вода спорила с солёной: чей сын лежит невнемлющий, бестрепетный, глухой к их призывам, рта не раскроет, ресниц не поднимет, мизинцем не пошевелит. Спорили, спорили, так ничего и не выпорили. Пошли на суд к Владыке вод, Отцу потоков: в чьём чреве сын взлелеян? Невнемлющий, бестрепетный, глухой к призывам. Вот вам водолазный нож, разрежьте его вдоль, обеим ровно по половине, чтобы обиды не было и не жаловались вы на несправедливый суд – отвечал им мой знакомец, Владыка вод в облике бригадира водолазов Шелипова. Пресная взялась за нож. А солёная всплеснула руками, застонала, взмолилась: не членить дорогое тело, лучше уж отдать его целым сестре пресной. Баратравма лёгких. Старший механик Соломонов. Топовые, топ-топ – и убежали. Балласт проснулся, пополз к носу, поздно крепить – нырнём за кораллами. Мани, Мурги, Юрас мате, отпусти нас. Чайки-пианистки, истерзанные клавиши прилива.

Осточертело, знаете ли. Не валяй дурака, Кольванен. Снятые с тонущего катера, муж и жена, посинелые, преследовали его в его наваждениях. И утром и вечером, в определённый час: на восходе и закате. Известковые отвердения, которыми гордится каждый уважающий себя скелет. Протоптал дорожку. Теперь не отлипнет, пока не выкурит. Завтра этот бывший, это плешивое прошлое к ней опять зайвится, вот посмотрите. Роем яму, сами и съямимся.

– Я ему кости переломая!

Кольванен, ты бы мне этим очень удружил, дорогуша. А то я растерялся, как шарики ртути из разбитого термометра. Благодарю. Без тебя бы я пропал – лот оборвавшийся, и больше ничего. Знай: никогда не сомневался я в твоей сверхъестественной смелости и мощи шупалец. Успокаиваться, всё-таки, рано. Вполне вероятно, кому-нибудь из нас не увидеть света нового утра. Мы недооцениваем эту скотину. Проникнет через вентиляционное отверстие, он ещё и не на то способен. Разрази его ураган и десять смерчей, столбы кипятка и хобот ярости!

8.

В ту же ночь мы вышли в море по сигналу СОС. На Балтике, в милях сорока по траверзу Риги, терпел бедствие Норвежец, сухогруз, шедший в Таллин и покаугированный десятибальным штормом. Волна была нам в нос, встречный ветер гасил нашу скорость. Машина, надрываясь, едва выжимала пять узлов из восемнадцати. А внутрь нашей посуды, хоть мы и задраили наглухо все люки и законопатили все щели, сочилась, находя лазейки, морская вода, и мы ходили в коридоре уже по колено в ней; поступала беспрерывно, прибавлялась и прибавлялась; помпы не успевали откачивать. В команде ворчали, и всё-таки наш молодчага Артур Арнольдович не поворачивал назад. Волна ударила водяным молотом, оглушая и пытаясь сбить с курса. Ревела, разъярённая медведица, вставшая перед нами с поднятой когтистой лапой. Посудинка наша сотрясалась, стонала, всё в ней звенело и каталось, сорванное с мест: барахло, бугылки, подстаканники, свайки, камбузные ножи. Машина переставала стучать, вот швы лопнут, корпус треснет, как картонка, и придётся нам тогда искупаться в малосолевой купели, с головкой окупёмся. Но герой наш оживал, выдержав наскок, Ванька-встанька, Ванечка, Ванюша, выпрямлялся, отфыркивался, храброе стальное сердце гремело и колотилось, неутомимое, не собираясь сдаваться и просить пощады у каких-то там водяных бугорков. Название нашего волнодава: "Гефест". Но между собой мы звали его: Ваня, наш Ванька. Громкие имена и мифологическую лапшу пусть на официальном Олимпе их высокопарных пароходств чинуши кушают. Мы – морские животинки, бурлачки, волчки, бегущие на крик о помощи, простые души, нам, знаете, этого не надо, этих ваших амброзий. Так мы долго бултыхались, ползя с волны на волну, то ныряя, то взлетая, продвигаясь черепашьим шагом к месту бедствия, где злополучные норвежцы ещё боролись в поединке с морем и посылали свои призывы поторопиться. Выдыхаются, силы не равны, гребной вал сломан, керосином пахнет. Такие делишки. Над моей каютой в носовой части громыхали змеи в цепном ящике, кулак шторма вскидывал их, тряс и рушил на мою голову. Я лежал, распятый койкой, держась руками и упираясь ногами в стойки. Мучила морская болезнь. За годы плаваний так и не привык к болтанке. Койку крутило, взвивало, кренило, валило, она выписывала тошнотворные восьмёрки и другие не менее рвотные фигуры, вертелам чёртовым колесом. Пора на вахту. Изловчился,

удалось спуститься и выбраться в коридор, не размозжив лоб и не переломав конечностей.

Не одни мы пробивались сквозь шторм на помощь к Норвежцу. И Немец, и Швед, и Датчанин. Отчаянная схватка штурвала с бурей. Затоплен кубрик. Я видел: там сидел на матросской койке могучий старик, кольхалась густая зелёная борода, в которой запуталось несколько крупных рыбин, каракатица и лангуст, вместо ног у него были лапы морского льва, а на плече плясал, извиваясь, прирученный осьминог. Звали его Митя. Этот странный старик, окоромыслив переносицу очками-иллюминаторами, читал какую-то старую толстую книгу: обложка обросла ракушником, а страницы мерцали и переливались, как мантии моллюсков; там плыли и качались корабли, все, все корабли, что ушли в море, плыли и тонули; я узнал и наш, ещё держался, ковырял волну. Корма в тучах, оголённый винт. Выброси все вилки, какие есть на судне, за борт – буря утихнет. Бесится: нечем подцепить макароны. Лучше бы бросить баталера Романчука, заплыл жиром, глазки сели на нос, как у камбалы, ром даёт под возмутительный процент, сгущёнка на усах, неряшливый, губы-пузыри, такой наглец, преследует меня железными зубами, на которых крошится мой несчастный, ставший рыхлым, костяк; поймите же наконец, я не могу месяц за месяцем, и год за годом сталкиваться на пространстве двух дюймов с воплощённой наглостью всего мира, в этой законсервированной жестянке. Всему же есть предел, моему алмазному терпению – тоже. Я с ним перевожусь на рогах нарвала. Чепуха. Я не кровожаден. Не думайте, люди хорошие, обо мне плохо. Это я только жалуясь на ссадины, на занозы, на мелочь пузатую. Очень уж донимают, весь я в стрелах – морской ёж, Признаюсь: не к лицу. Постараюсь впредь не досаждать вам ничем, не ныть, помалкивать в ветошку. Вот Артур Арнольдович, тот – скала-человек. Твёрдой рукой вёл нас сквозь взбесившуюся водичку, упорный взор его хмурых голубых брызг действовал на волны магически, он их околдовывал, они влюблялись в его храбрый, мужественный, багровый, обожжённый лоб, влюблялись до полного самозабвения, тянулись к этому прекрасному лбу солёными нежными губами – целовать его мудрость, и, переселясь к предмету своего вождения, затихали, умиротворённые, в блаженном покое его морщин. Благодаря такому вот волшебству нашего капитана мы через четыре часа увидели озарённого огнями бедствия Норвежца. Мы пришли, опередив всех.

Кричали в рупор: выяснить положение. Разобрались с грехом пополам, переломав английскому все косточки. Подгрести поближе, чуть ли не борт к борту, опускать шлюпки – абсурд. Чрезвычайно опасный манёвр: сцепиться бортами – вот что мы пытались исполнить, такой фокус. Матросы с обеих судов, размахнувшись, кидали друг другу на палубу свёрнутые в клубок лини со свинцовым шариком. Нейлоновые лини выстреливали, как серпантин, с обеих сторон, выстреливали и выстреливали, не достигая цели, промахиваясь, беспорядочным салютом, как будто это матросская забава, а не спасение. Суда качались не в лад: наш борт взлетит, их – ухнет, зыбится под нами. В конце концов, справились, сцепились, и вся команда гибнущего Норвежца перебралась к нам. Капитана их перенесли, голова в бинтах, без сознания. Благополучно отвалили, предоставив пустое судёнышко воле волн. Повернули на обратный курс.

Стук когтя в обшивку. Куда спешить, состояние моря сносное, подстёгивает, споткнись о бимс, измерь выбитым и выброшенным за борт глазом степень волнения. Селёдка тоже рыба, только с салагами не разговаривает. Ось створа в печёнку твоему хронометру. Точны, как черти, искалеченные шквалом. Не плюйся в ходовой рубке – плохая примета свернёт тебе шею, как флюгарку. Так держать. Травить душу через клюз. Это глаз бури следит за нами, не мигая. А ты что думал, шпунт, человек за бортом? В чьём заведовании шлюпка, я вас спрашиваю, вас, вас, бледно-зелёное чучело, и не делайте вида, что вас не касается рука пострадавших. Вывалить, таль, баланда, заболел, обосновался на диване, ус распушил, курит, котлетку принесу. Правая, шабаш! Откажет мотор, течение утащит к острову Эзелю, с которым мы знакомы-то знакомы. Хватит ли нам запаса плавучести, разлуки с берегами? Викинги обогреты, обласканы, как на подбор, насыщаются в столовой. Рукава-фиорды, на абордаж, готовь "ворона", походы, буртики, доктор Рундуков, косоглазая цыганскими желудями, объявил нам в каюткомпании, что жизненно важное не задето. Укол, покой. Будем спать, как убитые. Плавник-пила, табань, суши вёсла, тритон, побалуйся воблинкой, тараньку отведай. За такое спасение всей команде полагается поголовный двойной оклад. А, может, и тройной. Раскошелятся толстосумы. Ой-ля-ля! Кутнём! Пльвём в счастливой сорочке, как заново родились, с ковшом соли во рту. Струны пели в глубине, мешал шум шторма и гул судового двигателя. Я перегнулся через борт и приставил ухо к воде: там, в глубине моря играли на

каком-то звучно-серебристом инструменте, похожем по тембру на арфу, грустно так играли и нежно, завораживая и призывая оставить палубу, разжать пальцы, оторваться от борта и нырнуть туда, где меня давно ждут и по мне тоскуют; струны тянулись ко мне из моря, обвилились вокруг сердца и, целуя его и лепеча слова любви, уговаривая, ласково увлекали меня за борт. Руки Кольванена схватили меня за пояс.

– С гаек сорвался?

– Кольванен, катись ты на бак. Куда хочешь, туда и катись.

Бурлило. Крепко сколоченный, брёвнобразный дед вылез из машинного отделения, стармех Титанов, расправил сажень в плечах. Ходил петухом – ярое око, покукарекивал: почему пресный насос не качает? Он с этого Кольванена, с этого музыканта-виртуоза шкуру спустит.

Команда: приготовиться к швартовке.

Кого мы увидели на причале, как вы думаете? Кто нас встречал, кричал, махал обеими руками? Одна высокая и худая, другая – низенького роста, по плечо первой, толстенькая. Буря им кудри крутила. У Рахили – руно, жёсткое, как завитой ёж, короткая стрижка. Неистовые, из плащей выпрыгнут. Ладони рупором.

9.

Как это понимать. Вернулись замертво пьяные, берег дыбом, в глазах карусель. Шторм употчевал. Похожи на выходцев с того света. Зачем тревожили их отзывчивые, привязчивые и ранимые сердца неизвестностью. Они волновались не меньше моря и обмирали, слыша известия о кораблекрушениях. Слухи, которые разносит молва, прикуривая у стоек в портовых барах. Поставили свечку за наше благополучие, хоть и верили разве что в чудо. Нас сохранили их неуклюжие, но чистосердечные молитвы.

Такой измотанный. Так внимательно смотрела она мимо меня, в сторону, в то, что меня окружало, и в то, что осталось за моей спиной. Внимательно и упорно. Не прячется ли за кранами на пирсе объяснение её расклеенности, её расквашенности, её рассироппленности. А? Как вы думаете? Может, я сам не знаю своих сокровищ? Я хочу стать героем у неё на губах. Пройти по кругам триумфа. Хочу. Не скрыть. Это видно по моим хоть и заморённым, но всё ещё не утратившим блеска, алчущим славы глазам. Видит меня

насквозь, как будто я стеклянный, со всеми моими потрохами, и с этого ей, надо заметить, ни холодно, ни жарко. Мне бы радоваться её пронизательности, я могу полюбоваться собой на снимке, высвеченный её рентгеновскими лучами, так нет же: я веду себя более чем странно. Растерял за одни сутки весь запас своих не слишком-то обаятельных кривых улыбок. Стиснул зубы. Мрачный. Молчу. Как на собственных похоронах. Это ещё не трагедия, а обманчивое зрелище. Упадок моего духа не вечен. Пройдёт, следствие сверхчеловеческого напряжения, которое пробовало меня на разрыв. Унывать не будем, друзья мои. У неё есть превосходный прабабушкин способ вернуть меня к жизни и развязать мне язык. Приворотное зелье, если хотите. Закладывают за воротник дар виноградной лозы и смиреннько ждут: когда наступит действие. Всё будет в ажуре, как у моря под коленом с подвёрнутой штаниной пены. Зазеленеют, увитые плетом, флотилии старых пьяниц. Зазвенят гирлянды бутылок, развешанные по бортам. Утопим в чарке грусть-злодейку и чёрные предчувствия, шевельнувшиеся в глубине доверчивого сердца. Потому что, всё тры-трава, васильки-колокольчики, знаете. Матрос прыгнул за борт в бурное море, думая, что он дома, что это его зовет мать-старушка. Бывает, ещё и не такое бывает у лунатиков в перламутровых гротах их ушных раковин: шум, плеск, ляг, скрип, всхлип, пение, писк, скрежет, клёкот, бульканье, гул рыдания, распугивающий морских чудовищ, качающий теплоходы и рвущий рыбацкие сети. Кольванен зевнул, отражённый волной неизвестного происхождения, может быть, отхлынувшей от берегов только что затонувшего материка. Не побеждённый ни на воде, ни на суше. Наш мучитель. Он будет уводить всё дальше и дальше вглубь лабиринта, не натирая на языке мозолей, куда-то в вымершие пролетарские районы, которые он слишком хорошо помнит с прошлых стоянок, чтобы они могли выветриться, туда, где гавани всех портов мира, где мы бывали, стоят друг над другом, как ярусы матросских коек, покрытые одеялами бурых остро пахнущих водорослей. Мы не рахиты, дело наше святое. Мы опять на той улице, где собираются вчетвером и решают: куда бы им себя деть, в какую дверь сунуть, в каком коктейле смешать. Что-то сдвинулось. Тротуары внушают ужас. Долго ли оступиться. Инга хочет мне кое-что сказать по поводу Рахили. По поводу и без повода. Но не сейчас. Потому что сейчас ей в глаз попала площадь Фабрициуса. Что за Фрукт этот Фабрициус и что он такое совершил, получив в награду

площадь, никто тут не знает и уголить наше с Кольваненом досужее любопытство не сможет. Как мы беспомощны тут все до единого. Даже противно наступать друг другу на хвост. Не смыться вовремя от зубов собственного зловещего воображения. Что эта выдра на неё вылупилась? Мы случайно не знаем? Рахиль не из бриллиантов. Если, конечно, оценивать с ювелирной точки зрения, как здравомыслящая лупа, не по фальшивому блеску. Не любит, когда к ней липнут. Досталась же ей такая спина, просверленная, как улей в ячейках. В тот сладкий час, когда она упадёт ничком на зашарканную панель, чтобы больше никогда не подняться, из её спины вылетит рой золотокудых пчёл и улетит в Палестину – собирать песчаный мёд. Утешить меня в моей скорби.

Мы сложили шорох купюр, и вышло недурно. Штопор чмокал, откупоривая поцелуями рты бутылок. Кое-кто из нас стоит друг друга. Потом разберёмся. Не здесь. Расставленные на мило локти едва ли могли доказать свое алиби. Это по их вине красное вино разлито, а удалая голова скатилась с богатырских плеч и спит мертвецким сном на столике среди черепков и осколков, как будто выкатилась из эпоса о Лачплесисе. Есть чем покочевряжиться. Её полуфантастическое присутствие успело тут всем остофеить и остоундинить, прямо-таки в окулярах навязло. Про ту говорим, не про эту. То яркие изумруды в оправе ресниц, то лебединая шея тонкой работы, изогнутая в изящной беседе. Как без хрящей. Пусть не стесняется, мочит своими горестями заполярную грудь моему лопарю Кольванену. Инга смотрит на это спокойно, как удав на кролика. Что ей заблагорассудится, то и произойдет, а по сему лучше бы текучей сопернице изливаться в другом месте, схлынув так же быстро, как и появилась, избавив от хлопот по её нецивилизованному удалению. Угрозы помогали мало. Успех Кольванена у ослабленного алкоголем пола приобретал поистине чудовищные размеры. Толпы оспаривали его внимание, упорно и неутомимо штурмуя наш столик, но ни одна не могла удовлетворить его брюзгливый вкус. Массовый психоз. Безумие их обуяло. Что они в нём нашли, в этом электрическом угле? Свою мечту? Не отбиться. Притягательный негодяй, долго ты будешь портить нам вечер?

Взыскательный этот Кольванен очень страдал, не зная, как ему расточить переполнявшие его, накопившиеся за годы плаваний, ласку и нежность. Где достойный объект, на который он мог бы обрушить

тонны этого бесценного груза, который вот-вот разорвёт трюм, если незамедлительно не отдраить люк и не облегчить сердце, выпустив на волю взрывоопасные пары. Где такой объект, я вас спрашиваю? Неопознанная радость? Не видно его нигде на горизонте даже в крупнокалиберный бинокль нашего Артура Арнольдовича, славного нашего капитана. И близко ничего похожего. Шалавы мельтешили, хлобыснуть на халяву. Музыкальные нервы Кольванена изныли, я за них побаивался: как бы они не взвились и не наломали дров из табуретов. Кольванен всерьёз подумывал заглушить в себе эту измучившую его сердечную потребность, когда мы уйдём в новый рейс, поселив у себя в каюте какое-нибудь моревыносливое и легкомысленное домашнее животное. Паука или блоху.

Капли побежали опять, отмахиваясь от заоконного мрака, от собственного безрассудства, от запутанных путей, ведущих, влекущих к одной только цели – к гибели. Дождь завесит твою Ригу на много шепелявых вечеров. Что ты там надеешься разглядеть? Свою волоокость? Пепельницу-ладью с дружиной окурков, плывущую через стол? Плешивый гость хуже тамбурина. Кто он ей? Не муж, не сват, кум косолапый. Он ещё себя покажет с достаточной ясностью и резкостью. Замочит и её и меня в одной лохани. Дверцы машин шлёпали по плечам, искали укрытия, летучие мыши. Но тут перед ними возникал Кольванен, они оказывались между двумя рядами огня и метались, обезумев, на верху блаженства, тут и там, среди рыл и рюмок. Падали замертво и устилали площадь, вызывая отвращение, какого Кольванен ещё ни разу ни в одной дыре не испытывал.

10.

Сам, сказали. Дифферент – головная боль нашего старпома Скрыба. Древние смолы надело ей на шею Балтийское море, в них спит солнце, слепившее ихтиозавра. Дёрнули кусок горящего шёлка, чтобы ожили блеск и ветер в бухте, чтобы играло и переливалось, чтобы проснулись искры, чтобы хоть что-нибудь змеилось, горя яркой чешуёй и бросая вызов погружённому в тень берегу. Пусть побережёт свои угрозы для кого угодно из робкого десятка, из тех, кто празднует труса. Позор бездетности жёг ей чрево, бесплодное, как камень, когда глядела, она, загипнотизированная, на воду. Вот что тревожило. Без моего путеводного подсолнуха мне никаким образом не удастся найти дорогу через весть этот грусть-город, чтобы выйти в порт, к причалу,

где прилепилась наша скорлупка. Нет, ничего не получится. Я в глубоком мрачном мешке, сорванный, над моей доблестью перепончатые веера смеются. Душа нараспашку – поэтому так и дует и холодит. То, что может понадобиться на дне Адриатики или Атлантики. Бруклинский мост, памятник Свободе. Китайская кухня вытирала жирные пальцы о бока Рижской улочки. Бедный Кольванен. Для этого ли он рождён? Надо быть базальтовым утёсом, чтобы терпеть моё общество со всеми его завихрениями, в эпицентре которых неколебимо зиждется дом Рахили и свет в её окне. Втюрился тюлень. Глупо привязываться так крепко, что будет не распутать узел при срочном отплытии. Рвать больно. Что ж, я и не спорю. Он прав, мой резонёр Кольванен, этот циник с ушатом, этот джаз-банд. Он, надо вам сказать, всегда прав.

Да и без этого. Что я тут шушу и о чём думаю? Вот Инга, верная подруга с младых ногтей, вслушаемся в её озабоченный голос. Давно уже собиралась мне сказать вот что: Рахиль непременно погибнет от того образа жизни, который она ведёт, захлебнётся на дне бутылки, если я не протяну ей руку помощи. Я человек положительный, вытаску. Я – единственное её спасение. Для этого и надо-то, надо. Пустяки. Проститься навсегда с морем, найти приличную, хорошо оплачиваемую работу на берегу и обнять палец Рахили обручальным колечком. Польнь-звезда владеет Рахилью. Участь её предначертана злой властью. Господи, как не понять такой простой вещи. Я один в целом мире – избавитель. Вот как. Благодарю за честь. Признаться, не подозревал о моём высоком предназначении, о моей ответственной миссии. Было бы лучше для всех, если бы мой отуманенный пустыми посулами и миражами ум оставался в счастливом неведении на этот счет.

Опять дождливая погодка к нам прицепилась, те же затяжные потоки, запах влаги, пузыри, зонты, что и в вечер нашего прихода сюда, только унылей, тягостней как-то. Возьми себя в руки, мокрая тряпка. Вот ещё что выдумал: лужей разливаться. Заломи краба, грудь колесом, взгляд орлом, нынче здесь, завтра там. Тру-ту-ту, моряк, с печки бряк. Что ты, вечный пловец, потерял в её доме, где "ни пришей, ни пристегни" и "замётано"? Временное пристанище, твёрдую почву, отдых на нарах? Слышу ли я в середине ночи тихие и мягкие шаги тех, кто пришёл по её душу? Не смоковницу обломать, вырвать с корнем, нет – берёзоньку во поле, в краю чужом. За

стеной. Какая мне разница – за чьей. Топ-топ. Пришли её душить. Зажилась, говорят. Только свет мутит и место на земле зря занимает. Пора, говорят, от неё избавиться.

Так и есть. На борту меня ждало известие: завтра, чуть свет, уходим из Риги. Наша осенняя стоянка тут закончена. Приказ из парходства: шлёпать в Гамбург. Срочно. Полным ходом. Там нас зафрахтуют и отправят болтаться в дальние моря, на полгода по меньшей мере. Артур Арнольдович еле-еле отвоевал несколько часов под предлогом неготовности судна, а то бы мы отчалили в эту же ночь.

Кольванен мой взгрустнул немного, хоть и пытался он скрыть от меня своё минорное настроение, хоть и утверждал пылко, с воодушевлением, что давно пора сменить обстановку, выйти на простор, освежиться океанскими брызгами, да и денжат хороших заколотить, а всё-таки бульбообразный раздвоенный нос его с ложбинкой приобрёл заметный дифферент и выдавал своего хозяина с головой. Нас отпустили до утра, и мы полетели прощаться.

Вот мы в последний раз собрались вчетвером, рижская кампанийка. Кутнём напоследок похлеще, отметим разлуку. Рано или поздно всё равно бы прокуковало. Как верёвочка ни вейся. Не горюй, Рахиль. Я ещё вернусь, обязательно вернусь. Куда я денусь. Нет, нет не забудем, ни я, ни тем более злопамятный Кольванен. Шуточки над его музыкальным слухом не пройдут им даром, им еще тут в Риге аукнется. За кого они нас принимают. Мы совсем и не изменчивые, этого, знаете за нами не водится. Мы – само постоянство. Клянемся тигровой акулой и её отвергнутой любовью. Кем отвергнутой? Нами, разумеется. Бедняжка, видели бы вы, как она страдала от неразделённого чувства, крутясь у нашего борта всё наше плавание в тропиках. Нет, она предпочитала Кольванена. Она смотрела на него из воды так страстно, так преданно, с таким обожанием. Кольванен покорила её сердце своей музыкальной игрой, денно и ночью упражняясь у себя в каюте или в тенёчке на палубе на тарелках и барабанах, страшно ему опять появляться в тех широтах. Решено. Будем слать им нежные письма из каждого порта и радиограммы из открытого моря.

– За возвращение. За тех, кто тянет морскую лямку.

Осуждены скитаться. Гороховый пиджак тумана. Театральная тумба. Кленовый лист парил над каким-то другим городом: над

Гавром, над Глазго... Вполне вероятно – счастья не видать, а удача отвернётся. Утешимся. Не привыкать. Помянем её добрым словом, невольные очевидцы её скандалов и её медленного, но неуклонного падения. Ну, скатывания. Судоремонтные заводы, старая угольная гавань, докеры в касках, забастовка, по чьей вине торчали неделю, отпрыски, бруски, школы для неполноценных детей, кобура полицейского, двугорбый мост-верблюд, который вдруг предстал перед нами в ночных огнях, как неземное видение. Панама. Чили. Вращающийся щит, скучая, крутился туда-сюда, отражая дождевые стрелы. Упорно не желал быть уродом-зонтом. Желал быть бойцом в битве. Чтоб его разорвало вот на такие клочки! У неё, понимаете ли, неважное настроение. Не прочту ли строчки у неё на лбу. Рычи, не рычи. Увижу ли я свою толстуху, вернее, то, что от неё останется? К моему возвращению она постарается превратиться в стройную щепку. Табак поможет и горящий неугасимым синим пламенем друг-алкоголь у неё внутри, в её грустном, насквозь проспиртованном теле. Она будет ходить из дома в дом, её везде примут с распростёртыми объятиями, посадят за стол и напоят чем попало, а есть не дадут ни крошки. Насмерть напоят. Она бы и рада поклевать да забыла: как это делается. Желудок отказывается принимать пищу, ничего соблазнительного он в ней не видит. Офелия, нимфа, боров за прилавком, нескладные твои басни, не скупись. Рахиль, Рахиль, я и твержу, как грамматику. Не палач, так жертва. Всё, что мы можем сказать с печально закрытыми, отягощенными скорбью веками. Пьяным-пьяны, как четыре стельки, как переплеск у мола, как смываемые на песке следы. Держимся друг за дружку, чтоб не упасть в эту холодную подсолённую ванну, в это шипенье...

Рассвет брызнул. Рижский причал и набережная уплывали от нас, дальше, дальше. Две фигуры, высокая и низенькая, делались всё меньше. Не разобрать: что они кричали. Одна из них неистово махала зонтом. Вот они уже точки. Вот неразличимы...

Громада воды колыхалась, безбрежная колыбель. Колыхалась, колыхалась. И плавали на её поверхности разные нетонущие предметы.

Одна волна хвасталась перед другой обломками кораблекрушения. Бочки, ящики, протянул руку – не достать. Баю-бай, не забывай нас.

ЗАСЛУШИВАЛСЯ ВОЛН

В конце апреля он вернулся из плавания. Воробьиный рейс в Бремен. Моргнул и – обратно. Быстрый "Гермес". Так называется спасательное судно Балтийского морского пароходства. Отпустили на три дня. А там – три океана. Сингапур.

Дом в пригороде, палисадничек, нарциссы в клумбах. Мать, сестра.

Седой день, седые мысли. Москитная сетка моросит над холмами. Тропики, агавы, тюльпанное дерево. Он пойдет размять ноги. Он любит бродить один по горам и долам.

На вершине одинокая сосна, всем ветрам назло. Ну, здравствуй, старый друг! Давненько не виделась. Нашел сухие ветки, валежник, строб в кучу. Только и ждали спички, вспыхнули, как порох. Костер век не ел, рыжий черт, уплетает за обе щеки. Что б ему еще дать? Да вот: загранпаспорт! Пропуск к кокосам и какаду. На кой хрен эта картонка в кармане пригелась. На, жри! И бросил в огонь свою "мореходку". Морской паспорт, выписанный в канцелярии Нептуна. Якоря корчатся...

Заперся в комнате и весь день пил. Пей до дна, пей до дна... Голубой Дунай. Вишни спилены. Вишни детства. Он на них лазил лакомиться, обдирая об кору колени. И вот – спилены вишенки под корень. У кого-то руки чесались. Делать нечего. На чердаке веревки. Мать с сестрой белье сушат. Хорошие веревки, крепкие. Недосушенное белье аккуратно в корыто сложил. Взглянул на балку. Надежная балка. Петельку связал. Надел пеньковый галстук на шею. Капитан, капитан, улыбнитесь... На рею вздернуть и – прямо в рай... Мать с сестрой кинулись, успели снять. Он обиделся, что ему помешали, сказал, что умирающий осьминог прячется в свою нору, и залез под кровать...

Очнулся он в неизвестном месте. Пижама. В глазах рябит. У голубой стены на табурете сидит санитар. Зверьеобразный, зевает. Носваленок. Такой громила. Только бы не заметил. Нет, заметил, голову повернул. "По уколу соскучился!" взревел санитар. Грубо закрутив ему руку за спину, тащит его куда-то по длинному, узкому, как кишка, коридору.

Врач, психиатр, встал из-за стола. Статный красавец с сине-

стальным взглядом. В белоснежном халате, элегантном, как пальто. Золотые волосы до плеч. Ангел Божий. "Присаживайтесь" говорит он ласковым голосом. "На что жалуетесь? Расскажите все начистоту, иначе мне будет трудно вам помочь". Больной не отвечает. Отвернулся. Смотрит в окно. На окне решетка. "Очкуров?" слышит он мягко звучащий вопрос врача. "Художник? Из Петергофа?.."

На стене портрет психиатра. В черной раме. Очень похож. Как две капли. Отражение в зеркале...

Дали холст, краски, кисти. Мастерскую. Просят нарисовать автопортрет. Весь день он занят этой работой. С утра до вечера. Потом спускается в столовую. Там полно пижам за столами. Он никого не замечает, ни с кем не заводит разговоров. К нему тоже никто интереса не проявляет. Тут все такие. Сидят отдельно, замкнуты, угрюмы, у всех склоненные над тарелками одинаковые, выбритые, голубые булжники-голова. Поужинав, он идет в душевую. Дежурная сестра по дружбе дала ему ключ от душевой, и он плещется там каждый вечер в полном одиночестве, как дельфин. У него привилегии, он волен делать все, что ему хочется. Нет, нет, ему тут неплохо живется. Нигде и никогда ему так хорошо не жилось.

Тут бывают забавные сцены. Утром у окна с решеткой стоит рыжий безумец. Стоит в чем мать родила. Протянув руки вверх, будто хочет улететь к восходящему солнцу, он взывает трубно-заунывным голосом:

– Сто тысяч мегатонн! Сто тысяч мегатонн! Атом, атом! Слушай меня! Цель номер один! Огонь!

Жирное, бело-рыхлое, как у тритона, тело. Икры-бутыли. Комиссованный. Из ракетных войск. Солнце два часа держит его у окна, пока не уйдет за угол. Безумец стоит в этом плену, вытянув руки с вывернутыми навстречу лучам ладонями, и раздается его неумолимый, монотонный вопль:

– Сто тысяч мегатонн! Сто тысяч мегатонн! Атом, атом! Слушай меня!..

Тут есть такие, что резали себе вены осколками стекла на своей свадьбе, и такие, что пытались выброситься в окно с девятого этажа. И выбросились бы благополучно, если бы их не "спасли" непрощенные ангелы-хранители, схватив за ноги. Кровь за кровь, откровенность за откровенность. Как сюда он попал? Да, так... Вена, Нагасаки, Сенека.

Пятый день он в этом чудесном доме. Очередная беседа с прекрасным Аполлоном в белом халате. Златокудрый, грудь шире Арарата, лицо, как солнце. Даже и не беседа. Разговор по душам двух друзей. Пишет диссертацию. Нужен материал: автопортреты пациентов.

– Что ж вы робкий такой? – спрашивает Психиатр. В голосе его звучит искреннее участие и сердечность. – Чего же вы боитесь? Девятого вала? Девятый вал сюда не докатится. Уверю вас. Живите спокойно. Трудитесь по силам. Рисуйте. Я вас не тороплю...

Тут танцы по воскресеньям. Ах, давно он не танцевал! С женской половины пришли девушки. Они тоже в пижамах, в голубую полоску, как волны. На ногах мягкие, бесшумные тапочки. Они курят. У них тоже наголо обритые головы. Они хотят танцевать, их глаза говорят о любви. Темный лес, пламенном бреде... Пальцы Психиатра в толстых золотых перстнях барабанят по столу. Если он, Очкуров, нынче вечером не закончит свой автопортрет, то пусть пеняет на зеркало, коли рожа крива. Его не выпустят живым из этого дома... Стоп, машина... В лимонном Сингапуре...

Утром в палате такая спертость. Мычит, губы трубочкой, грудь поросла черной шерстью, шимпанзе. Медсестра больно бьет его по голове палкой. Присоединяется санитар. Избивают вдвоем. Вой избиваемого переходит в порсячий визг.

Выводят на прогулку в сад. Это другая медсестра, она добрая, круглолицая, она, как мать родная. Простая душа... Шум, крики. Что такое? Убежал рыжий безумец. Солнцепоклонник несчастный. Вон, вислозадый, бежит голышом, пятки мелькают. Там бетонная стена, колючки проволоки, как терновый венец. А за стеной – сосновый лес. Дивный, как струны, лес. И воля! Все пижамы, все, все, что ни есть, пижамы с санитаром во главе, злобно воя, устремляются в погоню. Гончая стая... Возвращаются, ведут беглеца, заломив ему руки за спину и низко пригнув голову к земле. Как сорвавшегося с цепи и пойманного пса. Санитар идет сзади и, грубо ругаясь, пинает его в зад сапогом.

Опять с глаза на глаз с Психиатром. Что он хочет? Чтобы тут, перед ним совершили харакири? "Очкуров?" "Да!" Где-то плещет вода – поливают цветы из шланга. Голос Психиатра вкрадчив, голубые глаза лучисты, они гипнотизируют, лишают воли. Очкуров дрожит, как лист: вот он превратится в каменную статую и останется в этом доме навеки...

Розовые, пластмасса, не бьются, опять молоко, теленок в тумане, вишня бежит по клеенке – не догнать, убирают, у нас самообслуживание, несут гуськом, затылок в затылок – в окошко посуды, а там – пион, курносый, распаренный, ночью за стеной будет играть пианино, небесная музыка – это она душит подушкой...

Он. Очуров. Отчаялся. Автопортрет не написать! Никогда, никогда! Будет лучше, если он нарисует лодку. Он нарисует лодку и уплывет на ней отсюда. На лодке – что ж не уплыть! И дурак уплывет! Запросто!

Постель-метель. Дин-дин-дин – чистое поле. Мартышкино, Мариенбург – в гости просим. Самсон, позолота слезла. Медсестра новенькая. Очуров на нее глаз положил – подсолнечник, лускает семечки. Медперсонал из местных, кроме врачей. Те – не отсюда... Валерьяна, Марк Аврелий. Воркуют, голубки, погасив свет. Хихиканье. Я не виночерпий, я хлеб режу... По борту, захлебываясь в тоске, Мадагаскар. На всю ночь зарядил, огурцы пойдут, укроп, шуры-муры на сеновале, очки на хвосте. Дорогой дальнею... Бежал бы сейчас бурун за кормой... Что-то хрустит – раздавленные очки.

РАК НА БЛЮДЕ

I. ФЕВРАЛЬСКИЙ СТАКАН

*И чреваты жёны медведю хлеб дают из руки,
да рыкнет, девица будет, а молчит – отрок будет.*

Русские гадания.

Я родился зимой второго февраля года 1947-го в Белорусии. Отец мой, фронтовик, командир танка, тяжёло раненый, едва не сторел заживо, запертый в броне. Теперь начальник автоколонны в 200 машин строил дорогу на Брест. Днём строил, а ночью спал с пистолетом под подушкой в хате у старика-белоруса. Время беспокойное, послевоенное, недобитые банды вокруг бродили в лесах. Приснился моей матери аист. По белорусскому поверью – сын родится. Носила меня мать под сердцем ровно девять месяцев и благополучно разрешилась от бремени в десять часов утра. За окном родильного дома в районном городке яркий чудесный день, сверкали

искорки снега. Вспоминает моя мать Мария, в девичестве Румянцева, а по мужу Овсянникова. Отец мой Александр Викторович на радостях, что родился сын, в честь моего появления на свет пропил 600 рублей, деньги по тем временам немалые. Отец гулял весь месяц, весь февраль в компании сослуживцев-офицеров. Мать моя очень сокрушалась о потере капитала. На свой дом копили. Блокадная ленинградка, брови серьёзные, сама как струнка, миниатюрная: рост метр пятьдесят два.

Житье это белорусское у родителей моих не мёдом мазано. Длилось два года. Мать моя зачитывалась Львом Толстым. "Война и мир", "Анна Каренина", "Семейное счастье". Отец мой читал мало, библиоманией он не болел, но книги покупал при случае и берёг. Также любил он хвастаться перед друзьями: какая у него жена, его Машенька, начитанная. Сам он больше глядел на дно стакана, чем на страницу. Отец мой не горевал. Гуляка, отец мой, весёлый собутыльник, первый его враг был – уныние; шутки не сходили с его румяных балагурных губ. Шоферня, ребята ножевые, души в нём не чаяли за его щедрость и широкий нрав. Стояли за него горой. Скажи дурное слово – разорвут. Добряк, последнюю рубашку с себя снимет, рот только раскрой – с просьбой. Отдаст мой отец свою последнюю нательную рубаху первому встречному и пойдёт, босый да голый, по чистому холодному снегу в поле. Высоколобый, грустно улыбаясь. И поднимется в том безбрежном поле метель, закрутятся вихри, и сгинет мой отец в том поле, сам – снежный вихрь. Со смертью не шутят. Отец мой был полон телом, кожа белая, как сметана. Ростом невелик, на полголовы повыше моей матери. Лоб-купол в залысинах. А ноги коротенькие, походка враскачку, сбитые каблуки, медведь косолапый.

Тот февральский стакан в руке моего отца не расплеснётся; чтобы жизнь была полная; толстые балагурные губы, пилотка.

В белорусской избе с узорными наличниками, где жили мои отец и мать, сладко проспал я в колыбели, запелёнутый и укутанный, первый год свой. Деревня называлась: Тартак. В паспорт мой вписана – как место моего рождения. Мать в начале беременности очень томилась. Захотелось ей свежепросоленных огурцов с молодой картошкой, так захотелось – хоть умри. А где взять? Не выросли ещё. Попал мой отец в гости, а там как раз скороспелые огурцы и бульбу рассыпчатую лопают. "Что ж ты, Александр Викторович, не ешь?"

спрашивают хозяева. "Не хочу. Маше моей очень хочется. Ей отнесу." Отвечал отец. Потом далеко разнеслась молва об отцовской заботливости: как Александр Викторович жену свою холит и лелеет.

Отец мой любил яичницу-глазунью и картошку, крупно нарезанную, зажаренную на сале, со шкварками. Целыми сковородами наворачивал, и этот крестьянский стол никогда ему не надоедал. У матери не было много хлопот на кухне. Ещё мой отец любил рыбу, особенно селёдку. Мать, наоборот, ничего рыбного в рот не брала. От селёдки её трясло. Тут у них были серьёзные разногласия и доходило до ссор.

Ездили на служебной отцовской машине в районный город Барановичи, там на базаре купили подушку и шубу.

Отец мой сильно пил, море было ему по колено. Брёл мой отец вброд через великие пьяные воды, через океаны водки, потупясь, свесив хмельную лобастую голову, а из двух его налитых доверху глаз-стаканов текли горькие ручьи чистого неразбавленного спирта. "За тех кто в море" – был любимый отцовский тост. Без обмана, как в басне Эзопа, он то море мог бы один и высосать ненасытными толстыми губами, держа безбрежную амфору крепко за уши. Выдул бы за милую душу – с моряками, с китами, с флотами всех стран. Осушил бы до дна, не поморщась, губы рукавом кителя вытер бы и пошел всхрапнуть часок-другой где-нибудь в укромном уголке. "Счастливая ты, Мария", говорили моей матери, завидуя, замужние белорусски в деревне. "Какой у тебя супруг, благоверный твой, покладистый да спокойный, никогда не буянит. Выпьет чарочку и тихо спать завалится".

У отца была ещё поговорка такая: "жениться – так на английской королеве, пить – так до гроба". Мать моя к короне британских островов не тянулась, не имея на это никаких прав. Дочь пахаря-псковича, требовала напрямик, в глаза резала: чтобы муж прекратил своё неумеренное пьянство и дал зарок если не перед иконой, то перед портретом великого вождя Сталина. Утром, жадно выпив кружку сырой воды, отец клялся капли в рот не брать и уходил командовать своими шоферами, трезвый, как колеса его двухсот машин в подчинённой ему автоколонне. А вечером возвращался при поддержке водителя его служебного газика, опять навеселе, расплываясь в пьяной виноватой улыбке и прося прощения. Хорош. Тёпленький. Только могила его исправит.

Мать моя решила отомстить. Вовлекла в свой заговор хозяйскую дочь Лёлю. Добыли бутыль самогону и наклюкались. Завели патефон, пели и плясали, рискуя свалить со стола керосиновую лампу. Испуганная копоть взлетала из пузатого стекла к потолку чёрной курицей. Такой шабаш! Мать моя была уже на пятом месяце беременности. Вошедший в избу отец, увидев эту сцену, тотчас прогрезвел. Устроил жене хорошую выволочку. С ума она сошла, что ли? От такого буйного плясання мог быть и выкидыш. Матери моей стало плохо, всю ночь её рвало в таз. Алкоголь она возненавидела с того дня пуще прежнего и молила бога, чтобы это её отвращение к вину передалось ребёнку, которого носит она в своём чреве.

Двухмесячный, я заплакал, и никак не успокоить. Что только мать моя ни делала: и на руках качала, и грудью кормила, и дала пососать толчёного мака в марлевом мешочке. Нет, ничего не помогает. Реву и реву, в крик, захлёбываюсь, посинел уже весь. Хозяйка, суровая белоруска со сросшимися бровями влила расплавленного олова в блюдце с водой, и вышла фигура собаки. Вот и причина моего плача. Выяснилось: мать мою, когда она была ещё беременна, испугала собака на улице. Этот утробный материнский страх во мне вдруг и проснулся. Белоруска взяла меня на руки, пошптала заговор против испуга, я затих и уснул.

У моего отца был там в Белоруссии боевой друг Гриша Белобородько, прозванный офицерами "красная девица" за его застенчивость и целомудрие. Гриша к вину едва притрагивался, губы только в рюмке мочил, в компании сидел молчаливый, тише воды, ниже травы, на женщин взглянуть боялся. Пороху не хватало, а войну прошёл. Полный антипод моему отцу. Гриша Белобородько, единственный, кто сохранял в тех кутежах здравый ум и светлую голову, спас моего отца от большой беды. От Сибири, а то и от "вышки". Упала с неба ревизия – снег отцу на голову. Ай-я-яй! Довеселились. Не всё коту масляница. Крупная растрата казённых сумм, а также пропажа десяти автомашин. Куда делись? Да пропил с товарищами. Серьёзная история, керосином пахнет. Жди, майор, "воронок" к тебе скоро пожалует, поведут тебя под белы ручки. Бросился Белобородько по области, за одну ночь нашёл машины, там-сям выпросил на время, номера поменял на какие нужно, и рано утром поставил всё как есть перед очами ревизионного начальства. Натё, ешьте! И сумму недостающую выложил. Копать не стали – что да откуда. Замяли, замазали. Да не совсем. Долго еще верёвочка вилась.

Лет пять. Под Ленинград перебрались, там жили – тогда и пришло письмо от Белобородько, сняло страшную гору с отцовских плеч. Отец по ночам не спал, давила его та гора. А если и забывался сном на часок, то бредил, скрежетал зубами, стонал и просыпался в ледяном поту. Белобородько писал: "Всё. Можешь теперь спать спокойно".

Я родился крепышом, смуглый, как цыганёнок. Такой и рос. Родители мои оба белокожие, откуда же у меня этот шафран с корицей, где меня закоптили? "Три! Сильнее три его, поросёнка!" требовал отец, когда мать мыла меня в корыте. "Грязи-то на нём! Коркой покрылся. Ножом, пожалуй, не отскоблишь." Мать сердито огрызалась и гнала отца прочь. Эта моя смуглота для отца была излюбленной темой разговора и повод для подшучивания над своей вспыльчивой Машей. У него была страсть дразнить. Догадками и подозрениями на мой счет он постоянно изводил мою мать, до ссор и слёз. "Нет, это не грязь," говорил он, приблизясь к купели, где меня тщетно оттирали мочалкой, и сомнительно покачивая своей лобастой головой. Теперь ему всё ясно. И зачем вот только было матери моей скрывать, правда всё равно наружу всплыла. Не иначе какой-нибудь цыган у матери в спальне переночевал, пока отец отсутствовал, и что она сразу не призналась и не повинулась. Он бы простил. Все мы не святые. Тем более, когда цыган подкатится. Кто ж устоит перед цыганом. Кончалось тем, что мать, взбешённая, забыв о моем купаньи и о том, что я могу захлебнуться в корыте, топала ногами и кричала: сыночек их в свекровь, это она, свекровь, чёрная как сажа, дочь табора и есть истинная виновница моей темнокожести. Набрасывалась на отца и колотила кулаками. А тот только смеялся.

То одно, то другое вспомнится моей матери. Словно я сам вижу...

У нас с матерью и глаза "точь в точь, с одного болота гонноболь, то серые, то голубые, меняются с погодой. Взмах ресниц – взмах вороньих перьев. Пашни... Машина, в которой мы ехали, потеряла управление на спуске, тормоза отказали, шофер с баранкой борется, лицо отца побелело как мел. Мать моя, ни жива, ни мертва, прижала меня к груди. Встал у глаз её глубокий овраг. Отец рванул дверцу: "Маша, прыгай!" Машину дёрнуло, и стальным углом дверцы отцу в лоб. Из раны кровь хлещет, до кости прорубило, а отец и не замечает. Шофёр справился, колесо крутится над самой пропастью. Горел тот рубец на отцовском лбу по гроб.

Что там за шум? Галки да вороны. У его шоферов побоище. Ножи,

монтажки в ход пущены. Убийством пахнет, побежал отец в поле, видит: толпа кого-то обступила, орёт. Выхватил отец пистолет и выстрелил в воздух. Толпа раздалась, в центре два шофера дерутся, окровавленные, злые. Дал одному леща по шее – тот и кувырк. Остальные послушно разошлись по машинам.

Белорусская жизнь наша кончилась в 1948-м. Мне исполнился год. Отца демобилизовали. Так он и не достроил свою дорогу на Брест. Гадали мои отец и мать: где им жить дальше. Остаться ли тут, ехать ли в родные края отца в Карелию, поселиться ли в Ленинграде – там жила родня моей матери. А ещё манила Кубань: отцу предлагали возглавить богатый колхоз и давали лучший в станице дом. Кавказ действительно звал отца в письмах, там отцовский однополчанин пустил корни у Чёрного моря. Так куда же решиться: на север или на юг? В Карелии в погранзоне дом большой да полон: старики-родители – Виктор Титович и Мария Герасимовна, и две сестра отца – Вера и Нюра. Яблоку там негде упасть. Да и не хотел мой отец в старое пятиться, на новом месте хотелось ему обосноваться. В Ленинграде – материнская линия. Дед мой Николай Васильевич Румянцев жил на проспекте Обуховской обороны в коммунальной комнате. У него своя семья – куда ещё нам. Четверо там включая деда: сам, жена его – еще одна Мария, матери моей – мачеха, сын их Виктор, да мачехина родительница – семидесятилетняя бабка Ганя. Дед Николай писал в письме: ничего, дочь, приезжай. Угол для вас всегда есть. В пригороде дома продаются. За Красным Селом... Недорого просят...

Отец получил при демобилизации деньги. Вот дом себе и купили. Повезли меня на север, а не на юг. Отец часто потом вздыхал о Кубани. Арбузы, подсолнечники – розовая мечта. А мать моя горевала о потерянном Кавказе. Грезился и снился ей всю жизнь белый домик-мазанка у тёплого моря и золотистые грозди сладкого винограда.

2. ДУДЕРГОФ

Дом не велик, да лежать не велит.

В ленинградской комнате на проспекте Обуховской обороны перезимовали кое-как двумя семьями, всемером, теснясь на двадцати коммунальных метрах. Мать моя едва весны дождалась, оставаться там она была уже не в силах. Нужно было отдельное жильё. Вот и нашли, недолго искав, по совету добрых людей, в прекрасной живописной местности.

Дом тот за Красным Селом в посёлке у Дудергофских высот – это был ещё тот дом! Увидев его с фасада, мать моя нахмурилась, а войдя внутрь пришла в ужас: потолок коробился, провиснув посередине горбом, и ей почудилось, что балки обломались и крыша рушится ей на голову. А стены – тронь и рассыпятся. Труха, жучок проел. Отодранные обои раздуваются парусами. Развалюха какая-то, гнилушки. Куда глядели глаза моего отца и деда Николая! Купили по дешёвке. Молодцы. Умные головы. Жить здесь нельзя ни единого дня. Да что там – минуту тут находится опасно для жизни. Она не хочет вместе с ребёнком быть погребённой под обломками. Пусть мужчины что-то делают с этим сараем, чтобы стал пригоден для обитания, а пока она с сыном у соседей поживет.

Решили дом отстроить. В мае зазвенели топоры. Меня посадили в пустую ванну, чтобы не потерялся, пока взрослые работают. Я сидел смиренно в своем железном челне. Сирень лезла в раскрытое окно, пытаюсь достать меня знойной гроздью. – Что ты его в доме томишь! – гремел голос отца с улицы. – Вынеси в сад, пусть пацан подышет!

Потемнело. Тополь затрепетал. Топор синевато сверкнул над недостроенным домом. Мать моя сидела в саду на табурете, чистила картошку. Змейка, брызнув в небе, осветила её зрачок. – Молния! – тихо ахнула моя мать, то ли испуганная, то ли изумлённая. Картофелина резко стукнула, упав в миску. – Ой, сейчас грохнет...

Майская гроза всех загнала в дом. Ливень рухнул – сплошной стеной. А крыша-то дырявая, решето, ручьи текут и там и сям в комнаты. Мать моя, ошеломлённая, металась, подставляя под потоп вёдра, тазы и банки. Дождь звонко забарабанил в них, плеща, играя на водяных балалайках и гусях. Свежо и радостно звучала та водоструйная музыка.

К концу августа дом был готов: гнилые венцы заменены, фундамент укреплен, крыша починена, печка сложена. Все как надо. Будем зимовать в новом гнезде. А там, глядишь, и добра наживём.

Отец, теперь начальник гаража в Красном Селе, приходил с работы неизменно весёлый. Мать моя, не надеясь на чью-либо помощь, одна все стены новыми обоями обклеила и потолки побелила. От отца в хозяйстве было мало толку. Он же начальник, ему ли снисходить до таких мелочей, руки марасть. Хоть бы гвоздь вбил. Возьмёт мой отец молоток да и хватит вместо шляпки себе по пальцам. Ходит отец, как неприкаянный, по двору в мгlistый октябрьский

день, чавкает сапогами по грязи, старая расстегнутая шинель понуро на плечах висит, хлястик болтается на одной пуговице. – Да ты, Маша, не горюй, – говорит отец матери. – В тепле будем. – Пригнал своих шоферов из гаража. Напилили, накололи дров и в поленицы сложили в сарае доверху до стрех.

Вскоре ещё раз приехал к нам дед Николай из Ленинграда, вызванный письмом дочери – починить нам крыльцо. Увидала его мать моя на дороге, как он в гору поднимается, в пальтеце своём, мешок с плотницким инструментом за плечами и – заплакала. – Пропала я без тебя, папа...

Первая наша зима в Дудергофе дала нам знать. Дом хоть и подправили да на все рук не хватило. Пришёл холод, показал недостатки. В щели так сифонило, что но комнатам гулял ветер, а новопоклеенные обои, шуруша, ходили *по* стене волнами. Пол ледяной, на коньках кататься. Мать моя постелила половики, и они примёрзли намертво. Утром и с них, и со стен можно было собирать иней. Печка наша оказалась не печка, а паровозная топка: дрова щелкала, как орехи – охапками, глотала, разинув огненный рот, только давай. А тепла – от спички и то больше. Топим, топим – к вечеру один бок едва нагреется. Мать сшила мне тулупчик из зайца, мехом внутрь, опушка по борту и рукавам. Всю зиму я в том тулупчике спасался в нашем ледяном доме, не снимая от пробуждения до сна. В тулупчике том, как в печке, только нос от холода клюквенный да руки-морковки из рукавов торчат. Когда в доме было особенно прохладно, мать моя, чтобы я не мёрз, ставила меня в валенках на высокий стул со спинкой, а сама занималась чем-нибудь в комнате. Я стоял стражем на своей башне, ничуть не скучая, развлекаясь тем, что любовался выдыхаемыми облачками пара.

Появились у меня санки. С тех пор я весь день проводил на улице, катаясь с горок вместе с ватагой таких же санщиков. Темно, поздний вечер, звёзды, весь в снегу вывалился, мокро в валенках, варежки потерял. Мать сердится – никак меня в дом не загнать, кочергой грозит.

Дудергоф – старое название. Тут финны жили. После финской войны их всех выселили. Но до сих пор вокруг посёлка лопочут угрофинские названия деревень: Васколово, Микколово, Калевахта, Виллози. В конце главной улицы /то есть: проспект 25-го октября/, над обрывом в поле – каменное здание с ржавой башенкой, бывшая кирха,

а теперь школа. Там же – шаг ступить, бетонный барак, переоборудованный под кинотеатр. Мои отец и мать, запасясь семечками, ходили туда глядеть кино на вечерний сеанс. Меня брали с собой, пока я был мал. Зрители, не снимая пальто, сидели на поставленных тесными рядами лавках и созерцали простыню на стене, показывали фильмы: "Свинарка и пастух", "Три товарища." Лента часто обрывалась, и залузганный шелухой зал пронзительно свистел соловьем-разбойником из гнезда на двенадцати дубах.

Зимними вечерами часто сидели мы с матерью вдвоём у печки. "Что шумишь, качаясь, тонкая рябина..." пела моя мать чистым звонким серебряным голосом, или заведёт грустно-грустно: "Позарастали стёжки-дорожки, там где гуляли милого ножки." – Ему что, – прервёт вдруг мать моя песню, нахмуясь. – Разве он что-нибудь видит? Придёт со стаканами вместо глаз.

Я задумывался. Великан-отец грустно брёл по колено в море, мутном, как манная каша, а в глазах у отца *по* унылому пустому стакану. – Налейте, братцы, – просит отец, – иначе мне никогда это океанное море не перейти...

Раздавалась лихая барабанная дробь в дверь. Мать моя, накинув на голову шаль, шла открывать отцу.

Он, красный, грузный, качался в дверном проёме. Глаза как глаза: круглые, карие, весёлые.

– А пацан! Топай сюда, конфету дам! – шарит в кармане распахнутой офицерской шинели. – Погоди, за подкладку завалилась. Вкусная! Соевый батончик. – Вытащил, даёт – винную пробку.

Мать молчит.

– Машенька! Последний раз. Клянусь. Ребята, понимаешь, в шалман затащили. Отказаться никак. Обиделись бы, понимаешь, – оправдывается отец. Шагнул к матери, пошатнулся, руку вскинул – удержаться, задел шапку со звёздочкой. Шапка упала к заснеженным сапогам. Высокий отцовский лоб-купол блестит.

– Я, Машенька, спать пойду. – Пытается поднять шапку, клонится, теряя опору, сейчас рухнет на меня тёмной горой. Мать успевает подхватить его под руку.

– Медведь! Ребёнка задавишь!

Отец, комкая сапогом половик, поддерживаемый матерью, покорный, шёл в спальню. Вскоре раздавался его мужественный храп. Я боялся, как бы дом наш не развалился от того богатырского храпа.

Раскатится дом по брёвнышкам, и останемся мы в чистом поле, беспомощные, и заметёт нас снег...

Утром просыпаюсь: ничего не случилось с домом. В целости он и сохранности. Это только снилось: что дома нет и кровать стоит посреди заснеженного сада, и слышно, как скрипят по саду чьи-то шаги, ближе, ближе, наклоняется над изголовьем, но не мать, а громадный чёрный медведь.

Отец тоже проснулся. Зовёт меня из-за перегородки:

– Эй, цыганёнок, сигай ко мне!

Спрыгнув с постели, бегу босиком по ледяному полу к отцу в спальню, там отец и мать спят на широкой железной кровати с блестящими шарами на спинках. Отец, сидя по-турецки, подхватывает меня, точно пушинку, помещает рядом с собой, укутывает одеялом и щёлкает по носу. Отец в белой нательной рубашке; толстая розоватая шея и грудь излучают жар. И весь он пахнет чем-то крепким и горьким.

– Маша! – кричит он зычно, – тащи хлеб с салом. Мужики есть хотят!

Мать, уже одетая, повинуется, как это ни странно. Идет в коридор за салом. Сало это прислал в квадратном, исчерченном фиолетовыми чернилами, фанерном ящике дед, живущий далеко, где-то в Карелии, тот самый, кого отец называет – батя. И отцу, и мне, каждому достаётся по увесистому куску, обсыпанному кристаллами крупной соли, положенному поверх ломтя ржаного хлеба. Эх, вкусно!

Никогда не едал ничего подобного.

Отец спускал ноги на пол. Икры полные.

В шинели, в сапогах стоял на крыльце. Намело за ночь! Брал лопату и метал но сторонам тучи пушистого, пронизанного розовыми искорками снега. День воскресный.

Сосед Павел Петрович в кожаной шайке с загнутыми вверх ушами, с хвостиками, обычно уже стоял, облокотясь на забор, покуривая, и наблюдал, как отец работает. Папироса дрожала в скрюченных, толстых, как клешни, пальцах Павла Петровича. Отец, бросив лопату, подходил к нему, и они о чем-то секретно шептались.

Их тихий разговор прерывал с крыльца голос моей матери:

– Воды принеси. Суп варить.

Колодец далеко от дома, за железной дорогой. Надо взбираться на насыпь и рельсы переходить. Мать не хочет, чтобы я с отцом шёл,

поезд ещё, чего доброго, задавит. Но отец её уговорил, пообещав глядеть в оба, не спускать с меня глаз, и я иду с ним. Ташу ведро за дужку, оно волочится, оставляя на снегу волнистую борозду.

– Ничего не пойму, – изумлялся из-за забора другой сосед, мрачный, небритый, с выпученными глазами, в ватнике, – Кто кого тащит: сынок твой – ведро, или ведро сынка твоего за водой по пяткам гонит?

– А, Митрич! – говорит отец. – Будь здоров! Как у тебя обстановка?

– Зайди на минутку, Александр Викторович, – отвечает Митрич.

– Ты тут постой, – говорит мне отец. – Я сейчас. Вскоре отец выходил от Митрича, весёлый, откусывая на ходу солёный огурец. Давал мне. Огурец сочный, пахнет укропом, хрустит, как снег под ногами.

Колодец старый, из брёвен, в нём темно.

– А кто там живёт? – спрашиваю я.

– Лягухи. Кто ж ещё, – охотно отвечает отец. – Большие, зелёные, в пупырышках. Вот как огурец, который ты слопал.

Идём обратно. Отец важно несёт полные ведра, заплескивая полы шинели, и они делаются льдистые.

Опять отец заглянул на минутку к Митричу. Вернулся на этот раз без огурца, румяный.

Переступив порог кухни, отец ставит ведра на лавку.

– Что так долго? – укоряет мать. – Мяса ни грамма. Постный сварю.

Наклонилась – черпнуть из ведра, уронила ковш:

– Ай! Кто там прыгает? Ты же лягушку в ведре принёс!

– Отец, ничуть не смутясь, смотрит:

– Иди ж ты! Живая! Во как сигает! Ну что ты кричишь, – говорит отец спокойно. – И лягушонок-то совсем маленький. Вот тебе и мясо в суп...

Рос я в Дудергофе закалённый. Позвали меня друзья на пруд – показать щуку в проруби. Плавает, зубастая, как пила. Я пошёл. Щуки что-то не видно, В глубине прячется. Наклонился над прорубью, сзади толкнули и – бултых. Окунулся с головой. Вылез, шапку выжимаю. Все смеются, и мне смешно. Идти домой переодеваться – не хочется. Ещё час так, в мокрой одежде разгуливал. Сказали матери. Прибежала, схватив за руку, потащила в дом. Раздела, натёрла водкой, уложила в постель. Напоила чаем с малиной. Утром – хоть бы чихнул. Ни насморка, ничего. Как с гуся.

В Дудергофе самые большие возвышенности Ленинградской области. Тут есть Воронья гора и дудергофское озеро. Посёлок зажат боками трех холмов, курит трубочку одной единственной пуговичной фабрики. Вся местная промышленность. Кругом колхозы: "Светлый путь", "Красный октябрь". Продуктов нам хватало. За зиму я округлился, щёки репками.

Ленинградский дед Николай навещал нас, не забыл. Руки золотые, топорик, рубанок. Ко второй дудергофской зиме дом наш было не узнать. Блестел, как новый, покрашен зелёной краской. Забор крепкий поставлен на столбиках. В палисаднике дед смастерил стол и скамейку – пить чай на свежем воздухе.

Ехали и мы к деду в гости в Ленинград. На праздники – обязательно, как закон, и оставались там ночевать. Да и сами те поездки были всегда ярким праздником для всех нас: и для отца, и для матери, и для меня; сборы, говорливый путь, целый день, проведённый на колёсах, то железнодорожных, то трамвайных, городских, с лязгом, искрами и звонками.

3. ЛИСТ БРУСНИЧНИКА

*Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла?
Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда цвела, когда вызрела?*
Русская народная песня.

Там, на проспекте Обуховской обороны, в доме номер 16, мать моя жила до своего замужества.

С Балтийского вокзала на трамвае через весь город, по левому берегу Невы. Висел, как мираж, колоссальный железный мост и полз по нему длинным червяком товарный поезд. Фабричная труба безостановочно изрыгала вулканы чёрного дыма, застилая тускло-зимнее небо.

Дом деда жёлто-горчичный, на углу. Вход со двора, бетонный забор. Поднимались на третий этаж, квартира пять. Звонок пел комариком. Открывал дед Николай в солдатской гимнастёрке и сапогах. За порогом целовались, шли по коридору в первую комнату налево.

Дед Николай работал стрелком военизированной охраны на ткацкой фабрике "Рабочий". Там же трудилась и молодая жена его,

Мария Семёновна, мачеха, мотальщицей ниток. Труд изматывающий, в три смены. Помню её жалобы. Вздыхает, лёжа на кровати в углу за занавесью. Не отдохнуть перед ночной сменой.

Мария Семёновна восхищалась моим отцом. Весёлость его и щедрость, лёгкость характера и простота покорили её. Эх, отец! Только за порог ступит, как будто и воздух в помещении уже другой, скуки как не бывало, всё изменилось, всё заражено жизнерадостностью, всё лучится. Разве можно не любить моего отца. Мария Семёновна и любила. Хватало её любви и на мою долю. Ласкала, дарила рубли.

На ночь мои отец и мать укладывались на полу. Мы стелили толстый матрас, набитый шерстью. Мария Семёновна брала меня к себе на кровать, и я спал у неё под боком у стены, а дед Николай лежал с другого краю кровати. Гасят свет. Мрак не мрак, тени ходят, кружат, шелест и свист дыхания. Стена темна, высока. Не спится. Гром трамвайный внизу с проспекта. Дребезжит озарённое незадёрнутое окно. По потолку пробегают, дрожа и звеня, огненные ночные вагоны.

Голос у Марии Семёновны тихий, говорит протяжно. Шли мы с Марией Семёновной гулять. Она, чтобы доставить мне городские удовольствия, катала меня на трамвае несколько остановок по проспекту, покупала мороженое эскимо. Волосы у Марии Семёновны тёмно-ореховые, гладкие, подстриженные скобкой и зачёсанные на темени под тяжёлым черепаховым гребнем.

Вот в той квартире на проспекте Обуховской обороны мои отец и мать и познакомились.

Отец ехал в отпуск из Белоруссии, где служил, в Карелию к родным. Ехал с товарищем-ленинградцем. Тот привёл переночевать. Стол поставили в честь гостей, собралась вся коммунальная квартира. Сало, самогон. Отца моего посадили рядом с серьёзной сероглазой девушкой. Отец мой разговорился, так и так, жизнь холостая, нужна ему жена в Белорусию, хата у него там пустует.

Мать моя подумала, подумала: какое у неё тут житьё. Хлебную карточку то ли потеряла, то ли украли. Мачеха Мария Семёновна неласковая, редко у неё для падчерицы тёплое слово, поддвигает ей за обеденным столом свой кусок, потихоньку подталкивая пальцами, чтобы глава семьи не заметил.

Решили: отец мой на обратном пути из Карелии сюда опять заглянет. Как решили, так и сделали. Через месяц явился мой отец и с

порога бряк деду: "Ну что, Николай Васильевич, отдаёшь за меня дочь?" "Мне ведь в приданое дочери дать нечего? предупредил дед. "Она у меня в одном заплатадном платье ходит." "И хорошо," отвечает мой отец. "У меня тоже – дырки на коленях. Вот женюсь – жена и зашьёт."

Расписались в загсе, вернулись домой. Дед на кровати лежал. "Вставай, Николай Васильевич, дочку твою пропивать будем!" сказал мой отец.

Наутро молодожёны на поезд и – ту-ту, в Белорусию, к месту отцовской службы.

На вокзале в Барановичах отец пошёл искать свою машину, сказав жене, чтобы посидела на чемодане, он скоро вернётся. Сидела мать моя на чемодане, ждала и думала: "Дура ты дура – выскочила замуж, не зная человека, заехала к чёрту на кулички. Вот он ушёл и – всё. Ищи-свищи ветра в поле."

Вспоминается матери моей её родина, её деревенька Алексеевка в 40 километрах от Пскова. Там она родилась и выросла, и бегала босоногой девчонкой, где ни попало, не боясь порезать подошв. Быстро бегала, не догнать. Так улепётывала от быка-злодея, что пятки стукали по затылку. А кавалеры ухаживали за ней так: подкрадутся сзади и кинут за шиворот лягушку. Скользя, холодная, по спине. Б-р-р, гадость!

Там, в Алексеевке этой появился на свет и дед мой Николай Васильевич Румянцев в тысяча восемьсот девяноста четвертом году. И он псковский. Призванный в царскую армию, был он определён поначалу в кавалерию, раз деревенский и с лошадьми знаком. Посадили на коня и дали саблю. И был бы мой дед лихим конником, не случись с ним оплошности на ученьи. Командир эскадрона скомандовал: "Шашки наголо!" Дед мой выхватил клинок одновременно со всеми выстроенными в ряд всадниками, в дружном блеске стальных молний, но произвёл он этот кавалерийский манёвр не совсем ловко и с маху отсёк ухо своему товарищу в строю. На этом и кончилась его кавалерийская карьера. Ссадили моего деда с седла, злополучную саблю отняли, а взамен дали винтовку с трехгранным штыком и пихнули в пехоту.

Хлебнул мой дед лиха трёх войн. В первую мировую – ранение и плен. Бежал из немецкого плена и попал из огня в польмя. В обмотках, двадцатичетырёхлетний, в красноармейской цепи. В атаку ходили

втроем: дед в центре, по бокам – два латыша. Так они сговорились оберегать друг друга, чтобы уцелеть в рукопашной. Ощетинясь тремя штыками, катились ёжиком до Крыма.

В двадцатые годы выбрали моего деда в комитет бедноты. Потом назначили начальником ревизионной комиссии. Раскулачивание, спас не один двор. Несправедливо! Какие же они кулаки! Вспыльчивый, упрямый, горячий в споре, негнибачимый правдолюбец, дед мой доправедничал. Пришли за ним два милиционера и повели под дулами наганов в Красные струги. Там допрос: откуда у него такая аристократическая фамилия? Кто он? Недорезанный граф Румянцев? Только тем и доказал дед своё крестьянское происхождение, что убедил поглядеть на него получше. Что в нём графского? Лицо пахаря. Псковский лапоть.

Женился дед мой. Нашёл жену в той же деревне. Анна Федоровна, моя родная бабушка. Рыжая коса до пят. Идёт от колодца, гнётся под коромыслом, вёдра землю бороздят, расплескиваются.

Зажили своим хозяйством. Куры, свиньи, корова. Жеребёнка купили. Выкормили. Горяч, огонь, звёздочка на лбу. Кличку дали:

Резвый. А ласковый, целоваться лезет, не конь, а сын родной. Радовались такому житью недолго. Коллективизация, деду-активисту первому в то ярмо. И коня Резвого, любимца, сам отвёл в колхозную конюшню. Резвый, порвав путы, прибежал ночью к их избе и жалобно ржал. Анна Фёдоровна, бабушка моя, выносила ему ржаной ломоть с солью и, рыдая, обнимала за шею, целовала в его звёздочку. Вскоре загубили Резвого на колхозной пахоте, не выпрягая из плуга от зари до зари.

Матери моей шесть лет. Сидят они вечером с бабкой Домной одни в доме. Бабка Домна, водрузив на нос очки в железной оправе, читает газету. Дед мой выписывал. Свет – фитиль в горшке с растопленным салом. – Антихристы! – разодрала надвое бабка Домна газету. Вышли они из дома и побрели по тёмной улице – искать родителей. Где-то в гостях, в компании развлекаются, в карты играют. А мрак – глаза выколи, поздняя осень, грязь, ни одно окно не горит.

Двенадцать лет моей матери. Сидит она на лавочке перед домом и плачет. Анна Фёдоровна тяжело заболела, с постели не встаёт. Рак печени. Так ей жаль свою маму, так жаль. Горький ком в горле, просит Анна Фёдоровна помочь ей приподняться, а волосы и не расчесать, рыжие волны, рука не слушается, падает на одеяло.

Анна Фёдоровна, бабушка моя, умерла в 32 года.

Идёт моя мать с корзинкой по ягоды, под ноги не глядит. Слышит:

"Ш-ш-шу... Окаменела мать моя с, поднятой ногой.

Узорный поясок, извиваясь, уполз в кусты. А как там лес шумит! Как там шумит летний густолистый зелёный лес!..

В тридцать восьмом году перебрался мой дед с пятнадцатилетней дочерью – в Ленинград. Устроился в охрану на ткацкой фабрике. Жили в мужском бараке на сорок человек. Год мать моя, юная девушка, одевалась и раздевалась под простыней. Карты, драки. Свет не гасился круглые сутки. Смена уходила, приходила. Туда-сюда, хлоп дверь да хлоп.

Дали, наконец, деду жильё: комнату в трехэтажном доме рядом с заводом имени Ленина. Жильцы ели за общим столом, единственным в квартире, сидя на чемоданах.

В июне 1941 года мать моя купальник себе для отпуска сшила. В деревню поедет, к речке. Собрали ткачих на дворе фабрики и объявили: война! До сих пор у неё те холодные мурашки по спине.

Фабрику эвакуировали. А дед мой с матерью моей по своей воле остались в Ленинграде.

Мать моя ходила работать на правый берег Невы, от дома далеко, пешком. Уголь разгружать. А блокада, голод. Вышла мать моя однажды утром, шла, шатаясь, часто останавливалась отдохнуть. Видит: лежит посреди дороги мужчина. Мертвец, ягодицы вырезаны.

На другой день мать моя на разгрузку угля не пошла. Упала бы на дороге, как тот... Оставалась дома и получала теперь вместо рабочей карточки иждевенческую: в день 125 грамм черного, пополам с соломой хлеба.

А деда моего призвали. Возраст его ещё не шёл на фронт, взяли его в тюремные надзиратели в Кресты – охранять уголовников.

Топить было нечем. Таскали доски со склада у завода имени Ленина. Схватят вдвоём с подружкой за один конец и волокут, надрываясь, тяжелую, мёрзлую. Старик-сторож свистел, а догнать не мог от слабости.

Варили столярный клей. Ели, запивая кипятком.

Дед мой не приходил домой две недели, не отпускала тюремная работа. Мать моя осталась совсем без еды и, как она говорит – "дошла", едва душа в теле держалась. Двигалась "по стенке", "ползала"

кое-как по комнате, не позволяя себе "валяться". Взглянет в зеркало: две ямы на неё оттуда смотрят. Засыпала с мыслью:

"Ну всё – завтра не проснусь." И – чудо: на другое утро опять размыкала веки.

Был у матери в горшке на подоконнике цветок брусничник. Загадала она: погибнет цветок – то и она умрёт. Останется хоть листик – выживет. Утром, только проснётся, смотрела на этот брусничник, и каждый раз засыхал и опадал ещё листок. День за днём. Вот только один остался на самой верхушке. Зелёный, маленький. Этот последний цепкий листок героически боролся со смертью, не падал, не засох и – победил смерть. Три дня мать моя уже не могла подняться с постели.

Дед увидел, тут же пошёл на толкучий рынок. Вернулся без кожаных гетр на ногах, выменял на кусочек жмыха. Этим жмыхом и спас дочь. Потом приносил дрожжевой суп из тюрьмы. Понемногу мать моя оправилась.

Госпиталю у Финляндского вокзала требовались медсёстры. Тот госпиталь при академии имени Кирова. Мать моя – туда. Собралось их в кабинете у главврача семь таких. А звали главврача Аркадий Аристархович. У полковника медицинской службы Аркадия Аристарховича цепкий зрак из-под хмурых бровей. Посмотрел на хлипкое пополнение в своём полку. Халаты как на скелетах болтаются. "Какие же вы медсестры!" говорит. "Вас самих лечить надо!"

Отправили мать мою работать в 5-ю хирургическую палату, отделение нижних конечностей. Хлебную карточку теперь она получала служебную – 400 грамм. И госпиталь кормил три раза в день: суп, каша, компот. Порции в столовой взвешивали на весах, подкладывали новеньким побольше.

В палате были три Марии. Мария старшая – пожилая женщина, старая работница; просто Мария; и Мария маленькая – так прозвали мою мать.

Жили вшестером в комнате. Спать ложились по двое на одну кровать, тесно прижавшись друг к дружке, надев на себя всю одежду; поверх тоненьких байковых одеял матрасами накрывались и всё равно не согреться, дрожали до шести утра. В шесть бежали в столовую. Там тёплый предбанничек. Взирались с ногами на кожаный диван и дремали, пока не откроют дверь столовой.

Матери моей удавалось доставать немного рыбьего жира, этим рыбьим жиром она поддерживала папу своего. Дед мой приходил к

концу смены и просил вызвать Марию Румянцеву из пятой палаты. Мать моя выносила ему в кармане халата стограммовую аптекарскую бутылочку.

Весной 1945 года госпиталь отправили на фронт. И мать моя в том госпитальном поезде слушала стук колес: бам-бам, что нас ждёт там. Не доехали до Польши – война кончилась. У того польского городка, где остановился их госпиталь, только что перед тем шёл большой бой. Река текла мутная, красная. На берегу лежал незахороненный молодой красивый немецкий офицер, без сапог, босой.

Госпиталь поехал дальше, в Германию. Стоял в Штеттине. Тяжелораненый умирал и просил: "Мария, воды!" Туберкулезные из освобожденного концлагеря умерли все, один за другим. И тот весёлый грузин, который лежал в коридоре и, когда не харкал кровью, то шутил и предлагал ей руку и сердце, кавказские горы и огрызок обреченного легкого впридачу.

4. КРЕСТ НА ГОРЕ

*И отверзоша врата рая божия,
и возрадовася бражник радостию великою.*
Повесть о бражнике.

Карельский дом смутно стоит на пологом лысом холме, рубленый из брёвен, двухэтажный, серый. Из окон видно большое чудесное озеро. Белые валуны.

Добирались так: по железной дороге до Светогорска. Там у вокзала ждал нас с поезда посыльный Виктор Титовича, карельского моего деда, с лошастью и телегой. Отец сажал в телегу мать и меня, влезал сам; вожжи хлестали по лоснистому крупу, сытый битюг бряцал подковами, хорошо смазанная телега плавно катилась по шоссе-дороге. Сворачивали, асфальт сменялся изрытым грунтом, и мы втроём, держась за борта нашей повозки, тряслись, как куль с овсом. Для въезда в погранзону отец предъявлял на контрольном пункте полученные в Ленинграде специальные пропуска.

К карельской родине отец отвозил нас с матерью каждое лето на месяц-другой, молоком подкормиться. Так – шесть лет подряд.

Дом тот просторный; лестница на второй этаж – крепкие, как на корабле, гладко оструганные ступени. В первое моё пребывание там я ходить ещё не умел, ползал на четвереньках у стены и, взявшись обеими руками за край отставших обоев, сдирал их целыми полосами.

Мария Герасимовна, добрая моя карельская бабушка, отцова мать, ахала; "Что ж ты, озорник, делаешь!" И пыталась оттянуть меня от стены. А дед мой Виктор Титович её останавливал:

"Не трогай. Пусть рвёт. Вон у него какие руки сильные! Мы, Овсянниковы, все не из слабых – пятаки ломаем, подковы гнём."

Виктор Титович, председатель богатого крепкого колхоза, о котором в газетах звон и по радио молвь на всю область, был человек суровый и простой. В заплатанном ватнике, в кирзовых сапогах, в кепке садился он утром на коня и скакал с холма вниз – командовать своими колхозниками. Справедливый, люди его любили. Рука Виктора Титовича не оскудевала. "Почему на работу не вышел?" спрашивает он какого-нибудь облупленного пропойцу с свекольным носом. Тот, зная простоту своего председателя, говорит: "Есть нечего, Виктор Титович. Дети голодные. Семеро ртов по лавкам." "Ладно. Приходи вечером. Мешок муки дам. А завтра утром – чтоб в поле как штык!" ПроЙдоха брал муку и нёс менять на самогон. Мария Герасимовна от безрассудной доброты супруга много натерпелась, припрятывала запасы.

Там едва не заклевал меня насмерть, налетев, яроокий, злоЙ петух. В кровь истерзал, пустил руду, чёрт-петух, в глаз мне целился железным клювом. Мать, услышав мой крик, выскочила с граблями.

Гуляли с отцом в бору и нашли гриб. Вот это гриб! Шляпа с ведро. Такой богатырь.

Шли к дому, солнце садится, слепя низкими красными лучами. Горят глиняные пузаны-горшки на жердях. Мария Герасимовна облокотилась о забор, ждет нас, улыбаясь, морщины – лучами. Один глаз – живой, карий; другой – мертвый, стеклянный. Это от Марии Герасимовны у меня такая смуглота, цыганская эта кожа, и многое ещё у меня от бабушки моей карельской, отцовой матери; а губы – это уж от отца подарочек.

Чуть было не погубил я Виктора Титовича. Подойдя к колодцу, он полубопытствовал: что это за бумажки я мочу в корыте для кур. Этими флотилиями, пущенными мной в плавание, оказались квитанции о сдаче колхозом куриных яиц за год. Громом сраженный Виктор Титович давай вылавливать квитанции из корыта, разложил сушить на солнце. Вовремя он явился, чуюло его сердце, а то разорил бы внучек в пух и прах. Вызвали бы Виктора Титовича в райком и – партбилет на стол.

Последний раз я был в карельском доме в шесть лет, один с отцом. Мать моя осталась с моей двухлетней сестрой Еленой. Тот дом, говорят, все ещё крепок, стоит на холме цел и невредим. Теперь там живёт тётка моя Вера Викторовна и двоюродные братья.

После рождения моей сестры у матери моей начались мучительные головные боли. Мигрень не мигрень, какая-то сосудистая болезнь. Страдала от холода и резких звуков. Укутывала теперь голову толстым шерстяным платком.

Отцу легче было Берлин брать, чем собираться со мной в поход на финских санях. То валенок надену не на ту ногу, то варежки или шарф забуду. Отец ни шарфа, ни рукавиц не носил даже в лютые морозы. Ему всегда было жарко. Наконец, я готов. Экипирован полностью. "Седлай коня, пацан!" говорил отец. И взбирался на сиденье спереди, едва доставая носками стального прута для упора ног. Отец вставал сзади на полозья, отталкивался ногой, и мы, набирая скорость, рискуя опрокинуться и сломать себе шею, катились под крутую горку.

Отца знает весь посёлок. Все тут его любят. – Здравствуй, Александр Викторович! – приветствует его каждый, кого бы мы не повстречали. – Куда путь держишь? – Да вот, отпрыска своего стричь везу. Оброс, как баран, – охотно отвечает отец. Иногда моего отца просят дать закурить, и он достаёт портсигар с папиросами, хотя сам не курит. Раскрывает портсигар и протягивает, угощая – бери, сколько душе захочется, папирос там полно, заткнутых за резинку, как патронов в патронташе. Отец всегда носил с собой портсигар.

– Зачем ты папиросы носишь? – говорила моя мать. – Ты же не куришь. – А вдруг кто-нибудь попросит. Неудобно будет, – объяснял отец. – Вот святой человек идёт! – кричат, встречая моего отца на дороге, опухшие небритые личности. – Что, голова болит? – сочувствовал отец и без лишних слов лез в карман за рублем на опохмельных сто грамм. – На, поправь здоровье. – Сколько бы человек отец ни встретил, никому не отказывал и только конфузился и сокрушался, когда в его карманах оказывалось пусто и дать просящему было нечего. – Пстой, братец, – говорил отец, – на вот, часы возьми. Продашь. – И снимал с руки новые часы.

Парикмахерская находится на вокзале. Мы оставляем финские сани у вокзального крыльца. Никто их не украдёт. Идем внутрь, открываем толстую кожаную дверь с табличкой в комнату, где стригут. Стрижет Аграфена Михайловна или Груня – как говорит отец. Белолицая, рыхлая, переваливается, гусыня. Отец сажает меня в кресло

с подлокотниками. Я в нём утопаю, не видно меня в таком глубоком кресле и поэтому постричь никак невозможно. Аграфена Михайловна ставит на кресло табуретку, а сверху опять водружают меня. Туго спелёнутый по шее, покорно и печально сижу на этом высоком троне, ожидая своей участи, не пошевельнуть ни пальцем. На вопрос, как меня стричь, отец решительно машет рукой: – Под Котовского! – Помилуйте, Александр Викторович. Такой красивый мальчик. Челочку хоть оставим. – Возражает медоточивая Аграфена Михайловна. – Ладно. Пусть чёлка, – соглашается отец. – Я пока горло промочу. – И отец уходил в вокзальный буфет, шалман – как его называли, усладить себя кружечкой жигулевского с пышным чубом пены и поболтать с друзьями-товарищами, завсегдаемыми этого заведения. Иногда, уже остриженного, с прохладой на голой голове и челкой, он забирал меня туда в этот шалман с собой, возвращаясь повторить такого же холодненького в ту же кружку. Докупал мне бутерброд с килькой. С той сочной, пряносольной, вкусной килькой, каких теперь нет. И это тоже для меня был праздник. Ел, проголодавшись, улетая за обе щёки.

– Замёрз? – спрашивает мать, войдя с охапкой дров. Громко роняет поленья на железный лист у печки.

Я молчу.

Отвернув занавеску, смотрю на улицу: не приехал ли «газик», который всегда привозит отца домой. Шофёр, помогающий отцу пройти двор и достичь домашнего порога, обычно подмигивает и говорит вполголоса: "Начальник – мировой мужик!" «Газика» за калиткой не видно. Метель. От стены дует.

– Райская жизнь, – ворчит моя мать, шурша газетой для растопки.

Метель не унимается. Сумерки. Лампочка мигает.

– Видно уж это мой крест, – говорит мать, вздыхая... Отец одевает армейские бриджи с ляжками под ступню, ловко обёртывает ногу большой тряпкой-портянкой, натягивает щегольские сапоги, голенища с трудом лезут на отцовские икры, морщатся гармошкой. По моей просьбе мать и мне выкроила из байки два лоскута на портянки под валенки. Чтобы всё как у отца. Мотаю строптивую тряпицу и так и сяк на своей мелковатой ноге. Ничего у меня не получается, хоть плачь: пятка остаётся голой, зато носок накрученный – как копыё. – Какой же ты солдат будешь, если портянку не можешь намотать! – говорит отец. – Вот, гляди! – берет лоскут обеими руками и, мигнуть я не успел, – нога моя плотно и красиво обёрнута. – Понял как надо? Опять не понял? Ну ничего. Не вешай носа. Какие твои годы...

– Ужин к концу. Мать разливает кисель. Отец как бы по рассеянности придвигает мою чашку к себе. – Моя! Отдай! – тянусь за чашкой, которая удаляется от меня и удаляется. – Что ты его дразнишь! – говорит мать. – Связался чёрт с младенцем.

Мне обидно. Я не младенец. Я уже большой. О чём и заявляю решительно.

– Большой? – отец оставляет мою чашку в покое. – Какой уж там большой. Едва от пола видно. Сестрёнка тебя уже обогнала. Леночка тебя выше.

– Нет, я выше! – топаю ногой, оскорблённый.

– А вот мы проверим, – говорит отец. Зовёт сестру, ставит нас спиной друг к другу. Леночку приподнимает под мышки. – Ясно. Леночка выше, – выносит он приговор. – Эх, брат, беда! Ты теперь в обратную сторону стал расти. Опять уменьшаться начал. Это от того, что ты один кисель сосёшь. Разве это напиток для мужчины. Я в твоём возрасте брагу вёдрами дул наравне с батюшкой. Вот и вырос такой большой и сильный, погляди: какие мускулы! – отец сгибает локоть и показывает вздувшийся под рубахой мускулистый шар. – А ты – кисель. Так ты, брат, совсем захиреешь и в микроскоп тебя будет не найти. Да ты не реви. Не всё ещё потеряно. Завтра же перейдем с тобой на бражку.

Отец изводил меня своими шутками чуть не каждый день. Вмешивалась мать, требуя, чтобы он прекратил мучить ребёнка, а лучше бы занялся моим воспитанием и обучением, научил бы до школы писать и читать. На что отец возражал: что где уж ему в учителя, он сам малограмотный, пока воевал, забыл и то, что знал.

Сел я на трухлявый пень, штаны у меня короткие выше колена, на ляжках накрест через плечи, сандалии с порванными ремешками. И тут же вскочил – стул-то жгучий. Кожа горит, боль – хоть вой. Голые ноги от ступней до ляжек в движущемся черномуравьином чулке.

Осы и пчёлы тоже не обделяли меня своим вниманием, я был для них лакомый кусочек, мёдом намазанный. По милости этих падких на сладкое насекомых летом я ходил постоянно опухший: то ухо расстолстеет, то губа вздуется, то глаз заплывёт.

Чистил Павел Петрович отхожее место и подцепил черпаком кортик. Ломали голову: как кортик туда попал. Моряки вроде бы не бывали. Сам Павел Петрович – ничего морского. Купеческий сын. Отец Павла Петровича, известный купец Иголкин, держал тут бакалейную лавку. Супруга Павла Петровича – Евдокия Васильевна,

хоть и переодетый в юбку горластый боцман, но и она божится, что ножик этот она не роняла и видит его в первый раз. Загадочная история, Павел Петрович кортик подарил мне. Я опоясался отцовским ремнём, гвоздём проковыряв в нём недостающую дырочку, засунул кортик за ремень и, выпятив грудь колесом, разгуливал у нас по двору, как по палубе.

Летом Павел Петрович ходил во френче и галифе, в резиновых галошах на босу ногу. Работал сторожем в Публичной библиотеке в Ленинграде, доставал там книги и глотал их одну за другой. Только вот не впрок Павлу Петровичу проглоченные книги – худой, как жердь. Увидев свою супругу, Павел Петрович пригибался, втягивал голову в плечи и потихоньку прятался за сарай.

Идём с отцом к озеру – купаться. Через железную дорогу, вдоль высоких дощатых заборов. Вишни, свешиваясь, протягивают алые незрелые шарики. Кисло!

Плаваю я как пиявка. Резвлюсь вовсю. В воде, под водой. Отец заплыл далеко. Вон его голова блестит – на середине озера. Мать не купается, боится. Её сосудистая болезнь ей не позволяет. Она и летом кутает голову в своём платке. А как ей купаться хочется, она же на речке выросла. Стоит на мостках, рука козырьком. Спрашивает: не пора ли мне вылезать. Я уже синий.

Орехи на холмах поспели. Отец нагнул куст, срываю тройчатку. Попадаются и по пять и по шесть. Отец берёт самый крупный орех, расколов за щекой, даёт мне ядрышко в коричневой кожуре, а оно – двойное. – Э, подожди, не ешь! – говорит отец. – Этот орех надо в кармане носить. Богатым будешь. Такое белорусское поверье.

Завели козу. Режу для неё траву у канавы. Не нравится мне это занятие. С серпом и пустым мешком ухожу далеко по дороге, набирая в мешок вместо травы осколки стёкол и камешки. Серпом пытаюсь срубить резко пахучий креозотный столб с электрическими проводами. Привязанная к забору, голодная коза жалобно блеет. Мать моя бежит по дороге, расспрашивая жителей, не видел ли кто меня, живого или мёртвого.

Мать купила мне большую книгу с картинками: "Путешествия Гулливера". Первая моя книга. Я не расставался с ней, вода пальцем по строчкам и бормоча себе под нос какую-то тарабарщину, как будто читаю.

На земле что-то блестит. Бутылочный осколок. Павел Петрович идёт к сараю. Смотрю сквозь стекло. Деревья не деревья, дом не дом.

Чудища! Вместо Павла Петровича выглядывает из дверей сарая зелёноголовая, в человеческий рост лягушка с выпученными глазами. В испуге роняю стёклышко.

– Где мой бидон? – кричит Павел Петрович...

Отец весел, у него превосходное настроение. Поднимает на руки и меня и Леночку. – Пожалеете батьку, когда вырастете. Стакан на старость нальёте. Налёте ведь? – допытывается он. Леночка не может ответить, она уже спит. Меня тоже в сон клонит, глаза слипаются. – Налью, – обещаю отцу уныло-сонным, куда-то уплывающим от меня голосом. Обессиленный, утыкаюсь в колючую отцовскую щеку.

– Э, да вы оба совсем квёлые. Что ж вы так и собираетесь спать у меня на руках, как воробьи на ветке? Пошли подушку давить...

Погасили свет, прикрыли дверь.

Что-то мешает спать. Из соседней комнаты слышится звонкий колокольчик – голос матери. Ему изредка отвечает глухое, как замирающий гром, бормотанье. Непонятно: спят глаза или смотрят. Стена над кроватью наклоняется, залитая мраком. Это не стена.

Что-то черное, косматое, похожее на медведя, который тащит бидон...

– Налей, сынок, на старость! – просительно хрипит чудовище, надвигая и надвигая огромный железный бидон...

– Оно ко мне лезет! – кричу в ужасе, вскочив с постели. В распахнутых настежь дверях – бледное материнское лицо, и рядом, выше, отцовское, с всклокоченными волосами...

– Павел Петрович повесился! – слышу я крик.

У калитки Иголкиных машина с синей полосой. Евдокия Васильевна, скулы-свеклы, в сарафане, оглашает двор: – Отворяю сарай, а он – там. На верёвке болтается! и что чёрту худому не жилось!

Две милицейских кокарды, бороздя двор, волокут Павла Петровича на куске брезента, Павел Петрович всем показывает длинный, чёрный язык; голова треплется, как у куклы, с обрывком верёвки на тощей шее. Пил, пил Павел Петрович свой бидон, а потом зачем-то спрятался в углу сарая и повесился на железном крюке.

Стою у окна. Сумерки. Но улице движется что-то тёмное. Отец! Продвигается мелкими шажками, согнувшись и растопырив руки, будто несёт на спине непомерный груз – тяжёлый, претяжёлый крест. Тот самый, о котором говорила мать. Как он дотащил такую тяжесть от вокзального шалмана до нашего дома – непостижимо!

Постояв, собравшись с силами, отец принимается штурмовать

ступеньки крыльца. Мне страшно: кажется, что ступени кувыркаются у него под ногами, как педали велосипеда, чтобы коварно сбросить его с крыльца и не пустить в дом.

Дверь – бряк. Отец. Полное, добродушное лицо и румяные губы расплываются в виноватой улыбке.

Мать грустно смотрит на него. Да минет чаша сия...

Мне семь лет. Отец лежал головой на высокой подушке. Где его могучее здоровье, его сила? Исчах, жёлто-серый, виски впали.

Тяжёлое ранение. Отец жил с одной почкой. Врачи запретили ему алкоголь в таких количествах. Самоубийство – сказали. А отец в ответ только смеялся. Почка и надорвалась.

В холодный январский день санитары вынесли отца на носилках, покрытого одеялом. Погрузили в машину с красным крестом. – Не вешай носа, пацан! – подмигнул мне отец с носилок. – Малость подштопают, только и всего. Вернусь – на финских санях с тобой ещё покатаемся с горок. – Голос тихий, слабый.

Отца увезли в больницу в Красное Село.

Мать моя весь месяц, каждое утро отправлялась в ту больницу, к отцу. Нас с сестрой отводила к соседям. Возвращалась поздно вечером, усталая, молчаливая.

Девятого марта мать вернулась раньше обычного. Открыла дверь и стояла в черном пальто с большими костяными пуговицами, на голове темная кубанка. Глаза сухие из ям-глазниц.

– Всё! – выдохнула она.

Отец перед смертью проговорил три раза, всё тише: рай, рай, рай.

Ещё раз увидел я отца в церкви при отпевании. Собралась вся родня. И бабушка моя, отцова мать, Мария Герасимовна приехала из Карелии. В церкви холодно, пар от ртов, чёрные платки вороньей стаей, плач, голошенье. Подставили к гробу скамейку, и мы с сестрой по очереди, сначала я, потом она, поцеловали отца в бумажную ленту на высоком его лбу. Попрощались. Отец лежал в гробу грузный, спокойный, важный, в офицерском кителе, в орденах, как в панцире. Похуделое лицо с резкими бороздами от крыльев носа к подбородку. Молодой ушёл. 33 года.

Похоронили отца на кладбище в Красном Селе, на горе. Под склоном той горы железная дорога идёт, и поезд свистят через каждые полчаса, подъезжая к станции и приветствуя моего отца протяжно и весело, чтобы не скучно и легко было его косточкам лежать в той горе под грузом сырой трезвой земли.

5. ОТЧИМ

*Чим зайнятий тепер твій меткий розум?
Григорій Сковорода.*

Жил у наших соседей долгое время жилец Георгий Иванович Богушевский с семьей; жена и маленькая дочь. Жена Георгия Ивановича Екатерина умерла вскоре после кончины моего отца, и остался Георгий Иванович вдовцом с четырехлетней дочкой Мариной на руках. Из Ленинграда явилась властная теща, забрала внучку из рук зятя и увезла к себе в городскую квартиру. Георгий Иванович сам дочь отдал на год по договору. Чадо его тут зачало бы в холодной сырой лачуге, без нужного ухода. Работал Георгий Иванович в Ленинграде на заводе "Вулкан" механиком. Добираться два часа, с электрички на трамвай – на Петроградскую сторону до Малой Невки. В пять утра вставал, в восемь вечера возвращался. За малолетней дочерью присматривать некогда. Крепкий, статный; голова круглая, обрита; лицо породистое, чеканное, как медаль с гордым профилем горбоносого гетмана; руки чёрные от железа, рабочие, ногти-скорлупы, изуродованные, в заусенцах. Через год поехал Георгий Иванович забирать дочь. Хозяйка дома, где жил он, согласилась за ребёнком приглядывать за особую плату. Вернулся мрачный, ни с чем. Показали ему там шиш. Георгий Иванович – в суд. А судья взял сторону бабки. Доказали, что Георгий Иванович негоден для воспитания дочери, необуздан, жесток, чуть ли не чудовище. Загубит девочку. Отняли дочь законом. Тёща торжествовала, внучка осталась у неё. Георгий Иванович загрустил. Встретил он однажды в доме своей хозяйки мою мать. Разговорились. Из его уст услышала мать моя эту невесёлую историю и пыталась Георгия Ивановича утешить добрым словом.

Месяц, другой. Георгий Иванович к моей матери посватался. Думает мать моя: хитрый хохол – дом её прибрать хочет. Только что – дом? Дому хозяин нужен. Без мужских рук дом скоро развалится. И детей одной растить. Думала мать моя трое суток, ночи не спала. Мерила, рядила и так и сяк. На четвертые сутки решила. Георгий Иванович перебрался жить под нашу крышу.

Я сердит на мать. Зачем она привела в наш дом этого вепря. Грубый, угрюмый, замашки деспотические, из ноздрей войлок лезет. Никакое сравнение с отцом. Только за порог ступил, а уже

распоряжается, как будто он сто лет тут хозяин и самый главный над всеми. Нет, нет, не нравится мне отчим и не подкупит он меня обещанным велосипедом. Мать моя теперь встает в такую же рань вместе с отчимом. Готовит ему завтрак и сухой паёк с собой – харчи, как он говорит. Завернутые в газету бутерброды. И до чего же шумный он человек, этот Георгий Иванович Богушевский, поселившийся в наших стенах на правах мужа моей матери. В шестом часу утра он уже гремит по дому запорожским басом во всё горло; он бы и рад приглушить голос и говорить потише, он и пытается каждый раз побороть свою лужёную трубу, но ничего у него не получается, ему не сладить с бронзой своих голосовых связок. Шепот не в его природе, таким уж его Бог сотворил. Что он так шумит, что так громогласно требует? Георгий Иванович требует от моей матери проворства. В Гатчине уже свистит его поезд, грозя оставить отчима с пустым брюхом. Ровно через двадцать минут, хоть часы проверь, железная десятивагонная гусеница будет здесь. Побегит Георгий Иванович, голодный и злой, с горы на вокзал. В последний вагон успеть заскочить. Ставь, жинка, борщ на стол! Любит отчим первое похлебать на завтрак. А ложка у него деревянная, расписная, под Хохлому. Персональная ложка отчима. Трогать её запрещено. Возмутительно поведение моей матери: она ухаживает за своим Георгием Ивановичем, будто холопка за своим паном, исполняет каждый его каприз, любую прихоть. Что только левая нога его пожелает. А нас с сестрой совсем забросила. Эх, отец, если бы ты был жив, всё тут было бы по-другому и не важничал бы перед нами этот бритоголовый хохол, имеющий манеру подзывать нас к себе пальцем. Не только нас. Увидит на дороге знакомого человека, нужного ему по делу, и сам к нему не идет, а манит того к себе толстым надменным перстом, поросшим сизой волчьей шерстью. Такой гордец.

Эти ранние насильные пробуждения мучили нас с сестрой долгие годы. Не отчим, а бич божий. Кара, наказание за неизвестные нам грехи, Георгий Иванович бестрепетной рукой лишал нас сладкого предрассветного сна. Он начинает бриться в смежной комнате у нас за стеной. Втыкает, точно нож мне в сердце, электробритву "Харьков" в розетку над моим изголовьем. Престарелый ветеран брадобрейного труда взывает, ревет и тарыхтит, будто трактор, ползая по щекам и подбородку отчима, натужно борясь с неукротимо растущей на его лице не по часам, а по минутам, жёсткой, как железо, чашобе. Бритьё –

это эра, нам с сестрой до конца её не дожить. Электробритва надрывно хрипит, дребезжа разболтанным механизмом, вот-вот разлетится на винтики. Смолкла бритва, её сменил лязг рукомоёйника, плеск воды на голую шею и грудь, довольное кряканье и урчанье. Отчим сделал шаг – с грохотом падает ковш, сковорода, ведро. Не отчим, а слон африканский. Мы с сестрой затыкаем пальцами уши, натягиваем на голову одеяло. Дверь в коридоре бухнула. Ушел, наконец, наш громовежец. Тишина в доме.

Возвращается отчим поздно вечером, в темноте, усталый, потный. Тащит на горбу гремящие листы кровельного железа. С завода тащит через весь город да ещё в переполненной рабочей электричке, тридцать километров по шпалам – сюда, в Дудергоф. Нам на новую крышу. Таких листов сто нужно. Ничего, за зиму натаскает.

Весной взялся отчим этим натасканным заводским железом заново покрывать дом. Рабочих рук ему не хватает. Всего две, хоть и хватистых. Помощник Георгию Ивановичу треба. Помощник – я. Железной щёткой скребу железо, очищая от ржавчины. А май. Тополь зелёный. Черёмуха – ах, как пахнет! Это наша, у калитки, большая, шатёр, свесилась на улицу, метёт веником цветов дорогу. Отчим в синей рабочей рубашке и штанах взобрался по лестнице на крышу, бойко стучит молотком, сизообритая его голова светится, как солнце, за ухо заткнута папироса. – Эй, хлопчик, живче роби! Дело стоит! – кричит он мне сверху своим повелительным гетманским голосом. Жаворонок в зените, оглушенный отчимом, дрогнул, вот свалится замертво к нам на двор. Думаю, весь Дудергоф, во всех его концах слышит голос отчима, посвящён во все его хозяйственные заботы и точно знает, что дом Марии Овсянниковой красуется уже в новой железной шляпе.

У Георгия Ивановича горилка на столе – редкий гость. Рюмку в праздник – весь хмель. Трезвая, практическая его голова полна строительных планов. За год он нашу хибару превратит в пряник. Участок обнесёт забором из штакета. Двор забетонирует, чтоб осенью не тонуть в грязи. Колодец свой выроет и мотор поставит – воду качать в дом, на все нужды, хоть залейся. Посадит сад: яблони, вишни, сливы. Урожай сулит, как на его Украине. Плодами нас завалит. Мать моя посветлела, ходит легкой походкой, пополнела, лицо округлилось, щёки зарумянились. Даже головные боли утихли. – Спрячь ты свою чалму! – требует отчим. – Побачить хоть, какие у тебя волосы. Может,

лысая. – В жаркий летний день мать моя, наконец, снимает свой оберегающий голову платок. Гуляет налегке по улице под ручку с отчимом. Волосы у матери цвета темного мёда, тонкие, шелковые. Мать моя такая счастливая, такая молодая.

Они с отчимом теперь что ни вечер – в кино. Георгий Иванович, запаренный, вулканический, с вокзала, после трудового дня на своём заводе и долгого пути наскоро перекусывает, и они торопливо идут, почти бегом, по дороге в гору на восьмичасовой сеанс.

Я остаюсь с сестрой. Мне поручено её опекать и следить, чтобы не плакала. Сестра, нежное и ранимое создание, часто плачет без видимых на то причин. Слезы всегда стоят в её глазах, готовая брызнуть из ресниц запруда. Ночная черная птица махала крыльями над нашим домом, нагоняя на мою сестру Елену непонятную печаль и уныние.

Воскресными вечерами у нас в доме играли в лото. Игроков четверо за круглым столом – отчим, мать моя и соседи Желобовы, весёлая пара. Отчим доставал из полотняного мешочка деревянный бочоночек с красной цифрой и зычно возвещал номер. Карты горели глянцем. Желобов Валентин Игоревич, жизнерадостный, феерический человек, горбун от рождения, несший свое уродстве на спине, как мешок с подарками, искрился юмором, рассыпался шуточками, балагурил, заразительно белозубо смеялся и всячески веселил весь стол.

Этот Валентин Игоревич, мастер-радиотехник, принёс нам в картонной коробке подержанный телевизор КВН, который он сам отремонтировал у себя в мастерской. Ничего он взамен не возьмёт. Что с нас взять? Деньги ему не нужны. Вот если бы жёнами махнуться:

Георгий Иванович ему свою Машу, а он ему свою несмолкающую ни днём, ни ночью пилу. Покрутил ручки, отрегулировал изображение. Приставил к экранчику линзу – увеличительное пузо в бронзовой оправе. Теперь по вечерам все сидим перед этим ящиком. Соседи несут стулья. Фильм, футбол – яблоку не упасть. Вишенке. Отчим шутил: – Хлопчик, живо сюда шапку! По карбованцу с носа за побаченьє. За сеанс на колёса тебе нашибаем. Велосипед, считай, в кармане. Гоночный!

Отчим никому не позволял трогать телевизор. Даже и моя мать – не смела близко подойти к этому сокровищу. Георгий Иванович сам сметал пыль щёткой и обтирал корпус чистой белой тряпочкой.

Фильм фильму рознь. Этот нам с сестрой смотреть никак нельзя. Запрещается – вот и весь компот с косточками. Нос не дорос. Будет шестнадцать – пустят за шлагбаум. А пока – спать. Нас укладывают в постель, гасят свет, плотно закрывают дверь в нашу спальню, приглушают там у себя звук, а сами фыркают да цыкают друг на друга, чтобы потише смеялся. Мы с сестрой знаем: скука. Про любовь. Но нам обидно. Изгой, парии. Встаем с кровати, босые, в ночных рубашках, тихонько открываем дверь, чтоб не скрипнула, и ползком, по-пластунски прокрадываемся за спинами сидящих очарованных зрителей под стол с длинной до пола свисающей скатертью. Осторожно отворачиваем край с кистями бахромы и, сидя на корточках, с любопытством взираем снизу на запретный плод, как два лисенка на зелёный виноград.

Отчим покупал кости – бычьи рёбра с плёнками и кусочками мяса, и по воскресеньям сам варил себе деликатесы на малороссийский манер. Мать моя в таких случаях на кухню нос не совала. Забрав нас, детей, уходила к соседям отсидеться, пока отчим кашеварит с засученными рукавами, в фартуке, в сизом чаду, приготовляя себе любимое блюдо. Ходит Георгий Иванович от плиты к полкам, мурлыча что-то лирическое из украинских песен, то соли подсыпит, то перчика, попробует из ложки, почмокает. Одна беда: не чувствует отчим аромата. Нос зарос внутри полипами. Обоняние не работает. Для повара утрата серьёзная. Печально.

Отчим страдает последствиями тяжелой контузии – подарок войны. Скрежещет страшно зубами во сне и бьется в судорогах иногда с такой силой, что отваливается спинка железной кровати, в которую он ударяет ногами. Будит нас с сестрой посреди ночи.

Мы с сестрой в курсе их ссор и обид. Невольно подслушали.

Мать не хочет от Георгия Ивановича ребёнка. Чтобы нам не было притеснения. С прохладой мать моя отнеслась и к желанию Георгия Ивановича привести сюда, в нашу семью, дочь его Марину. Хмурит мой отчим чёрные брови, молчит третий день. Хозяйство забросил, не хочется ничего ему тут делать, всё чужое, всё не своё. А он-то думал да планировал. Соколом за облака заносился... Спит теперь отдельно, на кушетке.

Георгий Иванович решил привести в порядок могилу моего отца в Красном Селе на горе. Изготовил стальную ограду у себя на заводе, поставил, соединил болтами. Вместе с ним покрасили серебряной

краской. Сделал отчим ещё и скамейку и посадил за могильной оградой сирень. Через три года расцвел пышный куст, поднимая тост в Троицу махровыми гроздьями. Чтоб всегда была тебе чарка в твоём рае, отец!

Отчим любит читать, по большей части – популярно-научную литературу. Георгий Иванович – просвещённый, культурный человек, в ногу с веком. Он знает многое, очень многое. Знание – сила! Свободно читает и на украинском и на польском. Пофилософствовать, побалакать о высших материях – хлебом не корми. Его конёк. А на проспекте Обуховской обороны у деда Николая Васильевича он не нашёл симпатии. Не приглянулся мой отчим никому из Румянцевых. Не понравился им этот гонор, эта заносчивость, этот взор свысока и брезгливый разговор Георгия Ивановича. Богушевский. Что вы хотите. У него и подбородок – будто порог на Днестре. Крутой, каменный.

Живём, а мебели новой не нажить. Да и новых штанов. Отчим вкалывает на своем "Вулкане" от темна до темна, за грошик на махорку. По его выражению. Вычтут алименты – от полочки пшшк. Мать получает на нас с сестрой сиротскую посмертную пенсию. Место медсестры обещали в больнице в Красном Селе. Сдаем комнату жильцам. Доход.

В Дудергофе жил сапожник Пётр безногий. Неправильно его прозвали: не совсем безногий, одна нога у него имелась, могучая нога, обутая в красивый щегольской цыганский сапог. Пётр передвигался стремительно с помощью костыля и палки. Летел на своем костыле-самолёте, резкий, запальчивый, мчался, распахнув крылья флотского бушлата. Посторонись, под ногу ему не попадайся! Старшина с миноносца, боевой моряк, огреет палкой – мало не покажется. Жители, завидев издали Петю-сапожника, этот одноногий вихрь на дороге, тут же сворачивали и жались к забору, стараясь проскользнуть незамеченными. Под пьяными парами или трезв – всё равно встреча с Петром не судила ничего приятного. Лучше миновать. Пётр жил шилом. Весь Дудергоф нес ему свою рваную обувь, чтобы он сотворил из неё чудеса. Грудь широкая, как палуба крейсера, глаза голубые навикате. Один я мог Петра-сапожника ничуть не бояться. Остановясь передо мной и поднимая палку в небо, Пётр пророчески возглашал: "Сын Александра Овсянникова! Большой человек будет! В обиду не дам! Слышите вы, курвы! Полный назад! 3-з-задавле!" И, брызжа бешеной слюной бросался на моих товарищей. Те, приснув от него по улице,

начинали его дразнить с безопасного расстояния. "Безногий, безногий! Не догонишь!" Этот страшный Пётр жил в глухом переулке один с матерью-старушкой. Никогда он не брал платы за починку обуви у моей матери, в память моего отца. Мать моя находила способы его отблагодарить. Бутылочка в похмельную минуту. Починил Пётр мои старые ботинки – пошёл я 1-го сентября 1954 года в школу.

Бывшая финская кирха в конце посёлка у склона последнего дудергофского холма. За обрывом совхозные поля до горизонта. Молельни перестроены и разбиты на классы. Учусь я с грустью. Держусь отчужденно, ни с кем не дружу. Сам по себе, в своей скорлупе. Стены мрачные, в тюрьме я тут. В классе меньше меня нет, чубчик мой едва торчит над партией, и учителю, чтобы меня различить, нужна подзорная труба.

Исполнилось мне в феврале двенадцать. В день моего рождения отчим спросил: есть ли у меня заветная мечта? Что бы я хотел больше всего на свете? "Лодку хочу" отвечал я. "Добре, построю тебе лодку" твердо пообещал отчим. Долго я ждал той лодочки. Так руки отчима до неё и не дошли в хозяйственных заботах. А велосипед он мне всё-таки купил. Славный велосипед. "Орлёнок". Летал я на том "Орлёнке" по всему Дудергофу и окрестностям, не щадя ни себя, ни машину. Не редко возвращался домой с разбитой коленкой.

6. ДРУГ

Мой первый друг, мой друг бесценный!

А.С.Пушкин

Пошёл я погулять зимним вечером. Смотрю – стоит, расставив ноги, крепьш. Ватник опоясан солдатским ремнём с бляхой, шапка кожаная с завёрнутыми назад ушами, скулы-кремени, взгляд твёрдый, дерзкий, косая ухмылочка. Перегородил дорогу.

– Драться хочешь? – спрашивает, постукивая кулаком о кулак в рукавицах с меховыми отворотами.

Вопрос не в бровь. Смуться, не знаю, что и отвечать.

– Струхнул? – говорит незнакомец.

– Я? – удивляюсь я искренне.

– А кто? Не я же! – отвечает медная солдатская бляха. Возмущенный, я соглашаюсь драться, сейчас, незамедлительно. И мы принимаемся вдвоем утапывать снег валенками, готовя площадку для поединка в стороне от дороги.

– Биться до крови или до нокаута, – предупредил мой противник, встав в боксёрскую стойку. – Гонг! Бой! – шагнул и больно ударил меня кулаком по уху.

Разозлясь, в красном тумане, я кинулся врукопашную. Долго тузили друг друга, пыхтя и топчась. То он наступает, то я. Противник мой, боец опытный, хладнокровный, наносит удары методично и точно, держится железно. Я кипячусь, обессилел в вихре бестолковых ударов, взмок, выдохся, хриплю. Сокрушительный прямой в лоб сбил с меня шапку, а сам я мешком валюсь навзничь в снег. На том и конец схватке. Победитель помог подняться. Шапку мою отряхнул.

– Молодец! Хорошо бьёшься! – похвалил он. – Завтра опять приходи. Тут у нас будет ринг. Мне партнёр нужен для тренировки.

Так вот мы с Володей Севрюковым и познакомились.

Семья Севрюковых, родители и два брата, поселились в Дудергофе не так давно. Сельсовет дал им комнату на первом этаже в жактовском доме. В той комнате я теперь частый гость.

Весь Дудергоф знает Бориса Карпова – родного дядю моего друга. Ещё бы его не знать. Мастер бокса, орлиный нос переломлен, коренастый, голова гладиатора на бычьей шее. Посмотреть на Карпова со спины – фигура! Титанический треугольник остриём вниз. Кулак Карпова, гуляя по Дудергофу, свернул не одну скулу. Участковый, старый ворон, смотрит на сломанные Карповым челюсти сквозь пальцы. Борису Карпову, прозванному Карпычем, нет в Дудергофе равных. Вот всё, что я могу сказать. Разве что племянник Карпова, друг мой Севрюков Володя, малая копия своего дяди, со временем, войдя в зрелый возраст, перерастёт и перекарпит его. К восемнадцати годам и перекарпил. Надо заметить, и мать Севрюкова, моего друга, родная сестра Бориса Карпова, Антонина Макаровна – могучего телосложения женщина, лицо крупно-мясистое, подбородок властный, парторг механического завода в Красном Селе, под стать брату.

Вот у этого Карпова мы и берём теперь уроки бокса. Специально, ради племянника, и чтобы самому размяться, организовал Борис Карпов подростковую секцию бокса в Дудергофе. Договорился с директором школы – заниматься по вечерам в школьном спортивном зале. Первые ученики – Володя да я. Нас двоих Карпов и тренирует на толстых матах в просторном зале. Недели не прошло – от желающих отбою нет. Весь зимний день: мечтаем об этом боксёрском вечере: скорей бы стемнело, скорей бы семь – начало занятий. Мать моя не склонна радоваться моему мордобойному увлечению. А отчим

ехидничает: я так гипнотизирую часы на стене, что усы-стрелки в обратную сторону крутиться стали. – Нокаут! – говорит Георгий Иванович. – До Нового года не очухаются. Надо время нести в починку.

Вот, наконец, зовут с улицы. Из дома вон. Повесив себе на шею пару связанных шнурками боксёрских перчаток, точно клешни большого рака, идём гурьбой по дороге. Тополя-великаны, мускулистые атлеты, стоят гордо, искрясь морозом. Держат в толстых суках, подняв к звёздам, домики с горящими окнами, огоньки Дудергофа. Грудь распирает восторг: сильные мы такие! Могучие богатыри! Куда нам силу страшную нашу деть? Взять бы самую высокую в мире гору да и кинуть в чёрное-чёрное ночное небо! Снежный комок – лунный гонг. Друг мой Севрюков идёт впереди, возглавляя отряд, в руках двенадцатикилограммовые гантели, крутит и машет, разминая мускулы.

Спортзал звенит от ударов о подвешенные к потолку кожаные мешки, блестит брусьями сквозь семь радужных потов, которые выжимает из нас безжалостный тренер Карпов. И сквозь всё светится, всё прожигает боевитая косая улыбочка лучшего бойца среди нас – блистает эта бессмертная скуластая севрюковская ухмылочка сквозь годы.

Секция бокса просуществовала только одну зиму. То ли Карпову надоело с нами возиться, то ли директор школы отказался давать зал для занятий под напором учительских и родительских жалоб. Бокс выколачивал из наших голов все науки. Сидим на уроке, котлы на плечах гудят от полученных накануне ударов, совсем не варят, как говорится. Тяжело ученье. Успеваемость дудергофской школы резко упала.

У моего друга Севрюкова новая страсть – оружие. Тут, у дудергофских высот полно его, оружия этого. Ходим, спотыкаемся. Железа в земле! Снаряды, мины, бомбы, пулемётные ленты. Линия фронта гремела у холмов. Грудь горы, крайней к полю, изрыта траншеями. У подножия, говорят, стояла батарея морских орудий. Моряки с "Авроры" там и похоронены. Заразился и я этой оружейной страстью.

В апреле, только земля подсохла, идём за боеприпасами. Сапёрная лопатка. На головах болтаются, налезая на глаза, широкие прострелянные русские каски. Только копни – склад гранат. Патроны

как семечек. Пулемёт нашли, целый, настоящий, со щитком, на колёсиках. В масле, новенький. Катим в Дудергоф по дороге. Увидели совхозники – отобрали. Вот огорчение!

Володя с оружием не расстается, носит с собой всюду. В одном кармане – лимонка, в другом – великолепный немецкий браунинг. Так и за партой на уроке сидит, хмуро, исподлобья стреляя в учителя карими вишенками. Словно говорит: "Попробуй только вызови. Я тебя, дурака, вместе с доской и столом взорву. У меня тут хорошая игрушечка – килограмм тротила." Учителя чуют, что смерть рядом, и дружка моего редко беспокоят. Тронь такого – вся школа с потрохами на воздух взлетит.

Мать моя наткнулась у меня в комнате на коробку с патронами. Испугалась, бледная, зовёт отчима: – Юра, смотри – что он в доме держит!

Отчим, взяв коробку, взвесил на ладони.

– Автоматные, – говорит он. – А вот мы сейчас проверим, какими очередями они будут стрелять: длинными или короткими. – Подойдя к топящейся печке, раскрыл дверцу – кинуть патроны в огонь. Мать моя отчаянно вскрикнула, дверца печки захлопнулась сама собой, и патроны из рук отчима рассыпались по полу.

А Севрюков, дружок мой, скопил у себя дома внушительный арсенал. Шагу не ступить, чтобы не напороться на что-нибудь стреляющее или взрывающееся. Штыки валялись, как щепки. Широкие, тевтонские, свиной колоть. Торчали в стене, вонзённые меткой рукой, служа вешалкой для пальто и шапок. Обезвреженной ручной гранатой друг мой колол на столе орехи. Отец его, Михаил Николаевич, угрюмый дядя, собрал однажды всё натасканное сыном железо в мешок и сбросил с лодки на середине озера.

Встретились на другой день, а под глазом у моего друга фонарь пылает, смотрит орёл мутно-красно сквозь заплывшую щёлочку, семафор в тумане.

– Батя у меня бешеный, – объяснил с гордостью и сыновьим почтением Володя. – Молчит, молчит да и врежет без предупреждения. Через весь коридор кубарем летел. С ним, с буйволом, не повоюешь. Никакой бокс не поможет. Ему бокс – что комариный укус.

Шарит Володя в карманах пиджака – пусто, ни пульки. Всё баты-тиран, Севрюков-старший отобрал. А пиджак тот на Володе

достопримечательный, с отцовского плеча, в синюю полосу, долгополый, по колену моему другу, как халат, и тепло, и не дует. Учебники Володя носит в офицерской планшетке на ремешке через плечо; раздутая планшетка не застёгивается, о бедро при ходьбе бьётся. Вытряхнет на парту. Тетрадь, яблоко, кастет. Самодельный, отлитый из свинца. Завтра же – в поле. Ещё оружия добудем. Только где теперь хранить – вот вопрос. А блиндаж в горе выроем. На склоне, в скрытном месте, в ёлках.

Рыли всю осень до первого снега. Нора невелика, но укромна. Звериное логово. Двум волкам бок о бок греться. Потолок из жердей, подпорками укрепили, пол услали еловыми лапами. Заползали в лаз по-пластунски: Володя впереди, я – за ним. Вход задвигали изнутри деревянным щитом. В смотровую щель озирали окрестность. Просверленный в доске, достаточный для наблюдения глазок. Не пронохала бы какая собака о нашем убежище. Нет, тихо. Густой ельник кругом. Входную нашу заслонку снаружи мы покрасили в зелёный цвет. Маскировка. Лежим на хвойной перине, огарок свечи подмигивает. Ай, да блиндажик! Будем блюсти в великой тайне. Клянемся! Клятву скрепим кровью из порезанной финкой руки, смешав с землёй и съев по комочку. Друг мой глядит на меня с подозрением, грозит голым перстом из порванной перчатки: проболтаюсь – пристрелит предателя из своего браунинга и тут же на склоне горы и зароет. А снаружи ели шумят. У нас раздумье: кем нам быть? Ничего заманчивее летчика-истребителя не светится. Быстрокрылое будущее заглядывает к нам в блиндаж. А старший брат Володи Николай уже учится в рижском лётном училище. Вот и мы по его стопам. Только школьную пыль скорей стряхнуть. Эх, скорей бы! А тогда увидите, как мы в небеса взовьёмся, два храбрых неразлучных соколика...

Мать моя делает мне выволочку: поздно домой являюсь и в земле весь, как крот. Где это, интересно знать, я шатался? "Я, мама, в яму упал." "Глубокая, видно, твоя яма" говорит мать. "Голова и та в глине."

Стучу в дверь Севрюковых.

– Ну! – кричит Володя сердито.

Увидев Антонину Макаровну, титаническую, в грозных очках, замираю на пороге.

– Пригвоздила паренька, – шутит Михаил Николаевич, сидя на корточках и шуруя кочергой в огненном зеве печки. – Входи, не робей.

Не дадим тебя в обиду. Хоть она и парторг, мы её в шкаф закрём, чтоб людей не пугала.

Михаил Николаевич токарь на том же заводе, где и супруга его партийные взносы собирает. Она и дома командир.

На дворе турник. Перекладина – лом, до блеска отполированный руками. Володя отжимается, фиксируя подбородок. Двадцать раз ему – плёвое дело. Мне и до перекладки не достать. Чурбак ташу. А старший брат Николай Севрюков на этом турнике чудеса творит.

Сильный, гибкий, летает, пёрышко, солнцем крутится. Конь. Джигитовка. Вот бы и мне так!

Дудергоф – лесной заповедник. Нагорный разбит по приказу императрицы Елизаветы Петровны в восемнадцатом веке. Одно из любимых мест для гуляния петербуржцев. Дудергоф оброс. Скулы холмов в еловой щетине. Конец декабря. Борис Карпов берёт ружьё, на лыжах бежим в лес. Карпов сам небрит, как гора, леший, ватник, ушанка, безнаказанный браконьер. Володя вслед дяди, по его лыжне, машет руками без палок, не отстаёт. Я – в арьергарде нашего маленького отряда, наступаю Володе на пятки. Лыжи у него короткие, обрезанные, чтоб с гор кататься, у меня – длинные, взрослые, на версту, отчим с завода привёз напрокат из спортсектора. Шагну – лыжа язычком лизнёт Гатчину. Морозный вечер. В синих сумерках на спине Карпова светится, как из кости, лакированный приклад двустволки.

"Эту! – тычет Карпов. – Бок подкачал. Ничего. В угол поставим. – Ружьё к стволу. Ба-бах! Рушится, подкошенная. Снежный обвал. Засыпало меня, маленький уж больно, мальчик – с пальчик, еле отрыли.

Школа чихает, в затылок дует февральская форточка. Учитель немецкого языка Ефим Юрьевич Зуборовский, гуляя в проходе, поднял спорхнувший с парты листок. Читает. Любопытно! Взмахнул над классом, держа в пухлых розовых пальцах, точно белый флаг о сдаче крепости.

– Вас ис дас? – спрашивает строгий поклонник Гёте.

Дас ис – мой стишок. Сам сочинил. Но лучше повешусь на ржавой башне нашей школы-кирхи, чем признаюсь в этом грехе.

Футбольный вихрь сдул с парт на спортплощадку. Мяч на лету сменился шайбой. Этот резиновый кружок Володя теперь постоянно носит в кармане своего долгополого пиджака-халата. Кидает на лёд, и

мы гурьбой гоняем её, чёрную, круглую, кто лыжной падкой, кто – ногами. Хоккей еще режет для нас клюшки в финских лесах, ещё те клюшечки до нас не доехали.

1961 год заглянул к нам в апреле в класс под видом нашего красноносого зауча Ивана Ивановича да как гаркнет;

– Гагарин в космос полетел!

То-то радости! Выскочили во двор, задрав головы, глядим в ясное голубое небо. Где, где он, наш Гагарин пролетает над Земным Шаром? Улыбаясь, машет нам с высоты.

Баян у Володи. Сосед дал. Осваивает по самоучителю. "Там в степи глухой умирал ящик."

Осень. Иду к Володе. Автобус у дома. Синие фуражки лётчиков. Мрачные лётчики, молчат. К дому тянутся жители Дудергофа, теснятся в коридоре. Дверь Севрюковых снята с петель, спины, понурый сизый затылок Михаила Николаевича, Севрюкова-отца. Посередине комнаты на столе – гроб. Лежит в гробу Николай, старший брат Володи, в форме военного летчика, остроскулый, оброс рыжей щетиной, висок залеплен пластырем. – Отлетался наш Колька, – тихо говорит Володя. – Хоть бы в небе, а то... – Сибирь, тайга. Уголовник – спящего, в палатке. Камнем в голову. Позарился на лётчикову получку. Батька трофейный "Вальтер", припрятанный в сарае на чёрный день, перебрал и почистил. В Сибирь собрался – отыскать того гада, отомстить за Кольку, своими руками прикончить. Володя с ним хочет, а он не берёт. Всё равно Володя поедет. Батька старый, не управится один... Шептал мне Володя на ухо у гроба брата. Только не пустила мстителей в Сибирь Антонина Макаровна.

Отдав долг покойному, вышел я во двор. Осиротелый турник. Сталь блестит на солнце. А холмы в багровых сентябрьских тонах, один над другим, выше, выше, тают в небе.

Едем в подшефный колхоз убирать картошку. Фургон орёт в сорок ртов. Сидим густо, в два яруса, на коленях товарищей. Володя, усмехаясь, похлопывает по своей планшетке. Что у него там? Маленькая "Московской". Подбросил, поёт, подсвистывая: "От бутылки вина не болит голова, а болит у того, кто не пьёт ничего." Хор подхватывает, молодыми глотками звеня в полях.

Бурно бежит талая вода с дудергофских холмов, стекая говорливыми потоками в озеро. Весна 1965 года. У нас на носу выпускные экзамены. Чешется у нас с Володей нос. К удаче. Торопим дни. Сдадим последний и – документы в Ригу, в лётное. Вдвоем с

Володей. Он и во сне седлает свои самолёты. Проснётся – и тут они, всегда и везде они, проносятся, серебристая стая, зовут Володю за собой в небо, как раньше звали старшего брата Николая, это призвание, видите ли, и не о чём тут рассуждать, такие уж все они Севрюковы, у них на лбу написано – быть летчиками. С судьбой, знаете, спорь не спорь... А я? Ну что же – я за компанию, из дружбы, чтобы с Володей не разлучаться. Куда он, туда и я. Парный полёт.

Май, томление, зубрить лень. Сидим на холме, на зелёной травке, загораем. Внизу вокзал, змейка, блестя, бежит по рельсам, огибая озеро. Облако купается, лохматое, как голова моего друга.

– Маяковский. Поэма "Хорошо", – Володя отбросил от себя красный том, и он зарылся в траву, над ним трепещут молодые прозрачно-зелёные пёрышки.

Лежит Володя, заложив руки за затылок, смотрит в небо. Глубокое, ясное. А небо на него сверху глядит. Что оно там замышляет, что оно затаило, небо это?

7. КОСАЯ ЛИНИЯ

А грамота ему в наук пошла.

Былина о Василии Буслаеве.

Володя один поступил в лётное училище. Меня медкомиссия подкосила. Зрение срезало. Правый глаз – сокол, а левый – туман. Таблица мутная, расплывается, буквы в нижней строчке чуть брезжат. Окулист честно искал единицу в моём оке, в лупу жмурился. Нет её нигде, шарь не шарь. Помочь нечем. Удар камнем в детстве. Прощайте, самолёты.

Горевать поздно. Поехал на Васильевский остров, на Косую линию – подал документы в морское училище адмирала Макарова, в знаменитую Макаровку. Разлучились: друг в Риге, я – тут, на берегах Невы, топчу скучный гранит.

Попасть в те стены на Косой линии – не простая задача. Море, как и небо, мёдом намазано. Слетелись медалисты со всего Союза. От Москвы до самых до окраин. Конкурс: двадцать молодцов на место. А я куда суюсь? Мои школьные годы – не серебро, не золото. Моя медаль – свинцовая бита. Отливали в банке из-под гуталина, играли на деньги на дне оврага. Залез я на чердак, чтоб домашние не мешали, и прокорпел над учебниками всё чудесное лето. Сбегаю к озеру искупаться – и опять на свою вышку столпника. В августе слез,

бледный, упорный, и поехал сразить первый экзамен. – Победа! – объявил я с порога через две недели. Прошёл и Сциллу и Харибду. По всем пяти экзаменам – высшие баллы. Мать моя заплакала, утирает глаза концом передника. Отчим горилку откупорил. Решили купить мне в награду новый костюм. Я отговорил. Зря тратиться. Серьёзная пробоина в семейном бюджете. Училище теперь и оденет, и накормит, и спать уложит на курсантскую койку.

Зрение моё проявилось, так хирург ущучил. Плоскостопие. У Нептуна ластоногих и без меня пруд пруди. И что я за невезучий такой. К главврачу, молно слёзно: отец мой, герой войны, мечтал, чтобы я моря бороздил. Главврач, суровый морщинистый старик, молча подписал медкарту.

Новобранцам приказ: остричься наголо, иначе не допустят к учёбе. Побегал я в ближайшую парикмахерскую на Васильевском, на Большом проспекте. А ливень – как грянет! Вымок до нитки, парикмахерша, хмурая, глядит на мою голову – с гуся потоп. Благодарит покорно за моё вторжение и лужи на полу, но стричь мою отсырелую шевелюру она наотрез отказывается. Решительно протестует. Пусть прежде мало-мальски просушусь. Взор мой так жалобен, что жница волос, смягчась, сует мне вафельное полотенце. Тру, тру макушку, стараюсь. Через десять минут – с голой тыковкой, лёгкий, свободный, ликую. На улице светло, дождь отшумел. Небо омытое, улыбается, Асфальт блестит. И глобусу на моей тонкой шее, остриженному, обдуваемому ветерком, свежо.

Первый курс до конца сентября послали в город Кириши Ленинградской области – Сланцевый завод строить. Роем котлован. Наука наша с лопат началась. Палатки, дожди, грязь, изжога. Пуд не пуд, а съели мы там соли немало в шах-плове за этот киришский месяц. Сдружились.

На Васильевском осень. 22 линия гуляет под тополями. Руки в клёши, якорь на пузе, морской картуз с бронзовым крабом. Тут флотский экипаж, наше обиталище. Высокий бетонный забор, ворота и К.П.П. Двор-плац – маршировать на строевых занятиях. Жилые корпуса буквой Е. Три факультета: судомеханики, электромеханики и радисты. Не сказал бы, что я обожаю электрические двигатели. Выбрал по расчету: на электромеханическом конкурсе поменьше,

На этаже две роты. Режим ежовый. Жёсткие башмаки-гады, выданные нам, курсантам-первогодкам, гремят в восемь утра, строясь

в две шеренги в тёмном коридоре. Команда: по номерам рассчитайсь! Пофамильная переключка. Возникает перед нами Ружецкий, наш ротный, капитан третьего ранга, каланча, потолок подпирает, вороной козырёк в серебряной капусте, да как гаркнет, лужёная труба:

– Где выправка? Мешки с ватой! Подбородки вверх! Грудь вперёд!

Нагонял страху Ружецкий этот. Багровый, как помидор. Жил он в Кронштадте. Командовал там миноносцем, пока не списали по нездоровью. Теперь – курсантов-макаровцев нянчить, ему, боевому офицеру.

С 22 линии из экипажа или строем колонной по четыре на Косую линию. Там учебный корпус и столовая. Впереди и позади колонны – курсант с красным флажком. В роте меньше меня только мышь, тащусь в хвосте колонны, в последнем ряду с краю. А надо в ногу шагать, попевать за всеми. Жеребцы длинноногие в голове, в передних рядах, как размахаются, как припустят, раздув ноздри. Завтрак их зовёт, чуют камбузные ароматы с Косой линии: жареную треску и пюре. Голодное брюхо бурчит, бунтуя, затянутое ремнём. И, повинувась кишкам, забывшись, бегут бушлаты, стучат копытами, колышутся в сломанном и растянutom строе волны стриженных затылков. В дождь, в снег, в шторм, в любую погоду. А мне какво с моими короткими ножками! В их шаге моих – пять. Не шагаю – распластываюсь в гимнастическом шпагате, разрывая пах. Щиколотки от боли воют, кости трещат, необношенные гады кожу в кровь содрали. – Рота, стой! – кричит у ворот учебного корпуса моё избавление. Через месяц, заметив мои страдания, сжалились. Теперь я – бессменный замыкающий с красным флажком позади колонны. А это – тьфу, одно удовольствие. Рота шагом двухметровым машет, а я рысцой за ней бегу. Физ.разминка.

Ходим в хлопчато-бумажных робах, тоненьких, повседневных, продувных. В городе, в аудиториях – везде. Широкие морские воротники-гюйсы стираем в хлорке – неприличную синюю краску извести, чтоб не как у салаг, чтобы как будто старые, выбеленные годами-бурями. Считается – шик. За этот шик – три наряда на камбуз, чистить картошку. Кары и репрессии не пугают. Полученные на парадный выход черно-суконные флотские брюки вся рота расклёшила за одну ночь. Лихорадка шитья захватила всех, без исключения. Цех портних работал бессонно, не покладая игл. Ах, мировые вышли

клёшки! В коленях – дудочкой, внизу – раструб шире плеч, ботинок не видно. И я оклёшился, а как же. Чем я хуже других. В воскресенье надел, увольнение, смакую: вот дома триумф будет! Мету клёшами снег по Васильевскому, по всем его линиям, метель, буран, запорошил дома на Большом проспекте. Гляжу: ротный наш Ружецкий чернеет сквозь метель – башня в морской шинели в белом кашне, заснеженный, верх фуражки с холмиком. Ружецкий и зимой предпочитал фуражку носить, нарушая устав. А лицо багровое от холода и не только от холода, пальцем меня манит.

Дома в то воскресенье меня так и не дождались. Жирные тарелки полоскал в судомойке. Да не один я пострадал. Всю роту лишили берега на месяц. Приказ Ружецкого: к понедельнику к утренней проверке перешить наши клёши обратно, вернуть изуродованным брюкам первоначальный вид. И опять лихорадочные иглы, теперь уже безрадостно, трудились всю ночь.

Комнату называем кубрик. Нас тут шестеро: Анохин, Мушкетов, Седов, Заиченко, Барановский и я. Со всего Союза, с бору по сосенке. Анохин – из Ивановска, Мушкетов – из Урюпинска, Заиченко – из Новосибирска, Барановский – из Таганрога. Только Седов – ленинградец, не такой, как я – область, а коренной, васильеостровский, дом его тут же – руку протянуть. Двое – с палуб военных кораблей. У Анохина за плечом Северный флот, у Барановского – Черноморский. Оба встанут за час до подъёма: у них гимнастика – играют гирями, накачивая стальные бицепсы.

Седов спит до последней минутки. Натянет наш Серёжа одеяло на свою светлую, крупнолобую голову, только горбатый клюв торчит, и сопит себе в обе дырочки, присвистывая. Растормошат его, вскочит, ошалелый. И так каждый раз.

А Мушкетов Григорий – казачья кровь. Посылки ему приходят регулярно из его Урюпинска Волгоградской области – с восхитительной домашней колбасой, загнутой кругами, как бараньи рога. Дух от неё! Чесночный клич по всем корпусам: Мушкетов посылку с почты принёс, вскрывает свой фанерный ящик! Да что там! По всей 22 линии слюнки текут. Гриша – добряк, никому отказать не мог. Не успеет отодрать крышку – налетят коршуны, в миг распотрошат до крошки. Хорошо – кусок себе выхватит, так и тот со мной пополам делит.

Койка Заиченко у окна всю ночь остаётся аккуратно застеленная

синим шерстяным одеялом. Является под утро, зажигает свет, будит нас и с жаром рассказывает о своих победах. Сев на койку, берёт гитару, бушлат нараспашку, румянец горит пожаром во всю щеку – розовая заря над Енисеем.

На весенних экзаменах провалился Заиченко с треском по всем предметам. Исключили сибиряка из училища.

Ночной наряд: охранять склады-сарай на заднем дворе.

– Глаз не спускать! Все понял? – спросил дежурный по училищу, старшекурсник. Усики, повязка, потрёпанный баркас набекрень.

Я киваю. Приказ ясен, как компас. Ночь на морозе, восемь часиков, шестнадцать морских склянок, в богиночках, в шинельке.

Училище – мрачно-кирпичный замок. Темно в окнах. Трамвай пролязгал за чугунной оградой, заворачивая. Последний. До рассвета...

Жгу щепки в железной печурке на снегу. Рыжее пламя пляшет, весёлая саламандра, радость моя. Лёг на печурку сверху, греет, как-нибудь дотяну до смены... Поросёнка коптят, пахнет палёной шерстью. Кто-то тёмный, в ватнике, с паяльной лампой присел на корточках, печёт мне бок гудящим пламенем...

Сорвав горящую шинель, топтал в снегу. Шуточки с огнём. Носи теперь решето...

Первый курс пролетел. Одна золотая галочка грустила всю зиму на курсантском рукаве. Две теперь, вторую нашли. Экзамены за кормой, позади эти волненья. Конец мая, теплынь. Васильевский зазеленел, сирень цветёт. Крик чайки. Резкий, яркий. Скоро в море. Первое плавание. Плавательская практика у нас на учебном судне. В Канаду, в Монреаль, с заходом в Европу.

Горный институт. Набережная. Иду, отглаженный, летняя форма, мичманка в белом чехле. Вызываю восторги:

– Смотри, какой матросик!

Дома ждёт меня лопата. Моря морями, а огород кому копать? У отчима грыжа. Да и не любитель мой Георгий Иванович землю ковырять. А мне размяться – в пользу. Успею до отплытия...

Невзлюбил меня преподаватель по электротехнике Николай Николаевич Никифоровский. Блуждаю в его науке – ау! Плаваю в тумане. Без руля и без ветрил. Ни бум-бум – мой медный колокол. Пыхтеть мне в его электротехнике по гроб. Мои уникальные способности ставят в тупик. Каким баллом их удостоить? Единица – чересчур высокая для меня оценка. Не соглашусь ли я на ноль? –

вопрошает Никифоровский с кафедры, толстый, холёный – морской змей в адмиральских позументах. Ждёт моего ответа с Камчатки, возвышаясь над аудиторией, упираясь двумя брюзгливыми перстами в стол. Вулкан, чреватый извержением. "Бедный я, бедный! Куда я попал? Выбрал факультет!.." думаю я с тоской.

Кожевенный завод под носом на соседней улице. Дунет ветер с залива – нюхай зловоние. Молочные трубки люминисцентных ламп гудят под потолком, нагоняя дрёму. Назойливый, как стук дятла, деревянный голос долбит с кафедры. Камчатка спит повально, сон скосил курсантские головы на задних рядах. Лбы уткнулись в скрещенные на столе руки. Тут, в учебных стенах, сон особенно могуч. Не поборешься. Рука *еще* что-то строчит в тетради, машинально, записывая читаемую лекцию, но смысл расплылся кляксой, веки слиплись... Утопленник, свинец в ногах растёт, растёт, тянет ко дну, погружаюсь в пучину... Очнусь: что в тетради? Вся страница в каракулях и зигзагах. Пьяный осьминог плясал.

В перерыве идем на двор – погреться на апрельском солнце и покурить. Сидим на ящиках у кирпичной стены. Над нами шумит кухонная вентиляционная труба, кормя камбузными ароматами. На лбу и у того, и у того – красный рубец. Отметина, оставленная настольным сном в аудитории.

Бабошин идёт на руках по парадной лестнице, со ступени на ступень, показывая синие казённые носки и журавлиные лодыжки из-под задравшихся штанин. Бабошин из Ташкента, сын цирка. Навстречу ему поднимается шитая золотом контрадмиральская кокарда замдиректора Лисина. Обут Лисин в щегольские единственные в Ленинграде штиблеты с пряжкой. Узнав ноги начальства, Бабошин испугался и упал. В результате – сломанная рука, в гипсе, в бинтах, красиво, как у раненого героя, подвешенная у груди. Бабошин горд, легко отделался. Всё это, знаете, такие пустяки, о которых и заикаться-то стыдно. Плёвый переломчик. Он, наш Бабоша, живуч, как верблюд в пустыне Каракум. Срастётся кость – прогуляется на руках по парапету моста Лейтенанта Шмидта.

Облюбовали пивбар в Гавани. Шесть кружек в адмиральских бородах пены на мраморе у окна. Пивко свежее жигулёвское. Ядрёное, янтарное. Кореец Дю, потягивая, травит легенды и мифы. А мы слушаем, разинув рты, развесив рыбацкую сеть ушей, словечка не пропустим из его увлекательной брехни, которою он прославился на

всех факультетах. Так заслушались, что забыли начисто приказ командира по режиму капитана второго ранга Лошадёва: "Курсантам строго-настрого запрещается посещать гаванский пивбар." Третий курс, не салаги. Дрейфить как-то не к лицу. Трусам не место на флоте. Истина, известная даже медному крану за стойкой бармена. Тут у нас матросский клуб. В тепле разморило. Дю заливается, в мрачных зрачках по кораблекрушению: в одном "Челюскин", в другом "Чёрный принц". Буль-буль, бдительность... Дверь – бряк. Морозный вихрь по столику. – Лошадь! – в ужасе шепчет кто-то. Перед нами наш лучший друг Лошадёв, морская офицерская шапка с кожаным верхом, смушки по бортам, козырёк.

– Шесть! – посчитал он нас по головам пальцем в чёрной шерстяной перчатке. – Новогодний наряд в полном составе. Встать! За мной!

Покорно исполняя приказ, следуем за кап-два. Только Лычангин, удмурт, отстал, второпях глотая недопитое пиво, жадный, захлёбываясь. У Лычангина строение челюстей странное: верхние зубы заходят за нижние. Что хочет сказать косноязычный Лычангин не смогла бы понять и его родная мать. Нам-то невелика беда. А преподаватели становились в тупик. Зато письменные работы Лычангина чётким бисерным почерком недвусмысленно говорили о прочных знаниях. Печальна судьба этого Лычангина. По окончании училища взяли его служить на север, на подводный флот. Смыло нашего Лычангина, вахтенного офицера, с лодки, шедшей в надводном положении бурной ночью в Баренцевом море. Захлебнулся бедный Лычангин солёной морской водицей.

Я знаменит. Привёз я сумку с Канарских островов. Вместительная сумочка, сам мог бы спрятаться со всеми удобствами и ещё полфакультета приютить. Ремень, клёпка, молнии. Сбоку аршинными буквами: Лас Пальмас. С этой сумой я ходил на лекции. Поставив её перед собой на стол, я мог делать, что мне заблагорассудится – хоть спать, хоть читать художественную литературу, уверенный, что за этим бруствером я незрим для зоркого преподавательского ока. Теперь у меня и кличка такая: – Эй, Лас Пальмас! – кричат со всех сторон...

На пятом курсе все у нас переженились. Женатых не брали на военную службу. Если ленинградку окрутил – оставляли при Балтийском пароходстве. Первая ласточка – Седов. Конькобежец, голосистый запевала в строю. Все мы, его товарищи, сидим у Седова

за свадебным столом. Тосты молодоженам, "горько!" Баландин в тосте запутался; начал за здоровье новобрачных, а кончил за упокой тех, кто утонул в морских хлябях. Не соскучишься с нашим Эдуардом. А Митя Соркин, придя с большим опозданием, преподнес свадебный подарок – рака на блюде!

Начало июня 1970 года, и мы, выпускники, сидим уже за другим столом – многоголосым, стоголовым – во всю длину актового зала. Тут весь наш факультет, преподаватели. И Ружецкий наш тут, гордый – вырастил альбатросов, выше всех он тут на голову, на погоне теперь две звезды – капитан второго ранга. У нас тоже новость: лейтенантские звёздочки. На груди – синий ромбик с золотым кораблём. Я отчего-то грущу. Трогаю пальцем этот почётный знак.

Я оставлен в Ленинграде. У меня направление в экспедиционный отряд спасательных судов.

8. ТРАУРНЫЙ МАРШ

*Не с кем мне думу думати,
Не с кем мне слово молвити:
Нет у меня милова ладушки.
Русские причитания.*

Озираюсь в своем Дудергофе, точно в пустыне. Многих уж тут нет в живых, кого я знал крепкими и сильными людьми. Ни одноногого Петра-сапожника, ни мастера по телевизорам весёлого маленького горбуна Валентина Игоревича Жолобова, друга нашей семьи много лет. И Борис Карпов, наш учитель бокса, давно в земле. Последний раз, будучи на побывке после рейса, видел я Карпова у винного магазина. Опух, небрит, в жёлтом женском пальто. Так и не узнал меня. Попросил рубль.

Севрюков Володя, мой славный друг, орёл-лётчик, уже капитан, заходил ко мне с шампанским, а меня дома нет. Какая досада. А через год погиб мой Володя в египетском небе. Упал, подбитый, в Суэцкий канал. Махнул мне с высоты серебряным своим крылом.

И на проспекте Обуховской обороны смерть скосила мужчин. Дед мой Николай Васильевич Румянцев. В семьдесят три года. Возвращался из гостей, брёл потихоньку. Сердце. Присел на скамейку перед домом и – почил. Не обременил долгой болезнью. Лёгкий нрав, лёгкий конец. Второго такого отца во всем мире нет и не будет.

Говорит моя мать. Горюет, сникла. Нет ей утешения и в нас, детях. Одна теперь. Папа её пришёл к ней во сне и строго попенял: "Что это ты, дочь, все плачешь по мне. Не надо. Мне сейчас хорошо. А тебе ещё рано. Тебе ещё жить..."

И дядя мой Виктор, статный курчавый красавец, деда догонять. Оставил вдову и двух маленьких детей. Молодой, только-только сороколетие отпраздновали. А через месяц за тем же столом собрались по другому поводу. Врождённый порок сердца.

Отчим мой Георгий Иванович Богушевский в последние годы сильно сдал. Ходил зимой в старой потресканной кожанке на тоненькой подкладке. От холода какая защита. Все гроши на вино. Привёз я ему из плавания тёплое нейлоновое пальто, стёганое, с поясом, с меховым воротником. День гулял мой Георгий Иванович в этом диковинном заграничном жупане, важничая и гордясь в посёлке. Вот какой подарок пасынок ему отвалил. А вечером, смотрю – опять в своём дермантине. Едва на ногах держится. Пропил.

Однажды, крепко под хмельком, нагрузь в привокзальном буфете, по дороге домой, зимним вечером, отчим мой упал в канаву и пролежал на снегу часа три. Протрезвев, замёрзший, дрожа, едва доплёлся до дома и слёг. Воспаление обоих лёгких. Вином ослабленных. Скоротечная горячка. Сгорел в три дня, не приходя в сознание. В бреду повторял мое имя, звал и просил у меня прощения за то, что он так и не построил когда-то обещанную мне в детстве лодку.

Митрич, наш сосед, и тот... Пошёл один в лес за грибами, нож да корзина. И пропал. Подняли по тревоге солдат из лагеря, прочесали весь лес от Дудергофа до Красного Села и дальше, за Скачки. Нет Митрича, и метки никакой. Только весной, в марте, наткнулись. Сидит Митрич, прислонясь к сосне...

Вспомнилось вот... Грустно это всё... Моряк, с печки бряк. А куда? Тюремщиком в Кресты, как дед мой Румянцев Николай Васильевич? Царствие ему небесное.

Год грибной, ягодный. Август тысяча девятьсот семьдесят седьмого. Вот поеду-ка я в Алексеевку. Давно пора. Десять лет зовут нас, дудергофских, туда тёплые письма, лишённые знаков препинания и не в ладах с грамматикой. Какие мои сборы. Завтра же куплю билет на автобусном вокзале за Ново-Каменным мостом у Обводного канала.

Поеду, поеду, на львовском автобусике, покачу по шоссе. Распахнутся псковские леса и вот она – родина моей матери.

Бывал я там часто, начиная с трёхлетнего возраста. Родители возили, потом, повзрослев, сам, один. Гостили по месяцу у тетушки Александры Федоровны и супруга её Петра Степановича Степанова. Пётр Степанович с лошадей и телегой встречал нас у автобусной остановки на краю шоссе. Первое, что я видел – подбородок его, искалеченный войной, раздробленный осколком снаряда, скошенный и багровый. Пётр Степанович машет нам хлыстиком и кричит петушиной фистулой: – Эй, питерцы! Транспорт подан? – В телеге стог, никак не меньше, чтоб нам не намять бока на многогорбой лесной дороге. Лютики, колокольчики, духмянное сенцо. Как говорит Пётр Степанович. Устраиваемся с удобствами. Отец, мать, я – в середине. Пётр Степанович пододвигает угощение – ворох зелёного гороха. – Подкрепись маненько, – говорит он. Горох сладок, щиплю по стручечку. До Алексеевки двенадцать вёрст. Пётр Степанович дёргает вожжи, визгливо понукая лошадь. Наш сиволивый зверь легко влечёт телегу с тремя пассажирами и возчиком. Из-под приподнятого хвоста сыпятся колобахи. Едем шибко, дорога под горку. У борта бежит безбрежное ржаное поле, что-то лопочет, хватаясь тонкими руками колосьев за спицы колёс. У въезда в бор дорога круто поднимает песчаное плечо, удивляясь: что такое? – Тп-рр-у-у! – тягуче брюзжа, осаживает лошадь Пётр Степанович. Спрыгнув, идёт сбоку, вожжи напряжены. В бору сухо. Солнце играет в прятки – то в левый глаз ударит из-за корабельной сосны, то в правый. Шишка на серебряном мху. – Гриб! – кричу я с восторгом, валясь из телеги. – Это не гриб, это мухомор, – не поворачивая своего подбородка, поправляет Пётр Степанович. Бронзово-чешуйчатые башни расступаются.

Опять светло, поля. Ячмень, овёс, рожь. Голубенькие васильки мелькают по меже и среди колосьев.

Вся Алексеевка – десять домов на бугре. Дом Петра Степановича и Александры Фёдоровны выделяется, самый большой, новый, под шиферной крышей, с моста через речку кидается в глаза. Пробренчали по брёвнышкам. Лошадь встала. С пригорка бежит к нам цветной платок, маша руками-крыльями, причитая. Маленькая, босоногая, в сарафане. Александра Фёдоровна.

– Ах, миленькие мои! Приехали! Насилу дождалась!

Челомкались, как выражалась Александра Фёдоровна, звонко, в губы. Шли по шелковистой мураве, разгоняя гусей и кур.

Пётр Степанович – животновод на молочной ферме. Коровы и

доярки приветствуют его мычаньем и радостными вскриками. Первым делом Пётр Степанович ведёт нас в амбар и взвешивает каждого из нас поочередно на платформе грузовых весов. Надо же определить: сколько мы прибавим в весе за то время, что мы у него погостим, живя на его щедрых хлебах. А как же! Святое дело! Прибыли заморышами, глядеть противно, а прощаться будем к концу месяца – две заплывших жиром свиньи и маленький пудовый поросёночек в довесок. А то, что же это за деревенский отдых. Зачем было к нему и приезжать. Мотаться за сто вёрст тудыть-сюдыть.

Над жердями изгороди блестят сердцевидные листья сирени. У калитки все мы, как по команде, оглядываемся. Солнце садится за ферму – доить коровушек Петра Степановича. Рогатое молоко с лугов мычит, неся у себя между ног полные бочки. Страшно стреляет кнут пастуха, загоня стадо в ворота.

Пётр Степанович, не заходя в дом, вёл моего отца в летнюю кухонку на дворе. Там у него булькал десятиведёрный бидон с брагой. Пётр Степанович специально не трогал брагу до приезда гостей, доводя её до кондиции, как он говорил, дожидаясь моего отца, чтобы вместе с ним заняться приятным процессом перегонки, получая двойное удовольствие от проб самогона-первача и от компании.

– Бесстыжий! – корила Александра Фёдоровна. – Люди с дороги устали, а ему бражка улыбается. Часа не прожить без своей милой.

Но Пётр Степанович, не слушая, тащил моего отца за рукав к бидону, и они долго колдовали около этого могучего богатыря в помятых латах, откидывали крышку, черпали ковшиком, подносили к вытянутым губам, цокали языком и облизывались. Пётр Степанович что-то оживлённо рассказывал моему отцу, пунцовый его подбородок, изуродованный ранением, масляно лоснился.

Дом Петра Степановича и Александры Фёдоровны просторный. Сени, кухня с русской печью, спальная комната. В этой большой светлой комнате с окнами на речку и луг – с западной стороны, на яблоневый сад – с южной, стояли у стен четыре широкие деревянные кровати с узорными спинками – изделия самого Петра Степановича. Подушки-гуся в изголовья вот-вот загогочут, встав на алые лапы, и больно ущипнут меня за шею. На этих кроватях все и спали в одной комнате – и хозяева и гости. Каждое такое ложе вмещало двух очень толстых людей и ещё маленького человечка между ними. Пол в ковриках, таких ярких, что и ступать страшно. Горят, как огонь. Цветы, звери. Работа Александры Фёдоровны. Зимние вечера длинные.

Ткать, не спать. Руки заняты, и душа тешится. Безделицы, а глазонькам радостно.

Вместо пальцев у Александры Фёдоровны на руках кочерыжки. Ревматизм скрючил. Побарахталась в корытах с холодной водой.

А за её ковриками из Пскова приезжают! Летом Александре Фёдоровне, дорогие мои гостюшки, не до пустяков. Мечется, угорелая, от зорьки до зорьки, угольком утренней вечернюю зажигая. Горшки, вёдра, ушата, корыта, хлев, печь, скотинка своя, коровка, свинки, курочки, огородец, картошка, капуста, огурчики да за грибочками в лес сбегать – такая карусель с марта по ноябрь. Лоб рукавом утереть некогда.

На стенах бровастые крепкоскулые матросы под стёклами. Грудь – полосатая бочка, бескозырка – чайка на валуне, лихой чуб бурлит – кручёная пена. Северный флот. Тихоокеанский. Сыновья Пётра Степановича и Александры Фёдоровны. Три сына. Толенька, Коленька и Феденька.

В красном углу мать божья с младенцем, курчавым и чёрным, как негритьёнок.

Вечерний потолок – рай мух. Жу-жу, лапками моются, перелетают с места на место, с моего носа на нос Петра Степановича. На такой груше есть где посидеть. Достали картишки – в дурачка перекинуться.

Лампочка жмурится, свесясь на шнуре. От мотыльков и ос одурела.

Рано утром за окном звон. Пётр Степанович стальную шпору косе точит. Оседлают они с моим отцом лужок – сенокосная кавалерия.

Мрачный еловый лес тянется к Алексеевке с севера, волоча колючий рукав по снегозащитной полосе через поля яровой пшеницы. На востоке – светлые берёзовые рощи – девичий хоровод в платьях в горошек. Розовые волны цветущего медоносного люцерна.

Мать моя вышивает на пяльцах. Просит: сбегай в поле, принеси для образца василёк. Бегу. Спину печёт. Поле трубит в медные трубы. Усатое войско встаёт передо мной, плотным строем, плечом к плечу. Солдаты как на подбор, суровые, гордые; гренадерские колосья вдвое выше меня ростом. Василёк – их боевой орден. Мать моя довольна, этюд с природы, изучает зубчики. Перепрыгнут к ней на пяльцы.

Деревенская улица, топоча сапогами и выдёргивая из плетней колья, налакавшись браги, страшная, багровая, бежит на нас. Мать, схватив меня на руки, спряталась со мной под мостом. Над нами, гремя, прокатился разгулявшийся Петров день.

Дом, где мать моя родилась, не уцелел. Война дотла сожгла Алексеевку. Тут вот он и стоял, через дорогу, напротив дома Петра Степановича. А теперь пустое место, скот пасётся.

Идём в соседнее село Жабицы за семь километров на какой-то праздник. Пешком. Лошадь занята, молоко повезла. Мне три года, ходок я хилый. Сын Петра Степановича и Александры Фёдоровны Николай несёт меня в корзине, повесив на ремнях себе на спину. Трясся, трясся я в той корзине да и уснул.

Этот Николай любил на балалайке брэнчать и частушки петь, не очень-то пристойные, забористые. Плотник, в отца. Дома рубил, играя топориком.

Мать часто вспоминает свою алексеевскую жизнь в том родном её доме, сгоревшем в войну. Вот кое-что из её рассказов.

Собрался дед мой Румянцев, папа её, в Красные Струги. Спрашивает мою мать: "Какой тебе, дочь, привезти подарок?" "Мячик привези" попросила она. И пока дед был в отлучке, мать моя всё мечтала об этом мячике. Вставала и ложилась с этой мечтой. Вот вернулся её папа, а руки пустые. Где же мячик? "Прости, дочь" говорит. "Закрутился, завертелся. Забыл начисто я про твой мячик." Мать моя в слёзы. Как это забыл! Горе! Без мячика она и часа жить не может. Остаётся только в речке утопиться...

Долго собирались мы в Алексеевку. Пётр Степанович сам приехал к нам в октябре, денька три погостил. Привёз гостинцы: ведёрко брусники, кадку солёных грибов, сала кусок, завёрнутый в полотно. Свежее. Свиныю заколол.

– Что ты всё книги да книги. Брось ты их в печь? – говорит мне Пётр Степанович. – От книг только вред один. Оттого ты и худоба такая. Весь жир съедают.

Расстались. Опять – на годы. То да сё. Дела не пускают, вдруг письмо: "Нет больше нашего Петра Степановича. Похоронили..." Застарелый диабет.

В годовщину его смерти в начале февраля поехал я, наконец, в Алексеевку, один, провести там отпуск. С автобуса от шоссе попутка подбросила до села Жабинцы. А к Алексеевке едва пробился через непролазные сугробы, проваливаясь то по колено, то по пояс. Замело все дороги, никто в нашу Алексеевку не ходит. Живут зимой три старухи в двух домах.

Стучу. Александра Фёдоровна увидела меня и заплакала. Высогла, щепка, маленькая, сморщенная, нос красный, картошкой.

Выпили мы с ней по стопочке привезённой мной «старки» за Петра Степановича. Да упокоит Бог его душу. Сходили и на могилку к нему. Деревенское кладбище на бугре в соснах посреди заснеженных полей. А метель. Сосны шумят, качается над нами чёрная траурная хвоя, сыпется снег. Могильные оградки, кресты, брэнчат листья железных венков. У Александры Фёдоровны слёзы льются, льются, неистощимые, замерзая на дряблых щеках. Тут же, рядом и могила её сестры, а моей родной бабушки, умершей такой молодой, тридцатидвухлетней, Анны Фёдоровны.

И весь февраль-месяц, что я там был, я каждодневно с участием и печалью слушал горестные рассказы и жалобы. Раненько ушёл Пётр Степанович, поторопился сокол ясный Петенька, пожил бы ещё годиков пять на свете. И всхлипы, и бессонные вздохи по ночам, ворочанье на лежанке русской печи за ситцевой занавеской, рыдания, рыдания...

Утром я вышел на лыжах размяться и обнаружил вокруг дома следы очень похожие на медвежьи.

Стопил баньку. И её Пётр Степанович сам строил, своими руками. На берегу речки. Летом выйдешь за порог и – бух в омут. Лежал на полке, распаренный, разморенный, и глядел в оконце с трещинкой: метель в поле гуляет от леса до леса.

По вечерам читал вслух привезённую о собой "Золотую ветвь" Фрезера. Александра Фёдоровна оживлялась, забывая о своём горе, вскликивала:

– Ах, батюшки! Всё правда! Так и есть. И у нас на деревне Кострому жгли.

Вовремя я приехал к ней, родненький. Говорит Александра Фёдоровна. Теперь легче. Март в окошко стучится, день светлей. Остался бы я ещё хоть до понедельника. Нет, не могу, отпуск кончается, надо в Питер.

Дни с Л.

1. НАЧАЛА И КОНЦЫ

Утро. Сел с остриём, начинённым чернилами, за тетрадь. Нарастание непредсказуемого, тени снов, брошенные на страницу. Проза от первого лица, текущие моменты, состояние пишущего, учащается ли пульс? То, как я не написал книги. Призрачные попытки книг написать сами себя. Заглавие давно лелеемой прозы, которую так и не осуществляю. Не надо грустить, не надо. Чернильная птица, взлетающая с поля бумаги. Мысли мешают. Мешает сознание: что живу... Тело моё странное. Лицо в зеркале. Моё ли? Не знаю... Проносится рой мыслей. Ничего им не нужно. Ни слова, ни звука, ни цвета. Что крутится в уме? Отражения отражений? Как внутри зеркального шара? Я пишу книгу, или книга пишет меня? Облака летят навстречу друг другу, титанические тела сталкиваются, сминаются. Что происходит? Может быть, я выбрал неверный метод? Чёрная, душная проза. Рука в сухой грозе. Потемнело, как ночь. Тихо! Деревья закачались, зашумели. Что-то, раздирая слух, треснуло, грандиозное, как небосвод. У самых глаз переломилась синестальная палка. Комната, предметы – туманное, смазанное. Кричу – никто не отвечает. Мать, сестра – никого. Сам я себя не слышу – только трепещет в зеркале призрак рта. Что же это такое? Как же теперь? Если я есть, то почему это чувство – что меня нет? Может – сон? Как же мне тогда проснуться? Вспыхивающее, полное движения окно. Видно, что повесть пишется в лихорадке, горячо, вдохновенно, в грозных росчерках, истерзанные, исполосованные листы, свиваясь, выскальзывают из-под локтя и уползают в метущийся сумрак сада. Доповествую ли я это, что-то повествующее? Кап кап. Дождик кропает свои брызжущие записки. Тополя пахучи, изумрудно вздрагивают овалы. Мысли светлеют. Открываю окно. Влажно. Очертания. Число? День? Зеркало падает. Ничего нет. Только время. Но и его нет. Что же тут продолжается? Круги? Перевернуть день? Затянувшийся монолог, нескончаемая повесть. Пора кончать – не кончится. Тонкий негранёный стакан, шафранно-рубиновый, с солнцем.

Предложил перейти на ты. Вино. Брала губами снежок из горстей друг у друга. В рюмочной – никого. Продавщица. Выпили по 150.

Бутерброды с килькой. Четвертый час. Мойка в снегопаде. Лиловый Исакий. Побежал по ступеням вниз, в метро, сняв шапку и стряхивая снег. Л. вверху, стройная, в синем плаще с капюшоном, махнула рукой. Телефон: Ах, значит, любишь! А я тебя – нет... Князь-Владимирский собор. Трамвай тянулся. День седой, пасмурный. Обошли два раза. Ринальди, восьмиконечные звёзды, тусклозелёные кресты. Замерзли, поехали на Невский. В Гостином купили карниз для штор. Пили водку. Часы: тик-так тик-так. А за шторой – серебряный глаз! Циклоп! Лунная ночь. Обои в полоску. Зеркало. Разобранная постель. Спиной ко мне, синее одеяло, рыжеватый ёжик. Свитер, кофта, юбка, лифчик, свисающий чёрный чулок. Вьючное животное – стул. Нимфа, голубое тело, венки, усмехается. Кандинский в Эрмитаже. Метель, метель. Лежал, смотрел на тускло отсвечивающий в темноте шкаф, полки с книгами. Почему она вчера перед сном взяла с полки 7-й том Пушкина? Брился. Разбилось зеркало. Что-то у меня всё валится из рук. Купили лампочек и моющее средство для ванн. Шли по Садовой, по Невскому, по ул. Гоголя. В мороженице шампанское, пузырьки. Гуляли по ночному асфальту. Ветер. Лёд блестит. И тень ходит с нами. Смесь электричества и тьмы. Молчания и шума. Я из Публичной библиотеки, делает гимнастику на коврике. Тело розовое, родинки. Возвращался с балкона и ещё раз увидел этот зимний пейзаж, такой сумрачный, отражённый в глубине широкого зеркала, и себя на фоне заснеженных сосен. Ощущение смутного и нереального. Когда мы спустились с холма, горели фонари, улица уводила в смутно освещённую неизвестность, и два ряда зимневетвистых великанов держали над землёй домики с огоньками. Пришла от зубного врача, стонет. Говорю: вот уж никогда не пойду зубы лечить. Сам верёвочкой вырву. Она оживилась: лишь бы у тебя тот зуб был крепкий. Это у Боккаччо – сравнение с зубом. Вечером поехала постригаться к знакомой парикмахерше, куда-то в тмурокань, на Свердловскую набережную. Жди! – сверкнула глазами. – Вернусь – ахнешь... Лёг на кровать, читал книгу. Прошло часа четыре. Начал беспокоиться. Наконец, звонок. Открываю. Л. с несчастным лицом. Губы дрожат. Что с тобой? – спрашиваю. Смотрит жалобно, снимает шапку. Оранжевая голова! Как мандарин! – Покра-асили... – Плачет. Выйдя из метро, оглядываюсь: Витебский вокзал. Часы на башне, чёрная игла, призрачно. Ветренный вечер. Деревья без листика на зловещей заре. Фонари, трамваи. Сколько людей! Меня

волнует сиреневая судьба заката в провале между двумя зданиями. Оттуда несётся на меня, вытянув лапы, мрачный дракон. Петр. Сенатская площадь. Узор решётки, снег. Сквозное, пустынное. Слякотно. Невский. Все бегут. Куда? Никого нам не найти. Звёздное небо, нетёплое. Земля – сдёрнули атмосферу. Зажёг спичку – искорка в космосе. Морозное сияние. Некто летел через необозримый космос, а таинственный голос твердил: то ли – остановись, то ли – проснись, то ли – родись... Может быть, это был я?..

Снег хрустит пальцами. Жилка молнии, трамвай заворачивает. Весь день унылое удовольствие собственного равнодушия. Недели опадают семёркой треф. Светлеет ли тьма оттого, что смотрят? Снег в рогах троллейбуса. Витебский вокзал, циферблат в совах, время. В киоске окружающей яблочек. Устал: глаза, глаза... Напился до бессознательности, потерял Матисса. Скука жить по календарю: дни, недели, годы... Если бы жить по вертикали! Саломея с мёртвой головой. Альбом. Чай с лимоном. Две вороны. Крылья поскрипывают. Ночь, почти. Я в кресле. Косой снег. Ночью – ночь. Что же ещё? Спим... Мария Афанасьевна печёт пирог с капустой. Праздник. Л. заплакала: вот ещё один день. В темноте, в постели. Купил томик Менандра в Старой книге на Васильевском. Мандарины. Новый год. Утро сумрачное. Качаются сучья. – И кто придумал так рано вставать! – в ночной рубашке, заспанная. – Беденькая, – сочувствую я. Допиваю чай и надеваю пальто. А на улице светло, воздух, веточки берёз с рожками. Вторая неделя марта. – Ну, хорошо, куда мы пойдём? – Канал Грибоедова, с крыш капает. Показала дом, где когда-то жила. – Ах, как давно всё это было! Трамваи будили... – Никольский собор. День преподобного Иоанна Лествичника. Икона Богоматери. Свечки потрескивают. В магазине купили две палки колбасного сыра. В плотной коричневой обёртке, как поросята. Держал за хвостики. У площади Восстания: – Зайдём во фруктовый... – Над зданием метро – вечерний зеленоватый шар. Первые минуты. В уме вьются обрывки... Несла стремительная река, и я боролся, хватался за стебельки, ломающиеся в руках. Но река отрывала меня от берега и несла дальше в брызгах пены. И я захлёбывался... лицом вниз, ртом в подушку. Чуть не захлебнулся. Сижу. Грустно. Чёрная брюхатая кошка пересекает двор. В капелле концерт для флейты Моцарта. В тёплой мартовской темноте вернулись домой. Ломоносов. Апрель, парк, апельсин. Берёзы серебряные и сиреневые. Сидим на скамейке, щуримся, пальцы

липкие. Лодки, лошадки – не крутятся. В голубом небе поёт столб. Итальянское. Стрельна. Сидим на полузасыпанном бревне. Шум волн. Голоса чаек. Нашли удивительную деревяшку, обточенную водой. Совсем, как рыбка. Кружок от сучка – глаз. Гатчина. Тощий позеленелый император в треуголке. Озеро, утки. Пили вино из кружки. Красное, кислое. Лодки кружились. В голове хмель. Болтали о любви. Обрато в электричке. Голова у меня на плече. Спала. Мою окно, май. В раскрытое окно пахнуло черёмухой. Спит в соседней комнате. Солнечно, ветерок. Ворота в Новую Голландию. Созерцаем арку. А там что? Мойка ремонтируется, груды гранита. Здание, закоптелые стёкла, бутузы с гроздьями пыльного винограда. Л. в красном платье. Тепло, облака. День душный. На Мойке пух тополей – облаками. За столом, бледная, вороха бумаг, папки. Июнь. Конноборческий Аничков мост. Июль. Троллейбус разогнался, несётся, ветер. – Тебе бы вон ту женщину, – говорит Л., – Вон она какая молодая, красивая. – Смотрю: и правда. В прогулочном катере, кричу ей: здесь жил Державин... Брызги освежают щёку. Фонтанка. Солнечный свет. Всё это ещё длится. Махровое полотенце на плече, иду в ванную. Белизна кафеля, душ шуршит. Дождь рассыпается по груди, по животу. Сосны, дача. Дни текут в одну сторону. Нет встреч. Чайки на озере, крылатая метель. Что случилось? Веранда. Заря цветными полосками. Дрожат сердцевидные листья сирени. Л. полежала со мной и ушла. Один. Дорожка солнца. Я уплыл далеко. Л. в сарафане, плечи голые, в блеске, на мостках, смотрела, приложив ладонь. Подол бился о ноги. Обедали: салат с зелёным луком в подсолнечном масле, макароны, клюквенный кисель. Отдыхал в шезлонге, в тени шиповника. Читал Платона. Л. ходила в купальнике. Малина в саду. Крыжовник поспеваает, и вишни. Ужинаем на веранде. Л., лицо, руки, плечи – в кружевах лучей. Купили масла, колбасы и два кочанчика капусты. Я говорил: не пушу купаться одну – тебя водяной утащит. Тогда я тоже брошусь и утону. А она: утонешь ты, как же! Ты сядешь на берегу и сожрёшь всю колбасу. Ветер – порывами. Мотыльки. Луна. Стояла у калитки, в белой шали на голове. Странное, новое у неё лицо. – Слушай! – подняла палец и стала отсчитывать: раз два три... десять... двадцать... сорок... – А кукушка всё бросала и бросала нам из тёмного бора за дорогой, заволакиваемой туманом, своё звучное и щедрое – ку-ку, ку-ку. – Ох, сто лет жить бу-дем! –

смотрела на меня широкими испуганными зрачками. Полночь, довольные друг другом, сидим по-турецки. Гроздь винограда. Спать невозможно. Душно. Тело в поту. Комар пищит. – Только не говори, что ты спишь. – Я не говорю. Я молчу. – Комарик тоненько пел в темноте. Я лежал, под головой высокая подушка. Сажу на холме. Небо! Воздух – великан с полной чашей. Золотое равновесие. Полдень. Взойду ли на небо: Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря: и там Ты. Я испытал все учения – и нет ни одного из них, достойного того, чтобы я принял его. Видя ничтожество всех учений, не предпочитаю ни одного из них, взыскав истину, я выбрал внутренний мир. За каждой вещью, которая манит к обладанию ею, притаился Мара. Кто смотрит на мир, как смотрят на пузырь, как смотрят на мираж, того не видит царь смерти. Никогда капля воды не удержится на листке лотоса; никогда мудрец не прилепится ни к чему из того, что видимо, что слышимо, и что осязаемо... Ничто, идущее извне, не радует и не огорчает его. Я покинул всё и обрел освобождение через разрушение желаний. Самостоятельно овладевший знанием, кого бы я мог назвать учителем своим? Нет у меня учителя, нет равного мне в мире людей, ни в областях богов. Я – единственный просветлённый. Одни только люди, а кругом них молчание, – вот земля! Жизнь моя была угрюмая и до одичалости одинокая. Моя квартира была моя скорлупа, мой футляр, в котором я прятался от всего человечества. Ну, что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживётся ли подобное существо на земле или нет? Или нет. Не читается. Жёлтые лоскутки на асфальте. Сентябрь. Где же было лето? Разве я знаю: что я? Осень, холодок утра. Вот и всё. Осень знает своё. Без зонта не выйдешь из дома. В промежутках дождей мелькнёт лицо, волнуемое безбожно, плащ синий, тревожные глаза. Окно запотело, и зыбко видятся жёлтые листики. Астры в вазе. Дождь. Мария Афанасьевна на кухне моет посуду. Л. в ванной – стирает. Я в кресле, читаю Гончарова: "Обыкновенная история". Сыро. Ветка. Булавочный дождик. Я вышел. Ярко-лимонные окна и взвизги женского смеха. Я стоял, подняв лицо перед тополем. Он молчал. Листья беспрестанно покидали его сучья и рушились на землю. Влажные листья на чёрной мрачной земле. В тумане человек. Забеременела. Хочет оставить. А я?.. Тучи, бледная звёздочка. Читал

Франса – "Трагедия человека". Провожал в больницу. Черно, холодно, сырость. В субботу утром вернулась. Аборт. Экран разрывается, и в дыру высовывается, прицельно вода дулом, танковый ствол. Фильм. Мир пересох, распадается на куски. Влажные деревья. Кем бы он был, сын или дочь – наш несбывшийся? Утром завожу семейные часы в золотом ободке, население наше редет. Не слышно Марии Афанасьевны, не слышно харканья и сморканья Константина Фёдоровича. Лена, дочь Л. от первого брака, вышла замуж, живёт в другом месте. Теперь нас трое – Лидия Андреевна, Л. и я.

2. ЗАНАВЕСКИ

Вздуваются. Чемодан раскрыт. – Куда положить вещи? – Солнце на паркетном полу. Бабушка Мария Афанасьевна поворачивает нос в сторону кухни: – Пирог! – Опираясь о клюку, ковыляет на распухших ногах. Седая косичка. – А какое у Вас звание? – Константин Фёдорович пережёвывает пищу. Кадык ходит по тощей, красной шее. – Вот видишь, – супруга его, милейшая Лидия Андреевна, прищурясь, рассматривает поднятый в бокале рубин. Л. глядит на меня серьёзно. Леночка в школьном платье. Белые ночи. Л. постелила мне на диване. Ваза с цветущей пахучей ветвью. Лежу на спине, смех, шорох. Занавеску отдувает. Погружаюсь в сон, как в лодке, наполненной водой... Л. в сорочке до пят подходит к моей постели, присаживается на край. Морщинка между бровей. Горячее тело. Черёмуха. Бросает блестящий взгляд. Наплывы её чёрной меланхолии. Рыдает, уронив лицо в ладони. – Что ты? – Ухожу в смятенных чувствах. Ветер с залива. Похолодало – черёмуха цветёт. Снилось русалка. Мерещится мой истинный голос, которого я никогда не слышал. Вода шумит упругими струями. Л. моется, напевая. Выходит, оббив голову махровым полотенцем, будто чалмой. Гордый нос с раздувающимися ноздрями. Мария Афанасьевна в фартуке, с повязкой вокруг седой головы, как Кутузов, грузно колышась, воюет с шипящей сковородой. Лидия Андреевна гремит в раковине тарелками. Леночка в жёлтом халатике, широко, как птенец, раскрывая рот, откусывает блин. Неубранная постель. Подушка сплющена. Одеяло-молоко убегает на пол. Новенький велосипед бодает стену никелированными рогами. Л. с распущенными, блестящими после ванны волосами. – Где расчёска? – Кружевце-блин в сметане, кофе. Солнце заглядывает, зажигая хрустали. Кашель и харканье в раскрытых дверях туалета. Константин

Фёдорович. Л. мрачнеет, рот брезглив, зрачок жёсткий. – Это невыносимо! – Не перебраться ли Константину Фёдоровичу кашлять в Константинополь? Поёт телевизор, зовёт телефон, угробно гудит пылесос. Музыка обезумела и внезапно оборвалась. – Ковёр! Ну, пожалуйста! – Как муравей, сгибаясь под тяжестью свёрнутого в трубку ковра, ташу его на лестничную площадку, и по ступеням, во двор. Солнце рябит. Щекотно, луч. Чихаю ещё до того, как выбить пылинку. Между берёзами канат. Начинаю гулко дубасить повешенную шкуру палкой. Жду на улице. Наконец, дверь парадной хлопает. Белая юбка, головкружительный разрез, идёт, распахивая снежные ноги. Розовые туфельки – цок-цок по асфальту. Волосы развеваются. Сверкает вокруг неё полдень. Она высокомерно поднимает подбородок. В глазах стальной блеск. Петергоф, песчаная дорожка. Солнце высоко. Нептун с вилок. Дворец-вельможа. Л. гипнотизирует разрезом сорокалетние лысины. Радоваться или ерунда? Самсон моется из пасти льва. Скрипичные соловьи и валторны на лужайке. Зеркальный квадрат воды, отражение домика, и музыка в камзолах. Сидя на валуне, провожаем корабль в голубой дымке. – Плыл бы сейчас куда-нибудь в Рио-де-Жанейро! – Рюмка хереса. Чайки. – Ира! – пьяный парень задрал зев к безответному, как луна, окну десятого этажа. Роняет голову на грудь, покачивается, подгибая ноги. Опять свою волынку: – Ира! Ира!.. – Серенады из сирени. Грусть гитар. Я слушаю шоссе. Комариный писк. Боюсь пошевелить пальцем ноги. Слабый вздох с края кровати. Утром чашка пахнет помадой. Поцеловала в переносицу, сияя. Платье порхнуло в дверях. Сiju с чаем. Светло, берёзка. День будет. Медведь ревел в комнате Марии Афанасьевны до половины восьмого. Будильник разбрызгал звон. Леночка спит, сбив одеяло, маленькая розовая ступня и колено в процеженном занавеской зыбком солнечном свете. Не забыл ли я чего? Забыл: юность... Небо замутилось, дождик побрызгивает, асфальт в сырых точках. Тополем пахнет. Углубляюсь в зелёный район. Сирень грезит гроздьями. Букетище! За коричневой дощечкой двери – шумы, голоса. Крик Леночки: – Бабушка, открой! Я по телефону разговариваю! – Шарканье и постукиванье клюки, Мария Афанасьевна бряцает цепочкой. – Вы не волнуйтесь. Задерживается. – Я не волнуюсь. Куда букет? Константин Фёдорович смотрит телевизор. Лицо у него приобрело ежевечернюю малиновость. – Лидок, оставалось полбутылки. – Лидия Андреевна приносит портвейн – дневная порция Константина Фёдоровича. Такой у них уговор. Не

больше, но и не меньше. Девять. Десять. Одиннадцать. Май – маяться. Тараторит по стеклу дождик. Убийство происходит в полночь, заливая стол струёй кровавого вина из булькающего горла опрокинутой бутылки. Детективное окно экранизирует мрачную повесть ночи. Квартира спит, смотрю за штору. Подшуршала машина, выпустила голое колено. Серый костюм. Все кошки серы. Перестук капель по карнизу. Бум-бум-бум. Вошла хризантема женской головы. Шуршит плащом, зевает. Рот – открытая рана. – У подруги. – Идёт в спальню, не замечая моего опрокинутого лица. Раздевается в зеркале. Чулок мучительно стаскивается со ступни и виснет на спинке стула. Зашторясь ресницами, спит. Ах, эта ночь! Синяя сирень в кресле. Тополя отряхиваются, как псы. Лужи в судорогах. Фонари на цыпочках удаляются по шоссе. Хмурое лицо асфальта. Вода всплеснёт руками – камень. Иду исчерпать шагами этот глубокий час. Ноги промокли, сырые штанины. Зонт срезает третий этаж, где – спят. – Проспишь! – Бронзовые кольца занавески гремучи. Руки над головой, кружится. – Сердце красавицы склонно к измене, и к перемене, как ветер мая... – Упорхнула. Ветерок духов. Яркие, как у птицы, глаза. Мария Афанасьевна ковыляет, огибая стол. Фартук в цветных заплатках. – Что ты купила? Я говорила: блинную муку. А ты – крахмал! Где твои глаза? – Лидия Андреевна трогает очки. – Мы давно хотели киселя сварить. – Ки-и-сея! – Умру – тогда хоть компот! – Вечером, распухая, страшная: – Ох, батюшки! Гимназистки, дуры. Покойников посмотреть в морге. Сторожу на шкалик. Пустил в подвал. До сих пор как живая перед глазами. Какая красавица! Волосы золотые до пят! – Леночка кричит, затыкая уши: – Бабушка, ты меня достала своими покойниками! Никого они не волнуют! – Мария Афанасьевна, обиженная: – Пожила бы ты с моё – послушали бы мы, что б ты стала рассказывать. – Июнь, жара, над заливом марево. Врача вызывали – сердце. На кухне колдует Лидия Андреевна. Кормимся. У Леночки закончился учебный год. Телефонные разговоры весь день. Скоро в пионерлагерь. Хочется на лужок. Люблю жару, белорозовое, яркие тени. Гулять налегке. Вода блестит и лопочет. Букаха – усики колечком. Пчёлы – медовые тигры. Перстень. Кружится перед зеркалом. Янтарная с серебром бабочка села на палец. Перед сном осторожно кладёт на столик у изголовья. Ничего не вижу, сияющие минуты. Может, так и будет? Телефон – пугающий голос: – Мы тут втроём. Присоединяйся. – У метро: – Вот он! Хоть один! – Голубое платье, хохочет. – На полчаса к Валентине. – Шёпотом – спрячь,

потеряю, – сняла с пальца. Я кричу: – Ничего не надо! Идём домой! – Перстень – в пруд. Сверкнуло и брызнуло. Кольцо души-девицы я в море уронил... В квартире зажжён свет. Окно завешено, чуть колышется. Ничего не знаю – что в мире. Ветер? Дождь?.. Жена – чайка. Замирающий голос в даялах морей. В рамке висит море под грозовыми тучами, берег в гальке, выброшенная волной лодка. Лидия Андреевна жарит рыбу, тасуются столицы, несут плакаты. Что им надо? Из-за мыса Горн – голос чайки, свежие солёные брызги. Русалочьи волосы: – Эй, моряк! – Бездонный зрак и какие-то оранжевые островки. Ладони утлые, сейчас утонут. В спальне блестящая голова в розовом шёлковом колпаке с кисточками. Вдвоём – один. Сон перевернётся на спину и – бессонница. Рядом – мерно шелестящее забвение. Я не сплю, глаза, ухо... Ушные раковины собираю на берегу... Утром у нас новости: жасмин. Жить хочется. Мария Афанасьевна сегодня не покажется из своей каморки. Константин Фёдорович кашляет. Лидия Андреевна несёт ему вино. У Л. жажда перемен. Тюль бурлит. Меняет занавески.

3. ПОНЕДЕЛЬНИКИ

Не спалось. Громко тикали часы. Кошка мяукала на улице. Гнуло берёзку. Гроза прислонилась к стеклу, пробежали судороги. Вот-вот дождь. Курчавый затылок. Тапочки, её – опушённые. Мои – шлёпанцы. Трубка насосалась нежного голоса. Шрифт резкий. Бродил из угла в угол. Сиамский голос. Такси, колено. Сил человеческих нет смотреть! Стучала дверцей, швыряла бельё с полок. – Хоть бы одно утро встать по-людски! – Я лежал без признаков жизни. Её голова загоралась, попадая в луч. Столик с зеркальной спинкой. Флакончики, коробочки, карандаши, карты. Весёлое, невесёлое лицо. Рябиновое в восьмом часу, передвигала вешалки. Одеда костюм, ягоды. Во рту августовская горечь. Червовый валет. Кто бы это мог быть? И что это, вообще, всё означает? – Кавардак! Сложу аккуратно – через день опять комом. – В ночной рубашке перед раскрытым шкафом. – Ну, хорошо, хорошо! Пойдём. Куда хочешь, туда и пойдём! – Октябрь. Дотронулся, отдёрнул руку. – Ну, скоро? – Без существенных осадков. Дождик, зевки. Каждый под своим зонтом. Тазы. Лидия Андреевна убирает тряпкой. – Что тут творилось! Гейзер! – Год, число, дом, город, жизнь... Вдруг сейчас откроет совершенно незнакомая, чужая женщина?.. – В синюю или хрустальную? – Хрустальную. – Спросил:

не хочет ли она лимона. Хризантемы захирели. – Не люблю, когда меня по волосам гладят. Что я, кошка? – С гадливой гримасой отстранила мою руку. Отвернулась к стене. – Иди, иди, нечего. Не забудь погасить свет. – Дорога жёлто светилась. Женщина в белом халате, приспустив стекло, спросила: где дом десять? Я показал кругообразно рукой. – Куда мы попали? – досадливо обратилась к шофёру. – Второй час плутаем. Как бы нам с тобой роды не пришлось принимать. – А что? И примем. – Шофёр выбросил окуроч, искорки унесло. Что же теперь будет? Ледяная вода, море в иголках! Я видел: море кишит стальными иглами! В четверг, как вошёл – две снежные маски. – Что случилось? – Не знаем, утром ушла в школу – и до сих пор. Говорят: попрощалась, и никто её больше не видел. – Снял пальто, шапку. У каблучков каймой налип снег. – Долго тебя ждать? Или ты за спинами собираешься мой день рождения праздновать? – Я испугался: вот-вот засмеются. Маринованный помидор плавал в банке. Ускользал – дьявол красный. – Тихо! Дайте послушать! – Лидия Андреевна шарит на столе очки. Бешеная голова идёт на берег, топчет чью-то низкую страну, то ли китайцев, то ли голландцев, сметая дамбы и домики. Катастрофа не озвучена. – Алло! Алла? – Очки в чехле. Л. судорожно сжимает руки: – зуб выпал. Перед смертью бабушки такой же сон. – Ночь, ночь, ночь... Когда же утро?.. В половине шестого нервы подпрыгивают до потолка и опять рушатся в постель. – Что ты? – Сейчас, сейчас. Холодной водой освежусь. – Ранняя пружина сотрясает этажи. Угрюмые тени. Наплевать, наплевать. Повернусь к звёздочке – черно. Три окна-решётки. Достоевский ходит в чёрной шинели с поднятым воротником, прячет топоры. Канал, колоколенка. Сырая метель. Погодка. Сгружал мешки рыжебородый гигант Саша. На Грибоедова. – А тут что, в картонных ящиках? – Осторожней, осторожней! – Крупная, шестидесяти лет. – Не доживу до светлого дня! – Шкаф застрял на лестничной площадке. – Говорили тебе, тётка – разбирать! – Садовая, дождик. Троллейбус летел, качался. Я стоял на задней площадке. Вдруг увидел её на бульваре под тёмными липами. Она, она! Зонт её, черно-розовый узор. Её походка, подрагивал хвост рыжих волос, сумка на согнутой руке. Смотрел, зачарованный. Мгновенно меняется погода. Утром светло, солнце. Проводил до метро. Вернулся домой, поджарил вкусную булку, выпил чаю, читал переписку Гёте-Шиллер. Шоколадная книга с крупным ясным шрифтом. Вдруг ветер, потемнело, деревья закачались, зашумели и –

дождь. Мне очень грустно все эти дни. Густой-густой снег. Шёл в саду, у Адмиралтейства. Стоял в аллее, смотрел... Такая тоскливая перспектива. Деревья раскачивались суками в тёмном воздухе, голые, чёрные. Желтело здание, тусклое золото шпиля. Шёл я и повторял: ах, как хороша... как хороша... Невозможность, невозможность. И так хотелось хранить в совершеннейшей, полной, неприкосновенной чистоте это чувство, этот гипноз красоты, этот облик невозможного и мистического очарования, так хранить – чтобы не тронуть и словом, и мыслью, и тенью мысли... Никогда не забуду (он был, или не был, этот вечер?..). Какая мучительная книга Мирбо "Голгофа". Одеваюсь, и – в темноту. Там хаос обезумевших мокрых хлопьев. Метель всё гуще, снег залепил пальто, лицо. Деревья – призраки. Холмы... И платформа словно повисла... В домах мутные огоньки. Вспыхнул синей сливкой фонарь, мигнул и погас. Тьма. 18.20. Циферблат не разглядеть. Дрогнул огонёк, и я его умоляю: ну, вырасти же поскорей! Что же ты не растёшь, дрожишь? Не тот он, не тот. Обманный огонёк. И опять мысли несутся лихорадочным роем вокруг кажущейся яркой точки, дразнящей иллюзии... Когда я опять повернулся лицом к метели, лучистый конус захватил платформу, рассекая мятушееся царство хаоса. Лязгает, прерывающий движение, состав. Двери раздвигаются, выходят люди, тёмные, незнакомые. Где же она?.. Льющиеся сосульки, январь. Он говорил: ты посмотри – какие нереальные рыла! Темнел вечер. Трамвай мог заблудиться на мостах, в ореолах, в бронзовых дисках фонарей. А к семи ч. нужно к бубновому каналу. Жёлтый, с Нового года пьяный портфель. Бесы-буквы. Он расстегнул куртку, вытолкнул сигарету из пачки, закурил. Выдохнул несколько затяжек. Держа в длинных дрожащих пальцах свисающие листы, начал мерным певучим голосом... Он уходил, конвоируемый друзьями. Удаляются в бликах канала, буден, бубен, трое, он в центре, в шубе. К Балтийскому вокзалу. Трамвай звенел и кидал бенгальские огни. Над каналом блистала золотая бадня бессмертья. Рассвет. Недоносок. Мычу между словами и между молчаниями. Заикаюсь – последнее. Крылья улетели. Лечу, ничей. Пусто, делай, что хочешь. Я пишу в паузах между слов, это, поистине, несчастье. Мне бы букву – с неба. Фразы начинаются с точки, оборачиваются и шипят заглавной злобой. Крылатые умолчания, каркая, улетают стаями. Это не день, не два, не вода, не поцелуй, не огонь... Это – полки понеделеньников.

4. ПСКОВ

Вдруг вчера купил билет в Псков. Ночка! Плакало мое одиночество. Пять серебряных глав. Башня толстая, побитая. Тени ветвей движутся на солнечной белой стене. Школьницы, смех. Успение у Пароменья в Завеличье. Ворона на кресте. Очень устал. А люди идут. Март, ручейки. Койка убрана. В зеркале – молодой парень в светлом костюме, слегка загорелый. Я? Снова зима. Я так легко одет, полотенцами обернулся. С трудом достаю кипяток – заварить чай в термосе. Без чая – не человек. Соседа не видел и не увижу уже. Куда пойти? Возбуждён. Сплю с таблетками. Снег блестит. Купил хлеба и сыра, съел во дворике на скамейке. Мальчик с автоматом спросил: – Как тебя звать? Меня – Витя. – Я сказал ему своё имя. Этот Витя охранял границу от немцев. А зубов нет, беззубый, одни дёсны. Потом я пошёл смотреть Васильевскую башню, влез по узенькой винтовой лестнице, держась за канат. Пушки с кириллицей. Пил чай из термоса, на берегу, под могучей башней. Называется: Перша. Голуби, делая круг, садятся на карниз. Пояс цветной глазурной плитки в рисунках. Ливни звонких капель. Снежок тает. Церковь Преполовения, сбоку гряда досок. Девочку, тоненькую, попросил дать кипятку – заварить чай. Привела в квартиру. Там её папа – высокий, приятный, в очках, кудреватый, скипятил воду в ковшике. На кухне не чисто, неважное жильё. В Пскове много детей и кошек, а собак нет. Памятник победы над Стефаном Баторием, 1581. Стена окольного города, вышел в Запсковье. Лазурь в мартовских ветвях. Голубь летит. Цветное бельё болтается на верёвках. Капли, капли с зелёной крыши притвора. В Плехановском посаде – Варвара Великомученица, из серых брёвен, маковка глянцевая, жук. Берёзки, облака, заборы, домики.

Селезни и заря. Темно. Звёзды. Гремячая. Варлаам со Звонницы, голубые купола. Прошёл по стене, из-под ног сыпались камни. Музыка из ресторана внизу. Радостно. Что дальше? Пасмурно, слякоть. Густой снег. В соборе тусклое золото икон, ладан, свечи. Не отврати лицо свое от мя... Богородице, мати, заступи и спаси ны... Поют. Седой старец-священник с крестом ходил, давал целовать. Я в крест ткнулся носом, старец уже совал кому-то дальше. Бродил по Завеличью, Мирожский монастырь. Спас Преображения. 12 век. Монастырский двор в снегу, тает. Галки и вороны. Псков отсюда. Опять – музыка из ресторана. Мой сосед по койке – Ризо. Туман. Серебряных глав не видно. Добрая женщина, уборщица, дала электрический самовар.

Теперь живу! Мы с Ризо позавтракали и напились чаю. Ризо – обаятельный молодой грузин из Тбилиси. Командировка на здешний завод, станкостроитель. Я пошёл бродить в тумане. Через мост. Собор проступал смутно. Вдоль стены, через Пскову, по Гремячей улице, по берегу, мимо башни. Теневой день. Утицы в воде. В соборе молитвы, псалтирь, пение, огоньки. Простоял три часа. Темно. Две чёрные башни отражались с флажками. Тут Пскова в Великую впадает. Ворота были, речные, от врагов. Лады. В гостинице горят все окна. Есть хочется, а у меня только вчерашний хлеб. Ризо жалуется: не могу, понимаешь, ни дня не могу. Молодой я, здоровый, что мне делать? С официанткой познакомился. Провожал. А она: домой нельзя, мать злая. Давай быстренько в парадной. Ризо чуть не плачет: первый раз у меня так, слушай. Я люблю, чтоб красиво: стол, вино, музыка, постель мягкая, простынь свежая. А тут – в парадной, быстренько. Фу, до сих пор сам не свой. Вот ты молодец: книги читаешь, церкви смотришь, ни о чём таком не думаешь... Последний день. Тускло, ветер, ручьи, лужи, Никола со Усохи. Чешуйчатая главка. Качаются сучья. Галки. Пишу, сидя на скамейке, над Великой во льду. Мирожский монастырь за рекой, слева. Неделя Марии Египетской. Пост перед Пасхой, Вербное Воскресенье и Благовещение в субботу. Половина седьмого, поднял с подушки голову – Кром в алой полосе, и лимонно-зеленоватая сверху, а дальше – тучи, тучи. В соборе старушки с яркими свечками. Падают на колени. Меня оттеснили, нечего тут, безбожник. Помазание елеем. Очищение тела и души от всех болезней, и скорбей, и грехов. Спасе, вспомни и помилуй ны. Священник, смоляная борода в рясе, мазнул кисточкой лицо, грудь, руки. Старушка – круглое, радостное лицо: счастливый ты, сынок, допущен ты, не каждый допускается Им в храм Его – к таинству. Вату дала – вытирать лицо от масла. Семь раз мазали. Бродил по ночному городу. Не успокоиться. Дождик. Река в огнях. Но всё! Прощай, Псков! Прощай!

5. ЛИЦО ФЕВРАЛЯ

И было утро, и был вечер.

Что же это опять? Начало февраля. Снежок предлагает своё чистое утреннее молоко. Скоро мне и сорок пять. Вышел зайчик погулять...

Дом наш тогда был большой-большой. Путешествуй из комнаты в комнату

А тут дверь была. А сейчас, почему-то, стена... – Да, дверь была, – кивает старой головой мать. – Давным-давно заложили. Когда ты ещё пешком под стол ходил.

Ну, ну, предположим... Тусклый февральский денёк. И в доме никого. Впереди целый день, которым я могу распорядиться, как мне угодно. В первые же минуты пробуждения прислушиваюсь: точно ли я один, не шумит ли вода в ванной, не звякает ли на кухне посуда. Нет, квартира пуста. Целый день – мой. И я предвкушаю тишину комнат, одинокое чтение, свободу мыслей и образов, и бесстрастное созерцание законного мира. Если бы ещё дворничиха не дребезжала лопатой в переулке, под нашими окнами, убирая наметённый за ночь снег.

А только что налитый в чашку чай, в ожерелье из пузырьков, горячий, ароматный... Что мне ещё надо?

В девятом часу уже начинает шевелиться рассвет, мелкий снег, город. Этот почерк февраля, эти косые, взъерошенные, спешащие строчки... Эта манера с утра писать чёрным по белому – деревьями, домами, воронами, людьми, машинами, – как она неизменна!

Февраль повторяет себя из года в год. 1-го числа он присылает человеку в этом городе письмецо следующего содержания: "обязан тебе напомнить – завтра ты родишься. Это у тебя уже сорок пятый раз. Что ж, поздравляю, поздравляю..." И человеку от такого напоминания что-то больше не хочется родиться.

– Зажать хочешь? Не выйдет! – говорит Л. – Я тебе такой подарок приготовила. Такой... Два часа в очереди отстояла.

– Какой ещё подарок. Давай сейчас!

– Нет уж. Потерпишь. Мама пирогов испечёт, с черникой. Стол будет – не хуже, чем у людей...

А муж Л., невысокий, шуплый, вечно унылое лицо (то есть я сам), так вот, этот тип думает: зачем мне завтра?.. Но всё-таки одевается в тёплое пальто и шапку, выходит из квартиры, спускается по ступеням, с силой толкает тугую мёрзлую дверь и пропадает во вьющемся вечернем снеге.

Это он отправился в парикмахерскую, через две улицы, за углом. То, что он обычно делает перед днём рождения.

Парикмахерша, ещё не старая, крупнотелая женщина с рыжими волосами бесстрастно взирает на его появление. Он приближается и бросает: под канадку. После чего повелительница волос, сохраняя

ледяное молчание, усаживает пациента в кресло, опутывает пеленами, и начинает косить электропилой "Дружба" его покорно склонённую растительность, как сосновые леса Канады. Или России. Не всё ли ему равно. Он ещё не родился. Это великое, полное знамений событие произойдёт завтра.

Кошка мякнула за дверью. Какой у неё резкий голос. Спал бы да спал ещё под пуховым одеялом, скрестив на груди руки. Сон растаял, видение какой-то лучезарной местности, в теньевую полосу, под пролетающими облаками.

Задёргивая штору она говорит: вечер. Но и безысходная мутность воздуха, и тускло светящееся...

Конечно, я помню, что кто-то уже пытался вращать этот лунный диск, топя указательный палец в лунках кратеров, и набирая некий астрономический номер... Но абонент всё не отзывался...

– Мне и так холодно, – говорит Л., продолжая задёргивать винновышнёвую тяжёлого бархата штору. – Телефон как телефон. На тумбочке. – И уходит, колыхнув платьем.

Будильник!.. Сон забывается сразу, как обрывки метели. Ладонь, взлетая, накрывает звенящую на тумбочке тварь. Захватив бритвенный прибор, направляюсь в ванную. Разбуженная, появляется и Л., в ночной сорочке, почёсывает бок, глаза закрыты.

– Ты что, спать очень хочешь? – говорю ей.

– Нахал, нестыдно издеваться над бедной женщиной, – приоткрывает один глаз. Но веки у неё сами собой слипаются, и она, наощупь, по стенке, движется к туалету.

В тёплом пальто, в шапке с опущенными ушами, я решительно толкаю дверь парадной и пускаюсь во вьюжное море, где призрачно, в мыле метели плывут автобусы.

У твоей логики железное чувство локтя, – говорю я. Ведь ты пишешь не тогда, когда тебе хочется, а когда ты берёшь перо и бумагу. И что за наваждение! Ты опять и опять возвращаешься к этой теме, к этому месяцу, в эту замкнутость. Затягивает и не отпускает этот роковой круговорот.

Утро, утро. Сел с остриём, полным чернил, за тетрадь. Нарастание непредсказуемого. Тени снов, брошенные на страницу. Чьё-то письмо ко мне.

Фразы капризней, чем погода. Я ли их пишу? Это они меня пишут. Февральская фраза уже с утра завывает в мутном небе,

приветствуя моё пробуждение, качается и машет ураганными деревьями над заснеженной землёй.

Серая полосатая кошка, пригнув хвост, перебегает дорогу, ветер рвёт клочками шерсть у неё на спине.

Сижу в уюте, пью чай, смотрю в окно. Трёх чашек чифирного чая хватает на минуту, чтобы разогнать тучи, открыв в мозгу ослепительную прорезь лазури, и воодушевить меня на три фразы, летящие за край листа. По чашке на фразу. Ведь мой счёт только до трёх, до трёх ворон, летящих за край страницы. И всё. Порыв обрывается. Так и пишу. Так и живу. Мечтаю написать какую-то небывалую книгу и удивить весь мир. А книга никак не начинается. А, может быть, и ничего у меня не начинается? И жизнь? Белый бессмысленный лист передо мной.

– Что ты?

– Ничего. Ухожу.

Сумрачный ворон бровей, взмахнув прощальными крыльями, улетаёт в зимнюю ночь.

Остаюсь один. Лицо в ледяном омуте зеркала. Трудно поверить, что это призрачное действительно существует. И страшно в комнате после ухода женщины. Она дарит не любовь и не мучение, большее – чувство реальности.

Путешествую через 8-ми метровую пустыню комнаты, от одного стекла к другому, к окну.

Может быть, стекло я люблю больше, чем то, что по эту, или по ту его сторону? Прозрачность и холодок моему горячему лбу.

Что там? Фонарь обуреваем метелью. В его жёлтом свете клубится и взвизгивает рой снега. В моём взгляде этот снежный хаос то сливается и вытягивается в нити, то опять рассыпается на отдельные обезумевшие хлопья. Все они кажутся мне с хвостами, как маленькие кометы.

Стол. Всё тот же завораживающе белый лист бумаги. С тех пор, как перебрался сюда (сколько лет!), в эту 4-х клеточную, влип, как улитка. Мебель приросла, книжный шкаф, стол, картинка с лодкой над нашей кроватью, изображена пустая лодка, прибитая к берегу, на мелководье, и море под грозowymi клубящимися тучами, такое мрачное море...

Слушай, а, может, ты недоносок? Что ты сидишь с постной рожей, мучаешься, смотришь в окно? Грустное полусущество, сгусток тумана.

А, может, ты спишь? Что тебе снится? Снегопад в тишине? Или ты бодрствуешь? Что ты не мычишь и не телишься? Если бы ты молчал, или говорил, но ты не говоришь, и не молчишь. Невозможно же слушать твой тихий скулёж, твой жалобный вой, и днём и ночью, как завывание ветра. До чего же ты несносен.

Если бы ты был горяч, тобой можно было бы отапливать квартиру, будто ты батарея отопления.

Если бы ты был холоден, в тебе можно было бы хранить продукты, как в холодильнике.

Но в том-то и горе, что ты не холоден и не горяч. Что тебе мир, и что ты миру?.. Здесь ты или не здесь? Кто же это скажет с полной определённостью... Сгусток тумана, порыв ветра, взмах метели.

Книга всё ещё открыта на феврале. Перевернута новая страница холода. Фраза опять пытается начать повествование. Длительность слов в зимнем траурном мире. Никто не знает, чем всё это кончится. Никто не знает.

С улицы в раскрытую форточку пахнуло свежим снежком.

Что-то такое со мной случилось... Отмечу: 22-е. И ещё: хмурая цифра сорок пять.

Слово повело рукой по бумаге, чёрным по белому. Ах, Боже мой, ну что тебе, слово, от меня надо? Спал бы я себе, спал. И куда ты меня занесёшь, слово, как заносит поля снегом? Как заносит ворону в безбрежье зим? Как заносит забвеньем?..

Время темно.

Тяжёлые винно-вишнёвые шторы уже отдернуты. Вот оно – окно в мир

Откуда я знаю: большой я или маленький? Странное ощущение – вот и всё. Я родился, и оно родилось вместе со мной. Я-то, кажется, меняюсь (рожа в зеркале), а вот оно – такое странное, никак мне его не понять. То живу себе, забываясь, даже и не замечаю его, а то... Словно меня и нет, а есть только Оно, только Оно.

Может быть, после всего кто-то меня спросит: что же ты делал между двумя большими снами? А что я отвечу? Что пытался понять это странное ощущение своего бодрствования, понять: что, как это вот я не сплю?.. Да так ничего и не понял...

Я протираю руки. Смеётся. Совсем близко. Глаза так и брызжут весёлыми искорками. Но руки (мои) остаются в пустоте. Пальцы изумлённо растопырены, что не ощущают тело женщины. В зеркале

вытянутое моё (идиот!), два глаза. Опять что-то не так. Я достаю (думал, очки) белый бинокль! Как в театре! Как во сне! Л. стоит в дальнем углу комнаты, опирается о стол. И её усталое мрачное лицо было бы странно подозревать в улыбке.

Иду по ковру в пышных персидских цветах, огибая кресло в розовой накидке с бахромой, беру за локоть (хрупкий, фарфоровый), спрашиваю:

– Неприятности?

Л. молчит. Сумрачно смотрит, окно, отдернут тюль, берёза, обнажённая, февральская, на уровне нашего третьего этажа, волосы-веточки косо в сторону. Ветер. Глаз Л. грустный, зеленовато-серый, крапинка у зрачка.

– Ну что ты молчишь. Подари хоть словечко.

Она, скользнув взглядом:

– Вот. Новый уют.

Теперь вижу; и правда – на столе квадратная коробка, разворачиваю, треща картоном, извлекаю. уют! Пузатый. Ручка из чёрной пластмассы, новенький никель.

– Где это ты? Такое сокровище!

Но Л. молчит, взгляд в призрачное окно, в надежде, что где-то там тусклый разговор превратится в жар-птицу.

Вот, думаю, и я... Смотрю в цветное стекло составленного из фраз витража, и что мне улыбается?..

– Ужинать будем? – касаюсь ладонью её плеча. В ней вдруг что-то ломается, уткнулась мне в грудь, раздражается рыданиями.

– Да что с тобой?

Только всхлипы.

– Случилось что-нибудь, ну?..

Жалуется:

– Молодой хочу быть, красивой...

Глажу по рыжеватым волосам:

– Ты и так свежа, как бутон. Что тебе ещё?

– Мне сорок четыре. Я старуха. Ты понимаешь: женщине сорок четыре!

– Надо же. А я-то думал, тебе...

– Перестань. Нет у меня ни в чём опоры. Нет у меня равновесия. Страх, тревога, всю жизнь, всю жизнь. Чего хочу? Ни минуты покоя. Одни мучения, ну что ты молчишь?

– Что я тебе отвечу. Ветер...

Жизненный порыв, который заставляет меня выговориться, но, Боже мой, когда это накатывает, какой это бред!.. О, да, я заметил в себе, давно заметил, что мысли перебивают друг друга, врываются в разговор невесть откуда, свиваются и несутся, запевая какую-то невыразимо прекрасную песню, вдруг переходящую в душераздирающий рёв... А то рассекают одна другую, как внезапные кометы, так что голова отлетает в одну сторону, а хвост в другую.

По правде говоря, у меня нет ни одной цельной, последовательной и законченной мысли. Вот уж, действительно, всё, что изрекается или закрепляется на бумаге – извечная ложь.

Поэтому-то я предпочёл бы молчать, не мыслить, и не пытаться писать. А вот – и мыслю, и говорю, и пишу. Слова, слова, слова. Жратва для ушей. Ты же не один! Помолчи... О, что же Ты крутишь и крутишь колесо планет? Разве твой Новый год новей старого?..

Что там поёт ось безумия, пронизывающая сердце пифий?.. Простимся...

Кольцо. Круговорот. Первую же фразу возвращаю молчанию; поймите, я очень одинок, и, в сущности, нем и слеп. Зрачки, раскрытые шире ночи, мороз. Я – пучеглазый ночной зверёк, пленённый человеческим жильём, дышу у форточки, что я – дымок дыхания. Конец возвращаю началу, спаяв кольцом звук.

Может быть, если я буду следить за возвращением звука в звук, образа в образ, смысла в смысл, чувства в чувство, и даже за возвращением безумства желаний в их исток, может быть, тогда я, наконец, узнаю, что стоит за Этим?..

Заключить в грань холодного наблюдения алмаз безумств, всё то, что за, и то, что через?..

Такой, как стихи, между слов, труд. Я, быть может, узнаю зияния...

Холод у листа, когда пишу, человек-перо, истекающее чернилами крови, будто холод необъятной зимней пустыни, и... вы замечаете? – чтобы закончить начатое движение приёмом, который я сам себе навязал (сам ли? ещё один самообман?), так вот, чтобы закончить начатое движение тем же распинаящим, хрипящим и зачёркивающим звуком, с которого пошла фраза, я делаю, как ворона, взлетевшая сейчас за окном, резкий и траурный взмах. Разрывы и рубежи – до чего же они все на "р"! О, да! все во всём. Но...

Подышать бы свободой, которая до

Что я могу сделать своего, если я прихожу в мир, а у меня ничего своего в мире нет, и сам я – не свой?.. И вот я смотрю вокруг себя: всё тоже – ночь.

Простейшие действия: то одним, то тремя интуитивными пальцами гашу электричество, отключаю телефон. Вот и отхватил я голову этой гидре цивилизации. У, какой у неё длинный-длинный, гаснущий в фонарях шоссе хвост! Вот теперь всё стало так просто: тишина, мрак. Взглядываю в чёрный квадрат: что там шепчет широкоротый месяц? Сон, смерть, серп.

Возникающий в древнем ночном городе мозга, тот, за которым я неусыпно слежу, как сыщик из-за угла, – это возница, его взлетающий бич, и его зов. Путешествующее и ты.

Птица на ветке каркнула: февраль. Я вздрогнул и погрозил ей пальцем.

Ощущение февраля не уходит весь год, таясь в подсознании, оно только ждёт своего часа, может быть, я бы стал совсем другим человеком, если бы забыл, что рождён в этом месяце, под ненастным знаком Водолея.

Что-то мне говорит: февраль начинал, он и кончит. Круговорот четырёх времён не отпустит меня раньше срока. Вращение всё быстрее, круги всё уже, и я содрогаюсь, что скоро ничего не смогу вспомнить из того, что было меж зим, неумолимо приближаясь к концу пути, где ждёт меня неподвижное суровое лицо февраля. Наступают очередные сумерки, и я говорю: Это Темнеет.

6. МЕЖ ЗИМ

Родился С. Завернули в пелёнку, как живую куколку. Зимний день предлагал своё бледное молоко. Ну, ничего, ничего. Всё ещё впереди. Туманное будущее...

Пролистав картинки детства и прочую чепуху, С. постарел сразу на двадцать февралей. С холма виднелся вдаль на голубом горизонте призрачный современный город. Отворачиваясь от видения города, С. оглянулся на домики посёлка, приютившиеся под холмом.

Балтийский вокзал простуженно кашлял под циферблатным небом. Трамвай взялся чертить зигзагообразный путь и оказался на далёкой пустынной линии Васильевского острова перед мрачно-кирпичной архитектурой.

Строение напоминало замок, его осеняли тополя-великаны, росшие из потресканного асфальта, у самых стен. А одно упрямое деревце зеленело, вцепясь корнями в башенку, которая украшала парадный вход. Обращала на себя внимание табличка: Высшее инженерно-морское училище.

В гавани отчаливал корабль в золотой зев заката. Человечек на голой пристани казался точкой.

Выплыл туманный загадочный череп луны, погрузив палец в дырку лунного кратера, С. набрал шестизначный номер. На другом конце пространства его ждал голос с нежным музыкальным вздохом. – Ах, да... Я сегодня свободна.

Трамвай прочертил путь в обратном порядке, завернув к каменному сквозняку Нарвских ворот...

Прошло десять лет. Гуськом, затылок в затылок, точно однообразный взвод солдат с красным флажком, идущих в баню. Февраль в гробовом молчании укутывал простынёй обмытого С., лежащего на столе, как большая серьёзная взрослая кукла со скрещёнными на груди руками. Так что же было меж зим?

7. ПОЕДИНОК

Было темно, метель. Фонари мутно освещали улицу. Ком снега ударил мне в грудь, рассыпавшись прахом. В широкой канаве у дороги стоял незнакомец в шапке с ушами, завязанными на затылке, косая ухмылочка.

– Драться хочешь? – спросил он.

– Что? – сказал я, ошеломлённый.

– Струхнул?

– Это я-то? – я вынул правую руку из кармана пальто.

– А кто ж? Не я же? – незнакомец смотрел твёрдыми, насмешливыми глазами из-под лохматой шапки, плотный, коренастый, в полушубке, опоясанном солдатским ремнём с бляхой.

– Лезь сюда, тут место для боя удобное, – предложил он. Я, вынув из кармана и левую руку, спустился к нему в канаву.

– Надо утоптать, – сказал незнакомец. И мы стали месить снег, устраивая площадку для поединка.

– Стоп машина! – сказал незнакомец, и мы прекратили. – Правила такие: – объявил он, – биться десять раундов. Ну, начинаем! – и он принял боксёрскую стойку, постоял, щуря глаз, сделал быстрый шаг и больно ударил меня по уху.

Я разозлился, бросился на него, крутя перед, собой кулаками. Сначала мои удары поражали пустой воздух, но когда я перешёл на ближний бой, началась настоящая схватка, и мы минут десять тузили друг друга, не жалея сил, в угрюмом молчании, топчась на снежном ринге. Противник стоял неколебимо, как из железа, стараясь отбросить меня от себя. Я стал ослабевать, задыхаться. Не знаю, сколько бы я ещё продержался, если бы не шапка, которая съехала мне на глаза, закрыв видимость. И тут я получил такой могучий удар, что в глазах помутилось, и я упал навзничь на край канавы.

– Раунд! – возгласил охрипшим голосом незнакомец. Он тоже утомился, дышал тяжело.

Помог мне подняться, шапку мою отряхнул, натянул обратно мне на голову.

– Молодец! Хорошо бьёшься! – похвалил он. – Ну, будем знакомиться. Фонарёв.

– Темнеев, – с трудом произнёс я, в свою очередь называя себя, еле ворочая языком и выдыхая свистящий воздух.

– Что-то я тебя не замечал. Ты из какого дома? Из пятого? А я из двенадцатого. Приходи сюда завтра в это же время. Мне партнёр для тренировки во как нужен! Придёшь? – Я кивнул.

– Ну, бывай! – Фонарёв хлопнул меня по плечу, повернулся и уже удалялся, коренасто покачиваясь, в полушубке, опоясанном солдатским ремнём.

8. РЕБЁНОК

Стылый денёк. Как рождаются мысли, как рождаются желания, как рождаются дети?.. Надев плащ, пошёл в парк.

Повстречал высокого старика с тросточкой, который любит пугать детей. Морщины, хохол седой. Торопливо простучал, быстро-быстро переставляя ноги. И пальто у него оттопырено. Схваченный ребёнок? Тащит в лес?..

Дома кончились. Я углубился в чащу. Виднелись за стволами кресты могил. Замшелая надгробная плита: Коля Голубков, 6 лет. Ещё одна плита; возраст смерти – 9. На следующей – 5. Кладбище детей!..

Я задрожал. Кровь кружила. Листья – в вечернем воздухе. Дорожка – в чащах. Мысли кружились, возвращая мне на каждом повороте всё ту же картину лесного детского кладбища.

Ветер налетел, раскачивал лишённые листьев стволы. Они застучали друг о друга, как гигантские скелеты.

Быстро темнело. Я повернул обратно, пока ещё была видна тропинка.

Дверь раскрыта. Я увидел в комнате ту, кого не хотел видеть. В домашнем халате, она пила за столом чай. Её толстый затылок, шея в складках, её тонкогубый рот, оттопыренный, дующий. Повернулась, брови сдвинутые, надменные:

– Сама приехала.

– Приехала, так приехала. В таком случае я уеду.

Она встала:

– Я с ребёнком. Ты не можешь, – губы её задрожали, глаза покраснели, слёзы, размазывая краску, побежали по щекам.

– Перестань! – оборвал я. – Знаю я твои слёзы.

– Ах, так! ах, так! Тебя ничто не остановит. Даже собственный сын. Ты и через его труп переступишь. Подлец! – рука её упала на стол. Чашка опрокинулась, чай полился на пол. Слёзы текли и текли по толстым щекам.

– Переступлю, – мрачно подтвердил я и ринулся в дверь. Я устремился по тёмной улице. Ветер. Я бежал, высоко поднимая ноги и делая большие прыжки. Я боялся, что на дороге дети, а я и не вижу, совсем-совсем маленькие дорожные дети. Как бы мне не раздавить своими каблучищами хрупкие их тельца...

Весь путь смотрел в окно. Огоньки мелькали, езда успокаивала. Я пожалел, что час времени не вечен, и уже вокзал.

Надо было где-то переночевать, другая жила недалеко, на Дровяной. Я перешёл мост. Вода в канале взглянула на меня мутно.

Дом-урод. Третий этаж. Дверь в квартиру не заперта. Я переступил порог. Обрадовалась:

– Ты?

– Нет, не я, – ответил ей.

–Т-с-с! –приложив палец к губам, – только что покормила.

В комнате пахло пелёнками. В кровати с высокими бортами, завёрнутый, спал младенец.

– Вот проснётся, увидишь. Девочка – чудо. Я ей твоё отчество дала. Как? Звучит?

– Да. Величаво...

– Ах, как жаль, что не ты её отец! – продолжала она. – Но ты ко мне совсем? А? Ты её удочеришь? Ах, как славно мы заживём втроём!

От порывистого движения у неё распахнулся халат, открыв дряблый в синих прожилках живот, тощие ноги. Она приблизилась ко мне, бурно обвила шею руками.

– Как я по тебе соскучилась! Обними меня покрепче!

Я понял, что мне надо показать голод и пылкое желание, мы не виделись почти месяц. Я прижал её к себе, губы впились в её губы с выпирающим из них безобразным костяком зубов. Мне всегда казалось, что я целую живой череп. Рука моя, изображая порыв, скользнула под её халат. Она отпрянула:

– Нет, нет! Ты меня, миленький, извини. У меня были кошмарные роды. Швы наложили. Ты же меня не бросишь из-за этого, мой голубчик?

– Ну, о чём ты? Не животное.

Так я ей отвечал, а сам думал: после родов совсем уродина, и чужого ребёнка на шею повесит. Надо поскорее уносить ноги.

Не говоря ни слова, я выскочил из квартиры, будто выстрел.

9. ТА ТЕТРАДЬ

Завиваю буковку за буковкой. Те места, где когда-то мы жили. Сидела весь день на подоконнике и крутила в задумчивости на скрюченном пальце ножницы. Лиса лезла на лоб. Покрытые старой коричневой краской половицы блестели, намытые. Седые волосики по бокам крепкой, как репа, лысины. Жилистые, железные руки. Солдатское галифе. Дарил рубль. Грозная Зинаида Ивановна с саблей. Оглядела, сейчас будет рубить. Поймал в кулак большую муху, оборвал крылышки, обмакнул в чернила и пустил в мой огород. Карова даёт малако – старательно выписывал, помогая себе языком. Ощущение мела в пальцах. Колумб открыл Арифметику. В глазах мутно. Посмотрел на потолок: в клетку. – Полюбуйся – ни одной пятёрки! – Листик горчичного пластыря. Комнату заносило песком аравийских пустынь, тошнило. Познакомился с желтухой. Талая вода, грач ходит. Хлебай, хлопец, борщ! Опоясываюсь кортиком и хожу перед зеркалом, бьётся на бедре летучая рыбка. Розово-кирпичная архитектура. С косой ухмылочкой тычет в живот. Лошадь Пржевальского. – Хочешь в космос? – Давит на грудную клетку. Глаза катятся в траву – карие вишенки. Где рожать? В белорусской избе. ТТ под подушкой, крались из леса бандиты. Окунали орущего младенца в сизый таз с самогоном. Вынимали – обмытого, крещёного. Лежал на полу, обхватив деревянные ножки. Истинный талант, и талант этот он пожелал зарыть в землю. И зарыл в 31 год. Шапка со звёздочкой упала к заснеженным сапогам. – Я, Машенька, спать пойду. – Уехал ли

газик? Опустилась на стул, руки со сцепленными пальцами. Лампочка мигнула. Кровать стоит посреди снежного сада, и слышно, как скрипят, приближаясь, шаги, наклоняется над изголовьем – громадный чёрный медведь. Сидит на корточках, разинув огненный рот. – Есть хочу! – Полон телом и бел, как сметана. – Тебе бы, братец, на телеге с лошадьё кататься! – Бегу босиком по ледяному полу. Широкая железная кровать с блестящими шарами. Подхватил, щёлкнул по носу. В белой нательной рубаше, толстая, розовая шея, грудь излучает жар. Пахнет горько. – Тащи хлеб с салом! – Сало в квадратном, исчерченном фиолетовыми чернилами, фанерном ящике, из Карелии. Вкусно. В распахнутых настежь дверях – два бледных лица, одно над другим. – Саша! Саша! – Тополь отпускает листья на волю. Я – мысли. Тяжеловесные, как у статуи, шаги за стеной. Синее окно. Свёрток из газеты под мышкой. Только бы ещё минутки три. Два карбованца с грошиком. – Добре! – Хохол лихой. Папироса за ухом. – Перчик! – Там на столе. – От кого? – От... – Большие круглые буквы, ослепшие, взявшись за руки, бредут в чистом поле. Багровый – стеклянные груди с горилкой. Что у нас на Красной площади? Ур-ря!.. Повис на когтях, пьяный в пробку. Солдат шлангом крутит: ух, газок! Пузырьки-слова. Рыбы подо льдом. Рыбы сны. Глаза без ресниц, в радужных ободках. Топлю палец в семизначной проруби. Кончено, кончено! Буквы, истеричные бабы, орут в стенках страниц: умру! – Так и будешь? – Так и буду. – Что тебе, ночь? Комната моя – коробка, залитая неярким светом, окно, полное тьмы и смутного сада. А тут – что? Стол. Обнимаю пустоту и лёд. Шкаф у стены. Читать? Тушу свет, сворачиваюсь клубком, как в утробе. Закрываю глаза. Спать, спать, спать, спать, не знаю... ничего я не знаю. Мучает белое платье в сборку. Терзает зонтик. Безнадёжно взмахивает рукой. Мазки снега тают на стекле. А теперь кто-то виноват. Толстая шерстяная безрукавка. Не забуду мать родную. Лист, ручка в пальцах. Опускаю свинцовую тонну, пишу: ночь. – Куда летаешь? – А, на все четыре стороны. – Зажжём – и Новый год. – Ой, подожди, сапог как в ведре! Варёжка с вишенками. Куда ты меня тащишь? Кто-то нас опередил... – На дверце шкафа серебристый отсвет из сада. Главное для меня – уединение, я за него готов платить собственной кровью. Да вот ещё – книги. Единственное развлечение, которое оставила мне судьба, и всё-таки, и всё-таки... Как тяжело и черно в голове, как мучительно смотреть на узор обоев.

Я откидываю голову на спинку кресла и погружаюсь в размышления... Лицо обрастает щетиной за ночь. Выхожу на свет божий и сам я себе кажусь заросшим соснами холмом, который возносится передо мной зимним заснеженным утром. – Пивка хочешь? – За окном поднимается метель. Холма не видно. Лакированная фигурка чёрного коня. Лыжи на плече, шапочка с помпоном, тревожные глаза. Узкоплечий, широкобёдрый, с выдающейся грудью пол. Таял на рукавах снег. Раздевалась. У неё были серьёзные брови. Как странно, как странно, что я живу, как все живут. Голова, уши, нос, два глаза. Хожу, дышу, ем, говорю слова. У меня отец и мать и предки в глубине веков. Я двумя руками (не четырьмя, не десятью) обнимаю при любовном свидании женщину. Всё как у всех! Но я же знаю, я убеждён – что я совершенно одинок, я – сирота в мире. Я ниоткуда, ни от кого, и в никуда, мне всё кажется, что я возникаю из ничего и существую только вот в этот настоящий миг, да, только в этот, расширенный, как бездонный зрачок, миг-вечность я и существую. А всё это текущее и круго повторяющееся, этот шум времени, кошмар истории, это происходящее, вовлекающее и влекущее и меня в мире – я не понимаю, не понимаю... Я – странник. Пробуждаюсь рано. Отдёргиваю занавеску. Мартовская метель лижет асфальт. Утро. Одеваться. Рубашка выпалась на стуле. Её материя прочнее, чем мартовский снег, из этих хлопьев не сошьёшь себе будущность. Думаю о снеге косо летящем, о мокром асфальте, о городе, куда пойду и затеряюсь. Что снег, что человек – мне всё равно. Трамвай звенит под окном нашего четвёртого этажа. Фургон приходит в час дня. Тяжёлый подбородок, бритая синева, торопит. У нас всё готово. Грузчики таскают тюки. А снег? Такого ещё не бывало! Сплошной падающей стеной. Лавина мокрой метели. Залепит широкий двор с сараями, и проспект залепит, и Неву, такую здесь вольную, безграничную, и весь город... Места, где жил длительное время. Места, где жил недолго. Места, где был краткое время. Места мимолётные. Когда я говорю: дом, когда я говорю: дорога, когда я говорю: тут, когда я говорю: там. Также, когда я читаю... Может быть, человек, встреча, или неутолённое желание... Постоянное соприсутствие в сознании собственного рождения и смерти. Роковой круг. Когда долго живёшь, или жил в одном месте, то место это в тебя врастает, и пусть ты сейчас за тысячу километров от него, на другом краю мира – везде ты, как улитка, таскаешь свой дом с собой, эту приросшую скорлупу. Это рок, это судьба. И часто мне кажется, прожив десять лет с Л., что,

открыв дверь в кухню, я попадаю в дом моего детства и вижу мою мать, хлопчущую у плиты с кастрюлями, и себя самого, коротышку на табурете, и ноги мои в порванных сандалиях болтаются, не доставая пола. Снег был сырой, мягкий, лепился. Улица была безлюдна. Тёмные деревья. – Ах, люблю я такую погоду – когда сыро и туман... – И как же это я умру? Ведь это же я!.. Коридор был такой длинный. В конце его, из раскрытой яркой двери клубился в пыли луч. Там начиналось лето. Отцовская пилотка со звёздочкой. Ходили, вытягивая шею, куры. Грозди сирени над забором. Сестру зачем-то обрили наголо. Она подслеповато шурилась. Читал Гулливера – большую книгу с великанами и лилипутами. Самолёты, овсяная каша. Учитель рисования в шляпе, с длинными волосами. Скоро он соберёт свои карандаши, и я никогда его не увижу. Что же это, что же? Так я и не дорисовал тот рисунок, не дописал ту тетрадь.

10. ПЛОДЫ

– Рябина созрела, – говорю вечером. – Надо бы собрать, пока дрозды не склевали. Как-никак, конец августа. Налетят стаями, небо закроют, как ночью, и – пусто. Ни одной ягодки.

– В чём же дело, – отвечает Л., зевая. – У тебя же завтра выходной. Если бы ты знал, как я устала! – вздыхает она.

Веки опущены, как лодки на воду. Тени ресниц на тёмной-тёмной воде. Через минуту уплывает, покачиваясь, в сон, даже зависть берёт, как это быстро у неё получается. Мне бы так... Что же делать?..

Лидия Андреевна выключила телевизор, сняла очки с переносицы, спрятала в чехол. Тяжело поднялась со стула.

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи...

Вот один. Не знаю. Нет, нет, не читать. Что книги?.. Слоняться по квартире, слушать: капельки из протекающего крана стучат об эмаль, шуршит подъезжающая машина, хлопает дверца, раздаются приглушённые голоса.

Лежу. Закрываю глаза. Рябина созрела, говорят, рябина созрела. Может быть, усну.

Убыстрется бег дней! Сквозь сон стук каблучков. Спешила, дверью хлопнула. Половина восьмого. Что-то снилось. Стёрлось. Обидно.

Чай, окно открыто. Рябинка сгибается, грозди. Долго ей держать это время?

Зима придёт, снегирьки будут тюкать по яголке.

Ну, послушаем, что ты сегодня скажешь?.. Ощущение осени – вот и всё. Слова приходят, и слова уходят. Минутки только, и жизнь.

Вот и он восходит – в намечающемся новом вечере, в туманной высоте неба. Бледный он неизъяснимо. Серп – осеннему горлу. Просвистит – и закапают, алея в сумраке, листья. Я и говорю: осень...

Спал бы ещё, спал, но в квартире над нами со стуком распахнули окно, стали громко ходить, передвигать вещи. Женский голос: да будешь ли ты вставать, в школу опоздаешь!

Ну и слышимость в этих хрущёвках! Из решета перегородки сделаны.

За окном всё, слава богу, как прежде, рябинки, клёны, полужелёные. Ночью шёл дождь. Асфальт мокрый. Шум голосов из детского сада. Лист полетел.

Ветер. Листья проносятся с искажёнными ужасом, жёлтыми мулатскими лицами. Могучее движение облаков по голубому холоду. Шатаются залитые кровью рябины.

Моё окно отрывается и летит вслед за листьями, вихрь крутит его и увлекает выше и выше в бурно-безумное небо. Окно с моим унылым октябрьским лицом, сорванное ветром, исчезает в жуткой высоте голого неба.

Ночь настанет. Что ей надо? Форточка открыта, ветер её трясёт, запах сырости, шум дождя. Капелька срыгается, катастрофически скользит, рисуя свой путь.

Автопортрет из капель в раме на чёрном фоне в ореоле движущихся к гибели черт.

– Что ты ищешь – спрашивает Л. – Вчерашний день?.. – Я оборачиваюсь, смотрю на неё в недоумении, голова кружится.

– Может быть, – говорю, – может быть... – И продолжаю выдвигать ящик за ящиком.

В комнате мглисто и безотрадно, как вечером, как осенью, как в октябре, как в самые разнесчастные дни. Почему мы не зажигаем свет?..

Л. плещет водой в ванной. Мало ей влажности. Передавали же по радио: в городе сто процентов...

И в этом ящике ничего такого. Господи, я уже и сам забыл, что я ищу!

Перестук по карнизу. Капля с чёрной кошачьей головой заглядывает в окно.

Спать бы, да спать. Утро мглистое. Сон тянет к себе, в свои туманные омуты.

Отдёргиваю штору, плотную, тёмно-малиновую. Открываю настежь, со стуком, форточку. Приятно обдаёт лицо свежим, сырым воздухом с улицы, холодком дождя. Вяло начинаю делать упражнения, сгибать-разгибать руки. Пронзительно звенит телефон. Беру трубку.

– Здравствуй. Как у вас там дела?

– Да, ничего. Так...

– Надо бы подвал приготовить, железом обить. Крыса, паразитка, этой зимой больше мешка картошки стаскала...

Какая ближайшая электричка?.. Начинаю искать расписание, нет его нигде – ни в ящиках комода, ни в пиджаке.

– Как твоя книга?

– Так...

Окно: сосны. Холм в осенних красках.

Лист-сорванец. Радостно ему до красных чёртиков! Ворона на спинке скамьи. Чёрное и серое. Чугун, деревянные планки. Вот скамья каркнет и полетит по аллее.

Клён-канделябр.

– Что это? – говорит Л., схватив меня за руку.

Смотрю вверх, куда она показывает. Бледнеют, увенчанные совами, часы на башне. Без пяти двенадцать.

Толпы с мешками, с вёдрами, рюкзаками, лыжами. Пятница. Впереди – выходные дни.

– Бежим и мы! – испуганно зовёт Л., – электричка покажет хвост, что мы тогда делать будем?..

И мы бежим, бежим. Карабкаемся по ступеням. Да кончатся ли они когда-нибудь?! Кажется, нет. Лестница выше и выше...

– Всё равно теперь опоздали, – говорю, задыхаясь. Л., обессиленная, опускается на ступени. Часы на башне показывают двенадцать. Ровно.

Вода торфяная, пузырьки. Песчаная полоска. Ракушки – приоткрытые рты перламутра. Что-то они говорят. Река рябит. Нет – пора. Сворачиваю – к дачам.

Переступаю порог. Спиной женщина. Чёрный берет, тонкая шея. Оборачивается, грустная:

– Ну, сколько времени тебя ждать?

Бежим по дорожке, у шпал. Темно, лес. Стальное чудовище уже выползло на свой путь и громыхает у нас за спиной, кинув вдогонку длинное световое щупальце. За поворотом по-рыбьи блеснул рельс. Платформа должна быть, а её – нет.

– Но это же не поезд! – говорю в испуге, – ты посмотри: это же не поезд! Боже, куда мы бежим?..

Вот и суббота. Л. отдёргивает занавеску:

– Туман-то какой!

Позавтракали, собрали сумки, поедем. Я выбрал две книги – жёлтую и чёрную.

Электричка мчалась и мчалась с гулом, свистела. Я протираю запотелое стекло. Осенние краски. Держал книги в руке, так и не прочитал ни строчки.

Поднимаюсь на наш третий. Тяжёлая сумка, на ремне через плечо, в руке ведро, полное слив. Звоню.

За дверью шаги, шорох. Негромкий голос:

– Кто там?

– Это я. Открывай скорей.

Вхожу. Она в синем и белом, улыбается. Волосы окрашены охрой. Ей идёт.

– Вот, – говорю, – сливы.

– А я смотрю японский фильм. Интересно – кимоно, поклоны.

Иду за ней в комнату, на экране телевизора (цветной, недавно купили) мужчина и женщина, красивые, грустные японцы, на фоне зимнего пейзажа, синих снегов. Печальный у них разговор.

– Да это же снежная страна! – восклицаю я. – По повести Кавабаты. Ну, да... Ах, как жаль, что я так поздно...

Вышел из метро: дождь, зонты. Листья мокнут в лужах, утопленники. Да что ж это такое: не рассветает, а уже восьмой... Промелькнуло белое и красное, тускложёлтые, запотелые стекла – вагон.

Весь проспект впереди – в мутном, косом дожде, асфальтовая, сырая тоска, убегающий вдаль трамвай...

Ах, боже мой, какая слякоть! Увижу ли я ещё что-нибудь сегодня?..

Утренний полусвет. Стол, какие-то тексты. Лампа под бледно-розовым колпаком. Ключ, бронзовый, зубчатый, как пила. Что им открывать? Не знаю...

Занавеска, отдернутая, поникла, вздрагивает. А, может, это и не занавеска вовсе? А что?..

Ну, хорошо, хорошо. Октябрь, первое число, утро. Придёт ли, в конце концов, кто-нибудь? Или я один?..

Мало осталось. Бурые и оливковые. От первых дней мая до конца ноября.

Ноябрь и есть. Снегирьки пепельно-розовые. Ягоды мороженые. Ворона ворошит снег. Нашла что-то, накрыла лапой, тычет костяным носом у себя между растопыренными пальцами.

Одна половина окна чистая, другая в испарине, с бахромой капелек. Несколько капель – большие, налились.

Срываются, начинают движение, пересекая пустыню окна и перечёркивая пути друг другу, точно маленькие кометы, тянущие за собой влажный след.

– Какая у тебя тяжёлая голова. Наверное, полная чёрных мыслей.

– Куда же мне её деть, в таком случае? Может, чем тебе на колени, лучше – на рельсы?..

– Что у тебя, действительно, в голове? – говорит она.

Стекло. Обнимаю – прозрачное, ужасное, в кровь изрежусь! Изменится ли что-нибудь у неё в лице?..

Нет. Лицо Л. холодно, равнодушно. В окно дует.

Снежок у Астории. Дубовый лист оливковый, с загнутыми лапками, как мёртвый. Швейцар в позументах. Отъезжает плоская машина. Мне, собственно, к Л. Предприятие, полное женщин, шьющих.

Кирасир-Николай обнажил палаш. До декабря рукой подать. Мойка, грустно. Набираю цифры.

Ждал одну, а по лестнице две улыбающиеся женщины, сумку несут за две ручки.

– Я тебе ещё одну привела, – говорит Л.

Целую бледную щёку. – Как дома? – спрашиваю, – как мама?.. – Заглядываю в сумку. С сахаром, оказывается.

– Дорогонек он теперь. Что завтра будет? – говорит Л.

– Пора бы уже и отвыкать от сладкой жизни, – весело замечает другая.

– Ну, мы пойдём, – говорит Л., поправляя мне шарф. – Работать надо.

Взваливаю "сладкую жизнь" на спину. Ничего, не так уж и тяжело, как казалось.

– Говорил же я, что всё опять растает. Ну, какая может быть зима у нас в ноябре!.. – громко произносит кто-то на задней площадке троллейбуса.

Выхожу на "Гоголя". Дальше пешком. Вдоль мрачного, оттаявшего, просвеченного огоньками с набережной, сада. Слева – тёмная, гигантская, ощепиненная ремонтными лесами, масса Исакия. Толсто блестят колонны снизу, отблеском фонарей.

Нева. Ветер сильнее. Скала, конь. Ворона на лбу императора.

Три мутных лампочки. Поезда нет. Где же поезд?..

Спички на ветру, в билетной кассе – темно. Стучи, стучи...

С утра метель. У крыши соседнего дома завивается седая борода. Вчера ставил вторую раму, возился до двух ночи, подгонял, замазывал, затыкал. Чай у окна, на метель смотрю.

Калитка стукнула, каракулевая шапка, улыбается, взмах руки.

– Замёрзла! Чай...

Каждая пурпурная гроздь припорошена снежком. Листья рыжевато-золотые. Покачиваются. С чашкой чая у окна. Тихо.

Хлопья лижут асфальт. Утро. Проезжаю в автобусе Старокалинкин мост – столбы гранита, якорные цепи, чернила воды.

Щетина отягощает лицо, как набережную – чугунная решётка канала. Кто я?

Женщины в плащах холодны и, когда проходят мимо, от них веет сырым снегом, влагой. Мятая малина губ. Вот одна такая вошла на остановке, шуршит зонтом, складывает, текут капли. Лоскуток талона в зябких пальцах: пожалуйста. Где-то эти пальцы я уже видел. Во сне?.. Возвращаю прокушенный компостером талон.

Ветер сдувает с тополей в канал мокрые шапки.

Толпа, газета шуршит, набережная прогибается, фонари в глубине чернил, взывшая морда грузовика.

Шестиэтажное, в окнах темно. Опоздал?..

Стою, стою, никто не выходит.

Переулок засыпан снегом, зимует машина. Кошка пробежала. Старик вышел из противоположного дома, с палкой, в толстом пальто. Постоял, сомневаясь, трехногий. Снег летит.

Первое, что я слышу – голос, что он так громко, так сердито требует? Так темно, так рано!..

Голова, круглая, бритая – как большая капля. И, то жующий пищу, то произносящий жестокие слова, рот.

Метёт и метёт, колкий. Фонари – сосуды сияния. Слева, за садом, улица в жёлтых огнях. Трамвай бежит, два пустых вагона. А там что? Тёмная громада, округлость купола, мрамор колонн в бликах... У кого бы спросить: который час...

Женщина в белом? складки оконного платья... Ночней, чем вчера. Нева, двух игл не видно. Скала-наковальня и всадник.

Чудище с широким кузовом остановилось на дороге, гребёт, урча, под себя лапами.

Цепочка следов в шахматном порядке – на талом снегу. Шёл и исчез. Нет, стоит у дверей, затаился. Приказано сменить? Или убить?..

Это не погода. Это – горе. Холодно лежать в сырых пеленах подкидыву, на площадке перед дверьми, на гранитных параллелепипедах. Разрыдается – и опять будет слякоть.

Чашка. На белом фарфоровом дне – шепотка хлопьев, янтарная каёмка – след выпитого чая.

Пепельно. Крыши курят. Талые следы у калитки. Забор – ружья в чехлах. Старуха и собака удаляются в разные стороны...

Следы. Тут все прошли. Ставлю и я – свои, и они убегают, стираясь, бесследно. Никуда я так не дойду.

Книга. На середине закладка – чёрная и красная тушь: в мучительной гримасе лицо. Тело – отросток стального пера, истекает писательской кровью.

Они сидели на задних лапах. Трибунал – пять белых волков. Ждали моего ответа. Я понимал: поздно. Тянуть неммыслимо...

Здрав голову, раздираемый тоской и отчаяньем, я протяжно завыл. Это напоминало жуткий вопль проносившейся по площади пожарной машины.

Нож стоял над домами. Двери отсутствовали. В каждое окно заглядывал – неумолимый. Я был один. Я не мог закричать.

И просыпаться-то не хотелось. Знаю: поздно уже, рассвело давно. Что снилось – никак не вспомнить. Сны растаяли, утекли на глазах, оставив влажную дорожку...

Это то, что за окном – когда отдёрнешь тюль. Унылые крики ворон, мартовская сырость, мутно. Сучья в капельках. Лужи с зелёным ледяным дном. Ключки бумаг. Дождик, круги побежали. Мокрая ворона ходит по лужам, что-то ищет, внимательно склонив клюв.

Ну и день! Сапоги достать, зонт...

Деревья залеплены мартовским снегом. Может быть, последним. Мутная метель, влага хлопьев летит в лицо, в глаза, тая, струйки текут, щекам щекотно. Шёл бы вот так, и шёл, оставляя цепочку следов в этом безнадежно белом, осуждённом завтра растаять, исчезнуть, как сновидение...

Этот март, эта мутность. Грязь в городском саду, газета – утопленница. Кони встают на дыбы, рвут узду. Седоки угрюмы – не раздвинуть эти дома, эти граниты по сторонам пленной реки. Эти лица, эти машины, эта слякоть кругом, этот март.

Как светлей – так опять за своё. Лёд уходит, куда нам плыть?

Канцелярский магазин около метро. Ручку купил, лиловую, колокольчик. Дома никого, не пишется. Снег талый.

Беру лист, вожу пером по бумаге. Что ж, всё-таки, хоть что-то. В процессе письма получается непредсказуемое.

В апреле асфальт сух. Ветер крутит пыль и бумажки.

Приснилась прекрасная фраза из четырёх слов. Но к утру заспал. Никак не вспомнить. Начала и концы брезжат и тают.

У метро опухшие забулдыги продают подснежники, голубые, как глаза ангелов. Продадут – опохмелятся.

Тянет в лес.

Восстановить цепь утрат, вспомнить, что я терял, и посмотреть, с чего же началась эта череда, эти утраты, одна, влекущая за собой другую, и что из этого получилось, что стало со мной, и чем кончится.

Состояние пишущего, когда пишется само собой, как дышится, когда и не замечаешь этого, когда перо бежит по бумаге, или бродит по странице, как в заброшенном, кажущемся пустым и белым, саду, где по мере прохождения пера, проступают в одеждах слов образы и видения. Перо споткнётся о какую-то невидимую преграду (камень на дороге, калитку, порог старого дома), остановится и задумается.

Апрель – печальный зверь с бурой, грязной шерстью, его не приласкаешь, и разговора с ним не получается. Он не понимает слово "желание" и слово "невозможность". Он совсем не понимает слов. В его мутных, бездонно-зелёных, ледяных глазах тоска. Неизменная тоска голода. Чем я его покормлю? Выворачиваю карманы – ничего, дружок, нет. Я могу покормить только самим собой... Я предвижу, что это когда-нибудь плохо кончится, и этот печальный зверь однажды меня проглотит со всеми моими потрохами, со всем моим отчаянием.

Апрель идёт за мной по пятам, волоча по лужам унылый, понурый хвост. Так мы дойдём до парадной моего дома, и он будет подниматься за мной по ступеням, оставляя стекающие с лап грязные лужи. Даже палки нет – его прогнать, и, конечно, конечно же, я не успею проскочить в квартиру и захлопнуть перед его носом дверь. Нет, не успею.

Утро небритое, городской сад, щетина сучьев, круглое лезвие восходящего апрельского солнца. Псы летят по аллее, вскидывая упругие лапы, гнелые доги. Скучающий Геракл ждёт их, облокотись на мраморную дубину.

Полноводным потоком жёлтое море Адмиралтейства и парусник на золотом всплеске шпиля.

Солнце, засучив рукава, принимается за бритвё. Шее моей прохладно в вороте распахнутой рубашки.

Две девушки с маленькими, бледными грудями и наглый парень.

– Ты что – интеллигент? – спросила одна из девушек, – что ты нас так разглядываешь?

– Конечно, интеллигент, – ответил я, – поэтому у меня и мозг так устроен – девушек разглядывать. – Они захохотали. Парень сказал: – Ты, надеюсь, понимаешь: тебе придётся отсюда убраться.

Я покорно пожал плечами:

– Видимо – так.

– А знаешь что! – вдруг говорит парень, – я тебе Ляльку даю, – кивает на одну из девушек. – Вся в твоём распоряжении. Но – только один раз!..

– Хорошо, – говорит Лялька. – Так уж и быть, помойся в бане и приходи в пятницу.

Зелёная трава, небо в мае. Тишина и зной, горячие удары – солнце, сердце. Нагая девушка за кустом сирени. Ева. Всё это хорошо, но где тут море? Я не знаю. Что-то голубое, переливается. Удастся ли мне сегодня утонуть, уснуть на ярко-жёлтом дне, в танце лучей...

Теней нет. Ушли в землю, улетели в зенит. Полдень.

Кто-то зовёт: – Адам! Адам!

Голос такой молодой, звонкий, певучий, пьянящий... или это только чудится моему обманутому слуху в тишине, в жаре, в дрожащем пустынном воздухе?..

Июльское небо, троллейбус. Кваренги, кони, яблоки, рубли, липы. Лицо в солнце, улыбается. – Гуляете? – Тащит мальчика лет семи, худенький, бледный, смотрит задом наперёд, унылое любопытство.

Она не обернётся. Уплывает золотистый загар, прививка оспы, алое платье, открытое, с тесёмками.

Пушка – полдень! С неба сдёрнули пелену, и я увидел его в истинном, грозном виде.

Она, держа мальчика за руку, перебегает с ним дорогу. Идёт в саду, в лучах, в блеске. Всё!

Пустыни сытые, тупые. Ларьки, рыла, рубли, мухи. Освещённое солнцем лицо? Нет...

– Эй, сколько времени?

– Полдень.

В стёклах сумерки. Тюль вздувается. Сейчас усну. Целая ночь: спать, спать, спать, спать... на улице кивают смутные головы... Кружочки лап на свежей зелёной краске. – Кипит!

Пью – китайские драконы.

Надевает голубую блузку, белую юбку. Яркий, смеющийся взгляд.

Мысли путаются шелковистыми нитями в дождевом шуме... Солнце. Маленькими глотками пью чай, горячий. Слива за раскрытой створкой, в блеске, в ветре. Фиолетовые, сгибают ветви, плоды.

– Посмотри! Ничего ты не видишь!

– Пойдём в лес.

– Ты что! Там под каждым кустом – душ...

Яблоки-паданцы, с восковым румянцем, с червоточиной, на дорожке.

– Осторожно, не споткнись.

– Ничего не вижу.

Я в трёх шагах, в тени веранды. Вздрыгнул одновременно с женщиной и с задетым ею листом сирени, похожим на вырезанное чёрное сердце. Щекам жарко.

Растения в кадках на полу, веера пальм. Будто юг. И дождь дробно барабанил за стеклянной дверью, по кафельным плиткам у входа.

– Пойдём, я тебе покажу...

Вот она идёт из волн. Грудь в блеске бронзовых капель. Лицо надменное, неумолимое – как у статуи. И так каждый вечер.

Налетало тёплое крыло, сад в парусах. Небо – столбовая дорога огненных колёс. Месяц, огромный, оранжевый, долго стоял на западе, как великан-страж сада волшебных яблок, гигантских груш и слив

величиной с бочонок. Потом, зловеще побагровев, погрузился в тучи. Торчал только кровавый кончик серповидного ружья. Дверь дома, брюзжа, отворилась: – иди спать.

Усталая, в синем плаще.

– Больше ты мне ничего не хочешь сказать? – Она чего-то ждёт. Лицо, как незашторенное окно.

– Что же тебе ещё сказать. Яблоки созрели.

– Ну и собирай свои яблоки.

Сентябрь. Ветер срывает сырые и пёстрые числа. Стол, стул, кровать.

Сюжет-людоед пожирает мои вечера. Гнать пером по листу стаи неукротимых фраз. Свиристель писательства. А чуть засереет в окне скучный городской рассвет... Какая бессилие! Какая опустошённость! Пойти погулять?..

Люди, машины. Город тревожен. Что там – в промежутках дождей? Водосточные трубы, смесь шагов и шин, угроза наводнения, ночью хлестал дождь. Вот и сейчас...

Уткнув перо в сентябре, я очнулся от пьянства чернил сереющим, как грифель, ноябрьским утром. На столе толстая рукопись. Что с ней делать?

11. СКВОЗЬ СУХИЕ РЕСНИЦЫ

Зима, семипалая, сжимает снежок. Отгибаю палец за пальцем: понедельник, вторник, среда... Отогну седьмой – снежок и выпадет. Новый год. Утро, тёмное, зимнее. Сад. Гоголь снежком осыпан, как в горностае. В аллее, в мутном свете фонарей, матросы делают гимнастику. А корабль у них высоко в небе... Сомнение: пучок разноцветных путей в руке. Новый год. Новая белая рубашка. У лица нет лица. Зеркало. Люди на улице. Чистый шпиль. Зябнет золото. Никто не спится. Имя, счастливое, гуляет по губам. Чьё оно? Утро, матросы бегут. Нет огонька в глазах, как у чугунного Гоголя. Буду записывать так себе, озирая несущееся сквозь сухие ресницы. Люсьен Левен. Желтоватая проза. Лимон и грейпфрут. Две янтарных свечи в малахитовом подсвечнике. Коробка ананасного сока. Чай с птичками. 3-х литровая банка липового мёда. Полки книг до потолка, справа и слева. Платон, Сервантес, Марсель Пруст, Гоголь, Пушкин, Блок, Гамсун, Вирджиния Вулф. Ёлка, блестящие шары, розовые и красные. Будильник: 10 минут шестого. Брусничные занавески задёрнуты. Я, в

кофте цвета кофе со сливками. Пью кружку с розой. Чудно блещет месяц. Трудно сказать, как хорошо ясной морозной ночью потолкаться в куче смеющихся и поющих девушек. Русь, что ты от меня хочешь?.. Узор зимних веток в саду в тёмном воздухе. Я по первому снегу бреду, не звоню ему, боюсь. Стерн, Леонардо, Афанасьев. Царевна-змея. Скорый гонец. Золотая гора. Клад. Медведь на липовой ноге. Страшно... Город, сыро, груды грязного снега. Лейтенант ГАИ, рыжий, в шубе, с бляхой. Рисала. Солнце встало на западе. Нет уж, прощай! Утираю руки. Крестьянка на Некрасовском рынке плакала, из глаз текли по щекам овощи: морковь, свёкла, огурцы, помидоры, лук, капуста... Говорят, что я бываю иногда майором, у нас в спальне под кроватью. О, какая это мука! Я подхожу к нашей улице. Но что это? Почему – толпа? Пожарные машины, милиция... Не пропускают. Где наш дом?.. Широкая река Ване. Много вопросов толпится у меня в голове и вокруг неё. Лестница-Сократ мудро морщит ступени. На персидском ковре кувыркается серебристая моль. Майор – игральная карта. Найди её в колоде (как войдёшь – верхний ящик справа) и умри смертью храброго Христа, распятого на автомате. Матросы делают гимнастику, выдыхая морозный пар. Гоголь в белой шапочке. Вогнуто-выпуклый, двуликий, смеётся внутрь, смех с бубенчиками. Прыжок в бездне. Войдёшь в пещеру, и будет приход трёх неторопливых гостей. Будь крепче камня, но не до конца дня! Огромный плод несъедобен. Созерцай сквозь щель. Мощь в пальцах ног. Поднимешься в пустой город. Будут речи, но они не верны. Внезапно придёт человек в алых штанах. Меняют города, но не меняют колодец. Просвечивают рыбы. Голоса пернатых поднимаются в небо. От летящей птицы остается лишь голос её. Промочишь голову – ужас! Ах, птица-тройка!.. Матушка, за что они мучают меня, льют мне на голову холодную воду? Спаси твоего бедного сына!.. Купил батон, горячий, только что испечённый – из рук девушки. Вечер. Мне 49. Я не ядовит и не брит. Небо чернеет. Венера за шторой. Чудачества дез Эсента. Звезда ярче. Одиночество – тоже. Не могу ли я достать прозу Аполлинера? Что-то мы с ним перепутали. Метерлинк. Амброз Бирс. Стальное кольцо нацелено в лоб. Пчёлы спят в тихих домиках. Зеркальный сапог блеснул в конце улицы. – "Вы не видели негра?" Часы показывают чисто: пять усачей. – Куда идёт корабль? – К блядам. – Ваня! – кричит она, бледная, как экран. КОНЕЦ.

Звёзды. Буду читать красный том. В полночь зажёт нежное пламя. Задую и – спать. Башня в чешуйках. Как жаль, что уже напечатано.

Купил килограмм гречи. Не вспомнить сюжет сна. Сейчас выскочат волки. Лыжи шелестят по шёлку, как по ландышам. И под луной тени. Чистый полёт. Супрематизм неба. Погасло. Рыдала в темноте в девятом часу в пятницу. Я закрыл калитку. Сосна красная. Во сне я долго скатывался по крутой жёлтой дороге. Думал – в баню, а теперь не знаю. Печка. Пьер Лоти, узоры звёзд. Вернулся – оттепель, Л. молчит. Синие коробки. Вороны надрывно каркают на рассвете. Дверь на балкон – приоткрыта. Куда ушла Л.? Зря вернулся. В квартире пронзают меня отовсюду ножи – сверху, снизу, с боков, сквозь стены... Снег стучится в окно – я не слышу. Солнце – свежий, золотистый круг. Снежок влажный, озарённый. Опрокинул ведро с мусором в бак. Показались кошки, тощие, с пугливыми глазами. Вороны терзали что-то. Потом потемнело, начался снегопад. Нет, я так больше не могу. Разве это жизнь? Среда, четверг. Будет ли ещё что-нибудь?.. Мандариновые корки на снегу. Глазам радостно. Весь вечер молчали. Я – в кресле, с книгой. Она – пасьянс раскладывала. Вышло – измена, смерть. Чьё ж это такое счастье? Она говорит: её. А мне хочется думать: что всё это – моё. Кругом виноват. Всё равно. Ни к кому не пойду, никуда не поеду. Буду я всё хуже и хуже, всё виноватее, всё круглее, сам с собой. Шёл за девушкой по улице. Сиреневая куртка, сапоги с прыгающими кисточками, соломенная причёска, агатовая заколка-бабочка на затылке. Так и не оглянулась. Воскресенье, фонари. Пустой утренний трамвай проплыл, искря. Сад вздрагивает в сыром снегу. Гоголь мрачный, обмыленный метелью. Стою перед ним, смотрю. Он меня не видит, с залепленным лицом. Все дни без строчки. Как писать, чтобы речь лилась – талый ручей? Музыка?.. Читаю Октава Мирбо "Дневник горничной". Издание 1906г., с ятями. Купил в букинистике на Невском. Что-то случилось с моими словами: они перестали меня слушаться. Они не хотят отзываться ни на мою отчаянную мольбу, ни на яростные угрозы. Они презрительно молчат, как мертвецы, мало того: сегодня, чтобы меня подразнить, они с самого утра начали крутиться, крутиться, и вдруг понеслись густым бредом законного снегопада, и тогда на меня повеяло ужасом окончательной немоты... Ну вот, зачем это? Никак мне не избавиться от пафоса фраз. Туманное утро, сад в воде, вороны и Николай Васильевич. Купил Плотина трактаты, две тоненькие книжечки. Тают на глазах. Купил Афанасьева: "Поэтические воззрения славян на природу". В трёх красных томах. Сезанн, Сезанн, открой дверь! Не открывает. Слова липнут к листу, как ракушки к брюху кругосветного корабля. Книга – созданный словами, другой космос.

Вечер, луна, карканье ворон. За чёрными деревьями Медный Всадник на фоне румяно-золотой зари. Мальчик гуляет, злая луна, ветер с соломенными усами выглядывает из зарослей, сон пятерых солдат у костра, граната летит – стальная кукушка, космос сидит на пригорке, курит, пуская клубы Млечного пути, у него безжалостное, железное лицо, ружьё за плечами. Омерзение откроет Америку, если гласные будут, как слышатся. Омерзение, судари мои, скоро достигнет уже минус две тысячи по Цельсию! По Фаренгейту – фарс с фейерверком северного сияния. О, как я мёрзну от подобных перемен атмосферы! Такой уж я, знаете, зяблик. Голова моя – глобус, и больше ничего. Макушку мою сдавила ледяная, опушённая арктическим снегом, шапка. Это не шапка – это чугунный горшок, в котором деревенские бабы, обыкновенно, варят щи. Господи, как мне его скинуть с моей несчастной, горемычной головушки? Дурак! – кричат мне. – Дурак! У-лю-лю!.. Извините, судари мои, я очень хочу спать... Хожу вдоль полок, перебираю книги. Проснулся, отдёрнул штору – опять зима. Всё бело, всё в снегу. В доме проснулись оса и комар. Понедельник, капли. Дюренматт. Боюсь расплаты бессонницами. Деньки! Март. Ещё страничка. Лицо закоптелось. Мамина. Павлин. Майор мой сентиментален. Осталось шесть дней. Увидел из-под арки ворот на бульваре. Удар молнии с ясного неба. На углу брошенный дом, шесть дырчатых этажей, будёновский шлем. Глухой голос из телефонной трубки? "Цезарь. Идущий на смерть, приветствую тебя", и невольно улыбаюсь. Красный передничек. Касания её пальцев волновали чрезмерно. Особенно, когда стала приглаживать мои волосы тёплыми ладошками. Певица голосила о любви, об урагане страстей, о капитане в белой морской фуражке. Пол передо мной был залит солнечным светом. Молодая, с накрашенной губой, тащит дитё в тележке. Родился Гоголь. Метель. Иду к коням. По Неве плывет шинель, бурая, солдатская. Утро, клочок синевы, перламутр наплывающий. Три чайки уносятся над десятиэтажным домом. Странная грусть, талость... Колеблются верхушки двух тополей. На верхнем этаже, от балкона к балкону – гирлянда белья. Сырые мартовские метели. Переключка ворон, таянье, туманы, обнажение земли, асфальта, тайн грязи, захороненных зимой, мёртвых, истлевших бумажек, записок, сновидений, самоубийств. Там, внизу, лежат, не успев распастыся, все тела, что выбрасывались с этажей в тёмные, зимние, ужасные месяцы. Когда же придёт дворник с граблями?.. Что-то брезжит и днём и ночью, снится в тревожной глубине снов. Растёт и растёт волнение, какая-то мука, наслоение жемчужной боли в раковине на дне

неведомого моря... Зачем мне ещё и это? Бельё между берёзами. Дом лучезарный, на верхнем, шестом этаже – раскрытое окно, девушка. В парке урок физкультуры. Шумная ватага третьеклашек, мальчики и девочки. Учитель, пузатый, в синих штанах с красной полосой, крепкая, курчавая голова, командует с восторженным удовольствием, зычно и весело: – Сюда, на травку. Становись в ряд. Начинаем крутить руками, как мельница. Раз, два, три – начинай! – Третьеклашки вразнойой крутят руками, радостно визжат, вскрикивают. Солнце спит. Высокая, надменная брюнетка в белом берете. Мучительно чёрные волосы. Смотрел, пока не прошла. Неожиданно жестокое волнующее мгновение. Солнце, ручей, тополя в почках вдоль дороги – всё жестоко. Устал. Не крутится колесо. От осени через зиму – опять к этим тонам. Академия художеств утром. Апрель, веточки. Вышел из дома – луна! Огромная, жёлтая, низко. Зеркала льда. Верба. Туман. День как Дао. Ворона на чёрном льду. Ветки в почках на сером небе. Воздух, девушки. Стена блестит. Капли. Чистая запись. Чай. Прогулка в бурю. Три брусничных томака. Утром спрятала под берет кудряшки. К врачу – на другой край города. Я смотрел в кухонное окно. Снег. Везли кровать по Стачек. Шофёр: я совершенно не знаю юго-запада. Мостик, золото в канале. Зайти в Дом Книги? Мойка, зонтики. Пушкин. Ему шестьдесят – а он в Германии. Солнце-самосожженец. Пить водку в талом саду. Сад воскрес, облака. Кораблик сквозной, золотой. Куда нам плыть? На Невском крутятся три девушки в сиреневых шляпах. В Лавке писателя купил Жакоба и Сен-Жон-Перса. Цветы, птицы. Над истлевшим ковром голубые глаза. То тут, то там – лимонницы. Внизу, за ветвями – яркоизумрудное поле. Солнце, облака, ледяной ветер. Парад на Красной площади, полки ветеранов, старики в орденах. Речь высокого, красивого американца. 1418 дней войны. 27 миллионов погибших в Советском Союзе. Дождь, серые капли. В саду мокнет травка. Холодный май. Я в ватнике сижу у окна, смотрю в сад: зеленеющие в каплях кусты смородины. Повествовательный темперамент? Или это что-то другое? Забыл. Жара, сирень, бабочки, купаюсь. Траурная старуха пронесла завёрнутую в газету сирень. Зелёная трава и небо в мае, забытые слова о божьем рае. Зацвели рябина, вишня, боярышник. Купаюсь. Взобрался по железной лесенке. Капельки щекотали, скатываясь. Кабинка была занята: четыре стройных золотистых ноги. Глазам было больно, увяз в горячем песке. Вечером, в восьмом часу – страшная гроза! Молнии, ливень, шум потопа, взрывы грома. Дом сотряслся от небесного грохота. Я сидел у раскрытого окна на втором этаже, ждал –

ударит, уьёт мгновенно. Превосходный конец. Но стрелы пролетели мимо. Нагая девушка с сиренью грустила под узорной тенью... А дальше не сочиняется. Лето. Любовь, Элеонора, чёрные, взятые у воронова крыла, волосы. Грусть-тоска. Вороново крыло Элеоноры. Оно уже пролетело. Окучиваю картошку. Леночка, дачница. Я всё ещё храню очарование нашей краткой прогулки. Город химер. Вавилон, Фивы, Ниневия, Содом, Иерусалим, Афины, Рим, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Петербург. Город солнца. Жало тоски притуплено. У раскрытого окна. Книги. Печатный поток. Звёздные реки и огненные валы, плещущие в небо. Мутные, пепельно-серые океаны Скуки. Электричество, встреча плюса и минуса. Удар молнии в лицо. Обнажённое сердце. И. Кеплер – "О шестигранных снежинках". Сновидения и бессонницы, нечто на бумаге. Не нужно перечитывать и не жаль забыть, оборвав на полуслове. Это книга. Она то пишется, то спит. Рождается на бумаге и растёт, как дерево, как гора, как снежная лавина с ужасным лицом низвергающегося человека. Она – я. Иногда удаётся думать огненными буквами на бумаге, и она обращается в пепел, по двору летают бабочки сажки, и мне уже не прочесть ни строчки на их крыльях, не посмеяться и не погрустить. Священное безумие. Обоюдоострые мечи, как в анатомическом театре. Сижку с чаем у волевого окна. Клёны, зелёные носики. Стриж безоглядно перечеркнул небо. Холм в венке ромашек. Травы-великаны перекидываются васильками, колокольчиками.купаются кувшинки. Голова болит. Спал в духоте, с закрытой форточкой, боясь комаров. У Л. тележка с вещами, сумка. Поезд её увёз. Сказала: у нас не любовь, а сношения. Слово-то какое. Почему не пишется, слова не льются? Кто пишет? Тот?.. Читаю о Пиросмани. Читаю Ивана Шмелёва. Она сказала: посмотри, какие наивные облака. Июль, утро, выхожу из-под арки ворот. Низкое солнце бьёт в глаза. Трамвай, красно-фиолетовый, Иван-да-Марья, гремя по бульвару, поднимает пыль. Тон неба синеголубой. Хмурый. На плече невыспавшиеся звёздочки. Сложность и свежесть – что это? Слепил закат. Гигантский бронзовый шар, казалось, издавал стон. Две неподвижные человеческие фигуры на площади отбрасывали длинную тень. Одна из них была статуя. День смерти Лермонтова. В палате сумрачно. Я лежу возле матери, завёрнутый в пелёнку. В окно из-за морщин глядит страшная снежная страна. Крадутся волки и бандиты. Отец на соседней кровати спит в амуниции – в кителе, сапогах, положив пистолет под подушку. Огромное мокрое колесо года. Ещё шаг и зима. Листья в бисере. Я один и вокруг меня молчание. Сиденье, обитое звёздным бархатом.

Это вращение не остановится. Не забыть – убить себя в сентябре. Песчинка, прилипшая к шине, катается перед моими глазами. В моём окне шелест капель. Я и ты. Осколки не складываются. Так и пишу – в год. Широкий этот стол. Лист стекла. Пытаюсь дать себе прозрачный отчёт. Чудовищная книга без начала и конца – я не решился подступиться. Он, дождь. Не живётся. Утро, вихри. Я с ужасом подумал о моей одинокой дороге. Распахнутся, как сентябрьская карусель, леса. – Ах, Вы знаете, там была масса грибов! – Лицо прислонилось к стеклу. Отступило в судорогах. Царственные виды. Арбуза хочется. Мило – чашка. Хочет чувствовать себя женщиной, получать подарки. Читал дурацкие книги. Час, другой, третий. Едем, шушукаемся. Показывается голова и через минуту исчезает за лесом. У нас впереди целая ночь. Полёт в хрупкий, рискованный час первых сумерек. Зубастый город кого-то жуёт в густом тумане. Во всяком случае – не предмет моего любования. На их равнинный глаз – гора. Мне пока достаточно для целей. Дом, который я себе построил. Он весь состоит из стеклянных стрекоз. Отделилась и висит, вращая рот, пытается что-то сказать. Не терпится лечь. Кое-кто может оказаться. Рябина, клёны – золотые драпировки осени. Зеркало, три створки, в каждой – я, в сером свитере, ещё молодой. Череп, скелет. Осень, восемь колонн. Кваренги. Усыпанные листьями дорожки. Она подошла ко мне, улыбаясь, вся в чёрном, короткая юбка, высокие каблуки, волосы узлом, стройная, тонкая. Подала три грецких ореха: – если Вы не слабый, расколете. – Вы опасный человек: читаете одним взглядом целую страницу. Вы так и людей читаете, как разведчик. – Золотой клён, горький дымок, шорох шагов, сладость тлена, крик петуха. Обрато – луна. Жёлтая стена углом, две трубы. Жёлтое полуоблетелое дерево. На стене элегантный молодой человек в костюме с галстуком держит телефонную трубку. "Мобильная связь – новому поколению". Канал глиняный, нищенский, мутная вода, грязно-багровые корпуса заводов. Небо – рябь. Густо летело золото с лип. Луна в чёрных облаках. Читал вполголоса наизусть: Улялюм. Отговорила роща золотая. Бесследно канул день, желтея на балкон. Лесом мы шли по тропинке единственной. В пустоту, не услышан. Тепло, мотыльки во тьме. Вошёл в парадную – пепельно-жёлтый в чёрных пятнышках сел на ступеньку. Печаль низвергает человека с вершин совершенства. Спиноза шлифует чистые линзы. Гоголь, дождливо, белые колонны. Под зонтом тороплюсь на Галерную. Двор в мокрых тополевых листьях. В печурке ярко горят доски. Рабочий их ворошит. Запах кипящей смолы. Я встал из-за стола. В белом плаще,

уходя, помахала рукой. Следил за её чёрными длинными волосами, пока не исчезла. Сфинксы, фонари. Чёрные краны на громадной заре. Огненный росчерк низвергающегося самолёта. Сад едва прикрыт последними лоскутками. Барабанная дробь за воротами – взбудорить матросов. Кораблик в голом синем небе. Сегодня у меня семь пальцев – справа. Слева – перст, бронзовая башня. На дорожке лежит пьяный парень с деревянными брусьями, рваная куртка, штиблеты. Брусья свежеструганные, крестом. Парень рухнул на них, подвернув окровавленные кисти рук. Над ним обрюзглый старик, голова обрита, обмотана грязным бинтом. Толстое синее пальто с лисьим воротником опоясано верёвкой. Наклонился к парню и тормозит за плечо. – До Марата триста метров осталось, – говорит он, простирая пальцы в безрадостную даль октябрьского сквера. Мглисто. Коломенский мост. Мяч в канале. Слышу рост волос на спящей голове. Отодвигаюсь к краю. Ластясь, обвивается вокруг шеи. Заметят зебры! Тут у них посты через каждый метр! Трое курили. Питону плохо. Плечо перестало заслонять. Бело-голубая геометрия комнаты. У потолка два жутких жёлтых шара. Больничная палата. – Кто там? – Ленэнерго. – Что ты делаешь? Не открывай! – Идёт через двор в пальто с меховым воротником, в круглой меховой шапочке. Бегу открывать. Золотое небо и два розовохвостых низвергающихся самолёта. Требуются мойщицы-убийцы. Чиф державный. Нежное небо. Кожаные куртки, дубинки свисают на петельках с рук, лущат семечки. Между ними сидит в месеве снега, опустив голову, седой старик. Тоненький месяц, рынок, мясо, лязгает гравий. Луна. Арка. Гороховая. Себастьян Рок. Канал. Три тополя. Замахнулся пером. Вход со двора. Четыре заснеженные ступени. Праздник за фасадом большого здания, танцы на площадке. Левушка, с которой я хотел уйти. Взлетел через рамы, едва протиснулся, попал на чердак, стропила, стены нет. Показывал девушке – как я умею летать. Этот закат и на завтра обещает не худшее. В троллейбусе – вонючий, заросший, в красном армейском околыше, подступив к девушке, визгливо предложил: – Я хочу говорить с Вами на моём родном языке! – И громко затараторил потатарски. – Подбери в подворотне! – Испуганное и пёстрое показалось из смежной комнаты. Горбатыми руками мнёт гостя, тащит в квартиру. Челюсть чемодана отвисает. Барахло и книги. Смотрит, смотрит Пётр: стремительное движение тарелок завораживает. А жонглёр незрим. Отвращение к буквам! Ужас, ужас, ужас! – Такая история! – бьёт стол кулаком. Я пишу. На руках семь пальцев. Рукопись растёт, разбухает. Шут, сокровище, дубовый ящик. Оставьте – я сам! Лыдинки скользят с

писком и рассыпаются. Железные листья. Невы нет. Статуи. Я дожил до тусклых дней. Разболтался. Слякоть. Удалялась под черно-розовым зонтом по улице. Я отвернулся, кончено. Встал, разбитый. Впереди – пустыня субботнего дня. Когда же dokonают – коньками, кошмарами! – Я майор! – крикнул Н. жёлтому зданию. Окна на всех этажах распахнулись, высыпали усаые носы. Нет встреч. Кормлюсь мечтами. Снег в саду. Гоголю. Месяц, как топорик. Л. упала с лестницы. Ноги в синяках. Не ходит. Матросы бегут. Правая сторона месяца. Знают ли они маршрут? Февральский стакан. Вот и всё. Л. вошла, распевая Маха Кали. Я кричал, как будто в меня вбивали гвозди. Привела в два часа ночи горлопана. Уложила на полу под пуховым одеялом в смежной комнате, оставила дверь в спальню открытой и кричала: тебе не холодно? Утро грустное. Майор Н. Показал ему мой живот. В пупке железное кольцо болтается с обрывком цепочки. Испугался, вспотел. Нету! Дома забыл! Отцепилось как-то... Майор мрачно слушал. – Расстрелять! – приказал своим. Дни пролистываются с тревожными закладками снов. Книга жизни, взъерошенная, выпадает из рук, и я вижу последнюю, смертельно-бледную от испуга страницу. Матушка, спаси! За что они мучают меня! Спрашиваю – не дают ответа. Дом ли то мой синее вдали? Струна цыганской гитары, лопаается, звеня. Идут, идут, идут железным шагом, подняв лопаты с пальцами... Ночь, дождь. Залитый черной саа, отражения фонарей. Блестит в брызгах строгое чугунное лицо Гоголя. Что ты, Николай Васильевич?.. Губы твои сжаты. Молчание. Вот и мне тоже ничего не сказать. Некому, да и незачем.

12. ГОСТИ

Над креслом стоял синий крест. Окно галлюцинировало с тихим плеском. Гулял ветер, обвив голову чалмой из тюля. Фургон провёз почту за голубой угол – тоненько дребезжали стрекозы. Л. шила золотые шторы. Листья сверкали в сомнительном небе. Или майские поцелуи? Я шагнул в комнату.

Иерусалим – пишут паломники в святую землю, жуки в глянцеvитых панцирях. Мы очень удивились, когда увидели: Иерусалим не шире нашей квартиры. Я много путешествовал с Гоголем в середине прошлого столетия. Л. шила окну новое платье: в нём с минуты на минуту мог явиться Троицын день. Сирень предпринимала благоуханные крестовые походы за Гробом Господним. Я опять шагнул в комнату. Я молчал и любил семьсот лет. Л. подняла ко мне задумчивые глаза в крапинках.

Весь год я видел в них многое. Полдень, две створки. Этажи, дрожал лес, пчелиные поезда, взмах ленты с балкона. На столе гостило письмо с птицей. Что они пишут? Они советуют заключать хрупкие союзы. Они предлагают суп из одуванчиков. Игла вздохнула. Я пугливо взглянул на окно.

Нет, нет. Я не унывал. Будет ещё что-то. Солнце вспыхнет, дождик брызнет, разомкнутся у нас уста. Купим лодку и повесим на любимую стену. Янтарь родится в янтарной комнате. Книги и рыбки. И будет, наконец, звонок от Андрея Иваныча, чай с мятой, скипидарные сосны... Стрелка подвинулась, и я увидел цвет нового неба.

Цвинь-цувирлинь. Чижик-пыжик, не грусти, поедем на Ладогу. Там вот такие камни, вот такие волны, вот такая бирюза! Нетерпение моё росло, я подошёл, долго ли продлится шитьё? Солнце раскачивалось на берёзе, переплетались гамаки, стройно зажглись бронзовые книги. Меня окружали глаза в крапинках, следя за малейшей сменой теней на моём лице. Слова не находились. Вот как! Мы любили слова с пустотой, с молчанием, чуть-чуть чокнутые, с брачком, с хрустальным пузырьком внутри. Таких у нас не осталось.

Ветерок страха пробежал по губам. Шли куда-то лучи мимо пламенеющих её волос. Островки, архипелаги. Снятся пропажи, окна без стёкол, рассыпанные коралловые бусы, кубки разлитого любовного зелья. Странствия надувают паруса-бочки. Я пьян, я не умру. Надену перламутровый шлем – раковину со дна Ирландского моря, и уйду, не вернусь. Всё, всё, что снилось, предназначалось блестящему острию и вдевалось в ушко. Полдень длился, замер в зените маятник, медлил в колодце далёкий голос. Что они ещё пишут? Они предлагают гулять в солнечной долине и хлопать винной пробкой. Они рекомендуют заняться индивидуальной авиацией, используя летательный аппарат Татлина. Испробовать полёт в неясный, рискованный час рассвета или первых сумерек. В такие часы – самые чистые падения, ордена подвязок, георгиевские кресты. Трудно, трудно было б с ними не согласиться. Окна менялись, как часовые, и новые местности ставили сцены новых мистерий. Листья ликовали. На ярких площадях устраивались парады: маршировали маршалы, зеркала и гусеницы. И стояло, не шевелясь, безоблачное, безпоцелуйное небо.

Я вздрогнул. Катушки со стуком раскатились. Рама скрипнула, впустив кручёного в толе турка. В листьях ожила морская рябь, лодки, вёсла. Солнце с таинственным видом шлялось по комнате, полоща тельняшки, таская по коврам пятнистую шкуру. Изучало узоры, разгадывало тонкие планы теней, отодвигало стёкла, шелестело картами, искало сокровища, ломало голову над криптограммами, шифрами, распутывало и вновь запутывало клубки лабиринтов, свешивало на шёлковой ниточке сверкающего жука. Что-то зашумело. У берёзы вдруг объявились родственники среди болтливых фонтанов. Мычал несчастный бычок, запертый в китайском фарфоре на строгой полке. По шторе, достигая высшего совершенства, промчалась стая блестящих игл. Остриё ставило мастерскую золотую точку.

Это было седьмое число. Ножик дрожал. Плавно поворачивался очищенный сочный шар. Качнулся ржаной сноп. Что там – вёсла сложили? Или – облизанные губы?

Долгожданный звонок от Андрея Иваныча ещё звучал в ушах – дин-дон, дин-дон. Весь в бороде, как Леонардо да Винчи, звал нас к себе в пронизанный спицами солнца сосновый бор – подышать озоном, погулять по сухим дорожкам, радуясь каждому шагу, ни о чём грустном не думать, спать в смолистом деревянном доме на широких самодельных кроватях, завтракать на веранде с раскрытыми створками, потчусь цветочным майским мёдом под несмолкаемый гтичий гомон, щебетанье певчих гортаней.

Заманчиво всё это звучало в воздухе вокруг нас, мы медлили с решением, планируя наше лето, ждали ещё что-то, каких-то предзнаменований. Сочная долька, устав в плену пальцев, просилась в небо. Так оно и было в ту остановленную минуту, именно – так. Ползла спираль. Ножик дрожал, лоснясь.

Это был пруд под скатертью ряски, это был учащённый пульс, клейкие кружева, жгучие жала в широкополых шляпах. Я гулял по берегу, пересыпая в тёплых ладонях горсть улиток, толпились пахучие шапки, зонты, валериана. Загорелое плечо, глаза в глаза, здесь, смеясь, с пчелой в причёске. Сарафан с тесёмками накрест путался в суставчатых стеблях.

Я поднялся, отодвинул стул. И тогда вернулась та местность в призрачных полосах, будто чьё-то сброшенное перед самым пробуждением платье. Сяду с ней играть в бесшумные шахматы, и слоны будут покачивать изогнутыми белыми бивнями.

Весло кудрвится. Подводные камни возбуждённо переливаются и привстают. Зыбко складывается высоколобое приветливое лицо.

Гулко – хоть аукайся. Разматывается путь, начертанный голубоватыми лабиринтами у меня на ладони.

Плеснуло, окликнуло кувшином. Два шахматных квадрата столкнулись на большой глубине. Она не обернётся, не вспомнит. Споткнётся на пороге, сломаются стрелки, растают на сырой щеке.

Я искал. Сто стёртых медалей брэнчало в ящике. Запонки – яшмовые муравьи. Л. стояла в дальней комнате, пасмурно опираясь о листовую чай. Сердцевина окрепла. Известия шелестели.

Ду-ду – донёлся сигнал. В чистом стекле отразились ноздри. Этот девственный призрак не просил очертаний. Запах апельсина не выветривался с пальцев и бродил, бродил по комнатам, не отпускали его из дому. Раскрылся на середине альбом с рисунками гусениц. Челюсти грызли сочный лист.

В стёклах мелькнул солдат. Уголёк раскуренной трубки запутался в кудрях двух берёз. Из булочной никто не появлялся, ванильный, с изюмом, горячий, испечённый. Самолёт, качнув четыре слюдяных крыла, бесшумно сел на лучшую стену, и нельзя было его смахнуть. В чьём-то горле, в минуте ходьбы отсюда, булькая, полоскалась сода. Войско крохотных храбрых муравьев пропало без новостей, и я напрасно рассыпал на их пути сахар. Вот как. Всё в тот день делалось напрасно.

Утюг пытел. Гибкая талия близко от меня сгибалась над блузками. Ничего нельзя было выбрать к переменчивому лицу. Стремительно крутились спицы велосипеда.

Деревья, звери, горы, океаны, необъятное и необъяснимое небо. Бинобль придвигал отчётливые поля, облачную дорогу, лётчика в голубоглазой пилотке. Стрижи перечеркнули стол и пропали, их сдули могучие губы.

Солдат фукнул в усы – взвилась стая воробьев. Разложил на столике газету, резал штыком сало на прозрачные лепестки, над тополем блестящая выгнанная из рая бутылка водки. Солдат взял её и сорвал пробку. Потемнело, сад зашатался, посыпались вороны. Метнулась змейка, ударил железный гром. Бледные руки проворно закрывали рамы. Я боялся взглянуть в сад: опять сидит на сочной траве, полуодетая, с младенцем у голой груди. Перешёптывались верхушки, в шкафу стучались вешалки. Колесо велосипеда крутилось под горку – литой диск. Голоса, Чапаев, пулемётные ленты, в стёклах брызнул спящий Щорс. Подступило лицо в судорогах, всматривалось, лоб забинтован, в пятнах раздавленных красных вишен...

По улице бежало разгромленное небо. Трубка не раскуривалась до восьми вечера.

Послание гласило: "Ночным поездом из Софии. Просьба встретить. Болгарин." Будильники давно не заводили. Журчало радио, пели утопленницы, крутились кружочки пены. Я через стол переглянулся с чашкой. Губы качнулись.

Я не мог спросить о незнакомце, который извещал нас о скором своем прибытии. Словарь командовал полкой – мрачно-лимонный полковник. Числа теснились в пустых конвертах. Овалы трепетали, перепутав ночной и утренний лай. Полнолуния монет закатывались под диваны. Пятна льнули к новому её платью. Я отстранил нетронутый лист.

На причале смола липла к босым ступням. Мячики прыгали на волнах. Я стоял, смотрел. Бронза копеек текла сквозь неоскудевающие пальцы. Великан-соловей удалялся – ликующий клюв. Небо на щеке, не щёлкал. Поставленная в пятницу точка созревала. Тень моего стола простиралась за Гатчину.

День воздвигал из линз горячие купола. Письмо с лимоном рассеянно читало на веранде чашку чая. Кто этот пишущий ночными болгарскими поездами?..

Гости съезжались на дачу. Буква с чёрными крапинками на жёлтой спинке ползла через страницу. Реактивный гул спугнул курчавые бакенбарды, разлил чай, выскочили с боков два упругих чёрных крыла. Взвилась, возвращаясь в умное небо.

Летучая мышь, завёрнутая в зеркальную шаль, скользнула наискось от стола к книгам. В широких створках отразились корешки с названиями, от которых гулким колоколом забило сердце. Л. мочила ноги в пенистом шорохе раздвигаемых штор. Географическая карта кивнула, приглашая к полноводному путешествию. Пробка пахла йодом выброшенных на берег водорослей. Ладога подошла, колыхнув платьем, гладкие колени.

Я целовал нечётное число. Бесцельно топтались на столе пальцы. Сидели в саду семь зверей, неподвижно сидели они перед раскрытой верандой, никогда я не видел бессмертных лиц ангелов. Белые губы молчали. Я ждал: когда же разомкнутся эти уста.

Шелест вошёл незамеченный. Взъерошенная зелёная лапа искала Мартышкино. Расспросы заводили её далеко, густея по переулкам в мисках с душистой кашкой. Я оглянулся, почуяв вестника радости.

Это был новый рассвет. Пронеслись над глубокой подушкой гуслибедеи. Облако кинуло на веранду тёмный камень прохлады. Солнце умылось, блестели листья.

Андрей Иваныч звал в загорелом воздухе. В бороде у него гудел улей. Тюбики с ультрамарином и берлинской лазурью бряцали в карманах испещрённой куртки. Такой он был весь земной, сухой, с луговыми глазами полуденного Пана, с голосом кукушки в бору: раз, два, три, четыре, шесть, сорок... Приезжайте! Приезжайте!

Мазнуло дётгем, по шпалам убежал гудок. Тополевый пух плыл. Ласточка нарисовала стреловидный горизонт и умчалась, щебеча. Л. возвращалась.

Подняла с дорожки отсыревшую даму червей. Шла, задумчивая, повернув карту узорной стороной. Муха шумела в банке. Сбоку, из-под мышки давно уже дымился, булькая, кипящий хобот. Лепестки застелили стол и сели завтракать.

Испачкала новую юбку в раздавленных оранжевых существах и ушла переодеться до позднего сыроватого вечера. Удар откладывался в долгий ящик с двойным дном.

Из сада заглянул гусь. Ветер рванул страницы. Лицо Л. искажилось. Я стоял, ждал. Сарафан старел. Горели глазурию развешанные горшки, глядела, блестел день.

Соломенная шляпа затеяла пострадавший от солнца нос. Обвела цветущая вишня. Подушки сушились, не поднять потерянных рук.

Убегала, мелькая бронзовыми ногами. Горсть сладкого гороха, смех, поле ржи на подоле.

Небо, земля, спящие ресницы. Книги бегут по стене. Входит рассвет и тушит лампу.

Пальцы-ящерицы. Чайки летят с залива, несут крикливую весть. В лодке пусто. Здесь живут катастрофы. Море в рамке.

Глубокое раздумье. Тонут ялики. Море уйдёт, оставив складки смятой постели. С часов убежит молоко циферблата.

Рука, чашка с цаплей. На скатерти стремительно разрастается новый материк. Мы придумаем имя этой неизвестной стране. Мы там побываем. Мы там обязательно когда-нибудь побываем.

ДОЖДЬ В ЧЕТВЕРГ

Апрель, Ломоносов, бурный поток. Купили бутылку. Чернобархатистая велюровая шляпка, локти на парапете. Бес, седая борода бьется. "У тебя глаза огромные!" говорит она. "Синие и нежные, в лучистых морщинках как у Пана!" Парк просох. Акварельки расставлены на скамьях. Бородачи с карандашами: "Не желаете портретик?". Всадник медный, рыцарь бедный. Пыльные столбы в вестибюле. Пол сам с собой играет в шашки: черные плитки против белых. "Скучаете?" В Кировском "Фауст". Она в бордовом португальском костюме, который я так люблю. Красива, кто спорит. В шесть встал. Весна! Веточки! Нет и нет ее. Подснежники в рюмке. А там у нас что? Минус шесть! Борей дует в свою ледяную трубу. Телефон потрескивает. "Хочу сшить себе платье" говорит она. Моет тарелки в раковине. Подарила рублем из зеркала. Апельсин резать. Поделится хлебом. "Спасибо за ножик!" Жемчужина с бульвара. Обеденный перерыв. Черный берет проплыл за стеклянной дверью. "Подышать вышли? Ой, холодно!". Розовый, на костяной ножке, сушится в углу. Унывает душа моя. На щеке пластырь. Бандитская пуля. Халатик с совком туда-сюда, босые пятки. Мать постарела, смородина в каплях, мокнет земля. Ночь. Ручей лепечет на дороге. Дно стакана. Прошумела в светло-сером. "Вот вам ванильные сухарики к чаю. Почему у вас руки трясутся?" Теплый вечер. Обводный. Зал хлопал. Свитерок, джинсы. Тоненький, как джигит. Египетский мост выгнулся кошками в золотых коронах. За столиком, глаза в глаза. Яблочный. "Что там черное? Таракан! Везет утопленнику!" Долго плевалась. Плюс восемнадцать! Засеребрилось, бес в ребро. "Я сейчас не могу прочесть ваши сочинения, я прочту их вечером". И краснеет, как пионерский галстук. "А? Что? Да..." Дикарь в зеркалах. Хрупко. "Заборская! К телефону!" Порвалась цепочка. Ивы цветут. Так и пора! Петергоф. Сидим на камне у моря. Вино кислое. Ночь. Лежим. Космос, кометы. Дождь в голубых шальварах. Ваниль выдохлась. Холода вернулись. Она, не она? Ах, хороша! Марево это... Треугольник, тонкие пальцы. "Мерзнете?" Повернулась с чашкой в руке: "Хорошо в такую погоду пить горячий кофе". Промелькнула за окном. Змеиным. "Я вам несу заказ!" День Победы: сгущенка, тушенка из рук сыпятся.

А там что? Тонконогая, буря черемухи. А я-то голый, с лопатой, врасплох. Май у нас. Огородные дела. "Не ждал!" говорит. А я голос потерял от счастья. Вечер в Геологическом институте. Возвращался поздно ночью. Ах, этот дух берез! Голос тихий в трубке. Не сразу узнал. Она, полулежа, с младенцем. Я у нее в ногах. Ее облик смутен, но это она. Узкие подошвы ее босых ног касаются моего лица. Жуткое блаженство. Дом Лавалья. Она! Заколотилось бешено – птица в клетке. Отдать больничный. Опять этот черно-розовый узор. "Что вы хотите? Они ведь у вас откуда-то из загорода? Мы на днях были под Лугой – там едва зацветают". Мойка. Пушкин мокнет во дворике. 25 мая, бывает... Солнечное утро. Высыпали, щебечут. Фотографируются у подъезда. Белая блузка, черная юбка. Школьница. "А? Что?" Кваренги, кони. Мария Биешу: "Лаванда, горная лаванда, наших встреч с тобой синие цветы..." С ней на лодке, Оредеж, попали под дождь. С понедельника июнь. Сирень в хрустальном горле. Длинное, облегает до лодыжек. "Хорошо, прочитаю. Вы меня снабжаете литературой". Кружу, шашки. Дочь коменданта. "Скучаете? Вы тут как в темнице". Дождь, темно, брюки отглажены, свежeweымытая шевелюра, рука дрожит. Положил на стол. "Не надо сердиться" говорю. "На таких не сердятся". Зонттик в саду бежит. Знакомый зонттик. Взбегает по ступеням. "Дышите воздухом? Да, я вся промокла!" Широкое серебряное кольцо. Принесла полную чашку молока: "Кушайте!" Чертит за столом какие-то значки на квадратиках фото пленки. Такая у нее работа. Сирень вянет. "Да, но зато есть время". "Давно, и еще долго собираюсь" "Сашенька, купи молочка!" Рассыпаются, мелкозавитые. Влажно, сад шатается. Гроза. Гранат. "Я так люблю ландыши!" Поднесла к ноздрям. Галерная, арка. На ветру журнал. "Любовь по-венгерски". Поэзию не любит, стихами не увлекается. Но дома есть библиотечка поэта. Купить пальто. Весь день мелькал. Июль. Плохи дела. Тополиный пух гуляет по городу. Явилась, чудное мгновенье. Белое, в розовую полоску. Руки голые, загар, клеймо, оспа. В Новгород на лето. Не до Мандельштама. Истфак. Гостит отец. Поедет провожать на вокзал. "Что это вы за книгу такую большую читаете?". Жара. Автобус с девушками. пляж-мираж. Рация из сада. Усы, буйноволос, Кисловодск, медсестры, спирт, "не просыхали". Ремонт, фасад в лесах, заляпаные маляриши. Им звякнуть. "Вы когда закрываете здание? Не хочется приходить в понедельник".

Обернулась, чертежное перо в руке. Ключ на гвоздик. Душный конский хвост. "Все лето провести в этом каземате!" "Вышли бы, погрелись. Только что-нибудь может упасть сверху". Гавань. Торт. Ветер, солнце. Усталая, грустная. Морщинки у глаз, опущенные углы рта. Уплывает, уплывает это лицо... Гражданский проспект, новостройка, пробираюсь по досочкам. Кряжистый. Молотобоец с Днепра. Журналы. Ночной дождь, тепло, тополя пахнут. Строил ящик для угля. Пустая постель. За дверью голос! Вышел, шум шатается, мрачно блестят, с черных сердец стекают капли. Ночь, четверг, водяной кий расшибся в брызгах о пристань. В газете страшно: столкновения. Пассажирский с товарным. С юга. Пятигорск. Льет и льет. "Кто тебя обидел?". Доить козла в решето. Страна фракийцев, укротителей коней, земля мисян. Звонок из Крыма. Торопливо, озабоченно. Феодосия, голос не свой. В два ночи, перрон. Бросилась на шею. Новая, остриженная. "Привет!" Груши, дыни. Едва дотащила... Звонок из Москвы. Веселый голосок: "Что ты, не ночуешь дома? Или телефон отключаешь? Почему ты грустный? А я была на выставке Шагала!" Сентябрь. Беру трубку. То воды в рот набрали, то прокуренный. "Юра? Ты меня узнаешь? Все равно. Давай хоть с тобой поболтаем, пока у меня перемена". Учительница в школе, 23, отец полковник, живет одна в однокомнатной квартире. Своя машина. Знает наизусть стихотворение Жуковского "Привидение". "Какой ты неразговорчивый! Тебе сорок один? У тебя совсем молодой голос". Ноябрь. Чайка в небе. Старичок, начальник маяка в Ломоносове. Седая борода, тулуп, трость, железные зубы. Не желаю ли я работать у него служителем маяка. Я подумаю. Поезд на Ораниенбаум. Сквозняки, розовые пятки. "Что это вы говорите! Вот, чтобы вам не было скучно. Только помогите" В декабрьском саду удалялась вишневая шапочка и пропала. Февраль. В парикмахерскую. Светло, солнце. Стою я тут на углу, смотрю в небо и – легче. Пришла. Целовал ее холодные румяные щеки. Водка в хрустальных рюмочках. Грустный разговор. Рвать сердце. На этом крест. Сырой снег. Ноги промочим. Март. Дышится. "Когда-то ты называл меня среброногой нимфой, а теперь я просто кляча". Леопард. Луна. "Я очень тронута". Алеет, мак, вся, вся, до мизинцев ног. "Сколько надо заплатить?" Снег с ветром. Улица Зенитчиков. Книги. Френсис Бэкон. В цветочном купил каллы. Врубель, Лебяжье, заячья губа. В четвертом часу у "Метрополя".

Мане, Моне. Апрель. Снег выпал. Спрашивала о Бхагавадгите. Ей не выговорить. Смеялись. Полкило "Чародейки". "Семь самураев". Едва высидели две серии. Проснулся. Мутно. Споткнулся о порог. Целовал ноги, а они тают, тают. На то и снегурка. Кому-то из нас улетать. Билет на Байкал. А там и май. Чирикает решетка Таврического сада. Золотые клены, то лицо, омытые листвой тротуары. Молодо-зелено. Клуб "Водоканал". Книги вокруг. Всюду: на земле, на лестницах. Нашел то, что не искал. Звон будильника. Разлепил глаза. Шесть. Рань дикая. Постелила соломки. Стрельна, утопленное бревно, дуб шумит, дум полн. Небо в перьях. ТЮЗ. Звенигородская. Цветущая голова каштана. Голые девушки на лужайке машут ракетками. Тормоз, точка, прочитано. Как на тот свет. Юсуповский, Римского-Корсакова, в синем плаще, после дождя. "Тебе надо молодую". Поедем на лодке кататься. Попали в ливень. Пузыри. "Я полна желаний". Лестница без перил, сучки солнца, тесемки, спина, загар. "Пир королей", радужные жуки, духота в залах. На то и июль. Ничего не получится. Водяные елочки. У нее выкидыш. Плачет ночью: "Наш ребеночек..." Эмбрион. Мутно-восковой. Месяц на рассвете. Решено: едем. "Ростов-Ереван". Глядим: предгорья. Туапсе. Сняли на горе, дождь догнал, хлюпаем в тапках. Сентябрь, буря, море-фагот, бешеное, фонтаны над дамбой. Подобрались к этому ужасу поближе. Улочку захлестнуло. Град, ураган, все радости. Мокрые, оглушенные, зато видели. Аше. Сняли мазанку. Две железных койки, Левитан "Золотая осень". Ночь, шторм, ждем поезда. Мимо, мимо. Прожектор с горы шарит в море. Бушующие валы. "Левитан" колышется, шуршит. Бледней мела. Эол дует с гор в трубу ущелья. Кто нас сюда заташил? Лебяное дыхание вершин ходит, как у себя дома, ерошит нам волосы. Бессонный хозяин. Дожить до рассвета, южные лучи согреют двух дикарей. Купались в прибое. Соль наследила белесоватыми лапами на обложке брошенной книги. Автобусик крутит ночной серпантин над пропастью, толкает, клонит. И при каждом толчке она сжимает мне руку. Крепко-крепко. Ночной перелет в Минводы. Кавказ под нами. Луна. Посеребренный грецкий орех на ладони неизвестного нам гиганта. Ночь на чемоданах. Кисловодск, куда глаза... 2 тысячи метров над уровнем. По-змеиному. Провал, Княжна Мери, голова кружится. Колеса на север. Соленые камни, солнце всходит над светлоглазым морем. По гребню кто-то идет, осыпая гальку.

Метель залепила лицо, пальто. Песочная набережная, "Бавария", старик с канистрой, Олег Палыч, уволенный инженер. Борьба с зеленым змеем. Ведут в заднюю комнату, составлять протокол. Армения. "Ленинобад в обломках". Двести тысяч детей-сирот. На Мойке из-под полы: "Советское искусство 20-30 годов". 23 рубля. Проснулся. Темно. Тускло отсвечивает стекло книжного шкафа. Гимнастика. Вяло размахивал руками. Утюг блестел на гладильной доске вверх железным носом, тонущий крейсер. Январь. Вздрогнул и выпянулся. "С Новым годом! Да так себе, в семейном кругу". "Покурить вышли? Идите, а то простудитесь". На Невском буран, "Искусство", китайские веера. Февраль. 2-е. С ней на Литейный. Центральный лекторий, вечер поэта А. Пиджачок чувашский. "Вот, да, живет где-то здесь. Незаслуженно замалчивается..." Пройтись, локоть в локоть. Робею, голос дрожит. Да я ли это? Нет, нет, до гроба. "Я приду к вам сюда посидеть". Март, метель. Чай пили. Ставил ручку на дверь, весь день провозился, измучился. Апрель, митинги, подполковник Засыпкин из политотдела, луженая глотка: "Будьте политически устойчивые, а то потеряете моральное лицо". Тбилиси. Саперные лопатки. У нее болит голова, лоб стянут платком. Гладит плащ, опрыскивая из рта. Плащ шипит. Надела, отглаженный, синий, весенний, и ушла. Смотрю в окно с высоты третьего этажа. Все-таки оглянулась, махнула рукой, Мне очень грустно все эти дни. Мы в зимнем зеркале. Обнимаемся. Она, повернув голову, глядит на наше отражение. "Какие мы смешные" говорит. Май. Переставлял книги. Таврическая улица. Искал Фета. Свалял дурака. День пропал, солнечный, синий. Нити ведут в запутанном лабиринте. Исакий в тумане. Так это Сахаров выступает! Проснулся в десятом часу. Она уже давно встала, помылась в ванной, напевает, мокрые кудряшки. Пили чай. В Челябинске взорвались два пассажирских поезда, от газа. Много жертв. Идем. К метро. Тепло, тополя. Она в голубой блузке с белыми ленточками на груди. Дрожат на дороге тени ветвей. Солнце запуталось, чуть слышный шум листьев. "Ты сейчас улыбаешься, как Пан у Врубеля" говорит она "У тебя глаза в морщинках, не одна я старею. Глаза такие светлые, мудрые и добрые. Ну, вылитый Пан с голубыми глазами и свирелью!". Пришла за полночь, загадочно улыбается. "Почему так поздно?" спрашиваю. "Где ты была?" "Это женский секрет" отвечает. Потом выяснилось: она стала ходить на массаж лица в косметический кабинет. Два раза в неделю. "Как ты не

понимаешь, что хочется быть красивой! Я всегда, с юности, так хотела быть красивой!" "Ну, ну, скажи, как ты меня любишь?" "Ну, я постоянно хочу тебя обнимать". Она смеется: "А я хочу, чтобы ты всегда хотел меня добывать!" Июнь, жара, музеи, музыка, Польша. Октябрь. 10-е. Встали в седьмом. Летим в Анапу. Сошли с трапа, теплый ветер налетел, обнял. Платье затрепетало у ее ног. Номер, моря не видно – вот что жаль. Купались, еще можно. С утра дождь. И так до обеда. Читаю. Она спит. Сосенки-дикобразы. Купался один. Она не сумасшедшая. Ветер. Вода жжет. Трясусь в толстом свитере. Не согреться. Глотнул коньячка. Гуляли у моря, фотографировались. Гулять тут хорошо. Песок золотистый, море шелестит у ног. Шли три часа, до заката. Волна бежит, журча, изгибается, показывая ярко-зеленое брюшко, и выплескивается на песок. Анапа, мыс в розовой дымке. Махнем в Тамань. Встали рано. Пар из рта. Тополя, станицы, фруктовые сады, мазанки. В Тамани задувает, гребешки. Черное с Азовским, братья, обнялись. Там Крым, та башенка белеет. Да, дворик этот. Обведен булыжником, и лачужка-музей. И слепой мальчик тут где-то. Закоченели. Кочерыжки. Фотографироваться на ветру. Утром перед завтраком бегаю у моря и купаюсь. У нее процедуры: родоновые ванны, мацеста, психотерапевт. Плачет. Бежит от меня босиком по берегу у моря, оставляя узкие следы в золотистом песке. Обессилев, задыхаясь, рыдая. Вырывается, хочет утопиться. Восход, море зажглось. "Ты пойми" говорит "мне же не нужен другой мужчина". В Анапе Бенедикт Лившиц. Купил зачем-то. Гуляли по набережной. Спустились по скользкой скалистой дорожке, рискуя сломать шею. Море мурлычет у камней, и эта даль, этот блеск. Хурма во рту тает, плод богов. Дом отдыха "Юность". Пионеры, безрукие, с отбитыми носами, позолота облупилась. Ноябрь, гул шторма, гребни бегут в окно столовой. Улетаем. В Ленинграде ждут дождь и снег. Будто бы умер. Сажу в надмирной пустоте и мраке за широким, прозрачным, как стекло, столом, и передо мной лежит книга моей прожитой на земле жизни, озаренная ярко-пронзительным светом посмертного знания. Я и читаю, и пишу ее. Будто бы читать это и есть – писать. И когда я поставлю последнюю точку у последнего слова "Конец", я тут же рассыплюсь в прах и исчезну в пустоте и мраке. А книга? Бог поставит себе на полку?.. Декабрь. Снегирек за окном. Баня. Шел обратно в сумерках через парк, легкий, как перышко. Шампанское, вскрикнув, стреляет пробкой в потолок. Двенадцатый удар, новый

круг. Январь. Я один. Она в Минске. Вернулась, поет: "Милого голоса звуки любимые". Гость звенит в дверь. Февраль. Книжонка попалась. В. Освальд "Письма о живописи". "Мы вовсе не видим предметов так, как они, в оптическом смысле, представляются нашему глазу, а так, как они нами легче всего познаются. Мы обыкновенно пользуемся нашими глазами вовсе не для того, чтобы воспринимать внешние красочные и световые ощущения как цветочные пятна, но чтобы ориентироваться во внешнем мире для повседневных и практических целей". Март. Снег. Густой-густой. Адмиралтейство. Мирбо "Голгофа". Мучительные страницы. В Манеже художник, лоб, черная рубаха, кушак. Объясняет свой метод окружившим его девушкам: "Малевич – физический геометризм. Я – от психического, мое открытие – спонтанность воли в мазке, в краске, сталкивающаяся с природной необходимостью, жесткостью природных геометрических форм". Конец мая, холод, дождь. "Доктор Живаго" у нее на подушке. За стеной труба рыдает. Докатился. Июнь. Не забыли мы чего? Толмачево. "Живой ручей". Шатровая липа у входа. Комната, окно в лес. Распахнул – птицы! Такой тут у них хор! Писк, щебет – весь божий день! Луг по шею, ромашки-колокольчики. Нас остерегают: "Тут змеи! Гуляйте да поглядывайте!". Жара пришла.купаемся в реке-Луке. Поход за целебной водой. Ящера бежит, блестит, обрывы, сосны. С крутизны муравьиная тропа. Сорви-головы. Запотелый бидончик. Ночь средь бела дня! Бежим! От столовой до жилого корпуса, под бесполезным зонтиком. Под навес, а за спиной – ух! Ледяные ядра рушатся на дороге. Такого града не видали, а полжизни позади. Спиной. Спит. Ровное дыхание. Занавеску золотит день. Потихоньку встаю. Стук стеклянной двери. Иду в лучах. Безлюдно. Площадка с теннисной сеткой, блики на асфальте. Ласточки, трепеща крыльями, с писком пропадают за крышей котельной.

"Алло! Ну что ты звонишь? Одень потеплей Женечку и идите гулять". Пушкинская 10. Чудом нашел. Разговоры. В восьмом часу вечера – страшная гроза. Дом сотрясается от небесного грохота. Стою у раскрытого окна, жду – ударит, убьет мгновенно. Но стрелы пролетели мимо. Июль. Проводил на Витебский. Тележка с вещами. Поезд ее увез. Бронзовый шар звенит на закате. "Молодой человек, вы меня, конечно, извините, у вас не найдется сигаретки?" По шпалам. Хрусталь дрожит над рельсами. Жара. Облако-холм. Тяжелое лицо. Голубой троллейбус на бульваре. "Тебе не надоело столько лет

обнимать один и тот же торс?" спрашивает она. Рябина откинулась от пощечины, всплеснулись зеленые кудри. Камень-диван со спинкой под изумрудным бархатом, Молоко колонн. Пришла с загорелыми ногами. "Большое спасибо! Вы в сентябре еще будете? Ну, значит, увидимся". У нее болят ноги. Мазал ей поясницу. Бедная. "Ладно, Слива. Вот, попейте чайку!" Светлый плащ, распустила волосы. Все у нас совпадает: день, месяц. На дворе сентябрь. Четверг. 14-е. О чем я думаю? Мое имя за спиной. В белом плаще, как обещала. В Дом Книги. Учебники. Стылый денек, канал, мозаика. "Долго он был в лесах!" Пруд покрыт ряской, бутылки лежат, как на столе. "Зачем Вам лишняя головная боль! Бросьте Вы это!" Полез на чердак. Карта Риги! Ноябрь уже. Седой рассвет. Как там Оредеж поживает? Наша ель. Измазались в смоле, обнимая друга. За нами долго плелась старая рыжая колли. Чудо! Млечный путь! В том переулке. Рой золотых пчел. Трещала наваленная куча толстых веток. Человек из мрака, красное лицо. 9-е. Обвел кружком. Хризантемы у метро. Курчавой головой покачивают: "Такие да не такие!". Телефонные признанья. Погода меняется, семь пятниц. Она! Кровь ударила. Два часа сидит, а сказала – на минутку. Тускло, бродим по рынку. Обшарили ряды. Купили мне польскую шапочку, кожаную, с козырьком. Она довольна, мне идет. Купили музыку слушать, антенна до неба – эфирный ус. "Латвийские поэты". Болтали. Серо-зеленые, ведьмовские. Ведьма и есть. Ее камень изумруд. Вместо "экскурсовод" я сказал – "экскурсовед", вместо "элитарный" – "улитарный". Ей стало весело, сняла пальто. Камни мокнут, как аспиды. Чайка летит, унося гроздь черного винограда. Мы водолеи. Аметист от пьянства. Полнолуние, жди бессонную ночь. Колдует над крышами. "Вы – человек эмоциональный". Показывает, смеясь: "Укрепляет мужскую силу!" Декабрь. Фонари бегут. Триста. Вот все, что у меня с собой. Пящци. Итальянец, что ли? Акварели. Домá, водопад рушится в ущелье. В каком из этих домов я хотел бы поселиться? Там дикий шум непрерывно, там жить невозможно. Керамика и фарфор Фаны Франк. Какую бы я выбрал тарелку? Эту. Называется: "Вегер". А эта – красная: "Брат солнца". А мог бы я тут остаться ночевать? Вместо мумии в саркофаге? Муж курит в ванной. Жена обрызгивает каким-то жутким дезодорантом, который еще хуже. Яшмовая ваза. От дождя хорошо укрываться. Двести шестьдесят пудов. Помножьте на шестнадцать. Сколько будет? А? Не сосчитать? Знаю, знаю, как у Пушкина: двойки по математике. Темные лоджии

Рафаэля. Невский, брызги. "Но потом я к вам загляну". Кришнамурти. Январь. Мокрая метель. Качаются сучья. Она еще спит. Филолай. "Когда несутся Солнце, Луна и еще столь великое множество таких огромных светил со столь великою быстротою, невозможно, чтобы не возникал некоторый необыкновенный по силе звук". Венера – шесть, жизнь – семь. Четверг. "Я к вам сегодня приду!" Звонкий молодой голос. Веселый и звонкий. Глажу пальцами телефонную трубку. Черные замшевые сапожки с меховой опушкой. Я читал книгу. Она шла ко мне в этих своих мягких сапожках, в красном свитере. Разговор о непорочном зачатии. Глаза у нее заблестели. "Оденусь и заберу ваш толстенький мандарин!" Погладил ее по спине. Снегу! Позвонила, поздравила. Они там отмечали у себя. Голос веселый, под хмельком. Шепчет: "Пока". Платформа, сумерки, снег липкий, сосны шумят. Пушинки попадают ей то в глаз, то в горло. Это у нее перчатки такие пушистые. Зато теплые. Просит зеркальце. У нее постоянно воруют кошельки. Кто-то может покушаться на ее деньги. Шапка, опушенная черным мехом, как у боярышни, перчатки. Между нами на лавке. Жест этот, каким она заправляет волосы под шапку перед зеркалом. Приручил Жар-птицу. На Большой Морской долго выбирал ожерелье. Будто бы я с какими-то людьми в зале с высоким потолком. Все заледенело: окна, пол – во льду. Мы сидим на скамьях, поджав ноги. Рядом за столом две девушки выдают деньги. Эти девушки – из лаборатории. Уборщица сгребает лопатой обломки льда – в яму в конце зала. Вдоль стен тоже сидят люди, окна у них за спиной в налезших льдинах. Кидают льдинки на середину зала, и они звенят, как колокольчик над дверью. "На всех денег не хватит" говорит мой сосед. Книга шевельнулась. Витебский. Залеплен. Похабщина. Поют в затылок: "Медный грошик дай, господин хороший!" Февраль. Оттепель. "Привет!" Два дня сдуло. Шла ко мне и, наконец, дошла. Это ее серое пальто с песцом, шапка-боярышня. Немного пьяна. "Я только на десять минут". А просидела три часа. "Яблоко искушения или раздора?" спрашивает. "Конечно, искушения!" отвечаю. "Ну так вот вам хвостик от яблока?". Оказывается, день Ксении Петербуржской. Томит жажда. Уронила шпильку под лавку. Говорит: у нее волосы длинные, ей поднимать неудобно, Это несчастье. "Ну, к чему это?" У него великолепные волосы, как бы ни постригли, помоем голову и – опять роскошная шевелюра. Она роковая женщина. Она не хочет меня погубить. "Сколько вы весите?" спрашивает. "Не знаю. Я

давно не вешался". Мой ответ ее развеселил. "Ведь мужские кости тяжелей" говорит. Толстый каблук. Любовь объясняется биохимическими реакциями и процессами. Конкурс красоты толстух. Чем толще, тем красивей. Размер ноги: 37. Любила кататься на коньках на Волхове. И на лыжах – с крепостной стены. "Вот какая я была отважная!". Март. Ананас. Навеселе. "Не на работе же!" говорит. "На работе нельзя". "А где же?" спрашиваю. "В чайхане!" смеется она. Чай "Горячий поцелуй". Человек я редкий, настоящий друг, на которого всегда можно положиться. Преданный, беззаветный, Чтобы у меня не было на этот счет никаких иллюзий. Уронила свой бархатный черный берет на пол, отряхала: "Ужас!". Брала за руку, утешала. "Такая уж ваша участь". "Да ну. Вы придумали эту любовь. Все это вы придумали. Ах, как пахнет ваш ананас! Уже поздно. Мне пора..." В нее влюблялись повально. Мальчики в классе приносили ей список своих имен и просили поставить крестики: кто ей нравится. Подруг у нее не было, с женщинами не может быть дружбы. Многое остается сокровенно. Душа не проходной двор. Любила танцевать. "Ничего, ничего. Все будет хорошо" говорит она. Рука у нее горячая. Май. Жарко. Встали рано. Шляпка с алым бантом. Ищем по городу. Теплозвукоизолятор. Лиговский. Камчатская. Пыль, грохот, переполненные трамваи. Большой Казачий переулок. Казачьи бани. Она устала, истомилась. "Зайдем?" Замки, краски. Дверь настежь. Две голоногие девицы сидят на ящиках у входа и курят. Играет музыка, и мальчик танцует на солнышке. Девушки хлопают. Витебский, бананы. "Это я!" Души из цветка, растущего у подножия Гималаев. Итальянские очки от солнца. Читает "Гойю" Фейхтвангера. "Воспоминания" дочери Куприна. Далека от китайского, и десятки страниц не могла одолеть. Фильмы ужасов. Насмотрится, а потом не уснуть. Гривцова. Задумчивая. Вздогнула, услышав свое имя. "Решала, куда пойти" объясняет она мне. "А вы?" "Вот, книги купил" отвечаю сокрушенно, "Что я за человек!" "Ну что вы. У каждого свои причуды" возражает она, желая меня утешить. Смотрю на нее, и сказать мне больше нечего. Неловкая пауза. "Ну что же вы притихли?" спрашивает она. Стоим посреди тротуара, мешая. Обходя нас, выражают недовольство. Ее бледное, припудренное лицо и эти крапинки, незаметные зимой и теперь опять проступившие. Тополя трепещут молодой листвой, игра света и тени на тротуаре, резкие порывы ветра. В мае не редкость ледяной вихрь. Она ежится и

передергивает плечами в своем тонком белом плаще, волосы ее крутит жгутом. "Замерзла. Я пойду" говорит она. Июнь. Бульвар. "Ну хорошо, я сейчас выйду". Троллейбус не тот. Кондукторша, на животе сумка, билетный рулончик. Куда меня занесло? Суворовский?.. Заячий переулочек, зонты, кафе "Грета". Бледно-голубое. Так это Смольнинский! "Нет, он на Охту..." Раздавленный лист. Дверь высокого напряжения. Череп и кости. Выбирай свой путь, тайна кухни, главная деталь в вашем автомобиле, идеальные акриловые ногти, делаем и обучаем, оптические прицелы, рисую с фото, Петрохлеб, Квант-Нева, вход в магазин Шоп, всем по карману, мы сделаем вашу любовь взаимной. Чемароза "Тайный брак". "Бавария" в баночках. Скверик. Консерваторские восторги. "Ах, какая белая ночь! Эх, ты, сухарь!" Поймали машину. Третий ночи. Сижу, шторы задвинуты, будто бы ветер, и сосны шумят в парке.

"Вы кушали? Я помешала?" "Да нет... Я уже все... Я так..." Вскочил из-за стола, сквозь землю провалиться. Нет, книги она не берет. "Кто же читает в отпуске!" Она будет ходить в гости, заведет много новых знакомств. На то и отпуск, чтобы завести новые знакомства, освежить жизнь. Она на минутку. Она сейчас уйдет. Холм. Бессолнечно. Тополиный пух на бетонных ступенях. Белые ночи, музыка из бара, голоса, смех – короткий и резкий, как удар, как ожог. Еду загород.купаюсь в озере. Хорошо идти босиком по насыпи, песок горячий, колокольчики голубенькие у шпал. Волны тепла обдают тело. Девушка и красная машина у платформы. Голые ноги, вислые груди под блузкой, расспросы: как выехать на шоссе. Безотрадно как-то. Слез нет. Ульянов, прислонясь к раме, читает "Евгения Онегина". "Прошла любовь, явилась Муза...". Июль. Блеск воды и девушки. Танец в сияющей пустоте. Ветер на ночной дороге, шелест тополей, луна над мостом, тень человека на стене, шевелюра, вытянутая рука, дуновение сырости, бесшумная, лилово-огнистая, изломанная ветка молнии над высотным домом. Блеск мокрого камня, навес автобусной остановки, рыбы силуэты машин. Фрейд, отцеубийство, бронза тел, брызги хрустально-зеленой воды. В саду ночью, когда я возвращался. На скамье парень без пиджака, гладит на коленях кошку. А это не кошка, это, оказывается, женская голова, курчавая, черная. Мяучит, стонет. Расслабленное лаской туловище, полосатые штаны в обтяжку, бедра и ляжки, змеиное. Гоголь. Синий Рим. Гуляли. Она в шелковом платьице с голубыми цветочками, которому уже двадцать лет. Вышел

из бани, постриженный – она машет мне с той стороны улицы. Огурцов, помидор, кукурузного масла. Асфальт липнет к нашим подошвам. Атомщики Смоленска идут с плакатами. Сон томящийся. Скульптурный стол психоанализа, памяти Андрес-Саломе. Удивительная женщина, в ореоле легенд. Желтые стулья на тротуаре. Бронзовый том. Облачное, неудобное небо. Смоченный поливалкой асфальт. "Большие дома погасили огни" поет экран. Толстые девки с воплями ныряют с обрыва, шлепаясь об воду брюхом. Кашель, плеск весел. Сизый дым костра поднимается над соснами. С бидоном ушла за черникой. Сижу. Собака дышит в затылок. Пыль на Гороховой. Геракл, флейта. Полнотелая, в цветном платье, банка из-под кофе – для подаваний. Не доехать до Стрельны, трамваи застряли в Автово. Писчий спазм. Да ладно. Погибать с фанфарами. Ходить куда-то, один, как пьяный, через блеск и тени, через пустынные знойные сады, через безлюдные дворы с мелкой травкой. Нагретые розовые заросли Иванчая, медовый запах, развешанное на веревках белье, колонна катков на шоссе, дух гудрона, горящее рыжими космами в клубках копоти сморгающее ведро и хрустально дрожащие вокруг него струи воздуха. Загорает, сидя на коврик, в мечтательной позе, подперев щеку ладонью. Ласточки-гимнастки на проводах. Вышел из воды, как новый. Бодр, свеж, мокрые волосы. Музыка из дома, поет женский голос, красивый, щемяще-печальный. Всю ночь не давал спать собачий лай. Бесшумная белая машина на дороге. Две девушки в голубом и черном купальниках, юные, гибкие. Одна, вылезая из воды, посмотрела на меня со значением. Я загорел, черный, как головешка. Летнее гуденье мух. Ягодка горит. Нянька в Нью-Йорке. При таком росте! Потоки дождя. Пропадают желания, которыми так долго томился. Подумать только! Слезет и эта шкура. Один, как невидимка. Что-нибудь да вышелушится. Стрельна, колючки, дворец, пух летит. Тишина звенит в ушах. Солнце припекает шею сзади, а холодок овеивает лицо. Вот и хорошо. Пишу, положив тетрадь на ветхие деревянные перила балюстрады. Стена рушится, маски разинули рты. Березка на балконе. Нашла, где жить! Ножку стройную продень. На площадке у стены пустые машины. Лопухи-гиганты. Ветер треплет край тетрадного листа, мешает писать. Залив выбросил на берег безголовый труп чайки. Шина в воде. "Ведь все еще лето" поет раскрытая дверца синей машины. Привела сына. Познакомиться. Цыганские сны. Туфельки с серебром. Сидит, оправляет подол. Час

пик. Крепкая, горячая нога. Вышла у Гостиного. Высокого роста, розовый плащ перекинут через руку. Груши, сливы. Август. Вернулась. Открытки показывает. Дом ее в центре Новгорода, на главной площади, там, где кафе "Чародейка", там она и живет. Музыка из кафе ей ничуть не мешает ни днем, ни ночью. Стрельна. Голубовато-туманисто. Стена, солнце, колючие заросли, шапки с пухом. Ветер из-за угла. Девушка читает книгу, сидя на периле моста. Загар, розовая ступня, подушечки пальцев. Из травы змеем выползает толстый сук.купаются брюхатая старуха и мальчик в красных трусиках. Пишу, стоя в воде. К моим ногам подходят рыбки. Моя рыбопись. Теплая ночь, кинотеатр, шарканье, машины, девки, резкий смех. Быстро идет от кондитерской, губы, бусы. Зовет меня издали по имени. Брызнули фары. Утро знойное, тополя пожухли. "Не шали! А то проживешь слишком быстро. Не успеешь устать". Разговор у магазина. Забудыги. Сочные колокола. Почему штука? Златокожие облака. Хочет счастья. Немцы в трамвае. Черный поп в колпаке и рясе. Роскошь случая, пыльно-черные ресницы. Стрельна, пусто, скорлупки, рулон фольги. Выброшенное волной красное ватное одеяло. Старик с сеткой собирает бутылки. Какая рюмочка прошла! Чулки шелковые, ласковые, блестят кукурузно, оглядываются. Интуит ли этот солдат? Ночь, остановка. Катит колесом в курящее око. "Пьяница ты мой!" вешается на шею. Простужена. Поездка в Новгород в холодном автобусе. Мрачности ее раздражают. Герои изломанные. "Голод" так и не могла ослабить. Тяжелое, гнетущее впечатление. Она не любит такое. Отламывает кусочки шоколада. Морщинки фаланг. "Каждый раз, как я к вам прихожу, у вас летает эта большая синяя муха. Она к вам привыкла и вас любит. Она наверное только при вас и летает. Вы появляетесь, и она – тут. А до тех пор где-нибудь прячется". Карповка, мглисто, бурые крыши. Троллейбус номер четыре летит через Силин мост. Левый звонок. Кисти в стаканах. На полу играют дети: мальчик и девочка. Октябрь. В Куйбышевской. Клены на больничном дворе. Роняют "багряный свой убор". Разговоры у нас. Магнитная вода. Воздействие деревьев на человека. У Куприна в "Гранатовом браслете". Этот Желудев. "Вы как к нему относитесь? Симпатизируете?". "Я не хочу тревожить вас ничем". В вагоне плохое освещение, Павловск, огни, толпа. Правлю корректуру. Опять 15 ошибок. Этому конца не будет. Рука ее на рентгеновском снимке: кисть, косточки. Грусть моя. Подкрасила скулы, и волосы что-то уж

чересчур черны. Духи из цветка, который распускается после захода солнца в предгорьях Тибета. "Шаволи", что ли? Так они называются? Голос в саду: "А когда же мы будем посещать врача?" "Разве я похож на самоубийцу? В мои планы не входит такое окончание истории. Но тоска загрызет..." "Как поживаете? Совсем зима, правда? Такой снегопад! Я шла закутанная, надвинув капюшон, как куколка. Да еще и с зонтом. А вы? Я приду немного позже". Мерцание, шура медведя, грядущие ужасы зимы. "Как потемнело! Опять снегопад начинается. Надо идти". Встает. Что-то свалилось с грохотом. "Всегда у вас эта деревяшка падает, когда я прихожу!". Ноябрь. 13-е. Она только тем и занимается, что ходит по магазинам и выбирает для меня экзотические сорта чая. Сегодня принесла чай "Звезда желания". Сильно набеленное лицо раскраснелось. Фильм "Последнее искушение Иисуса Христа". Даже черепахи любят финики! Японская борьба, в которой я ровным счетом ничего не понимаю. В три погибели, а мне и одной – за глаза. Кровавый след. Такой оставляют губы. "Ну вот, испачкала вам чашку!". Сад лепной. Бегают дети и собаки. Снежки летают. "Слушай, Галя, вот какая ты пошлячка. Сапоги сапогами, а термос-то ты разбила!". Январь, четверг. "Ну, я пойду". Будильника она не слышит и спит, спит. Сын по ее вине опаздывает в школу. Нет сил вставать в половине восьмого. А в ноябре-декабре – самые сонные дни. На днях "кутила". Ее "кутежи". Художник Знаменский. Рисовал портреты декабристов, Нет, не знаю. Опять без работы. Кинорежиссер. Теперь это никому не нужно. Синий чулок. Не хочет приезжать к девяти утра. "Вот не хочу и все! Ехать в метро, в толкучке, когда какие-то нетрезвые у тебя на плече спят!" Читает мемуары Шаляпина. И сыну нравится. Принесла чай "Малайская фантазия". Потому что уже не увидимся в этом году.

"Куда вы пропали? Здесь, в пятницу". Март, Моцарт, полнолуние, 13-е, проснувшись посреди ночи, обнаружил, что мне 51. Не слишком ли на мою буйную голову. Она болела этим тяжелым гриппом. Музей Ахматовой, сквер в снегу, весной уж пахнет. Мы тут постоим с ней минутку, подышим, поглядим на небо. Ручьи, солнце на Мойке. Что ж. Существует такая древняя профессия: писать. Я и пишу. Плеск капель во дворе банка. Рабочие сбрасывают с крыш сверкающие глыбы льда. "Привет! Откуда вы? Когда же вы вернетесь? Да, это печально. Голос у вас, как у больного". Им устроили экскурсию в Горный институт, она очарована камнями. Убрала зимние вещи, а холода вернулись. Ей это

совсем не нравится. Отгулы. На неделю. Навестить родителей. Апрель. Демидов мост. На Сенной трамвай сошел с рельс, рискованно накренился. "Да, и пишущие машинки чиним". 4-я Красноармейская, сугробы у тротуара. У них грипп, ремонт, стучат "ходики", подвешенные на веревочку на гвозде. Узоры сердец, "сердечные" обои. Подоконник, баночки, кисточки. Стул из кругов, с сетчатой спинкой. На шкафу рамы, холсты. Город Мальбург, мрачно-синий колорит. В соседней комнате лежит на кровати Любовь Дмитриевна и кашляет. "Что с потолком делать?" говорит она в отчаянии. "Блестящий, страшный, жить невозможно!". 14-е. За воротами – Мойка, капли косо летят, женщины щурятся, золотые шары горят на мостике. Изгибается красно-белый трамвай. Поликлиника, та самая, с козырька струя плещет. Вон какая она свеженькая девчонка! Рыженькая, и оглядывается, распушилась. Под водосточной трубой гряда горного хрусталя. Не пойду я с этими балбесами. От Нарвских ворот, разрыто, Эдвард Мунк. Мало своих чудачеств. Купили брюки, какие я хотел. Дождик на пыльном асфальте кропает сырые многоточия. Орхидея, душно, Матисс. В окно глядеть милей. Под нами Миллионная, колонна солдат и моряков, военный оркестр, барабаны, трубы. Музыкант в травянистой шинели, с огромным медным удавом, одетым на шею, торопливо курит. Она щечочет мне лицо волосами, и этот ее кельский нос. "Лук или перец?" "Скоро дорожки просохнут". Искусств, "И сердце вновь горит", жарко. Девушка в тени с заунывной дудочкой. Сел, а скамейка сломана, чудом не упал, смотрю – стоит, отвернулась, будто бы не замечает. В Русском она была сто лет назад. Турецкому султану. Прелюбодейку тащат, камнями побьют. "И увидел во сне: вот, лестница..." "Что-то вы не слишком похожи на жителя Африки. Не раскован, не речист, не жестикулируете. Вы – замороженный сын северной расы" Какую бы царевну я выбрал. Ну и останусь навсегда в подводном царстве. Куда Садко смотрит? Не все то золото... В галерее от белых портьер веет прохладой, и так светло и хорошо. Пушок над верхней губой. Брак по-американски. Супружеские пары меняются партнерами. "Понимаете?" Оказывается, я не знаю таких простых вещей, я, который знает все. А еще писатель. Тут подвальчик облюбованный, полумрак, интимная атмосфера, и музыка играет. Апельсиновый. Через соломинку. Вечное отсутствие денег, семейные ссоры, разбитые коленные чашечки. "За мое долготерпение мне надо поставить памятник!" "Не зарастет... тропа..."

Главою непокорной..." "Сколько вы презентуете?". В пределах разумного. Розу не довезет. Донжуанский список. Май. Бремя блестящих волос. С Невского. Лыдины в Мойке – последние, пластинчатые, вон они как обрюзгли, погружены в мутный сон. "Баррикада". "Надо вас расколдовать". Черемухи на окраинах. Пена простынь вздувается на веревках. Зеленобородые камни под мостом, в них запутались рыбки. Две девчонки едут на буферах между вагонов трамвая, на корточках, едва держась, вот-вот сорвутся под колеса. Смотрю с задней площадки, они – на меня, озорно улыбаясь, блестя яркими, как у птиц, глазами. Цветущий каштан у метро, тревога, ржавые рельсы, проливной. Переждем в парадной. Заодно обсудим наши дела. Июнь. Сидит, поматывая ногой, шутит: "Для всех я лакомый кусочек!" Только сейчас заметил, какие у нее мускулистые икры. "Вот ваш любимый букинистический магазин". Красные столбики в галерее у Гостиного двора. Утолить жажду. Склоняюсь, чтобы услышать негромкие, как шелест, слова. "До Технологического... До Звездной..." Август. Кошмар. Будто бы ее раздирали лунные ведьмы, бледнолицые, туманно-телые, серебристо-волосые, с длинными пальцами, злорадно смеясь хрустальным смехом. Горестно смотрит. "На что истрачена жизнь? На чувства?" Ломбард. Старик в грязном плаще, едва ноги волочит. Робко сует трясущимися руками в окошко фотоаппарат "Зенит". Приемщица, грубо: "Такое мы не берем! И никто нигде в городе не возьмет!". Старик не сдается: "А не знаете ли, где можно продать?" говорит он просительно-умоляюще. "У меня безвыходное положение, поэтому я и беспокою вас вопросами". "Нет, понятия не имею, где можно продать эту рухлядь!" огрызается приемщица. "Ну ладно!" говорит старик, безнадежно махнув рукой, и уходит на дряхлых ногах, покорный. Сентябрь. Ночной ресторан "Адамант". Разбитые стекла, кошки, машины. Повара-привидения курят во дворе, громкие голоса. "Сейчас придет твой брат". "Не придет". Утро. Фургон автоматчиков с песнями. Игольчато-кровавый георгин. Герцог Альба. В Эрмитаже "Обнаженная маха". "Вам какие нравятся? Миниатюрные?". Вид из окна, внутренний двор, там работает жестянщик в робе, блестят на столе полосы нержавеющей железа. Едет продавать книги. Куда-то на Старо-Петергофский. Растерян, смятенье. На балконе десятого этажа бьется, как флаг, розовое полотенце. Заблудился, не могу найти свою дверь, хожу с кучей шинелей в охапке, какие-то люди, механизмы, машины,

опрокинул чайник. Ночь пишет золотым пером на черной воде. Два звонка. Захарьевская. Египтяне у входа скрестили руки. Варят смолу в бидоне на горящих досках. Клочкастый, черно-седой дым. На затопленном кладбище, со мной волк, я его кормил. Потом он пропал, я остался один и не знал, в какую сторону мне идти, как выбраться из этого гиблого места. В Юсуповском "Дон Жуан", в спину дует, белые спинки. Зеркало с букетом роз и бронзовой люстрой. Вышел из бани, шатаюсь, как скелет. Ослабел. Еле добрел. Тихо, все спят. Пламя свечи. Нефеш – дыхание жизни. "Орфей" Фомина. Моросит. Галерная. Прощаются. Сдавленное рыданье. Болтался по букинистическим магазинам. Окна въехали в лужи. Луна – трамплин для черных лыж. Дженан, гордая, пленная птичка. Где бы достать аравийский яд? "Ну, улыбнись же!" говорит "Надо улыбаться, чтобы настроение было". Напекла оладий. Попросила отрезать голову рыбе. Горбуша. Города Шумера: Эреду, Ниппур, Урук, Лагаш, Киш, Угариш, Библ. Делает гимнастику по Нарбекову под магнитофонную запись. "Он испытывал властную потребность писать". Пришла румяная. Принесла чем окна клеивать. Серое с меховым воротником мелькнуло за колонной у входа. Прижимаю к груди ее меха, ее шапку, вдыхая ее запах. Пошла приводить себя в порядок. Якоб Хагели. Сын уже ее перерос, ему 13, сутулится, и это ей очень не нравится. Ее рост: 1.60. Дворцовая, солнце. Свернула волосы под шапку. Шарф с шарами на концах обмотала крест-накрест вокруг шеи. Стоим, пережидая поток машин, я – к ней лицом, спиной – к машинам. Держит мою сумку, а я застегиваюсь. Сад ноябрьский, замерзший. Ее восхищение Симоной де Бовуар, свободные отношения супругов. Ее женская жизнь, духи, она не мыслит свою жизнь без духов, это особая атмосфера, целый мир. Фирма Шevi пре, у них есть нота жасмина. Это у Гюисманса: роля ароматов. Прощаемся. Замерзла, нос красный. С каждой новой зимой она все хуже переносит этот ужасный холод. Погладил ее по рукаву. "Созвонимся" говорит. Идет по аллее. Удаляется. Вот – скрылась за деревьями, вот – опять видна, ее серое пальто и меховая шапка. Зимнее солнце, кучи замерзших, почернелых листьев. Чувствую себя таким несчастным. Это ее влечение к духам, усилившееся в последние года, порабощенность ими. Она говорит, что могла бы влюбиться по запаху. Подышать загородом. Река-зеркало, коньками резать. А во льду серебряные монеты. Фонарь в переулке, такой лучистый! Словно парча. Мышь скреблась. Стучал зонтиком. Будто бы иду по узенькой

горной тропинке, а к спине привязан какой-то громоздкий груз, сноп, что ли. Поскользнулся и едва не свалился в пропасть. Колет за столом грецкие орехи. Солнце на снегу. У мусорной цистерны вороны и собаки, их распугивают скрюченные люди с мешками, он и она, ворошат палками. Моцарт спрашивал меня, глядя яркими глазами: "Почему ты не можешь так слушать музыку?". Обливаюсь ледяной водой. Она, сидя на постели, разглядывает свои голые ноги. Мучается, чувствует себя ущербной. Иду через двор, мне нужна военно-окружная медицинская комиссия, шум воды, Матюшин, космические зигзаги. Четвертый этаж, кожаная дверь с тугой пружиной. Реплика: "Из его книг кричат актуальные проблемы!" "Такой хорошенький, я вас сразу заметила" говорит она, беря меня под руку. И мы идем с ней, болтая, по вечернему Невскому. Будто бы на лодке унесло бурным течением в море за длинную косу, там, в море за мной гонялась ужасная черная акула, я отмахивался веслом. Купил мешок картошки, гладкая, белая, из Гатчины. Резкое чувство: как будто свежий, пьянящий, весенний ветер дул в разбитое окно. Что-то бесценное и неповторимое гибнет. Делал гимнастику, по пояс голый, отражаясь в темном окне. Тело еще молодое. В метро девушка в длинном черном пальто, с заплечной сумочкой на лямках, гладкая прическа, пшенично-шелковые волосы блестят. На Невском, под аркой оглянулась, крикнула кому-то, звала. Долгий разговор по телефону, больше часа вдыхал этот голос. Над "Старой книгой" сбрасывают глыбы льда. Тротуар огорожен красными тряпками. "Берегись!" кричит баба в фуфайке. Бегу. На Большой Морской у дома номер семь поскользнулся. Отогревает замерзшие руки чашкой кофе. Рукописная. Уайт. Американец, так и есть. Магический реализм, видите ли. Дом сумасшедших в сумерках, тени ветвей на белой стене. Ключок снега в поле. Тлеют головни. Домик у болота. "Что если бы мы с вами так сидели?". Геракл залеплен снежками. Велено ждать, вот и стою тут в саду, прячась за стволами. Вижу: махнула рукой с горки. Опять поток машин. Не перейти. Забрызгали грязью из-под колес. Стираю платком пятнышки с ее прекрасного лица. Оно бесстрастно, как мрамор. Хлопья завертелись. Ох, вьюга! Ничего, ничего. В метро отряхнемся. Яркий перрон. Пропускаем поезд за поездом. У нее есть брат, занимается продажей антиквара. "Чтобы не было однообразия, для здоровья психики, надо в день знакомиться с семью новыми людьми". "Лесниченко! Сколько лет, сколько зим!.. А мы тут на Ленсовета шестьдесят шесть..." Метель

с ума сошла! Желтки фонарей расплылись в переулке. Лотки занесены. Фигуры в вихрях. Стою, задрал голову. Темно в окнах на ее девятом этаже. Вот зажглось! Декабрь. В пять у фонтана. За спиной: "Это я!" Оборачиваюсь. У нее новая шапочка. Ей очень к лицу. Задушит поцелуями. Таких духов ей не дарили с сотворения мира. "Вы сумасшедший!" и повторила тише: "Сумасшедший!". Опять пытаемся перейти этот проклятый поток колес. Стоим посреди дороги, она схватила меня за руку, сжала мои пальцы. Недавно познакомилась с моряком из Крыма. О, за ней много волочится! Длинный хвост. Летчики, художники, циркачи, врачи. Особенно врачи пристают. В поликлинике нельзя появиться. Тут же увлекаются. Беда да и только! Поскользнулась. Сыро, озноб у нее на спине, и ноги замерзли. Читает "Жизнь женщины". Чему быть, того не миновать. Феминизм! Нет уж! Как устроено природой, так и должно крутиться.

"Почему вы так долго не звонили? Я о вас вспоминала..." Надел мое элегантное зеленое пальто с кушаком, кожаную польскую шапочку. Мутно, сыро. Институт "Растениеводства". Автобусная остановка. В Коми мороз. Минус 58! Бегу. За мной белый медведь. Та дверь. Нева седая. Шапка-боярышня. Простужена. Просидеть день в ледяном доме. Вольтер в кресле. "Что за мужчина, если нос картошкой или утиный!" Любит хищные, орлиные. Будет лечиться малиной, ноги греть. "Вот тот балкон!.. Выпью – увидите вы меня! Буду носить, как бешеная!". Февраль. Звоню. Она температурит. Приеду с бутылкой и шубой – согреть. Ей пора к своим читателям в ледник. Ветер раскачивает снегиря на ветке, раздувая у него на груди алый пух. Надо что-то придумать. Так нельзя. Унесу ее куда-нибудь на скалистый остров, вихрем, как Черномор Людмилу. Она будет ходить в звериной шкуре и собирать себе плоды на пропитание, а еще меня проклинать на чем свет стоит. "Чего доброго, вы увлечете меня в грот, полный летучих мышей!" говорит она мне, смеясь. "Вам это скоро надоест, и вы станете мечтать о вашей покинутой пишущей машинке". В окне сереют сумерки этого февральского дня. Сорваться, что-то предпринять, изменить, совершить что-то немислимое, какое-то безумие, добиться невозможного, лететь через весь город, кричать, стучать в эту ледяную дверь. Продолжаю сидеть. Тупо смотрю в окно: там тьма сгущается... Рига или Галлин. Арка, скульптуры, вазы, двор и ворота. Река, вечер. Массажировал ей спину. Заплакала. Повезли настольную лампу на Садовую. Тротуар изрыт. Купили творогу. Она

продрогла. Встретимся на остановке. Жизнь после смерти. Чернела рана. На грани таянья. Опять у "Растениеводства". Накрашена, шапочка. Рада гвоздикам. По Гривцова скользко, горбатый лед, в глазах черно. Вот и надо крепче держать ее за талию. Так ведь масленица! Там тепло, и людей мало. Читает "Манон Леско". Блины с грибами. Ее знакомую гадюка ужалила в ногу. Нет резиновой обуви. Маньяки на всех углах. Сузился круг. Шаляпин, Дарвин, Гаршин, Лесков. Нам в феврале не скучно. Швабра шурует у нас под лавкой. Они до семи. Закрываются. Нечего делать. Пошли, сударыня, вон. А там сырой снег во тьме повалил. Нам до Сенной. Ладони на поручне едут вниз. Едут вверх. Сумочку вырвали в проходном дворе. А что? Не трагедия? Ревнивый. Отелло. Увидит – обоих одной рукой придушит. Опять я затеряюсь в снегопаде. Буду кружить вокруг ее дома, вокруг ее девятого этажа, как вихрь, и взывать к ней, не давая ей спать всю ночь. Март. Завтра позвоню. Хочет приобрести участок, и я его возделаю. Будет жить со мной в шалаше. А то кто же мне кашу сварит? Читает "Тристана и Изольду". Ее дедушке 90 лет, она бы с удовольствием к нему поехала, но где столько денег взять? Пишет письма, не забывает. "Если вы захотите, то позвоните в четверг, в половине второго, тогда и уточним". Помехи. Пропал голос. Светлый, голубой день, сосульки блестят. Там же. Рада ирису. Столик у окна. От двери дует. Любит орешки. В предыдущем рождении она была белкой. Комичная история: череп нашли у них в шкафу. Оригиналка ее сотрудница: то в троллейбусе подерется, то на кладбище на похоронах. Откровенничает с поперечным-встречным. О ее романах осведомлены все, вплоть до того, что делается у нее в постели, до интимных деталей. Чрезвычайно активна, бурно-деятельна, заставляет всех заниматься ее жизнью – от директора до уборщицы. К концу рабочего дня утомляет всех ужасно, все они, словно выжатые лимоны, она у них все силы, всю кровь высасывает, вампир какой-то! Вот готовый персонаж для моей повести, она с радостью мне дарит. На здоровье. Вокруг курят, галдеж, плешивые выпивохи. Она разгорелась от вина, глаза, лицо. Наши перчатки и шапки на подоконнике. Хоть отогреется у калорифера. "Гулять по парапету моста! Тоже мне – герой!" восклицает она раздраженно. "Бесцельно, бессмысленно. Над какой-то помойкой! Тупость и больше ничего!" Напрасно я пытаюсь оправдать возмутителя ее спокойствия. Она глядит на меня пронизательно, в ее зрачках острые искорки: "Вы хотите стать героем? Хотите! По вашим

глазам видно!" Ей весело. Она довольна. Уходим. Певец запел у нас за спиной, словно на прощанье: "Не повторятся такое никогда!" "Песня шестидесятых годов" заметила она бесстрастно... "Ваш ирис завял на другой же день, и я его выбросила" сообщает она мне через неделю. "А гвоздика стоит. Не знаю, что и думать. Героическое растение!" Пойдем покупать помаду. Хочет весной освежить себе губы. На Сенной капли летят. Без четверти пять! Опоздаю! Побежал. Надо на Гривцова, а я каким-то образом попал на Гражданскую улицу. Растяпа! В двух соснах! Спрашиваю у женщин: "Как мне попасть на Исаакиевскую площадь?" Показали: "Там Майорова, и направо". Пальто длинное, мешает, полы путаются. Вон – Николай на коне. Солнце, песок, куски льда. У Мэри митинг, знамена колышутся, громкоговоритель выкрикивает проклятия. Жидкая толпа... Идем к Невскому под блестящей завесой капель и струй. Читает Ирвинга Шоу "Молодые львы". Она любит читать об этой войне, о Германии. Уже выбрала. Провела себе по запястью. Абрикосовый мазок. Не очень яркий, к весне, когда все делается ярче, пестрее. Положил пиджак рядом. Холодные у нее руки! Ледышки! Она опять потеряла кошелек, выгнали на рынке. Нельзя жить в одиночестве, одичаю. Вот у нее соседка – одна живет, с собачкой, только с собачкой и разговаривает, и вот – одичала, с ней страшно встречаться, не то, что ключи от квартиры у нее оставлять. Ее сын отказывается заходить за ключами к этой сумасшедшей. "Скоро вы будете совершать свои подвиги на огороде с лопатой в руках" говорит она мне. "Долго я не увижу своего верного друга". В сумерках, через мостик, черно-маслянистая вода глядит огнями. "Я же предупреждала, что я – ведьма! Глаза-то зеленые, во тьме светятся, как у кошки. Ведьмовские!" На Черное море поедem. На чем? На велосипеде?

Ледяные брызги, весь март. У "Растениеводства". Ну и погода! Снежная жижа. Не гулять же! Миндаль в шоколаде. На Плеханова. Хмарь эта, вечер, текущие тротуары. Долг платежом красен. Кабачок "Лезгинка". Надеремся до чертиков и спляшем на столе. Я – с кортиком в зубах, она – кружась вокруг меня. Музыка играет, кабачок уже битком набит. Она ходила ко врачу по своим делам. То ли негр, то ли араб. Очень приятно положил руку ей на голый живот. Такая черная лапа у нее на животе! Это же сразу чувствуется: что за мужчина! Она жила белкой в лесу, прыгала с сосны на сосну, охотник ее подстерег, выстрелил в глаз, чтоб шкуру не попортить, душа ее

вылетела и переселилась в это женское тело, и теперь она сидит передо мной и грызет орешки. Трогательная история. "Духи – игрушки женщин" говорит она. "Помните, у братьев Гримм: "Принцесса и свинопас". Продавала поцелуи за пустяки. Она плохо кончила. Сотрите. У вас на губах осталась моя помада". Над аркой, высоко – ржаво-крылатый Марс крылатой спиной. В два. Ровно. По вторникам рыцари поднимают забрала в тихом зале, приветствуя нас, как старых знакомых. Новая выставка. Абстрактный экспрессионизм. Привезли из-за океана. Черные камни в чистом поле. Это ей непонятно. Она уехала бы в Америку с каким-нибудь опытным, энергичным, деловым человеком. Она, не раздумывая, согласилась бы на предложение богатого человека, который мог бы ее обеспечить. Разумеется, чтобы это был хороший, порядочный человек. Сад не просох. Сыро. Поболтаюсь где-нибудь. Жую булку, Лермонтов, фонтан мертв. Булка с тмином, корка жесткая, не разжевать, челюсти устали. Воробушки тоже есть хотят. "Заждались? Опять пить вино?". Столик в дальнем углу. "Невозможно жить в таком безденежье, в такой нищете!" восклицает она. "Мое терпение лопнуло. Так вот и рушатся семьи!" И она горячо говорит, говорит. Накипело. А я слушаю, сочувственно слушаю ее, я во всем с ней соглашаюсь. Образ мужчины, какого она могла бы полюбить, состоит из социального положения и профессии. Конечно, она не могла бы полюбить какого-нибудь сантехника или кочегара. Ее не устроит и грузчик. Что это за работа – грузчик! "Через месяц уже опять затоскуете по своей машинке и будете к ней красться из моей спальни посреди ночи. Я прозорлива, достаточно прозорлива, чтобы не делать такого неблагодарного шага. Вы – фавн, любитель нимф, рожки и копытца, вот вы кто!". К ним в квартиру часто залетают птицы, даже говорящий попугай залетел. "Вы романтик" говорит она. "Браки по расчету самые счастливые. Все эти безумства любви проходят". Апрель. Звоню. Оказывается, болеет. Тени безлиственных тополей на солнечной платформе. Жду поезда. Гитарист бренчит. Идет по вагону с кепкой в руке. Черный бархат обугленной насыпи, огонь ало бежит по склону вдогонку колесам, я жадно вдыхаю этот горький дым, летящий в раскрытую форточку. Парк просох. "Дик, Дик!" зовет звонким голосом. Блестящий пояс, голая шея. Села на скамью, ласкает пса, треплет пальчиками шерстистый затылок. Это моя голова лежит у нее на коленях и мой затылок ощущает ласку ее пальцев, а по

позвоночнику бежит горячая дрожь. Вот и ливень! Как из ведра с громом. Остроозонное мгновенье. Я человек пропащий. "Это в конце концов, даже неприлично!" восклицает она. Одичал, сырой ветер остудит. На каком-то темном дворе, и половинка луны над крышей светится. "Хорош гость! Хоть бы словечко выронил за весь вечер!" продолжает она возмущаться и не перестает меня корить до Нарвских ворот. Звезда! У, зрачок рвет! Венера! Она, она! Ее жестокие стрелы... Поправилась. Ей нужна тушь да не та. В Купчино видела. Темно-сизое, словно гроза готовится. Ее лицо и волосы на ветру. "Безделушки, но женщина без них не может" оправдывается она. Ларьки кружатся. Кукурузное масло, батарейки, стиральный порошок. Мостик через Мойку, ржавые трубы, рев насоса. 28-е. На этот раз она пришла первая. Сидит на скамейке, подставив лицо солнцу, закрыв глаза, в белом своем плаще. "Ооченела в этом леднике и, вот – греюсь". Не найдем на Садовой, так куда-нибудь еще поедем. Игрушки, керамика, колокольчики, она их трогает, и колокольчики звенят. "Эрос". Там продается кукла ее роста. Как живая. Лучшего подарка мужчине и не придумать. В шкаф буду прятать. С собой возить в футляре. Хоть вокруг света. "Вот, если бы вы несли меня на руках по Перинной линии и нас весь город видел! Не несете же!". Камешек попал ей в туфлю. Опираясь на меня, вытряхает. Розовая ступня в прозрачном чулке. Я как слепой. Под трамвай лезу. Не схвати она меня за руку, быть бы мне перерезанным. Покашливает. Простуду не выгнать. Ясноглазый жулик на улице предлагает нам путевку в Рим или видеокамеру. На выбор. Зеленый карандашик для век. Огрызок остался. И тогда она обеспечена косметикой на весь год. Пльвем в витринах. "Вы приносите мне счастье" говорит она. "Нет, без шуток. Я бы повсюду носила вас с собой, как амулет, в сумочке, если б можно было вас волшебным образом уменьшить. Жаль, жаль, что нельзя!". Светлый весенний день. Дверцы раскрываются. Ее Звездная. Прощаемся у эскалатора. "Ну, копайте свой огород" говорит она. "Весь май. Вернетесь – в музей ходим".

ЛОПАЮЩИЕСЯ ПУЗЫРЬКИ

Ехать? Не ехать?.. Июнь. Сирень. Не спится. Включил горячий душ. Легче. Баку, цезарки, гуси, панни Костенецкая, златовласая красавица, грабовые аллеи, кареты ночью, свечи в фонарях. Рука мертвой армянки свесилась с арбы, полной трупов. Колонна пленных русских солдат, москалей, на Варшавской дороге. Все это слышно, видно. Хожу босой. Ничего не изменится. Судьба написана на небесах. Крепко заварил. Кругом инфаркты. Так 52! Старый пес. Юбки бегут по предгрозовой улице. Хорошо спал. Матрас с душистым сеном. Яблони цветут. Панна у фонтана. Мглисто. Немые деревья. Крик отчаянья: "Чарусь, вернись!" Сны, острота горного пика, светлый корень. Где я о нем слышал? Старая сосна выросла из тумана, опоясанная облаком. Непонятный всадник, траур по душе моей. Птичка в тумане твердит и твердит свой грустный припевчик из двух простых нот. Розовые зигзаги в реке. День на огороде. Досадили салат и перец. Тучу принесло, недолгую, с дождем и громом. Трава вдруг запахла. Проводил на станцию. Уехала. Один на платформе. Смотрю вслед убегающему в елях поезду. Понедельник. Выспался. Пью чай в саду среди одуванчиков, голый по пояс, в красных штанах. Жук в квадратных, радужно-синих латах. Ланселот. Аве Мария. Башкирцева. В сердце врезалось. Вчера кукушка в тумане за рекой. Зачем? Конечно. Тот май, та ограда Таврического сада. Роскошный баритон. Щедрый, размашистый, рокошет, соловей во хмелю. Луи Амстронг. Ее кумир. Не помялась бы соломенная шляпка в чемодане. У нас возраст заката. Едем к морю, там волна всплеснет, молодое лицо, зеленые, смеющиеся глаза наяды. Утро. Гроздь сирени у сарая шевелится в лиловых тенях, жадно дышит, раскрыв миллион четырехгубых душистых ртов. Я влюблен в эту гроздь, свободен, меня никто не видит. Вечер. Стою у крыльца, читая книгу о Делакруа. Солнце садится, брызгая красными лучами сквозь пальцы клена. Гулял. Нашел ландыши. Детский сад. Золотой склон одуванчиков. Мое детство пробежало у этого старого, одетого рыской, пруда, у этого дуба-великана. Столб, провода поют, фарфоровые изоляторы, как луна. Проснусь: опять понедельник. Вот ведь напасть какая! На стене из неоструганных досок хрупко-прозрачно дрожит солнечный треугольник. Первая мысль: "Вдруг

жара обманет?" Дверь настезь: о нет! Не обманула. Звон пчел. К каждому цветку прильнула пчелка, пьет жадно, пьет – не напьется. Огромная зеленая муха, гудя, летает в солнечной комнате, от окна к столу, кружится над моей головой, мешая писать. Муха умная. Зажигательное стекло собрало лучи в точку, жжет мне грудь. Дух огня. В электричке. Удар молнии. Отказываюсь от встреч. Дрожит маревом над насыпью, у шпал, в золоте лютиков, Алжир, Танжер, дуновение чумы, белки араба.купаюсь посреди столбов; трехгорное облако, свист железнодорожный, рельсы кудрявятся. Делакруа с голубым колокольчиком на 105 странице. Лампочка погасла. Сплю, скрестив на груди руки, чувствуя мрак за окном. Пишу на комках земли, а они рассыпаются. Много, много их – комков в поле. Распаханная до горизонта книга. Я в синей рубашке с коротким рукавом, загорелая грудь, молодой, красивый, мной увлекаются. Полный локоть, зева, смотрит в окно вагона, истомленная жарой, шея, ложбинка. Поезд тормозит. Белка перебежала дорогу. Полинялый зверек. Куст разросся, весь в тени, а над ним солнце. Наломал бы букет, да заметят теннисные ракетки. Стою тут. Вечер. Галчонок убежал от меня, летать не мог, прыгал по дороге. Надо мной, негодую, кружились галки. Какой-то странный седой старик, в белом, с сумкой, метался то в лес, то из леса. Услышав свист электрички, побежал к вокзалу, остановился, повернул не в ту улицу, потом обратно. Вот чокнутый. Позвонил: у нее плохо, синяки, смотрит "Новости". Я приеду только в пятницу, привезу ей мазь. А голос у нее такой жалобный, грустный: "Ну, ладно. Пока". Клен удивляет. Эта ребристость листьев. Как он шевелится. Птичий хор. Тысяча звонких флейт и дудок. Стою на дорожке, лицом к солнцу, закрыв глаза, купаюсь в лучах. Над лужайкой гул. Шмель серьгой повис, вцепясь в розовое ухо. Гнет к земле цветочную голову. У клевера бочки меда. Иду купаться. Насыпь. Холм дрожит и мерцает. Пью чай у веранды. Фарфоровый чайничек, воробьиный пух. Прополол морковь. Пражский еврей, Старые грады, Градчаны, Олений ров, император Рудольф II, покровитель алхимиков, маг, еврейский квартал, красавица-еврейка Эстер, любовь во сне, куст розмарина под каменным мостом, Кеплер, его нищета, его больная жена, кузнецы, цыгане, солдаты, лягушки, небесные пути, золотые гульденy. Морская рыба, именуемая учеными "ураноскоп", у которой всего один глаз, но она постоянно смотрит им на небо. На

велосипеде до разлива. Свидание с сосной. Статная, тысячерукая, стройная, как колонна. Обнял крепко. Стоим, не шевелясь. Подняла веко. Из-под коры золотой глаз горит. Тихий, закатный. Два рыбака удят в тростнике. Прощай, милая! Мне пора. Сажусь в седло. Утро. Розовые ножки дикого винограда взбираются по кирпичной стене. Назойливость мух, лето красное, любил бы я тебя. Блестящие, атакующие обручи слепней. Сажу в траве с чашкой чая. Наперстки лютиков. Плешивый одуванчик горд остатком дымчато-седых кудрей на темени. Жук-разведчик ползет по зеленым коленцам, балансируя чуткими усами. Ветер налетел, взъерошил книге бумажные волосы. Стена сарая в горячих пятнах, просыхают прислоненные к ней сырые доски, струится пар. Гроза соберется или так и прокопается там, в тряпках туч, копуша?купаюсь. Бородатые камни в водопаде, рыбки выпрыгивают, блеснув серебром. У воды спина гладкая, водоросль елочкой между лопаток. Столбы встают со дна, как идолы. Нырью в голубые колокола лучей, они качаются, и я с ними, и звон идет пузырьками по всему озеру, от берега до берега. Влажно. Жасмин. Молнии. Полные ведра. Желтый домик в переулке. Прошла девушка с душиной помадой. Картошку окучиваю. Тополь бормочет. Приятный человек. Враг слов. Голова захлебнулась в сечине. Я потихоньку ухожу в землю, по щиколотку, по колено, по пояс, по шею... Спал. Комар в комнате. Не тронул меня, пожалел: и так душа в теле на ниточке держится. Сосед доски на станке стругает. Кудрявые стружки. Пацук. Без двух пальцев на правой руке. Станок старый, бензином подкрепляется. Стонет. Иду с мокрыми плавками на голове, чтоб не напекло. Тюльпаны, Тиэко. Долго я еще буду дрожать от этого имени? Иногда все прежнее вдруг возвращается, и хоть плачь. Я тут стоял весной, прислонясь спиной к стволу осины. Это было в мае. Также шумел лес, дул теплый ветер с поля, раскачивая свежие макушки деревьев, пригибая траву на склоне, и за стволами внизу виднелась светлая пашня. Это было давно, та весна, тот май, очень, очень давно, я тогда еще был молод, сознание было: что молод. Свежая рука ольхи колышется у моего лица, щекошет подбородок. Лист в жилках, пронизан солнцем, зубцы бегут в тень, а посередине дырка, гусеница, ее работа. Колокольчики, белая пена цветущего дудочника. К чему эти записи, наобум, на клочках?.. Два дня: вторник и среда. Громыхнуло. Дождик робкий. Тихий. Я стоял на платформе, снял рубашку, дождик так приятно освежал тело,

безумная жара, духота. Дождь расхрабрился, ударил сильней. Ах, хорошо! И пока в поезде ехал, гроза разбушевалась нешуточно: ливень стеной, разрисованной узорами молний. Машинист боялся молний, тормозил, и поезд целую вечность тащился до Сиверской. В Питере не легче. Из метро носа не высунуть. Толпа сгрудилась у ступеней, сверху плеск и несет дождевой сыростью, грохот небесный, ослепительные, гигантские змеи, столбы ливня. Раскрыв зонт, побежал по мокрым ступеням наверх. Заскочил в магазинчик, что-нибудь молочное. Гроза еще пуще: град, потоп, девушки бегут, полуголые, под бурей. Наконец, стихло. Отгрохотало, отсверкало, отхлестало. Девушки шли по мокрому асфальту, держа туфельки в руках. Густо пахло отсырелыми тополями.

Зарубки Робинзона. Ярое Око в Новгороде. Площадь, искал, расспрашивал, стучал не в ту дверь. Монастырь у Ильмень-озера. Она рассказывала. Артель художников, реставрируют. Живут, не тужат. Весь день, лежа на топчанах, ножички мечут в деревянную дверь. Вошла в сени, слышит: бум, бум, бум. Что такое? Открывает дверь: о боже! Вся в ножах, как еж. И у виска просвистел вот такой рыцарский кинжал! Бородатые, грязные, гогочут. Меченосцы. "Представляете?" Сей храм, а войдешь – срам. Порванные струны. Купался. Сочный тростник у насыпи. Шла по шпалам, молодая, в купальнике, нос обгорел, с ней две девочки, две дочки. Внимательно поглядела мне в глаза, потом на мой голый, черный живот. Небо затянуто. Недавно шел дождь. Мокрая сирень. Делаю гимнастику во дворе, сгибаю спину, приседаю, кручу руками и головой. Ветер подул, расчищая день. Тяжелые фургоны туч ползут нехотя многогорбой колонной. Выглянуло, соня! Заблестел, как звезда, краешек фарфорового изолятора на рогах электростолба. В городе горячей воды нет. Вот и помылся. А что в мире? Греция, как видно. Озеро в лилиях. Сверкающая змея скользит в изумрудно-прозрачной воде, подняв изящную, умную голову. Это око не моргнет. Это сам Фалес. Звонок в дверь. Вернулась с Северного кладбища, от бабушки. Желтая юбка, кофточка, посветлевшая, удовлетворенная исполненным, наконец, долгом. Могилку с трудом нашла, траву повыдергала, ивы нависли, надо обрубать. "А ты почему такой вялый, хмурый?" спрашивает. Поели творога. Потом на Витебский. Разве это квас! Едем, вагон пустой, мчатся под веками розовые острова Иван-чая, Эфес, 145 фрагментов. А подлинных?.. Война – царь мира. Войдем юнцами, а

выйдем старцами. Вырица. Прояснилось. Стояли на берегу. Вчера вернулась. Была у врача. Облучать бровь. В сентябре. До сентября она изведется. Страшно. Лежали в постели, она такая горячая. Давала читать кусочки из своего дневника, из "бывшей любви". Глубокие, как раковина, розовые закаты. Помню ли я ее прелесть 20 лет назад? Загадочная, в летней темноте нашей комнаты. Молчу, молчу. Нет заговорного слова. В Стрельну. Кронштадт как на блюдечке. Под мостом лучи играют. Мальчишки плещутся. Кувшинкам в каналах жарко, у них желтые платья, дворец разрушается, лопухи-великаны, знойные лестницы. Художница с ящиком красок спит у стожка. Липы цветут медоносно. Нагретый камень парашета. Шершавый, камешки. Ладонь впитывает тепло, не хочет с ним расставаться. Безлюдно, кирпич обнажился, разбитые стекла, заросли сорной травой, тишина, одичанье, и там залив туманно синее. Уже шестой час! Лаваш у трамвайной остановки. Поджаристая корочка. Пришла усталая, заморенная. Смотрит "Графиню де Монсоро". Голова разболелась. Нет отрады в раскрытых окнах. Душно. Через час заглянул к ней: уже спит. Грустно стало. Утро мгlistое. Парит. Слышал сквозь сон: уходя, стукнула дверь. Половина восьмого. Пью чай. Телефонный звонок. Не меня. На платформе. Жду поезда. Молодая, яркая. Кормит голубей семечками из кулька. Черное платье с разрезом, голые по плечо руки. Голубь, трепеща, сел на ее вытянутую ладонь. Порывы горячего ветра. Купался. Шел по насыпи и опять встретил ту, с двумя девочками. Посмотрела еще внимательней. Оглянулся. И она... Читаю о Паганини. После купанья, как пьяный. Что со мной в этом году? Дождик. Рубил топором угол дома. Грибной суп. Салат из зелени. Огурец с грядки. Первый! Картошку молодую пожарил. Пошел купаться. Жасмин в переулке еще не отцвел. Прохладцей веет. Камни сверкают в водопаде. Косматые черти. Нырля, резвился, плавал на спине. Радуюсь воде, как рыба. Жабры прорезались. Заплыл далеко, ясность, в глубине белые елочки. Две девочки, тоненькие, забавлялись, ныряя со столбов. Взбирались поочередно на все торчащие из воды столбы. Смеясь, визжа. И прыгали с них, опустив голову и вытянув руки, сверкнув в воздухе бронзовыми ногами. Прелесть девочки, точеные, юные. А мне вода – наяда, я с ней обнимаюсь, кристальные объятия, с холодком. Вечером читаю книгу о Паганини. Демонический скрипач. Чудовищный итальянец. Сестра принесла молоко. Она говорит: главное для нее спокойствие. Спит с открытым окном. Будет только

рада, если какой-нибудь бродяга залезет. Сидят в саду на скамейке – сестра и мать. У Паганини – туберкулез и сифилис. Лечился опиумом и ртутью. Кожа да кости, скелет со скрипкой. Триумфы музыкального дьявола. Ошеломляюще. Проснулся от голосов и звона ведер. Это за окном, за дорогой. Еще б часок. Курчавый гигант в небе. Купался, замерз, в мурашках. Иду босыми ступнями по горячему песку, камешки покалывают. Карл Великий. Звездная мантия. Гогенштауфен. Палермо, апельсиновые роци. Петух поет. Конфеты "Бим-Бом". Кругленькие. Вступаю в воду с замиранием сердца. Стопка шатких камней. Ногой нащупываю опору. Ожидание водного холодка, миг погружения, уже плыву. Не спал до рассвета. Голоса на улице, вой пса. Ржавое. Сон и ветер. Ничего, ничего. Прошло. Вот и дышать можно. Без бровей, а рот прекрасен. Пиво в кармане пальто. Жара в тени. Малину ел. Повесил у матери в спальне красивую деревянную люстру. Тут в поселке есть такой чудо-мастер. Купался с Н. Она читает "Анну Каренину". Вся в синяках, очень подвижная, живая, порывистая, на все натывается, бьется. На руках волосы, гуще, чем у меня, это ее смущает, хочет сбрить. Я уговаривал не делать этого. Шел обратно по насыпи, волны жара приятно обтевали тело. Дома лежал голый на диване. Усыпительно тикали часы. Подводное марево. Морда черной рыбы. Дождь брызжет в раскрытое окно электрички. Молнии, мрак. Тополя, зонты. Путь вверх. Впереди меня на дороге ноги девушки, полные, бронзовые. Темно-красная юбка. И нет их. А так хорошо было за ними идти. Кошмары. Мотоцикл, тарахтя, метался по улице всю ночь. Встал поздно. Бочки полные. Кузов грузовика сквозь сад синее. Лежу. Больной. Солнце рисует на полу золотую раму. Гераклит. Сухой блеск. Психея испаряется. Огонь всех рассудит. Потемнело. Паук ползет на мою тетрадь. Старый приятель. Машина у обочины. Облака плывут на розовом капоте. На лодке. Ветер, грести трудно, искупаюсь на том берегу. Прыгну с обрыва. Прыгнул. Тучи брызг! Чудесно. Лежу в лодке, жуя хлеб. Река горит. Рыжие рельсы. Ураганный ветер. По дороге прогремела телега с бурой лошадкой, цыган в фуражке свесил с борта беззаботные сапоги. Белье на веревке рукоплещет. Старуха с забинтованной рукой сидит у колодца, читая в очках газету. Молоко привезли, совхоз "Орловский". Визжат пьяные женские голоса. Велосипед брызнул спицами между берез. Проснулся от холода. Одеядло сползло. Помыл пол. Пересаживал кусты. Таз синий. Топор оскалился. Сосед в махровом халате, подпоясан кушаком, в феске, как

турок, зовет в баню. Три веника на выбор: березовый, дубовый, еловый. Пошел к реке. Черная бабочка раздвигает гигантские крылья. Утром глажу траву рукой, у нее волосы в росе, хоть выжимай. Гулял по дороге. На столбах записки: "Куплю дом", "Молоко козье, будить в любое время суток, со своими банками". Закат, поезд. Мальчишки балуются на рельсах. Хлеб заплесневел. Срежу, поджарю на сковородке. Прошелестел велосипед, как по ландышам. Жгу щепки. Пошел к станции. Купил буханку. Горячая, душистая, чудная буханочка! Шел через лес и все нюхал, нюхал. Ах, блаженство! На дороге встретились две женщины, несут на рынок корзины, завязанные чистыми косынками. Сплю, как младенец. Тыквы зреют. Детская ванна, эмалированная, под водостокком. Паук-утопленник. А вчера на оконном стекле топталось странное насекомое, комар, не комар, из породы титанов, ноги в десять раз длиннее тела, тоненькие, бесполезные, только путаются, мешают, ходить ими невозможно. Зачем ему такие? Поздний ужин. Жарю на сале молодую картошечку. Лампа в ореоле мух и ос. Святая Екатерина. Ночью воров ловили. Стрельба, крики. Стоял над обрывом у реки. Лодка за ноздрю привязана цепью к торчащему из воды железному колу. Вода вздрагивает, пузырьки, морщинки. Стог плывет, гребя тихими веслами. Режу салат. Молния заглянула в притихшую комнату. "Гроза!" крикнул кто-то. Метнулась белая шаль. Ливень за стеклами, топот. Молния разорвала на себе рубаху от рукава до рукава, бешеная, на дне моих глаз! Дождь и крыша болтали всю ночь. Муха спит на подоконнике, уткнувшись головой в угол рамы. Поезд прошел, шлепки по шпалам. Надела желтую юбку. За сметаной. В сентябре посадим китайскую яблоню. Банный день. Мыло ест глаза. Вышел: радуга! Горит семицветный пояс над миром! Спички, стул. Потом вспомню. Жалобное ржанье на рассвете. Цыганский конь. Стреножен. Вздрагивает боками. Мутно, в испарине, товарный, с гравием, опять за свое: кап-кап. Ищет наощупь своими замерзшими пальцами, шарит в саду. Спускается с лестницы. Вид у нее! Мой армейский полушубок поверх ночной рубашки и соломенная шляпа набекрень. Волейбольный мяч взлетает за насыпью, голоса незримых игроков. Цыганенок бежит по дороге, держа за ниточку бумажного змея в небе. Провожал на станцию. Шершавый ковер еловых шишек. Поезд зашумел, настигая. Прощаемся. Клынула в щеку. Остаюсь бороться с огородным клещом. Заросшая канава, мост из седых бревен. Костер-

краснобай, трещит алым языком в темноте у заколоченного дома. Дети визжат и прыгают вокруг огня. Пьяная, пузатая, посреди улицы спрашивает кого-то под елью: "Это наш?" "Не похоже" слышу ответ. Когда подхожу близко, пузатая вежливо говорит: "Здравствуйте!" и похотливо улыбается. Свежескошенный холм едет, сверху две цыганские головы, вилы, вожжи. Велосипедистки виляют рулями среди сосен. Паук на окне тклет кружева. Туманно. Щебенка на дороге нежно-желтая после дождя, как птенчик. Разлив. Утопленная лодка. Лес на плечах тумана. Два пня на берегу – наши стулья. Мокрые. Рыбак в майке принес резиновую лодку. "Любуемся?" говорит. "Значит, ты не местный". Лежа, жду: когда зашумит поезд. Шум этот словно рождается у меня в ухе, глубоко-глубоко, и растет-растет, переходя в грозный грохот. Страшно лежать одному в доме. Гитара гуляет на дороге. Трогает сердце. Слышу разговор: "Это деловые так поздно стучат. Раньше никак: к потолку пузом валялись, считали мух". Вопль в лопухах, шипенье. За черной кошечкой ходит серый, как сатана, лютоглазый кот. Обшарил карманы: пять копеек. Тащиться в город.

В городе дождь, апельсины, бляха грузчика, мельтешенье, гудки машин. Отвык, одичал. Говорить разучился. Голосовые связки развязались. Сумка тяжеленька: огурцы, кабачки. "Ты почему не держишь своего слова?" встречает она меня у порога. "Где твои обещания? Ты когда должен был приехать?". Она в халате, у нее новая стрижка. Пуаро, котелок, усики. Поставил сумку на стул. Опять дождь собирается. Поздний вечер, а я как-то и не заметил, пока шел. Стою, как слепой, посреди комнаты.

Убежал из города. Мылся в бане при огарке свечи в майонезной банке. Мошкара. Шляпное ателье. Обрыв. Ветер. Веранда сотрясается. Сплю под двумя одеялами да еще и полушубок сверху. По доскам стучат копытца. Яблочко зреет. Свист поездов. Приехала врасплох. Все с себя сбросила. Танцевала, голая, дурила, пела, расшалилась. А потом рыдала, горько, безутешно, упав в подушку. Самосвал гудит у ворот. Пошел в лес и заблудился. Вышел к кладбищу. Поезда ржавеют. Штанина украшена колючками репейника. Колол дрова. Сосед с рыбалки. Мокрую сеть чинит на корточках. Жабры в ведерке плещутся. Кудрявое весло во все небо. Отварил сыроежек. Белки. Цыганский конь бежит по дороге, ржет жалобно. Цыган у столба, ширинку расстегивает. Электричество пропало. Думал: медведи ревут,

а это самолеты летать учатся. Готовятся к войне. У станции поставили мусорный бак. Чтоб лес не засорили. Ташу тележку, полную всякой всячины. Чемодан с мокрицами, гимнастерку. Лежа, достал часы со стола, приложил к уху. Стук дождя по железной крыше заглушает тиканье. Спитя, как мертвецу. Кричал лишнее. Ночь шаталась. Проснулся, тишина, как вата. А ноготь-то посинел. Пью чай, прячась за рамой. Пузырьки кружатся, как ожерелье, как хоровод, как танец сцепленных рук. Собрал яблоки. Мышь ночью шуршит под шкафом. Встану, включу свет. Тихо. Ни гу-гу – плутовка. Погашу свет, лягу – опять за свое. Поставил мышеловку с кусочком сала. Слушаю: хруп-хруп. Не дура в капкан лезть. В лесу скучно. Мотоцикл на просеке, грязный по уши. Тонкая, как тростник, рука, размахивая платком, певуче кричит через реку на тот берег, лодку зовет – переправиться. Туман. Варил грибы до часу ночи в двух кастрюлях. Бульон слил в банку, попил, пока горячий. Сытность ударила в голову. Голоса в саду. Опять бродил в лесу дотемна. Моховики повыскакивали. Брюхатая лошадь перегородила дорогу зловещей цепью. Что я, в самом деле! Стул красуется посреди комнаты: надел элегантный зеленый костюм и глядит – не наглядится на себя в зеркальной дверце раскрытого шкафа. Как влитой, в плечах не жмет. Знакомый костюмчик. Спрашивает: вспоминал ли я ее за эти дни? Часто ли? Сидит на постели, полураздетая, чужая. Прячет лицо. Закипает чайник. Комната озарена, подозрительный блеск на мебели. Ночью пламя плясало. Пьяный пел на дороге. Четыре дружка за столом, бутылка, болтали. Не сплю, дождь. Это его темные пальцы стучат надо мной. Стукнет два раза. Пауза. И третий удар – громче, со значением. Ждет – отзвучит сигнал. Опять сначала... Цыган привел лошадь, привязывает цепью к березе. Луна? Лосось стоит на хвосте? Туман, хоть под поезд. Шум и лязг ремонтного локомотива. Бурно дышит на рельсах у самого дома. Гудки, голоса, звенит железо. Прожектор прорезал седую толщу тумана. Не могу согреться под одеялами и всей одеждой, какую нашел в шкафу. Слушаю этот лязг и рык ночных работ, гуденье двигателя. Дрожу вместе с этим двигателем от ледяного холода. Топлю печь. Открыл дверцу – о! Огненные горы рушатся! У станции купил подсолнечное масло "Кубань". Продавщица обсчиталась на десятку. Дала с сотни сдачу. "Вам восемьдесят пять. Правильно?" и достает из-под фартука пачку истрепанных, замусоленных бумажек. Солнечный супрематизм рамы на фанерной стене. То вспыхнет, бодрый, яркий, то

– затуманивается, омрачается, дрожит, гаснет, бледный, хрупкий. Собрал овощи, повезу в город.

Парикмахерша в бане, халат расстегнут, грудь вываливается. Стригла, туго запеленав в кресле, как воскресшего Лазаря, болтая с подругой о любовных делах. Та лежала на лавке, задрав ногу в резиновом тапочке. Радио хрипло-блатным голосом надрывалось, пело горестно: "Годы! Годы!". Вернулся к прошлому. Перекладывал тетради. Стук с улицы. Удары мяча о деревянный щит. Будто бы переодеваюсь в служебной раздевалке. Потолка нет. Осеннее небо. Рядом железная дорога. Приближается поезд. Мне никак не снять с себя рубашку. Прилипла. Из сумки рассыпалось пшено. Женская раздевалка тут же, за невысокой перегородкой, разговаривают, слышу ее голос, она что-то говорит этим своим певучим голосом. А я удивился: вот ведь, ее голос теперь меня совсем и не волнует. В октябре каждый пятый человек хандрит. Розовая куртка идет, щурясь. Почему-то не ушла, ее ботинки в прихожей на коврик. Ей надо в налоговую инспекцию. Просит достать со шкафа картонку с ее шляпкой. Галерная, дождь хлещет. Переулок Леснова. Клуб "Маяк". Арии из русских опер. "Что сердце бедное трепещет? Какой я грустию томим?" Возвращались. Черным-черно. Круги в лужах. "Что ты ходишь какими-то кружевами?" говорит она. Едем, месяц слева. Сажали кустики малины. Снег посыпался. Не спится. Пробовал читать: буквы скачут. Небо печально. Пляшущая обезьянка. Теплоходик до Лахты. Тут Лиза утонула. Эрмитаж твой бесплатный. Вороны преследуют белку, пикируя со всех сторон, черная стая. Белочка спасается, держа кусок сыра в зубах, перепрыгивает с ветки на ветку, с сосны на сосну. Поликлиника, фикус в кадке, фотообои – горный водопад. Очередь по номеркам. Облучать. Дневник Марины Мнишек. Москва орет: блядь польская! В Кракове шляхта танцует полонез. Паны и панны. Понедельник. Лай на лестнице. Бегал с кинжалом по ночной улице. Без шапки, с голой шеей. Никто не попался. К счастью, или к несчастью. Малая Конюшенная. Сидят в красных креслах под навесом, ветер треплет края тента. Осьминог, черепаха, бесснежность, ноябрь, пыльные вихри. Леониды. Ливень звезд. Синяя заря зовет уйти из дома, туда, за шоссе, где начинается пустыня. Бредовые фразы бормочущих во сне берез с запятыми ворон на сучьях. Каменный гость поднимается по лестнице, ступени стонут. Достал из шкафа пожелтелый череп, рыдая, целовал пустые глазницы. Экран, тоска,

танец афганской сабли. Ходил в баню. А обратно через парк брести, выбившись из сил, собаки с лаем набрасываются. Опять Распутин, паутина дворцовых интриг. Моцарт, анданте из 23 фортепьянного концерта. Пошли гулять. Снежок, вечер. На дороге черный десант ворон. Сколько их! Куда их гонят! Несметные полчища. Хлопанье крыльев, карканье. "Кыш! Кыш!" кричит она. Машет рукой, ногой топает. Взвилась туча, очищая нам дорогу. Спрашивает: вижу ли я в ней человека? Картошка в кастрюле варится, невозмутимая, как стоик. Атараксия. Встретить бы женщину с таким именем. Метель в смятении, пальцы бурно бегут по клавишам окон. Глухой переулочек. Бетховен, "Героическая". Возьми себя в руки. Рождество. Ночь ясная. Ангел летит алебастровый. "Лежит королева в своей комнате; в двенадцать часов и летит к ней змей". "Пение Алконоста настолько прекрасно, что услышавший его забывает обо всем на свете". "Иван-царевич смело взялся за чашу вина, выпил на один дух. Опять пошли разгуляться, дошли до камня в тысячу пудов. Старик говорит Ивану-царевичу: "Ну-ка, переметни этот камень!" Иван-царевич тотчас схватил камень и бросил, и думает себе: "эка сила хочет во мне быть!" "Он проснулся, соскочил, схватился со змием биться-барахтаться". "Добрые молодцы по неволе не ездят". "А как выпил третье ведро – взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал". "А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь-дорогу: "Что ни будет, а разыщу Марию Моревну! Шел, шел и видит – лежит в поле рать-сила побитая... Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит: "Ах, как я долго спал!". Оттепель, темно, сон вещий, сбудется на днях. Усадьба Шереметьева, дети рисуют в лимонных окнах. Бабы дни. Сок барвинка. Согласно поверью, кто из новобрачных раньше заснет в брачную ночь, тот первым и умрет. Нельзя спать в полдень и при заходе солнца. Заснешь навеки. Смесь мизантропии, обостренной чувствительности и восторженности. Гусар, Чувский. Гори, гори, моя звезда. Лежит, плачет. Из глаз горячие ручьи текут в уши. Плачь, сердце, плачь... Сила беззвучия. Молодой месяц – хватайся за монету! На перекрестке дорог разорвем пояс. Свадьба снилась, слышал ночью свадебную музыку. Возврат к действительности, горькое падение покрывала. Ужас! Встал, вижу: январь, 18-е. Древний сад будд в Усуки. Зал тысячеруких Каннон. Одиннадцатиголовая Каннон. Голова стоящей Якуси. Лицо бодхисатвы Майтреи. Зал феникса. Лицо Амида. Девять статуй Амида.

Нева, метель. На голодный желудок. Захмелел. Шел, шатаюсь, сквозь бурю, как Ларошфуко. Паскаль, тростник колеблемый. И падает, падает этот пушистый новый снег и скрипит под ногами, и все вокруг ново... У нее температура под сорок. Вызвал Скорую помощь. Врач гренадерского роста, халат по колено, лысиной задел люстру.

Гулял. Обнимал березу и пел в сумерках. У нее доктор. Красивая женщина. Какое это чудо – красивая женщина! Сразу и жить хочется, радость в сердце. Провожал в прихожей. Подал ей черное, тонкое ее пальто. Смотрел на черную ее сумку с блестящей металлической окантовкой. Голос у нее такой молодой, звонкий. Как когда-то, где-то. "Серебряный шар", о Горьком. В окружении красивых, блестящих, великолепных женщин. Андреева, актриса. И та, английская шпионка, Скрижевская. Старуха, снег. Огненные глаза машин мелькают в переулке. Запредельно жесткая коррекция. Чья бы мычала. Опять оттепель. Плакали мои лыжи. Провансальский писатель. И ты, Брут! А что такое мысль? Диалог двух глухих. Из Алжира. Кагор, как кровь. Вот и вечер. Лимон мороженный. Плеск талой воды из трубы под откосом. Чайковского 42. Ей на Узи. Сажу в кожаном кресле, жду, когда она выйдет из кабинета. Вынесла снимок, еще мокрый. У нее на щитовидной железе нашли какие-то два узелка. Ничего страшного, рассосется. Метро лучше. Тут "Чернышевская". Купили ватрушку. Большой Конюшенный мост, решетка с позолотой, фонарь. Денек промозглый. Переулок Мошкова. Кабачок "Тысяча и одна ночь". Вон Нева! На ветру ватрушку жуем. В Эрмитаже что-то новенькое. Австралийские аборигены. "Видения мира". На стволах эвкалиптов рисунки. Дух первотворца. Радужный змей. Тушат свет в залах, просят к выходу. У нее сапоги жмут, идти не может. Сидим на красном диване. "Проклятые сапоги!" восклицает она. "Босиком пойду!". Она помнит: в ее юности три четверти города еще были в брусчатке.

Утро. Рожки марта. Рассыпалась колода эротических карт. Едем. "Смотри: серпик!" "Где?" "Да вон, в окне бежит!". В Озерки. От Звездной на маршрутке. Проспект Сантьяго де Куба. День ясный. Морозно. Тут поликлиника такая. Грибок на ногах лечат. Теперь мы с легким сердцем на Невский махнем. По пирожку с маком да стакан чая. Много ли нам надо. Древние иранские украшения. Ну, вот это окно, о котором ты бредил. Внутренний двор Эрмитажа, снег, мраморная нимфа повернулась к нам спиной. "Видишь, какая вислозадая!" говорит она печально. "Вот и я такой стала. Много

мучного ем. Пора худеть. Пора, пора... Тут где-то "Голова Бетховена". Бурделя. Я могу еще завести себе молодую любовницу. А с ней мы останемся друзьями. "Тебя трудно повстречать, но мне удалось тебя встретить, тебя трудно услышать, но мне удалось тебя услышать". Вечереет. Воздух сливовый. О балете. Ульяна Лопаткина. Звезды на небе, звезды на море. "Волосыны да Кола в зорю вошли, а Лось главою стоит на восток". Афанасий Никитин принес из Индии эту алмазную фразу с созвездьями. Не зря за три моря ходил. Не зря, не зря. Обнимал ее во сне, ощущая волосы у нее под мышками, она о чем-то говорила, оживленно и доверительно. Ее грудное контральто, прекрасное загорелое лицо. Странно. Грустно. Еду, день за стеклом. Невский в каплях. Думская башня спрашивает: который час? Мокрая метель отхлестала хлопьями дома, асфальт, весь город. Завеса раздвигается, открывая такое яркое, такое голубое мартовское небо. Четвертый этаж. О чем так звучно он поет? Черная собака за сугробом. Подбиралась ко мне, а я отгонял ее палкой. Лучше бы он это не писал. Брат ваш и соучастник в скорби. Нижинский. Пошли их на кулички. Кулачный боец, пошатнулся, упал замертво. Принесли собачку. Крошечная, меньше кошки. Златоволосая. Забилась в угол коробки, дрожит-дрожит безумной дрожью. Уж мы ее и на руках носим, и к груди прижимаем, как младенца, пытаюсь согреть, уговариваем ласково и нежно. Нет, трясет ее, бедную, комочек черноглазый, как будто ее внутри ток бьет. Что нам делать?.. Успокоилась только на четвертый день. Спит на диване, устроаясь в шерстяных вещах: шарфах и шапках. Вчера мы ее мыли в ванной. Покорно стояла в тазу, кроха такая, мокрая, жалкая. Потом, завернув в полотенце, держал ее на руках, пока не обсохнет. Одни глаза торчат и черный нос-кнопка. Читал китайскую книгу об алхимии. Гулял. Солнце пьянит. Прошлогодние черные листья в затопленной канаве. Встречал ее у метро. Светлый плащ, шляпка. Волнуется, ей в поликлинику. Яркий апрельский тротуар. Серебряные хвостики на осинах. В космосе бутоны миров. Уходя утром, заглянула ко мне – взять рукопись. Я вскочил голый и долго не мог понять, что она хочет. Приснилось или услышал от кого-то, что единороги пугливы, прячутся в зарослях, поймать их невозможно... Поднес к носу листочек тополя. Клейкий, только что родился. Получил в дар гору превосходной финской бумаги. Чайки над фьордами. Теперь я живу! В субботу загород, гуляли по холмам. Голубые глаза всюду, куда ни сунься. Она не

уверена, что это подснежники, хоть я и знаток и у меня свой шесток. Сидим на жердочках, жуя взятые с собой картошку и крутые яйца. Прозрачная апрельская чаща. Белые хлопья чаек, крича, вьются над полем. Встреча у Казанского. Ее Формиздат. У нее приступ мигрени. В аптечном киоске купили сильнодействующие таблетки в плоской синей коробочке. Выпили виноградного сока. Невский, жарко. Опять в метро. У Нарвских ворот купили три розы: две алых и одну золотую. Смотрю: кругом красивые голоногие девушки. Это нам с тобой пешочком топать на Старо-Петергофский проспект. Трамвай век не выдать. У них рояль раскрыт, черный ворон. Бронзовая статуэтка Скрябина. Хомячок в стеклянном ящике ворошит опилки. Клюквенная, от нее хмель мягче. Возвращались в темноте, теплый ветер, опять пешком. Устала, еле плелась, бедная. Последний день апреля. Еду один. Цель воина – умереть. "Какой прекрасный сон удалось мне видеть, и как печально было пробуждение". Каждая травка говорит, что она полна новой силы, что она – Чекрыгин. Визионер, импровизатор, воображение безбрежно, оно – молния, по существу бессознательно, никогда не мог объяснить, почему сделал так, а не иначе, лишь оформлял, что всплывало и лопалось углем на бумаге, под ночные колеса летящего поезда, как Анна Каренина. Замерз. Звезды крутятся: двенадцать спиц в колесе. Цветущая слива под дождем вздыхает. Капельки прыгают с шиферной крыши – в оцинкованный желоб. А там – нежно-янтарно светятся стропила недостроенного дома. Сплю, положив руки на грудь. Диванчик узкий. Проснулся, слышу: ветер воет, ночная буря. Утром выхожу: на грядках снег. А слива, бедная моя! Что с ней буря сделала! Истрепала, обломала всю. Весь цвет на земле и целые ветви валяются. Вот беда какая! Май холодный. Пифагоровы штаны. Купил на рынке ведро картошки с ростками. Яшмовые. Для посадки. В дверях, спиной ко мне, такая старая, в ночной рубашке, эта дряхлая шея, впадины за ушами, жидкие волосы, узелком на затылке... Вавилонянки в храме Афродиты. Храм Зевса, башня на башне, выше и выше. Круговая лестница до вершины. На верхней площадке – роскошное ложе и золотой стол. Там всегда находилась и ночевала жрица, девственница, посвященная богу. Бог иногда приходил в храм и спал с ней. Будто я куда-то еду. В форме, морской офицер, звездочки. Странный купол Исакия и Адмиралтейство, совсем на Адмиралтейство не похожее. В фургоне с матросней. Потом на тележке, матрос вез, толкая сзади. "Ну

вот, доставил!" говорит. "Вылезайте, товарищ лейтенант!" Кубрик какой-то, черт-те что. Нет, мне тут не нравится. Выхожу на улицу. Там меня останавливает детина в ремнях накрест, повязка на рукаве. Патрульный офицер. "Эй, куда это ты собрался, белая ворона?" говорит он. "Такую форму тысячу лет уже не носят!". Я стал оправдываться, что не знал, что, вот, захотелось в форме погулять... Иду с водой через дорогу. Скворец, искрясь, точит свою желтую спицу о сук. В половине пятого у решетки Казанского собора. Горят золотом крылья грифонов на Банковском мостике. Дом номер 20, этот сумрачный двор, скамейка в скверике, ее Формиздат. Выносит сверток, сверкающий, как рой пчел. Какая-то особая пленка для парников, лучи пропускает. "Ты хорошо выглядишь" говорит. "Загорелый". А сама бледная, и этот пепельного цвета приталенный плащ. Вхожу. Гул голосов. Пишут, полное возмущения, коллективное письмо султану. Безучастный, стою, поглаживаю желто-лакированную спинку стула, она теплая и шелковистая, как у кошки. В створку раскрытого окна дует волнующим майским воздухом. Кусок голубого неба, Пушкин, дымок бакенбардов тает. Цыганские сны. В них надо сгорать. Крылья, то есть – жизнь. Печальна жизнь мне без тебя... Скажи ты мне, скажи ты мне... Витебский вокзал. Опоздаю на поезд. Бегу, в руках коробки с рассадой помидор и тыкв. Хрупкие, нежно-зеленые растеньица, взлелеянные на подоконнике в городской квартире, их так легко сломать. Она умоляла, она богом просила нести осторожно, не трясти, не раскачивать. Душно. Будет гроза. Дождь застал на дороге от станции, налетел, шумя, мой лучший друг, целовал мое разгоряченное лицо прохладными, влажными губами капель. Три лягушки прыгают наперегонки, мокрые, счастливые, одна другой меньше, семейка: папа, мама и дитя малое. Байдарка скользит по облакам. У костра две девочки. Открылась бездна звезд полна. Пузырьки взвиваются, лопаются, взвиваются и лопаются. Парочка на дороге: он – седой, кривоногий, обнимает ее за талию; она – молодая, разрез до бедра. Искупался. Лихое начало. Гигантский букет голубых лучей бьет из-за гребня. Жорж Дюруа, вылитый, закрученные усики. Ослабшие пружины дивана. Римская улица. Нет, Константинопольская. По стеклу ползет странное тоненькое насекомое с усиками и длинным хвостом. Лиловая грудь сирени. Домик железнодорожника. 2 июня. Провожая ее в Сестрорецкий курорт. День солнечный, но прохладно. Мы в куртках. Выходит из регистратуры, в руке медкарта.

Окрыленные тополя над платформой. Еду один обратно. Лахта, Яхтенная, Старая деревня. Гуляли у волн. Она в своей новой соломенной шляпке. "Ах, чем это пахнуло? Да это же черемуха! Еще не отцвела!" глядит восхищенно, держа меня за руку. За вокзалом старинный, потемнелый деревянный дом, два этажа, башенки, балконы, узорные карнизы, стекла веранды синими ромбами. Дачи, Зоценко, мороженое из сундука – "Даша" и "Митя". Еду. Заводы, заводы за Ланской. Бетонные заборы, ржавые дворы. Трамвайный парк, футбольное поле, фигурки бегают. Проснулся: парашютный десант. Один парашютист попал в паутину у меня за окном, бьется на ветру. Я и ветер листаем китайскую книгу: я в одну сторону, он – в другую. Неоструганные доски, озаренные золотистым дном сквозь запыленное окошко вверху. Сарай стар, мшистая крыша. Двор в лопухах и лютиках. Идет мальчик в желтой рубашке. Заросшая, "Имени Коминтерна". Проснулся без четверти четыре, висел на волоске сна над пропастью. Словно кто-то толкает меня изнутри и будит. Вышел, уже рассвет, плывут озаренные гиганты. И – далекий, влажно-печальный голос кукушки. За железной дорогой. II июня. Навестил ее. Сестрорецкий курорт. Жаркий день. Иду по побережью с двумя женщинами. Блестит зеркало, скользя из рук, разбиваясь, волна за волной. Там Кронштадт, тут – нудистский пляж. Такими рисуют грешников в аду. Подхожу. Поют, прищелкивая пальцами и завывая... Заскочил не в ту электричку, еду, еду, лес гуще, мрачней. Места незнакомые. Вышел. Какая-то Слудица. У вокзала куст сирени. Пышный, розовоперстый, как в Персии. Стою на платформе, солнце садится над лесом. Теплынь. Шаганэ. Глухая сторона. Проснулся. Пустота в пальцах. Снилось: пишу книгу, а строчки расплываются, и страница течет – это река, наш Оредеж. Без заглавия, безголовый какой-то текст, в блеске, в камышах. Снилось и писалось что-то радостное, и я чувствовал, как улыбаюсь и смеюсь во сне. Нет, такую книгу мне, конечно, никогда не написать наяву. Ясно. Об этом и думать нечего. Гулял. У реки обручение: дождь надевает ей на пальцы свои хрустальные кольца. Сколько наяд, столько и пальцев, всем замуж хочется. Русалка выплывает из-за осоки, пузырьки, как бисер, обсыпали. Раскольников, пыль, кирпичи, известка, жара, зловонные лестницы, распивочные, пьяные вопли, визги. Митька, Митька, Митька, Митька!.. Запах краски на тухлой олифе, топор в дворницкой под лавкой между двумя поленьями. Запор на крючке: дерг-дерг.

Мечты о фонтанах и садах. Сон об отдыхе в пустыне, пальмы и ручей с цветным дном. Голова кружится, сейчас упаду. Капернаум. Каюта. Болтовня за спиной. Пузо в тельняшке, накренив канистру, заливает бензин в бак машины. Льется лилово-шелковистой струйкой, источая приторно сладкий, как жасмин, запах. Эта канистра кажется неисчерпаемой, как море. Искупался, вода бодряя. Сосна на берегу стоит мускулистыми корнями. Муравьи, вздутые юбки, булавочная голова самолета блестит на закате. Вышел. Витебский. Резко, рыба, черная игла в небе. Парень в майке, продавец даров моря, достает из мешка и мокро шлепает на опрокинутый кверху дном ящик тускло-серебристую саблю с мертвыми глазами. Пошел на почту, пенсионный день. Жара, пух летит, молочная очередь у цистерны, мой загар и синие глаза, молодые женщины смотрят пронзительно. Веранда, окна раскрыты. Стою голыми ногами на зеленом коврикe в круге солнечного света. Приятно ощущать тепло на голых ногах и думать о бездонном мире нового дня. Улитка. Судорога пробежала в ахнувшем небе. Туча светлыми пальцами в окно: тук-тук. Нарастающий грохот, лавина колес, жужжание больших, черных мух на стекле. Нет волны, мелкая рябь, пузыри, вздохи, круженье, мутная пена. Дачи застеклены зеркалами. "Колокольня В-й церкви: биллиард в одном трактире и какой-то офицер у биллиарда, запах сигар в какой-то подвальной табачной лавочке, распивочная, черная лестница, совсем темная, вся залитая помоями и засыпанная яичными скорлупами, а откуда-то доносится воскресный звон колоколов... Не то, чтоб, а вот заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь, и как-то грустно. Всего противнее, что ведь действительно о чем-то грустишь! Юродивая! Юродивая!.." 26 июня. Дунуло в окно, бумага на столе вздыбилась, зашуршав, как белый конь. Жертвенный. Царский. Облако-рак. Человек из-под земли. "Убивец!" Комната с острым, туманным углом. Свеча в искривленном медном подсвечнике на стуле. Читают о воскрешении Лазаря. Гроза, ливень, плеск в саду. Эти грациозные и грандиозные речи. С крыши дугой, шумя о своем, – дождевая струя. Стихло. Воздух густой, парной. Лист жасмина с алмазной запонкой. Лежу, задремывая, в прохладе. Многовершинные знойные горы стоят в окне веранды. Купался в прицеле грозы, под пулями капель. Воздух насыщен дыханьем взволнованных растений. Свет дождевой, рассеянный. Раковины, бормотанье. Колеса мчатся в сизую, как ночь, тучу. Выделены шрифтом, кавычками. Током бьет от

окна, кареглазая, бледная. "Это только значило, что ТА минута пришла". По запотелым стеклам переполненного троллейбуса текут капли. Она в резиновых сапогах, с торгом. Рот сердечком. Не пойму, зачем она употребляет такую яркую помаду. Купили подарок сестре: хрустальную конфетницу, брянскую, 78 рублей 60 копеек. Продавщица стукнула волшебной палочкой – и зазвенело, чисто-чисто, как камертон. Идем, по сторонам глядя. Через пустырь, мимо школы. Птицы, птицы... "Как ты смешно ходишь: ноги задираешь! Только сейчас заметила". Говорит она. Пусть говорит. Я – тварь дрожащая, ПРАВО имею. У сестры завелся новый друг, на 12 лет ее младше. Познакомились в "Репино". Не тот Меншиков, а который "У Покровских ворот" играет, с усиками. Девки штанов не носили, парни им под сарафан сена насыют, а те – смеются. Вот и открыли генетический код человека. Радость луча в мокрой листве. Устал, вино в ушах шумит. Вышел освежиться: мир гаснет, закат. Руки тут, вот они, а голова, как не моя. Рельсы струятся. Блеск ее глаз. В вагоне на скамьях лежат девицы, выставив в проход голые розовые ступни с растопыренными пальцами, как лепестки. Шелуха семечек. Туман. "По крайней мере, долго себя не морочил, разом до последних столбов дошел... Вам, во первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!.. Потому страданье, Родион Романыч, великая вещь... Прогуляться собираетесь? Вечерок-то будет хорош, только грозы бы вот не было. А, впрочем, и лучше, кабы освежило...". Играли в дурака, в сумерках. По дороге прогрохотала цыганская телега с бидонами, цыган в фуражке стоял в телеге и кричал на лошадь. Сивая грива, глаза черные, огненные, взгляд волчий. Побрился. Босой на траве. Что есть всё? Вот вопрос! Металлические кольца одержимы магнитом, а поэты одержимы Музой. Знаю, знаю, кто сказал. Можешь нос не задираТЬ. Стрижи в дождевом небе ловят клювами капли. "Я дитя Земли и звездного Неба, но род мой небесный... Я иссохла от жажды и погибаю – так дайте же мне скорей холодной воды, текущей из озера Мнемосины". "Плотное, влажное, холодное и темное сошлись сюда, где теперь земля, а горячее, сухое и светлое ушло в даль эфира". "Бездельно. Улица шумная, носятся автомобили, тепло (не мне), цветет все сразу (яблони, сирень, одуванчики, баранчики), грозы и ливни. Я иногда дремал на солнце у Смоленского рынка на Новинском бульваре. Люба встретила меня на вокзале с лошадью Билицкого, мне

захотелось плакать, одно из немногих живых чувств за это время (давно; тень чувства). Наша скудная и мрачная жизнь. Болезнь моя росла, усталость и тоска загрызали, в нашей квартире я только молчал. Мне трудно дышать, сердце заняло полгруды". Анаксагор, жизнь безумная, глухая. Бледное от страсти лицо в белую ночь. Не было, ничего не было. Трехгорно, смутно. Обливался на дворе холодной водой из колонки. Дивное ощущение! Выдышаться в смерть. Звезды, грязь. Червь ушел в землю – конец дождям. Готовлю обед, поглядывая в окно на бурный ливень. Режу острым ножом на доске сочные листья салата. Капли скатываются с клена, как по ступеням дрожащей лестницы. Оса штурмует окно, храбро бьется с незримой преградой. Лежу, небо у изголовья. За струистым стеклом гроза, расплывчатость, один, мне 53. Резко-белая черта, как удар раскаленным прутом по глазам. Последняя громовая нота. Уходит. Рыжий паук спустился на подоконник. Что-то его испугало, проворно поднялся опять по незримой паутинке. Ласточка ошалело носится под тучами. Цинковый рукомойник на дворе засверкал, как звезда. Затопленная дорожка в саду.

Сосна в бусах, роняет с шорохом дождевые жемчужины. Из-под века коры смотрит умный янтарный глаз. Купался голый. Туман. Сырое ку-ку из леса. Белые чаши жасмина. Опять облился холодной водой. Стоял босыми ступнями на росистой траве с белыми головками клевера. Небо сразу стало выше, шире, тучи титанически шевелятся, распахнул объятия, братаемся. Вскипятил воду в ковшике, а чая-то шепотка. Гулял. Знойно-влажно блестит листва. Шмель в рыжей шубке, жарко ему. Звон пилы рыдающий. Мостик из замшевых досок через канаву. Густой, парной запах просыхающих после дождя растений. Дохнуло и на меня Это на Этой дороге. Опять надвигается в тишине, потемнело, пахнуло влагой, гремит лениво, нехотя, заоблачное ворчанье. Неубранное белье мокнет под дождем на веревках, возбужденное, обрадованное переменой в судьбе, рукава рубах свисают над яркоглазой травой, тянутся к ней, покачиваясь и вздрагивая. Лежу у окна с небом, на правом боку, с закрытыми глазами, подложив руку под голову. Внезапный блеск сабли пронзает веки, раздается удар грома, и я, испуганный, вздрагиваю. Будто бы, выпив вина, пьяный, лежу, обнимая обнаженную хмельную женщину, и она горячо прижимается ко мне, и лепечет мне на ухо что-то нежное и страстное, полное грозы, молний, мрачного электричества, шума

мокрых вершин. А та, за окном, воительница, бушует, гремит, не переставая, и сабля сверкает, глубоко озаряя глаза под веками, и кто-то огромный с треском разрывает небо. Я в один из своих дней. Купался в полночь. С сосен с шорохом падали капли, вспугивая розовые полосы на воде. Вышел помолодевший. Дорога лежит нежно-телая, спит с открытыми глазами бездонных луж. Варю уху из двух рыбок. Сосед дал. Оса и паук на туманном стекле. Оса бьется в сетях, обессиленная. Паук терпеливо ждет, затаясь, вверху. Лег спать, а по мне кто-то скользнул – по животу, по ноге. Вскочил, включил свет, отвернул одеяло – паук! Черный, мохнатый, на простыне!.. Будто бы лежу на дне глубокого колодца с черно-ржавой торфяной водой, а глаз мой плавает на поверхности, мрачная ромашка. Окно, овца в небе, муха гудит у изголовья. Подоконник то потемнеет, то разгорится. Тополь пишет тенистыми чернилами, у него на ветке фразы шумит много слов. Простужен. Сегодня не обливался. На лодке, у тростника за пазухой. Закат, забылся, шевеля веслами, как плавниками. Вода возрождает. Тянет к себе, уговаривая, нежно взяв за руку. Поздно. Брось. Голова мутная, как в тине. Зеленая муха ползет по абажуру. Не отделаться от вкуса рыбы, съеденной утром за завтраком. Стою у окна, смотрю в сад, и этот вкус рыбы во рту. Снилось книга, круглая, как блюдце, как карась в золотой кольчуге. Иду, облако – чудо, и девочки в купальниках, размахивая полотенцами, бегут через дорогу к речке, маленькие, острые, как бутоны, груди. А гора растет, шевелится, воздушная недотрога, плечи, шея. Как может повернуться женщина! Молния затрепетала мотыльком. Гуляю в доме, от одного окна с грозой до другого окна с грозой. Скучать некогда. Кровавый вечер. Блестит нож на столе. Шаляпин, велосипедист, жирный паук на озаренном стекле раскинул сеть. Цыган пробренчал на телеге с бидонами, горланя и стегая кнутом вялобегущую лошадь. Ни дня без грозы. Сад побит, залит. Конец света. Пишу у окна, глядя на эти ужасы. Дождь ослабел. Лягушка прыгает на дороге по лужам, всплескивая мглистую воду. Иду по ночной дороге в лужах и думаю об Апокалипсисе. Это место из 5 главы: "и видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее". Ничего, ничего. Горстка праха. Спросил через забор у соседа: какое число. Говорит: 15 июля. Снилось: будто бы лежу на дороге с какой-то женщиной, на

виду, посреди множества людей, я лежу сверху на этой женщине, а голова ее среди камней и грязи, лицо неразличимо. Нас обступили мужчины и желают участвовать. Я протестую. А женщина, напротив, согласна, она хотела бы доставить радость всем сразу и возглашает возмущенно: "Хватит с меня и того, что я с мужем вот так намучалась!". Я целовал ей ноги и готов был на все, лишь бы она не отказала мне в своей милости. Чей-то гнусный, бабий голос рядом произнес: "Молодец! Уломала!". Проснулся в поту. Половина седьмого. Петух поет. Пчела летит пить с чашечек. Томлюсь в тюрьме дождя за обложной решеткой. К вечеру просвет, пошел купаться, а туча черная-черная, как первоначальная тьма из бездны. Вода обожгла, сжав в объятьях. Вышел возрожденный, словно юноша. Встретилась девушка с велосипедом, ведет за рога, в синем купальнике, на лице красивая мечтательная улыбка.

Витебский. Клубится битва в полнеба. Лужи на асфальте, парной запах тополей, капли повисли на пальцах листьев. Вхожу. Она сидит на диване, розовый халат, мочит ноги в тазу и смотрит американский боевик. Взял с полки том Блока, "Записные книжки", и ушел к себе. Святослав Рихтер: "Рояль – это адская машина с акульными челюстями. Струны – натянутые человеческие жилы". Жаркий день. "Рыбы" Ларионова. Канал луженую глотку дерет Скалозубом. В Летнем саду сто лет не были. Духовой оркестр стариков. Джазовые мелодии. Сидим на скамейке, она замерзла, руки как из ледника, я согреваю их в своих, а она ногой подрагивает в такт мелодии. В Елисейском купили селедку. У нее ноги отваливаются. 24 июля. Конечно. Ей хочется в Петергоф к фонтанам. А там теперь цены за проход невероятные, для миллионеров. Идем вдоль ограды, высматриваем лазейку, мы с ней тоненькие, как щепки, вполне можем сквозь жерди пролезть. Нет, увидят. Лучше под этим мостом переберемся, по краю бездны, по скользкому гранитному выступу, рискуя свалиться в бурный поток с песком и илом. Ну вот, целы и невредимы, и бесплатно гуляем, а ты боялась. Тут есть на что поглядеть. В заливе купаются три индуса, коричневые, как ил Ганга, белозубые, кричат, тычут пальцами в Кронштадт. Идем, держась за руки. Парк кончился, поля. Сняли обувь и шли босиком по песчаной дороге. Дубравы. Травка пострижена под бобрлик. Резкие тени. Проснулся. Она встала за стеной. Шумно металась. Опаздывала. А ушла только через час. Лязгнула дверь. Я успокоился и снова уснул. Приснились какие-то малайки. "Адажио"

Томазо Альбиниони. Ем черную смородину из чашки. У залива нам попался щит с надписью: "Купаться запрещено! Холера!" "Ну вот, а я руки в этой холерной воде мыла!" вскрикнула она в ужасе. Забор. Флаг на башенке, как над фортом – белая и желтая полоса. Огородик, ульи, пчелы летают. "Спасательная станция". "Чувствуешь, водорослями пахнет?" Она раздувает ноздри, повернув лицо к морю. "Вот тут нам с тобой почаше надо гулять".

Хожу в сумерках, опираясь на ивовый прутик. Купался в грозу. Смерть от молнии – дар богов. Плыл, крича туче: "Убей! Ну, убей же!" Тоска. Бессвязно. Белые головки клевера вздрагивают. Орlando Лассо, бельгийский Орфей. Волны бьют лодку в скулу. Бьют и бьют. Мальчики в тростнике удят. Пожелал им поймать щуку. Колочая лапка с двумя зелеными шишками. Небо без птиц. Сплю, кружась, как песчинка в вихре. Деревца, тоненькие, тянутся вверх – выше, выше. Оса вьется над чашкой чая, чаеманка. Знойно, купаюсь, хрустальная звезда. Лира Орфея. В звездные ночи я ее ясно вижу. Это поют Земля и Небо, си-минор. Вот оно что. Муха уселась сверху на блестящий металлический ус антенны. Так ей лучше слушать. Алябьев, Глинка. Солнце на шоссе ревет мотоциклом. Весь день знобит. Гипноз заката. Вальс-фантазия. Стою на высоком берегу, над обрывом, прислонясь спиной к березе, она теплая, а светило, пылая, прячется за елями. Сыроежки червивые. Потерял ножик. Стоило для этого в лес ходить. Кружил, кружил вокруг стонущей сосны. Нет ножика. Леший подтибрил. Шуман "Лесные сцены" в исполнении Святослава Рихтера. Ем чернику. Звезды ясные. Ковш, а над ним – седое крыло ночной тучи. За хлебом, а то разберут в мгновение ока. Две девушки босиком шли по шоссе, блестя запачканными ступнями. Пишу на клочке перед чьим-то домом. На дорогу вышла женщина: не инспектор ли я? Номера домов записываю? Туман на рассвете. Яблоки в алых брызгах. Она, легка на помине. На шее новое янтарное ожерелье. Янтарь необработанный, говорят, для здоровья полезен. Купим соковыжималку, а блузка подождет. Плеск у соседей, качают, гремят ведрами. Картошка уродилась – с голову годовалого ребенка!

В городе, как не в своей тарелке. Приехал ночью: огни, чьи-то колени с гусиной кожей, жирная грудь, ларьки, журналы, похабно. В Стрельну, побродить одному. Мутно-желто. Автомобиль с прицепом, грузят сено в тележку. Разулся, сижу босой. Кузнечик прыгнул на большой палец моей вытянутой ноги и гордо восседает, как

изумрудный царь. Принес ведро вишен. Она, глядя белье, смотрит фильм про атомную станцию. Халаты, скафандры. Бледная, плохо себя чувствует. Поставил ведро и уехал. Она не обернулась. У реки костер. Мужчины за бутылочкой, ребятишки коптят на огне сардельку, нанизанную на прут. Она спускается по лестнице, как перистое облако. Тюль – занавески шить. Солдатские башмаки, она в них по горлышко утонула. Загадочное зеленое насекомое ползет по стеклу, распутив прозрачные крылышки. Провожал. Улыбается из вагона. Закат, коробка сигарет. Лик его ужасен. Четыре девочки и собака. На реке белая перина тумана. Октет фа-мажор. Фары на шоссе. Немигающее око в небе. Да и понедельник в придачу. Мусоргский с нищим чемоданчиком. Выброшенный на лестницу. "Надо запретить сочинять такую музыку!" Чайковский о его "Борисе Годунове". Ем яблоко, червяк в нем. Лежу, солнце брызжет в лицо горячими лучами. Картошку в город везти... Она печатает на машинке с латинским шрифтом! Да ничего веселого. Родословные породистых собак для клуба собаководства. Вчера ей резали десну под наркозом. Фиолетовые зигзаги. "Ночной Гаспар". Марта Аргарис. Погасло. Полет дьявола. Окна пассажирского поезда пробегают по подушке. Рыжий, как все ирландцы. "Ты? Уже?.." Читаю книгу: страница черная, страница белая. Бедный, на шнурке от кальсон повесился. Крышу кроют зеркальным карпом. 25 августа, день рождения Иоанна Грозного. Копаюсь в грязи, вылавливая из жижи полусгнившую картошку. Стая дроздов на сухом дереве. Сплю. Хлещет по стеклам. Баренцево море, шторм, поп в рясе, женский плач, плывут венки. Вас окружили крысы. Освободитель из Новой Гвинеи. На Сенной "Дон Кихота" не продать. Ночь ледяная. Спал в лыжном костюме. У соседа в сырых сетях ни свет, ни заря бьется серебряный лапоть. Она встала, поет, голая, янтарное ожерелье у сосков, лихо заломленная бровь. Вскрикнула. Напугал велосипедист, выскочив из-за спины, как блестящий вихрь. Черный луч ударил в дорогу, по которой мы шли. Отсырелый сверток суеверных дней. "Закрой заслонку и давай спать" говорит она потухшим голосом. Лежу во мраке. Песнь варяжского гостя. Еще не все. Миска зеленых стручков. Четверной прыжок. Пар от железа. Встала. Слышу ее шаги в комнате и стук двери. Накачал воды, колышется в ведрах, играет утренним блеском. Лодка, зной, желтый обрыв. Разбудила собака, белая в черных кляксах. Сюита номер два си минор Баха. Солю грибы слезами. Радуюсь, как ребенок, не явившийся

в мир. На дороге свежесрезанные златоголовые георгины. Милый друг подарил. Раскинула руки, лежит, блаженная, растянулась до леса, во всю ночь очей не сомкнула. Огоньки сигарет во тьме гуляли. Дыня с водкой. Сгорел, как ракета. Бледнорукая, ловит меня под луной в высокой траве. Ночью все автомобили серы. Заговор окружности против центра. Затяжные паузы. В корзине мокнут шляпки. Чмокнула в щеку. Ржанье пасущейся лошади за платформой. Рельсы гаснут. Вот и все. Цыганка на дороге, золотые колеса в ушах.

Сливы варит в медном тазу. Аромат на всю квартиру. Нас в гости пригласили, так о чем я думаю, почему не готов? Могу одеть японскую куртку и отправиться хоть в Токио. Там я сойду за своего и затеряюсь в толпе. Там все такие, мягко сказать, миниатюрные. Она в тревоге: ветер испортит ее прическу, над которой она трудилась все утро. Они вернулись из путешествия по Северной Германии, а мы что ж лыком шиты?.. Тепло, пьяненькие, троллейбусы рассыпают дождь звезд. "Что ты дрожишь, как птичка? Не дрожи!.." Всю ночь в квартире под нами спорили голоса, нерусские, азербайджанцы, мужчина и женщина, не давали спать. Женщина плакала. Мыл окно – потемнело! И какой-то странный шум. Град! Тротуар белый. Как клавиши машинки. Неслышанный тайфун в Японии. Катастрофическое наводнение. Тощий, как щепка, с морщинистым лицом старик-японец в лодке по желтой воде на улице города. Дерзновенная и безмерная сила. Стихия. Судьба стеклянная: блестит и хрупка.

Ядовитое око, зелень бледная: всю ночь, всю ночь глядит мне в лицо, не мигая. Леня встать, завесить. Монтень учит умирать. Смуглый, вихрастый, в клетчатой рубашке, читает за столом, подперев щеку рукой. Я вздрогнул: это же я! Желтое в алых брызгах яблоко. "Это то, что видели наши отцы, это то, что будут видеть наши потомки". Манилий "Астрология". Грибы варю. А там-то: звезд! Плыву в море, закупоренная бутылка с запиской. Долго болтаться, только б глаза сохранить сухие, а то – буквы расплывутся, пропадет весточка, никто не узнает о кораблекрушении. Как назло лук рядом режут, креплюсь из последних сил – удержать слезы, а глаза затуманиваются, затуманиваются, уж ничего не вижу... Шаги гигантов, хохот, удары. Фары с шоссе тянутся ко мне в темную комнату, лижут огненным языком мое лицо. Хрустит соль. Снятся лесбиянки. Снилось Капитолина Ивановна, поселковая библиотечка, и невестка ее, Женечка Медведева, с детской коляской. Женечка зовет меня.

Подошел с замиранием сердца и нежно с ней разговаривал. Молодая, ничуть не состарилась, все такая же дивная, божественная, как тридцать лет назад. Пловцы на олимпиаде в Сиднее. Погиб альпинист Батурин. Снежный обвал. Непокоренная вершина сверкает, как алмаз. Восьмитысячник! Ты подумай! Ах, ты ледяная, бесчеловечная красота гор!.. Проснулся. Вставать не хочется. Туман. Виденья летят, не оглядываясь. Пушкин поплыл в Америку. Бронзовый, гигантский. Поставят в Нью-Йорке. "Что в мой жестокий век восславил я свободу..." Там свои – курчавые негритята. Шел от метро, тонкие розовые полосы. "Я в дверях вечности стою". "Поэт в плену у Психеи". Ночь полна полустертых лиц. Буква "Алеф" – белая на черном. На лестнице воняет газом. Жуткий смрад, жгут кости. Именинники Андрей и Павел. Пять раз просыпался, вылезал из шкур и шинелей и шел к унитазу. Моча, как керосин. Паганини за стеной. Сливы-эфиопки испуганно взглянули на меня из миски фиолетовыми белками. "Все боги обладают разумом, из людей же – очень немногие". Платон, пир, чума. Потянулась ниточка и – оборвалась. Понедельник. В доме так тихо, что уши поют. Съел гроздь черной рябины. Влажная, холодная, рот вяжет. Выхожу из тени и тут же в нее возвращаюсь. У солнца своя музыка. Чюрленис, осень, Зося, сумасшедший дом, простуда, смерть в 35 лет. Чем гордится земля и пепел? Трава седовласая. Царская шапка звезд. Как у Мономаха. Красный месяц. Стою у окна. Бах, триосоната. День как день. Октябрь. Солнце летит. Рыжий венецианец. Мышь на столе, хвостиком махнула. Чаша с водой и медный шарик Александра Македонского. Самые опасные болезни – это те, что искажают лица. Гиппократ, странно. То ли это издание? Цыган в зимней шапке вышел на дорогу. Во сне виолончель, этот голос... Блюдце с мукой. На запотелом стекле тают горы, золотые и розовые, чернеют прочерченные каплями ущелья. Приехала. Фильм вчера смотрела. "Красная скрипка". В состав лака входила кровь молодой девушки. Скрипка передавалась из рук в руки много веков. Попала в Китай. Мао сжигал все музыкальные инструменты. Расстреливал музыкантов и учителей музыки. Гигантские костры из музыкальных инструментов на площадях. Ладно. Чай байховый. Идем в механическую мастерскую. Берут ли в починку пылесос? А стиральную машину? День теплый, небо ясное. Астрономы обнаружили в созвездии Ориона газообразные планеты, сгустки газа, в 70 раз больше нашего Юпитера, двигающиеся хаотически и сами по

себе, вне гравитации, вне звезд. Открытие, опрокидывающее все существующие в нашей науке картины мира. Медный волос. Откуда он на мне? С Кассиопеи? Вот открытие, которое ее волнует. Торнадо. Вихри колоссальной силы. Смерч диаметром в милю, скорость 300 миль в час. Сюань – древняя столица Китая. Два прилива, два отлива. Биологические часы крабов. Их Тихий океан на руке носит. Мадагаскарские крокодилы берут в жены красивейших девушек. Хватают на берегу и тащат в воду. Девушки радуются, что вышли замуж за духов вождей. Это Элагабал. Его везут запряженные в колесницу четыре голые женщины. Они безумно красивы. Кто-то смотрит мне в спину. Точно нож под лопатку. Закат золотит пруд, утки. Настольная книга Льва Толстого. "С пользой и удовольствием читал Монтеня". Пришла. Просит, чтобы я посмотрел в лупу прыщик у нее на носу. Потом готовила баклажаны. В ночной рубашке, как русалка под месяцем, не спится ей, почему я не ложусь, уже поздно, уже час. Бред. Постель взрыта, буря тут ночевала. Еду. Куча угля на какой-то станции сверкает черными алмазами, провода в небе блестят нежно, струны эоловой арфы, в них поют голоса ангелов, а тополь мой гол, но по его виду не скажешь, что он горюет. Нет, он ждет знака, свыше. Свет у нас на третьем этаже. Плещется в ванной. Помолилась перед сном. Лежим. Потолок падает, как коршун. Арка ступни, на которой она стоит над миром, а под аркой мчатся по шоссе машины. Бесконечный поток машин. Ей хочется антоновских яблок. Боже, что за жизнь наша! Вечный раздор мечты с существенностью! Едем. Она в черном беретике. В Павловске чудные женские ноги на перроне. От неврастении лечатся иглоукалыванием. После ванны, сидит, поджав ногу, наносит на ногти какую-то ярко-белую мазь. Говорит, что она для меня как мебель. Сорвал ягоду боярышника. Пресная, безвкусная. Спускаюсь по скучным ступеням – она! Ее желудево-ворсистое пальто, шапочка. "Куда это ты собрался?" спрашивает. Лицо бледное, суровое, ни тени улыбки. Ночь. Стою, прислонясь лбом к холодному стеклу.

Смотрю: календарь странный, без красных чисел, смутное что-то. Как бы октябрь, как бы 17-е. Строительный кран на закате – цапля на одной ноге. Продавщица раздавила пальцами яйцо и залила желтком монеты в коробке. Варю картошку. Сумрак, небо гаснет. Трамвай до Автово, а там – дворами. Хирург назвал ее изящной. И такую изящную ножом резать! Вечно я с сумками, Фигаро. Снял с плеча, отдыхаю.

Тополь золотой, мглисто, поликлиника. Шум паяльных ламп свыше. На доме крышу смолят. К зиме готовят. В Европе наводнение. Боевые вертолеты, ветер в горах, бородатый грузин, проводник банды. Месяц утренний, грустный. Жерар Лабрюни. Обрили наголо. В гетрах, брат тигра. Это не стул, стулья такими не бывают. Лакированное плечо, на которое можно опереться, и пачки чая у него все раскрыты. Подозрительный торговец, на китайца не похож, раскосость не та. Вулканолог тебя спрашивал. С Камчатки. Ее Римского-Корсакова. Плясали под патефон. Русланова пела: "Валенки, валенки, неподшиты, стареньки". Пять лет ей было, живо помнит. Голос Руслановой: "Знает только один бог, как его любила, по морозу босиком к милому ходила". "Я бы тоже по морозу босиком бегала" говорит она. "Я страстная, безрассудная". Помнит: закончился учебный год в школе. Конец мая или начало июня. Идет по улице, и голым ногам так тепло, от солнца, от тротуара! Это ощущение летнего тепла на голых ногах незабываемо! На первом курсе института: поехала с молодым человеком на Острова, в ЦПКО. Сидели на траве под вязом. Гус-то-ой вяз! Весело, смеялись. Влюблена немного. Так и не поцеловались ни разу. Вдруг гроза! Ливень! Вымокли до нитки. Обратно на трамвае, мокрые. Юность, свежесть, ожидание счастья... Ноябрь небывало теплый. Сплю с открытым окном. Она поет за стеной: "Дорогая моя столица, золотая моя Москва..." Идем в Эрмитаж. Старик в тулупе поет под аркой Главного штаба. Певец Панин. Нева наша. Трамвайчик бежит по волнам, бело-синий. Золото льется над Биржей. Даная, Юдифь. Заупокойный храм царицы Хатшепсут. Ученик спросил монаха: "Есть ли сердце? Или сердце отсутствует?" "Сердце отсутствует" был ответ. Встречал у булочной. Бежит. Светло-желудевое пальто. Довольна. Развеелась. Дмитриев совсем старый, восемьдесят, шамкает. Жизнь актера. Пасмурно. Пулково. А где "прибытия"? Красивая, в очках, в серебристом пальто. С ней мальчик, сын. Заглядывает за барьер, улыбаясь, взволнованная, повторяет: "Точно, точно! Это он!". Вечер. Лютеранская церковь. Стою под деревьями, ем сайку. Невский в огнях. Небо светлое, звездочки. Я во мраке невидим. Девушка, взглянув на меня, улыбнулась в темноте. Так это бывший бассейн, а теперь тут Моцарта исполняют. После концерта стоим в вестибюле и чего-то ждем. Дверь открывается, и там – белый полукруг в небе. В лунном сиянии... У метро молодежь шумит. Шоу. Купили кокосовый торт. "Я еще интересная женщина?" спрашивает.

"Еще какая интересная!" отвечаю. "Способна кружить головы!". "Твою голову кружить" говорит. "Только твою". Фильм старого времени. Буйноволосый, курит у раскрытой двери летящего ночного трамвая. "Будем говорить грубо: вы влюблены?". Между "Балтийской" и "Технологическим", бледная, как бумага, мучительно улыбается, валидол... На дороге, пожилая, с собакой. Веселое лицо в платке. Под хмельком. "Ах, гулять-то как хорошо! Не осень, а сладость! Воздух-то! Кушать бы его!". Бежим на станцию. Она – задыхаясь, хрипит, отстала. А тот – гудит, обогнал, у платформы... Ах, черт! Зря надрывались. Изпод носа... 9 ноября, день рождения председателя Земного Шара. У метро хризантемы. Несу, нюхая. Кусто. Осьминоги, крылья плавные, с узорной изнанкой. Ум от звезд, сердце от солнца. Тела опознанных. В Мурманске сырой снег. У нее спазмы головы. Лежала весь день. Говорит, что чувствует себя одинокой. Предложила расстаться. Заглянула посреди ночи: "Ты что делаешь?" "Не сплю" отвечаю печально. Вот и утро. Мглисто. Машина в переулке. Из кузова столб поднят, на столбе площадка. Электромонтер в черном с белой шнуровкой шлеме провода чинит. Печатаю в очках, как под водой. Розоватые щупальца колышутся высоко в темном осеннем небе. За три квартала. Клуб "Тайфун". Подростки бушуют. Юрий Кружанич. Хорватский часовой. Форма, композиция. На подсознание действует. Проковырял лунку во льду: проплывают слоновьи ноги Исакия, седые, в изморози. "Наверное, я неласковая" говорит она. "Какие мы с тобой нетеплые!". У нее защемление нерва. Лежит ничком, плача. Массажировал ей спину. Командующий Северным флотом, седой адмирал, лоб в испарине: "То, что вы говорите – ужасающая некомпетентность. Я даже и отвечать не хочу на ваши вопросы. Причина проста – нет топлива кораблям. Дайте топлива – и ни одной иностранной лодки в Баренцевом море не будет. Всех вытолкаем". По дороге к станции – согнувшись, тащат мешки, везут тележки. Измазанные в земле. Картошку, морковь с полей. Старики, дети, женщины. Молодые. Вон – в фуфайке, глаза сверкают. Солнце, резкий ветер. Швейная, "Большевичка". Лаваш и колбасу, закусим за столиком в кафетерии. Купили на ярмарке розовую блузку и черную в полоску бархатную юбку. Дома примеряла перед зеркалом, пела, довольная. Два мальчика летали на коньках по чистому льду. Прозрачней стекла, тонко пел под молниями полозьев. Стою у пруда, зачарованный, не оторваться. Что у нас? 28 ноября? Незнакомка

мелькнула, и нет ее нигде. "Боже мой, какое безумие, что все проходит, ничто не вечно". "Время сделало один шаг, и земля обновилась". Не надо Шатобриана, чтобы понять. Не сплю вторую неделю, шатаюсь от ветра, лист дохлый. Декабрь без мороза. Батый у Киева. Несу свежеиспеченную, горячую буханку, не нанюхаться. В тени великого Баха. О ком это они? Черные, мечутся, каркая, в ночном розоватом небе. Суббота, мглисто, почему я решил, что 18 декабря? Не могу объяснить, хоть режь. У нас с ней поход за медом. Там продают, на Ленинском проспекте. Магазин "Русская деревня". Пойдем вкось между домов, да еще зигзагами, так и без транспорта запросто доберемся. Мед гречишный, мед башкирский. Дают попробовать на палочке. "Настоящий мед должен язык жечь" говорит она "а этот что-то не очень-то...". Все-таки, взяли литровую банку. Еще купили мыла и стиральный порошок "Ариэль". Да вот бетонный забор, тут можно, никто не видит. Присела, приподняв полы своего синего пальто. Черная шляпа. "Неужели ты ни о чем больше не можешь говорить, кроме как о своей литературе?" спрашивает она ледяным голосом. Быстро, быстро идем, бежим, чтоб не замерзнуть. "Легковато мы с тобой оделись". По мостовой вьются, гонясь за нами, белые змейки. Гертруда Стайн, ясно, колготки "Черная роза", еду, ветер в поле, вот гора, где спит мой бедный отец. Уже ночь. Паркет скрипит, плеск в ванной. "Посмотри, есть ли звезды?". Ничего там нет, как вчера. Одинокий челн причаливает в сумерках. Эпоха Сун. Неизвестный автор. Лепит снегурку. Свечи трепещут, пламенные язычки в окне, на Стачек. Крестится. Как бы наша комната, полумрак. Шью книгу, большую, в серебре, игла, как месяц за окном, поблескивает. Так еще никто не шил книги. "Ну, шей, шей!" говорит чей-то голос. Тает. Елабуга. Следы пальцев на глянцевой черной обложке. Видел гору: изрыта нишами, в нишах стоят фигурки. Есть ниши пустые. Прячется, торчат уши. Книга-рояль, нажимаю клавиши. Есть клавиши незнакомые, никто еще на них не нажимал. 2 февраля, по обычаю пошел в баню, мороз, звезды. 54 стучит: "Кто в теремочке живет?". Утром лежим с ней в постели, она поет песни. А там? Опять?.. Вышли из дома, и я полетел вверх, как свечка, в носках. Захотелось ей показать, как я летать умею. И я лечу выше, выше, куда-то в горы, и вот, пытаюсь подняться над гигантским зеленым деревом, растущим на горе... "Телеграмма!" кричат за дверью. Самолет полоснул крылом. У него реактивный глаз. Наши тинистые книги ему не прочитать.

Спускаюсь в подвал. Там продают собак. Две босые, полуголые девицы на стульях. Одна сажает меня к себе на колени, прижимается, раскачиваясь, и ведет какой-то странный разговор. Я объясняю ей, что значит фортепьяно: это громко и тихо. "А! Подумать только!" смеется она и прижимается тесней, крепко обнимает меня обеими руками. "Идем ко мне наверх" предлагает она... Метель. Беспортретно. Пять песен, пять книг. Вот и все. Визжит. Лукавый час. "Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой". "Невесть чего ерехонится, а огня-жизни нет". "Успокой меня, беспокойного, осчастливь меня, несчастливого". "Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие". Март, тускло. Снег на Мойке. Пушкин смешной. Решетка, тающий двор Капеллы. "Снегурочка" 6 марта. Без пяти три. 8-е, день чудесный, блестя на солнце, друг прелестный. Щурится, в шубе ей жарко. В цветочном, кустистая, можно ли желтую дарить? 11-е, гулял, унылый. Две девушки, юные. Гладкие лица, подведенные глаза. Обрывок разговора. Взглянули на меня внимательно. Слышу: зовет. Рукой машет. "Откуда ты идешь?" спрашиваю. "Из жилконторы" отвечает. Еду. От окна дует. На платформе под фонарем госпожа Арну. Приснилось: будто я иду вечером в своем длинном зеленом пальто, несу на руках собачку, огибаю какой-то мрачный многоэтажный дом. Тускло, грязь. То ли осень, то ли ранняя весна. Надо перебраться через канаву. Ноги скользят, не удержать равновесия. Чтобы не упасть, сажусь прямо в грязь, в эту канаву, стараюсь собачку не уронить, плачу от бессилия. Кое-как встаю, обхожу сарай и кучи мусора, тут дорожка, следы шин, сухие стебли. Двое пьяных, шатаясь, несут за ноги - за руки третьего. Приближаются. Я сторонюсь. "Этого пока еще нести не надо" говорит идущий впереди заднему. 21-е, автобус бежит по желтому Петергофу. Городской суд. Репейник блестит. Александра Федоровна, душа твоя на небесах! Нижний парк, солнце садится. Голос в трубке: "Хочешь послушать живого Паганини?". Театральный мостик, бежит в платочке. Мозаику будем смотреть. Филармония, Спиваков, триста рублей в кармане случайно не валяются. Ах, как жаль, как жаль... Ладно тебе! Имя во мраке. Фанданго. Эти две бабы, уж прячется, лучисто, стекло зажглось, бакенбарды жженые. Толкают, директор в недоумении, "Купание в гареме", руками разводит, малахитовая шапка горит. Гордые устремления ума. Послевкусие, напал волк, сумерки. Колеи от колес, ручейки. Иду, иду вверх. Догнал грузовик, обрызгал с

головы до ног. В мутном небе, высоко-высоко, хоровод чаек. Рыбачий поезд из Лебяжьего. Шум-гам, красные, обожженные, глаза блестят. Сундучки, коловороты, бушлаты, ватные брюки, валенки. Весь вагон пропах рыбой. Купили корюшки, 1 кг – 50 рублей. Прозрачный мешочек серебра тут же взвесили на безмене. Петергоф в тумане. Белогрудые птички прыгают по веткам. Суд не состоится. Подкатил к остановке, двухэтажный, как в Лондоне, сидеть мягко, с ветерком. А платить тетя будет? Гуляли. Седые веточки. От воздуха пьяные. Снежок самоцветный. Начал ей что-то говорить и запутался. Купили зелени, шампиньонов, крабовых палочек, две пачки чая. Серенько. Сырой, пронизывающий, из-за угла. 17-я реминовая соната Бетховена. 1 апреля, маловерные. Груда срубленных ивовых прутьев с набухшими почками у дороги, запах свежести, как у Гоголя в 6 главе "Мертвых душ". На пивной бутылке Степан Разин в красном кафтане, подбоченясь, плывет по Волге-матушке. Патагония. Пингвины купаются в бушующих зеленых волнах. Их игры, плеск, радости. Сардиния. Нурагийские могилы гигантов. Святилища воды. Бодрый-то бодрый. Хаотично как-то. Стол с утра пьяный от солнца, апрельская яркость, шатается на ножках, как паук, писать немислимо. День певучий, расчирился. Пошел прогуляться. Созерцал грязь на дороге. Фантастика! Призывал духов земли и воды. В канаве поток бурлит сквозь зубы что-то нечленораздельное. Почерневшая ветка встала поперек горла. Два пузырька, сцепясь, бьются у этой преграды, крутятся-крутятся, не разлучатся, а вода звенит, поет. Пошел за хлебом. У магазина ножи точат. Рыжая струя бьет из-под диска. Потом с собачкой пошел гулять, несущая на руках, пусть подышит. Пруды, рисовальная школа. Девочки подбежали. "Ах, какая прелесть! Как вашу собачку зовут?" Одна, самая маленькая, вся в веснушках, воскликнула: "Вырасту, тоже стану такой хорошенькой!" И гладит мою собачку по ее золотым кудрям, а ногти у девочки, вижу, как у взрослой, в маникюре. Дома не сидится, а надо картошку варить в мундире, а то через час голодная явится, меня съест. Документальные съемки. Разгерметизация. Дырочка-то с пять копеек. Через 20 секунд – потерял сознание, через 40 – сердце больше не билось. Черная болванка космического корабля в голом поле. Мечутся, копошатся. Шашлычком тянет. На заливе лед. А там? Ангелы? "Никогда здесь лебедей не видела!" Она восторженно смотрит, глаз не может отвести. Вон они – семь белоснежных, в полынье плавают, в туманно-голубой

дымке. Праздничный перезвон монастырских колоколов. Песок и снег. "Верба твоя!". 10 апреля обстригали яблони. Блеск велосипедного звонка на закате. Дух Святой найдет на тебя. Опять Петергоф. У сестры суд, квартирная тяжба. Смазать надо – колесо Фортуны к нам и повернется, улыбаясь до ушей. А так – зря башмаки топтать. Ольгинская улица. Сiju тут на скамейке. Принц Гэндзи. Синичка тренькает. Прошла девушка, крылато и дивно, колыша черными крыльями распахнутого пальто. От стен охристо. Кондитерская, так вот она. Купили глазурованных сырков, сушек с маком и славянский пряник в виде сердца. Сидим, лопаем. Церковь, ров, мостик, желтые цветочки, вода бежит, светловолосая, монеты на дне. В "Океане" купили кету. Садовая взрыта, песок, доски, бульдозер. III рассказов Александра Грина. Жара 20 градусов. Космос пахнет. Две банки сардин и миндаль. В них кальций. Ей врач сказал. Пыль, толпа, девушки оголенные, в блузках. У сирени грудь набухла, вот-вот брызнет. Того чая в Апрашке уже нет. Ладно. Еще погуляли по Невскому. У нее вдруг заболели ступни. От босоножек, подошва плоская, а она привыкла носить с изгибом. Еле дошла до дома. Гул самолета. Четверг. Черемуха выпустила коготки. Возем саженцы в коробке. Ивы – золотой рой. У кленов лапки. Раскрыл окно голый и долго дышал. Она, провожая, поцеловала три раза. У поликлиники наклонил ветку тополя и нюхал. Клейко. А там – радуга! Откуда, красна девица? Май, вихрасто. Шел через лес. Старый цыган спит под елью, как желудь, фуражка, сапоги. Черный столб, усы-струны. "Кашка" в цветущих шапках. Книга попалась, автор утонченный: паутинкой пишет. Цыгане в вагоне, шумные вишни. Положили на полку над моей головой громадный букет голубой сирени. Сiju, вдыхая, девятый вал. Пьер Сулаж в Эрмитаже. В глазах черно. Оверни. Дольмены. "Гудрон на стекле". "Что до меня, прежде всего я..."

Троица. Бархатцы, День теплый, облака плывут. Выпили по рюмочке. Она заплакала. Бабушка ее любила, холила. Влажно. Кузов самосвала. Нежгучий диск. Сiju у Казанского. Длинноногие девушки. Ну, вот: телефон воды в рот набрал. Треск за ушами. Она от врача, исследование груди, в молочных железах нашли какие-то звездочки. Ничего хорошего. Идем к метро, у нее камень на сердце, говорит о системе лечения Шевченко: 30 миллилитров водки с маслом каждый день. Тополя трепещут. Вещи зеницы. Надвигается... Кто-то подошел к порогу и говорит, говорит... Очнись: дождевой хвостик махнул на

стекле, и опять – ничего. Невский, бежим под одним зонтом, брызги. Конь взвился, Клодт за узду держит. Опоздаем на Скриба. "Актриса Адриана Люверкуль". В первом ряду слева, под локтем оркестра. Арфистка просит ее извинить: она своим золотым лебедем загородила мне видимость. Если я не пересяду на другое место, то я вот так и буду смотреть на сцену сквозь струны ее арфы. После концерта идем за кулисы. Поздравить дирижера. Он завален розами. У него машина на Фонтанке. Дождь хлещет, мутно, дома. Протирает тряпкой лобовое стекло. Это ведь белые ночи! Вышли, шатают, тополя, шелест этот, запах влаги. Наша Лени Голикова. Лежу на спине, рябь сна. Тополиный пух на закате между домами. Гулял по дороге. Голая девушка вешает белье в саду, золотоволосая, белокожая, чудо-девушка. А солнце ярко, а трава зелена. Ушла, оставив влажное пятно у меня на простыне. Сны. Один щемящий, другой – о том, как хвалили мою новую книгу. Ей тоже снится. Красная змейка. К болезни? Накрасилась, убегает. Семинар маркетингов. Я – в Стрельну, волны послушать. Амазонка на вороном жеребце, желтоволосая, в черном корсете. Девочки купаются, плещась и визжа. Две лежат в лодке, свесив за борт ноги. Тоненькая, индианские волосы. Гуляет с догом. Гитары женских фигур на лужайке. Клевер нежный. Ставила мне банки. Не присасываются. Машет факелом с горячей в спирту ватой. Полотенце загорелось. Пожар чудом не устроили. Плачет, сноровки нет. Уехал. На стене играют, мягко колышась, два изумруда – овал и треугольник. Дунет – и они взвиваются, расплескались, пляшут, обезумев, как волны. Эту скоропись не прочитать. Спал без снов. Сегодня на стене мечется изумрудный обруч – то вытянется, то сожмется, вспышки зеленого огня, водяной рот. Камешек – Гималаи. Екнуло. Не случилось ли чего? Понесла нелегкая в город. Злектричка-то последняя. Приехал: ночь. Метро закрыто. Такси не для таких. Пешком по Обводному, лесовозы, полусвет этот. Пьяная у парапета, в канал свесилась. До Нарвских ворот, по Стачек, вышел на шоссе. Теплынь, белые ночи, гуляют, смеются, столики на тротуаре. Без пяти четыре. Рассвет на ресницах. Звоню-звоню в дверь. Сонная: "Ты с ума сошел?.."

Птичка с желтой грудкой сидит на ветке, не шевелясь. Второй час уж сидит. Потемнело. Ливень грянул. Бесценный ты мой! Стоим с ней на кухне, выключив свет. Вспышки молний, как на экране. "Грандиозно!" шепчет она, прижавшись ко мне. 17 июля. Миклуха-

Маклай. Из окна мчащейся электрички вижу синюю вспышку электросварки – в дверях депо. Тополя, зной, грозовые тучи. Старуху болили на лестнице. Милицейская машина. Усачи зевают. Толпа. Голоспинные, голоногие женщины. Следовательно звонит нам в дверь. Белобрысый ежик, в майке. Не видели мы что-нибудь из окна? Не сцепляется, постоянные ошибки. Грезящий часовой. Поставлен сторожить отражения облаков в канале. Платят блеском золотых монет. Она стоит в спальне, как царица Пальмиры, Зенобия. Один раз в 50 лет после арктического шторма рождается великая волна и катится в океане, пока не достигнет берегов Австралии. Там ее ждут эти безумцы, сорви-головы. Сёрфинг. Летят на своей досочке по гребню гигантской волны – бездны на краю. Их звездный час. Очи синие. Бегу на берег. Тюрьма смыта. Вихри пузырьрей... Просыпаюсь. Беспощадно ясно: рассвет. Цыгане кричат на улице. 29 июля. Жара, тополя плаваются. Брови балконов, знойное небо. Ваниль из булочной. Ее шелковое золотистое платье потемнело на спине от пота. В соломенной шляпке, выются ленточки. Воскресенье. Пошла покупать мороженое, очень уж хочется. Развесное, в вафельных стаканчиках. Спускаюсь по лестнице и вижу с последней ступени: за распахнутой настежь дверью нашей парадной на бетонной площадке дрожит золотой утренний свет. Едем. Низкое солнце бьет в окно мчащейся электрички. Голова цыганки впереди, над спинкой. В медных волосах – черная с серебром бабочка-заколка. Жаркие, конские. Качает. Шатобриан, шатры. "Ибо меланхолия – это плод страстей, бесцельно кипящих в одиноком сердце". Чайник свистит, закипая, пар из носа, Эдгар По. Возвышающее возбуждение! Девушка идет под черным, как ворон, зонтом, юбочка, длинные ноги грациозно изгибаются в коленях, туфли на шпильках цок-цок по асфальту, обходит лужу. Шелестит под дождем мокрая листва тополей. Стою у раскрытого окна и смотрю сверху с третьего этажа. В одной руке тарелка с овсяной кашей, в другой ложка, замерла у рта. Таких белых, таких красивых ног сроду не видывал. Грустно я живу. Ненужно, книжно. Капли, срываясь, падают с изъеденного гусеницей листа. Слежу за их полетом, но так и не могу разглядеть: достигают ли они земли. Она стала похожа на красивую, зрелых лет японку. Горбоносая, осанка, прическа, яшмовый гребешок на темени. Загорает на крыше, читая книгу. Притягательно-телесна сквозь листья вишни. Кусками – ноги, плечи. Нырлял, светло-зелено, столбики. Вода холодна. Купался долго, с радостью. В

переулке музыка. Умрет. А звезды?.. Ждет на дороге, голова туго обвязана белым платком, по-крестьянски. Мария. Обивал фанерой. Вихри, Брукнер. И всегда-то он начинает так торжественно. Говорит: вчера листала альбом с фотографиями, и ее поразило мое лицо, где мне уже 50: такая на моем лице безнадежность. Купался, вода бурная, мрачная, столбы торчат, как зубы, мокрые, черные. Никто не купается, один я безумствую. Вылез, стою, обдуваемый северным ветром, бронзовый, как папуас. Капельки стекают, щекоча. "В смерти – жизнь". Это название первоначальное. А потом ему другое, овальное, в голову пришло. Так вот и собираю камешки в книгу. "Я твоя старая, большая мать". Видит машину – ночной призрак, слышит шаги по лестнице. Лампочка лопнула, как последнее солнце. Город, дождь. Тот пепел.

Видели журавля на реке. Вода вихрастая, бьет в нос. Белый гриб нашли в папоротниках. Переодевается под обрывом. Светловолосая, рослая. Надела через голову красную рубашку и пошла босиком. Ей в Гатчину, к пожарному инспектору. Какие-то перерасчеты. Сидела в парке на скамейке: проголодавшись, ела булочку. Говорит, в юности любила гулять одна в парке осенью. На нее находило это глубокое меланхолическое настроение, до слез, до спазмов, горькое наслаждение одиночеством, увяданьем, и мысли такие... Иду через лес. Красно-золотистый свет дрожит на соснах. У Байрона в 37 лет были седые кудри. Повез на войну в Грецию любимого гуся и цезарок. Собачка наша оценилась. Слепые комочки пищат в коробке. Мадагаскар. Бой хамелеонов – за самку. Поединок рыцарей. Их оружие – цвет тела. Устрашают врага, меня окраску. У кого грозней. Победенный, отступив, угасает, становится черным – знак поражения. Самка выползла из чащи. Благоклонная к победителю, принимает светлые тона. Апраксин двор, очки, булыжник блестит. В музыке мало Музыки. Голые стены. Куда я попал? "Извините, вы военную пенсию получаете?" спрашивает меня, седоголовый, высокий, по виду полковник. В аптеку, что-нибудь... Девушки колышутся, криво усмехаясь. Куда они бегут? Фанфарный обвал в конце пятой симфонии. Во Флориде акулы загрызли шестерых. Стрельна. Котенок мяучит. Серенький. Кошка делает вид, что не слышит. Две женщины остановились, мать и дочь, огорчаются. Хотят поймать котенка и отнести кошке. Да не тут-то было: удрал в заросли. Вот какие тут дела. Девушка в белых штанах ведет за рога велосипед. На багажнике,

свисая, болтаются гибкие стебли тростника. Взглянула на меня странно. Старуха в панаме ушла в траву. Присела, задрав желтый, плоский, как доска, зад. На песке загорают три пожилые женщины. Без солнца. Тихо-серебристо, как лунной ночью.

Вагон, дети, все куда-то едут, празднично одетые, день субботний. Черт понес на проспект Обуховской обороны. Книги. Купил даосский трактат по алхимии. День странный, в хвостах и перьях, ветер этот, небо высокое. Она приехала посвежевшая, просветленная. Привезла грибов. "Ах, как чудно в лесу!" говорит. Глаза сияют. Продавец книг, подвижный, как на пружинах, кричит мне: "Вот какая книга вам нужна!" сует мне в руки. "Даосская сексология. Управление своей жизнедеятельностью". Ему секунды не устоять на одном месте, крутится, скачет около своего товара, выдергивает книги из кучи, бросает, глаза белые, кричит поверх моей головы: "У меня в тридцать не было столько энергии, как теперь, на шестом десятке! Работать, работать надо!". Вернулся. На обед пшенная каша с тыквой. Она в черном платье. "Парсифаль". Брукнер на коленях от восторга. А Вагнер ему: "Умерьте свой пыл, Брукнер. Спокойной ночи". Через полгода Вагнер умер. Лагаш. Столица Шумера. Глухой старик – царь. Нужна ли мне эта встреча? В Стрельну поболтаться. Дети, волейбол, арбуз едят. "Лидия Николаевна, идите сюда!" Пьяная парочка. Он, лысый, разгневанный, убегает. Она, толстуха, краснорожая, в летнем костюме, плетется, шатаясь. Он, обернувшись, в ярости: "У! б..! Надо же так нажраться! Валялась целый час в траве и еще и сумочку посеяла!" Она, обиженно, надув губы: "А мне, думаешь, приятно, что мой любимый мужик спит со всякой сволочью! Мне, думаешь, это очень, приятно, да?". Снег чаек на камнях. Тина гниет. Обломки перламутра. Шумерки в бусах, магический шнурок вдвойне обвит вокруг талии, неснимаемый от рождения до смерти. Оберег. Шерингтонова воронка. Шумерские дома без окон. Города: Ниппур, Шурупак, Киш, Урук, Ур. Понедельник. Битва ворон и чаек в темном небе. Падают, кружась, перья, черные и белые. В Эрмитаже Вермеер. Тихий Амстердам. Выбрались. "Идет мне эта помада?" спрашивает. "Оттого, что ты все время занят своей литературой, я перестала чувствовать себя женщиной" говорит она печально и смотрит куда-то вверх крыш. Дочь Саргона – верховная жрица города Ура, Энхедуанна. Кирпич Экура горькую песнь поет. У стены с левой стороны встань! У стены слово я тебе скажу! Стон и плач. Бегут в

чалмах, кричат, рвут в клочки, топчут и жгут звездный флаг. Телефон: "Это у вас убитая бабушка?" Луна на двоих. Тебе какую половину? Полунин, нос помидором, бежит, бежит... Горящий поезд... Просыпаюсь: октябрь, 2-е. А когда 1-е было? На лестнице окурок курит. Эпоха Сун. Танзания. Нгоро-нгоро. Кратер, а дыма ни колечка. Еще не проснулся, черт вулканический. Трокай – древняя столица Литвы. Витовтос. Листья, рушась, издают этот звук. Липа, светоносная, под дождем. Вокзал, голуби, уныло. Чайка летит, плача и стена. Рюют янтарь. Им нравится – работа на вольном воздухе. Глиняные ямы глубиной в 10 метров. Вручную, лопатой. Кусок янтра 300 грамм. Редкая находка. Альбом для Кусто. В акваланге и маске рисует под голубой водой алые кораллы – "Олени рога". Боги гаснут. Остров Пасхи. Принесла щуку, в раковине не умещается, леопардовая. Уху варить. Книгу нашел: "Путешествие в южных морях и странах". Листаю, дивные картинки. Гигантская, белая птица несет в когтях девушку. Девушка в обмороке. Птица летит, стоя, как человек, обняв девушку крыльями и держа ее клювом за ворот рубашки. Роман Жуковского "Томас Мур". Странно. Не читал. Стою с этим романом в руках в полном недоумении. Невский, мглисто. "Изысканная французская посуда и подарки". Обнаженный женский торс с тарелкой вместо головы. Ремизов: о сновидениях в русской литературе. Продавщицу где-то встречал. Взглянула многозначительно. Вдова с букетиком. Поздравляли юбиляра. Сбежал. 2 этаж, Дом Книги. В зеркале, мельком: мышинная кепочка, зонтик. Есть новинки. Аметистовый том. О, на килограмм тянет! Хлеб наш насущный... Раскрыл на середине, вижу: "Оцелованы жемчугом синим узды...". Канал в огнях. Делаю гимнастику с гантелями перед открытым окном. Зámок на горе. Говорят: Кировская больница. Октябрь. Драконы-тучи. Желтые фонари на шоссе. Строительные краны, как нашествие марсиан. Рваные халаты, чалмы, бегут в поле, хватают коробки с неба. Гуманитарная манна. Грязные бороды, дикие, птичьи глаза. Бухта Мурманска, снежная буря, катер борется. Нахохленный лейтенантик, сын командира "Курска". Вспоротое брюхо погибшей подводной лодки. Перешиблен позвоночник. То ли чех, то ли серб. Черные стрелы летят в пепле. Вода и куски льда, гремя, низвергаются в корыто, которое стоит посреди комнаты. Плач ребенка за стеной. "Чадо ты мое!" говорит чей-то молодой женский голос. "Вот он!" указывает на меня железный палец. И все бросаются с визгом и воем.

"Не бойся!" говорит кто-то. "Это обыкновенные люди". Гулял. Белый мотылек во мраке порхнул у глаз, чиркнул о ресницы. А там, над соснами – око ночное. На шоссе огни бегут. Петергоф. У автобусной остановки едим яблоко. Из пруда лезут утки и селезни. Обступили, переваливаясь на розовых лапах, попрошайки. Промозгло. У нее ноги замерзли в тонких ботиночках. Говорит: "Я стою на краю бездны, а ты ничего не видишь, кроме своих книг".

У Казанского купили фильтр для питьевой воды. Тут дешевле. Она бледна, черный берет надвинут на брови. В Апрашку. Ищем игрушку для Ванечки. Колеса красные, кузов зеленый. В железных воротах споткнулся, она уже далеко, ее пальто в толпе, как лист сухой. Сзади толкают. Речь нерусская. Черный аспид-бульжник. Малахитовые глаза на поясице. Для ценителей холода. Был такой Го Сян. Заманчивая философия. Возвращаемся домой. Ветер ураганный. "Возьми зонт обеими руками!" говорит она сердито. Луч электрички светит ей в глаз, слепя. "Она мне в глаз светит!" воскликнула изумленно и горестно. Спал чутко. Стук крупы в окно. В среду к ней пришел сапожник. Обсуждали починку обуви. Заря, бульдозер. Не оживит вас лиры глас. Вскაკивают, кричат: "Бумага – друг писателя! Бумага – друг мысли!". Речь председателя; "Зажжем огни, нальем бокалы". Терминар. Ночь мутна. Сам я на грани таянья. Старик удивлен: что это я стою на дороге, задрал голову. "Белочка там прыгает, да?" В Эрмитаже "Золотые олени Евразии". Купил елку. В квартире оттаяла, запахла. Чудная елочка.

Седой рассвет. Январь. Она в ночной рубашке, села на постель. Смотрим в окно. Селена. "Ты говорил, нельзя смотреть, когда на ущербе". Снег сырой. Дети бегают. Красные кони по шею в снегу. Воробушки тоже живут. Снилось необычайное и необъятное, как небо... Эта мать, огни, машины. Мир ловил меня, но не поймал. Аббат, тулузец, задира, острослов, убийца. 38 лет, немало. Трамвай 55, Орбели. Купил лимон на площади Мужества, а метро затоплено. Гипоталамус – центр психической энергии и полового влечения. Находится в мозгу, на заросших тропинках. Вот и твое 2 февраля. Метель, как обещала. Слышно: хлопья стучат по шапке с опущенными ушами. Не разумети языку их. У нее приступ мигрени. Капелла, солнце звенит. Приснилось: будто бы мы с ней ночуем в каком-то доме. Она разделась и легла. Вдруг вспомнила, что забыла что-то взять. За этим надо идти с парадного входа. Там уже закрылись на

ночь. Стучу. Наконец, впустили. Ищу это, зачем она меня послала, и вот, вижу в окне: большой дом начинает двигаться к нам через площадь. Мрачная громада, с башенками. Ближе, ближе. С ужасающим грохотом. И встал вплотную к нашему дому, окно в окно. И вот, вижу, в том окне: тускло золотится прислоненная к стеклу иконка. И вот этот страшный дом начинает отодвигаться обратно. У нас крик, выбегают. Я – тоже. Какая-то беда. В том крыле, где она... Там огонь взвился. Вой пожарной машины. Прорываюсь сквозь толпу, смотрю: белые халаты выносят на носилках кого-то, завернутого в простыню, и уносят бегом. "Кто это?" кричу вдогонку. "Кого вы несете?". Не отвечают. Какая-то старуха, санитарка: "Вы М. спрашиваете? Да, это М. понесли. Сильно обожжена". Комната полна людей, молодая женщина-врач с засученными рукавами. Спрашиваю у нее, жалкий, плачущий: "Как вы считаете, все обойдется?" Она не отвечает. Холодно отвернулась и продолжает что-то делать... Утро. Она стоит в переулке, подставив лицо солнцу. Ее черное пальто, меховая шапка. Колесо повернулось к теплу и свету. Пошли гулять. Она собачку несет в сумочке. Все восхищаются нашей собачкой. Останавливаются, спрашивают: откуда такое чудо? "Из Китая" отвечаем. "Собачка китайского императора!"

Пары гуляют, сцепясь пальцами. Так апрель! К вечеру у меня жар под сорок. Валяюсь вторую неделю. Я – плод случайности холодной, я – всей вселенной властелин. Эдвард Лицхауэн – создатель кораллового замка во Флориде. Маленький латыш. Родился в 1888 году. Несчастливая юношеская любовь. Раскрыл тайну постройки египетских пирамид. В одиночку построил громадный дом-замок из коралловых глыб, которые он вырубал на берегу. Унес тайну в могилу. Моне. Насмотрелись досыта. Дворик Капеллы в апрельском солнце. Сидим на скамейке, греясь в лучах. Музыка из окон. Еду. Цветущая яблонька в депо, как невеста. Летучая мышь бесшумно кружила между домов, возвращаясь в ту же точку. Круг за кругом, черный платок. Борт лодки многокрасочный, как ковер, и по нему бегут, играя, золотые змейки. Век бы смотрел. Бесконечная радость. В Стрельну, а там строительство. Ограждено, изрыто, бульдозеры-бронтозавры. Потрясенный, не знаю, что и делать. Нашел лазейку. Бегу вдоль канала, какие-то агрегаты, ржавые жерди, черные змеи на земле. Кабель тянут, вой, скрежет, рвы, глина, цемент. Посреди этого кошмара чудом уцелел куст сирени, чахоточные лиловые грозди.

Сварщик спит на лежаке из досок, в робе и шлеме с опущенным на лицо забралом. Потрявоженный шумом моих шагов, приподнял голову и опять опустил на свое жесткое ложе... Петергоф, туман, заросли роз. Поссорились. Это я считаю, что не из-за чего. Она уже давно так не считает. Мы исчерпали себя. Пора расстаться. Пора, пора... Вот заладила. Чуть ни каждый день твердит. Выпили пива за столиком, помирились. Петровское, янтарно-пенное, в хрустальных кружках. В голову ударило. "Так еще поживем вместе?" говорит она полувопросительно. Гуляли пьяные под раскидистыми липами у прудов. Она восхищалась уткой с выводком утят. "Смотри, смотри: плывет, гордая! Мамаша! И эти малявки за ней следом не отстают! Как привязанные – куда мать, туда и они. Десять утеночков". В Эрмитаж Тициана привезли из-за океана. "Венера перед зеркалом". Ты мне, зеркальце, скажи... Вернулась-то вернулась, да временно. У них культурный обмен. Выходим. Седая сивилла сидит на стульчике, продает театральные билеты. "Фигаро" в Мариинке. Ну что такое в наше время двести рублей! Космы седеет соли, а лицо молодое, одухотворенное, певучее, ни одной морщины. Глаза дикой птицы. На дворе Капеллы концерт. Балалайки из Иркутска. "Вот у них куража много!" замечает она. "У артиста должен быть кураж, а у тебя его нет". Все стулья заняты. Рябь брусчатки. Не у стены же стоять, где толкают, кому не лень. Нам еще счет за телефон хоть застрелись заплатить. Не помнит: в этом как будто. Нет, в том! Точно! Дома-близнецы, так чего я удивляюсь. Торопимся, а то закроется, нырнув под ветви, под цветущими липами. Ах, медоносные, как пахнут!.. Ну вот, успели, заплатили в окошко. Одна гора с плеч. Зато другая, черная – в небе! Нависла. Затмила весь свет. "Бежим скорей, а то ударит!" кричу и показываю на тучу. Ей хочется апельсина, сочного, и вина какого-нибудь хорошего... Утро встречает прохладой. В небе гривастый шлем. Отгремело. Свежесть. Дорога в голубых глазах. Иду. Четыре девочки, смеясь, взявшись за руки, перегородили, не пускают. Река веселая, у нее радость: купальный сезон открыт. Смотри-ка: до чего хороша! Серебряные обручи в ушах. Осторожно вошла в воду, плывет, разводя беду руками. Одежда лежит на широком пне. Украду, спрячусь в кустах, и поглядим: что она будет делать? Накупалась. Выходит. Тело блестит в капельках. Одежда ее там же, на пне. Никто не покусился. Розовая блузка через голову надеваться не хочет, сопротивляется, липнет... Мы с ней идем по песчаной дороге. Этот поход у нас давно

задуман, и вот – осуществляется, как мы видим. Жалобно воеет собака с подбитой лапой. Старая церковь из потемнелых бревен, купол блестит медью. Баба высоко на колокольне дергает веревку, раскачивая два маленьких колокола. Праздничный трезвон. 1 сентября, день нашей свадьбы. Гулял один ночью. Фонари в тумане. Магический круг этого сиянья. Попал в него – пропал. Пропал навеки! Будешь, околдованный, зачарованный, кружиться вокруг лампы, как этот безумный рой. Кого тут только нет! Хвостатые, змеистые, червеподобные – извиваются, кувыркаются, вертятся колесом, пляшут, как скоморохи. Нет, страшно стоять у столба ночью и смотреть вверх на это дьявольское наваждение, на это неистовство загипнотизированных насекомых! Вдруг и меня туда затянет!.. Вот и ведьма! Я говорил! Старуха в платке сторожит у канавы извержение вулкана. Жерло костра мечет искры, и вслед за ними, рассыпая огненные перья и озаряя этот мрак, вылетает Жар-птица!.. Ничего, ничего. Улетит, и у нас ночь сомкнется. Останется ночь. Едва видная серебряная паутинка. Ось вселенной. Ей снилось: будто бы она на болоте, босиком, и на нее какая-то баба с топором бросается, и рубит ей пальцы на ногах. А ей весело и ничуть не больно. Глядит: вместо пальцев у нее на ногах длинные когти, как у птицы. Октябрь. Мглисто. Серебряная труба на канале. Ямщик, не гони лошадей... Азербайджанский, пять звездочек. Бутылка плоская, непривычная, эксперт вышла, бровь подняла, раз хвалит, надо взять. Захмелели. Она плясала и пела. Давно уж я не видел ее такой самозабвенно веселой. Вчера прочитал; "У абхазских воинов "песня ранения" заглушала боль, как наркоз". Декабрь, 3-е. На Лиговский: телефонный аппарат сдать в починку. Мастерская у метро. Выйдем – вывеска в глаза бросится. Ищем, озираемся. Нет, что-то не то. Она тут сто лет не была, вот мастерская и сбежала. Идем, проспект шумит, огни, мрак, машины. Решетка чернеет, сад в снегу. Старинный дом с балконами. "Интересно, кто в этом красивом особняке жил?" спрашивает она.

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1. ОДНА НОЧЬ

В. Соснора ТЕМА И МЕТАФОРЫ	7
Страдания сержанта Быкова	8
Вторая бутылка	30
Родина-мать	36
Ева	44
Исполнение служебного долга	49
Покушайте в ресторане	54
Омрачение	57
Одна ночь	59
Человекопад	72
Циркуляр №12	80
Где Кириллов?	82
Зверь Апокалипсиса	91
Семьдесят семь на Марата	94
Солдаты в лесу	96
Поиски	107
Завтра в море	116
Об отце	131
Женитьба дяди	133
Последняя капля	138
Железный	143
Центр	144
Суббота	145
День флота	145
Майор	147
Жалейка	149
Лестница	151
Пистолет	152
Загинайло	161
Очи черные	264
Одна зима	271
Рига в шляпе	281
Якорь в Риге	290
Заслушивался волн	324
Рак на блюде	327
Дни с Л.	379
Дождь в четверг	429
Лопяющиеся пузырьки	452

Вячеслав Александрович Овсянников

Повести и рассказы

Т 1

ОДНА НОЧЬ

Редактор В. И. Чернышев

Подписано в печать 13 апреля 2019
Формат 60x90 1/16 31 п. л., 496

ПЕЧАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ

© В. А. Овсянников. *Одна ночь.* 2008-2019.
© Издательство «SUPER». 2019

Санкт-Петербург

2019

ДЛЯ ЗАМЕТОК



